ОЛЕГ
СЕЛЯНКИН

ОЛЕГ СЕЛЯНКИН

КОСТРЫ ПАРТИЗАНСКИЕ

ОЛЕГ СЕЛЯНКИН

КОСТРЫ ПАРТИЗАНСКИЕ

РОМАН

БЫТЬ ПОЛОВОДЬЮ!

КНИГА ПЕРВАЯ

ПЕРЕД РАСПЛАТОЙ

КНИГА ВТОРАЯ

ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1987

Р2
С29

Заслуженный работник культуры РСФСР писатель-фронтовик Олег Константинович Селянкин родился в 1917 году. После окончания десятилетки в городе Чусовом Пермской области поступил в Ленинградское Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе.

С первых дней Великой Отечественной войны О. Селянкин — на фронте. Участвовал в боях при обороне Ленинграда, под Сталинградом, на Днепре, в Польше и Германии. События тех лет он отразил впоследствии в своих книгах «Школа победителей», «На румбе — морская пехота», «Когда труба зовет», «О друзьях-товарищах», «На пути к победе» и других.

Награжден многими боевыми орденами и медалями.

Роман «Костры партизанские» издается к 70-летию писателя.

С 4702010200—2 / М 152(03)—87 29—87

© Оформление, Пермское книжное издательство, 1987.

БЫТЬ ПОЛОВОДЬЮ!

КНИГА ПЕРВАЯ

Дело не в том, чтобы прожить как можно дольше, а в том, как прожить, как сделать, чтобы твоя жизнь была максимально полезной для народа, для рабочих, для коммунизма.

М. И. Калинин

Глава первая

РЯДОВОЙ КАРГИН С ТОВАРИЩАМИ

1

В самую короткую ночь года, под утро, когда небо стало уже голубеть, а затем подернулось нежно-зеленой пленкой, дневальный привычно крикнул:

— Боевая тревога!

Рядовой Каргин соскочил с койки, оделся, схватил винтовку и занял свое место в строю. Роста он был среднего и стоял примерно в середине первой шеренги роты, вытянувшейся вдоль лагерной линейки. Стоял, терпеливо ждал приказаний и нисколько не удивлялся, не обижался, что сигнал тревоги прозвучал в воскресенье: на то и начальство, чтобы солдат не дремал.

Наконец прибежал командир роты капитан Кулик. Придирчиво осмотрел строй, на кого-то осуждающе показал пальцем и встал на правом фланге, как полагалось по уставу.

За два года службы всё это привычно рядовому Каргину, он наперед знает, что сейчас будет отбой тревоги или небольшой марш по утренней прохладе. И после этого опять же — отбой тревоги.

И вдруг откуда-то с левого фланга приползло лишь одно слово:

— Война...

С кем война? Скорее всего с фашистами...

Было волнение, была неясная боязнь (что ни говорите, а воевать — не в бирюльки играть!), а вот страха рядовой Каргин не испытывал. Он безгранично верил, что нет в мире армии, которая сильнее родной Красной Армии.

После короткого митинга, где было сказано, что фашистская Германия без объявления войны бомбит наши мирные города, Каргин даже с завистью подумал, что кому-то опять повезло, что кто-то опять прославит себя подвигами. Рядовой Каргин почти не надеялся, что его полк успеет на фронт до окончания военных действий: до границы около шестисот километров; пока полк дотопает, другие уже расчихвостят фашистов.

Сутки ушли на сборы, на ожидание приказа. А на второй день после обеда (наконец-то!) полк начал марш. Куда? С рядового Каргина достаточно было и того, что впереди ритмично покачивались широкие плечи капитана Кулика, перекрещенные новыми ремнями.

От пыли першило в горле, гимнастерку — хоть выжимай. Но шли бодро, даже без привалов. Торопились.

А под вечер, когда длинные тени исполосовали землю, колонну догнал мотоциклист. Он вручил командиру полка пакет, козырнул и понесся дальше — серый от усталости и пыли.

С этого момента полк распался на батальоны. И каждый из них зашагал по своему маршруту. Тот, в котором служил Каргин, почему-то повернул на восток. И ноги сразу налились свинцовой тяжестью, опустились плечи, невероятно тяжелой стала винтовка.

Несколько дней маршировали по дорогам, прятались в перелесках или рыли окопы среди хлебов и на околицах деревень, чтобы вскоре опять шагать куда-то.

А фашисты, как сообщало Совинформбюро, по-прежнему продвигались вперед, и на дорогах теперь не смолкал скрип телег беженцев.

И невольно Каргин стал думать: что стало с Красной Армией? Где она? Что делает для спасения своего народа?

Не знал, тогда не мог знать солдат Каргин, что враг очень расчетливо выбрал время для нападения. И не потому, что Советское правительство слепо верило в силу мирного договора с Германией: договор договором, а весной 1941 года, соблюдая строжайшую секретность, к западной границе были подтянуты пять армий, которыми командовали опытные генералы: Ершаков, Ремезов, Герасименко, Конев и Лукин.

Не знал тогда солдат Каргин и того, что к началу войны мы почти догнали Германию по выплавке стали, перегнали по выплавке чугуна;

боевых самолетов и танков у нас и в Германии в год производилось почти равные количество;

еще бы немного, еще бы чуть-чуть — и в достаточном количестве пришли бы в нашу армию из заводских цехов танки КВ и Т-34, самолеты Як-1, МиГ-3, Пе-2, Ил-2 и другие.

Не знал и не мог тогда знать солдат Каргин, что неудачи Красной Армии в первые дни войны во многом зависели от того, что не успели мы к началу войны заменить всю свою боевую технику на новейшую, что нам бы еще хоть годик или два прожить без войны...

Ничего этого не знал тогда солдат Каргин (да и многие другие не знали), вот и терзался вопросами, на которые ответить был бессилен. Но продолжал безоговорочно верить и своим командирам, и в незыблемость всего советского; оно раз и навсегда установлено.

Настал день, когда увидели первые фашистские самолеты. Их тени черными крестами скользили по русской земле.

— Воздух! — скомандовал капитан Кулик.

Самую малость запоздала команда: острокрылые самолеты с пронзительным воем уже пикировали на дорогу и хлестали, хлестали по ней длинными очередями.

После этого налета некоторые солдаты, даже не сделав выстрела по врагу, попали в госпитали. Были и убитые.

Но вот уже третьи сутки рота капитана Кулика стоит в городишке, где все дома одноэтажные и нет ни одной мощеной улицы.

— Здесь нам приказано стоять насмерть, — коротко объявил капитан Кулик и ушел, поскрипывая ремнями. Ремней у него было много и все новые, скрипят невероятно при каждом движении плеч.

Рядовой Каргин был рад остановке: теперь он точно знал, что тут, на этой земле Смоленщины, он обязан победить или умереть. Так приказала Родина. Ее приказ — святыня.

Три дня назад рота стала гарнизоном городка. Солдаты патрулировали по его пыльным улицам, рыли окопы полного профиля на западной окраине. Работали все. Даже капитан Кулик. Лишь во время короткого перекура пробежит вдоль окопов, бросит требовательно:

— Давай, давай! — и опять берется за лом, так яростно ударяет им по окаменевшей от зноя земле, будто каждый удар нацелен в голову фашиста.

Рыли окопы и жители городка: юнцы, которых по молодости лет не взяли в армию, женщины и девчушки.

Вчера около этих окопов остановилась машина с ранеными. Одна из многих, проползавших мимо. От раненых и узнали, что фашисты вооружены автоматами и строчат из них, не жалея патронов; и самолетов, и танков у них огромное множество.

— Хоть дождь зарядил бы, что ли, — сказал тот, у которого рука неудобно торчала в сторону, подхваченная хитрыми шинами и распорками.

Каргин понял солдата: тот надеялся, что в непогодь не смогут подняться в воздух фашистские самолеты.

Вчера же вечером Каргина назначили в караул к складу — то ли вещевому, то ли продовольственному.

Склад — два приземистых барака. Они стояли на большой поляне километрах в восьми от городка и были обнесены колючей проволокой в один ряд.

На двух углах этого четырехугольника торчали грибки для часовых. Под одним из них — пост Ивана Каргина.

Вчера вечером и всю ночь по дороге, которая вилась за лесочком, примерно в километре, неумолчно скрипели обозы, слышались людские голоса. А утром словно обрезало людской поток.

Почему так? Может, остановлен враг?

Каргин вслушивается в канонаду, замечает, что она обошла его слева и справа, что там она ярится, там включаются в нее грохочущие разрывы многих бомб, а впереди — только слабая ружейная перестрелка.

В воздухе косяками и в одиночку так низко проносятся фашистские самолеты, что видно летчиков. Ни один из них не спикировал на склад, все спешат к городку, над которым висит туча дыма.

Из леса разом вывалилась группа солдат. Обросшие, в грязных и порванных гимнастерках, они шли толпой. Но винтовка была у каждого.

Один из них крикнул:

— Сматывай удочки! Фрицы на подходе!

Вида не подал Каргин, что услышал: часовому устав запрещает вступать в разговоры.

— Не слышишь, что ли? — не унимался солдат.

— Малахольный какой-то, — определил другой.

Затерялись солдаты среди деревьев, а слова предупреждения все звучат в ушах:

«Фрицы на подходе...»

Значит, опять не удалось остановить их...

Фрицы на подходе, а бежать вслед за солдатами нельзя: часовой не уходит с поста самостоятельно, его обязательно должны снять. Разводящий, карнач или сам капитан Кулик.

Еще несколько солдат быстро вышли из леса, увидели склад и устремились к нему. Каргин крикнул, лязгнув затвором винтовки:

— Стой, стрелять буду!

— Разуй глаза, свои, — ответил передний.

Ответил спокойно, тем самым обыденным тоном, каким обычно просят прикурить. И это отсутствие уважения к нему как к часовому разозлило Каргина. Если потребовал часовой, будь ты хоть полный генерал или маршал — немедленно остановись! А тут босота какая-то плюет на требование часового!

Каргин, как положено по уставу, выстрелил в воздух.

— Пойдем, Гришка, этот дурак еще влепит между глаз, — сказал солдат в каске и потянул товарища за рукав.

А Григорий рванул на груди гимнастерку, так что пулями разлетелись пуговицы, и пошел на Каргина.

— Ну, чего не стреляешь? Фашисты не убили, так ты валяй!

Он не кричал, он говорил тихо, но с безумной яростью. Обозлили солдата неудачи, вот и прет напролом. Каргину только и остается стрелять в мокрую от пота грудь Григория.

— Осади назад, осади. Не видишь, на посту человек, — неожиданно просто сказал разводящий, прибежавший на выстрел Каргина. — Не убьет тебя, дурака, — сам виноват будет, сам под трибунал пойдет.

— Ломай замки, бери, что есть в складе! — не сдавался Григорий, но уже не лез вперед, а стоял, лишь руками размахивал.

— Не имеем права, на охрану и поставлены.

— От кого охранять? Глянь, мы оборвались, в животе кишка кишке кукиш кажет, а тут в складе всякого добра полно! Для кого бережете? Для фашистов? Они вот-вот будут!

«За такие слова — пулю в глотку, и точка!» — нарочно злит себя Каргин и не может разозлиться. Большая правда чувствуется в словах Григория: раз отошла наша армия, то для кого они берегут этот склад?..

— Сволочи! — выплевывает Григорий ругательство, поворачивается и идет в лес. Он твердо ставит на траву босые ноги. У него поступь настоящего солдата.

— Неладно получается, — говорит разводящий. — С одной стороны, для того мы и назначены... С другой...

Каргин и сам понимает несуразность создавшегося положения, но выхода не видит и поэтому почти кричит:

— Если сложилось такое положение, то командир роты должен известить, приказ соответствующий прислать!

Искренне верит солдат Каргин в своего командира, даже выпрямляется, будто капитан Кулик — высокий, широкоплечий и всегда подтянутый — стоит перед ним, пытливо заглядывает в душу строгими глазами.

Верят в своего командира и остальные.

— Значит, ждем приказа, и точка, — подвел итог разводящий.

Сзади, где был городок, рвались бомбы. Изредка, когда их грохот спадал, доносились пулеметные очереди и треск вражеских автоматов. Там шел бой. А здесь, у склада, пересвистывались в кустах птицы, покачивали белыми венчиками ромашки.

Каргин вдруг подумал, что, возможно, он в последний раз слышит пение птиц, в последний раз видит эту ромашку, потерявшую один белый лепесток.

С отчетливой ясностью Каргин понял, что ему смены не будет. Он спрыгнул в ямку-окоп, вчера вырытую около грибка, разложил на бруствере гранаты. В этот момент он не думал ни о доме, ни о семье. Ему было просто страшно, что он вот так, один на один, должен встретиться с врагами. Ведь рядом не будет никого, кто бы позднее рассказал товарищам...

Что можно уйти с поста — это в голову даже не пришло: с детства привык к тому, что обязанности свои нужно выполнять

честно и до конца. Сейчас Иван Каргин — солдат, сейчас его святая обязанность — сидеть в этом окопчике и бить врагов, как только они появятся.

Из леса на полянку выполз непривычно тупорылый грузовик. В его кузове плотными правильными рядами сидели солдаты в глубоких касках. Ни одного свободного места.

Больше ничего не успел рассмотреть Каргин: грохнул выстрел часового с соседнего поста, и сразу ударил очередью ручной пулемет, который числился за разводящим. Караул вступил в бой. Тогда и Каргин подвел мушку под лобастую каску, плавно, как учили, нажал на спусковой крючок.

Дальнейшее виделось словно сквозь туман и какими-то обрывками.

Вот фашисты выскочили из грузовика, попадали на землю и — не видно их. Только автоматы трещат непрестанно. Они выпускают сразу столько пуль, что отдельного посвиста не слышно. Сплошной стон.

...Опять попалась на глаза та ромашка. Теперь у нее не хватало уже несколько лепестков и половины желтого венчика...

...С оглушительным треском стали рваться мины. Фашисты, немые в грохоте разрывов и автоматных очередей, бежали к складу. Каргин бросил последнюю гранату...

И вдруг — тишина. Фашисты, выставив вперед автоматы, осторожно идут к складу. А склад горит, горит жарко, выстреливая клубы вонючего дыма. Они, эти серые клубы с красноватыми прожилками огня, волнами накатываются на окопчик. Будто нарочно прячут рядового Каргина от фашистов, будто толкают в спину.

Каргин только сейчас заметил, что затвор винтовки открыт. Сунул руку в подсумок. В другой. Даже в карманах пошарил. Патронов не было. Тогда он, прячась в дыму, пополз к проволоке в один ряд, проскользнул под нее.

Очутившись среди дрожащих осин, радостно поверил, что для него сегодняшний бой окончен и смерть пока обошла его.

Еще раз осмотрел подсумки и карманы. И опять патронов не нашел. Ни одного. Тогда, крадучись, пошел в глубину леса. Но винтовку не бросил.

2

В жизни бывает так, что все благополучно и на работе, и дома, тело нежится на мягкой постели, а тебе снится, будто кто-то гонится за тобой и вот-вот убьет или вдруг под ногами оказывается бездна и ты летишь в нее.

А вот Ивану Каргину, хотя он спал сидя, скрючившись за толстым стволом березы, спал невероятно усталый и голодный, снилось, что он дома и мать бесшумно снует по горнице.

Когда проснулся, даже верить не хотелось, что все еще одиноким волком бродит по лесу.

Третьи сутки брел на восток Каргин. К исходу первого дня, когда уже пришел в себя после боя, потянуло к людям. И он повернул в ту сторону, где, по его расчетам, была дорога. Не ошибся, вышел на нее. Только облегчения не почувствовал: по дороге рваными колоннами шли уже знакомые тупорылые грузовики и танки с черными крестами на бортовой броне.

Еще Каргин увидел на опушке труп красноармейца. Он лежал на боку и остекленевшими глазами уставился на дорогу. На его обескровленном лице не было ничего, кроме удивления. Ни страха, ни боли, ни злобы. Одно удивление. И от этого Каргину стало страшно. Он попятился, снова углубился в лес и решил впредь сторониться дорог.

На вторые сутки голод толкнул Каргина к небольшой деревушке. Ее избы вразброд стояли вдоль пыльной проселочной дороги. В деревне были немцы. Засучив рукава и расстегнув френчи, они били кур и гусей. Белый пух, как снег, кружился над притихшей деревней. Женщины, чем-то похожие на мать Ивана, скорбно смотрели на бесчинства врагов и... молчали, хотя душа исходила горьким криком. Это Каргин чувствовал каждой клеточкой своего тела: сам хлебороб, он прекрасно понимал, что значит враз потерять всю свою живность.

И тут Каргин увидел немца, который пытался поймать телушку. Он манил ее рукой, стараясь подойти вплотную. Телка подпускала его к себе и, когда ему оставалось только протянуть руку, задрав хвост, делала несколько скачков к лесу.

Взбунтовалась вся злость, что накопилась в Каргине, и он пополз наперерез немцу.

Встреча произошла в маленьком кустарнике на опушке. Немец растерялся от неожиданности, когда на него метнулся русский солдат с винтовкой наперевес.

Уже потом, снова уйдя в лес, Каргин пожалел, что не обшарил карманы убитого. Может быть, нашел бы пистолет. Или кусок хлеба.

Сегодня третьи сутки скитаний. Одиночество стало невыносимым. И не потому, что Каргин боялся леса. Нет, он родился на Урале, в деревне Шайтанка, где кругом леса — не чета здешним. И вообще сейчас он ничего и никого не боялся. Он уже почувствовал свою силу, убедился, что ненавистные враги тоже смертны. Вот поэтому и бесило одиночество: ведь артельно любое дело сподручнее вершить. Рядовой Каргин вспомнил роту, капитана Кулика. Если бы он, Каргин, был с ними...

Под вечер, когда солнечные лучи бродили уже только в вершинах деревьев и не могли соскользнуть к земле, Каргин услышал русскую речь, по которой стосковался за эти дни, и сначала даже побежал на голоса. Потом проснулась осторожность, стал подкрадываться.

Затаившись за гнилым пнем, осмотрел небольшую полянку, на которой горел бездымный костер. Вокруг него сидели четыре красноармейца. Рядом с каждым лежала винтовка.

— Нет моего согласия на брюхе ползать! — зло сказал один из них.

Каргин больше не мог терпеть, вышел на полянку. Солдаты мгновенно схватились за винтовки и повернулись в его сторону.

— Вот и я, — только и сказал Каргин, почувствовав страшную слабость в ногах, и почти упал у костра.

На него смотрели настороженно, один даже шагнул в лес, чтобы проверить, а нет ли там еще кого. Каргин ничего не заметил. Он блаженствовал, он был радешенек, что здесь товарищи, что рядом потрескивает костер, от которого пахнуло домашним, мирным покоем.

— Вроде бы мне знакома твоя витрина, — сказал сосед.

Каргин повернулся на его голос и сияющими глазами уставился на говорившего. Ему знаком этот широкий разлет бровей. Волосы у солдата почти льняные, а брови черные.

Тут взгляд случайно упал на босые ноги солдата.

— Гришка!

Три дня назад они расстались почти врагами. В обычных условиях их неприязнь друг к другу могла бы держаться долго, а здесь, во вражеском тылу, где на долю каждого за эти дни выпало так много испытаний, оба обрадовались встрече. Григорий даже с радостью рассказал товарищам о том, как Иван чуть не застрелил его, когда он нахрапом полез к складу.

— Все бы так службу несли — давно бы герман обратно потопал! — закончил Григорий свой рассказ.

Его выслушали молча, только один вопрос задал:

— Караул-то как?

Каргин не ответил. Он не знал точно, что стало с товарищами: они могли быть и живы, когда он удирал, испуганный молчанием их винтовок; может, как раз в тот момент товарищи дрались врукопашную?

Сейчас ему было стыдно за свое бегство, и поэтому он молчал. А его поняли иначе, и все сурово помолчали, глядя в землю.

— В общем, весь караул геройский, — убежденно заявил Григорий.

Каргин был другого мнения. В геройстве товарищей он не сомневался, а что касается его самого... За трое суток блуждания по лесу о многом передумал Каргин, многие свои действия признал глупыми. Вот Григорий упор делает на то, что он, часовой Каргин, до последней секунды действовал точно по уставу. Конечно, уставы блюсти надо, на них вся армия держится. Но к любому параграфу устава еще и твои личные мозги нужны, чтобы не формально, а с большей пользой для общего дела выполнить приказ. А он, часовой Каргин, бездумно действовал. Ему приказали охранять склад — и он охранял. Что получилось в результате? Своим со склада ничего взять не позволил. А кому польза? Выходит, только фашистам...

Все это высказал Каргин, он не хотел ничего скрывать от товарищей.

Четыре человека слушали его. Григорий немедленно заявил:

— Брось мозги туманить! Главное — принципиально, честно приказ выполнить. У меня, к примеру, другое дело. Мне уже сколько раз командиры приказывали стоять насмерть, а я все бегаю... За это и казнюсь.

— Нешто мы одни виноваты, что бежим? — с обидой зачастил тот, который ходил в лес проверить, один ли пришел Каргин.

Третий промолчал, только вздохнул. Все были небриты, в помятых, грязных гимнастерках и шароварах. Но у этого будто и душа поистерлась и запачкалась за минувшие дни: в глазах тоска беспросветная, разговор слушает, а сразу видно, что слова не трогают его сердца.

— В нашу команду вольешься или другие планы есть? — спросил тот, которого остальные звали Петровичем. На воротнике его гимнастерки не было знаков различия. И возраста он был, пожалуй, того же, что и все, но товарищи величали его Петровичем.

— Смотря по тому, какой программы вы придерживаетесь, — ответил Иван.

— Не на брюхе ползти, а с боями к нашим прорываться! — выпалил Григорий.

— Факт! — поддержал второй.

— И у меня такая же думка, — сказал Иван. — А вот с боями прорываться — силешка у нас не та. Однако врага лущить можно, кость у него жидкая. За технику потому и прячется. Значит, осторожненько, с умом бить надо. — И поспешно добавил, чтобы не посчитали трусом: — К тому говорю, что теперь мы ученые, вторую промашку нам давать никак нельзя.

— Так и запишем, — подвел итог Петрович.

Еще немного посидели у костра, перебрасываясь короткими фразами. Во время этого разговора, улучив момент, Григорий и шепнул, показав глазами на молчаливого товарища:

— Павел надежный — дальше некуда. А что смурной — брата танк раздавил. Подмял гусеницей и раздавил. Мокрое место осталось.

Ивану хотелось хоть что-нибудь узнать и о четвертом — о Юрке, но шептаться в компании не полагается, и поэтому спросил нарочно громко:

— Босой-то почему ходишь? Солдату так не положено. И ногу повредить запросто можно, и вообще.

— Невезучий я на сапоги, — охотно откликнулся Григорий. — Перед самой войной выдали новехонькие, думал — износу не будет... Плавать, Ваня, я не обучен... Пришлось Припять форсировать — снял сапоги, связал и перекинул через бревнышко, за которое сам уцепился... На середке реки оно возьми и крутанись! Меня-то дружки вытащили, а сапоги...

— Значит, лапти сплети. Или не умеешь?

— Откуда мне уметь? В городе слесарем по водопроводной

части работал... И вообще, Ваня, лапти — пережиток прошлого. Чтоб мне провалиться на этом месте, если за счет фрицев не обуюсь!

После короткого отдыха решили взять левее, чтобы поскорее выйти к дороге. И пошли. Впереди — Петрович, за ним остальные. Перед Каргиным покачивались узкие плечи Павла. Он, казалось, шел бездумно, шел лишь потому, что впереди шагал товарищ. Но он первый услышал шум моторов. Остановились и несколько минут вслушивались. Потом Павел же и сказал:

— Танки.

— Разведать?

Это уже Юрка. Во время перехода он все время челноком сновал из стороны в сторону, охраняя товарищей. Сейчас же — поводил плечами, поправлял винтовку и просительно смотрел на Петровича.

Глядя на Юрку, Каргин тоже поддался азарту, даже шагнул вперед, чтобы и его увидел Петрович. Тот понял все и отрывисто бросил, строго глядя почему-то в глаза Ивана:

— Валяйте.

После того как они отошли немного от товарищей, Юрка неожиданно остановился и спросил:

— Патронов сколько?

— Ни одного.

— Сундучишь? От товарища таишься?

Обиженный, Иван расстегнул подсумки, раскрыл затвор.

Юрка вынул обойму из своей винтовки:

— Бери половину.

Патронов пять. Каждый из них, если умело действовать, — смерть врагу и личное спасение. Так бы и сцапал все пять!

Иван берет только два.

Тут их и догнали товарищи.

— Мало нас, нечего группу делить, — пояснил Петрович.

Вот она, дорога. Самая обыкновенная, проселочная, каких полно везде. На ее обочине лежит перевернутая и сломанная телега. Скорее всего танк мимоходом зацепил ее и прошелся гусеницей. В лепешку раздавлен старинный медный самовар. Вокруг него, бывало, чаевничала вся семья, текли мирные беседы. А сейчас он лежит в пыли, искалеченный, как и счастье еще одной семьи.

Над дорогой серая туча пыли. Она зацепилась за вершины деревьев, не может оторваться от них и неслышно рассыпается, покрывая нежную зелень листьев и травы плотным серым налетом.

Скрылся за поворотом дороги концевой танк, на прощание выстрелив копотью в розовеющий куст шиповника, появились три грузовика с солдатами. Переваливаясь на ухабах, машины прошли мимо разбитой телеги и самовара-лепешки.

Иван Каргин лежал так близко от дороги, что видел равнодушные глаза немцев. И все же он не выстрелил: двумя патро-

нами не изольешь всю злобу, не отомстишь за все людские страдания, а сам вновь останешься безоружным.

Солнце давно село, и сумерки густеют.. Еще немного — и лес на противоположной стороне дороги сольется в сплошную зубчатую стену. Иван Каргин вдруг с отчетливой ясностью понимает, что они, пять советских солдат, бредущих по вражескому тылу, попусту тратят драгоценное время. Вообще за дни одиночного скитания он убедился, что лучше идти днем. Фронт, может быть, и следует переходить или переползать ночью, а идти к нему нужно только днем: все прекрасно видно, и за час под ноги ложится больше километров.

Значит, сегодняшний вечер потерян. Считай, что только по своему недомыслию не пройдены сегодня километры, которые приблизили бы к заветной цели.

В этот момент на дороге появилась толпа людей. Они шли во всю ширину дороги. Когда колонна поравнялась с местом засады, Иван разглядел, что это пленные. На многих были грязные, окровавленные повязки. Шли устало, обреченно волоча ноги.

По обочинам дороги шагали конвоиры в сапогах с широкими голенищами, из которых торчали магазины автоматов. Конвоиры не кричали, не подавали команд голосом, если кто-то из пленных, по их мнению, нарушал порядок. Просто подходили и со всего размаха тыкали автоматом под ребро. Пленный чаще всего вскрикивал и сгибался пополам. Моментально соседи закидывали его руки себе на плечи и почти волокли дальше по дороге.

От колонны метров на сто отстали конвоир и пленный. Русский солдат с окровавленной повязкой на голове часто останавливался, бессильно опустив голову. Конвоир каждый раз равнодушно, без злобы ударял его автоматом. Пленный делал несколько неверных шагов, и все повторялось сначала. У немца на пряжке поясного ремня было выдавлено: «Бог с нами»...

Но вот пленный опять остановился. Покачнулся и упал. Его пальцы сгребали дорожную пыль.

Конвоир закинул автомат за спину, достал из кармана пистолет. Выстрел прозвучал глухо.

Иван Каргин еще до конца не поверил своим глазам, а на дорогу уже выполз Юрка, встал и, шатаясь, побрел за колонной пленных. Без труда конвоир догнал его и привычно ткнул автоматом в спину. Но Юрка не был истощен до предела.

Ловким ударом ноги он выбил автомат из рук врага и вцепился в его горло пальцами, которые от злости в эти минуты были невероятно сильны.

Иван Каргин не знал, какая сила и когда выбросила его на дорогу, нацелила штык в спину немца. Он опомнился, лишь услышав Юрку:

— Ходу!

Иван метнулся в темноту, густую под деревьями, и оглянулся.

На дороге лежали два неподвижных тела. Около немца оружия не было, значит, взял Юрка... И все же Иван вернулся, сорвал сапоги с ног фашиста. В лесу протянул их Григорию:

— Держи.

— Нашего похоронить бы надо, — ответил тот.

Лопат не было. Ножей тоже. Тело солдата просто утащили в лес, втиснули в яму под корнями упавшего дерева и завалили хворостом.

Иван Каргин никогда не выступал на собраниях: нечего болтать о том, что старшие решить могут. А сегодня, когда остановились на ночлег, начал первый:

— Ежели разобраться, то нам надо менять план действий.

— Опять на брюхе ползти? — взвился Григорий, но Павел прикрикнул:

— Не тарахти!

— Что предлагаешь? — спросил Петрович.

— А то, что у пятерых нет настоящей боевой силы. Это тебе даже не отделение... От наших щипков фашисты не сдохнут, даже не замедлят наступления... Скорее надо к своим пробиваться, чтобы сообща действовать.

— Значит, глаза пусть видят, а руки вмешиваться не смей? — по-прежнему горячился Григорий.

— И чего ты, Гришка, такой бузотеристый? Иван дело предлагает, мысль общую высказывает, а ты все поперек дороги встать норовишь, — сказал Юрка.

Он теперь владел единственным автоматом, а пистолет немецкого солдата отдал Петровичу.

— Бить фрицев будем. Если скорости нашей не помешает, — высказал свое мнение Павел, ложась на землю и заботливо прикрывая затвор винтовки подолом гимнастерки.

— Так и запишем в резолюции, — подвел итог Петрович.

Светлая россыпь звезд запуталась в ветках деревьев. Где-то далеко на востоке рвутся бомбы. Их разрывы доносятся тяжелыми вздохами.

— Я все над твоими словами, Иван, думаю, — шепчет Петрович. — Это когда ты сказал, что глупая у тебя честность была. Ну, когда ты часовым стоял... Глупой честности не бывает. Есть только одна большая честность... Ты слушаешь меня?

— Валяй дальше.

— Ни умной, ни глупой честности нет. Это все ты сам выдумал. Беда твоя в том, что ты не учел изменений обстановки. Сам глупость сотворил, а на честность и параграфы устава валишь! К примеру, поставили тебя лодки охранять. Чтобы без соответствующей бумажки никто не брал их. И вдруг — человек погибает, спасти его можно только с лодки. Как поступишь? Дашь лодку без письменного на то разрешения или нет?

— Тут и спрашивать нечего!

— Вот! Тут ты сразу сообразил, что начальство просто не могло предусмотреть всего: жизнь, она такое отчебучивает.

— Я и говорил, что с мозгой к параграфам подходить надо.

— Правильно говорил. А вот к честности зря ярлык привесил. Это я тебе по-дружески говорю.

— Может, и так...

Помолчали и опять шепотом:

— Иван, а ты в нашу победу веришь? Что разобьем фашистов? Веришь?

Вопрос прямой, на него нужно отвечать так же прямо. Но что? Не слыхал еще рядовой Каргин ни об одном бое, который выиграли наши. И враг по-прежнему стремительно движется на восток, к Москве.

Казалось бы, плохи дела, а в душе держится вера в победу, и точка! И доказательств нет, а вера в победу крепкая!

— Без этого — ложись и сразу помирай, — наконец говорит Каргин.

3

Вторую неделю идет Каргин с новыми товарищами. Первые дни донимала жара, а теперь одолели грозы. В день хоть одна да сольет раскаты грома с грохотом уже близкой канонады.

Почти две недели во вражеском тылу... Еще гуще обросли бородами, еще больше осунулись и оборвались. На солдатских ремнях пришлось просверливать новые дырочки, основательно отступив от крайней. Все время хотелось есть и спать. Особенно — спать. И это легко объяснимо: убили немца — в его ранце обязательно найдешь хоть пачку галет, чтобы заморить червячка. Да и скот безнадзорный по лесу бродит. Конечно, жаль было резать корову из-за нескольких кусков мяса, но однажды случилось и такое: так и так в лесу погибнет.

Ели мясо без соли и хлеба. Одно мясо ели.

А вот спать не приходилось. Днем — погоня за быстро отступающим фронтом. До полной темноты погоня. Потом падали на мокрую землю, забывались на несколько минут, чтобы вскоре проснуться и лязгать зубами от холода. В одну из таких бессонных ночей Павел вдруг разговорился:

— Как бате правду про Володьку написать — ума не приложу. Мама умерла сразу после родов, батя сам нас нянчил, из-за нас и не женился, чтобы мачехи не было... А Володька башковитый был. И любили же мы с батей его!.. Чтобы Володька смог на инженера учиться, я после семи классов в трактористы пошел: батя — кузнец, тяжело ему было двоих поднимать.

— Значит, вы — колхозники, — уточнил Петрович.

— «Красный пахарь», Кировская область, — ответил Павел.

— Земляк, выходит? — с радостью воскликнул Каргин. Ему хотелось хоть немного отвлечь Павла от тяжелых дум, поэтому и заговорил излишне оживленно: — А я — пермский! Вечером сел в поезд, а утром уже у тебя!

Павел посмотрел на него. Была ночь, но свет луны падал на лицо Павла, и Каргин хорошо видел его грустные глаза. В них были удивление и немой вопрос: «И ты можешь сейчас говорить такое?» Каргин стал закуривать, чтобы скрыть смущение.

— А вот меня и искать не будут, детдомовский я. Из-под Пензы, — излил свою тоску Юрка.

Что ответить Павлу? Как утешить Юрку?

Не нашлось нужных слов, лишь поэтому Петрович и прикрикнул:

— Раскаркались! Мы живые еще!

Всегда хотелось есть и спать, но еще сильнее было желание поскорее догнать фронт, перейти его и соединиться со своими.

За все минувшие дни ни разу не было разговора о причинах отступления Красной Армии: каждый понимал, что он очень мало знает, чтобы делать какие-то выводы. Действительно, что они знали? Да, враг по-прежнему ходко продвигается здесь, на центральном направлении. А как на юге? Например, под Одессой? Что под Ленинградом и Мурманском? Может, там уже и началось желанное?

Что сами видели, в чем сами убедились — бои с каждым днем становятся ожесточеннее, кровопролитнее: на запад теперь шли не только колонны пленных, но и вереницы машин с ранеными немцами.

Особенно запомнилась деревня Няньковичи. Вместо домов — груды искрошенного и почерневшего кирпича. Все деревья срезаны, до корней расколоты снарядами. Ни одна собака не облаяла, когда шли по деревенской улице, ни один воробей не прочирикал. Мертвая пустыня.

Зато за околицей ровными рядами застыли новенькие деревянные кресты. На каждом — вязь черных готических букв. Больше сотни таких крестов.

И девять развороченных снарядами фашистских танков.

— Да, было дело, — сказал Григорий.

В голосе его явственно прозвучало уважение к мужеству неизвестных ему солдат и даже зависть к их подвигу.

Радовались Каргин с товарищами, глядя на фашистское кладбище в Няньковичах. Но как бы они ликовали, если бы тогда к ним в руки каким-то невероятнейшим чудом попала директива Гитлера № 34 от 30 июня 1941 года: «...Изменившаяся за последнее время обстановка, появление перед фронтом и на флангах группы армий «Центр» крупных сил противника, положение со снабжением и необходимость предоставить 2-й и 3-й танковым группам десять дней для отдыха и укомплектования заставили отказаться от задач и целей, указанных в директиве № 33 от 19 июля и в дополнении к ней от 23 июля. Исходя из этого, я приказываю... группе армий «Центр», используя удобную местность, перейти к обороне. В наступлении могут быть поставлены ограниченные цели».

Были у Каргина с товарищами и встречи с населением: сами осмелели и заглядывали на одинокие хутора и в маленькие деревеньки, чтобы съестного добыть и обстановку узнать, да и в лесу много беженцев обосновалось. Они и рассказывали, что фашисты сразу всех коммунистов, комсомольцев и евреев уничтожают, открыто заявляют: дескать, под корень вырежем большевиков, стахановцев и прочих активистов советского строя.

Расскажет иная женщина о своих мытарствах, сунет каравай хлеба, ядреную луковицу или еще что, а у самой в глазах беспросветная тоска и неприкрытая жалость к солдатам-бедолагам, которые отбились от части и мыкаются по лесам. Так и провалился бы сквозь землю от этих взглядов!

В глазах мужиков сочувствия нет. Эти поделятся самосадом-горлодером, а потом такое загнут, что хоть ложись и умирай или беги отсюда без оглядки.

— Значит, драпаете, защигнички? — начнет один.

— По-научному — отходят на заранее подготовленные позиции, — немедленно прицепится второй, и — пошло!

Почти все мужики в глаза такое говорили. Лишь один с иной душевной закваской попался. Его домик в три окна одиноко стоял у самой кромки болота.

Домик ветхий, доски крыши мхом подернуты. Хозяин под стать своему жилью: волосы седые клочьями, морщины, как паутина, на лицо легли. Того и гляди, развалится эта рухлядь. А речь такую повел:

— Ох, грехи наши, грехи тяжкие. За них господь карает... Господь-то скорбит, на вас глядючи. Нешто вы, пятеро, осилите ворога, который под себя всю Европу подмял? Бросьте железо в болото и в молитве жаркой найдете успокоение...

— Не скорбит, а смердит твой бог! Какой он, бог, справедливый и всезнающий, если позволяет извергам так лютовать на земле? У фрицев и на бляхе ремня написано: «Бог с нами», — а что вытворяют?.. Втопчем последнего фашиста в землю, тогда и оружие из рук выпустим. Но не бросим, как ты поешь, а в положенное место определим. Чтобы всегда в исправности и готовности было! — обозлился Григорий и единым заходом, почти без передыха, выпалил все это.

— И вообще, дед, помирать тебе пора, лишний ты на земле, — добавил Юрка.

— Вот и врешь, гаденыш! — неожиданно сильным голосом заорал старик, выпрямился и сразу помолодел на несколько лет. — Врешь! — И опять спокойно, елейно, но с издевкой: — Картошечку-то мою жуете, а говоришь, что я лишний на земле? Помру, кто подаяние вынесет? Люди — зверья лютее.

Юрка со всего размаха бросил недоеденную картофелину в стену дома с такой силой, что картошка расплющилась, как снежок, разбрызгав по сторонам жирные кляксы.

— Вмажу между глаз? — спросил Юрка, лязгая затвором автомата.

У Ивана внутри все клокотало от злобы, но поднять руку на старика он не мог, это казалось ему подлее подлого. Он только и сказал:

— Без нашей помощи скоро сдохнет.

Уже в лесу Петрович заметил:

— А картошку ты, Юрка, зря бросил. Она не виновата, что у хозяина душа подлючая.

Встречались в лесу и с такими же солдатами-горемыками, какими были сами. С некоторыми какое-то время даже шли вместе, но потом дорожки разбегались: у тех и у других не было друг к другу полного доверия. Кроме того, каждый был глубоко убежден, что малой группой легче просочиться через фронт.

А позавчера натолкнулись на группу человек в пятнадцать. Эти величали себя «особым летучим отрядом по уничтожению фашизма». Название, ничего не скажешь, подходящее; правда, насчет уничтожения всего фашизма — это они здорово подзагнули. А вот все прочее, что в войну важнее, чем название отряда...

Даже самого обыкновенного дневального в отряде том не было!

Командир отряда не понравился Каргину. Ему было чуть больше двадцати. Как и капитан Кулик, весь ремнями перекрещенный. А вот уставной требовательности, командирской властности — ни на грош. И знаков различия нет. Следов их даже не видно ни на рукавах, ни на воротнике гимнастерки командирского покроя. Просто сидит на пеньке обыкновенный парень, улыбается и говорит:

— Дайте им, хлопцы, граммов по двести и закусить что. Намаялись, видать, пока на нас набрели.

— Не пью, — сказал Петрович, отстраняя рукой кружку.

— Монахи и те не брезговали! — загоготал один.

— Ша! — прикрикнул командир, повел бровью, рассеченной уже побелевшим шрамом.

— Нам бы поспать немного, потом и разговор веселее пойдет, — чтобы хоть немного смягчить отказ Петровича, пообещал Каргин.

Все пятеро отказались от водки, улеглись плотной кучкой под деревом, притворились спящими, а сами вслушивались в разговоры, старались по ним понять, что представляют из себя неожиданные знакомцы.

Притворялись спящими, а рядом кто-то кого-то ругал за съеденные мясные консервы, кто-то кому-то выговаривал за мыло, взятое без спросу.

Григорий не выдержал, встал, шепнул Петровичу:

— Пойду на разведку.

Примерно через полчаса изрядно хмельной Григорий вернулся и, размахивая руками, повел рассказ. Если верить ему, то в этом отряде все ребята боевые и смелые до отчаянности: каждую ночь на фашистов налетают, даже два маленьких гарнизона разгромили.

— Гад буду, ребята мировые! — рассыпался Григорий. — С ними мы знаешь как насолим фашистам? Будь здоров и не кашляй!

Павел, как обычно, слушал молча и не выдавал своих мыслей. Зато Юрка пренебрежительно и недоверчиво хмыкал. Этот как на ладони: обидно, что не ему пришла мысль о разведке, и выпить хочется, вот всеми возможными способами и старается подчеркнуть ничтожность сообщений Григория.

— Твое мнение, Иван? — спросил Петрович.

— Мы, конечно, каждую ночь на фашистов не нападали, ихних гарнизонов не громили... Что-то не углядел я у них трофейного оружия. У нас пять автоматов, гранаты, а у них что?

— Вот именно, что? — обрадовался Юрка. — Брехня все! И про гарнизоны, и вообще!

— Войну в лесочке переждать собираются, — процедил Павел, поднялся, положил руки на автомат. — Пошли, что ли?

Их никто не задерживал, не уговаривал. Чувствовалось, что не они первые отвергают гостеприимство хозяев.

Концевым плелся Григорий. Сначала он смачно ругался, обвинял товарищей в эгоизме и зависти, потом, когда убедился, что никто не лезет в спор с ним, сбавил тон и лишь ворчал что-то неразборчивое, так невнятно ворчал, что даже Каргин, который шагал метра на два впереди, ничего не мог понять.

Однако все это, даже сегодняшнее, — уже в прошлом, в данный момент главное для них — фронт. Он совсем рядом, слышны даже автоматные очереди. Скоро, почти сейчас, нужно будет переходить его.

Чем закончится эта попытка?

Об этом не хотелось думать, но мыслям не прикажешь. А тут еще и фронт непрерывно грохочет, к нему на полном газу несутся верткие истребители, к нему журавлиными косяками плывут тяжелые бомбардировщики. В заунывном вое многих моторов слышится одно слово, будто они выговаривают его: «Везу... Везу... Везу...»

А жить каждому хочется.

У Каргина даже мелькнула мыслишка, что, пожалуй, лучше выждать момент, что поспешность в таких делах излишня.

Все пятеро волновались. Об этом красноречивее слов говорила непрерывная зевота Григория; Павел стал бледнее обычного и смотрел только себе под ноги. А вот Юрка не знал, куда ему деть себя, и очень обрадовался, когда Петрович в третий раз за день принялся протирать свой автомат.

Когда начало темнеть, Петрович обвел всех глазами (они у него, оказывается, голубые и очень чистые) и сказал:

— Меня вы сами командиром выбрали, но раньше я своей воли не навязывал, а сейчас слушай приказ... Оружие привести в полную боевую готовность, интервал держать в пределах видимости. И еще — никаких разговоров. — Теперь Петрович в упор смотрел на Григория.

— Дурак он, что ли? — вступился за товарища Юрка.

— Головным — я, замыкающим — Каргин... Кому страшно, кто отколоться от нас желает — прямо говори, силком удерживать не будем. Случится такое позднее — считаю дезертирством. Со всеми вытекающими последствиями. Понял, Каргин?

На густой черноте неба — багровые всполохи пожаров. Они то ослабевают, теряя силу, то яркой кровью вновь расплываются по небу. Справа и слева басовито ухают пушки. Некоторые снаряды, злобно урча, проносятся над лесом.

Артиллерийские залпы всю ночь указывали дорогу. Над землей, в низинах, уже начали скапливаться белесые пятна тумана, когда неожиданно вышли к речке.

— Опять Припять! — прошептал Григорий и тихонько выругался.

— Рядом буду, — успокоил Каргин, вглядываясь в темноту, которая затопила реку и тот берег.

— Ждите моего сигнала, — приказал Петрович и, хватаясь за ветки кустов, нависшие над черной водой, спустился с небольшого обрыва.

Еще видели, как он вошел в реку; у самого берега ему было по пояс...

Вот уже одна голова торчит...

Ничего не видно. И не слышно...

— Стой, кто идет? — рявкнул тот берег, и тотчас — звонкий выстрел винтовки.

Что-то тяжелое упало в реку.

На том берегу послышались треск сучьев, людские голоса.

— Вот отсюда он вылезал, тут я его и срезал, — торжествует кто-то.

— Сволочи! Петровича убили! — кричит Григорий.

На том берегу выжидательная тишина. Потом оклик:

— Эй, кто там?

— Не стреляй, один иду, — отвечает Каргин и, не таясь, входит в реку. Он не замечает, холодная вода или нет. Сейчас он не способен на это. Сейчас в его душе такое творится, что разобраться в этом — свыше сил человеческих. Ведь две недели Каргин с товарищами бродили по вражеским тылам! И все это только для того, чтобы настала вот эта минута, когда русский голос окликнет тебя: «Стой, кто идет?»

И вот — наконец-то! — в тревожной ночной тишине прозвучал этот желанный оклик. Кажется, сбылась мечта! Но тут же оборвалась жизнь Петровича...

Только ступил Каргин на берег, как сильные руки вырвали у него оружие, в спину уперся холодный штык и над ухом, предостерегая, кто-то сказал:

— Не балуй!

Быстрый и неумелый обыск. Потом тот, который здесь был за старшего, спросил:

— Много там еще?

— Трое.
— Скажи, что могут переправляться.
— Григорий плавать не умеет.
— Передавай приказание!
И он крикнул. Потом слышал, как товарищи переговаривались, а о чем — не разобрал.
Наконец бесстрастный голос Павла:
— Плывем, встречайте.
Каргина к реке не пустили. Около него оставили двух человек, а остальные изготовились к стрельбе с кромки берега. Правда, кто-то вошел в реку. Возможно, чтобы подсобить Григорию.
Товарищей тоже разоружили. И сразу же сомкнулось кольцо конвоиров.
— Шагом марш!
— А Петрович? Его достать, похоронить надо, — заволновался Григорий.
— Не твоя забота!
И тут Юрка зло оттолкнул ближайшего конвоира и зашипел, еле сдерживая злобу:
— Ты что, гад, мне штыком ребра щекочешь? Ты фашиста так, а я свой!
— Это еще проверить надо! — так же злобно ответил конвоир.
Прямо в сердце ударила догадка: не верят, ни единому слову не верят. Никому из них не верят!
Один из конвоиров, видимо, разгадал их невеселые мысли и успокаивающе бросил:
— Ничего, там разберутся.

4

Иван Каргин час назад впервые вошел в эту горницу-кухню, но и русская печь, и широкая скамья в одну толстенную плаху, вытянувшаяся вдоль стены, и простой обеденный стол, за которым еще недавно восседала большая и работящая крестьянская семья, а теперь хозяином расположился майор, — все это ему знакомо: товарищи уже побывали на допросе и точно обрисовали обстановку и даже самого майора, донимавшего их, как им казалось, ехидными и излишними вопросами.
У майора лицо широкое, серое от усталости и недосыпания. Он все время держит в зубах папиросу. Если она гаснет, некоторое время, не замечая этого, жует мундштук, потом, спохватившись, прикуривает. Но чаще майор жует мундштук до тех пор, пока не доберется до табака. Тогда он чертыхается, выплевывает изжеванную папиросу в ведро, прижавшееся к ножке стола, и немедленно берет в рот новую.
Много папирос он изжевал. Каргин даже отметил, что майор не столько выкуривает, сколько переводит папирос.

Спрашивал майор, где и с кем был Каргин все минувшие дни, что видел и слышал. Требовал самого обстоятельного ответа и все записывал.

В отличие от товарищей Каргин не считал эти вопросы лишними, ненужными: понимал, что они заданы для выяснения правды. И отвечал так подробно, как только мог.

Наконец майор прочитал ему свою запись, предложил расписаться на каждом листке в отдельности и аккуратной стопкой уложил их перед собой.

— Разрешите обратиться, товарищ майор? — спросил Каргин, вытягиваясь, как того требовал устав.

Майор вскинул глаза на Каргина.

— Что будет тому?.. Который Петровича убил?

Голос майора прозвучал неожиданно глухо:

— Его вины нет.

Если бы майор сказал, что того торопыгу за убийство Петровича приговорили к расстрелу, Каргин первый стал бы от своего и товарищей имени просить о смягчении приговора. Но услышанное было так невероятно, что он растерялся, только и смог пробормотать:

— Как же так? Убил человека — и вины нет?

— Война, ничего не поделаешь.

Не мог же майор сказать этому солдату, что уже сегодня утром, когда он доложил начальству о ночном случае, ему ответили с явным неудовольствием:

— Занимайтесь, майор, своими прямыми обязанностями... Да и что вы знаете о нем, об убитом?.. Прощупайте-ка поосновательнее его товарищей, так вернее будет.

И вот он, майор, прощупывает.

Он начал службу в ЧК у самого Дзержинского. Ему не раз приходилось разоблачать ярых врагов Советской власти, которые, прикрываясь маской доброжелательности, черт-те что творили. А сейчас, когда война, грохоча, катилась по земному шару, его прямая обязанность — проверять всех, кто на его участке выходит из окружения. И командиров, и солдат проверять.

Только разве узнаешь полную правду о человеке путем одних допросов, если у тебя нет ни малейшей возможности проверить его показания? Кроме того, матерый шпион так складно врет, что...

Майор был глубоко убежден, что лучшая проверка — сама жизнь. Перешел человек фронт, явился к тебе — допроси его и, если нет ничего подозрительного, немедленно гони в действующую часть!

Однако не дано майору такого права.

Ничего этого не высказал он Каргину, только с сочувствием посмотрел в расширенные от изумления глаза солдата. И еще не сказал майор, что капитан Кулик поблизости, что он вот-вот прибудет сюда, чтобы опознать своего солдата. Не сказал лишь потому, что кругом беснуется война и капитан Кулик по ее вине

запросто может и не увидеть Каргина. Пуля или осколок помешает. А раз так, то зачем преждевременно обнадеживать солдата?

Вот и сидели они, майор и солдат, друг напротив друга. Майор вроде бы углубился в бумаги, а Каргин почему-то именно сейчас вспомнил о той большой поляне в лесу, где он перед самым призывом накосил три стога сена.

Интересно, косил там нынче отец или нет?

— Разрешите войти? — раздается с порога знакомый голос, и сразу исчезли видения прошлого. — Товарищ майор, капитан Кулик прибыл по вашему вызову!

— Товарищ капитан! — вырвалось у Каргина. Его так переполнила радость, он был так счастлив, увидев своего командира, что забыл про уставы и бросился к нему, раскинув руки.

Капитан Кулик повел в его сторону холодными глазами. И Каргин остановился. Потом торопливо и привычно рванул руками гимнастерку, чтобы заправить ее под ремень, которого не было (арестованному ремень не полагается), и замер по стойке «смирно». Но глаза его по-прежнему сияли, радость по-прежнему лилась из них.

А капитан Кулик смотрел на Каргина, узнавал и не узнавал его.. Капитан был готов дать честное слово, что неоднократно встречал этого солдата, а где точно — не вспомнить.

Возможно, и из его роты этот солдат. Возможно... Но не отличник боевой и политической подготовки, не активист-общественник. И не нарушитель дисциплины. Это — точнее некуда: и отличников, и активистов, и нарушителей дисциплины он, капитан Кулик, знает не только по фамилиям.

— Узнаете? — спрашивает майор.

— Личность знакомая...

— Рядовой Каргин, второго отделения третьего взвода вашей роты, — спешит на помощь Каргин. Он не обижается на командира, даже оправдывает его забывчивость: в роте около сотни солдат, разве всех упомнишь?

— Подтверждаете сказанное Каргиным? — В голосе майора вроде бы скрытая ирония звучит. Словно он предвидит, заранее знает ответ Кулика.

Скрипнули ремни на крутых плечах капитана, чуть порозовела шея над белоснежной полоской подворотничка.

— Понимаете... Не могу полностью положиться на свою память, дело-то ведь серьезное.

Тогда майор ровным голосом и бесстрастно, очень кратко и точно пересказал капитану показания Каргина.

— Помню, было такое дело, — оживился капитан. — Только тот караул полностью погиб, выполняя боевое задание.

— Никак нет, я живой! — радуется Каргин. Он надеется и ждет, что вот сейчас безграничная радость разольется по мужественному лицу командира. Но тот хмурится, безжалостно бьет словами:

— Удрал с поста? Товарищей в беде бросил?.. Подлец! Расстрелять тебя мало!

В его голосе слышались искренний гнев, презрение и даже обида. Дескать, как же я не распознал тебя раньше, почему не выгнал из роты год назад? Сделай так тогда — не пал бы сегодня твой позор на мою голову, на всю нашу славную роту.

— До самого последнего момента был на посту, — непослушным, будто деревянным, языком говорит Каргин.

— Врешь! Врешь!.. Почему вернулся только ты один? Почему все прочие убиты, а ты живой стоишь здесь и нахально глаза таращишь?.. Все ты врешь, — убежденно закончил капитан.

— Выходит, моя вина в том, что я живой?

Но капитан Кулик уже отвернулся, считал вопрос решенным, и рядовой Каргин теперь видел только его спину, перечеркнутую ремнями.

Так же перечеркнуты, безвозвратно перечеркнуты оказались и все испытания, через которые прошел он, рядовой Каргин.

Опустив голову и не глядя по сторонам, возвращался Каргин под конвоем в тот самый сарай на окраине деревни, где под арестом сидели товарищи. Разрывы вражеских мин звонкими хлопками били по ушам, чего не было утром. Почти у каждого деревенского домика грудились раненые, меченные окровавленными повязками. Ничего этого не видел, не замечал Каргин. Перед его глазами, закрывая от него весь мир, маячила только спина капитана, перечеркнутая новыми, поскрипывающими ремнями.

Конвоир вел Каргина к одинокому сараю, скособочившемуся на южной окраине деревни. А по дороге, ведущей на запад, к фронту, широко шагал капитан Кулик. Лицо его было озабочено. Но думал он не о судьбе рядового Каргина — тот теперь для него что пустая и ржавая консервная банка, случайно попавшая на тропинку и уже отброшенная ногой. Капитан Кулик даже мысли не допускал, что ошибся, взвалив на солдата столь тяжкое обвинение. Да, на войне убивают. Так часто и много убивают, что сейчас у него в роте только сорок два штыка. Все прочие пали смертью храбрых. Значит, караул из одиннадцати человек просто был обязан погибнуть, когда на него навалилась отлаженная военная машина фашистов. Так он, капитан Кулик, и доложил по команде. И вдруг является какой-то прохвост и нахально врет, будто ему в самую последнюю минуту удалось невредимым выскользнуть из той чудовищной мясорубки!

Только не на дурака нарвался, мы и сами теперь в войне мало-мало разбираемся. Нас теперь, как того воробья, на пустой мякине не проведешь!

Капитан Кулик пришел в армию в 1928 году. Сначала был красноармейцем, а теперь стал командиром роты. Влюбленный в армейскую дисциплину, он считал выполнение приказов начальников смыслом всей своей жизни. Приказывают капитану Кулику маршировать с ротой по дорогам — он честно марши-

рует, стараясь прибыть в указанный пункт точно в назначенное время. На все вопросы о том, куда и зачем идет рота, у него был один ответ, который он считал точным и исчерпывающим:

— Командование приказало!

Он сам готов был выполнить любой приказ. Этого же требовал и от подчиненных. Уже одно то, что рядовой Каргин догнал роту, насторожило капитана: лично он скорее бы умер у порога охраняемого объекта, чем признал бессмысленной его оборону и подумал о спасении собственной жизни. А этот еще и радуется, что уцелел! Да настоящий человек, окажись он на месте этого солдата, глаз бы на людей не поднял!

5

После простора деревенской улицы в сарае так темно, что Каргин сначала увидел только лица своих товарищей. Белыми пятнами придвинулись они из темного угла.

— Что так долго? Думали, тебя сразу в часть, — сказал Григорий, пряча радость под напускным равнодушием.

Каргин не мог врать этим парням, которые, казалось, пока только одни полностью верили ему. И он рассказал все.

Григорий с Юркой переглянулись, а Павел взял Каргина за локоть, потянул за собой:

— Сядь, отдохни.

На земляном полу лежит шинель. Ее, одну на всех, дали ночью, чтобы было теплее. На нее и сел Каргин, обнял руками колени, с такой силой сцепив пальцы, что кисти широких и сильных мужицких рук опутали свинцовые узлы вен.

Когда Каргин был на допросе, остальные, хотя и не говорили друг другу об этом, считали его дело выигрышным: по их мнению, Каргина должны были немедленно освободить из-под стражи и если не наградить, то уж отделенным назначить — меньше некуда, и вдруг — трибунал. Слово, знакомое с детства. Кажется, ты еще и ходить не умел, а уже слышал и понимал его. Ведь по приговору трибунала в годы гражданской войны расстреливали заклятых врагов молодой Советской Республики.

Сейчас, когда шла эта большая и такая ожесточенная война, трибунал безжалостно карал всех изменников, дезертиров и прочую сволочь. За страшную вину карал.

И вдруг... Он, военный трибунал, наложил свою железную руку на рядового Каргина...

Шальная мина разорвалась рядом с сараем, ее осколки смачно впились в трухлявые бревна. Никто не заметил этого: по сравнению с бедой, нависшей над Каргиным, все прочее — мелочь. И главное — без вины влип Каргин...

Григорий из последних крошек самосада свернул цигарку, прикурил и чуть не насильно всунул в словно омертвевшие пальцы Каргина. Нехотя Иван взял ее, но курил жадно, и самокрутка сгорала с лихорадочной быстротой. Но Григорий да-

же не напомнил о себе: может, полегчает товарищу, когда всласть накурится?

Юрка нетерпеливо ерзал: ему ожидание — что пытка.

А Павел навалился спиной на стенку и, не мигая, смотрел на клочок голубого неба, зацепившийся за рваную кромку пролома в крыше сарая.

Безжалостно растерт каблуком окурок, вдавлен в землю. Больше молчать невмоготу:

— Сам капитан Кулик сказал, что я паразит из паразитов и меня расстрелять мало.

— А это он видел? — Юркин кукиш злобно покачивается перед глазами Каргина.

— С чего он так на тебя взъелся? Ты, поди, упрекнул его, что он караул не снял? — спрашивает Павел.

— Вроде бы весь наш караул должен был погибнуть. А тут я живой...

— Сволочь он, твой капитан! — категорично заявляет Григорий.

— И как таких в командирах держат! — вторит ему Юрка.

Опять сидят молча. Разрывы вражеских мин вроде бы стали чаще и злее. А вот пулеметная и автоматная скороговорка звучит явно яростнее. Ясно, что товарищи опять ведут неравный бой, изнемогают в борьбе. А ты сиди тут арестантом!..

— Может, в бега Ивану пуститься? — вдруг шепотом предложил Юрка. — В крыше дыр — не счесть, через любую газуй. Я подзову караульного к двери, заговорю ему зубы, а Иван в этот момент и сиганет... Прибьется к другой части...

— Дело Юрка говорит! — горячо шепчет Григорий. — Прибьется к другой части, покажет себя в бою и только тогда откроется.

— Договорились? — торопит Юрка.

— За нас, Ваня, не беспокойся: скажем, что не видели, когда ты утек, — обнадеживает Григорий.

Мины нещадно молотят по деревне. В крыше сарая заплата не из голубого неба: серая пелена дыма колышется вместо нее. Автоматную трескотню заглушают зловещее завывание многих немецких пикировщиков и злобные очереди их пушек.

— В бега — нет на то моего согласия, — тихо и твердо говорит Каргин. — Еще большее позорище.

— И караульного под трибунал подведешь, — говорит Павел. — И еще... Наш батя, когда о смерти Володьки узнает, сердце в кулак зажмет, страшную боль в нем носить будет, но глаз перед людьми не опустит... А скажи ему, что сын — гад ползучий, сума переметная, — умрет от позора... О семейщиках тоже думать надо.

У каждого есть семья. Например, у Каргина — мать, отец, два брата и три сестры. Да еще десятка четыре родни всякой. Выходит, вот она, семья какая! Ее, что ли, на позор всеобщий обречь? Лучше собакой сдохнуть, чем такое допустить!

Даже детдомовец Юрка замолчал, когда Павел упомянул про семью. Да, у него нет ни отца, ни матери, но зато есть Мария Карповна — воспитательница, с которой он, как с матерью, переписывается последние годы. Есть много знакомых, приятелей, друзей. Даже враги имеются. Только они и обрадуются, случись с Юркой то, что он Ивану предлагает...

Видать, судьба у Ивана такая горькая, от нее не уйдешь.

Немецкий самолет с грохотом пронесся так низко над сараем, что заставил всех вскочить на ноги. Юрка мигом вскарабкался на стропила и выглянул в дыру. И сразу камнем на пол:

— Танки фашистские!

Где? Сколько? Что делают? Ни одного из этих вопросов задать не успели: с каждой секундой рев танковых моторов слышнее, он уже заглушает грохот боя.

Юрка первым падает на земляной пол, прижимается к нему и лежит, прикрыв ладонями голову.

Но немецкие танкисты нацелены на деревню, их не интересует сарай-развалюха, и грохот быстро удаляется. Каргин каким-то звериным чутьем понял, что спастись можно только сейчас, и метнулся к двери, ударился о нее всей тяжестью тела. Словно злорадствуя, скрипнула петля, но сама дверь ни на сколечко не отошла.

А Юрка, как и остальные, тоже уже все понял, опять взлетел к дыре в крыше и скользнул в нее. Через долгие секунды петля снова заскрипела, теперь — будто разочарованно, и дверь отошла чуть-чуть. В узкую щель и выскользнули.

У самой двери, прижимая к себе винтовку, лежал убитый караульный.

А танки уже хозяйничали в деревне. Вот один из них, слозно играючи, зацепился за угол дома и свернул его. Рухнула крыша, взметнув к небу тучу серо-оранжевой пыли, которая мгновенно смешалась с дымом горящих домов. Вся улица в огне. Только этот дом еще не горел, когда танк развоpотил его.

Прямо по дороге, вслед за фашистскими танками, шли уже знакомые тупорылые грузовики. Значит, оставалось одно — бежать в лес, пока не перерезан и этот путь, и побежали, перепрыгивая через свежие воронки от снарядов и бомб.

У самого леса фашистские танки, похоже, в боевом строю атаковали группу раненых. Прострочили их из пулеметов. Некоторых изорвали гусеницами, раздавили многопудовой тяжестью.

Только один из раненых был еще жив. Его седоватые волосы щетинились на подбородке. Голый по пояс, как шалью, укутанный бинтами, он лежал на спине и дышал тяжело, с хрипами, прерывисто.

— Ребята! — крикнул Павел.

Остановились.

— Взять надо.

Юрка, опередивший всех в бегстве, торопливо схватил ра-

неного за ноги. Но Каргин поднял с земли шинель и протянул ее Юрке. На шинели и понесли раненого в лес. Их уже заметили фашисты, пули противно взвизгивали над головой, вспарывали дерн около ног. И все же, чертыхаясь и матерясь, они не бросили раненого.

6

Остаток дня шли без отдыха. Спотыкались о корни деревьев, тихонько поругивались, когда становилось вовсе невмоготу тащить раненого, но шли, упрямо шли лесом на восток, где непрестанно грохотали пушки, рвались многие снаряды и бомбы.

Наконец потребность в перекурах стала столь частой, что Каргин сказал, остановившись:

— На сегодня хватит.

Уложили раненого так, чтобы его голова покоилась на вздутом корневище; сами расположились рядом. Юрка еще раз с тайной надеждой осмотрел винтовку, подобранную около убитого караульного; нет, все точно: осколок погнул ее ствол, и теперь она самая обыкновенная дубина. Вот и все оружие на четверых.

— Да, жизнь-жестянка, — бормочет Павел, устало откинувшись на ствол березы.

Каргин уловил растерянность в голосе товарища. Только поэтому и сказал тоном приказа:

— Первейшая наша задача — раздобыть оружие. Без него мы что цыплята против коршуна... Это задание тебе, Юрка. И Гришке. С рассветом — ноги в руки и марш!.. А мы с Павлом раненым займемся, носилки сообразим или еще что.

— Шинель-то у него комиссарская, батальонный он вроде, — обронил Юрка, даже не взглянув в сторону раненого.

И верно, на рукавах и в петлицах шинели были знаки различия батальонного комиссара. Выходит, нечаянно начальство спасли от верной смерти...

А Юрка усмотрел и другое:

— С ним придем — все подозрения снимут.

— Это еще как взглянуть, еще под каким соусом есть будут, — начал горячиться Григорий.

— Хватит вам! — прикрикнул Каргин. — Так и так у нас одна дорога: опять к своим пробиваться, опять ответ держать по всей строгости закона. А какой спрос с нас будет — гадать нечего.

Каждый уже думал об этом же, думал украдкой, пряча самое страшное в уголках памяти. А Каргин прямо сказал, что придется опять все испытать.

Значит, опять будут и стычки с немцами, и голод, и холод, и бессонница, и бесконечная дорога к фронту. И фронт будет. И переходить его опять придется...

Много тяжелого и неизвестного впереди. Но ничего не остановит, если отчетливо видишь цель, если она у тебя единственная и правильная.

Глава вторая

ВИТЬКА-САМОЗВАНЕЦ

1

Стена монастыря бросает густую черную тень на булыжную мостовую и этой тенью делит улицу на две части — светлую, играющую солнечными зайчиками застекленных витрин, и словно траурную — вторую, где господствует эта древняя высокая стена из серого камня, местами подернутого плесенью. По той, залитой солнцем, стороне улицы изредка проходят немецкие офицеры. У них невероятно блестящие сапоги и вздыбленные фуражки, в тени лакированных козырьков которых прячутся самодовольные глаза победителей.

Иногда по той же солнечной стороне проплывают еще и разряженный, недавно оживший лавочник, владелец мастерской по ремонту примусов, хозяин ресторана или еще какого заведения, ликвидированного в 1939 году, когда Пинская область со всей Западной Белоруссией присоединилась к Советскому Союзу. Эти подобострастно раскланиваются с немцами и угодливо улыбаются им, хотя те в ответ на заискивающие приветствия лишь высокомерно приподнимают подбородок.

Но зато на поклоны оживших богачей радостно улыбается розоватый толстяк. Он, выпятив брюхо-подушку, гордо стоит под новенькой вывеской: «Торговля колониальными товарами». Некоторые разговаривают с ним, и тогда до Виктора долетают «пан» или «панна» — слова, от которых становится зябко.

Толстяк продолжал улыбаться и тогда, когда мимо его лавки плелась колонна пленных. Тень стены монастыря бо́льшую часть колонны накрыла своим темным и холодным крылом. И безнадежность, застывшая на лицах многих пленных, и черная тень, распластавшаяся над ними, и монахи в черном одеянии, сурово глядящие на измученных людей из-под сводчатой арки монастырских ворот, — все это наполняло сердце щемящей тоской.

Виктору противно смотреть на ту сторону улицы. И вообще ему все омерзительно здесь, в Пинске, но он сидит на холодном камне у стены монастыря. Ему некуда идти. В апреле отца назначили директором школы в село около Кобрина, и он уехал. А Виктор остался в Тюмени у тетки, чтобы окончить девятый класс. Летом они с отцом условились встретиться, и, едва умолк последний школьный звонок, Виктор поехал к отцу.

Поехал, но не доехал: началась война, и немецкие самолеты атаковали поезд, когда он был где-то недалеко от Пинска.

Виктор и сейчас не может забыть того страшного воя бомб, устремившихся с прозрачной синевы к беззащитным зеленым вагонам. У него и сейчас спина покрывается мурашками, только вспомнит, как вдруг ослепительное пламя рвануло из головного вагона. А когда рассеялись пыль и дым, вагона уже не было, но горели другие, и на одной пронзительной ноте кричал кто-то.

А самолеты с черными крестами снизились почти до вершин низкорослых мохнатых сосенок и кружили, кружили над поездом. Пулеметных очередей Виктор почему-то не слышал. Зато увидел, как схватилась за грудь женщина, бежавшая рядом с ним, как подломились у нее ноги и как неловко она упала в зеленую траву, на которой серебрилась не успевшая опасть роса.

Страх гнал Виктора по лесу до тех пор, пока он не запнулся за корень дерева.

Виктор долго лежал и плакал. Плакал сначала от страха, потом от обиды, что оказался трусом. А давно ли мечтал бежать в Испанию, чтобы стать бойцом одной из интернациональных бригад?..

Да, он, комсомолец Виктор Капустин, — струсил! Как последнее ничтожество струсил и отлеживается в лесу, хотя там, у разбитого поезда, остались раненые, которые взывают о помощи!

Виктор высморкался, потрогал потайной карман, где хранился комсомольский билет, и встал. Он хотел немедленно вернуться к поезду. Но в какую сторону идти? Вокруг толпились только деревья. Ни взрывов бомб, ни рокота моторов не было слышно. Оглушительная тишина вокруг.

Трое суток плутал он среди болот и вышел к Пинску, еще издали заметив две высокие колокольни его монастырей.

Он надеялся найти в этом незнакомом городе хоть одного по-настоящему советского человека, чтобы посоветоваться с ним о том, как поступить теперь, а видит лишь этого самодовольного толстяка и других, подобных ему, которые тоже радостно сгибаются в поклоне перед немецкими офицерами.

Виктор тогда еще не умел замечать многого. Тогда его глаза еще схватывали лишь то, что лежало на поверхности, было явным. Вот поэтому он и не обратил внимания на бородатого селянина в постолах, который, низко поклонившись панам, поспешил спрятать под опущенными веками злые, ненавидящие глаза.

Многого тогда не понимал Виктор и поэтому ненавидел, считал чужим все в этом городе. Ему казалось, что он здесь лишний, а куда подашься, если адрес отца остался в чемодане, который он засунул под нижнюю полку вагона?

Да и нет сейчас отца в школе: не такой он человек, чтобы врагам служить. Наверняка с армией отступил или...

Вдруг рядом зашелестело платье. Виктор видел только его сборчатый подол и полные женские ноги в блестящих чулках и черных лакированных туфлях.

— У хлопчика несчастье? — проворковал над головой женский голос.

Это были первые слова, с которыми к нему обратились за последние три дня. Комок благодарности стиснул горло, и, чтобы эта добрая женщина не увидела его слез, навернувшихся на глаза, Виктор еще ниже опустил голову.

— Может, хлопчику негде жить? Может, хлопчик сегодня не завтракал? Как зовут хлопчика? — спрашивала женщина, лаская и согревая голосом.

— Виктор...

— О, Викто́р — это хорошо! — словно обрадовалась женщина и закончила совсем неожиданно: — Тогда пусть Викто́р идет за мной.

И он покорно пошел за черными лакированными туфлями-лодочками, которые звонко и спокойно постукивали по каменным плитам тротуара.

2

— Меня зовут Анель Казимировна, — сказала она, когда они вошли во двор одноэтажного деревянного дома, отгородившегося от улицы высоким забором. — А теперь вымойся вон там, под душем. Только потом обязательно наполни бак водой... Ну, чего ждешь, Викто́р? Иди мойся, а я поищу тебе одежду. Твоя грязная и дырка на колене.

Виктор с благодарностью и впервые посмотрел на женщину. Ей было за тридцать. Может, и около сорока: от карих глаз бежали еле заметные морщинки. Они же залегли и в углах рта. Но морщинки не старили ее лица, они делали его только добрее. Так показалось Виктору. И еще — Анель Казимировна по-девичьи гордо держала голову.

— Нравлюсь? — усмехнулась Анель Казимировна, тут же сдвинула черные брови и уже строго, деловито сказала: — Мойся быстрее.

Он, чтобы не огорчать ее, метнулся за дощатую перегородку.

— Одежду выброшу сюда!

Голос у Анель Казимировны был опять ласковый, чувствовалось, ей понравилось послушание Виктора. Он, чтобы еще больше понравиться ей, разделся быстро, хотел уже было выбросить за перегородку одежду и тут замер: а комсомольский билет? Его тоже выбросить с рваными штанами?

Вот он, комсомольский билет, на ладони...

Виктор засунул билет в щель между досками и лежащим на них железом. Положил туда только на время, пока не пришьет к новой одежде потайной карман.

Новая одежда — изрядно потрепанный костюм землистого

цвета — была немного тесновата, но Анель Казимировна сказала, осмотрев Виктора со всех сторон:

— Ничего, первое время походишь, а там видно будет... Поешь и помоги мне, пожалуйста, по хозяйству.

Хозяйство — домик, спрятавшийся в глубине двора под развесистыми яблонями, и клумба перед ним. Она даже не вскопана.

Перехватив осуждающий взгляд Виктора, Анель Казимировна пожаловалась:

— Разве я одна могла со всем этим управиться?

Однако если во дворе, особенно в садике, между яблонь, намечалось запустение, то в домике царил образцовый порядок. Кроме кухни, здесь были три комнаты — гостиная, спальня и, как догадался Виктор, кабинет мужа Анель Казимировны. Везде были расставлены удобные кресла, раскорячившиеся по углам. Ковры закрывали пол и стены; за стеклянными дверцами буфета виднелись три сервиза. Со всего этого Анель Казимировна ежедневно и любовно сметала пыль. Лицо у нее в это время становилось задумчивым, чуть грустным и даже, пожалуй, злым.

Из скромности Виктор не спрашивал ее о муже, и она не говорила о нем. Лишь однажды скупо бросила, когда Виктор особенно внимательно рассматривал портрет усатого мужчины, висевший в гостиной:

— Он далеко... Но теперь скоро вернется...

Обязанности у Виктора простые: подметать двор и садик, приносить дрова и следить, чтобы всегда была вода как дома, в кадушке, так и в бачке душа. Кроме того, он должен был сопровождать Анель Казимировну на базар, куда она обязательно ходила каждый день, иногда два и даже три раза.

Война быстро прокатилась через Пинск, далеко ушла от него. Если бы не бесконечные воинские эшелоны, проносящиеся через город к центру России, если бы не появлялись на улицах немецкие офицеры и солдаты, если бы не ежедневные победные сводки немецкого командования, то и нет войны вовсе. Никого здесь, казалось, не волновало, что пал Смоленск, что в окружении была Одесса и ее вот-вот тоже захлестнут волны объединенных румыно-немецких армий. Город, казалось, жил своей размеренной жизнью, к которой привык давно: бойко торговали магазинчики, лавки и лавчонки. Их владельцы жонглировали польскими злотыми, советскими рублями, оккупационными марками и даже пропахшими нафталином царскими деньгами; в воскресные дни, как бывало и много лет назад, селяне тянулись на базар, а горожане — в костел, на пороге которого их молчаливо благословляли на тихую жизнь монахи с блудливыми глазами.

Тошно Виктору, так тошно, что однажды он даже плакал, закрывшись в душевой. А знакомых и друзей нет. И завести их невозможно: к Анель Казимировне редко кто ходит, да и тот

запрется с ней в кабинете, пошушукается и уйдет, чтобы скоро вернуться, но теперь со свертком. Лишь сегодня во двор въехала подвода.

— Здравствуйте, — сказал Виктор, подходя к вознице.

— День добрый, паныч, — ответил тот и поспешно сорвал с седой головы дырявую шляпу.

— Какой я тебе паныч? Человек, как и все.

После этих слов селянин вдруг засуетился, без нужды прикрикнул на лошадь, чуть продвинул воз вперед и отгородился им от Виктора.

Не состоялся разговор.

Потом, когда во дворе появились неизвестный с Анель Казимировной, Виктор и возница перетаскали в кладовую несколько пачек новеньких суконных гимнастерок и синих диагоналевых галифе. Виктор понял, что Анель Казимировна купила их. Но зачем столько? Кому их носить? Или она спекулянтка? Хочет нажиться на народной беде?

Закрыл Виктор ворота за подводой, вернулся в кладовку. Анель Казимировна, весело мурлыкая что-то, рассматривала на свет галифе. После галифе настала очередь и гимнастерок.

— Новое, совсем новое, Викто́р! — торжествовала она.

— Ага, новое...

Анель Казимировна аккуратно сложила галифе и повернулась к Виктору.

— Ты не доволен? Может быть, даже осуждаешь меня?

— Не знаю...

— Матка боска, какая наивность! — всплеснула она руками. — Он не знает, радоваться ему или осуждать! Или я тебя плохо кормлю?

Нет, еда всегда хорошая. Но все равно резануло это выражение — «кормлю тебя». Не думал Виктор, что ему могут так сказать. Будто он не работает, будто он иждивенец!

Анель Казимировна, похоже, поняла, что обидела Виктора, шагнула к нему, положила свои полные руки ему на плечи и зашептала:

— Или нам с тобой с голоду умирать? Что я умею делать? Я просто жена. Жена человека, которого сейчас нет дома. Или ты пойдешь и зарегистрируешься на бирже?.. Не советую: во-первых, безработных босяков полно, а во-вторых, как ты скажешь, кто ты и откуда? Гестапо имеет зоркие глаза и железные руки. Или не знаешь, что каждую ночь за Пиной расстреливают тех, кто подозрителен?

Чего не знал, того не знал...

— А я не хочу твоей смерти, — продолжала Анель Казимировна. — Я полюбила тебя, как сына. — Она привлекла его к себе, тут же оттолкнула и сказала спокойно, с обычной деловитостью: — Это все мы с тобой продадим и будем жить без гестапо... Между прочим, я уже выправила тебе вид. По нему ты

значишься моим племянником, который перед войной приехал в гости из Смоленска... Сто злотых отдала бургомистру!.. Сегодня выучи все, что я для тебя придумала: в городе начались обыски и облавы, вдруг и к нам нагрянут.

Бургомистр... Злотые... Выправила вид...

Как все это дико!

— Между прочим, можешь всем говорить, что твои родители — известные в прошлом богачи Капустинские, а ты их прямой наследник. Чистокровный польский шляхтич.

— Какой же я поляк, если ни одного польского слова не знаю?

— А откуда ты можешь знать родную речь, если ребенком был оторван от родителей и воспитывался в большевистском детском доме?.. Так и говори всем, кто будет спрашивать.

Остаток дня Анель Казимировна была внимательна и ласкова к Виктору, и он оттаял, заставил себя поверить в то, что она действительно любит его, как сына.

А вечером, когда солнце уже село, залив небо багрянцем, она предложила:

— Пойдем на Пину? Она, разумеется, не Висла, но тоже хороша.

И вот они, как всегда, она — чуть впереди, пошли к реке. Пошли мимо маленьких домиков, притаившихся за плотными заборами, и мимо серой стены монастыря, подернутой плесенью. Виктора удивили безлюдность улицы и полицейские патрули на перекрестках. Но он не придал этому значения: многое было непонятно и непривычно в этом городе, который до 1939 года жил по законам панской Польши.

Вдруг Анель Казимировна тихонько ахнула, остановилась и даже прижалась спиной к Виктору, словно искала у него защиты. Она смотрела на площадь. Посмотрел туда и Виктор.

На багровом, будто залитом кровью, небе четко вырисовывалась виселица с двумя повешенными. Около них, если не считать полицейского, не было ни души.

— Матка боска, защити и помилуй, — простонала Анель Казимировна, сжала руку Виктора и потянула его в переулок. Но полицай, мерзко осклабившись, сказал:

— Только через площадь, мадам...

Они пошли по безлюдной площади. Каблуки туфель Анель Казимировны стучали невыносимо громко. Так же громко билось и сердце Виктора. Казненные, как при царе... Кто они? За что их лишили жизни?

Но он так и не осмелился подойти к виселице и прочесть приговор, белевший на столбе.

От площади Анель Казимировна почти бежала, а дома молча прошла в спальню и, обессилевшая, упала на кровать, уткнулась лицом в кружевную накидку, прикрывавшую пирамиду подушек.

Виктор вышел на крыльцо, сел на его верхнюю ступеньку. Кровь уже давно схлынула с неба, и теперь оно висело над землей черное, угрюмое.

Город притаился, будто вымер. Только на станционных путях жалостливо вскрикивал маневровый паровоз.

Опять в голову полезли мысли о том, что у него, Виктора, все как-то неладно получается. Фашисты напали на родную землю, прошли по ней сотни километров, а он, комсомолец Виктор Капустин, и пальцем не шевельнул, чтобы помешать их победному шествию. Носит воду, подметает двор, вскопал клумбу... Будто смирился со своей судьбой, будто и не волнует, не гнетет его то, что с каждым днем враг все ближе подбирается к Москве.

Что бы такое сделать ему, Виктору Капустину? Выйти ночью на улицу, выследить какого-нибудь фашиста и убить?..

Голыми руками не убьешь...

А если первого убить ножом, а потом действовать его оружием?..

Даже передернуло, как только представил себя с ножом, который вошел в грудь человека.

— Викто́р! — зовет Анель Казимировна.

Он нехотя встает, идет в дом. В столовой накрыт стол. В центре его пузатый графинчик с розовым вином.

Виктор садится на свое место и удивленно смотрит на Анель Казимировну: вино появилось на столе впервые. Он смотрит на Анель Казимировну, а она — серьезная, сосредоточенная — наливает вино в две рюмки.

— Пусть земля будет им пухом, — говорит она и медленно выпивает вино.

Виктор тоже пьет, подражая ей.

Нестерпимо звонко тикают стенные часы. Это раздражает Анель Казимировну, она, поморщившись, останавливает маятник.

Тишина такая глубокая, что хоть вой с тоски.

— Матка боска, за что караешь? — воскликнула Анель Казимировна, но не заплакала, как ожидал Виктор, а налила вино в стакан и залпом выпила.

Скоро лицо ее порозовело, в глазах появился лихорадочный блеск. Она вскинула голову и, будто намереваясь спорить с Виктором, сказала с вызовом:

— А почему я должна печалиться о них? Пусть слезы льет тот, кто послал их взрывать эшелон.

Словно обожгло Виктора это известие, и он уже не слышал, как Анель Казимировна говорила, что немцы — настоящие, сильные хозяева и нельзя мешать им: только себе жизнь сломаешь! Затем она сбивчиво болтала о Польше и Советах (так она обычно называла его, Виктора, Родину). Единственное, что он уловил, — в Польше ценили человека с деньгами, а при Советах таких в тюрьмы побросали.

Поток красноречия Анель Казимировны оборвался внезапно. Она вдруг замолчала, посидела немного и начала убирать посуду со стола. Потом, перемыв все, протерев и расставив по полочкам, ушла в спальню.

Виктор привычно постелил себе на диване в столовой, улегся, но глаз сомкнуть не смог. Перед ним, как наяву, маячила черная виселица на кровавом небе.

3

Сегодня Анель Казимировна проснулась раньше обычного, сразу же встала, оделась как в дорогу, позавтракала и лишь тогда сказала тоном строгой хозяйки:

— Я на несколько дней съезжу в Брест. Надеюсь, дома все будет в порядке.

Мучительно бесконечен день. Двор подметен, водой наполнены и кадка в кухне, и бачок душа. Все уже сделано, а солнце еще только приподнялось над холодной стеной монастыря.

Время раннее, а душно, как обычно бывает перед грозой. Но на небе пока ни одного белого пятнышка, которое можно было бы принять за облако.

Закрыв дом и тщательно, как учила Анель Казимировна, проверив замок, Виктор пошел к Пине.

«Пина не Висла», — сказала как-то Анель Казимировна. Какова она, Висла, этого Виктор не знал, а с одного берега Пины на другой можно запросто камень бросить. Берега — приступочки метра в полтора или два. И еще Анель Казимировна рассказывала, что в половодье Пина спокойно переваливает через эту береговую кромку и морем разливается по лугам и окрестным болотам. Может быть, в то время Пина и красива, возможно, отдаленно и напоминает какую-то другую, настоящую реку, но сейчас, летом, когда солнце иссушило ее, она — только длинный и не очень извилистый ров, где чуть шевелится ленивая и парная темная вода.

Виктор по мосту перешел на тот берег и расположился на узкой полоске песка, которая, как беловатый язык, врезалась в Пину. Слева от Виктора — мост, по которому изредка простучит колесами одинокая крестьянская подвода, за спиной — кусты ивняка, а прямо перед глазами — Пинск. Серый, словно думающий о чем-то печальном.

В реке в это неурочное время плескались только ребятишки, да недалеко от Виктора сидело несколько парней. Судя по одежде и тому, как они деловито поедали хлеб, это были рабочие лесопилки или портовых мастерских, у которых, видимо, обеденный перерыв.

Некоторое время Виктор одиноко лежал на горячем песке и смотрел в небо. Смотрел на голубое небо, а видел то родную Туру и белое здание горисполкома на высоком обрывистом берегу Тюменки, то мысленно разговаривал о своей жизни с быв-

шими одноклассниками, спрашивал у них совета. И вдруг тень человека бесшумно легла ему на грудь. Он покосился на подошедшего парня.

— Огонька не найдется? — спросил парень, показывая самокрутку.

В обязанности Виктора, кроме всего прочего, входило и разжигать огонь по первому требованию Анель Казимировны, поэтому спички всегда лежали в кармане. Он, встряхнув коробку, протянул ее парню.

— Богато живешь, — заметил тот с завистью или издевкой. Не понял этого Виктор, ну и не ответил.

Парень вернул спички, но не ушел, сел рядом. От самокрутки остался уже маленький огарок, когда он спросил:

— Сам-то с востока? Советский?

— А тебе какое дело?

— Не ори... Потому и спрашиваю, что не пойму: панской угодливости нет в тебе, а в холуях ходишь.

Виктор растерялся от неожиданного оскорбления, только и смог пробормотать:

— В каких таких холуях?.. Да я, если хочешь знать...

— А как же тебя величать, если твой народ кровью исходит, а ты из-под панны горшки выносишь?

— Я просто живу у нее...

— Рассказывай вон тому, семилетнему, он, может, и поверит. А у меня свои глаза есть. Да и знаю я эту Анельку. Хорошая и первейшая курва.

— Да как вы можете так?!

— Еще раз прошу — не кричи: в городе много лишних ушей. А высказаться я был обязан, чтобы окончательно понять тебя, чтобы, так сказать, полное представление о тебе иметь.

Была в голосе парня какая-то необъяснимая сила, которая глушила злость в зародыше и пробуждала неодолимое желание обязательно услышать до конца все, что скажет этот голубоглазый рыжий парень. Пусть даже очень горькое, даже обидное.

— До тридцать девятого года, пока мы с Россией не объединились, не одевалась сама твоя Анелька: прислуги полон дом был. Муж-то у нее — Брозда, всему Пинску богач известный. И враг Советов матерый. Ваши его в Сибирь на холодок выслали... А ты его мадам обслуживаешь. Разве не холуй?

Парень поднялся и, припадая на левую ногу, заковылял к своим. Он уже шагал вместе с товарищами, когда Виктор пришел в себя и крикнул:

— Послушайте!

Остановилась вся группа рабочих. Почти в центре ее пламенела знакомая голова.

— Чего тебе? — неприязненно пробасил кто-то.

— Как вас звать?

— Петром его дразнят. Понял? Петрусь по-белорусски, — ответил тот же бас.

Слова Петра внесли в душу такую сумятицу, что Виктор ни о чем другом и думать не мог. Виновата ли Анель Казимировна в том, что ее муж — враг всего советского? А может, ее насильно за него выдали? Ведь известны же из литературы такие примеры? Ну и жила с ним не любя, жила в силу обычаев своей страны, где, видать, порядки еще те держались.

А о том, что сама Анель Казимировна — человек хороший, говорит ее отношение к нему, Виктору. Никто не обратил на него внимания, когда он, растерянный и безмерно уставший, сидел у стены монастыря. А она заметила, приютила. Даже вид выправила, под племянника замаскировала, чтобы уберечь от пытливых глаз соседей и гестапо! Скажи, Петро, что ей будет, если гестапо все же пронюхает про него, Виктора? Молчишь? То-то и оно...

Пришел Виктор к этому выводу, и сразу стало легче. Только теперь он по-настоящему увидел и косые струи дождя, и двор — маленькое озеро, на пузырившейся от ливня поверхности которого беспомощно покачивались щепочки и другой мелкий мусор, неизвестно где прятавшийся от глаз до этого дождя. Виктор в одной рубашке выскочил под ливень и вырвал доску, прикрывавшую подворотню. Исчезло препятствие — вода хлынула в длинную щель дружно, неистово. Когда Виктор вернулся на крыльцо, озерко уже исчезло, лишь ручеек весело пересекал двор, мелея буквально на глазах.

Грозовая туча накрыла Пинск только краем своего черного крыла и примерно через час ушла к Бресту, погрохатывая громовыми раскатами. Солнце сразу жадно набросилось на лужи и отдельные капельки. Набросилось с такой жадностью, будто умирало от жажды. Двор скоро высох, только неглубокая канавка осталась там, где еще недавно, игриво пенясь, стремительно несся ручей.

4

На следующий день, едва солнце осилило подъем к зубцам монастырской стены, Виктор пошел к Пине, чтобы встретиться с Петром и высказать ему все, что так хорошо продумал. Но ни рабочих, ни Петра не было. Только какой-то старик равнодушно смотрел на пробковый поплавок, воткнутый в неподвижную воду реки.

— Сидай, паныч, ко мне, сидай, — приветливо улыбнулся старик.

Виктор сел: может, все же придет Петро?

— Панычу кого-то нужно? Паныч кого-то ждет? — не унимался старик. — Может, я подскажу, где искать?

Виктор пытливо посмотрел на старика. Во внешности его ничего примечательного: много таких богобоязненных старичков ходит в церковь, разговаривает елейным голосом, а в душе всегда

готовы запродать своего ближнего. И он ответил до неприличия сухо:

— Время свободное есть, вот и сижу.

— Ну, ну... Или я против?

Примерно с час они сидели молча, каждый думая о своем. Наконец старик смотал леску, встал и сказал, улыбаясь глазами:

— Если у паныча есть время, то не пройдет ли он со мной? Занятную штуку покажу.

Они подошли к домику, притулившемуся за костелом. Карниз домика облеплен гнездами ласточек. И на одном из них была хорошо видна заплата, замуровавшая входное отверстие.

— Видит паныч это гнездо? Ему оно о чем-то говорит?

Виктор пожал плечами.

— В это гнездо, когда ласточек не было дома, залезли воробьи. Вернулись ласточки, а их жилье занято. Как вам это нравится? Конечно, давай совестить воробьев... Но те — птицы нахальные, горластые и слушать просьб не хотят... Тогда ласточки собрались всей стаей и мигом замуровали подлецов. Вот так-то.

— К чему вы все это мне рассказали? — спросил Виктор после небольшой паузы.

— А просто так, жизненный случай. — Старик приподнял соломенную шляпу, церемонно поклонился и свернул в проулок.

Еще раз взглянув на мертвое гнездо, Виктор пошел домой. Он был уверен, что правильно понял старика. Только почему старик все это рассказал ему, Виктору?

Весь день мысли помимо его воли возвращались к замурованному гнезду, и весь день крепла убежденность, что теперешняя его жизнь — трусливое бегство от войны, что сейчас он вовсе не комсомолец, а самый обыкновенный дезертир. И еще подумалось: узнают об этом отец или товарищи по школе — большего позора не придумать, и он твердо решил бежать. Разве Анелька добровольно отпустит?

Анель Казимировна приехала ночью на немецком грузовике, проследила, как в кладовку из его кузова перенесли последнюю упаковку, и лишь тогда ушла к себе, легла спать. Лег и Виктор. Но не на диване в столовой, а в кладовке, на пачки стираных гимнастерок, которые она сегодня привезла для продажи. Лежал и зло смотрел в темноту, где прятались доски потолка.

Когда прямоугольник окна кладовки затянуло посветлевшее небо, Виктор осторожно, сначала прислушавшись к ровному дыханию Анельки, пробрался в столовую и взял из шкатулки вид, который она выправила ему. И тут увидел несколько пухлых пачек злотых. Злость стиснула горло, заставила вспомнить, что он все это время батрачил на нее. Исключительно чтобы досадить Анельке, он и взял свою долю, определив ее на глазок.

Потом поспешно и бесшумно вышел из дома, достал из тайника комсомольский билет, положил его под рубаху и напра-

вился к мосту через Пину: нужно было обязательно увидеть Петра или того старика, рассказать им все, непременно попросить совета.

В этот ранний час на улицах Пинска не было ни расфуфыренных панов, скалящих при встрече золотые зубы, ни черных монахов, степенно проплывающих по тротуарам и с высоты своего благочестия поглядывающих на грешных мирян, которые спешили под благословение. Теперь, ранним утром, в Пинске чувствовались только две силы, непримиримо враждебные друг другу: немецкие и полицейские патрули, цепляющиеся глазами за каждого, и угрюмые парни и мужчины, идущие в мастерские порта или на лесопилку. Эта непримиримость была видна и в том, как одни судорожно сжимали оружие, а другие в своей молчаливой угрюмости старались не замечать первых. Виктор сразу почувствовал, что он пока болтается где-то посередине между этими враждующими людьми, что ему уже пора определить свое место.

Петр увидел его первым, подошел.

Виктор доверчиво протянул ему свой комсомольский билет:

— Вот кто я...

Петр вырвал билет из его рук, стрельнул глазами по улице и утащил Виктора в переулок. Там устало опустился на скамейку и сказал:

— А ты еще наивнее, чем я думал. Неужели не понимаешь, что для гестапо большей улики не надо?

— Я только тебе...

— И мне нельзя. Что ты знаешь обо мне? Прикурить попросил? Правду про Анельку сказал?

— Курва она.

— Мои слова повторяешь или сам дошел?

— Сам, — ответил Виктор. — Мне бы к своим пробиться... Не поможешь из Пинска выбраться?

Переулок был еще безлюден, но за глухими заборами уже слышались старческое покашливание, осторожное позвякивание ведер и хлопанье дверей.

— Может, тебе пока у меня день пересидеть? — начал Петр и сам же отклонил свое предложение: — Нет, у меня нельзя...

Они пошли в ту часть города, которая понатыкала свои домишки за железнодорожными путями, и Виктор там вновь встретился со стариком богобоязненной внешности. Он, этот старик, вшил комсомольский билет Виктора под стельку ботинка. Петр ушел, пообещав заглянуть вечером, а старик сначала долго и старательно чистил клетку, в которой насвистывал щегол, затем вышел во двор, где о чем-то разговаривал с каким-то мужчиной. Так долго разговаривал, что Виктор, который в минувшую ночь не сомкнул глаз, вдруг будто провалился в глубокую, темную и глухую яму, куда не проникал никакой шум.

Проснулся от прикосновения чьей-то руки. Она легла тихонько на плечо, а Виктор уже напрягся и открыл глаза.

— Пойдешь с ним, — сказал старик, кивнув на мужчину. — Он знает о тебе ровно столько, сколько ему нужно. И прими мой совет на будущее: о другом старайся узнать как можно больше, а о себе выкладывай лишь то, что в данный момент нужно. Ведь по вражеским тылам пойдешь... Держись за сказку, что для тебя Анелька выдумала: ты сын богатого шляхтича, которого Советы всего лишили... А что по отношению ко мне не был любопытен — хвалю: мы встретились и разошлись, с тебя вполне хватит и того, что помощь оказали... Иди.

Виктор переулками, минуя главные улицы, где в этот вечерний час могла оказаться Анелька, пошел к реке. Впереди, грохая подкованными сапожищами по жиденьким доскам тротуара, вышагивал «хозяин» — капитан катера, который завтра на рассвете выйдет из Пинска в Чернобыль и, может, еще дальше. Виктор — матрос на этом катере, а капитана звать пан Защепа.

5

Весь экипаж катера (если не считать капитана) состоял из рулевого и моториста, который упорно величал себя механиком.

— Или у пана капитана лишние злотые завелись, что он нахлебника взял, когда и мы с работой управляемся?

Это были первые слова, которые Виктор услышал, вслед за капитаном ступив на деревянную палубу маленького катера.

— Пусть пан механик не считает злотые в моем кармане, пусть доверит это мне, а сам займется мотором, — прогудел басом Защепа, едва разжав зубы. Виктору показалось, что он уже слышал этот голос. Но когда? Где?

Казалось, ничего особенного не было ни в словах, ни в голосе капитана, а тот, кого он назвал паном механиком, будто уменьшился в росте и сказал, ласково и просительно улыбаясь:

— Прошу пана не гневаться на неудачную шутку.

Кубрик — каморка, куда втиснуты четыре лежака-койки (по две у борта и одна над другой) и малюсенький столик.

— Пан Капустинский, вот ваше место, — сказал капитан и показал глазами на нижний лежак у самого входа в кубрик. — Сегодня вы свободны, а завтра с утра начинаете службу.

Капитан еще с полчаса проболтался на катере, потом, буркнув что-то механику, сошел на берег. Виктор, которому было душно и тесно в кубрике, вышел на палубу и сел на люк машинного отделения.

— Между прочим, пан, я знаю один домик, где можно достать шнапс. Если пан даст грошей, я сбегаю, чтобы достойно отметить вступление пана в славную семью моряков.

Виктор уже давно раскаивался в том, что взял у Анельки деньги, он был рад избавиться от них и даже с радостью протянул пану механику всю пачку злотых. Тот сразу же почтительно поклонился, осторожно, двумя пальцами, взял только одну изрядно помятую бумажку и сказал с подлинным уважением:

— Пан не успеет сосчитать до тысячи, как я вернусь. Между прочим, знакомые называют меня пан Стась. — Тут он церемонно приподнял над головой форменную морскую фуражку.

Виктор не ожидал, что механик пожелает представиться так торжественно, и растерялся, только кивнул в ответ. Этот кивок показался пану механику небрежным и натолкнул на мысль, что новый член экипажа вовсе не босяк, которого из милости пригрел капитан, а человек состоятельный, власть имущий, и лучше на будущее постараться заручиться его поддержкой. Все это промелькнуло в голове механика за те считанные минуты, пока он бегал за самогоном к себе домой, и окончательно утвердилось после того, как Виктор наотрез отказался принять участие в выпивке. По мнению механика, так беззаботно швыряться деньгами мог только баснословный богач. Может, у пана Капустинского такой папа, что его, пана Стася, и видеть не будет, если тот даже прямо перед ним предстанет? Почему же тогда его сын нанялся простым матросом на катер?.. А нанялся ли? Когда проворачиваются крупные финансовые сделки, то черт знает, в кого не приходится превращаться! И пан капитан наверняка что-то знает... Конечно, только так!

Пан Стась был глубоко убежден, что все в жизни делается только из-за денег. Например, почему он носит фуражку с морским гербом? Человек, который по роду своей работы посещает много городов, всегда может и должен подработать: что-то купить и перепродать в другом месте, подвезти кого-то или оказать еще какую-нибудь услугу, за которую принято расплачиваться звонкой монетой.

Даже любовь — что это такое? Скажете, возвышенное, неземное чувство? Так вот, любовь — глупость человечества, которую красивыми словами прикрывают. Ах, я безумно люблю ее!.. Вот и любил он Марию, а женился на Зосе: у Марии были черные глаза, рождающие пламень, крутые бедра, сулящие бог весть что, но ни гроша денег. Что мог дать брак с Марией? Кучу детей и постоянную нужду. Он, пан Стась, своевременно разгадал ловушку, подстроенную жизнью, женился на Зосе и не просчитался: после смерти отца она унаследовала лавочку. Правда, товарооборот маловат, выручка такая мизерная, что еле на жизнь хватает, и ему приходится еще подрабатывать механиком, но и это уже не нищета!

Когда Виктор отказался пить самогон, пан Стась окончательно уверовал в правильность своих догадок и проникся к Виктору таким почтением, что даже уступил ему свое место на верхней койке: может, этот паныч, встретившись с отцом, помянет добрым словом не только капитана катера?

Не знал Виктор хода мыслей механика, но лежать на верхней койке было приятнее (иллюминатор рядом, и меньше чувствуется запах гнили, который рвется из-под слани). Поблагодарив, он устроился здесь. Увидев утром эти изменения, капитан Защепа усмехнулся, а сказал самые обыденные слова:

— Сейчас отчаливаем.

Четвертый член экипажа — пан рулевой, как его звали капитан и механик. За три дня, которые Виктор провел на катере, рулевой не сказал ни слова, никого и ни о чем не попросил, но так выразительно смотрел на человека, что тот, выругавшись или сплюнув, совал окурок или недоеденную горбушку в скрюченные ревматизмом пальцы рулевого. А стоило на берегу появиться полицаю или немецкому солдату, как рулевой, хотя тот и не мог его видеть сквозь стенки рубки, срывал с седой головы картуз и сжимался, словно ожидал хлесткого и болезненного удара.

— Сломанный человек, — сказал как-то капитан, показав Виктору глазами на рулевого. — Сын его против Пилсудского бился, ну, паны на отце и отыгрались.

Больше капитан не прибавил ни слова, но Виктор сам дорисовал картину бесконечных пыток и унижений, которые сломали человека, так безжалостно исковеркали его душу, что в ней ничего человеческого не осталось.

Три дня плавания прошли сравнительно спокойно: немцы проскочили мимо глухих прибрежных деревень, война как бы только на мгновение коснулась их, ну и жили деревни по давно установленному порядку, постоянно ожидая, что вот-вот явится кто-то и уничтожит или утвердит все привычное. Поэтому и не было слышно девичьих песен по вечерам, поэтому мужики и парубки, когда катер притыкался к берегу около их деревни, жадно впитывали все, что касалось жизни там, «под германом».

Капитан почти ничего не рассказывал, если рядом вертелся механик. Но стоило тому уйти, чтобы начать или завершить мелкую торговую сделку, как Защепа, словно между прочим, говорил о том, что немцы и берут все, что приглянется, и щедры на пули, плети и виселицы.

— Сами понимаете, новый порядок так просто не установишь, — неизменно так заканчивал он свой рассказ.

Интонации голоса у него в этот момент были явно осуждающие и новый порядок немцев, и те методы, которыми его пытались утвердить на советской земле.

За три дня плавания случилось только одно происшествие: у Виктора пропали деньги. Еще вчера вечером они мешались в кармане, а сегодня утром проснулся — и нет их. Исчезновение денег было столь неожиданным и даже невероятным, что Виктор стал шарить по всем своим карманам. Защепа, с которым они были в рубке, заметил это и спросил:

— Потерялось что-то?

— Так просто...

— Деньги? — Теперь Защепа испытующе смотрел в глаза.

Виктор не выдержал тяжелого взгляда, опустил голову.

— Стоп! — бросил Защепа в переговорную трубу и повернул нос катера к песчаной косе.

Еще не улеглись волны, поднятые катером, как Защепа опять крикнул в переговорную трубу:

— Пан механик, прошу ко мне!

Механик, вытирая руки паклей, появился в рубке, скользнул ясными глазами по сконфуженному Виктору и уставился на капитана.

— Пан механик, у нас на катере есть вор. Он украл деньги у пана Капустинского, — каким-то деревянным голосом сказал Защепа.

— Матка боска, покарай его! — истерично воскликнул механик, хотел сказать еще что-то, но Защепа перебил:

— Пану механику известно, что я сделаю с вором? Привяжу его на трос и потащу по реке за катером.

— Но у пана рулевого такое слабое здоровье...

— Я говорю не о пане рулевом, а о воре.

— Иисус свидетель, кто же, кроме него, мог украсть? Вы с паном Капустинским вне подозрений...

— Рулевой — тоже.

— Значит, пан капитан обвиняет меня? А какие у него доказательства? Слава богу, я законы знаю...

— Пан механик понял меня? Трое отпадают, значит, остается четвертый.

Пан Стась во весь голос пространно, призывая в свидетели всех святых, клялся, что он понятия не имеет о том, были ли вообще деньги у пана Капустинского.

На эту истерику Защепа ответил лишь одной фразой:

— Пан механик из его денег лично взял однажды только одну купюру.

Механик опять заголосил, проклиная судьбу, которая привела его на этот катер, где кто-то ворует, а он отвечай.

Защепа молчал.

Тогда после небольшой паузы механик вдруг спросил:

— А если они найдутся? Ведь мог же пан Капустинский выронить их?

— Это лучший выход. Чтобы они нашлись.

— Тогда давайте искать?

— Пусть пан механик ищет, а мы останемся в рубке, — ответил Защепа. Его кулаки были сжаты до синевы в суставах, на скулах перекатывались желваки. И тут он словно впервые увидел и побледневшего рулевого, и Виктора, который от стыда не знал, куда деться. Увидел — и сказал необыкновенно спокойно: — Деньги найдутся.

И они нашлись. Об этом восторженно крикнул пан механик.

— Пусть пан механик положит их на столик в кубрике и идет в машинное отделение, — распорядился Защепа. А когда мотор снова затарахтел, он процедил: — Паны, сто чертей вам в печень!

Скоро все словно забыли о недавней краже. Защепа лег спать, приказав разбудить, если что-нибудь случится, рулевой безмолвно крутил штурвал, вгоняя катер в изгибы Припяти, а механик растянулся на палубе и напевал что-то веселое. Каза-

лось, один Виктор все еще переживал случившееся. И больше всего его интересовало, почему механик не украл этих денег тогда, в Пинске, когда он сам отдавал их? Почему именно сегодня решился на кражу? Не знал Виктор, что механик слышал, как Защепа сказал ему, Виктору: дескать, завтра тебе уже сходить с катера. Не мог Виктор догадаться, что эта фраза вызвала смятение в душе механика и он всю ночь проворочался на своей койке и лишь перед рассветом пришел к выводу, что деньги надо взять немедленно: паныч богатый, может, и не спохватится или не подымет шума из-за такой мелочи, а ему, пану Стасю, эти деньги ой как пригодятся.

К вечеру, когда тени деревьев черным мостом легли на воду, ленивая Припять все же доплелась до Днепра, и капитан с Виктором сошли на берег.

— Хотел тебя подальше забросить, но теперь боюсь: механик — дерьмо порядочное, как бы в отместку чего не наболтал первому же полицейскому посту.

— Ничего, дальше я сам, — постарался бодро заверить Виктор, хотя его и страшили надвигающаяся ночь, длинная дорога и неизбежные встречи с немцами.

— На прощанье одно скажу: на катере ты правильную позицию занял. И слабого не шпынял, и перед сильным не заискивал. Словом, человек был... Меня-то узнал или нет?

— Вы с Петром были, когда он спичек просил.

— Узнал, значит... Что же не намекнул на знакомство?

— Вы — старший, вам и виднее, встречались мы раньше или нет.

— Резонно... И еще одно, самое главное... Лучше лютейшую смерть принять, чем человека в себе погубить... На, держи на первое время. — И он протянул краюху хлеба и кусок желтоватого сала.

— Спасибо... За все спасибо. — Виктору боязно оставаться одному, ему даже понравилось на катере, и он давно решил попросить Защепу, чтобы тот оставил его у себя в команде, но сказать это смелости набрался только сейчас: — А можно, я останусь у вас? Простым матросом?

Защепа словно ждал этого вопроса и ответил сразу:

— Что нельзя, Виктор, то нельзя. Здесь война с фашистами только начинается.

— Так я же значкист! И ГТО, и ГСО, и ПВХО у меня есть! Даже нормы на «Ворошиловский стрелок» сдал, только значок не получил еще!

Защепа неожиданно тепло улыбнулся и сказал:

— Все это у тебя на лбу и написано. И что комсомолец, и значкист ты. И вообще — до мозга костей советский. Потому и подошли к тебе, потому и помогаем к своим выбраться. Здесь ты запросто выдашь себя и погибнешь... Ну, привет там всем нашим!

Виктор проводил глазами катер, повернувший обратно в Припять, и осмотрелся. Вот он, Днепр. Ничего река, даже на Туру похожа: в меру широка, и правый берег крутой, обрывистый. За Днепром чуть синеют леса. Кажется, нет им конца и края, но, помнится, на уроке географии говорили, что здесь лесостепь, постепенно переходящая в степь. Значит, леса — обман зрения. И вообще многое на земле — обман, если не зрения, то слуха или еще чего. Взять вот эту тишину, которая так нежно обволакивает и баюкает землю. Сплошной обман эта тишина. Она в любую минуту может взорваться выстрелами, предсмертными криками людей. Как тогда, при бомбежке поезда.

Да и среди людей полно обманщиков. Вон какой ласковой и доброй прикидывалась Анелька, а что за этим обнаружилось? Подлость и забота лишь о своем благополучии. Или взять пана механика. Ласковый, услужливый, через слово клянется честью шляхтича, а копнули поглубже — самый обыкновенный вор. И труслив, как всякая блудливая кошка. Чуть прижал его Защепа — до того перетрусил, что отдал деньги с платком, в который успел завернуть их.

Полезли в голову подобные мысли, и вслед за ними незаметно стало подкрадываться и чувство своего превосходства над людьми. Не над теми, которых знавал в Тюмени, не над Защепой и его товарищами по подпольной работе, а над всеми прочими. Это чувство личного превосходства тут же породило и вскормило мысль о том, что он, Виктор, для достижения намеченной цели вправе пользоваться даже ложью. И, когда на околице деревни его задержал полицейский, он вежливо и твердо попросил проводить его к самому пану старосте или к еще более высокому начальству, если оно есть здесь. Этот тон был настолько непривычен для полицейского, что он послушно зашагал к дому старосты и постучал в окно. Через мгновение из дома прозвучал равнодушный голос:

— Кто там ночь баламутит?

Виктора будто кто-то толкнул в спину. Он вышел вперед, поклонился и сказал, подражая пану механику:

— Если пан староста не возражает, я бы хотел поговорить с ним.

Створки окна бесшумно распахнулись, и Виктор увидел одутловатое лицо старосты. Поклонившись еще раз, он представился, как учил Защепа:

— Пан Капустинский, следую в Смоленск.

Что больше повлияло на старосту — «пан Капустинский» или отменная вежливость, — осталось неизвестно, но уже через несколько минут Виктор сидел за столом в доме старосты и, глядя прямо в его жуликоватые глаза, безбожно врал про свой род Капустинских, который хорошо известен даже в Варшаве. Еще он говорил, что идет в Смоленск, чтобы вступить в права наследства, и, когда это случится, не забудет пана старосту и щед-

ро вознаградит за сегодняшнее беспокойство, виной которому война.

Сказка ли эта или злотые, которыми Виктор щедро расплатился за еду и ночлег, повлияли на старосту, но он оставил Виктора ночевать у себя, а утром даже пристроил на попутную подводу.

Сошла удачно первая ложь, и теперь Виктор, завидев полицейских или немцев, более спокойно шел к ним, врал еще самозабвеннее. Его выслушивали доброжелательно, с сочувствием, но следовать дальше разрешали лишь после того, как он совал старшему наряда несколько злотых. Пачка денег растаяла быстрее, чем Виктор понял, почему ему все же удается продвигаться на восток, хотя застав, проверяющих документы, с каждым днем становилось все больше. А когда понял, стал обходить стороной села и городишки, только в маленькие деревеньки и заглядывал, да и то предварительно понаблюдав из леса за их улицами.

Пусть голодно, пусть холодно, но все-таки спокойнее.

6

Следов недавних ожесточенных боев становилось все больше. Не только воронки от многих бомб, но и извилистые окопы, перерезающие дорогу или подползающие к ней вплотную, часто видел теперь Виктор. Попадались и развороченные взрывами блиндажи, и пулеметные гнезда, от которых несло могильным холодом. Но больше всего запомнилась одна деревенька, поразившая безмолвием и трупным запахом, которым, казалось, здесь были пропитаны и воздух, и земля, и даже солнечные лучи. Виктор молча крался вдоль домов с выхлестанными окнами и вдруг вышел на маленькую площадь. Здесь навалом лежали тела жителей это деревеньки. Граница царства смерти была обозначена дощечкой с четкой надписью: «Они расстреляны за саботаж. Комендант района — гауптман фон Зигель».

Миновав деревеньку, Виктор долго плескался в речке, но до самого вечера не смог отделаться от въедливого трупного запаха. Именно тогда Виктор с отчетливой ясностью представил Тюмень не такой, какой знал ее, а мертвой, как и эта неизвестная деревушка. Стало страшно. И еще он подумал, что теперь ненавидит фашистов по-настоящему.

Обойдя Смоленск стороной, Виктор задумался: что врать теперь? Полицаям и прочей сволочи — сказка готова, а как быть с народом? Здесь уже коренная советская земля, и тут нечего рассчитывать на сочувствие какому-то пану, пострадавшему от большевистской революции.

Ничего не придумал. Только еще глубже залез в леса и перелески. В одном из таких лесов опять почувствовал трупный запах, хотел и не мог уклониться от него.

Вот и небольшая полянка среди молодого ельника. На ней лежали солдаты. Наши и немецкие.

Он обошел и осмотрел всех. Особенно долго стоял у тела лейтенанта, на груди которого тускло поблескивала медаль «За отвагу». Виктор снял ее и спрятал в карман. Взял и пистолет, выпавший из раздувшихся пальцев лейтенанта, и ушел. Он шагал по лесу и сжимал в руке шершавую рукоятку пистолета. От нее по телу разливалось тепло, от нее струились сила и уверенность: теперь у него есть оружие, теперь он может постоять за себя. Рукоятка пистолета и медаль «За отвагу» подсказали и новую биографию: теперь на восток пробирался не панский сынок, а лейтенант Красной Армии Виктор Капустин; примерно месяц назад он был контужен, сколько пролежал без сознания — не знает, а когда пришел в себя, своих уже не было. С тех пор идет один. И будет идти, пока не догонит фронт!

Все это рассказал Виктор и хозяину одинокого домика, затерявшегося в лесу. Тот выслушал его вроде бы даже сочувственно, ни разу не перебил, потом вдруг откуда-то принес советский автомат, приклад которого куснула пуля, положил его перед Виктором и сказал, словно скомандовал:

— А ну, покажь, как с этой штукой обращаться положено.

Виктор, конечно, потупился.

Тогда хозяин домика с ловкостью заправского оружейника разобрал и собрал автомат, показал, как вставлять в него магазин, как переключать с одиночной стрельбы на автоматическую, и сказал на прощание:

— Молод уж больно ты для лейтенанта. Сопляк, а не лейтенант! И болтлив сверх меры. Может, я контра какая, а ты во всю мочь раскукарекался...

Больше при встрече с незнакомым человеком Виктор ни разу не начинал разговора о том, кто он такой, куда и зачем идет. Теперь он сначала приглядывался к встречному и лишь потом, убедившись, что тот не враг советскому, раскрывал ему свою «тайну». Да и то намеками. В заключение, чтобы окончательно убедить собеседника в правдивости своего рассказа, перекладывал из кармана в карман медаль. Так долго и «неловко» перекладывал, что собеседник успевал заметить ее. А медаленосец в те годы был человеком редкостным, и поэтому для Виктора частенько находились и еда, и безопасный ночлег. Короче говоря, жить можно было. Однако теперь, когда Виктор шел уже восточнее Смоленска, почти в каждой деревне стояли полицейские посты, которые цеплялись к каждому прохожему; значит, и деревни теперь тоже приходилось обходить. А дни стали заметно короче, ночи — холоднее; вторая половина сентября теплом не баловала. И главная беда — дожди. Вот уже пятые сутки дождь шуршит в листве деревьев. Кругом все серо: и небо, улегшееся на лес и придавившее его, и земля, по которой шел Виктор. Даже белые березки будто подернуты серой пеленой.

Пятые сутки льет дождь, и пятые сутки Виктор без сна. Кругом сыро и холодно, а на нем только рубашка и пиджак, давно промокшие до нитки. Иной раз, окончательно обессилев, только

присядет Виктор под деревом, только сожмется в комок и закроет глаза, чтобы забыться во сне, — немедленно набрасывается неуемная дрожь и нещадно колотит. Приходится подниматься и снова идти, даже бежать, чтобы вернуть телу потерянное тепло.

Виктор был словно в бреду, когда лес вдруг оборвался и метрах в ста сквозь пелену дождя стала видна деревенька. Это была сама жизнь, и, даже не подумав, что там могут быть полицаи или немцы, он из последних сил заковылял к крайней хате, постучал в окно и привалился спиной к бревенчатой стене. Он не слышал, как звякнула щеколда и как скрипнула дверь. Даже женщины не заметил, пока она не подошла к нему и не взяла за руку. И все же он послушно пошел за ней.

Когда женщина открыла дверь в кухню, волна тепла сразу захлестнула, закружила его, и он, сам не ожидая того, вдруг сполз по стене на пол. Женщина, ойкнув, бросилась к нему.

7

Это была Клавдия Васильевна Ненашева. Ей, как она говорила, было уже двадцать два. «Почти старая дева», — обычно добавляла она в шутку.

Только успела Клава закончить третий курс Московского медицинского института, как радио оповестило о нападении фашистов. Клава, как и ее подруги, немедленно побежала в военкомат, но там, по ее убеждению, сидели заядлые бюрократы и, конечно, отказали, не призвали в армию. А потом, уже в середине июля, вдруг пришла официальная телеграмма: «Отец армии мать больна выезжай Богинов». Богинов — председатель колхоза. Ее отпустили домой, в родные Слепыши.

Мать умерла за день до того, как в деревню, нещадно строча из автоматов и пулеметов, ворвались немецкие мотоциклисты. Заняв все выходы из деревни, они разбежались по хатам, везде требуя одно и то же:

— Давай комиссаров и коммунистов! Давай евреев!

Ни комиссаров, ни коммунистов в деревне «не оказалось». Тогда, сноровисто свернув головы многим курам и назначив старостой того же Богинова, что был председателем колхоза, они уехали, пригрозив еще не раз вернуться сюда и строго наказать каждого, кто не выполнит хоть одно распоряжение немецких властей.

Первая встреча с немцами обошлась сравнительно дешево, однако Богинов созвал народ и заявил, что ему самому лезть в немецкую петлю нет никакого расчета и поэтому он кое с кем из парней и мужиков уходит в лес: «Может, до своих пробьемся или что другое придумаем».

Старостой по его рекомендации выбрали деда Евдокима: справедливый, своевольничать никому не позволит и внешность представительная. И еще на этом собрании решили жить по советским законам, которые и вершить деду Евдокиму.

Увел Богинов мужиков в лес, и ни слуху ни духу о них. А деревня ждала весточки, хотя внешне будто бы и покорилась немцам: и человека в полицаи выделила, и скот и зерно в район точно в назначенный срок вывезла. Правда, бо́льшая часть зерна осталась в деревне, спрятанная по тайникам, правда, полицейский своей первейшей обязанностью считал не арест «подозрительных личностей», а сопровождение красноармейцев, отбившихся от своих частей, по глухим, никому неведомым тропкам. Но откуда все это знать немцам? В деревне предателей не было.

В августе и первых числах сентября много красноармейцев прошло через деревню. И с оружием, и без него. И раненых, которых толкни посильнее — упадут и не встанут, и таких, что хоть в плуг впрягай и паши. Большинство из них, проклиная фашистские танки и окружение, отдохнув, ушли на восток, но двое осели в деревне. Этих немного сторонились, но и прямо не осуждали: человеческие мысли порой чудно петляют, и не сразу их узор разгадаешь.

Клава, домик которой стоял ближним к лесу, чаще других слышала робкий ночной стук пришельцев, привыкла к нему, ждала его и поэтому нисколько не удивилась появлению Виктора, хотя уже неделя минула с тех пор, как стучался последний. Правда, она испугалась, когда Виктор повалился, перешагнув порог кухни, поэтому и вскрикнула, однако сразу успокоилась, как только убедилась, что подкосила его не смерть или тяжелая рана, а всего лишь усталость.

Она попыталась перетащить Виктора в горницу, чтобы уложить на кровать, но он только мычал и сонно отбивался от нее. Тогда она раздела Виктора и, как чурку, вкатила на матрац, который принесла в кухню.

Потом ей захотелось привести в порядок его одежду, и она взяла брюки. Их тяжесть насторожила. Она залезла рукой в карман, нащупала там пистолет и уже с уважением посмотрела на спящего: только очень смелый, по-настоящему бесстрашный человек пойдет по вражеским тылам с пистолетом в кармане. Вторая находка — медаль — уже не удивила ее.

Клава, прикрыв Виктора одеялом, побежала к деду Евдокиму, потому что всей деревней поклялись ничего не таить от него.

Проснулся Виктор оттого, что почувствовал под головой настоящую подушку. Многому научен за дни мытарства, он, прежде чем пошевелиться, приоткрыл глаза и осмотрелся, стараясь сопоставить действительность с сохранившимися воспоминаниями. Да, вот она, та женщина, за которой он вошел в дом. У нее высокий лоб, нос с чуть заметной горбинкой и губы, словно у обиженного ребенка, — припухшие и нежные. Еще он успел заметить толстую косу, которая свисала до пояса.

Казалось, Виктор не шевельнулся, но женщина почувствовала его пробуждение и приветливо сказала:

— А на улице уже вечер. Так что сразу будем и завтракать, и обедать, и ужинать. Одежда ваша вон на том стуле, только подождите, не вставайте, пока я не выйду, — и прикрыла за собой дверь горницы.

Одеться — минутное дело, но, уже взяв брюки, Виктор обнаружил отсутствие пистолета. Рука непроизвольно и сама нырнула в карман пиджака, где под оторвавшейся подкладкой обычно лежала медаль. Дыра оказалась зашитой, медаль исчезла. Обворовали, пока спал, или сам все растерял, когда, полудурным, брел по лесу?

— Вы оделись? — спросила она, входя в кухню. — Клава Ненашева. Была студенткой, а теперь... Теперь хозяйка этого дома.

— Виктор, — машинально ответил он, думая о пропаже пистолета и медали.

— Вот и познакомились, — улыбнулась Клава и, заметив его тревогу, торопливо добавила: — То я сюда спрятала. — Ее рука коснулась косяка двери.

Виктор немедленно сунул руку в щель между косяком и стеной, достал пистолет и медаль, проверил, на месте ли обойма, и лишь после этого положил все обратно. Клаве понравилось, что он прежде всего осмотрел оружие; по ее мнению, настоящий военный только так и должен был поступить. И она заулыбалась, предложила весело и беззаботно:

— Давайте поедим, а? Честное слово, с голоду умираю!

Поели картошки с молоком, а потом Клава рассказала все о себе и односельчанах. В заключение заявила:

— О себе можете не говорить. Я и так знаю, что вы — командир.

— Ну уж и командир, — неожиданно для себя возразил он, но она была полностью во власти самоуверенной молодости:

— У вас длинные волосы, а красноармейцы все стриженые.

Голос ее звучал победно, в голубых глазах светилось такое восхищение, что у Виктора не хватило смелости сказать ей правду, и он начал повторять сказку, набившую оскомину. Намеревался рассказать только в общих чертах, особенно не завираясь, но ничего так не возбуждает сочинителя, как внимание восторженных слушателей. А Клава следила за каждым движением его губ, на ее лице отражалось все, о чем он рассказывал. Вот он, Виктор, дерется с немцами на той полянке в ельнике. Падает, сраженный врагами, один его товарищ, падает второй... Наконец Виктор остается один против трех фашистов. На лице Клавы тревога, боль и желание немедленно броситься ему на помощь...

А теперь, чуть усмехаясь, он говорит о том, как одурачивал полицейских и старост, назвавшись паном Капустинским. Виктор чуть усмехается, а Клава искренне хохочет и даже хлопает в ладоши. Одним словом, девчонка, что с нее возьмешь?

Вдруг на окно легла тень человека. Виктор отшатнулся к про-

стенку между окнами и посмотрел на Клаву. Она поспешила успокоить:

— Это дед Евдоким, я уже говорила тебе о нем.

«Ты» вырвалось непроизвольно, было случайным, но легло между ними прочным мостом.

В молодости дед Евдоким служил в гвардейском полку. Годы немного ссутулили, подсушили его, однако и сейчас он пролез в дверь согнувшись и боком.

— Мир дому сему, — прогудел он от порога, снял картуз и, повернувшись к переднему углу, поднял руку ко лбу и тут же опустил: — Известно, безбожники.

Виктор встал из уважения к годам деда Евдокима и, вспомнив урок хозяина лесной сторожки, выпятил грудь, опустил руки вдоль бедер, как учили на уроках физкультуры и военного дела. Почтительность к старшему и молодцеватый вид тронули деда Евдокима, он трубно высморкался в темную тряпицу и сказал одновременно взволнованно и покровительственно:

— Видать, отец тебя не наспех стругал: еще молод, а в плечах разворот имеешь.

Клава, чтобы скрыть смущение, поспешно нагнулась и подвинула деду табуретку, на которую он немедленно опустился не гостем, а полноправным хозяином.

— Ты мне вот что скажи, — начал дед, доставая из кармана кисет. — Сломана под корень, что ли, наша армия?

— Понимаете... Если рассуждать...

— Ты не финти. Это с девками — они, кобылы, до слов охочи — можно байки разводить, а я солдат, мне твердое слово потребно. Сломана или нет?

За считанные доли секунды в голове мелькнули те, кого он видел, встречал на своем пути. Мертвые и живые. И он ответил зло, уверенно:

— Не сломана и никогда не будет сломана!

— Слышь, Клавдя, что человек говорит? — выпрямился дед. — Я, девка, сам солдат, меня, девка, не обманешь! — И спросил, понизив голос до шепота: — Слышь, а может, его нарочно к Москве заманивают? Чтобы, как Наполеошку?..

Виктор никогда не задумывался над причинами отступления нашей армии и поэтому ответил:

— Я человек маленький, что мне известно? Вот у товарища бы Сталина спросить...

— Оно конечно... А ты-то сам как думаешь? Твоя-то планида какая: у нас осядешь или, передохнув денек, дальше тронешься?

— Присмотреться, подумать надо.

— Тоже верно... У нас, как народ поговаривает, хорошо бы свою дружину заиметь. Про всякий случай...

— Подумать, дедушка, подумать надо.

— А я спорю разве? На то человеку голова и дана... А то женился бы на Клавде да и послужил миру? А что? Дело говорю.

— Можно, я потом отвечу? Через день или два? — взмолился Виктор, которого настойчивость деда приперла к стенке.

И вообще он еще не думал, как поступить дальше. Да и как еще дело обернется, если он прямо скажет, что завтра уйдет? Может, обидятся? С людьми разговор ведешь — каждое слово взвешивай и примеряй.

8

Два дня Виктор отсыпался и сидел дома, поглядывая в окно. За эти дни к Клаве под разными предлогами заходили сначала соседки, а потом и другие жители деревни. Все они, попросив какую-нибудь мелочь, неизменно рассматривали Виктора, которого Клава, как и условились с дедом Евдокимом, выдавала за студента-однокурсника, который случайно оказался в этих краях.

На третий день Виктор проснулся с рассветом и вышел на крыльцо покурить. Ветер разметал тучи, висевшие над деревней, и розоватый шар солнца степенно взбирался на крутой скат неба. Над маленькой речкой клубился туман; где-то голосисто заливался петух.

Виктор, улыбнувшись ясному дню, решил осмотреть свое новое жилище.

Дом — обыкновенная бревенчатая изба; четыре окна по фасаду и два с той стороны, где примыкало крылечко в три ступеньки. Тыльная сторона дома соединялась с коровником, над которым был сеновал. Все было сделано добротно, и Виктор не смог увидеть ни малейшей прорехи, залатав которую, он проявил бы способности хозяина. Конечно, настоящий деревенский житель нашел бы дело, но неопытный глаз Виктора уцепился только за неразделанные березовые кругляши. «Расколю, подготовлю к зиме», — решил он и впервые подошел к калитке, посмотрел вдоль деревенской улицы. Всего двенадцать домишек, разбросанных по обеим сторонам дороги, увидел он.

У каждого дома чуть шевелят полысевшими ветвями березы. У многих из них на коре отчетливо видны черные наросты — верный признак старости. Может, и французов видели эти березы, когда те драпали от Москвы?

— Здоро́во живете́, — вдруг услышал Виктор мужской голос, и, вздрогнув, оглянулся.

— Испужался? — невесело усмехнулся подошедший.

Было ему немного больше двадцати, и Виктор догадался: «Один из тех двух, что здесь осели».

— Здравствуй, — сухо ответил Виктор.

— Прицеливаешься к деревне? Места — дачные. Только время совсем другое.

Что ответить, как поддержать разговор? Отмалчиваться неудобно, а слов тоже нет.

— Меня Афоней дразнят. Служил в артиллерии, да вот как

попали в переплет, один и уцелел от всей батареи... А ты из каких будешь? Тоже из окруженцев или как?

— А тебе какое дело? Ты, гляжу, уже определился, крестьянином заделался, — огрызнулся Виктор, которому были противны и любопытство, и тревога в глазах Афони.

— Тоже клеймишь, значит? А что я один сделаю, если вся армия с землей перемешана?.. Молчишь... То-то и оно, сказать нечего, а коришь, совесть тревожишь... Чистоплюй несчастный! — Афоня, круто повернувшись, зашагал к речке.

Виктору не понравился Афоня, но все же не было намерения и обидеть его: может, рядом жить придется? Однако сделанного не воротишь, и, немного расстроенный и взволнованный этим случайным разговором, Виктор вернулся в дом.

Оказывается, Клава тоже уже встала, растопила печь и, едва он перешагнул порог, спросила:

— Поругались, что ли?

— Не так чтобы и поругались, но неладно вышло. — И он рассказал о своих впечатлениях, вызванных встречей с Афоней.

Клава отреагировала на удивление спокойно:

— Обойдется. Афоня — мужик добрый, только странный какой-то. Ему все надо, чтобы люди оправдали его... Я думаю, что виноват он в чем-то, вот совесть его и мучает. От нее ничего не скроешь.

Разговор надолго оборвался. И вдруг Виктор сказал:

— У меня комсомольский билет размок.

— Ой, Витенька! — всплеснула руками Клава и, будто враз обессилев, опустилась на табуретку. — Как же это ты так неосторожно?

— Много ты понимаешь! — обозлился Виктор. — Под стелькой в ботинке он был, а кругом вода... Соображать надо.

Долго молча переживали беду. Наконец Клава спросила, с надеждой заглядывая в глаза Виктору:

— Может, только немного подмок?

Виктор достал из кармана билет. Лишь номер и можно было разглядеть на нем.

— Знаешь, а ведь тебя в комсомоле по номеру билета восстановят! — обрадовалась Клава. — Встретишься с нашими, расскажешь, при каких обстоятельствах намок билет, и восстановят!

Славная она, Клава...

Оказывается, у нее и брови, и ресницы черные, а волосы светлые...

Виктору захотелось пальцем прикоснуться к бровям Клавы; он было уже потянулся, но уловил нарастающий рев нескольких автомобильных моторов и замер. Побледнела Клава. Метнулась к окну, на мгновение прильнула к нему лицом и отшатнулась.

— Немцы, — как тоскливый вздох, вырвалось у нее. — Если спросят, кто мы, отвечай — муж и жена, — торопливо добавила она и, казалось бы, бесцельно заметалась по дому, бормоча

что-то. Однако куда-то бесследно исчез комсомольский билет, который они рассматривали недавно, а вместо него на колени Виктора шлепнулся изодранный валенок:

— Чини!

— Как его чинить, если дыр больше, чем целого?

— Разрывай его на части или чини — мне все равно! Только делай, хоть что-то делай, ради бога! Где это видано, чтобы мужик вот так, сложив руки, дома сидел?

И, когда дверь распахнулась от тяжелого удара, Виктор яростно полоснул ножом по перепревшей дратве.

— Ж-ж-жива на сход! Шнель, говорю! — взревел полицай, ощерив белозубую пасть.

— Не бойся, это наш Дёмша, — прошептала Клава, но заторопилась.

По деревенской улице они шли, как и остальные законные супруги: она — на шаг сзади и чуть слева.

Народ — несколько десятков женщин и детей — с любопытством и тревогой разглядывал немецкого офицера. Он стоял на столе и равнодушно постукивал прутиком по зеркальному голенищу сапога. В первом ряду толпы был дед Евдоким. И еще Виктор заметил Афоню. У него дергалась щека, он смотрел на немца со страхом и ненавистью. Борьба этих двух чувств была так заметна на его лице, что молодка, стоявшая рядом с Афоней, почти повисла на нем, нашептывая что-то посиневшими губами. Виктор понял: Афоня сейчас настолько взвинчен, что готов и на безрассудный подвиг, и на самую большую глупость — на что толкнет случай. Стало жаль Афоню, и Виктор, раздвигая плечом толпу, пробился к нему, стиснул его руку. Тот оглянулся и яростно зашептал:

— Как стоит, гад, а? Будто он здесь хозяин, а мы — пустое место!

Действительно, немец словно не видел людей, сгрудившихся у его ног.

— Спокойно, Афоня, спокойно! — властно зашептал Виктор. — Или я первый тебе в морду дам!

Афоня глянул на него и сник, подчинился приказу. В это время на стол вскарабкался человек в штатском, встал так, чтобы даже нечаянно не задеть офицера, и уставился преданными глазами на его бесстрастное, сухое лицо. И столько рабской угодливости было во взгляде и позе человека в штатском, что, хотя он еще не произнес и слова, Виктор уже люто ненавидел его.

Наконец офицер заговорил. Виктор четыре года изучал в школе немецкий язык, был даже отличником, но сейчас ничего понять не мог. Так отрывиста и криклива была речь офицера.

— Господин комендант района гауптман фон Зигель доводит до вашего сведения, господа свободные землепашцы, что в Степанково бандиты убили солдата великой немецкой армии, за что и наказаны, — перевел человек в штатском.

Далее он говорил о том, как доброжелательно немецкое командование относится к землепашцам, а закончил так:

— Короче говоря, сволочи, у господ немцев порядок железный, и вы кровью умоетесь, если его нарушите!

Фон Зигель одобрительно кивнул. Ненависть Виктора к фон Зигелю и переводчику в этот момент была столь велика, что из всей длинной речи запомнилось лишь одно: какое бы правило ты ни нарушил, тебя ждет расстрел; а если поднимешь руку на немца, кроме тебя, будет расстреляно еще и пятьдесят жителей той деревни, в которой или около которой будет найден убитый.

Немцы уехали, а народ стоял, словно вросли в землю ноги. Наконец дед Евдоким заорал:

— Чего глаза таращите, господа-сволочи?

И зло матюкнулся.

Афоня жил, оказывается, через дом от Виктора, и шли они вместе. Виктора просто раздирало желание действовать, желание доказать фашистам и их холуям, что им не удалось никого запугать. Однако он не знал, с чего начать, как поступить. Понимал только, что еще коротки руки, не дотянутся они до фон Зигеля. И Виктор спросил:

— Знаешь того? Который переводил?

— Староста из Степанкова. До войны такой улыбчивый, обходительный был, а теперь ишь какое лицо показал, — затараторила грудастая молодка, которая шла, вцепившись в локоть Афони. — Да вы — не знаю, как вас величать, — зайдите к нам, поговорим, время скоротаем. У меня на такой случай и бутылочка припасена, и сальце найдется.

— А ну, застопори, Груня, — беззлобно сказал Афоня, и она будто подавилась последними словами.

— Вы идите, а мы тут посидим, покурим, — решил Виктор и остановился у бревна.

Клава взглянула на Виктора, хотела что-то сказать или спросить, но сдержалась и поспешно зашагала дальше, увлекая за собой Груню.

Бревно, потрескавшееся и потемневшее от времени, лежало около старого пожарища. Видимо, давно, может быть больше десятка лет назад, сгорел здесь дом. Хозяин сначала намеревался воздвигнуть новый на этом месте, даже строительный материал начал завозить, но потом раздумал строиться или какая другая причина помешала, вот и осталось с той поры это бревно. Если судить по подсолнечной шелухе, многие жители деревни сиживали здесь, милуясь или обсуждая свои дела. А теперь на том же бревне устроились два пришельца, которых только война занесла в эти края.

— Дорогу в Степанково знаешь? — спросил Виктор, у которого окончательно окрепло решение убить хотя бы старосту.

Афоня кивнул.

— Где он живет? С кем?

Афоня понял, о ком идет речь, и ответил:

— Дважды к нему уже бегал. Гусака и мед унес, чтобы добрым ко мне был... Живет в одном доме с полицаями. Только вход отдельный.

— Когда стемнеет, стукнешь в окошко, — сказал Виктор так, словно его старшинство было неоспоримо, и не спеша, не оглянувшись ни разу, зашагал к дому, на крыльце которого его ждала Клава. Она ни о чем не спросила, только как-то очень внимательно посмотрела на него. Виктор притворился, будто не замечает ее взгляда, прошел в кухню, достал из тайника пистолет, сунул его в карман и вернулся во двор, где Клава кормила двух последних кур, чудом уцелевших после нашествия немцев.

— Где топор? Дровишек наколю, — сказал Виктор, снимая пиджак.

Остаток дня он потел над березовыми кругляками, яростно вонзал в них топор, а сам думал, что хорошо бы вот так, одним махом, садануть и по голове Зигеля, и вообще по всем фашистским головам.

Вместе с усталостью пришли и первые сомнения. Теперь он уже не был так уверен, что убить старосту — правильное решение и это им по силам. Может быть, начать с чего-то другого? И, не посвяти он в свои планы Афоню, отказался бы от попытки устранить старосту. Но теперь отступать было поздно (еще обвинит Афоня в трусости), и Виктор решил: если Афоня постучит в окно, он пойдет в Степанково и лично убьет старосту. А трухнет Афоня — он, Виктор, будет сидеть дома: значит, не судьба ему быть судьей перевертыша.

Афоня не постучал — поскребся в окно. Виктор почувствовал, как неприятный холодок волной прокатился по телу, но вида не подал, надел пиджак и шагнул к двери. Клава метнулась наперерез:

— Ты куда?

— Надо, Клава, — ответил он и сам удивился необычной сухости своего голоса.

Сказал это — Клава бросилась к вешалке, сняла с нее плащ отца и протянула Виктору. Потом заботливо поправила отогнувшийся воротник пиджака. На крыльцо не вышла, но в сенцах стояла до тех пор, пока в ночной тишине не стихли шаги Виктора.

Шли молча, хотя Виктору очень хотелось спросить Афоню, откуда у него автомат, ствол которого чуть выглядывал из-под полушубка. Только у самого Степанкова, когда потянуло недавней гарью, Виктор скупо сказал:

— Его бы за село выманить.

— Скажу, есть верный человек с золотишком, — ответил Афоня.

То, что Степанково — село большое, Виктор понял сразу, как только вслед за Афоней начал петлять по темным и безлюдным улочкам. Все было вроде бы обычным в этом селе: и избы, глядящие на улицу темными окнами, и колея, в которую нет-нет да и попадет нога, и скворечники на длинных шестах, угадывающиеся на фоне неба. Одно было непривычно, одно раздражало и беспокоило — запах гари, не ослабевающий, а усиливающийся с каждой минутой. Страшно Виктору, так страшно, что убежал бы отсюда, но рядом идет Афоня...

— Здесь, — прошептал Афоня, когда они уперлись в черную стену дома. — Держи, а я пошел. — И он протянул Виктору автомат.

Виктор слышал, как Афоня стучал в дверь. Невольно подумалось: «А не ловушка ли это, не выдаст ли Афоня?» Но руки сжимали автомат. Может, он поломанный? Виктор, как учил хозяин лесной сторожки, оттянул на себя затвор и убедился, что пружина готова, повинуясь его пальцу, бросить затвор вперед. Стало легче и спокойнее.

Голоса Афони и старосты он услышал гораздо раньше, чем увидел темные силуэты людей.

— Если меня будут спрашивать, скоро вернусь. Ясно?

— Будет исполнено, господин староста, — бодро заверил кто-то.

— Где он? Далеко идти?

— Близехонько, господин староста. Иначе разве бы я посмел вас тревожить среди ночи? Главное — дело верное и прибыльное.

Пропустив Афоню и старосту вперед, Виктор тенью заскользил за ними. Вот и крайняя хата села. Дальше — поле и безмолвный лес.

— Теперь куда? — спросил староста, в голосе которого не улавливалось и тени беспокойства.

Эта самоуверенность старосты так взбесила Виктора, что он подскочил к нему и ткнул его в грудь автоматом:

— Прямо, сволочь!

Староста испуганно шарахнулся к Афоне, ища у него защиты, но тот со всего плеча саданул его кулаком. Дикая злоба одного и угрюмое молчание второго убедили старосту в том, что его жизненная тропочка уже исхожена, что еще минута-другая, и она навсегда оборвется. Понял это — и при обыске не сопротивлялся, а потом и к лесу зашагал обреченно.

А Виктора уже покинула решительность. Сопротивляйся староста, он бы выстрелил в него, и дело кончено, а как быть теперь? Ни с того ни с сего взять и убить? Выручил Афоня, который протянул руку за своим автоматом и предложил:

— Давай сунем его в колодец? Тут заброшенный есть.

При упоминании о колодце староста будто очнулся от дурного сна, рванулся в сторону, но Виктор вовремя подставил ногу, и тот упал. Однако сопротивлялся он до тех пор, пока Афоня не

заломил ему руки за спину и не связал их. Тогда староста взмолился:

— Как хотите убивайте, только в колодец не надо.

Из его сбивчивого рассказа Виктор понял, что за убитого немецкого солдата Зигель сжег дотла десять домов, а жителей их расстреляли и бросили именно в этот забытый людьми колодец.

9

Едва Виктор поднялся на крыльцо, дверь бесшумно приоткрылась.

Только оказавшись дома, Виктор по-настоящему понял, как чудовищно опустошила его одна эта ночь. Ему бы сейчас молча прижаться к Клаве и закрыть глаза, чтобы не видеть убитого старосты, ему бы сейчас заткнуть уши, чтобы в них перестал звучать по-заячьи жалкий предсмертный его вскрик. Но поступить так — признаться в слабости, а ведь он мужчина. Да еще лейтенантом назвался...

Виктор долго мыл руки. Клава стояла рядом, держала чистое полотенце. И молчала. Он был благодарен ей за это.

Потом, улучив момент, Виктор сунул пистолет в тайник и полез на печку. Там, задернув занавеску, он надеялся отгородиться от мира, чтобы остаться один на один со своими мыслями и переживаниями, разобраться в них.

— А ужинать?

— Не хочу.

Долго ворочался Виктор на печи, перебирал в памяти все подробности ночи. Вроде бы Афоня не заметил ни растерянности, ни страха Виктора: значит, он сумел все это спрятать в себе.

Абсолютно правильно и то, что казнили предателя: другим подлецам наука...

Тогда что же беспокоит, что терзает все эти долгие часы?!

И вдруг Виктор понял. Оказывается, убить человека значительно проще, чем думалось. Вот уничтожили они с Афоней предателя, а где они, те муки душевные, о которых пишут в книгах? Нет их, и все тут. Чувство брезгливости — будто ты с головой черт знает во что окунулся, это есть, а мук раскаяния нет... Хотя потому, может, и нет их, что убили не человека вообще, а врага лютого?..

Придя к такому выводу, Виктор почувствовал облегчение и вскоре незаметно уснул.

Потом сквозь пелену сна стали прорываться голоса. Говорили Клава и какая-то незнакомая женщина. Виктор проснулся, только шевельнул занавеску, а Клава уже взлетела на приступочку и звонко выпалила:

— А к нам тетя Аня в гости пришла! — и многозначительно добавила: — Из Степанкова.

Лицо улыбающейся Клавы так близко, что стоит чуть приподнять голову и можно будет коснуться губами ее щеки. Той самой, на которой сейчас играет ямочка. Однако Виктор осмелился только обнять Клаву за плечи, да и то сразу почувствовал, как она напряглась, готовая отпрянуть. На мгновение напряглась, а потом вдруг на несколько секунд прижалась щекой к его груди.

— Знакомься, тетя, это мой муж, — несколько церемонно представила она Виктора и багрово вспыхнула.

Тете Ане — за пятьдесят; у нее ссохшееся, изрезанное морщинами лицо. Темный головной платок подчеркивает его пергаментность; в глазах скорбь, точь-в-точь, как у святой, что изображена на иконе.

Тетя Аня пьет чай с блюдечка, которое держит на растопыренных пальцах правой руки; вытянув губы трубочкой, она дует на чай, важно кивает Виктору и будто опять целиком отдается чаепитию. Но Виктор чувствует на себе ее пытливые глаза и понимает, что тетка осматривает его, прикидывает, не ошиблась ли племянница.

Когда Виктор сел за стол, тетя Аня рассказывала о том, что минувшей ночью вдруг ушел куда-то аспид-староста и до сих пор не вернулся. Чтоб черти ему обе ноги перешибли! Клава слушала тетку, а сама косилась восторженными глазами на Виктора.

Боясь выдать свое торжество, он поторопился встать из-за стола:

— Пойду дрова колоть.

Виктор ушел, а тетя Аня, посудачив еще о своих деревенских делах, посетовав на бесчеловечность немцев, вдруг сказала:

— А он у тебя ничего. Из себя пригожий и, видать, работящий. Только почему это, Кланя, вы порознь спите? В наше время муж с женой по ночам завсегда вместе были.

Клава залилась краской и еще проворнее стала убирать со стола остатки еды и чайную посуду.

Тетя Аня осталась ночевать и забралась на печку, сказав, что ей тут привычнее. Перед сном она долго молилась, почти касаясь лбом половиц, а Виктор, поглядывая на нее, думал, где сегодня ему улечься: в горнице — Клава, тетя Аня оккупировала кухню. И вдруг Клава позвала, позвала в тот момент, когда он уже хотел идти на сеновал:

— Витя, ты где? Иди спать.

Он вошел в горницу, где бывал до этого только раз, когда осматривал дом. Клава, которая уже лежала в кровати, сдвинулась к самой стенке, рукой подозвала его к себе и прошептала:

— Ложись со мной, иначе неудобно: мы — муж и жена.

Какое-то время он лежал неподвижно. Потом придвинулся к Клаве, стиснул ее так, что она почти вскрикнула.

Может, с минуту неистовствовал и вдруг заметил, что Клава плачет. Зажимает рот руками, чтобы заглушить всхлипывания,

и беззвучно плачет. Обреченно плачет. И тогда он понял, что желание уберечь его от беды, которая в это тяжелое время всегда дежурила у человека за спиной, заставило Клаву позвать его к себе. Понял и то, что она ни за что не закричит, не позовет тетю Аню на помощь; все стерпит, оберегая его жизнь.

Виктор не нашел слов, чтобы выразить свое раскаяние. Лишь пробурчал, отвернувшись:

— Не бойся, не трону.

Вот и лежали они на одной кровати, под одним одеялом. Притворялись спящими, а сами ловили малейшее движение, даже приглушенный вздох друг друга.

Прокричали третьи петухи. Виктор встал, оделся. Клава, как и полагается настоящей жене, тоже немедленно встала, начала заправлять постель. Когда она вышла на кухню, Виктор уже держался за ручку двери.

— Уходишь? — спросила она, выйдя за ним во двор.

Он кивнул.

— Куда?

Действительно, куда он пойдет?..

— А дед Евдоким? Афоня? Тетя Аня?

За этими именами слышались вопросы: «Что я скажу им? Они ведь обязательно спросят, почему ты исчез так внезапно? Неужели тебе наплевать, что обо мне будут думать люди?»

Ответить сейчас на эти вопросы — значило распахнуть свою душу, а в ней такое творилось... Он только сказал вдруг осипшим голосом:

— Я еще приду.

И ушел по дороге, которая, по жиденькому мосточку перескочив через речку, круто свернула к лесу и врезалась в него. На дороге глубокая колея, где тускло поблескивает вода, оставшаяся от недавних дождей, и попадаются листья. Засохшие, сморщившиеся. Никому не нужные.

Таким одиноким листиком и чувствовал себя Виктор.

Думы до того мрачные и так они поглотили его всего, что не заметил, как поравнялся с немцем-мотоциклистом. Тот издали увидел парня, который брел по дороге, как слепой. Увидел и терпеливо ждал: сколько ни бился — не заводится мотоцикл; может, оживет, когда этот парень раскатит его под горку?

Русский не сдернул с головы кепку, это уже нарушение вежливости, за это полагается наказание, и немец, приподнявшись в седле мотоцикла, ударил Виктора кулаком в челюсть. Ударил по-боксерски сильно и точно — Виктор рухнул в канаву.

— Толкать! — приказал немец, когда русский направился к нему, выбравшись из канавы.

Не посмотрел немец на русского парня, и поэтому Виктор спокойно выстрелил ему в затылок.

Первой мелькнула мысль — бежать! Но Виктор тут же подумал: если бросишь немца на дороге, то его обязательно найдут и тогда расстреляют людей из ближней деревни. Может, Клаву,

деда Евдокима, Афоню... Взвалив немца себе на спину, он заспешил в лес.

Только вздохнул облегченно, сбросив тело немца на землю как сзади кто-то спросил:

— Ты всегда так? Сам убиваешь, сам и хоронишь?

Виктор отпрянул к ближайшему дереву, прижался к нему спиной и оглянулся, пытаясь вытащить из кармана пистолет, зацепившийся за подкладку. Однако ни в голосе, ни в глазах двух этих людей, одетых в потрепанные красноармейские гимнастерки, не было ничего угрожающего. Они просто с любопытством рассматривали Виктора. Правда, их руки лежали на немецких автоматах, висевших на груди. В глазах одного из этих людей Виктор угадал даже одобрение своему поступку и осмелел, не попросил, а скорее приказал:

— И мотоцикл надо утащить в лес. Чтобы невинные мирные жители не пострадали.

Мотоцикл затащили в чащобу, завалили ветками. А немца, сняв с него оружие, просто сунули головой в какую-то яму.

— Волки похоронят по первому разряду, — сказал чернявый, назвавшийся Гришкой, и тут же спросил: — А ты кто такой будешь?

Виктор уже понял, что перед ним два солдата, отбившиеся от части, и выпалил:

— Лейтенант, к своим пробиваюсь.

Солдаты переглянулись.

— Не верите? Вот и пистолет, и медаль сохранил.

На пистолет они даже не взглянули, зато медаль потрогали с уважением и почему-то вздохнули, опять переглянувшись.

— Нехай ты — лейтенант... В прятки играть не будем. Я и мой напарник Юрка, так сказать, разведка нашего отряда. К нам примкнешь или самостоятельную тропку топтать намерен?

Виктор был рад встрече, он опять почувствовал себя не одиноким листиком, которым играет ветер, и лишь для вида, чтобы замаскировать свою радость, спросил:

— Сколько в отряде штыков? Кто командует?

Гришка оскалился в улыбке, развел руками и ответил:

— Ты, лейтенант, право, как дите малое: нешто все это солдат первому встречному так и выложит? Придешь — увидишь... Так с нами или нет?

Виктор согласился, и ему немедленно завязали глаза.

Шли, как показалось Виктору, невероятно долго, ему уже начало казаться, что еще немного, и он, обессилев, грохнется на землю. Но тут Гришка, который был сейчас поводырем, сорвал повязку с его глаз и сказал:

— Теперь считай, что мы дома.

Дом — землянка, так хорошо замаскированная, что Виктор угадал ее, только подойдя вплотную. У входа сидел человек в гимнастерке без знаков различия. Но по тому, как подтянулся

Григорий, Виктор понял, что это начальник, и, опередив Григория, представился, вскинув руку к кепке:

— Лейтенант Капустин!

— Сам придумал или другие этой глупости научили? — спросил сидевший.

Виктору стало неуютно под строгим взглядом его серых глаз.

— Во! А я что говорил? — засмеялся Григорий, оборачиваясь к Юрке. — Лейтенант — он обязательно десять классов кончил. Это ему уже лет восемнадцать. Да еще два года в училище. Итого имеем минимум все двадцать полных годочков, а у этого — пушок на губе, бритвой не тронутый!

— И выправка не солдатская, будто играет под военного, — добавил Юрка.

— Самозванец он, одним словом, товарищ Каргин!.. Но, между прочим, — Юрка соврать не даст, — немцу пулю в башку всадил точнехонько.

— Не тарахти, Григорий, официально докладываешь, — не повышая голоса, заметил Каргин, и уже Виктору: — Сейчас пойдем к батальонному комиссару. Перед ним не юли, как есть, душу выворачивай.

Глава третья

БАТАЛЬОННЫЙ КОМИССАР

1

Не успел Каргин закончить свое напутствие, как из землянки вылез человек. Первым его заметил Григорий и сразу подхватил под руку, затараторил:

— Сколько раз тебе говорено, чтобы сам не больно рыпался? От натуги жила какая или еще что лопнет, и опять подыхать начнешь. Думаешь, нам беда охота тебя второй раз у смерти выпарапывать?

Каргин же только молча посторонился и следил за тем, как Григорий с Юркой усаживали комиссара на чурбак, который Павел успел не только принести, но и покрыть шинелью. И хотя Григорий отчитывал комиссара, а Каргин притворялся равнодушным ко всему этому, Виктор понял, что и воркотня Григория, и напускное равнодушие Каргина — проявление заботы, даже нежности, на которую только и был способен каждый из них в силу своего характера.

Пока комиссар усаживался, Виктор успел рассмотреть его. На нем была гимнастерка без знаков различия и много раз стиранная. Однако все пуговицы ее были не только пришиты, но и застегнуты. И еще — сразу запомнилось лицо этого человека, от которого, как считал Виктор, теперь зависела его дальнейшая судьба. Худощавое и прорезанное глубокими морщина-

ми, оно было выбрито так тщательно, что, казалось, должно было обязательно пахнуть одеколоном.

— Ну, Виктор-самозванец, выкладывай, с чем пожаловал, — начал комиссар, глядя на Виктора добрыми глазами.

— Товарищ батальонный комиссар...

— Ты не солдат и можешь звать меня Василием Ивановичем.

— Хорошо, Василий Иванович, — согласился Виктор и запнулся.

С чего начать? Да и неловко про себя рассказывать, если несколько человек слушают. Вот если бы один на один...

Василий Иванович разгадал его мысли, покачал головой и сказал:

— Нас всего пятеро. С точки зрения математики, как науки, цифра малая. Но вообще-то пять человек — это уже очень много, если они все знают друг о друге и верят друг другу. Мы не неволим тебя, но если хочешь быть с нами — выкладывай.

— Можно, я сяду?

— Нет, постой. Из уважения к людям постой.

Неуютно стоять одному, когда каждое твое слово пять человек ловят. Но в голосе Василия Ивановича, в том спокойствии, с каким остальные приняли его слова, была величайшая справедливость, и он начал рассказывать не одну из своих разученных сказок, а только правду.

Когда Виктор умолк, никто не проронил ни слова. Потом Василий Иванович спросил:

— Ответь мне честно. Ты хоть сейчас-то понимаешь, как обидел девушку?.. Как дальше-то жить думаешь?

— Опять кобелировать будет, — не вытерпел Григорий.

— Я даже из деревни ушел.

— Что ж, подведем итоги, — начал Василий Иванович, глядя на пламя небольшого костра, который Каргин разжег почти у его ног. — Жизнь, прямо скажем, круто взяла тебя в оборот. Однако из тебя еще может получиться человек... К чему это говорю? Только от тебя зависит, сбудется ли это... За самовольное присвоение звания лейтенанта особенно не виню: склонен считать неудачной военной хитростью. А вот в лучах чужой награды грелся — подло, недостойно порядочного человека... И с девушкой... Ну, об этом я уже говорил... Ваше мнение, товарищи? Зачислим его к себе в отряд или опять завяжем глаза, выведем к дороге и пусть куда хочет топает?

И еще одно заметил Виктор: батальонный комиссар обратился с вопросом ко всем, а все они, даже разговорчивый Григорий, когда дело дошло до окончательного ответа, молча уставились на Каргина. Словно заранее были согласны с его приговором.

Каргин начал тихо, будто думая вслух или разговаривая сам с собой:

— Нас — пятеро. Василий Иванович — за комиссара, как и положено. Меня остальные на командира выдвинули. Живем мы уставами армии...

— Выходит, рядовых у нас всего трое, а ты, Иван, себе права генеральские сграбастал и казнить, и миловать волен! — засмеялся Григорий.

— Может, и генеральские, откуда мне знать? В генералах еще не хаживал, — согласился Каргин и повел дальше свою мысль: — Все мы тут дружки-приятели, не одну сотню верст вместе ногами отмерили, не раз и не два вместе в глаза смерти заглядывали, а дисциплину блюдем. Пуще глаз своих блюдем: без нее, да еще во вражеском тылу — гибель неминучая. И уж если ты залезаешь в наш кузовок, то укладывайся, как все прочие лежат, ноги в ту же сторону протягивай. Поблажек на малолетство не жди.

— Согласен... Только как мне вас величать?

— Зови хоть Иваном, хоть товарищ Каргин, мне все равно. Да ты чего стоишь? Теперь садись, где место облюбовал.

Потом из одной большой кастрюли ели то ли похлебку, то ли кашу — Виктор не разобрал, но ели дружно и похваливали. Григорий даже заявил:

— Я, Ваня, спорить с тобой не стану и нисколечко не обижусь, если ты завтра за меня откашеваришь.

— А я вообще считаю, что Ивану надо всегда за повара работать. Или мы без него с разными заданиями не справимся? — включился в разговор и Юрка, подмигнув Виктору.

— Дело Юрка предлагает! — оживился Григорий. — Давай, Василий Иванович, голосуй, и затвердим Ивана в новой должности!

— На-ко, понюхай. — И Каргин поднес кулак к лицу Григория.

Кулак такой тугой и костлявый, что невольно думается — свинчаткой припечатается.

Григорий с нарочитой старательностью обнюхал кулак Ивана и вдруг скривился брезгливо:

— Да ты, никак, не мыл его сегодня?

Каргин сначала недоуменно смотрел то на Григория, то на свой кулак и, лишь когда все грохнули смехом, расплылся в самой добродушной улыбке и медведем подмял под себя Григория.

— Хватит, раздурились, дети малые, — сказал Василий Иванович, даже не пытаясь скрыть, что ему приятно смотреть на веселую возню товарищей.

А Каргин сразу посерьезнел и сказал, отпуская товарища:

— И то, хватит. Костер затушить — и спать.

Землянка — большая яма, пол которой устлан еловыми ветками. На них, прижавшись друг к другу, улеглись и сразу затихли. Правда, Григорий пытался было поворчать, но Каргин прикрикнул на него, и тот угомонился.

Виктор лежал в самом углу. Случайно или нарочно, его положили так, что — пожелай он выйти — придется через всех перешагивать, значит, хоть кто-нибудь да проснется.

Виктор лежал, вслушивался в ровное дыхание товарищей и был уверен, что бодрствует только он: так безмятежно, казалось, посапывали они. Но не спал и Василий Иванович. Разговор с Виктором растревожил, взволновал его. Витька Самозванец — так окрестили этого недавнего школяра. И, может быть, на долгое время останется за ним это прозвище. Фамилию забудут, а прозвище врежется в память.

Витька Самозванец... А кто он, Василий Мурашов?

Ему сорок два года, и двадцать из них он был сначала учителем, а потом завучем и даже директором в сельской школе, где одновременно преподавал математику. Была у него и семья — жена и два сына. Все свободное время, которого было не густо, он делил между школой и домом. И считал, что живет не только нормально, но даже хорошо, что для обыкновенного счастья у него всего достаточно: и забот, и радостей. Так был поглощен своими делами, так верил в незыблемость установившейся жизни, что как дурной сон воспринял сообщение о начале войны. Словно во сне, прощался с семьей и даже удивился, когда жена вдруг бросилась ему на грудь, обвила горячущими руками и заголосила как по покойнику. Он, наконец-то поняв все, успокаивал ее, говорил, что, вероятно, дойдет только до райвоенкомата, ну, пробудет там несколько дней и вернется: скорее всего это не война, а разросшийся пограничный инцидент, замять который больше всех заинтересованы немцы: не случайно же их заправилы так рассыпались в своей любви к Советскому Союзу.

Но в райцентре преподаватель математики Василий Иванович Мурашов получил по два «кубаря» на петлицу и сразу превратился в лейтенанта. Новые подчиненные — вчерашние колхозники, рабочие и служащие — с надеждой поглядывали на своего командира взвода: теперь их жизнь во многом зависела от его распорядительности и умения воевать. А он, хотя никому и не говорил об этом, больше всего боялся первого боя. Какие и когда там команды подавать надо? Если только единственную: «Взвод, за мной, в атаку!» — он готов. А все прочее...

Выручил Михаил Пименович. Он лет на десять был старше и, главное, — из кадровых военных; сам проштрафился или кто из его родственников — спрашивать неудобно было, но от службы в армии командиром его отстранили, позволили быть лишь солдатом. Вот этот самый Михаил Пименович, уловив сомнения взводного, подсел к нему вечерком, когда вблизи никого не было, и спросил:

— Чего боитесь, Василий Иванович?

— Понимаете, я — математик, думается, справлюсь с любой задачей в пределах школьной программы. А вот людьми в бою командовать как — ума не приложу. Ведь не помню уже, когда присвоили мне это звание лейтенанта, а подучить забыли.

— Дела, — хмуро усмехнулся Михаил Пименович. — Выход один вижу... Скажите, верите вы мне полностью?

— Как я, Михаил Пименович, могу плохо судить о вас, если не вижу ничего, дающего возможность сделать подобный вывод?

— Тогда приказом назначайте меня к себе связным, ординарцем или еще кем, но чтобы я на законном основании около вас торчал. Откровенно говоря, из-за вашей военной неграмотности много людей пострадать может. Поэтому и напрашиваюсь в помощники.

Василий Иванович так и сделал. И теперь по ночам, когда все спали, или днем, если поблизости никого не было, Михаил Пименович учил взводного азам военной науки, а тот потом старательно пересказывал все это отделенным.

А восьмого или девятого июля был первый бой с немцами. Все, если исключить то, что кругом умирали люди, в этом бою было так, как предполагал Василий Иванович: немцы перли вперед, а он со своими бойцами стрелял по ним до тех пор, пока не кончились патроны. Потом отошли, прикрывшись огнем станкового пулемета. И лежал за тем пулеметом Михаил Пименович.

Вот тогда, после геройской смерти Михаила Пименовича, и появились у него первые седые волосы. А теперь вся голова будто пеплом посыпана...

В боях быстро растаял взвод, а вот его, командира, щадили пули и осколки — ни одной царапинки! Он уже почти поверил в свою счастливую судьбу, как вдруг на окопы спикировал «мессер» и единственной очередью прошил его грудь.

Сначала были два удара, почти слившиеся в один, а потом — зыбкая и темная пелена, которую разрывали то Михаил Пименович, опять уходивший с пулеметом в засаду, то Гена Воробьев, любимый ученик, способный за минуту с одинаковым успехом и прославить, и опозорить тебя. Иногда, правда, виделись люди в белых халатах, они говорили о чем-то, но он не мог уловить смысла слов.

Он отчетливо увидел над собой ветки дерева и голубое небо между ними. Потом все это сразу закрыла большая кружка с водой. Ее поднес к его губам Иван Каргин. Тогда он еще не знал Каргина и даже удивился, почему этот здоровенный солдат сидит за няню около него.

Вот он, Ваня Каргин, рядом спит...

2

Настало время, когда зыбкая и темная пелена исчезла, он уже не терял больше сознания и был немым участником всех разговоров: хотя дело и пошло на поправку, говорить опасался, чтобы не растревожить легкие. Скоро он уже знал своих спасителей по именам, знал нехитрую историю их объединения и почему они так безнадежно отстали от фронта.

— Много мук мы с тобой, комиссар, приняли. Что ты представлял из себя? Не жилец и не покойник. Тряхни чуток — жизнь твоя немедля вылетит через дырки, до того ты дохлый был. Куда ж с тобой за фронтом гнаться было? — высказался однажды Григорий.

— Ну и бросили бы, в деревне какой-нибудь оставили.

— И почему ты сейчас больной? Я бы тебе, здоровому, за такие слова запросто в ухо заехал и не посмотрел бы, что ты комиссар! — обозлился Григорий.

Его величали комиссаром. Сначала он не придавал этому значения, считал оговоркой, потом даже встревожился. Что ни говорите, комиссар — звание большое, которое присваивается достойным, а тут вдруг он, Василий Мурашов, комиссар, да еще батальонный! Как это случилось, с чего пошло? Неужели в бреду сам себя так возвеличил?

Рядом дежурил Павел, и Василий Иванович решил расспросить его:

— Расскажи, как я к вам попал.

Тот рассказал и про сарай, в котором они сидели арестантами, и о том, как немецкие танки внезапно вырвались из леса, круша все.

— И побежали мы в лес. Куда еще деться? А тут ты, тепленький, лежишь. А рядом и шинель твоя валяется. На ней тебя и утащили в лес.

Солдат обманула, а его возвеличила чья-то шинель... Выходит, шинель виновата, с нее и спрос?

Нет, на обмане не проживешь. Неизбежно настанет такой момент, когда сядут за стол твои товарищи по партии и спросят: «Коммунист Мурашов, на каком основании вы присвоили себе и чужое воинское звание, и права, тому лицу принадлежащие?»

Значит, самое разумное — сказать этим солдатам всю правду? Дескать, я не батальонный комиссар, а самый обыкновенный лейтенант запаса, который в армии прослужил без году неделю. А поверят они?.. Скорее всего трусом, шкурником посчитают: попадись фашистам в лапы комиссар — смерть немедленная, а лейтенанта запаса еще, может, и в лагерь отправят.

Что из всего этого следует? Он, Мурашов, просто обязан принять права и обязанности комиссара. Он здесь единственный коммунист, значит, так и так за все в ответе.

Так решил Василий Иванович в одну из многих бессонных ночей и с тех пор ни разу не обмолвился о том, что он только лейтенант запаса.

Потом состоялся общий разговор, который убедил его в правильности принятого решения. Тогда горячо спорили все четверо. Григорий кричал, что нужно до холодов догнать фронт, иначе — труба. Юрий, перебивая его, доказывал, что каждая встреча любого бойца отряда с фашистом должна обязательно заканчиваться смертью одного из них: лучше смерть в неравном бою, чем трусливое прозябание! Павел, не повышая голоса, бубнил

о том, что надо связаться с народом в деревнях, а Каргин, упрямо сбычив голову, повторял одно: «Будем двигаться так быстро, как позволит здоровье комиссара». Каждый высказывал свое, не слушая доводов товарища.

— Григорий, где сейчас фронт? Стоит он или по-прежнему на восток ползет? — тихо, как только и позволяли простреленные легкие, спросил он, Василий Мурашов.

— А мне наплевать, где он! Хучь под Челябой, а я должен догнать его. Совесть моя красноармейская того требует!

— А больше ничего она, твоя совесть, не требует? — разозлился тогда он, Василий Мурашов. — Упреков не шлет за то, что ты больше месяца сиднем сидишь в лесу и мою шинель щупаешь?

— Это брось, комиссар. Не наша вина, что тебя увидели. А увидели — по человеческим законам обязаны были помочь, — вмешался Каргин.

— Не к тому речь... Вот ты, Григорий, все ратуешь за переход фронта, чтобы, влившись в нашу армию, с врагом драться. В принципе правильно ратуешь. Но кто тебе мешает во всю мочь лупить их здесь, где они мнят себя хозяевами? Вот уже месяц, повторяю, щупаешь мою шинель и хоронишься от немцев в лесу. Стрелять-то не разучился?.. Неизвестно, сколько еще намерен прятаться, ишь, до Челябинска идти за фронтом нацелился! А почему бы не подумать, простит ли Родина, простит ли народ нам это тихое сидение в лесу?

Тут у него горлом пошла кровь, и он замолчал. Товарищи всполошились. Павел с котелком сбегал за ключевой водой и почти всю ночь просидел у изголовья больного. А утром Павла сменил Каргин. Он и спросил: полегчало или нет? Потом, будто и не прерывался вчерашний разговор, степенно заговорил, как обычно говорят мужики, если их не сбивают, не подстегивают репликами:

— Напрасно ты, Василий Иванович, так на нас набросился. Мы — насквозь советские. А что сразу правильную задачу не увидели — твоя вина. Комиссар-то кто? Короче говоря, еще ночью Григорий с Юркой ушли к дороге. А я остался, чтобы с тобой посоветоваться. Сможешь совет-то дать или переждать до завтра?

— Спрашивай.

— Как мы тебя поняли, до фронта далеко, а война везде идет, и мы свой голос тоже подать должны. Ты не говори, ты головой мотни, и ладно.

И Василий Иванович мотнул головой.

— А не мало нас?

— В народе говорят, что ручейки сбегаются в реки.

— Ага, значит, пополнение непременно будет... И еще вопросик напоследок... Ребята считают, что командир у нас обязательно должен быть, меня на это место сватают. Соглашаться или у вас как у комиссара другие соображения имеются? У меня,

если с точки зрения некоторых, не все чисто. Думают, утек с поста.

— Но ведь это вранье? — хотел подбодрить, а получилось, словно официальный вопрос задал.

— Чтобы земля подо мной разверзлась, если вру! — с какой-то мрачной суровостью поклялся Каргин. — Так каков ваш партийный ответ будет? Соглашаться или кого другого выдвинуть?

— Начни с того, что прикажи землянку рыть. Дожди-то вот-вот начнутся. И не чета этим, летним.

Приказом рыть землянку и ознаменовал Каргин свое вступление в должность командира отряда.

Тогда еще многого они не знали, еще опасались деревенских жителей (почему?) и поэтому даже за самым необходимым инструментом не обращались, а у самих и были всего лишь саперная лопата с расщепленным черенком, найденная в бывшем окопе, да щербатый топор, который Григорий, если верить ему, подобрал на дороге; скорее всего врет, украл — не иначе.

Обзаводились жильем и одновременно совершали вылазки на дорогу. Разумеется, это совсем не то, что хотелось бы, но успехи были налицо: во-первых, немцы почти перестали передвигаться в одиночку. О чем это говорит? Нервничают фашисты, боятся, а это значит, что даже в своем тылу изматываются. Во-вторых, прибежали в лес с одной неисправной винтовкой, а теперь у каждого и автомат, и пистолет, и гранаты; и запасец оружия некоторый создан. Наконец, в-третьих, питание не ахти какое, но исключительно за счет немцев.

Разве все это плохо для начала?

Однако есть и ошибки. Основная — совершенно напрасно сторонились всех местных жителей. Судя по рассказу Виктора, деревни лишь для вида покорились немцам. Значит, уже с сегодняшнего дня нужно начать устанавливать связь с местным населением. И возложить это на Виктора: у него уже есть знакомые — дед Евдоким, Афоня с женой, Клава...

Да, пусть Виктор обязательно принесет комсомольский билет, покажет его...

Всю ночь не спал Василий Иванович и забылся только под утро. Но в это время проснулся Григорий, который сегодня дневалил. А он ничего не умел делать тихо. Вот и теперь, пока вылез из землянки, растолкал всех, а потом ничего лучше не придумал, как прокашливаться у самого входа.

И что интересно, скажи Григорию, что он не уважает товарищей, — кровно обидится. И по-своему будет прав: для товарищей он ничего не пожалеет, на любую пытку пойдет. У него просто самоконтроль отсутствует, вот и получается, что, вроде бы оберегая сон товарищей, он нещадно будит их.

Василий Иванович вздохнул и сел. Тотчас зашевелился Каргин и сказал совсем не сонным голосом:

— Пташка-кинареечка в наряд пошла — прощай постеля, не горюй, не грусти, пожелай нам вовремя пожрать.

— Сам-то чего орешь? На Гришку не надеешься? — огрызнулся Юрка, но в голосе его не было настоящей злости. Он просто хотел поспорить, однако Каргин не клюнул на приманку, и Юрка в два прыжка выскочил из землянки, заорал на Григория: — Ты чего, гад, базаришь? До побудки еще час, а шумишь, как недорезанный! Вот погоди, чернявый красавец, я завтра заступлю на дневальство, так и не в такую рань тебя вздыблю! — И уже совсем неожиданно для Виктора: — Дров-то наколол или помочь? Я это мигом могу...

— Два громкоговорителя, — заметил Павел, который лежал рядом с Виктором. — Слушай, Самозванец, а отец у тебя где? Узнать не пробовал?

Виктор, особенно когда было невероятно трудно, часто вспоминал отца, даже тосковал о нем, а вот искать не додумался.

— А у кого узнаешь?

— У тех, кто в Пинске тебя выручил. Видать, мужики стоящие.

— Не сообразил.

— А соображать не каждому дано. Это бабу облапить большого ума не надо. Там, как ученый Павлов доказал, за человека инстинкт действует, — затараторил Григорий, который, послав Юрку за дровами, уселся у входа в землянку.

— Испарись, граммофон! — простонал Павел, и вслед за этим что-то мягкое шлепнулось в Григория.

Тот отшвырнул подальше в лес предмет, ударившийся в него, и немедленно пожаловался:

— Обращаю ваше внимание, товарищ комиссар, этот несознательный тип в меня противогазной сумкой бросил. Так сказать, казенным имуществом раскидывается. Кроме того, как я сейчас лицо должностное...

— Комиссар мне велел во всем этом разобраться, — сказал Каргин, вставая.

Григория будто вихрем унесло из землянки.

Немного погодя, умывшись ключевой водой, пили кипяток и жевали хлебные лепешки, напоминающие прессованную фанеру.

— Еда заграничная, галета немецкая, а ты морду воротишь! — набросился Григорий на Виктора.

— Просто так...

— Просто так, без мысли, полуумки живут. Взять нашего Павла. Имущество казенное выкинул куда-то, оно мокнет, а он и в ус не дует. А почему? Привык, что дядя за него всегда думает.

— А с чего, Гришенька, мне над этой проблемой голову ломать, если то барахло твое? — с самым простецким видом спросил Павел.

Виктор расхохотался, а Григорий, почему-то зло глянув только на него, метнулся в кусты и долго шарил там, вполголоса матерясь.

— Я бы, Ваня, хотел мысли кое-какие высказать. Не возражаешь? — начал комиссар, и все посерьезнели. — Землянка наша, как я и говорил, оказалась мала. Еще одного человека примем, а дальше как? Да и печка отсутствует, а зима не за горами.

— Опять всем одной лопатой ковыряться? — огрызнулся Юрка. — Да и не господа те, кто придут. Пусть Самозванец себе хоть нору, хоть дворец роет...

— Рыть и по-настоящему оборудовать землянки будем мы... Тебе, Виктор, задание другое. Сегодня пойдешь обратно в деревню.

— И почему людям так везет? — всплеснул руками Григорий. — Ему, товарищ комиссар, еще нет восемнадцати, малолетка он! Ей-богу, пошлите меня, и я такую бабу обуздаю — закачаетесь!

Деревянная ложка звонко ударила в затылок Григория. Он прикоснулся пальцами к ушибленному месту, покосился на Каргина и замолчал.

— Поговори с дедом. Нам бы две или три пилы и несколько лопат для начала, — продолжал Василий Иванович, словно ничего и не случилось.

Задание, которое давали Виктору, обсуждали обстоятельно, стараясь предугадать и предусмотреть всякую неожиданность. Решили, что для деда Евдокима и Клавы он пусть пока так и остается лейтенантом, а для всех прочих, если это еще возможно, — мужем Клавы. И жить ему в деревне до сигнала, который будет в свое время дан, изучать народ, обстановку. Не раскрывая отряда, постараться навербовать помощников. И будет просто замечательно, если он сумеет раздобыть приемник!

Но первоочередное — лопаты и пилы. Чем больше, тем лучше. Их сегодня же ночью передать Юрке, который пойдет провожатым и будет, если потребуется, до утра ожидать его в лесу, напротив домика Клавы.

— Двоим бы надо с Самозванцем идти, лопаты и пилы не так просто тащить в такую даль. Да и вообще, на всякий случай, — начал было Григорий, но Каргин властно оборвал его:

— Опять за дружком тянешься?.. Я о другом думаю... С оружием или без оного идти Витьке? Если с оружием, то с каким? Пистолет вернуть или немецкий автомат подбросить?

— Автомат, он злее бьет, — немедленно отреагировал Григорий.

— Лично я пошел бы без оружия, — заметил Павел и, когда все уставились на него, пояснил: — Встретится патруль фашистский, а у Самозванца оружие. Остается — бежать или верная смерть. А без оружия совсем другое дело! «Остановись!» — приказывают. «С нашим удовольствием, стою». — «Куда идешь?» — «Домой, к жене, в деревню такую-то!» — «А если проверим?» — «Милости просим, гостями будете!» И обыск учинят — ничего не найдут.

— А ты, Виктор, как сам считаешь? — спросил Василий Иванович.

— Я?.. Мне с оружием удобнее. Меня с ним видели. И Клава, и дед Евдоким...

— Быть посему, — решил комиссар, и, простившись с новыми товарищами, Виктор зашагал за Юркой.

— Эй, Самозванец! — окликнул его Григорий, догнал и сказал скороговоркой: — Ты, парень, там поаккуратней. Комиссар с Каргиным и шибко строгими быть могут.

3

Юрий ушел с Виктором. А Каргин с Павлом отправились осматривать окрестности, чтобы попытаться найти для землянки более подходящее место: здесь и сейчас сырость, а что будет весной, когда, как в народе говорят, даже из камней вода течет? Исчез и Григорий. Вздумал грибов насобирать, грибовницей порадовать. Вот и получилось — все разошлись, у всех дело есть. Один он, Василий Мурашов, сидит у землянки, греется на солнышке. На большее пока не способен.

Остаешься один — всегда мысли одолевают. Вот посмотрел вслед Виктору, а уже какая-то сосущая тоска навалилась, уже стоят перед глазами сыновья — Сергей и Никита, стоят, хоть что ты делай!..

Старший, Сергей, на год моложе Виктора. Такой же брюнетистый и по-юношески непосредственный...

Интересно, чем сейчас сыновья заняты? Хотя можно с уверенностью сказать, что они на уроках в школе: сегодня 29 сентября. И перед глазами уже не только сыновья и жена, но и двухэтажное рубленое здание школы. В позапрошлом году ее открыли и всем приезжим с гордостью показывали химический кабинет, где был вытяжной шкаф: уже одно это делало деревенскую школу похожей на городскую. Знай наших!

Однако у Виктора ботинки совсем развалились. Надо, пожалуй, посоветовать Каргину, чтобы ребята снимали одежду и обувь с убитых немцев: сюда ведь ни интендант, ни кооператор не приедут.

И ни в коем случае нельзя допустить, чтобы люди окончательно оборвались или начали обмундировываться за счет деревенских. Случится такое — первый спрос с него, Василия Мурашова: он старший и должен все предусмотреть.

А память уже подсовывает из далекого детства картину. Тогда он был просто Васяткой и жил у деда в Котельниче. Дед встал перед глазами таким, каким видел его в последний раз: с серебристой окладистой бородкой, недоумевающей улыбкой и кровью на виске. Кровью потемневшей и ссохшейся.

Дед был фельдшером, участвовал в турецкой кампании, за что имел какую-то медаль. О войне не любил рассказывать, одно, кажется, только и обронил: «Война — мерзость, кровь и страда-

ния людские. Оправдывает солдата лишь то, что он убивает и сам умирает во имя Отечества. А ради этого любые муки человек должен принимать с радостью».

А вот отца он, Василий Мурашов, не помнит: не было ему и года, когда тот умер от воспаления легких. Вот и жили с дедом, дед и воспитывал. Ой, крепко воспитывал!..

Васятке было лет шесть или семь, когда он взял со стола пятак и купил голубя-сизаря. Млея от счастья, бежал с ним домой, где и посадил его под перевернутый ящик. Минут двадцать или около того подождал, чтобы голубь привык к новому дому, и приподнял ящик. Голубь, склонив голову, глянул на него оранжевым глазом, переступил с одной красной ножки на другую и вдруг сизой стрелой прорезал небо и скрылся из глаз.

Дед обедать, как обычно, пришел домой, сразу заметил исчезновение пятака и спросил у бабушки:

— Маня, ты на что пятак истратила?

— И не брала я его вовсе, Иван Романович, не брала.

— Тебе, Аня, он, что ли, понадобился?

Аня — мать Васятки.

— Нет, папа, я никуда не ходила.

И тут дед посмотрел на сжавшегося Васятку и, не спрашивая ни о чем, снял с себя ремень и свирепо выпорол.

Помнится, забившись под стол, он тихонько хлюпал носом (дед приказал: «Не реви, не баба!») и решил бежать из дома сейчас или когда немного подрастет, и вдруг дед властно позвал его к себе. Вылезать из-под стола было страшно, ослушаться — того страшнее, и он покинул свое убежище, встал перед дедом, мысленно готовый к самому худшему.

Однако дед просто сказал, что никому из домашних — ни ему, деду, ни бабушке, ни матери — для Васятки ничего не жалко, хоть рубль и сегодня истратит он, дед, на голубей, но воровать — самое отвратительное человеческое преступление, за воровство руки с корнем вырывать надо.

Деда убили бандиты... Он ехал к больному в глухую деревню, дорога вилась через лесок, вот там и убили...

Более тридцати лет прошло с той поры, но и сейчас Василий Иванович не может без отвращения думать о воровстве. Его, бывало, всего передернет, когда услышит, что того или иного человека посадили за растрату. Его всегда возмущало, почему этого негодяя называли обтекаемо — растратчик, а не просто и понятно — вор.

Да, а теперь, если не снимать обувь и одежду с убитых немцев, можно докатиться и до воровства. Не каждая крестьянка с чистым сердцем отдаст тебе сапоги или пальто мужа.

Неожиданно появился Григорий.

— Глянь, Василий Иванович, сколько я этого добра наломал! — И он вываливает из подола гимнастерки подберезовики, красноголовики, синявки. Василий Иванович перебирает пальцами их упругие ножки и говорит:

— Богато... Знаешь, а не насушить ли нам грибов на зиму?

— Как их без печки-то насушишь? Летом на солнышке это сделать еще можно было, а сейчас оно уже не то. Видимость одна, что греет.

— И все-таки, Григорий, мы будем сушить грибы. Ведь нам не только выжить, ведь нам еще и воевать надо!

Примерно это же самое, только другими словами, сказал и Юрка, когда Виктор с опушки леса показал ему домик Клавы:

— Я тебе, Витька, лекций читать не буду, не обучен этому. Но запомни: голову оторву, ежели крутить-финтить начнешь и дело завалишь.

Виктор боится встречи с Клавой и поэтому предлагает:

— Зайдем вместе? Уже прохладно, замерзнешь, а я, может, час или даже больше буду барахло собирать.

Юрку бьет мелкая дрожь, так взволновал его вид мирного человеческого жилья, так захотелось ворваться в одну из этих хат, упасть там на пол и лежать молча. Обязательно лежать, и только молча, чтобы до мозга костей дошли запахи жилого дома и свежеиспеченного хлеба. Но он ответил:

— Приказ — ждать здесь. Иди.

Руки и ноги словно чужие, слушаются плохо, и, чтобы окончательно не раскиснуть, Виктор взбадривает себя: «Ну, чего она мне сделает? Дверь не откроет? Да плевать мне на ее отношение! К деду Евдокиму или Афоне уйду!»

Он еще закрывал калитку, когда скорее почувствовал, чем услышал за спиной торопливый топот легких ног; обернулся, и тут Клава бросилась ему на грудь, прижалась и замерла. А когда подняла голову, Виктор увидел ее счастливые глаза. Понял, что сейчас ни о чем не надо напоминать, и сказал:

— Позови деда Евдокима.

— Картошка в печке! — крикнула Клава уже с улицы.

Дед Евдоким ввалился в кухню и сразу заворчал:

— А эта дура вчера примчалась ко мне, кричит: «Убег лейтенант!» Ей, дуре, невдомек, что не может человек убежать, если народ в него поверил!

Сказав это, дед Евдоким, как и в прошлый раз, хозяином уселся на табуретку, закурил и лишь тогда, будто между прочим, заметил:

— Слышь-ка, Витьша, а староста из Степанкова как сгинул, так и не объявился.

Дед смотрел на тлеющую самокрутку, сказал все это так спокойно, словно сам с собой мыслями делился, но Виктор уловил в его голосе какое-то подобие торжества и одобрения; было очень приятно все это, но он поспешил перевести разговор на главное:

— Извини, деда, я тебя по делу просил прийти.

Дед сразу же насупился и приказал:

— Кланька, сходи к соседке.

— Нет, пусть остается... Мне нужны пилы, топоры и лопаты. Найдутся?

Дед, казалось, не слышал вопроса, он как будто интересовался только потрескивающей самокруткой. «Боится, что не вернем», — подумал Виктор и добавил:

— Штуки по две только и надо.

— Одна пила у меня есть, у Груни вторую взять. И лопаты найдем, — заверила Клава.

— А еще что надо? — спросил дед, затушив окурок. — К тому спрашиваю, что в прятки играть непривычен. Ты мне полностью доверяй или за десять верст стороной обходи! Вот так-то...

В наставлении, которое было дано Виктору, предусматривался и такой вариант. Поэтому он сказал спокойно и чуть суховато:

— Здесь вблизи базируется отряд. Я — его разведчик.

Дед Евдоким оперся жилистыми руками о костлявые колени, подался вперед и спросил, еще больше понизив голос:

— Может, еще что надо? Сам понимать должен, обворовали нас немцы, но малый тайный запасец все же имеется.

Хорошо бы попросить и хлеба, и картошки, и одежду теплую, да невозможно: один Юрка все не унесет. Кроме того, правильно ли сразу раскрывать малочисленность отряда и его нужду во многом?

А перед глазами Виктора — полянка. Ее пронизывает холодный утренний ветерок, и Василий Иванович, поеживаясь в своей видавшей виды гимнастерке, сидит на чурбаке...

— Если бы еще один полушубок, хоть старый, хоть здорово поношенный, — начал Виктор и поспешно добавил: — Товарищ у меня, который сейчас на опушке ждет, чтобы пилы и все прочее унести, шинель случайно сжег. Одну полу начисто.

— Весь отряд провиантом нам, конечно, не обеспечить, а полушубок и пару караваев хлебушка подкинем... Сам-то здесь останешься или как?

— Здесь... До особого распоряжения.

Через час или около того дед Евдоким принес все, что просил Виктор. Пилы были умело разведены, топоры наточены, а караваи хлеба плотно прижимались друг к другу в добротном заплечном мешке. Особенно радовал почти новый полушубок, от которого приятно пахло овчиной.

— Этот дед кем, говоришь, здесь является? — спросил Юрка, принимая инструменты и мешок с хлебом.

— Старостой.

— Страсть серьезный старик. Ты-то в доме остался, когда он от тебя вышел, а я все видел. Как генерал. Остановится перед хатой, отдаст приказание и дальше... Ну, шагай к своей чернобровке. Чуть что — ночью приду, теперь хату знаю.

— Ладно... А полушубок комиссару отдай.

— Или я маленький, без тебя не догадался бы? — искренне обиделся Юрка.

Исчез Юрка в темноте, сгустившейся в лесу. Некоторое время были еще слышны его шаги, а потом плотная тишина обступила Виктора. Он вздохнул и зашагал к домику, в окошке которого призывно светился огонек керосиновой лампы.

Глава четвертая

ОРДНУНГ

1

Каждую ночь небо, если оно не затянуто тучами, утыкано звездами. Многие из них, как и люди, имеют имена, их место точно обозначено на звездном глобусе, чтобы помогать мореплавателям. Не все жители земли знают звезды поименно, для большинства они лишь холодные блестки, украшающие небо. Но вряд ли в северном полушарии найдется человек, который не смог бы разыскать в звездной россыпи одну, только одну необходимую ему — Полярную звезду.

К ней, к Полярной звезде, невольно тянутся взгляды людей, оказавшихся далеко от дома. Сграбастает тоска человека, невмоготу ему — вот и находит он на темном небе яркую точку. Смотрит на звезду, и невольно в голову лезет мысль: «Может быть, и мои сейчас смотрят на нее? Если так, то мы как будто в глаза друг другу взглянули».

На Полярную звезду смотрел и Фридрих Сазонов — в недавнем прошлом красноармеец, а теперь военнопленный без имени и фамилии. Все заменил номер 5248. Он, этот номер, вбит в каждую клеточку мозга, пульсирует в крови, не давая ни на минуту забыть, что еще недавно ты был человеком и даже имел права, которые почему-то не ценил.

Права человека... Они так переплелись с повседневной необходимостью, что без них, казалось, и жить нельзя; будто все эти права не дарованы тебе Советской властью, а продиктованы самой жизнью. Не будет этих прав — вся жизнь колесом пойдет.

Пробыв три месяца в плену, Фридрих Сазонов по-новому взглянул на те самые права, о которых раньше не задумывался. Человек имеет право! А что имеет он, хефтлинг номер 5248? Он — вещь, которую хозяин в любую минуту может изрубить топором, сжечь на медленном огне, утопить в чашке воды...

Право на образование... Об этом праве ему настойчиво твердили в школе. Он ухмылялся и еле переползал из класса в класс, пока прочно не осел в восьмом. Его тянули и толкали изо всех сил, чтобы он использовал свое право на образование. К нему прикрепляли сильнейших учеников, его прорабатывали на собраниях, сто раз брали честное слово, что он исправится, отец дома измочалил о его спину поясной ремень. Не помогло. Наконец отец, отшвырнув ремень, выкрикнул:

— Умываю руки! Из балбеса сам бог человека не сделает!

Отец... Тогда Фридрих, казалось, даже презирал его. Тогда он не понимал, что революция и гражданская война так напугали отца, что тот и в последующие годы боялся всех и всего. Да и откуда было знать Фридриху, что отец, к сорока годам дослужившийся при царе до делопроизводителя, считал это своим жизненным потолком и больше смерти боялся крушения достигнутого благополучия?

Дома отец любил философствовать:

«Люди делятся на сильных, слабых и умных. Сильные мнут слабых, но! — Тут он обязательно вздымал к потолку вытянутый палец. — Но умный человек, если он физически даже слабый, никогда не пропадет в жизненной борьбе. Он не станет бороться с течением, а поплывет в общем потоке, используя все, чтобы понадежнее добраться до берега и покрепче вцепиться в него».

Следуя этому правилу, отец и нарек сына Фридрихом. В честь Энгельса.

Вот и появился в исконно русском городе Мценске новый гражданин Республики Советов — Фридрих Иванович Сазонов.

Возможно, из-за этого имени и невзлюбил школу: ребятня, она дотошная, малейшую фальшь сразу чует, и такими прозвищами мценского Фридриха увешала, что не только в школу, а и на улицу глаз хоть не показывай...

Сегодня на небе узкий серпик месяца, и толку от него, казалось, ничтожно мало, а вот нырнул он за тучку — сразу вовсе темно стало. Но не настолько, чтобы перестать видеть решетку из колючей проволоки. Одна ее колючка своей пикой нацелилась на Полярную звезду...

И еще отец часто изрекал, выпив стопочку:

«Зря ищут перпетуум-мобиле, он давно изобретен. Деньги — они всю жизненную машину крутят, на них власть в мире держится. Кто их больше получает, тот и выше на лестнице жизни стоит, у того и ступенька глаже и прочнее».

Отец остался верен этой своей теории и тогда, когда Фридрих, окончив ученичество на заводе, принес домой первую получку, которая оказалась побольше отцовской. Глянул отец на деньги сына, пересчитал их, и что-то изменилось, дрогнуло в его лице, а Фридрих понял, что с сегодняшнего дня отцовская рука никогда больше не потянется за столь знакомым поясным ремнем.

Однажды, чтобы проверить правильность своих выводов, Фридрих пришел домой выпивши. Отец и бровью не повел. Только на другой день, словно между прочим, сказал:

«Много своих просадил? Или друзья угощали?»

«Они», — соврал Фридрих, и отец немедленно ответил кивком, который лучше всяких слов пояснил, что умный человек так и должен поступать.

Жизнь, казалось, пошла нормально: отработал смену и гуляй себе на все четыре стороны. Правда, заводской комсомол то субботник, то еще что затеет, но это было даже приятно. Народу

собиралось много, и было перед кем силенку и ловкость показать.

И вдруг — призыв в армию!

Отшумел, отгулял свое Фридрих напоследок, покуражился перед девчатами: дескать, мы не хуже тех, кто с Хасана и Халхин-Гола вернулись, дескать, дойдет до драки — мы себя покажем, — и равнодушный паровоз потащил его вдогонку за солнцем.

Почти неделю гнались за солнцем — не догнали. У самой границы, на станции Шауляй, остановился поезд. Паровоз, будто обессилевший от бесполезной гонки, несколько раз тяжело вздохнул, окутался белым паром и замер. А Фридриха повели в казарму, которая теперь на два года должна была стать его домом...

Тяжелой показалась служба солдатская: все по сигналу, все бегом, бегом...

Сторожкое ухо уловило уверенные шаги нескольких людей, и Фридрих затаился, стараясь по звуку шагов определить, куда идут охранники: к ним или в соседний барак?

Дверь барака с грохотом стукнулась о стену, лучи нескольких фонарей заметались по нарам, и до тошноты противный голос завопил:

— Встать, сволочи! Всем на пол!

Фридрих метнулся на пол, распластался на нем. Рядом так же неподвижно лежали товарищи. Зато у дверей, в которые вломились немцы, раздавались глухие удары и сдавленные стоны. Там лежали раненые и те, кто окончательно ослабел. Они, конечно, не могли, как Фридрих и другие, рыбкой метнуться на пол, они чуть-чуть замешкались...

Наконец кого-то вытащили во двор, дверь еще раз хлопнула, и барак заполнила мертвая тишина.

— Орднунг! — усмехнулся фашист.

Пол в бараке бетонный, пронизывает холодом голое тело. Чтобы «приучить русских к гигиене», спать заставляют раздетыми, раздетыми и распластались на полу. Тощие, посиневшие от холода. Ни дать ни взять — покойники.

Четвертую ночь подряд врываются охранники в барак, и поэтому все дальнейшее известно до мелочей: через час этих сменят другие, и так будет продолжаться до тех пор, пока не надоест коменданту лагеря. А пленные — лежи. И не шевелись!

Пусть холод от бетона в кости проник, пусть судорога рвет ногу или руку, пусть до невозможности в отхожее место надо — виду не подавай. Чуть шевельнулся — удар прикладом по голове или очередь автоматная.

Легче лежать, не так муки чувствуешь, когда не о сегодняшнем дне думаешь, когда вспоминаешь что-либо или мечтаешь о будущем. Почти с ненавистью вспоминает Фридрих, каким уросливым он был еще недавно. Только покосится на него отделенный, еще слова не скажет, а он уже обидится, спорить нач-

нет. А спор в армии, пререкания с командиром — воинское преступление. Из-за этой своей несдержанности даже войну не как другие встретил...

Шестнадцатого июня командир отделения спокойным голосом сделал замечание, углядев грязный подворотничок. Как младшему брату сказал, а он, Фридрих, в ответ такого наговорил, что командир роты, проходивший мимо, немедленно наложил взыскание — пять суток ареста.

Не только без оружия, даже без поясного ремня встретил он, красноармеец Сазонов, ворвавшегося врага.

Ему бы остаться при комендатуре, а он решил немедленно вернуться в часть. Хотелось доказать и отделенному, и командиру роты, и товарищам, что хорошего бойца они придирками заездили. И он побежал по знакомой лесной дороге, впервые испытывая чувство тревоги за товарищей, впервые поняв, как они дороги ему.

А небо было нежно-голубое. Всходило солнце, и в его первых лучах зелень листьев казалась необычайно чистой.

Он бежал на запад, а навстречу ему лавиной катился непонятный грохот. Уже позднее Фридрих понял, что предутренняя тишина так исказила рев моторов мотоциклов. А тогда он просто удивился и машинально метнулся в лес, когда из-за поворота дороги вдруг вылетели мотоциклисты. Длинными очередями прошили они и лес, и утро.

К вечеру грохот боя ушел на восток. Фридрих, как затравленный заяц, пометался по лесу и вечером вышел на дорогу, где его и схватили немцы.

Потом был прямоугольник земли, огороженный колючей проволокой. И по углам его торчали часовые. Они, посмеиваясь, смотрели на пленных и, казалось, ничего против них не имели. Но когда один пленный подошел к проволоке и уставился грустными глазами на синеющие дали, часовой прошил его очередью из автомата.

Ждали, что начальство взгреет часового, но оно только посмеялось.

Тихонько посудачили об этом случае и пришли к выводу, что в этом лагере начальство — зверье. Поэтому и невинного человека запросто застрелили, и хлеба два дня не выдавали, и воды не привозили; пили из позеленевшей лужи.

Ее, эту лужу, спустили к концу третьего дня. Сказали, что в стоячей загнившей воде много вредных бактерий, и спустили.

А на другой день (четвертый день плена) привезли селедку. Она была ржавая от соли и времени, но на нее набросились с жадностью. Даже головы селедок обсосали, чтобы не пропала ни одна съедобная крошка.

Воду привезли только через сутки. Привезли в бочке и, открыв кран, вылили на землю, истрескавшуюся от зноя. Люди, почти обезумевшие от жажды, бросились к струйке воды, которая, казалось, звенела и пела на все голоса.

Фашисты открыли огонь, и многие упали, не добежав до воды. А переводчик крикнул из-за проволоки:

— Русские солдаты — свиньи! Они не имеют понятия о порядке. Запомните это слово — орднунг!.. Всем встать в очередь!

Когда очередь была готова, сухая земля почти без остатка поглотила всю воду.

Во имя орднунга расстреливали и нещадно избивали палками, плетками и просто, свалив, топтали подкованными сапогами. Избитых, как правило, пристреливали на другой день, чтобы «уберечь от заразы остальных»; как известно, слабый человек более восприимчив к инфекционным заболеваниям.

Помнится и такой случай.

Было раннее утро, когда особенно бодро звенели птичьи голоса, а на траве сверкала, играла радугами роса. В этот час жизненной благодати, когда нормальный человек даже голос понижает, чтобы не спугнуть торжественную тишину, около проволоки появился немецкий солдат, что-то сказал часовому и вошел на территорию лагеря. Вошел, осмотрелся и пальцем поманил к себе пленного. Тот поспешно встал, подбежал к немцу и вытянулся, как того требовал орднунг.

Фашист влепил ему звонкую пощечину. Ударил и посмотрел, вся ли ладонь отпечаталась на щеке.

Вот и все. Посмотрел на щеку пленного, вытер свою руку носовым платком и ушел.

— Братцы, за что? — плакал красноармеец, вернувшись к товарищам. — Ведь я ничего плохого ему не сделал?

Что ответить? В голове — сумбур. Да и опасно говорить то, что думаешь: смерть непрерывно дежурит за плечами у каждого, и кое-кто уже, чтобы перехитрить ее, стал подличать — выдали еврея, который называл себя армянином, и комиссара роты, затерявшегося среди пленных. Немцы вызвали их и повесили. Вызвали так уверенно, что все догадались о доносе. С тех пор каждый и вовсе внимательно вглядывался в соседа: не он ли гад, продавший человеческую совесть?

Когда ты ничего не делаешь, когда ты все время ждешь и боишься чего-то, земля будто замедляет свое вращение, и ты невольно думаешь, думаешь. О самом разном. А у Фридриха одна думка, о любимом изречении отца:

«Люди делятся на сильных, слабых и умных...»

Если смотреть на жизнь глазами пленного, то сильные — немцы, и они в бараний рог гнут слабых, безжалостно ломают их.

Но Фридриху кажется, что немцы не так сильны, как можно подумать. Вот повели к виселице комиссара. Четыре автоматчика сопровождали его, да еще почти взвод грудился около виселицы. Все настороженные: глазищами зыркают из-под глубоких касок, пальцы на спусковом крючке автомата держат.

А он, комиссар, — лицо кровью залито (автоматом саданули, когда забирали), тонкая шея из распахнутого ворота гимнастерки торчит, — шагал уверенно, словно не к виселице шел, а на

параде, мимо Мавзолея. И смотрел он гордо, смотрел поверх немецких голов, будто видел там что-то, недоступное другим.

Так кто же сильнее? Комиссар, смертный час которого пробил, или его убийцы?

Этот вопрос, возникнув в сознании один раз, уже не забывался, настойчиво требовал ответа, а память знай подсказывает...

Течет вода из бочки, течет на землю, истрескавшуюся от зноя. Люди бросаются к ней. Только один глоток воды в то время был для них дороже всего на свете.

Еще сочилась кровь из ран убитых товарищей, сизый дымок еще струился из стволов немецких автоматов, а комиссар уже закричал громко и призывно:

— Товарищи! Ведь мы же люди!

Его могли запросто срезать очередью, и он знал это. И все же стоял во весь рост, и все же призывал людей вспомнить о человеческой гордости.

Выходит, честью соотечественников он дорожил больше, чем своей жизнью, согласен был даже умереть лишь для того, чтобы враги не могли вдоволь насладиться страданиями, которые они породили для других людей.

А те гады, что иудами стали, они что, умные? Те умные, которых восхвалял отец?

Нет, уж лучше сдохнуть, чем с ними на одной ступеньке жизни стоять, из одной с ними миски есть!..

В том лагере, как о сказочном счастье, мечтали, что вот переведут их в другой лагерь и там начальство окажется человечнее. И вот пригнали сюда, в эти бараки...

— Встать! По местам! — И сыплются удары прикладов, плетей и палок. Сыплются на костлявые спины тех, кто чуть замешкался.

Окостеневшее тело слушается плохо, руки и ноги будто чужие, но Фридрих проворно лезет на второй этаж нар и, чтобы хоть немного согреться, сворачивается калачиком. Он закрывает глаза, он не хочет видеть своих высохших рук, обтянутых посиневшей и пупырчатой кожей. А ведь всего два месяца назад он десять раз подтягивался на перекладине...

2

«Еще раз опоздаешь в садик, так выдеру, что небо с овчинку покажется», — пообещал однажды отец.

Фридриху тогда исполнилось лет шесть или семь. Ему очень хотелось увидеть, как огромное небо вдруг начнет превращаться в маленькую овчинку, и завтра он опоздал нарочно.

Отец выпорол так, что Фридрих дня два сидеть не мог, но небо нисколечко не уменьшилось. Даже попытки к этому не сделало.

«Обманул папка», — сделал вывод маленький Фридрих.

А вот сейчас небо действительно казалось ему с овчинку. И не потому, что смотрел на него через окошко, затянутое колючей проволокой: ни малейшего проблеска на улучшение жизни нет, вот что главное. То, что произошло ночью, лишь одно звено тех мучений, через которые он проходит ежедневно.

Еще примерно месяц назад Фридрих и некоторые другие, собравшись в кружок, мечтали о том, как ахнут домашние, как будут лить сочувственные и умильные слезы, когда узнают, через что довелось пройти их сыновьям и братьям. Фридрих и некоторые другие чуть ли не причисляли себя к героям, принявшим муки за свой народ. Такие думы хоть немного, но скрашивали нечеловеческие мучения. Однако комиссар безжалостно разметал их:

— За что, за какие подвиги себя в герои зачисляете? В плену вы! Народ на вашу защиту надеялся, а вы, не оправдав его надежд, у него же и сочувствия ищете?

— А ты кто такой, чтобы нас позором клеймить? — окрысился кто-то.

— Такая же сволочь, как и вы. Как и вы, присягу нарушил. Только понимаю всю подлость своего поступка... По делам вору и мука.

Горьки, невероятно горьки были слова комиссара, но больше ни один человек не осмелился слова сказать: все знали, что комиссара полуживого немцы вытащили из-под развалин дома, где он лежал за пулеметом. Выходит, не было вины комиссара в том, что он в плену оказался; так уж его судьба военная распорядилась. Ну разве будешь спорить с человеком, совесть которого чиста?

После слов комиссара еще более осточертело все вокруг. Так невыносимо стало жить, что некоторые сами на проволоку бросились, чтобы быструю смерть принять...

Сегодня воскресенье, и немцы отдыхают. Значит, день пройдет сравнительно спокойно, и Фридрих вышел из барака, подсел к Никите, который облюбовал местечко у залитой солнцем стены барака.

Кто такой этот Никита, какой местности уроженец, из какого рода войск — ничего этого не знал Фридрих: в лагере все выдавали себя за малограмотных и самых обыкновенных стрелков. Просто случилось так, что там, еще в первом лагере для пленных, они оказались рядом. И ночью, валяясь на голой земле под проливным дождем, они прижались друг к другу, понимая, что вдвоем все же теплее.

С той ночи они все время вместе. И на поверках, и в бараке. Даже во время «занятий по тактике» становились рядом.

«Занятия по тактике» — детище ефрейтора с длинными и тонкими ногами. При ходьбе он так яростно вскидывал их, что невольно начинало казаться: вот-вот сапоги сорвутся с его ног

и улетят, если не к облакам, то уж к колючей проволоке — обязательно.

Ефрейтора прозвали Журавлем. Он довольно прилично говорил по-русски и поэтому обходился без переводчика. Впервые появившись на плацу лагеря, он заявил:

— Русские — прирожденные солдаты, они любят военное дело, увлекаются военными играми. Чтобы доставить вам удовольствие, немецкое командование приказало мне заниматься с вами тактикой. Прошу познакомиться с моими помощниками.

Помощники — пять здоровенных солдат. У каждого в руке плетка или увесистая дубинка.

— Становись!

Знакомая команда прозвучала, как хлесткий удар кнута.

А потом... Потом Журавль заставлял ложиться и вставать, ползать по-пластунски и бегать в атаку. И еще требовал, чтобы кричали «ура!». Не просто так, а бодро кричали.

Помощники били тех, кто отставал или, обессилев, не мог больше подняться. Били плетками и палками. Топтали сапожищами.

К концу «занятий» многие из пленных оставались лежать на земле. Некоторых из них сразу же уносили к воротам, куда складывали умерших. Остальных Журавль приказал класть на нары в бараке. Класть у самого входа.

— Чтобы на построения не опаздывали, — пояснил Журавль.

Казалось бы, Журавль проявил заботу о самых слабых, но пленные поняли его правильно: чтобы первые удары обрушивались на больных и обессиливших, чтобы еще скорее оборвалась тоненькая ниточка их жизни.

Но самое страшное и коварное, что таилось в этой «заботе» о самых слабых, поняли чуть позднее.

В то время, когда всем приказывали построиться перед бараками, пленные старались как можно скорее проскочить узкую горловину дверей: последних забьют в бараке, они уже не выйдут из него; их вынесут. И поэтому все летели к дверям, ломились вперед, локтями и кулаками пробивая себе дорогу. В этой свалке у дверей и раньше бывали пострадавшие. А теперь по воле Журавля на пути несущейся толпы оказались самые слабые.

Двух из них задавили при первом же построении.

Во время одного из «занятий по тактике» Фридрих вдруг почувствовал, что встать по команде уже не сможет.

У него только и хватило сил прохрипеть:

— Конец...

— Нет, встанешь, гад! — с неожиданной злобой захрипел и Никита. — Встанешь! Или и мне на радость фашистам рядом с тобой подыхать?!

Уже потом, вернувшись в барак и распластавшись на жестких нарах, Фридрих осознал, что внешне грубые слова Никиты на какое-то время вернули ему силы. И он встал. Разноцветные

круги мельтешили перед глазами, земля плыла, становилась дыбом. Он непременно грохнулся бы на землю, утрамбованную многими ногами, но Никита обхватил его, прижал к себе, а Журавль новой команды не подал: время «занятий» истекло.

С тех пор для Фридриха нет человека дороже Никиты. Да и тот, похоже, еще больше привязался к нему. Вот и сейчас, едва Фридрих вышел из барака, едва отыскал глазами Никиту, он уже пододвинулся, освободил место рядом с собой.

Несколько минут сидели молча, наслаждаясь теплом и покоем. Потом Никита сказал:

— Я надумал. Со щитом или на щите, как говорили наши предки.

Фридрих понял: надо бежать, бежать в ближайшие дни, или будет поздно. Невольно вспомнилась судьба одного танкиста. В первые дни плена он все хорохорился: дескать, вот немного подживет рана, чуть отдохну, наберусь сил — и сразу же удеру. Да разве здесь залечишь рану? Наберешься сил?

Позавчера уволокли к воротам того танкиста.

— О чем разговор? — спросил, остановившись, тот, которого прозвали Ковалком. Он вечно, вроде бы — бесцельно, шатался по лагерю, лез ко всем с разговорами и неизменно выклянчивал что-то.

— Хоть малюсенький, хоть вот такой ковалочек хлебца дай, — канючил он, глядя прямо в рот, хотя прекрасно знал, что тому, у кого он выпрашивал кусочек, выдана точно такая же пайка, как и та, которую он уже проглотил.

Ковалка все сторонились. Ни в чем особенно плохом он замечен не был, но близости с ним избегали, а Фридрих его просто ненавидел. До плена Фридрих был равнодушен к людям. Правда, у него водились и приятели, с которыми он иногда выпивал и шатался по городскому парку, но исчезни любой из них — он и бровью не повел бы. Но в плену, попав в чудовищную машину, где ломали человека, где все было нацелено лишь на то, чтобы уничтожить его, он вдруг стал интересоваться людьми. Теперь он мысленно разделял их на две группы: тех, кто против него, Фридриха, и всех прочих, кто не вредил и был даже полезен ему. Первых он ненавидел до того, что темные пятна застилали глаза, когда смотрел на них. Ко вторым относился доброжелательно. Нет, ни для кого из них он не снял бы с себя рубашки, ни для кого из них не отломил бы корочки от своей пайки. Но все же уважал. Особенно — комиссара. Попроси тот, может, и урвал бы от себя что-то Фридрих, а для остальных — дудки!

Кроме Никиты, конечно. За него Фридрих даже на любые муки пошел бы.

А вот Ковалка он ненавидел. За его чрезмерное любопытство и вечное попрошайничество. Но Фридрих уже усвоил, что здесь выгоднее прятать свои настоящие чувства, и поэтому ответил Ковалку спокойно, даже с ленцой:

— Так, ни о чем.

— Таитесь?

— Дурак ты, а не лечишься, — процедил Никита.

Чувствовалось, что в нем закипает злость, и, чтобы предотвратить взрыв, Фридрих торопливо сказал:

— Глянь, Ковалок, там никак делят что-то.

Ковалок оглянулся, увидел четырех пленных, стоявших у входа в барак, и заспешил к ним.

— Так как?

— План имеешь?

Звонкая автоматная очередь коротко ударила по ушам. При первых звуках ее, чтобы не зацепила шальная пуля, и Фридрих, и Никита, и все другие, находившиеся не в бараках, распластались на земле. Выжидали, не загремят ли снова выстрелы, не раздастся ли какая команда, и лишь позже, когда тишина устоялась, стали приподниматься, садиться и потом — оглядываться по сторонам: кто и за что сегодня оказался мишенью?

Чаще всего стреляли по тому, кто, по мнению часового, слишком близко подходил к проволоке. Но сегодня человек был убит метрах в ста от запретной зоны. Он лежал у ярко-зеленого пятачка, в один ряд обнесенного колючей проволокой. Кругом голая земля, а в центре ее этот зеленый островок. Там росла самая обыкновенная трава. Но в лагере для пленных, куда согнали тысячи изголодавшихся людей, и трава была признана едой. Ели ее корешки. Потом страшно мучились животом, но все равно ели, чтобы хоть немного унять непрестанно сосущее чувство голода.

Немцы приказали с корнями вырвать всю траву. Оставили лишь четыре пятачка против вышек с часовыми. И обнесли траву колючей проволокой. Будто тоже арестовали.

Кто притронется к этой дразнящей глаза траве, тому смерть.

И вот мертвая рука человека лежит на нежной зелени...

— Вдвоем? Или еще кого прихватим?

В то время в лагере человек боялся человека, не верил человек человеку, и Никита ответил:

— Вдвоем. Болтовни лишней не будет.

Однако бежать Никите не пришлось.

Сразу после обеда, когда в кишках еще бурлила баланда, Журавль увел за пределы лагеря двух человек. Немного погодя они вернулись со столбом на плечах.

— Вкопать здесь, — приказал Журавль, топнув ногой в центре плаца.

Столб был невысок и не очень толст. Примерно такие столбы ставятся на волейбольных площадках. Словом, вкопали самый обыкновенный столб. Но пленные на него смотрели с опаской: без задней, черной мысли охрана лагеря еще ничего не сделала.

— У русских есть национальная игра — лазить на столб. На высокий столб русские лазят. Мы поставили маленький.

Прошу желающих показать силу и ловкость, — сказал Журавль, широко улыбаясь.

Столб всего метра на три или чуть больше возвышался над землей. В мирной жизни добраться до его вершины — раз на ладони плюнуть. Но теперь... Теперь сила далеко не та. Да и не хочется стараться на потеху врагу.

— Нет желающих? Странно. — В голосе Журавля слышится что-то зловещее. Он глянул на пленных и ткнул пальцем в грудь одного: — Ты!

— Рука у меня, — ответил тот, показывая руку, завернутую в грязную тряпицу.

— Отказываешься?

— Не могу я. Кто же с одной рукой на столб лазит?

Журавль как-то незаметно достал пистолет и выстрелил.

— Убит за отказ выполнить приказание немецкого солдата, — хладнокровно пояснил он, опуская дымящийся пистолет. — Ты!

Ковалок, на которого упал взгляд Журавля, рванулся к столбу, до дикости неумело облапил его и полез. Ковалок, похоже, никогда не только на столб, но и на дерево приличное не лазил и поэтому, чуть приподнявшись над землей, неизбежно съезжал обратно.

Он изорвал в кровь ладони, окончательно выбился из сил, но с животным страхом в глазах все бросался и бросался на столб.

Немцы смеялись. Журавль самодовольно покачивался на длинных ногах.

Тогда Никита не выдержал.

— Я полезу, — сказал он и оттолкнул Ковалка; тот немедленно юркнул в толпу.

— Доброволец? — осклабился Журавль.

Никита добрался до вершины столба, ухватился за нее, ожидая дальнейших приказаний. Фридрих понял, что сейчас Никита очень доволен собой: он, даже ослабевший, смог постоять за честь русского человека.

— Прыгай, — приказал Журавль.

Никита прыгнул. И в тот самый миг, когда он был еще в воздухе, раздалось несколько выстрелов.

— Я приказал ему прыгать вверх, — охотно пояснил Журавль. — Следующий. Прошу!

Следующий молча подошел к столбу, прислонился к нему спиной.

— Ну? Почему не лезешь?

— Так стреляй. Для тебя ведь это главное.

— Догадался! — засмеялся Журавль.

Примерно еще с час у столба гремели выстрелы и хохотали гитлеровцы.

3

Ночью в бараке похвалялся Ковалок:

— Я вовсе не слабый. Нет, я мог запросто на столб влезть, но вижу — немцам не это надо, ну и угодил им. Они сейчас господа над нашими жизнями, мы у них, что птаха в руке мужика. Сжал пальчики — и хрустнули ребрышки. Вот и спрашивается, зачем в такой обстановке гонор свой показывать? Нам главное — выжить.

Главное — выжить... Что-то похожее проповедовал отец...

Слез не было, выгорели они. Но злоба душила, ей нужно было дать выход, иначе она, осилив, могла и на колючую проволоку бросить. И Фридрих соскочил с нар, подошел к Ковалку и ударил его в висок. Раньше от удара со всего плеча тот, скорее всего, запрокинулся бы на спину, а сейчас только качнулся. Потом Ковалок злобно сверкнул глазами и ударил сам. И Фридрих рухнул к основанию нар. Ковалок посмотрел на него одновременно злобно и презрительно и процедил сквозь зубы:

— Убил бы тебя, как слизняка, да не буду, пожалею: сам скоро сдохнешь или руки мои лизать станешь...

С вечера небо затянули тучи и скрыли и луну, и Полярную звезду. Беспросветная чернота кругом: и в бараке, где не смолкают кашель, стоны и вскрики, и во всем большом мире.

Еще вчера, договариваясь с Никитой о побеге, Фридрих хотел бежать лишь для того, чтобы выжить. А сейчас он вдруг отчетливо понял, что ему и жизнь не мила будет, пока Журавль и другие фашисты хозяйничают на земле. Он вдруг понял, что обязательно нужно выжить для того, чтобы мстить врагу. Ради нее, этой мести, он многое уже перенес, еще больше перенесет, но все равно убежит и потом будет беспощадно мстить. И за то, что пришлось пережить народу, и за себя, и за Никиту. Эх, Никита...

Фридрих достал из щели в нарах остро заточенную полоску железа и, крадучись, пошел туда, где спал Ковалок.

Несколько рук схватили его и зажали рот, когда до Ковалка оставалось метра два. Эти же руки унесли его на нары, осторожно положили. А еще через несколько секунд кто-то прошептал в самое ухо:

— Не будь дураком. Убьешь этого гада здесь — весь барак в ответе, каждого десятого расстреляют... Жди. Понял? Жди!.. Мы сами к тебе подойдем.

Исчез неизвестный друг. Фридрих снова уставился в темное окошко. Моросил дождь, и Фридрих смотрел в темноту, с надеждой смотрел туда, где обычно сияла Полярная звезда.

4

На следующий день Фридрих особенно пытливо вглядывался в лица товарищей по бараку, старался угадать, кто из них друзья, объявившиеся прошлой ночью. Угадать не смог.

А Ковалок по-прежнему сновал среди пленных. И Журавль по-прежнему важно вышагивал по лагерю...

Казалось, неоткуда Фридриху ждать перемен, казалось, ему только и остается, что примириться с Ковалком, который явно рвался к власти в бараке. И вдруг все круто изменилось. Началось с того, что Журавль остановил Фридриха и выстрелил вопросом:

— Комиссар?

— Никак нет, рядовой Фридрих Сазонов.

Журавль пожевал бескровными губами, круто повернулся на каблуках и зашагал к домику, где размещалась комендатура лагеря. Зашагал, отрывисто бросив:

— За мной!

Они пересекли весь лагерь. Сотни глаз следили за ними. Сотни людей, на время забыв о своих муках, сочувствовали Фридриху: если кого-то вызывали в комендатуру, то только затем, чтобы позднее сбросить с крыльца что-то отдаленно напоминающее человека.

После гибели Никиты жизнь для Фридриха, как казалось ему, стала еще менее привлекательна. Он впал в какое-то оцепенение. Вот и сейчас, шагая за Журавлем и зная, что может его ожидать в комендатуре, он не боялся, ему было безразлично все, что произойдет там. Он знал, что не сможет умереть так же гордо, как комиссар, и не жалел об этом. Но дал себе слово не вымаливать пощады, не покупать жизни ценой даже ничтожно малой подлости.

— Ждать здесь, — приказал Журавль, когда они вошли в коридор, от стен которого и окружающей тишины повеяло могильным холодом.

Фридрих повернулся лицом к стене и замер. Простоял так долго, что ноги затекли, мысль словно умерла. Не человек, а подобие его стояло, уткнувшись лицом в серую штукатурку стены.

— Сюда! — позвал Журавль, и Фридрих вошел в комнату, остановился у порога.

Комната как комната: четыре угла, два окна, письменный стол в простенке между ними, три стула около него и шкаф в углу. Над столом — портрет Гитлера. Он будто смотрел на Фридриха, будто дарил ему свою «добрую» улыбку. И Фридрих подумал, что вот так же, улыбаясь, смотрел он и на то, как здесь избивали людей, ломали у них кости, вытягивали жилы.

За столом сидел сам комендант лагеря. Обычно он словно не замечал пленных, сегодня же взгляд его был осмысленный, живой.

Комендант лагеря и Журавль обменялись несколькими фразами. Если бы Фридрих знал немецкий язык, он понял бы все, о чем они говорили, и, может быть, вспылив, погубил бы себя. Но он ничего не понимал, с жизнью уже простился и поэтому стоял спокойно. А комендант лагеря сказал Журавлю:

— Вы, кажется, правы: в нем, несомненно, есть арийская кровь. И череп нордический, и покорность судьбе, свойственная только нам, немцам.

Выпятив грудь, Журавль еще выше вскинул подбородок.

— Поведение?

— Ни в чем не замечен.

— Держится особняком или у него есть друзья?

— Больше один.

— Логично: немецкая кровь не позволяет ему смешиваться со всяким сбродом... Спросите у него, почему он скрыл свое имя.

Журавль перевел вопрос, и Фридрих немедленно ответил:

— Не скрывал. Когда списки составляли, точно назвался.

Это уже проверили. Комендант лагеря одобрительно кивнул, еще раз осмотрел Фридриха с ног до головы и распорядился:

— Использовать для работ вне лагеря.

Журавль щелкнул каблуками и подбородком повелительно указал на дверь. Фридрих по армейской привычке четко повернулся, но только взялся за ручку двери, как комендант что-то сказал, и Журавль немедленно перевел:

— С тобой в бараке есть евреи? Комиссары? Сволочь отличная?

По всему тону предыдущего разговора Фридрих уже понял, что сегодня он уйдет отсюда живым, и сердце сразу забилось учащенно, сразу появилась не только жажда жизни, но и желание получше использовать счастливый момент, и он ответил:

— Комиссаров и евреев не имеем, а вот типчик один болтается.

— Кто такой?

— Фамилии не знаю, его Ковалком кличут.

— Ковалок?.. Что есть Ковалок?

— Кусок будто по-белорусски. Тот самый, что на столб лез и залезть не смог. Похвалялся при всех, что обманул вас. Так и сказал при скоплении народа, извиняюсь за выражение: «А здорово я обманул того длинного дурака».

Лицо Журавля покрылось нервными красными пятнами, он кратко сказал что-то коменданту лагеря, бросил Фридриху сигарету и снова — теперь одними глазами — показал на дверь.

У Журавля оказалась отличная зрительная память на лица, примерно через час он разыскал Ковалка, подвел к столбу:

— Лезь!

Ковалок, как и в прошлый раз, начал старательно срываться, но Журавль положил руку на расстегнутую кобуру, и тот проворно полез по столбу.

— Прыгай!

Кулем свалился Ковалок на землю. Лежал и ждал выстрела. А его не было.

— Еще раз.

И еще раз Ковалок благополучно добрался до вершины столба и спрыгнул на землю.

— Очень хорошо. Тебя потренировать, и ты станешь чемпионом. Я лично позабочусь о твоей судьбе.

После первой же «тренировки» всю ночь стонал и плакал Ковалок. Фридрих остался равнодушен.

И невольно вспомнилось недавнее. Он перед отправкой в армию догуливал последние дни. Был тихий вечер, и солнечная позолота запуталась в высоких облаках. Где-то за зелеными кустами сирени, обступившими домики тихой улочки, мужской голос пел о Катюше. Фридрих шел по дороге, смотрел себе под ноги и мечтал о чем-то хорошем. И вдруг его глаза остановились на кошке. Она, раздавленная колесом грузовика, смотрела на мир уже выцветшими остекленевшими глазами.

Тогда, глядя на труп кошки, Фридриху захотелось поймать того шофера-убийцу и стукнуть его головой о забор...

А здесь человек на смерть обречен. И нет жалости.

...Три дня «тренировок» — и Ковалка за ноги уволокли к воротам.

5

Еще год назад, приехав в Прибалтику, Фридрих увидел, что здесь все сосны наклонены в сторону от моря. Как бы начали падать и вдруг почему-то остановились.

Старшина-сверхсрочник, у которого он спросил о том, почему наклонились все эти сосны, ответил кратко:

— Как задует ветер с моря, смотри, сам не согнись.

Дует ветер с моря, ровный и сильный. Третий день дует, и третий день деревья стоят согнувшись. Этот же ветер, что стремится все живое пригнуть к земле, гонит густые серые тучи, из которых то хлещет как из ведра, то нудно моросит холодный дождь.

Под серым небом, по серой намокшей песчаной дороге медленно идет колонна пленных. В ней ровно сто четыре человека. Это все те, кому разрешено работать вне лагеря. Они идут к железнодорожной станции, где уже вторую неделю разбирают развалины станционного здания, водокачки и казарм. Не просто очищают площадки, а еще и сортируют кирпичи: целые — на одну платформу, половинки и даже четвертинки — на другие; мелкий бой идет на засыпку множества воронок от авиабомб, исковеркавших не только станционные пути, но и привокзальную площадь.

В замыкающей четверке колонны шагает Фридрих. Уже второй раз его ведут на работу. Одежда, которая за вчерашний

день промокла до нитки, высохнуть не успела, а сейчас ее и вовсе хоть выжми. Но он равнодушен к этому, он даже рад, что его выгнали из барака. Дело в том, что после гибели Ковалка вокруг Фридриха образовалась пустота. Нет, барак был по-прежнему переполнен, на нарах по-прежнему не было ни одного свободного места. И все же вокруг Фридриха образовалась незримая пустота.

Почувствовав ее впервые, он удивился, но не придал этому значения и о каком-то пустяке спросил соседа по нарам. Тот ответил и сразу отошел в сторону: дескать, к дальнейшему разговору не расположен.

«Почему они так? Что я такого сделал?» — думал Фридрих, пока не понял: он первый из пленных, кого вызывали в комендатуру и который вышел оттуда не только живой, но и с сигаретой.

Кричать на весь лагерь, что виной тому имя, данное отцом? Никто не поверит. И Фридрих окончательно замкнулся в себе, поэтому даже с радостью встал в колонну, когда его вызвали: хоть куда, только бы подальше от подозревающих и даже ненавидящих глаз товарищей по бараку.

Вчера он впервые покинул лагерь и прошелся в колонне пленных по улочкам маленького городка. Непривычно было видеть людей в самой обычной одежде. Потом глаза к этому привыкли и даже заметили, что большинство людей хмуры, озабочены. Стало ясно, их не очень-то радует свобода, которой они пользуются.

Но больше всего Фридриха поразила карта фронтов. Она висела в витрине магазина, была хорошо заметна издали, и Фридрих, поравнявшись с ней, невольно замедлил шаг. Черная с желтыми подпалинами на боках овчарка немедленно рванулась к нему, но проводник поводком придержал ее и сказал Фридриху, махнув рукой в сторону карты:

— Ком!

Не веря счастью, Фридрих подошел к витрине. За ее стеклом висела самая обыкновенная карта Советского Союза. Розоватое поле родной страны пересекала ломаная линия коричневых флажков с паучьей свастикой в белом круге. Они, начинаясь на севере рядом с Мурманском, на юге упирались в Азовское море. Вся Прибалтика, Белоруссия, Украина...

Коричневая петля фронта захлестнула Ленинград, он в кольце...

Коричневые флажки с севера, запада и юга плотно обступили Москву...

И столько отчаяния было на лице Фридриха, что проводник собаки, поджидавший его чуть в отдалении, загоготал и сказал:

— Москва капут! Красная Армия капут!

Фридриха послали разбирать развалины паровозного депо. И он сортировал кирпичи, носил и грузил их на железнодорожную платформу, а перед глазами все еще маячила линия корич-

невых флажков. Временами ему казалось, будто это коричневая змея, что она шевелится, готовится к новому броску.

Проводник собаки, разрешив Фридриху подойти к карте, предполагал, что русский, увидев линию фронта, сникнет, окончательно смирится со своей участью, но случилось обратное: Фридрих твердо решил бежать при первой возможности. Бежать для того, чтобы бороться. Он подберет надежных товарищей, обоснуется с ними в лесу или еще где и лишит врагов спокойной жизни: будет безжалостно убивать одиночек, пускать под откос поезда, словом, вредить, как только сможет.

Решение созрело окончательно, и сразу стало легче на душе. Словно даже туч на небе поубавилось и дождь потеплел.

Появилась ясная цель жизни — обострилось внимание, и, разбирая развалины, Фридрих заметил, что конвоиры, когда пленные работают, отсиживаются в деревянном домике, чудом уцелевшем около бывшего станционного здания, что пересчитывают пленных только перед возвращением в лагерь. И сразу вывод: бежать нужно, чтобы выиграть побольше времени, сразу после прибытия на работу; лучше всего — прыгнув на один из поездов, которые через эту станцию идут на восток.

Обдумал все это Фридрих еще вчера ночью, когда товарищи забылись тяжелым сном, и поэтому сегодня сразу зацепился глазами за состав, стоявший на соседнем пути. В голове этого состава был паровоз. Он изредка выбрасывал в стороны клубящиеся струи пара. Все это — вернейший признак того, что он вот-вот начнет свой бег.

И действительно, едва конвоиры укрылись от дождя в домике, паровоз дал гудок, и почти тотчас же раздался лязг сцепок. Он быстро приближался к Фридриху, с каждой секундой становился все призывнее, требовательнее.

Дальнейшее произошло удивительно просто: мимо медленно плыла платформа с ящиками, закрытая брезентом, и Фридрих вскарабкался на тормозную площадку, упал на нее, страшась выстрелов и криков. Но сзади было тихо.

А поезд набирал скорость, его колеса на стыках рельсов весело выстукивали одно слово: «Свобода! Свобода!» Ветер с моря, тот самый, который безжалостно гнул к земле деревья, теперь рвал с Фридриха гимнастерку, будто предупреждал, что в ней он, Фридрих, далеко не уйдет, что она выдаст его первому встречному фашисту или их пособнику, и тогда...

Не хотелось думать о том, что будет тогда.

Свободен! Вот что главное в жизни!

Промелькнули первые минуты беспредельной радости, когда все беспричинно мило сердцу, и сразу навалились заботы. Прежде всего — залезть под брезент, чтобы случайно не попасть кому-нибудь на глаза.

Под брезентом не пронизывает ветер, не сечет дождь. И вообще здесь все хорошо. Даже голые доски платформы, на которых сейчас лежал Фридрих, казались ему мягче тех, нарных.

Так бы и лежал на шершавых досках платформы, лежал не шевелясь, и без еды, и без питья, лежал бы до тех пор, пока мимо не заструится земля Смоленщины или Подмосковья: ведь всего около суток бежать поезду до тех мест.

Однако свобода пока еще не окончательная, не полная. Да и бороться нужно за нее. И прежде всего, если хочешь сохранить свободу, покинь эту гостеприимную платформу: обнаружив побег, немцы обязательно известят железнодорожную охрану, и та осмотрит все поезда этого направления.

Он решил покинуть платформу под вечер, когда немцы обычно начинают поверку. И тут же подумал, что, обнаружив отсутствие пленного, они сначала обшарят все развалины и лишь после этого поднимут тревогу. Затем начнется второй этап поисков беглеца: тщательное прочесывание местности около той станции и лишь потом — тревожный сигнал по линии.

Хотя будет ли этот сигнал? Пожалуй, нет: зачем коменданту лагеря компрометировать себя в глазах начальства, если пленного так просто списать на тиф или еще какую болезнь?

Значит, с этой стороны опасности не жди. Но береженого и бог бережет, говаривал отец... Отец... Во многом он ошибался, но тут прав...

А поезд знай бежит. Непонятный поезд: без вооруженной охраны, но бежит по зеленой улице семафоров.

К полудню исчезли сплошные сосновые леса, и теперь ветер с моря, потерявший свою напористость, лишь треплет облысевшие ветви лиственных деревьев. Мелькают хутора, скучные в своем одиночестве.

Не слышно ни гула самолетов, ни выстрелов, но война и здесь, она рядом. О ней напоминают воронки от авиабомб, развороти вших землю около железнодорожного полотна, наспех вырытые окопы неполного профиля с обвалившимися стенками и брустверами, размытыми дождями. И могильные холмики земли. С белыми крестами и без них. С крестами — больше, и они толпятся на пригорках у населенных пунктов. И под каждым лежит немец. Но Фридрих из рассказов товарищей знает, что мы многих своих не успели предать земле, что не одиночные, а братские могилы мы оставляли, отступая. Знает все это Фридрих, и поэтому его мало радуют и одиночные прямые белые кресты, и ровные их прямоугольники. Будь его воля, он не пожалел бы родной земли для таких крестов. Огромную гору утыкал бы ими, обнес колючей проволокой и, как память, хранил бы века. В назидание другим.

Вечер подкрался быстро и незаметно. Просто Фридрих вдруг заметил, что теперь лес уже не проглядывается, а слился в темную стену, и, выждав, когда поезд притормозил у семафора, спрыгнул с площадки и кубарем скатился под откос.

Лежал неподвижно, пока вдали не стих веселый перестук колес. Потом уполз в лес.

Всю ночь Фридрих продрожал под корнями дерева в яме, на которую натолкнулся в глубине леса. Всю ночь над ним тревожно шумели вершины деревьев и где-то рядом надсадно скрипела сушина, заставляя вздрагивать, сторожко вслушиваться и всматриваться в ночь.

О многом и самом неожиданном передумал Фридрих за эти часы. Он понимал: его мучениям еще далеко до конца, очень даже может быть и так, что его жизненная дорожка оборвется и затеряется в этом лесу, и пройдут годы, прежде чем кто-то случайно натолкнется на его побелевшие кости. Погадает, кого здесь настигла смерть, и небрежно забросает землей и хворостом останки человека. Или равнодушно пройдет мимо. Все может быть.

Но даже такая бесцветная смерть и то во сто раз лучше, чем то, что было уготовлено ему в лагере!

Едва стволы деревьев снова приобрели четкость линий, Фридрих встал и сразу побрел на восток. В другую сторону ему пути были заказаны.

А есть здорово хочется...

От голубицы, которая посинила кочки, во рту кисловатый привкус. Пожалуй, надо поостеречься...

Кругом полно грибов. Подберезовиков и сыроежек. Интересно, почему сыроежки так называются?.. Может, попробовать?..

На полянку, в центре которой стоял маленький домик, как старинная крепость, обнесенный частоколом, Фридрих вышел уже к концу дня, когда, казалось, еще несколько шагов — и он упадет на землю, прикрытую опавшими пожелтевшими листьями.

У домика, который казался нежилым, — ни дымка над крышей, ни занавесочки на окнах, — рядком пристроились огород и небольшое поле, где кустилась стерня; вокруг поля и огорода — плотная изгородь. Сразу стало ясно: хозяин очень дорожит своим добром.

Голод и желание переодеться в гражданскую одежду были настолько велики, что Фридрих решился войти в дом. Не пробраться вором, а войти и потребовать: «Дай!» Тогда он почему-то считал такие действия единственно правильными.

Едва подошел к калитке, как за высоким и плотным забором взъярилась собака. На ее басовитый, взахлеб, лай вышел хозяин домика, прикрикнул на собаку не столько строго, сколько успокаивающе, и открыл калитку, звякнув запором.

Хозяин был выше Фридриха почти на голову и широк в плечах. Ни дать ни взять — один из борцов, что когда-то приезжали в Мценск. Лицо его изрезали такие глубокие морщины, что они казались косыми сабельными шрамами, и поэтому оно выглядело суровым, даже жестоким. Серые глаза равнодушно скользнули по Фридриху, но зато внимательно осмотрели лес, из которого он вышел.

Наконец хозяин посторонился, открывая дорогу во двор. Од-

нако Фридрих заранее настроил себя на определенный лад и поэтому заговорил зло и с обидой:

— В тепле отсиживаешься, когда люди гибнут? Ряшку на чужой беде наедаешь?

Хозяин домика неожиданно выбросил руку вперед и так рванул Фридриха к себе, что тот пушинкой влетел во двор. Сзади лязгнули засовы.

Опять неволя! Она была так ненавистна, что Фридрих, не веря в успех, все же бросился на хозяина домика, попытался вцепиться пальцами в его жилистую шею. Тот молча сграбастал его руки и так сжал, что Фридрих окончательно понял: сопротивляться бесполезно, и заплакал от бессильной злобы.

Звеня цепью, бесновалась собака. У нее были точно такие же белые и острые клыки, как и у тех лагерных овчарок.

Фридрих заплакал от бессилия, а хозяин, продолжая придерживать его руки, зашагал к крыльцу.

В кухне, где каждая доска пола была выскоблена добела, он толкнул Фридриха к скамейке, стоявшей вдоль бревенчатой стены, и сказал:

— Раздевайся, — и сразу ушел в соседнюю комнату.

Только он скрылся за дверью, а Фридрих уже увидел плотничий топор. Поблескивая наточенным лезвием, он торчал из-под рейки, прибитой к стене. Вот она, свобода! И Фридрих схватил топор.

Хозяин вошел в кухню. В руках у него была сухая одежда. Фридрих на расстоянии почувствовал тепло, исходившее от нее.

Увидев топор в руке Фридриха, хозяин домика не удивился и нисколько не испугался. Он, будто Фридрих и не сторожил каждое его движение, бросил одежду на скамью и повернулся к топору спиной. Самое время ударить. Взмахнуть топором и ударить по крутому затылку, где чуть розовеет нарождающаяся лысина...

А еще через несколько минут в кухне запахло мясными щами и хлебом домашней выпечки.

— Ешь.

Топор мешает, да и глупо делить с хозяином хлеб-соль и сжимать в руке топорище. Фридрих понял, что по сравнению с ним хозяин силен невероятно, и воткнул топор за ту самую рейку, где он и был раньше.

Фридрих ел с жадностью, ел, не различая вкуса. Он только заметил, что после щей хозяин подал ему мясо с картошкой. Настоящее мясо с картошкой!

Наконец Фридрих положил ложку. Нет, чувство голода не исчезло, оно только чуть притупилось, но есть Фридрих уже не мог: живот набит до предела.

— Кури. — И хозяин протянул сигареты «Марет».

До войны они казались Фридриху слабыми (видимость одна, что куришь!), а теперь после первой же затяжки приятно закружилась голова, хорошая истома разлилась по всему телу.

— Меня зовут Артур Карлович.

— Спасибо... А я — Федор Сазонов. Из плена бежал.

— Что из плена — вижу, — кивнул Артур Карлович. — Куда идешь?

— На родину. Там снова буду воевать.

— Боши окружили Ленинград, Москву...

— Врешь! — выкрикнул Фридрих: было обидно, что этот человек, так хорошо встретивший его, равнодушен и к судьбе Ленинграда, и к судьбе Москвы.

— Родину любишь — хорошо... А Ленинград окружен...

— Знаю. Немцы нарочно нам свои сводки зачитывали.

Несколько минут помолчали, потом Артур Карлович заговорил медленно, будто подбирая и даже взвешивая слова:

— У каждого человека родина одна. И у каждого — своя. Моя родина — вот этот дом. Я двадцать лет горбатил спину, пока поставил его, пока купил морг земли... А тут пришли вы и говорите: «Вступай в колхоз». Нет, здесь все мое! Здесь во всем мои пот и кровь!.. Вот ты ел мой хлеб. Это мои пот и кровь... А ты говоришь: «Вступай в колхоз»... Вы стали ломать то, к чему я привык с пеленок. Скажи, могу я любить вас, советских?

— Мы же лучшее тебе предлагаем...

— Ты мне покажи это лучшее, а уж я сам решу, что выбрать. Не люблю я вас, советских.

— Значит, выдашь меня немцам?

— Дурак ты, — беззлобно сказал Артур Карлович и прикурил вторую сигарету. — Вас я просто не люблю, а тех — ненавижу... Каждый обязан драться за свою родину, это долг человека. Так почему же я должен мешать тебе выполнить его?.. В бога веришь?

— Нет его, бога. И ада нет.

— А я вот верю в него, для меня он всегда есть.

— Тебе же хуже, что веришь, а мне лично от твоего заблуждения ни жарко ни холодно.

— А почему тогда все ваши агитировали меня? А почему ты не агитируешь? Ни за колхоз, ни против бога? Или ты не советский?

— Самый чистокровный советский. Только времени нет у меня спорить с тобой: еще далеко идти... Одно скажу откровенно, хоть обижайся, хоть нет. Что мне время на тебя терять, когда ты и сам уже сомневаешься в справедливости своих убеждений?

Артур Карлович ничего не ответил. Посидел немного, положив на стол ладони, и вдруг сказал, подымаясь:

— Спать будешь на сеновале. Если ночью немцы нагрянут, выломаешь доску и уйдешь в лес... Однако спи спокойно: на ночь глядя они сюда не заберутся, место глухое.

6

Неделю прожил Фридрих на хуторе Артура Карловича. Полностью отоспался, а вот голода утолить все еще не мог. Вроде бы в горло уже ничего не лезет, а глаза по-прежнему за еду цепляются. До того дело дошло, что хлеб воровать начал. Знает, омерзительно это, но удержаться не может: едва отвернутся Артур Карлович и Марта, жена его, — он мигом кусок хлеба в карман.

Марта пришла домой поздним вечером. Без особой радости, но приветливо поздоровалась с незнакомым человеком, чуть задержалась взглядом на рубахе мужа, которая теперь болталась на незнакомце, и что-то сказала на своем родном языке.

— Она подгонит одежду по твоему росту, — перевел Артур Карлович.

Вот и весь разговор. Может, оставшись наедине с мужем, Марта и расспросила его о Фридрихе, может, и упрекнула за почти новые рубаху, пиджак и брюки, но теперь не сказала больше ничего.

Неделю Фридрих имел возможность наблюдать за хозяевами хуторка. Они все время копошились по хозяйству и встречались только за столом. Поедят, помолчат, и опять Артур Карлович идет в огород или во двор, а Марта гремит ведрами: в хозяйстве две коровы, три кабанчика и больше десятка кур; и всех накормить надо!

Жизнь на хуторке шла до того однообразно и размеренно, что Фридриху казалось, он бы от такого счастливого житья волком выл, на край света сбежал бы. Лишь в субботу нарушился обычный ход жизни: Марта, упаковав в заплечный мешок несколько кусков сала, собралась в путь.

— В Вильнюс, на базар, — выдавил из себя Артур Карлович, перехватив тревожный взгляд Фридриха. — Заночует у знакомых.

Марта шла, шагая легко и широко, как хороший ходок, которому не привыкать подминать под себя версты. Артур Карлович проводил ее до калитки, постоял там, пока она не скрылась в лесу, и словно забыл о ней. А Фридрих волновался. Он боялся предательства. Действительно, кто он, Фридрих, этим людям, чтобы они из-за него своим благополучием рисковали? Ведь если немцы узнают, что Артур Карлович и Марта приютили у себя беглого из лагеря, то сотрут хуторок с лица земли. А выдаст Марта беглого — денег, может, и не дадут, но уж благодарность и доверие властей будут обеспечены.

Мучительно долго тянулись суббота и воскресенье. Особенно бесконечной была ночь. О чем только не передумал, вслушиваясь в ночные шорохи. То ему слышался шум моторов многих машин, приглушенный расстоянием, то крадущиеся шаги людей, окружающих сеновал, где он лежал.

Лишь перед самым рассветом забылся коротким и тревожным сном. А проснулся разом, как по сигналу тревоги, и первым делом осмотрел двор и лес. Нет, ничего не изменилось.

Марта пришла вечером и вроде бы — постаревшая. Молча накрыла на стол, молча взялась за ложку и вдруг заплакала, уткнувшись лицом в полотенце, перекинутое через плечо.

Артур Карлович несколько секунд смотрел на нее, потом пришлепнул ладонью по столу и сказал:

— Не ко времени, жена, слезы. За столом сидим.

Марта отняла полотенце от заплаканного лица и посыпала скороговоркой, а что — неизвестно. В ее речи Фридрих уловил лишь одно знакомое слово, повторенное несколько раз, — «бефель», что по-немецки значит «приказ».

— Она говорит, в Вильнюсе объявлен приказ, которым запрещается оказывать помощь евреям, комиссарам и всем прочим, кто не имеет аусвейса — временного паспорта, что ли... И еще она говорит, что мой брат нарушил этот приказ и расстрелян.

Дрожали сильные пальцы Артура Карловича, когда он разминал сигарету, а голос, как всегда, был ровный.

— Что ж, я сегодня же уйду... Сейчас уйду, — заторопился Фридрих.

— Ешь... И хлеб не воруй, а бери, — сказал Артур Карлович.

И столько властности было в его голосе, что Фридрих послушно взялся за ложку.

Он ел один. Марта сидела за столом, изредка всхлипывая, а Артур Карлович курил одну сигарету за другой и сосредоточенно смотрел на свои большие руки, лежавшие на столе.

— Наш сын Иоганн ушел с советскими. Он комсомолец, — неожиданно сказал Артур Карлович. — Он принял ваши законы.

И только после этих слов Фридрих понял, какая страшная борьба все это время шла в душе этого молчаливого человека, как тяжела она была для него. Ведь враждующими сторонами в ней были сам он со своими устоявшимися взглядами на жизнь и единственный сын, для которого и ставился этот хуторок. Обливаясь потом, родители выкорчевывали серые многопудовые валуны из морга купленной земли — очищали усадьбу для сына, хотели, чтобы ему жилось легче, чем им. А он, единственный сын, отказался от всего этого. Кто же прав? Советские, которые указали сыну дорогу, отличную от пути предков, или он, бывший батрак, выбившийся в самостоятельные хозяева? Вот вопрос, неотступно терзавший Артура Карловича. Нет, Артур Карлович не отступился от своих взглядов, но не отмахнулся и от убеждений сына, старался понять его. Потому еще при первом знакомстве и расспрашивал про колхозы и бога, то есть искал ответы на вопросы, из-за которых чаще всего и спорил с сыном.

Тихонько всхлипывала Марта, убирая со стола. За окном глухо шумел лес, растревоженный ветром с моря. Чуть повизгивала собака, которую не накормили в привычное для нее время.

— Что ж, я сегодня уйду, — снова сказал Фридрих.

— Так будет лучше для тебя, — согласился Артур Карлович и пояснил: — Среди наших есть и мерзавцы. Они свяжут воедино моего брата и то, что наш сын ушел с советскими, и тогда обыска не миновать.

Фридрих понимал правдивость вывода Артура Карловича, но уходить в неизвестность ему все же не хотелось. Что ждет впереди? И голод, и холод, и смертельная опасность — все это будет. А кто с радостью стремится к подобному?

— Так я пойду, — повторил Фридрих, но с места не тронулся.

Марта сказала что-то односложное. Артур Карлович перевел:

— Завтра проводим.

Странно, но Фридрих в эту ночь спал так спокойно, как бывало только в детстве. И проснулся бодрым. Умывшись у колодца, вошел в дом. За накрытым столом, будто и не спали они вовсе, уже сидели Артур Карлович и Марта. И еще заметил Фридрих тугой мешок с лямками. Он лежал на лавке у самой двери. На нем — меховая безрукавка и брезентовый плащ.

Поели быстро и молча. Лишь после этого Артур Карлович нерешительно попросил:

— Она хочет благословить тебя. Если ваши законы позволяют, встань на колени.

Взволнованно, почти с мольбой, сказал это Артур Карлович. Его волнение передалось Фридриху, и он поспешно и неуклюже опустился перед Мартой на колени. Она невесомо положила свои теплые руки ему на затылок и зашептала что-то.

Молитва была короткой.

— Она просила бога, чтобы он дозволил тебе дойти до твоего родного края, — перевел Артур Карлович.

И вот прощание закончено. Марта, прямая и строгая, стоит на крыльце. Словно не ее слезы недавно падали на склоненную голову Фридриха.

— Подожди за калиткой, — говорит Артур Карлович и спешит к коровнику.

Фридрих, потрепав по загривку цепного пса, с которым сдружился за эти дни, идет со двора, плотно прикрывает за собой калитку. И ждет. Он не оглядывается, чувствует, что Марта еле сдерживает крик матери, раздирающий ее грудь. Он боится этого крика: разве нормальный человек способен выдержать такое?

Артур Карлович, выйдя за ворота усадьбы, достал из-под полы изрядно поношенного пиджака продолговатый сверток и протянул его Фридриху:

— Бери, пригодится.

В белой тряпице русский автомат. Он поблескивает смазкой. И два полных диска к нему!

— Спасибо...

— Ладно, иди.

Шумят над головой вершины деревьев. Небо хмурится, похоже, скоро пойдет дождь. Но Фридриху он теперь не страшен:

поверх пиджака на нем меховая безрукавка и брезентовый плащ. Но главная радость — автомат. Он висит на груди. На нем лежат руки.

Фридрих бодро шагал по лесу, как великую радость жизни принимая и пересвист птиц, перелетом собирающихся в стаи, и гневное пофыркивание ежа, который, укутавшись в опавшие листья, спешил к своему жилищу и вдруг выкатился прямо под ноги человека.

Все это была сама жизнь, которой фашисты чуть не лишили его. Ведь еще недавно он даже самую обыкновенную траву видел только за колючей проволокой, а сейчас он, бывший пленный, свободно шагает по земле. Он — ее полновластный хозяин. Всего, что есть здесь, хозяин!

Он осторожно перешагнул через ежа. Фридрих был слишком рад жизни, чтобы омрачать ее кому-то. Кроме фрицев, конечно. Этих он сейчас ненавидел еще более люто, чем в лагере. Потому, что о многом передумал на хуторе Артура Карловича. И о прошлом, и о настоящем, и о будущем. Именно на хуторе он окончательно понял, что, не убеги он из лагеря, вся его жизнь свелась бы только к прошлому. Ему только и оставалось бы, что вспоминать свободу. Как тому дяде Тому, о котором читал еще школьником. Только пожелай Журавль — и не Ковалок, а он, Фридрих Сазонов, гнил бы сейчас в обвалившемся окопе...

Чуткое ухо уловило будто бы взрывы человеческого смеха. Фридрих моментально изготовил автомат к стрельбе и замер, прислушиваясь.

Лишь пересвистывались птицы. Лишь слабо шелестели листья, уцелевшие на вершинах деревьев...

И все же кто-то смеялся!

Фридрих, крадучись, пошел в ту сторону, где, как ему показалось, недавно смеялся человек. Шел, старательно обходя сухие валежины, замирая время от времени. Наконец снова донесся смех человека, крайне довольного жизнью. Теперь стало окончательно ясно, что впереди — немцы: только они могли так смеяться в это тяжелое для его Родины время. Фридрих чуть не побежал на голоса — так велика была злоба. Но он пересилил себя и, чтобы окончательно успокоиться, прижался лбом к холодному и гладкому стволу ольхи, сосчитал до ста. Намеревался считать до трехсот, но смог только до сотни. И снова вперед.

Немцев было двое. Расстелив на сырой земле какой-то полог, они беспечно лежали на нем. Рядом валялась пустая винная бутылка. Два велосипеда скучали, навалившись на тонкие осинки.

Один из немцев показывал другому фотографии. Тот, рассматривая их, чмокал губами, будто во рту у него было что-то очень сладкое.

Фридрих зашел так, чтобы оба гитлеровца враз попали на мушку автомата, для большей верности прицела положил ствол на ветку дерева и лишь тогда дал короткую очередь.

Взмыла в небо стайка пестрых щеглов, истошно завопила сорока и метнулась с ветки, на которой сидела, а немцы только уткнулись лицами в фотографии.

Выждав немного, Фридрих подошел к немцам, все время держа их на прицеле. Но стрелять вторично не пришлось: пули легли кучно. Струйка темной крови из головы одного немца стекала к ногам голой женщины, зовуще улыбавшейся с фотографии. Фридрих только запомнил, что тело у нее было белое-белое и еще длинные черные чулки на ногах.

— Орднунг! — сказал Фридрих, перевернув немцев и взглянув в их глаза, налившиеся мутью.

Сломав велосипеды и расшвыряв по лесу имущество убитых, он увидел автоматы. Они висели на дереве, которое стояло у самой тропки. Фридрих взял один из них, осмотрел. Автомат будто прилипал к рукам, так удобны были рукоятка и магазин. И главное — магазины не круглые диски, а плоские рожки, сами за голенища просятся.

Магазины от немецких автоматов Фридрих засунул в свой вещевой мешок. Один из автоматов взял: патронов к нему найти — убил немца, вот и обеспечен на первое время.

Свой и второй немецкий автоматы разбил о ствол дерева. Разбил и зашагал на восток, пробормотав с лютейшей ненавистью:

— Орднунг, двумя меньше.

Глава пятая

ПОД ЧЕРНЫМ НЕБОМ

1

Шестьдесят восемь лет прожил дед Евдоким, и, сколько помнит себя, осень в деревне всегда была самым радостным временем года. И пусть каждую минувшую осень впивались в землю нудные, холодные и моросящие дожди, и пусть земля от них так раскисала, что колеса телеги утопали в ней по самую ступицу, — все равно осень оставалась самым радостным временем года: в те, в минувшие, осени стоило выйти хотя бы за околицу и глянуть кругом, как яркая зелень озимых начинала ласкать глаза.

В те, в минувшие, осени любо было глянуть и на ребятню, которая весело бежала в школу. За семь верст в Степанково весело бежала!

В те осени хороводились в клубе парни с девчатами, шептались и обнимались по заулкам: урожай собран, в доме достаток, значит, самое время новую семью закладывать.

В эту осень озимых не сеяли: и зерна для посева нет, да и для кого сеять? Немцы-то под Москвой толкутся.

И в школу ребятня не бегает. Нет ее, школы, в Степанкове. Немецкая комендатура в школьном здании обосновалась.

И парней в деревне нет: призваны в Красную Армию или с Богиновым в лес ушли. Одиноко, тоскливо девчатам в выхолощенной деревне, вот и сидят они по домам. Редко увидишь, чтобы какая к подруге пробежала.

Ни тебе бабьей перепалки у колодца, ни драки парней, а подсушил и согнул деда Евдокима этот месяц. И виноваты в том лишь думы, такие тревожные, что от них даже в солнечный день небо кажется чернью залитым.

С раннего детства дед Евдоким привык, что Россия — огромнейшее государство неизмеримой силищи. И татары, и поляки, и шведы, и французы на колени склонить его стремились, даже скопом враги разные наваливались, а оно, могутное, бывало, поднатужится, расправит плечи, да как тряхнет ими — и кувыркаются вороги, летят к чертовой матери.

А теперь что получается? Где тот удар нашей армии, от которого вражья сила прахом пойдет?

Дед Евдоким не мог смотреть далеко, он думал только над тем, что сам видел. А многое ли попадало в его поле зрения? Вот ушел Богинов в лес, мужиков с собой увел, и ни слуху ни духу о нем. А ведь Богинов стóящим мужиком казался.

Или взять этого Витьку-лейтенанта, что отряд здесь представляет, маскируясь, — за мужа у Клавдии живет. Что толку от всего ихнего отряда, если он в глухомани отсиживается?

Правда, сам Витька-лейтенант прибрал к рукам Афоню и ночами иногда тайком исчезает с ним из деревни. И почти всегда после этого у германа то солдат сгинет, то линия телефонная оборвется, то машина какая вдруг в кювет свалится да и сгорит там.

Для двух человек все это, вроде бы, и ладно, а если с высоты российской громадины глянуть? Прямо скажем, неприглядная картина получается: будто ворвался бандит в дом, где полно мужиков в полной силе, а воспротивился бандюге только меньший, который и ходить-то недавно начал.

Будь его воля, он бы, дед Евдоким, весь народ сполохом поднял, всю округу огню отдал, но не позволил бы герману на перинах нежиться!

А тут еще и Нюська, вертихвостка треклятая, не только на деревенских, но и в российском масштабе на русских баб позор кладет: завела полюбовника из немцев, почти каждый вечер к нему в Степанково любовь свою носит.

И опять же, будь его воля, собрал бы он, дед Евдоким, мирской сход, обсказал ему все, что о Нюське думает, и тогда решайте, люди добрые, какой каре сучку подвергнуть. А его мнение — для первого раза по-семейному оголить ей зад и всыпать такое число горячих, чтобы и увечья не было, но и ногами семенить в Степанково не могла.

Так ведь нельзя ничего этого! Витька-лейтенант говорит, что надо какое-то общественное мнение вокруг этой самой Нюськи создать. А на что эта волокита? Разложить бы паскуду при всем честном народе — вот тебе и общественное мнение, прячь его подальше!

Дед Евдоким кряхтит, снимает с гвоздя картуз и выходит из дома: сколько ни трави себя думами, а мимо воли Витьки-лейтенанта не проскочишь, он представитель власти военной, через него из леса все указания идут. А дед Евдоким всегда к власти с уважением относился.

Дед Евдоким обманывал себя, не из-за Нюськи он шел к Виктору. Что такое Нюська? Ничего, и пропади она пропадом! Главная причина тревоги — вчерашний вызов в Степанково к самому господину коменданту района. Тот для начала отлаял за то, что в Слепышах все еще ни одного врага нового порядка не ущучили, а в заключение оглушил приказом: к воскресенью доставить на сборный пункт в Степанково десять коров, сорок овец и три тонны зерна. Для нужд немецкой победоносной армии.

Выходит, опять обирай свой народ, чтобы у ворога на загривке сало завязывалось?

Ослушаться приказа никак нельзя: самого за саботаж на шкворку вздернут да, может, кого еще и из односельчан прихватят.

А коров, овец и хлеб все равно заберут.

Дед Евдоким, глядя под ноги себе, вдоль плетней и завалинок идет к дому Клавы. Шагает широко, размашисто и беззвучно шевелит губами. Он зол и на Нюську, и на Витьку-лейтенанта, и вообще на всех и на все.

Шагал дед Евдоким, мысленно ругал своих недругов и супротивников и не видел Клавы, бежавшей к нему через дорогу. Только когда она загородила собой тропинку, дед Евдоким словно врос в землю и заворчал, все больше накаляясь с каждым словом:

— Чего носит тебя? Чего на человека скачешь?

— Он меня за вами послал, — прошептала Клава.

— Если у него ко мне дело есть, то пусть слезает с печки и сам приходит. Я вот-вот седьмой десяток доменяю, в бегунки-то поздновато мне.

— К нему большой начальник из леса пришел, вот и послал Витя за вами, — до невозможности понизила голос Клава.

— Военный или какой начальник? — настораживаясь и одновременно смягчаясь, спросил дед Евдоким.

— Не знаю. Только Витя так и не присел при нем. И все товарищем комиссаром величал. А каким — забыла.

— Забыла? А когда такое случалось, чтобы баба самое нужное помнила? — ворчал дед Евдоким, шагая чуть впереди Клавы, которая скользила по размокшей глине рядом с протоптанной тропинкой.

Ворчал дед Евдоким, бубнил себе под нос обидные для Клавы слова, но теперь в его голосе слышалась только озабоченность: большое начальство — военное ли, гражданское ли — зазря не пожалует, ему, поди, тоже провиант и все прочее подавай, и немедля.

Для своих-то с себя последнюю рубашку снять можно, последней крови своей не жалко..

А вот когда ворог с тебя силком рубаху тащит, а ты и караул не пикни, — тут сердце от злости заходится!

И вдруг мысль: а если герман нагрянет в деревню? Пропал тогда начальник, что из леса пожаловал.

Дед Евдоким даже остановился от неожиданной слабости, ударившей в ноги.

— Клавдя... Негоже это, что они в хате среди бела дня сидят.

— Не, они сразу в лесочек ушли. Как вы до кривой березы дойдете, тут вас ихний человек и встретит.

Большой или маленький начальник — безразлично, но он обязательно есть над каждым. У каждого начальника, как и у всякого человека, могут быть хороший или плохой характер, сильные стороны и слабости, неоправданные привязанности и даже антипатии. Со всем этим мирится подчиненный. Одного он не может простить: если начальник не видит того, что ясно всем другим. У деда Евдокима это чувство было развито до болезненности. И вот теперь неизвестный начальник поступил именно так, как считал нужным поступить и он, дед Евдоким. Это сразу подняло вес начальника, дед Евдоким уже проникся к нему уважением настолько сильным, что даже обрадовался, когда увидел на его плечах свой полушубок.

Встреча произошла на маленькой полянке, с которой в просветы между деревьями были видны деревня и ее околица. Дед Евдоким, увидев седого человека, около которого стоял Виктор, молодцевато выпятил грудь, вздернул руку к козырьку картуза и сдержанно прогудел:

— Здравия желаю.

Дед Евдоким еще только приближался к полянке, а Василий Иванович уже встал, привычно скользнул пальцами по ремню, затянутому поверх полушубка, и опустил руки. Он стоял по стойке «смирно», стоял строго и в то же время спокойно, без напряжения, как и положено настоящему военному начальнику, уважающему дисциплину и своего подчиненного. Это сразу заметил и оценил дед Евдоким, проникся еще большим уважением.

— Батальонный комиссар Мурашов, — сказал начальник, протягивая руку, и добавил: — Василий Иванович Мурашов... Прошу садиться, разговор длинный.

Дед Евдоким быстро, но без торопливости опустился на сырую землю, предварительно бросив на нее заплатанное полупальто, что накинул на себя, выходя из дома.

Тут Василий Иванович в самое сердце ударил деда Евдокима: сел не на пенек, а тоже на землю, рядом и чуть наискось (чтобы в лицо друг друга смотреть можно было). Сел на немецкую плащ-палатку, которую ему поспешно протянул Витька-лейтенант.

Потом комиссар начал неторопливо и спокойно выспрашивать про деревенские дела. И — что больше всего понравилось — не перебивал. Вот и выложил дед Евдоким все свои думки и о Богинове, который ушел с мужиками в лес да будто и сгинул там, и о приказе немецкого коменданта района, и о том, что народ в деревне роптать начинает, спрашивает, доколе же наша армия в отступе будет? Дескать, пора бы ей и ударить германа по сопатке, так ударить, чтобы брызги крови во все стороны прыснули.

Даже про Нюську треклятую все выложил. А комиссар, которого дед Евдоким уже начал величать запросто Василием Ивановичем, вдруг сказал такое:

— Значит, нашлись перевертыши.

Эти слова обидели деда Евдокима, и он заговорил торопливо, выставив вперед ладони с растопыренными пальцами, словно хотел оттолкнуть от себя это липкое слово:

— Побойся бога, Василий Иванович! Одна баба скурвилась, да и то как? К немцу-полюбовнику бегает.

— В любой группе людей, как бы велика или мала она ни была, почти всегда есть сильные и слабые, стойкие и такие, которые норовят за кого-то держаться, по чьему-то следу идти. Так вот, пока колесо жизни крутится в привычном ритме, пока все идет по установленному порядку, этой разницы между людьми будто бы и незаметно. А вглядишься — она в мелочах проявляется: в зависти и злословии, в бесконечных жалобах на кого-то и на что-то. А сейчас настала пора тяжелых испытаний. — Василий Иванович замолчал, словно обдумывал, говорить ли то главное, что пока не известно деду Евдокиму.

Дед Евдоким терпеливо ждал, сидя неестественно прямо и положив широкие, будто расплющенные бесконечной работой, пальцы на заплаты, прикрывавшие колени.

— Здесь, в лесу, нас пока очень мало: всего пять человек. Но значит ли из этого, что нам только и остается таиться в глухомани? Отнюдь не обязательно. Попробуем доказать... Я сказал, что нас пятеро. То чистейшая правда и в то же время — самая неприкрытая ложь. Действительно, разве мало по окрестным деревням людей, которые только и ждут нашего сигнала? Их не счесть. Вот и выходит, что наша сила исчисляется по формуле, одна половина которой читается как пять плюс икс. Заметим, что «икс» во много раз больше, чем известное нам число «пять». Так какова же будет сумма, если... Я, кажется, заумно говорю? — спохватился Василий Иванович и взглянул на деда Евдокима смущенно и виновато.

Тот поспешил успокоить:

— Иксов я, конечно, не понимаю, можно сказать, не признаю вовсе, но коли ты так силу нашу общую, народную, величаешь — твоя правда, бог тому свидетель.

— И как вывод из сказанного — наша первейшая сегодняшняя задача: прощупать, кто и чем дышит, исподволь сколачивать надежных людей вокруг себя. Короче говоря, так действовать, чтобы днем и ночью дрожали немцы от страха! — Василий Иванович устал от непривычно длинной речи, даже прикрыл глаза на мгновение; ранение еще чувствовалось.

— В лучшем виде будет исполнено, Василь Ваныч, и прощупаем, и к берегу причалим кого следует... А как насчет приказа коменданта? Гнать скот в Степанково или как?

— Гони... Завтра же, когда темнеть вот-вот начнет.

— Воля ваша... Только, ей-богу, лучше прирезать и волкам бросить весь этот скот, чем немцу отдавать!

— А мы и не отдадим, — усмехнулся Василий Иванович. — Себе заберем, запас на зиму начнем создавать. А заодно и немцам аукнем: дескать, мы здесь, не ждите покоя!

Виктор, во время всей беседы стоявший рядом, не выдержал и предложил:

— В сопровождающие тот скот назначим Нюську. Пусть немцы погладят ее плетками, когда в Степанково без коров и овец явится.

Плывут над землей низкие черные тучи. Кружась, слетают с приунывших берез пожелтевшие листья и неслышно ложатся на промокшую, озябшую землю.

Витька-лейтенант предлагает отстегать Нюську немецкими руками. Что и говорить, заслужила она кару, заслужила... Но сейчас деду Евдокиму жаль непутевую Нюську. Вот и смотрит он на черные тучи, вот и следит глазами за падающими листьями.

— С нее мы сами спросить вправе, — спокойно сказал Василий Иванович, но дед Евдоким заметил, каким осуждающим был его взгляд, мельком брошенный на Витьку-лейтенанта. — Тот солдат, Афоня, с кем живет?

— С Грунькой, — подсказал дед Евдоким.

— Вот они пусть и гонят скот. Будем считать это задание их последней проверкой... А ты, Виктор, после того как дед Евдоким отдаст им соответствующее приказание, зайди к ним домой и кратко объясни, что к чему... Ну, вроде бы по этому вопросу все?

— Так точно, — ответил дед Евдоким и зашевелился, готовясь встать.

— У меня к тебе еще дельце есть, — остановил его Василий Иванович, положив руку на дедово колено. — Как смотришь, можно мне у вас в деревне поселиться или нет?

Комиссару и жить в деревне, когда немцы кругом шастают?!

— Под видом какого-то раскулаченного или еще кого.

— Шапочник Опанас, — пожевал губами дед Евдоким. — Не,

он постарше тебя будет... Ты, Василь Ваныч, посиживай себе в лесочке, почто волку в пасть лезть?

— Надо, дед, — только и ответил Василий Иванович, а дед Евдоким и Виктор, слышавший весь этот разговор, поняли, что решение его окончательное и он не отступит от него.

— Тогда тебе надо под Опанаса играть. Его в лицо из теперешних только я знаю. Еще в двадцатые, как бандюгу зеленого, его в Сибирь или еще куда подальше упрятали.

— Расскажи мне про него, — попросил Василий Иванович.

Дед Евдоким рассказывал неторопливо, с подробностями, которые Виктору казались лишними. Для себя он только и запомнил, что Опанас Шапочник — вражина Советской власти, каких поискать.

Закончил свой рассказ дед Евдоким фразой, которая мгновенно врезалась в память Виктора:

— И чего ты, Василь Ваныч, к смерти ближе торопишься?

Действительно, зачем Василию Ивановичу в деревню перебираться? Или на него, Виктора, не надеется?

Василий Иванович не дал возможности разобраться в сумятице мыслей, он сказал спокойно, будто до этого разговор шел о самом обыденном:

— Теперь, кажется, все обговорили.

Дед Евдоким поспешно встал и замер, ожидая, подаст ему руку Василий Иванович или нет. Даже подумал, что если подаст, если простится так же душевно, как и поздоровался, значит, это человек без фальши и носа не задирает.

Василий Иванович не только подал руку, но еще посоветовал беречься, а потом спросил:

— А ты, дед Евдоким, если с Шапочником встретишься, опознаешь его или... побоишься?

Дед Евдоким, с укором взглянув на Василия Ивановича, ответил спокойно, будто бы безразлично:

— Как не опознаю, если потребуется?

2

Серый Волк и Красная Шапочка. Она — прилизана под херувима, у него же — невероятно длинные белые клыки, на голове не то чепчик, не то капор или просто самая обыкновенная шапка-ушанка.

А Груне этот коврик нравится, она прикрепила его над кроватью, где вздымается пирамидка из подушек в цветастых наволочках. Нижняя подушка почти во всю ширину кровати, верхняя — только одно ухо и прикроешь.

Коврик и пирамидка из подушек — вот и все, что режет глаз Виктора в этом доме. А прочее — и обстановка, и порядок — нравится. Во всем чувствуется умелая рука хозяйки и ее желание создать уют.

От Клавы он уже знал нехитрую историю Груни: года два или три назад уехала на торфоразработки под Синявино, которое где-то под Ленинградом, а минул год с небольшим хвостиком — вернулась тяжелая. Не успела и слова сказать, как отец уже закатил глаза и грохнулся на крыльце, где стоял, когда дочь отворяла калитку. Не приходя в сознание и умер.

А дальше все закрутилось и вовсе яростно и неумолимо: внезапная смерть отца подкосила Груню, ее отправили в больницу, где она и родила мертвого сына. От всех этих бед сломалась, хрупнула, как пересохшая веточка, Грунина мать. Из больницы Груня пришла в свой дом единственной и полноправной хозяйкой.

Несколько месяцев люди слова от нее лишнего не слышали, даже подобия улыбки не видели. Отработает со всеми в поле — и стремглав домой, словно у нее там дюжина по лавкам. А весной этого года будто оттаяла на ласковом солнышке, разговорчивой и по-прежнему смешливой стала.

Когда вся деревня уходить с насиженного места собралась, чтобы немцам под пяту не попасть, Груня снова посуровела, опять в себе замкнулась. Но едва Богинов сказал, что все дороги отступления фашистами перерезаны и бежать нет возможности, она выпалила с непонятной беспечностью:

— А я в бега особо и не стремилась.

Сказала и ушла. Немного погодя ее головной платок уже замелькал в огороде среди гряд; у всего народа беда, а она огурцы и морковку обихаживает.

Односельчане ничего не сказали Груне, но легкая тень легла между ней и остальными. А вскоре и Афоня появился. Заросший и грязный, он сидел на бревне и тупо смотрел на подсолнечную шелуху, устилавшую землю вокруг. Никого и ни о чем не просил. Просто сидел и смотрел в землю.

Постояли бабы около него, посудачили о том, что эта война любого человека из ума вышибет, и начали уже было расходиться, а тут и подошла Груня. Скользнула глазами по донельзя измученному лицу солдата и заявила тоном приказа, будто мужем ей этот пришлый приходился:

— Ну, чего принародно расселся, чего сопли распустил? Шагай за мной! — И, вихляя округлыми бедрами, пошла к дому. Было что-то постыдное и вызывающее в ее походке, в том, что сразу повела незнакомого мужика в дом.

И это запомнили, в вину Груне поставили. Короче говоря, когда Виктор сказал Клаве, что идет к Афоне, она свела к переносице черные брови, поджала губы и ничего не ответила. Однако уже через несколько секунд ямочки снова обозначились на ее щеках, и она спросила ровным голосом:

— Надеюсь, не дотемна?

— Как посидится, — уклончиво ответил Виктор.

Ему подумалось, что Клава ревнует, и это приятно щекотнуло самолюбие.

— К тому спросила, что если долго просидишь, то пусть Груня и накормит. А я прилягу, нездоровится что-то.

Он ушел, ничего не сказав, и теперь сидит за столом в доме Груни, пораженный тем, что увидел и услышал. Прежде всего, Афоня, оказывается, вовсе не сожитель Груни. Он в этом сам признался. Но не его признание убедило Виктора, убедила сама Груня, когда повнимательнее присмотрелся к ней. В голосе ее и в глазах, когда она смотрела на Афоню, жила только самая обыкновенная теплота, человечность, участие к попавшему в беду.

Еще бо́льшим откровением явились слова Груни. Он сидел уже за столом, когда она сказала с тихой грустью:

— Мой-то пограничником был. Ему год служить оставалось, а его шпионы убили.

— Зачем ты об этом? — спросил Виктор, чувствуя себя неудобно под ее спокойным и чуть грустным взглядом.

— Знаю ведь, что про меня наши деревенские болтают...

— Честное слово, я...

— И чего оправдываешься?

Торопливо тикают ходики, над циферблатом которых в рукопожатии окаменели рабочий и крестьянин, да жалостливо сопит Афоня, машинально выводя пальцем на клеенке стола бесконечное «о».

— Я на людей не обижаюсь... Только... Будто оплеванная все время хожу под их взглядами.

— Ну, это уж чистая ерунда! — искренне возмутился Виктор, хотел произнести длинную речь о мнительности и ее последствиях (еще в школе такую лекцию слышал и запомнил кое-что), но Груня как-то ласково, спокойно и в то же время властно перебила его:

— Молод еще ты, Витенька, в бабьи горести вникать... Зачем пришел? Опять Афоню на ночь глядя из дома сманишь?

Афоня впервые оторвал глаза от клеенки стола и сказал:

— Груня...

— Лично я не против, хоть каждую ночь гуляйте у немцев. Ему только в пользу, а то хуже бабы какой. Знаешь, что душу его гложет? Знаешь?

— Мне он не плакался, — повел плечами Виктор.

— Ихняя батарея по своим ахнула. Афоня-то вроде видел, что те свои, а командир приказал — вот и ахнули со всех стволов.

— С одной пушки, — поправил Афоня. Сейчас у него опять был растерянный и даже виноватый взгляд. — Приказ, он не обсуждается, он выполняется с первого раза.

— Ежели так, командир приказ отдавал, ему и ответ держать! — наседала Груня.

— А им-то, матерям тех убитых, легче будет? — Афоня, похоже, рассердился всерьез и теперь сидел выпрямившись, строго глядя в глаза Груни. — Мне бы доложить командиру — может,

он не разглядел? — а я смолчал. И в этом моя вина, хоть и самым младшим в орудийном расчете числился.

Около двух месяцев прожила Груня под одной крышей с Афоней, видела его и плачущим, и даже злым, когда он домогался ее, а она решительно выпроваживала его в сенцы на топчан. Считала неплохим мужиком, но с трещинкой в душе. Поэтому и была у нее к Афоне только жалость сильного человека к слабому, поэтому и забрала его к себе домой, чтобы было на кого излить нерастраченное материнское тепло. Сейчас другим, сильным вдруг увиделся он, и она, пораженная этим открытием и еще до конца не понявшая его, сразу сникла, по-бабьи всплеснула руками и метнулась в кухню. Скоро на столе появились соленые грибы, желтоватое от соли сало и бутылка самогонки, заткнутая тряпицей.

— Ты, Витенька, попробуй грибочков, попробуй. Недавний засол, — тараторила она, стреляя глазами, как обычно.

Виктор невольно подумал, что вот и спряталась она снова под личину. Когда-то теперь выглянет из-под нее хотя бы уголочек ее настоящий натуры?

Поговорили еще о том, какая нынче, если верить приметам, зима будет, а потом Виктор и приступил к главному, ради чего пришел:

— Ну как, идете завтра в Степанково?

Ему показалось, что в глазах Груни мелькнул хитроватый огонек, но ответила она скучным голосом:

— Заходил дед Евдоким, велел снаряжаться... Или ты к нам в подпаски набиваешься?

— Груня, — начал было Афоня с укоризной, но она, гордо вскинув голову, зло перебила его:

— Я вас, умников, насквозь вижу! Тайны свои завели? Тоже мне, мужики! Я, может, одна хитрее и сильнее десятка таких! — Придвинув стул к столу, она уселась на него так, как обычно садится только человек, который намерен до победного конца вести длинный и трудный разговор. — Выкладывай, лейтенант, что задумал, — потребовала она.

— Откуда ты взяла, что я лейтенант? — насупился Виктор. — Я просто... Ну, приехал к Клаве... Мы с ней давно знакомы, вот и все.

— Ты бы сначала врать научился, а потом и шел меня экзаменовать! Уж Афоня, на что он простота, да и то в тебе начальника признал, а я глазастее его во сто раз!

Бахвалилась, возвеличивала себя Груня, стараясь побольнее задеть самолюбие Виктора: знала, что у парней гордость неглубоко спрятана, что такой человек, когда себя незаслуженно обиженным считает, и лишнее высказать может.

Так и случилось. Виктор, разозлившись, ляпнул то, что интересовало Груню больше всего:

— Если ты такая прозорливая, то давно догадалась бы, что

я здесь не просто от войны отсиживаюсь, а задание отряда выполняю!

— Не сердись, Витенька, солнышко мое, не сердись! — немедленно заворковала Груня. — И это, и многое другое я знаю!.. Не таи зла... А почему шпыняла тебя словами — обидно было, что вниманием обходишь.

— Присматривался к тебе, — буркнул Виктор, злость которого уже начала оседать. — Вам с Афоней первое задание отряда — гнать скот в Степанково. И нисколько не пугаться, если стрельба начнется или еще что.

— Значит, стрельба будет? — деловито переспросила Груня и тут же поспешно добавила: — Я стрельбы не боюсь, я думаю, как лучше: со стрельбой или без нее?

— А это уж не твоя забота, — вставил свое слово Афоня.

— Помолчи лучше! — беззлобно огрызнулась Груня. — Думать не моги, для этого старшие поставлены, а случись беда — вот и казнись, как иные недоумки!

Афоня снова принялся выводить на клеенке стола свое бесконечное «о», и Виктор поспешил увести разговор в нужное русло:

— Когда наши исчезнут, бегите в Степанково и голосите, что большой отряд на вас напал.

— А как он велик-то?

— Чем больше наврете, тем лучше. Понятно, врать надо все же в меру... Потом сюда вернетесь и перескажете разговор с немцами.

— И это все задание? — обиделась Груня.

Афоня не выдержал, заговорил строго, словно с младшей сестрой:

— Не солдатская это замашка, Груня, — выпрашивать себе работу. Солдату приказано, он выполняет.

3

В конце сентября редко бывают грозы. А в эту ночь гроза была. Она подкралась как-то незаметно и вдруг ударила в землю яркими и короткими молниями.

На улице бушевала гроза, Виктор, спустившись с печи, тихонько сидел у окна и смотрел, как исступленно мечется за окном ветка рябины.

И вдруг вроде бы язычок белого света лизнул плетень на противоположной стороне улицы. Виктор прижался лбом к холодному стеклу окна. Через какое-то мгновение белое пятнышко вновь прыгнуло на плетень. Последние сомнения исчезли: по деревенской улице шла машина.

Виктор метнулся в горницу, где спала Клава, и прошептал:

— Немцы!

Клава ответила просто и деловито:

— Лезь к стенке!

Яркий сноп света ударил в окно, а через несколько минут ступеньки крыльца жалобно пискнули под ногами нескольких человек. Дверь и кухонное окно задребезжали от стука.

— Кто там? — спросила Клава, подбегая к двери.

— Полиция!

Клава немедленно откинула крючок и чуть отодвинулась в сторону. Через порог перешагнул немецкий офицер. В его руке ослепительно горел электрический фонарь. Пробежав его лучом по углам кухни, офицер прошел в горницу и осветил постель, где, щурясь от яркого света, лежал Виктор.

— Капустинский? — спросил офицер, взглянув на бумажку, которую держал в руке.

— Это я, — ответил Виктор, садясь. Он уже понял, что приехали за ним, что сопротивляться бесполезно.

— Одевайтесь, поедете со мной.

Какие непослушные ноги, никак не попадут в штанины... А Клава держится молодцом, она даже спросила:

— Господин офицер, за что вы арестовываете моего мужа?

— Я готов, господин офицер, — сказал Виктор, надевая кепку и глядя только на Клаву. Она подалась всем телом вперед. Тогда он добавил: — Ничего, я скоро вернусь.

Молнии сползли к югу, там же слабо погрохатывал гром. Однако дождь хлестал с прежней яростью по машине, прорезавшей его косую стену. На Викторе поверх пиджака был плащ отца Клавы, но дождь нашел какую-то щель, и у ворота Виктор промок до нитки. А впереди еще не менее пяти километров этой дороги, где ухабы так часты, что машина, чуть набрав скорость, сразу же тормозит и переваливается через них с такой натугой, что стонет весь кузов. Дорога бесконечно длинная, а Виктору хочется поскорее прибыть на место, чтобы кончилась неизвестность, выматывающая душу. Ведь о чем только не передумал он сейчас: и товарищей немцы захватили, когда они возвращались из деревни, и Груня оказалась предательницей, и донес кто-то неизвестный. Знать бы, в чем тебя обвиняют, — можно бы готовиться к защите, наметить план своего поведения...

У самой околицы, когда стали даже видны крайние домики Степанкова, машина вдруг свернула к лесу, прошла километра два меж деревьями и стала, осветив фарами неглубокий овраг. Немцы, что сидели в кузове по бокам Виктора, враз придвинулись к нему так плотно, что теперь чувствовали малейшее его движение.

Сейчас Виктор уже не думал о причине своего ареста, она была безразлична ему. В его сердце теперь непрерывно дрожала струна жалости к себе.

Виктор был так взволнован, что не заметил, как косой дождь сначала выпрямился и потерял свою злость, а потом и вовсе сник. Лишь с ветвей деревьев падали крупные капли, звонко разбиваясь о задубевшие накидки немцев.

В монотонный шум леса неожиданно ворвался новый тревожащий звук. Рожденный где-то у опушки, он вполз в уши, заставил сердце сжаться в предчувствии чего-то неотвратимого и страшного.

Немцы, сидевшие по бокам Виктора, шевельнулись, поудобнее сжав автоматы, а офицер вышел из кабины и, сложив ладони лодочкой, прикурил сигарету. Волна табачного дыма на мгновение накатилась на Виктора, и он подумал, что хорошо бы сейчас закурить и ему. Самосад, газета и кресало лежали в кармане. И все же он не закурил: было боязно напоминать о себе.

Шли машины. Три пары их глаз буравили лес.

Два грузовика и легковушка остановились тоже у оврага. Из грузовиков выпрыгнули солдаты, а из легковушки вышли два офицера в черных клеенчатых плащах поверх шинелей. К одному из них подошел тот, который привез Виктора, встал чуть сзади.

Все, кроме двух солдат, которые по-прежнему сидели в кузове, казалось, забыли о Викторе.

Наконец немцы окончили непонятные Виктору перестроения, и теперь солдаты стояли ровной шеренгой лицом к оврагу, офицеры — сбоку и метра на два сзади. Только сейчас Виктор увидел на кромке оврага четырех человек, похожих на красноармейцев. Фары всех машин били светом в их лица.

Как сквозь сон услышал Виктор сначала отрывистую команду, потом треск многих автоматов. Трое упали. Тогда автоматы ударили еще раз, теперь по одному — четвертому. Он упал на черную землю, которая в лучах фар холодно искрилась от множества капелек.

Первой ушла легковушка, в которую сели те же два офицера. Последним тронулся от оврага грузовик, где по-прежнему между двух конвоиров сидел Виктор.

Когда прибыли в Степанково, Виктора втолкнули в камеру, оконце которой перечеркивали толстые прутья решетки. В кромешной темноте, придерживаясь за стену, он обошел камеру. Ни нар, ни подобия лежанки. Тогда Виктор забился в самый дальний от двери угол камеры и, обхватив руками колени, положил на них голову. Его била назойливая дрожь; очень хотелось унять ее, а еще больше — забыть того, четвертого.

Дрожь скоро унялась, а вот стоило прикрыть глаза, как из темноты немедленно наплывали сначала немцы в лобастых касках, а потом тот, четвертый. И неизменно у него ноги ломались в коленях. И еще Виктор видел, как дергались его руки, колючей проволокой схваченные за спиной, как их пальцы силились схватить что-то и не могли.

За Виктором пришли в разгаре солнечного теплого осеннего дня. Одного из тех, какие иногда дарит сентябрь. О вчерашней грозе напоминали лишь отмытая голубизна неба и лужи воды, запятнавшие деревенскую улицу.

Виктора привели в бывшую школу, в кабинет самого коменданта района. Второй раз видел Виктор коменданта. В то время, когда произошла первая встреча, комендант стоял на столе, а на голове его была фуражка с вздыбленным верхом. Комендант казался высоким, даже сильным. Сейчас, без фуражки, он был чуть повыше Виктора; длинные залысины, начинавшиеся над висками, снимали с него неприступность. Самый обыкновенный человек стоял перед Виктором и смотрел на него. Вот разве только очки. Они обесцвечивали глаза, и Виктор скорее чувствовал, чем видел, что на него смотрят, смотрят упорно и с целью подавить его волю, дать окончательно понять, как он слаб и беспомощен. Еще вчера вечером или даже сегодня ночью, если бы Виктора из лесу сразу доставили в этот кабинет, подобный взгляд, возможно, поколебал бы его уверенность в себе, но после всего того, что уже довелось увидеть и пережить, взгляд коменданта оказался лишь маленькой деталью, которая ничего не могла изменить. Всю ночь напряженно думал Виктор и теперь твердо знал, что фашистам чужда самая обыкновенная человеческая жалость, что даже величайшей подлостью у них можно купить только временное и мнимое благополучие. Не больше. Он решил не спешить, решил выждать удобный момент, чтобы наверняка разорвать паутину, спеленавшую его. Во что бы то ни стало разорвать!

Но только не ценой предательства.

А гауптман фон Зигель был уверен, что все идет так, как задумал он. Уроженец Пиллау, неподалеку от которого около двух веков располагалось их родовое поместье, Зигфрид фон Зигель с раннего детства учился повелевать людьми. Ему было только восемь лет, когда отец дал ему первый урок.

Началось с того, что Зигфрид хотел покататься на верховом коне отца, а конюх привел пони. Зигфрид от злости топал ногами и ревел в голос. На его крик вышел отец (тогда он был еще капитаном), негромко окликнул сына и вернулся в свой кабинет. Как сейчас помнится, отец сидел за столом, а он, Зигфрид, почтительно и покорно замер у двери, прикрыв ее за собой.

— Сядь, — с леденящим спокойствием сказал отец и продолжил, когда сын опустился на самый краешек глубокого кресла: — Господин никогда не должен кричать на слуг. Он волен подвергнуть их любой каре, но не кричать: крик — верный признак бессилия. А бессилие, если ты чувствуешь его, нужно уметь прятать.

Годы минули с тех пор, отец стал полковником и вышел в отставку, а тот мальчик, теперь сам капитан и комендант целого района, который побольше иного европейского княжества, никогда не кричит. Он просто спокойно и так долго смотрит на провинившегося человека, что тот начинает искренне верить в свою ничтожность. Лишь после этого гауптман фон Зигель выносит решение. Единственное и окончательное.

Правда, допустимы и небольшие отклонения от правила. Взять, к примеру, этого молодого паныча. Его судьба до мелочей продумана еще вчера, но чем дольше неизвестность, тем дороже радость, когда рука господина укажет путь из казалось бы безнадежно глухого тупика. Путь этого паныча — пожизненное и верное служение интересам Великой Германии.

У русских есть выражение: «Служу не за страх, а за совесть». Глупое выражение. Только страх за свою жизнь или свое жизненное благополучие заставляет человека вкладывать в дело все силы. А что такое совесть? Аппендикс, который подлежит удалению. И чем скорее, тем лучше.

Этому панычу уже привит страх: он видел, что немецкая армия беспощадна к своим врагам, он краешком души уже коснулся смерти. Это залог того, что теперь он будет ревностно выполнять то, что ему прикажут.

Фон Зигель, сын потомственного военного, встретил приход Гитлера к власти без восторга: не верил, что выскочка поднимет Германию со дна пропасти, куда ее швырнули победители. Не верил в это, но скоро густо повалил дым из труб металлургических и химических заводов, которые условиями мирного договора были обречены на жалкое прозябание; исчезли толпы безработных, голодными глазами смотревших на тебя; и главное — по узким улицам городов, рассыпая меж домов дробь барабанов, стали гордо маршировать отряды молодежи, восторженно провозглашая: «Германия превыше всего!»

Потом, когда по приказу Гитлера немецкая армия ворвалась в Рейнскую область и Эльзас-Лотарингию, восстановив свои древние границы, были тревожные дни ожидания. Франция и Англия, поворчав, проглотили горькую пилюлю.

Безнаказанность вторжения в Австрию и Чехословакию окончательно убедила Зигфрида фон Зигеля, как и многих других, подобных ему, в гениальности предвидения Гитлера.

Меткими, в самое сердце врага, были первые выстрелы немецкой армии, и она, уверовав в свое счастье и мощь, обрела нахальство, без которого на войне не бывает удачи. И как результат — почти вся Европа склонилась перед немецкими знаменами! Да и старая ворчунья Англия еще дышит лишь благодаря милости фюрера, временно задержавшего вторжение своих войск на ее острова!

А Советская Россия? Кто и когда не хотел ее съесть? Ни у кого не вышло. А немецкие войска уже на подступах к Москве, и падение ее, как и указал фюрер, произойдет до ноября. Потом будет парад победоносных немецких войск на Красной площади; уже выделены и войска для участия в параде, и форма парадная для них шьется. Таким образом, день рождения Советской России станет и днем ее смерти. Разве не символично?

Откровенно говоря, фон Зигель считал, что фюрер не только умен, он, кроме того, как-то особенно помпезно умеет обстав-

лять свои победы. Ведь заставил же он легкомысленную Францию подписывать акт капитуляции в том самом вагоне, в котором после первой мировой войны она навязала Германии унизительный мир!

Теперь гауптман Зигфрид фон Зигель безоговорочно верил фюреру. И не чурался даже той работы, которую часть военных считала унизительной для себя. А он нисколько не стесняется того, что был начальником охраны в одном из самых первых концентрационных лагерей, куда пригнали коммунистов и евреев; там он никогда не осуждал своих подчиненных за карательные меры, всегда считал их справедливыми.

Как повышение воспринял и назначение комендантом одного из секторов Варшавского гетто, а позднее — и сюда, в этот глухой, лесной район Смоленщины.

Он настолько проникся идеями фюрера, что позволил себе придумать кое-что свое. Так, едва немецкая армия перешла границу Советской России, начальство потребовало немедленно и беспощадно фильтровать все советское население; если в комлибо возникало хоть малейшее сомнение, предписывалось уничтожать его со всей семьей, чтобы ни веточки, ни корешка не осталось. Он же, Зигфрид фон Зигель, считает, что, пока Советская Россия не рухнула окончательно, это преждевременно и даже опасно: жестокости напугают и озлобят этот полудикий народ, и он разбежится по лесам, займется разбоем. А Германии силы нужны будут не для борьбы с разбоем, а для покорения сначала Англии, а позднее и спесивой Америки, которая и в той войне загребала жар чужими руками.

Изучение каждого человека в отдельности, предварительная сортировка всего населения на будущих рабов, надсмотрщиков за рабами и тех, кто подлежит уничтожению, — вот что нужно сейчас. Уничтожать неугодных следует только после окончательной победы, и не всех сразу, а соблюдая строгую очередность: одних — немедленно, а всех прочих, когда они отдадут свои силы Великой Германии.

Такое разделение населения на группы породит разобщенность, каждая группа будет жить сама по себе, что тоже очень выгодно немцам. Ведь не случайно же фюрер в первые дни войны приказал отпускать домой пленных украинцев и белорусов. Разве это не гениальный ход?

Жаль, что слишком рано и украинцев, и белорусов стали возвращать в лагеря, надо бы было дать им подольше потешиться пряником!

Итак, когда Великая Германия окончательно покорит эту страну, что случится уже скоро, туземцы будут безропотными слугами немцев. Но над каждым слугой должен быть кто-то старший. Его лучше подбирать из местных: он знает нравы и привычки своего народа, следовательно, более умело будет дергать за самую больную душевную струну и вселять страх, воспитывать беспрекословное подчинение воле господ.

Со временем именно в такого надежного слугу и превратится этот польский паныч. Революция отняла у него состояние, сделала нищим. Такое не забывается. И все его поведение в деревне подтверждает это: как доносит агент, целыми днями сидит дома, хлопочет по хозяйству и вообще людей сторонится.

Конечно, его нужно еще основательно, тщательно подготовить к будущей должности. Прежде всего он должен увидеть, что немцы справедливы, что ни добро, ни зло не пройдет мимо них. За добро — награда, за зло — беспощадное наказание. То и другое неизбежно, как чередование времен года.

Все это до мелочей продумал гауптман фон Зигель, каждый свой ход считал правильным и поэтому, выдержав нужную паузу, говорит по возможности ласково, указав на стул, стоящий у стола:

— Садите себя.

Комендант разрешил сесть, а Виктор, опасаясь ловушки, помедлил у стула, и получилось так, что будто из вежливости он дождался, пока сядет старший. Фон Зигелю это понравилось, и он милостиво разрешил:

— Можете курить, — и поспешно добавил, когда увидел в его руках кисет с самосадом: — Лучше сигареты, они не так воняют.

Несколько затяжек в полной тишине, когда был даже слышен приглушенный стенами разговор немцев во дворе, и снова до монотонности спокойный голос:

— Я солдат и деловой человек, мне время дорого.

«Начинается», — подумал Виктор и подобрался на стуле. Это не ускользнуло от коменданта, он остался доволен вниманием, с каким этот парень приготовился слушать его, и продолжал:

— Вам, господин Капустинский, пора активно работать на нас. Мы видим и знаем все, мы умеем ценить преданных нам людей и карать врагов... Что есть су-про-тив-ник?

Вопрос неожидан, и Виктор замялся, ответил неуверенно:

— Супротивник?.. Тот враг, который прямо против тебя...

— Прямо против тебя... Вы верите в бога?

Виктор подсознательно почувствовал, что на этом допросе, если хочешь выйти отсюда живым, нужно иногда говорить правду, и ответил:

— К сожалению, воспитан неверующим.

— Я не миссионер и не осуждаю вас, хотя ношу бога в сердце, — успокоил комендант. — Вы обязаны сами выбрать работу и через неделю доложить мне... Вы есть комсомол?

Опять лихорадочная чехарда мыслей и быстрый ответ:

— Был.

Ничего не изменилось в лице коменданта, ни один мускул не шевельнулся, но Виктор понял, что ответ чересчур краток, и поспешил пояснить:

— Понимаете, господин комендант, для Советской власти я как сын состоятельного человека был нежелательным элементом. Узнай они всю правду обо мне, осталась бы одна дорога —

в Сибирь, где, как говорится, медведи от холода дохнут. А я хотел жить. Ну, и...

— Это ничего, когда обманывают врага... Вы по моей рекомендации можете наняться на любую работу. Откровенно говоря, я подобрал для вас дело. Но подожду предлагать, я хочу узнать ваши склонности. Моя мысль ясна?

— Так точно, господин комендант, доложу искренне, как только вызовете. — И Виктор поднялся со стула, еще плохо веря, что отделался так легко.

Одна из многих заповедей отца гласила: обязательно одари слугу, если доволен им, и поэтому комендант достал из ящика стола пачку сигарет и сказал, бросив ее Виктору:

— Прозит!

— Благодарствую! — как мог бодро ответил Виктор. Он радовался, что вырвался на свободу, а комендант его радость истолковал иначе: парень жаден, значит, что он только не сделает, если ему пообещать не пачку сигарет, а настоящую награду?

Как хорош мир! И солнце весело щурится сквозь почти голые ветки берез, и лужи искрятся тепло, празднично!

Бойко шагал Виктор по дороге к Слепышам, чтобы поскорее встретиться с Клавой, Афоней, Груней и товарищами, роднее которых у него сейчас не было никого.

Вслед ему из окна смотрел комендант и иронически усмехался: молодость, молодость, как мало надо для твоего счастья!

4

Виктор, как это часто бывает с людьми, неожиданно избежавшими смертельной опасности, сначала был переполнен только радостью и не думал ни о чем, кроме того, что он жив. Когда же схлынула первая и самая большая волна счастья, в голове запульсировали вопросы. Прежде всего, почему комендант воспылал любовью именно к нему, Виктору? Ведь о своем «родстве» с богачами Капустинскими он в Слепышах, кажется, особо не распространялся.

И, наконец, как вести себя при следующей встрече с комендантом? А что она обязательно будет — залог в кармане.

Он достает из кармана пачку сигарет, зло смотрит на белозубого немецкого солдата, улыбающегося с этикетки, и вспоминает, что он уже видел точно такую же пачку. И не в руках немца...

Где же тогда?

Зрительная память с готовностью подсказывает: буйные заросли почти метровой крапивы сзади того бревна, на котором любят сидеть они с Афоней. У мохнатого от колючек стебля и лежала та пачка. Пустая, раскисшая под дождями.

Как она попала туда?

Только не немец бросил: эти ходят серединой улицы, кроме того, у них почти у всех портсигары.

«Прозит!» — насмешливо звучит в ушах голос коменданта.

Прозит... Выходит, кто-то из Слепышей тайком навещает коменданта, нашептывает деревенские новости.

Может, Нюська?

Возможно, и она... Только этой кобыле бросили бы конфетку или кусок сахару — некурящая.

Перебрал Виктор всех мужиков деревни, которых знал, и никто из них не вызывал подозрений. Все же именно среди них затаился тот, от которого комендант узнал про Виктора!..

Словно в дремучем лесу, плутал Виктор среди вопросов. Решил как можно скорее поделиться своими мыслями с комиссаром. Кто, кроме него, правильный путь подскажет?

Хотя сейчас нужно быть очень осторожным. Вообще осторожным, а с отлучками из дома — особенно: возможно, за каждым шагом наблюдают, каждое слово ловят...

Самое разумное, пожалуй, вместе с Афоней и Груней гнать скот в Степанково, так сказать, добровольно на это дело вызваться. Выгода двойная: при встрече обскажет товарищам все подробно, и те передадут комиссару, да и о налете партизанского отряда так и так придется докладывать в Степанково, возможно, самому коменданту. А кому сподручнее это сделать? Афоне и Груне, о которых там никто слова не замолвит, или ему, Виктору, лично знакомому с господином комендантом? Значит, он и Афоню с Груней от беды прикроет, и перед фашистами выслужится: «Глубоко прочувствовав ваши слова, господин комендант, хотел начать служить немедленно...»

Решив так, он ускорил шаг, чтобы встретить друзей как можно ближе к Слепышам: это гарантировало от опоздания.

Дорога хорошо знакома: сколько раз и ночью, и днем по ней хожено. Вот сейчас за поворотом будет полянка, потом еще с километр-полтора леса, и сразу начнутся луга Слепышей. Ближе той полянки «нападать» нельзя. И место открытое, и деревня близко.

Едва миновал поворот дороги, увидел Афоню. С длинным кнутом, перекинутым за спину, он, как заправский пастух, стоял на обочине и смотрел на коров и овец, которые разбрелись по поляне. У леса, за полоской кустов, белел полушалок Груни.

Увидев Виктора, Афоня какое-то время только смотрел на него радостными глазами, а потом подбежал, обнял за плечи и лишь молча хлопал ладонью по спине.

А Груня выпалила с обычной непосредственностью:

— Ой, Витенька, а мы думали, замордуют тебя!

Он ответил по возможности небрежно:

— Мне, если хочешь знать, до самой смерти ничего не будет. — Потом добавил, оглядев коров и овец: — Не дохлятина, как в прошлый раз.

Груня поняла, что он не хочет или не может рассказать о том, что приключилось с ним ночью, и на время приглушила любопытство. Она ответила, глядя только на него:

— Так ведь для своих отбирали... Поди, не ел со вчерашнего дня?

Заговорила о еде — голод сразу так властно заявил о себе, что вскоре от всего запаса Груни остались лишь малосольный огурец и краюшка хлеба. И тут Груня спросила:

— Приемыш Авдотьи тоже из ваших?

Приемыш Авдотьи... Виктор с большим трудом вспомнил и саму Авдотью — лет сорока, высушенную пятью детьми и повседневными заботами, — и ее сожителя. Ему было около тридцати, никак не больше; нос с горбинкой и черные волосы, зализанные назад. Что еще запомнилось? Пожалуй, то, что никогда не встречался с ним глазами. Взгляд его ловил на себе неоднократно, а вот встречаться глазами — не довелось.

Ответил вопросом:

— А что?

— Бабы зашумели, когда дед Евдоким стал скот отбирать, который помясистее. Такой гвалт подняли, что березы к земле никли. Один этот, Авдотьин, на сторону деда стал. «Господину старосте виднее», — передразнила она.

— Подожди, а как его зовут?

Афоня повел плечами, а Груня немного подумала и беспечно ответила:

— А он без имени.

Интересно, искренне говорил Авдотьин приемыш или маскировался, как почти все сейчас?

Мелькнул вопрос и исчез, нигде не зацепившись, а усталость брала свое. Да и солнце так пригревало, что Виктор снял плащ, подстелил под себя и прилег. Он хотел просто полежать минут десять с закрытыми глазами, но мигом уснул, да так крепко, что не почувствовал, как Афоня сунул ему под голову свой ватник, как Груня сказала:

— Видать, не шибко мы у него в доверии, где ночку провел — не сказывает.

— Может, по женской линии, — буркнул Афоня.

Груня пренебрежительно фыркнула:

— Фашисты, значит, за сводню работают?

Афоня смолчал. Он почему-то забыл, что за Виктором ночью приезжали немцы. Сам же Груне об этом рассказывал, а тут вдруг начисто забыл.

Проснулся Виктор оттого, что Груня беспощадно трясла его за плечо, повторяя, как заклинание:

— Фрицы проклятущие... Фрицы проклятущие...

Окончательно проснулся он в тот момент, когда вслед за грузовиком, в кузове которого плотными рядами сидели солдаты, из-за поворота дороги показалась уже знакомая легковушка коменданта. Решение пришло мгновенно, и, прошипев

Афоне с Груней, чтобы вперед не лезли, он подбежал к притормозившей машине и выпалил, опустив руки по швам:

— Согласно вашему приказу скот следует в Степанково!

Фон Зигель прекрасно помнил о своем распоряжении; в другое время ограничился бы лишь кивком, но сейчас настроение прекрасное, и он говорит:

— Немецкие солдаты в ста километрах от Москвы, война скоро конец будет... Как это по-русски? — От нетерпения комендант даже пощелкивал пальцами, требуя подсказки. А Виктор молчал. Немцы в ста километрах от Москвы...

— Да, когда Москва падет, мы будем пировать! Откармливать скот для этого дня!

Сказав это, комендант чуть коснулся пальцем плеча шофера, и машина немедленно рванулась вперед.

Настроение у фон Зигеля — радуга семицветная. Причина — письмо отца, которое доставила сегодняшняя почта. Отец извещал, что вопрос о параде немецких войск на Красной площади — дело окончательно решенное.

Самая же приятная новость — оказывается, отец через своих друзей хлопотал за сына, и ему обещано место коменданта того самого района Москвы, где расположена знаменитая русская картинная галерея — Третьяковка!.. Какой примитивно варварский язык у русских: пер-цов-ка, зуб-ров-ка, треть-я-ков-ка...

— Что он так цвел улыбкой, Витенька? — налетела коршуном Груня, едва скрылись немецкие машины.

— Им до Москвы сто километров осталось, — зло ответил он. — Заворачивай стадо домой, а я в лес, наших предупредить.

Груня заметалась, сгоняя скот. Она не жалела ни голоса, ни ударов хворостиной. Коровы и овцы очумело носились по поляне, бессильные понять, что от них хотят.

Афоня вырвал хворостину из рук Груни:

— Дура психованная!

У Груни сразу подкосились ноги, и она, заревев, опустилась на траву.

— Ну, чего ты, чего? — растерялся Афоня. — Я ведь так, любя... Чего ревешь-то, чего?

— Москва же, — всхлипнула Груня.

А в отряде, как теперь именовали себя Каргин с товарищами, тоже чрезвычайное происшествие.

Только сели за стол в новой столовой, которую закончили два дня назад, как чепе и случилось.

Столовая — четыре столба по углам площадки, на них решетка из тонких стволов, закрытая зеленым еловым лапником; и запах густой, к еде располагающий, и никакой дождь не прошибет.

Ни окон ни дверей, шагай или смотри куда хочешь.

Столовую не планировали строить, она родилась неожиданно. Кроме старой землянки, на поляне появились еще две. Человек на десять каждая. В них были и лежанки, устланные опять же зеленым лапником, и по столу, и даже по железной печурке. Их трубы торчали из земли уродливыми черными огрызками. А вот окошек — ни одного: решили, без них не так будет тепло выдувать.

Ну, а каково в полной темноте обедать? Настроение не то, «не рабочее», как сказал Григорий. Он и повадился с Юркой котел с похлебкой или кашей ставить на поляне у входа в землянку. А тут, как назло, дожди зарядили. И пришлось вкапывать четыре столба, нахлобучивать на них крышу.

Только разлил Павел по мискам грибную похлебку, не успел Григорий еще пробормотать свою обычную присказку: «Обедать — не работать!» — как с опушки поляны кто-то сказал:

— Хлеб да соль.

Зябко стало каждому, но вида не подали, лишь взглянули на сказавшего эти слова. А он стоял так, чтобы с поляны его хорошо видели. Голову его прикрывала каска с орлом, вцепившимся когтями в свастику. И немецкий автомат болтался за спиной.

Каргин с Василием Ивановичем переглянулись, сказали друг другу глазами: «Будь это враг, он не вышел бы на открытое место, из-за укрытия всех одной длинной очередью срезал бы». Каргин спокойно ответил, словно давно ждал прихода этого незнакомца:

— Садись и ты с нами.

Незнакомец немедленно вклинился между Григорием и Юркой, ловко извлек из кармана солдатскую ложку, обжигаясь, попробовал варево и сказал:

— Мирово!

Григорий стукнул нового соседа ложкой по каске:

— Сними кастрюлю.

— Как двину, — начал тот, неся ко рту ложку, но Григорий локтем так саданул его в грудь, что тот запрокинулся.

Казалось, его естественным движением будет схватиться за автомат, однако он лишь сказал:

— Орднунг!

Потом снял не только каску, но и плащ. После этого опять полез между Григорием и Юркой. Те не противились. Лишь когда он снова взялся за ложку, Юрка сказал, прикоснувшись к автомату, который незнакомец положил себе на колени:

— Штука добрая.

— Не лапай, — отрезал тот и левой рукой прижал автомат.

— Граждане, будьте взаимно вежливы, — подражая кому-то, призвал Григорий.

— Дайте человеку поесть, — прервал пикировку Василий Иванович.

Чугунок выскребли — мыть не надо. Закурили. Тогда Каргин и спросил:

— Кто будешь?

— Сазонов Федор... Из плена удрал, к своим пробиваюсь.

Каргин отрывисто спрашивал, в какой части служил Сазонов, когда и как в плен попал, где автомат добыл, а Василий Иванович только слушал скупые ответы. И чем больше слушал, тем больше ему нравился этот ершистый парень: нет в ответах ни хвастовства, ни любования муками, через которые пришлось пройти. Одна только обнаженная правда, ставшая от этого во много раз сильнее, звучала в них.

Даже не соврал, сознался, что, не выстрелив и единого раза, в плен попал.

— Да, жизнь твоя, что и говорить, вовсе не сахар-медович, — подвел итог Григорий.

— А твоя слаще? Сейчас весь наш народ полынь жует, — ответил Федор и сразу перешел в наступление: — К зимовочке готовитесь? Гляжу, капитально окопались, вокруг грибочки на ниточках сушатся. А маринованные есть? Беда люблю.

Каргин будто не заметил издевки:

— Хлеб-соль с нами ломал, а прочее? К примеру, мы на задание идем, а ты? Поди, притомился с дороги?

Федор молча встал из-за стола, надел плащ, каску, проверил, свободно ли ходит затвор автомата, и ответил:

— Орднунг!

Скоро у землянки остались лишь Василий Иванович и Павел.

— Кажись, солдат стóящий, — сказал Павел, когда спины товарищей скрылись за стволами деревьев.

Василий Иванович был такого же мнения, но из осторожности промолчал: жизнь уже не раз учила, что первое впечатление может обмануть.

— Не, этот надежный, — будто разгадал его мысли Павел.

Ровно шумели вершинами ели, словно заверяли, что все образуется, все будет хорошо. Лишь белка недовольно цокала, возмущаясь медлительностью людей, которые поели, но почему-то не уходят из-за стола. А те не замечали ее, те не думали залезать в землянку: может, последний солнечный денек выдался?

Глава шестая

ОКТЯБРЬ

1

Сообщение Виктора о том, что немцы дошли до самой Москвы и вот-вот начнут ее решительный штурм, Василий Иванович встретил внешне спокойно. И спросил, как показалось Виктору, о мелочи, недостойной внимания сейчас:

— Говоришь, Авдотьин приемыш поддержал деда Евдокима?

— Ага... Дескать, господин староста лучше знает, какой скот ему брать.

— Гад он ползучий — вот и вся его характеристика! — моментально вынес Григорий окончательный приговор.

— Заарканить веревкой и сюда! — поддержал его Юрка.

— А на хрена нам он здесь сдался? — спросил Каргин. Он, по обыкновению, сидел рядом с Василием Ивановичем. — Считаю, убьем одного гада — Москве легче не станет.

— Курочка по зернышку клюет, да сыта бывает, — не сдавался Григорий и с надеждой посмотрел на приятеля. И тотчас же, как бывало уже не раз, Юрка поспешил на помощь, закивал взлохмаченной головой:

— Мы одного кокнем, другие — второго, а во всесоюзном масштабе какая картина проявится?.. А ты, Орднунг, чего молчишь? От спора с начальством прячешься?

Федор Сазонов сидел немного на отшибе и старательно протирал тряпицей блестящий затыльник автомата. Казалось, никого и ничего не существовало для него, кроме автомата, но ответил сразу и категорично:

— Убил даже одного врага — уже польза.

— Между прочим, здесь есть комиссар и командир, так что чего митинговать? — будто нехотя опять вступил в разговор Каргин.

Виктор заметил, как недовольно переглянулись Григорий с Юркой, как обиженно насупился Федор; этот даже вроде бы выругался, беззвучно шевеля губами.

— А я, командир, считаю, что пока, — Василий Иванович особо выделил слово «пока», — что пока все имеют право высказывать свое мнение. Даже спорить. Ведь, как говорится, в споре рождается истина. А вот потом, когда найденное решение примет форму приказа, вот тогда все споры оборвутся сами собой.

Каргин уставился на свои руки, безвольно лежавшие на коленях, и ответил тихо и с таким спокойствием, что все поняли — это его окончательное мнение:

— Споры на военной службе — что окурок на сеновале. В армии, как в семье, один командовать должон. Что сказал он — исполняй, не рассусоливай.

— А демократия где? — вкрадчиво спросил Григорий и сразу же взвился до крика: — Помню, еще мальчонкой бегал, партийная чистка была. Вот там одному типу — демократии зажимщику — дали за это самое, так дали! Не чихай и не кашляй!

— Тому тогда дали, а ежели тебе я сейчас отпущу? Полной мерой? — казалось, неожиданно, казалось, не из-за чего обиделся Каргин и даже сжал пальцы в кулак, даже подался к Григорию.

— Или не отвечу? — окрысился тот, но все же подтянул ноги под себя, чтобы удобнее было вскочить.

Василий Иванович уже уловил, что с Каргиным нужно будет

поговорить отдельно, может, не раз и не два: упрям Иван, даже поймет, но не сразу сознается. Потому и сказал, будто признавая свою ошибку:

— В общем-то, товарищи, командир прав. На то мы ему и дали власть, чтобы беспрекословно подчиняться... А что Григорий в спор полез... Думаю, он просто не понял, что не всем, а командиру докладывает Виктор.

И вовсе сгладил все обиды вопрос Федора:

— Слышь, комиссар, а устоит Москва? Только ты честно, как на исповеди.

— Как на исповеди — не могу, — развел руками Василий Иванович. — Исповедь — сплошной обман...

— Не цепляйся к слову, комиссар, ведь мысль-то мою понял?

— А как же, понял, — ответил Василий Иванович и замолчал. Виктору показалось, на очень долгое время замолчал. Он украдкой вздохнул с облегчением, когда Василий Иванович вновь заговорил: — Если даже падет Москва — чему не бывать, — разве склоним голову под фашистский сапог?.. Что касается моего мнения, то не бывать фрицам в Москве. И докажу это с математической точностью, — заспешил Василий Иванович, даже голос повысил, словно здесь был кто-то, не согласный с ним. — Во-первых, сами, небось, заметили, что все больше и больше раненых немцев на запад везут. А наших-то пленных тю-тю? О чем это говорит?.. Во-вторых, хотят немцы этого или нет, но, даже проигрывая какой-то бой, мы неизменно выигрывали время. А это такой трофей, что хоть кого заставит считаться с собой.

Дальше комиссар говорил еще о единстве наших фронта и тыла, о том, что сейчас, бесспорно, на Урале, во Владивостоке, в Хабаровске и даже на Сахалине работают на победу под Москвой, но Виктора это уже мало интересовало, он считал, что схватил и цепко держит главное: с нашей стороны война будет продолжаться до полной победы над фашизмом.

Все это было тогда, а сегодня — 1 октября, — едва ночь распласталась над землей, Виктор с Афоней вышли к кривой березе и ждут Каргина, Василия Ивановича и всех остальных товарищей: Каргин сказал, что в эту ночь на задание выйдут все, кто истинно за Советскую власть. Так дословно и сказал:

— Сейчас такое время настало, что все, кто истинно за Советскую власть, делом должны доказать это.

Виктору очень понравилось это выражение; может, потому, что раньше его не слышал.

Потом немного поспорили, брать ли с собой деда Евдокима и Клаву с Груней.

— Лично я утверждаю, что они настоящие советские! — горячо сказал Виктор.

— Без баб и стариков обойдемся, — словно обиделся Григорий.

— Они, может, еще понадежнее тебя будут, — возразил Виктор, хотел добавить, что ручается за них, как за самого себя, но Каргин поставил точку:

— Всяк сверчок на своем шестке хозяйничает.

Понимай: у них свое задание, у отряда — свое. Поэтому ночью из Слепышей вышли только они с Афоней, хотя, будь его воля, Виктор привел бы на место встречи почти отделение.

Афоня заметно волнуется, хотя и старается скрыть это; часто покашливает, словно петь готовится. А Виктору сегодня просто холодно: с раннего утра, словно под большим давлением и только в узкую щель его выпустили, вырвался на простор северный ветер-листобой и злым сквозняком пронизывает вмиг оголившийся лес. И звезд ни одной. Холодно, неуютно.

Юрка, как обычно, появился неожиданно и бесшумно. Будто давно, затаившись, стоял за березой, а теперь настало время, ну и вышел. Не поздоровался, ни о чем не спросил. Просто бросил мимоходом:

— А ну, тронулись.

Ведет цепочку Каргин. За ним, рядом и как старые знакомые, идут Василий Иванович с Афоней. А сзади Виктора — только Григорий, который сегодня не ворчит, не порывается поравняться с Каргиным, а точно держит свое место. И стоило Виктору чуть задержаться, чтобы перемотать сбившуюся портянку, Григорий сразу оказался рядом и терпеливо ждал, пока он не пошел дальше.

— Вот отсюда и атакуем, — прошептал Каргин, когда отряд вышел к мосточку на тракте за Степанковым. — Юрка с Гришей занимают позицию на том бугре, — рука властно указала на еле приметный холмик, огибая который, тракт устремлялся прямо к мосточку. — До взрыва — не дышать... Ты, Василий Иванович, бери Витьку с его дружком и залягте так, чтобы сам мост под огнем держать. А мы с Павлом и Федором мостик заминируем и вперед по дороге подадимся... Только, чур, на ту сторону тракта не бегать. Чтобы свои же пули не посекли.

Еще несколько минут — и все улеглись на леденящей земле. Моментально ветер-листобой, озверевший к ночи, нашел в одежде прорехи и тысячами отточенных иголок прикасается к телу, холодит его до дрожи. Она, мелкая и противная, бьет Виктора уже часа два или три, бьет с той секунды, как он залег под кустом. И передохнуть не дает.

Сначала, когда на мосточке копошились Каргин, Павел и Федор, было еще хоть чуточку интересно наблюдать за ними, а потом они убежали в ночь. И вот уже несколько часов — никого и ничего. Только провода, что провисли меж столбов, стонут нудно и глухо. Да месяц то нырнет за тучку, то пялится во все глаза.

Наконец, когда по расчетам Виктора до рассвета оставалось совсем немного, в гул проводов вплелся новый звук — завывание мотора машины. Неторопливо и тяжело шла машина. Дрожь

сразу унялась сама собой, стало даже жарко, и Виктор расстегнул верхнюю пуговицу ворота рубашки. Сейчас он думал об одном: «Скорей бы! Пусть эта машина взлетит на воздух вместе с мосточком или проскочит, но скорей бы!»

Пожалуй, еще больше, чем Виктор, волновался Василий Иванович. Ведь это была первая боевая операция всего отряда. Правда, переход совершили, можно сказать, образцово. И позицию Каргин выбрал правильно. А вот сработает ли то хитрое устройство, что заложили на мосту?..

Должно сработать! Должно!..

У Василия Ивановича закостенело все тело, когда тяжелый грузовик, рыгнув выхлопом, вразвалку поднялся на мосточек и пополз по нему, выпучив, словно от натуги, глазища-фары.

«Где-то здесь», — успел подумать Василий Иванович, и справа от грузовика прямо из досок мосточка вырвалось яркое пламя, а долей секунды позже прозвучал глухой взрыв. Почти одновременно с ним распахнулась дверца кабины грузовика и высунулся немец. Еще Василий Иванович заметил, что этот немец почему-то смотрел только на настил мосточка. Тут и затарахтели автоматы Виктора и Афони. Это было так неожиданно, что и Василий Иванович машинально дал короткую очередь неизвестно куда. Видел, что голова и плечи немца безжизненно висели над черной водой речушки, а очередь все же дал!

2

Ефрейтор Пауль Лишке — связист-линейщик — заступил на дежурство в ночь и покорно сидел у молчаливого коммутатора. Сидел в тепле, а думал: «Неужели начинается пресловутая русская зима?.. Говорят, у русских зимой такие морозы, что иная птица летит, летит и вдруг грохнется на землю ледышкой».

Хотя, пожалуй, к самым зверским морозам война все же кончится: пока неизменно сбывалось все, что обещал фюрер. К примеру, разве многие сразу поверили, что он возродит военную промышленность Германии?

А он не только возродил ее, но и усилил в несколько раз. И еще он создал вермахт, равного которому нет в мире.

Доказательства?

А Данцигский коридор? Австрия? Чехословакия? Польша? Франция? Все их государственные флаги сейчас значат не больше, чем обыкновенная тряпка: прикажет фюрер — и любой немецкий солдат вытрет о них свои походные сапоги.

Наконец, Россия — огромная и таинственная страна. Разве мало было полковников и даже генералов, которые панически боялись России? Но фюрер заявил им: «Ничего не бойтесь, я поведу вас! Россия — колосс на глиняных ногах».

Указал фюрер очередную ближайшую цель, и вот вермахт марширует по дорогам России. Правда, пропаганда убеждает, будто это русские вероломно нарушили дружеский договор с Гер-

манией, будто пообещали пропустить ее войска через свою территорию для удара по Индии, а сами открыли огонь, едва немецкие солдаты в указанных русскими местах перешли границу. Но это сказка для малышей и простаков; он, Пауль Лишке, и сам кое-что понимает, да и служба — дежурный по связи при комендатуре района — дает многое для самостоятельных выводов. Вот, например, мало кто знает, что в ближайшие дни падет Москва, а ему это доподлинно известно: как начальство ни маскирует тему разговора, главное всегда понять можно.

Разумеется, Пауль Лишке не мог знать, что план наступления на Москву детально разработан и скрыт под кодовым названием «Тайфун». Не мог он и думать, что для удара по русской столице командование вермахта сосредоточило 78 лучших дивизий (в том числе 14 танковых и 8 моторизованных), 1700 танков и 1000 самолетов, но зато ему было точно известно: все готово к удару такой мощи, какая неведома миру. И поэтому, скучая на ночном дежурстве, он мог предполагать, что дни Москвы сочтены.

Вот и выходит, думал Пауль Лишке, что на дорогах всей Европы победно отпечатался след сапога немецкого солдата. Во всю ступню и с глубокими вмятинами от шипов!

Швеция и Швейцария? Они пока нужны Германии как нейтральные страны. Нужны до поры до времени. Поэтому и существуют. А захочет фюрер — уже завтра над ними тоже гордо взовьется победоносное знамя новой Германии. Как недавно над Киевом взвилось.

Стоп, стоп, как там дословно сказано?

Пауль Лишке уставился в темный угол комнаты, откуда на него скорбно смотрели русские святые, и с удовольствием продекламировал, проверяя свою память и гордясь ею:

— Верховное командование немецких вооруженных сил сообщает: наряду с операциями по окружению советских армий на востоке было начато наступление на столицу Украины — Киев. После отважного прорыва сильных укреплений на западном берегу Днепра наши войска вошли в город. Над цитаделью Киева с сегодняшнего утра развевается немецкое военное знамя. 21 сентября 1941 года.

Только продекламировал сводку, еще не успел полностью восхититься ее содержанием и своей памятью, а на столе уже ожил один из телефонов, рассыпая звонкую и требовательную трель.

— Ефрейтор Лишке слушает, — отрапортовал он в телефонную трубку голосом, который свидетельствовал о том, что он, Пауль Лишке, бодрствует.

— Примите телефонограмму на имя коменданта района гауптмана фон Зигеля.

— Готов, записываю.

— Все имеющиеся у штатского населения валяные сапоги, включая и детские валенки, подлежат немедленной реквизиции, — монотонно и медленно диктует кто-то.

— Можно и быстрее, я стенографирую, — говорит Пауль Лишке.

Но невидимый собеседник продолжает в прежнем темпе:

— Пользование валяными сапогами населению запрещается и должно караться так же, как и недозволенное пользование оружием... Все, подпись: гебитскомендант... Кто принял?

— Принял ефрейтор Пауль Лишке.

— Передал Карл Борн... Слушай, как у вас там погода? У нас — ветрище прямо с Северного полюса.

Этот несчастный простой солдат явно забыл свое место, разговаривает с ефрейтором как с ровней!

— Молчать! — приглушенно бросает Пауль Лишке и поясняет, как ему кажется, с леденящим спокойствием: — Линия только для служебных разговоров.

— Яволь!

И снова в ушах лишь завывание ветра в печной трубе да голые ветви березы скребутся о стекло окна. Словно умоляют дать частицу тепла.

Неужели зимовать все же придется здесь, в России?..

Теперь Пауль Лишке невольно начинает думать о том, что хотя он в России уже три месяца, но не понял ни ее, ни народ, живущий здесь.

Когда вермахт еще только перешел границу России, Пауль Лишке сразу почувствовал, что здесь все иначе, чем в других странах Европы, где ему довелось побывать. И дело не в том, что тут многие хорошие луга заболочены, леса захламлены хворостом, сухостоем и откровенно гниющими деревьями; и не в соломенных, деревянных или железных крышах, хотя каждому культурному немцу известно, что черепица надежнее и экономичнее.

Во всем этом, разумеется, когда Россия будет окончательно покорена, фюрер быстро наведет порядок. Не сам, конечно, а руками верных сынов Германии. Таких, как он, ефрейтор Пауль Лишке. Тогда здесь все дома будут стоять строго по плану, все под одинаковыми красными черепичными крышами. Как в родном Пиллау.

Пиллау... Только вспомнил о нем, только на секунду прикоснулся памятью к родному городу, а перед глазами уже встают его зеленые улочки...

В Пиллау сейчас еще не пожелтел ни один лист на каштанах. А здесь...

Конечно, Москва падет. Конечно, это событие скоро станет фактом истории. Но как скоро это произойдет?

Сейчас немецкая армия в ста пятидесяти четырех километрах от большевистской столицы. Это два или от силы — три дневных перехода для моторизованных дивизий и танков. Ничтожно мало в любом государстве, но не здесь, где каждый советский человек — неразрешимая задача.

Взять хотя бы тех двух русских солдат, что у самой границы засели в недостроенном доте. Они только двое уцелели от всего гарнизона, были полностью блокированы и все же на предложение о почетной сдаче (не лагерь военнопленных, а вольное поселение в любой части Германии) ответили выстрелами.

Они, конечно, были уничтожены. Но какой ценой?..

Или — деревня Курочкино. До нее оставался один километр, когда в атаку разом пошли полк пехоты и два батальона танков.

Было точно известно, что у русских нет артиллерии. Даже винтовки, как выяснилось позднее, были не у всех. И никаких укреплений не обнаружили перед деревней.

Только одну тысячу метров нужно было пройти до деревни Курочкино. Этот километр одолели за два дня. И как трофеи, захватили иссеченные пулями и осколками печные трубы и сорок два мертвых красноармейца.

Вот что такое километр на этой земле. А до Москвы их еще сто пятьдесят четыре. Это много. Очень много...

Таков был ход мыслей Пауля Лишке в ночь с первого на второе октября. Ефрейтор Пауль Лишке еще верил в победу вермахта, но в душе его уже зарождалась необъяснимая тревога. Однако он тогда и сам не знал, чего боялся. Но уже боялся.

Опять зазвонил телефон. Теперь тот, что был соединен прямо с квартирой коменданта. Только звякнул этот телефон, а думающего человека уже не стало, его место занял служака ефрейтор, который бодро отлаял в трубку:

— Дежурный по связи ефрейтор Пауль Лишке!

— Что там горит? — Голос у коменданта не сонный, злой.

— Никаких докладов не поступало, господин комендант.

Комендант бросил трубку.

«Сердится! — с непонятной радостью подумал Пауль Лишке. — Пора бы и привыкнуть, что редкая ночь без происшествий проползает».

8

До кривой березы, что стояла у тропки, сворачивающей на Слепыши, как показалось Виктору, дошли быстро. Он подумал, что вот здесь они и расстанутся молча; самое большее — Каргин прикажет явиться туда-то и тогда-то. Но Каргин присел на пенек, подождал, пока остальные не сгруппировались вокруг него, и сказал:

— Сейчас разберем операцию... Как положено, слово младшему. Давай, Григорий.

— И чего ты, Иван, за меня все время цепляешься? Всегда Гришкой первым любую дырку затыкаешь?

— Для первого раза, за пререкания, лишаю слова... Начинай, Юрка.

Тот как-то сразу взбодрился, посуровел и довольно бодро выпалил:

— Так вот, значит...

Выпалил и запнулся, потом вовсе неожиданно спросил:

— О чем говорить-то надо?

— Разъясняю: разбор операции — учеба общая. Чтобы знать, что ладно, а где промашку допустили. Понятно?

— С этого и начинал бы! — оживился Григорий.

— Тебе я слова не давал, — осадил Каргин.

— Лично я считаю, — все нормально, как положено, — затараторил Юрка. — Одно плохо: вот видим мы, что машина идет. Может, она немцев полная? Предупредить бы своих, а как, ежели сигналов не обговорили? Факт это или не факт? Факт, честное слово, факт!

Это было только начало критики, а дальше Юрка, Павел и Федор такого наговорили, будто не победу сегодня одержали, а лишь чудом от верной смерти ускользнули: и о сигналах не условились; и патронов всего лишь на двух гитлеровцев израсходовали столько, что отделению на день боя хватило бы; и взрывчатку профукали, хотя одну машину запросто и без этого уничтожить могли.

А то, что бензин из машины и масло из бочек на мосточек вылили, — хорошо: не только машину и груз, но и мосточек уничтожили. А если мост сгорел до самого низа свай, как немцы докопаются до причины случившегося? Стрельбу автоматную слышали? Так ведь то ихние, немецкие автоматы строчили! Может, шофер против внезапного пожара подмогу вызывал?

— Мы с комиссаром выводы сделаем, — заверил Каргин, помолчал немного, словно думал, говорить еще о чем-то или не надо. Наконец вздохнул, решившись, и продолжал строже, официальнее, чем начал: — Как боец Федор Сазонов себя в инциденте вел — претензий не имею. Расчетливо, по-солдатски он действовал... А потом, когда к машине подбежали, зачем шофера убил? Он ведь руки поднял?

— Фашист он, — ответил Федор.

— Он же руки поднял, сдавался, — повторил Каргин.

— А я, может, не видел его рук?

— Врешь, — по-прежнему спокойно сказал Каргин. — А какова одна из основных заповедей красноармейца? Какова? «Ежели враг не сдается, мы его уничтожаем». А ежели сдается, мы к нему относимся, как... Как та самая конференция постановила.

— Не для фашистов те законы!

В голосе Федора боль и злость. Безграничные, бездонные.

Василий Иванович ловит себя на том, что согласен с ним. Как человек, узнавший фашистов, согласен. И вот готовы «ножницы»: как человек он полностью согласен с обвиняемым, а как коммунист и комиссар, по долгу своего служебного положения, обязан поддержать Каргина. И не потому, что нужно оберегать авторитет командира. Это само собой. Главное в том, чтобы всем было ясно, как подобает вести себя советскому человеку по отношению к поверженному врагу. Не палачом же быть!

— Кто с мечом к нам пришел, тот от меча и погиб, — будто для себя сказал Павел. Он вообще редко вступал в споры, и теперь все поняли, что он на стороне Федора.

Виктор обрадовался этому и торопливо подсказал, хотя нужды в этом не было:

— Александр Невский так сказал.

— Значит, товарищ Каргин, как я тебя понял, Федор должен был того в плен брать? — спрашивает Григорий, и в голосе его нет обычного шутовства. — А где пленного содержать? Еще одну землянку откапывать? И караул около нее нести?

Не вопросы, а глыбы на пути. Одну своротить сил нету, а тут вон их сколько. И Каргин молчит.

— Лично я считаю, что Федор поступил...

Ну, товарищ Мурашов, выкладывай свое мнение, смелее выкладывай! Ведь сейчас в первую очередь ты отвечаешь перед своей совестью за воспитание и Федора, и других, что глядят тебе в рот.

И он сказал честно:

— Не знаю, как бы поступил, окажись на его месте. Не знаю... А что обстановка, условия у нас другие, нежели в армии, — спорить нечего.

— Василий Иванович, а может, он, Федор, и не понял, почему тот руки вздернул?

Григорий явно указывает лазейку, но Федор режет правду:

— Не, он по-настоящему сдавался.

— Значит, командир, считаем, что вопросы исчерпаны? Виктору с Афоней домой пора: светает.

Действительно, просыпался день. Укутанный в низкие серые тучи, прошитые северным ветром, он обещал быть по-вчерашнему пасмурным и холодным. Но он просыпался, этот день, и в его сумеречном свете были уже отчетливо видны и оголенные, дрожащие словно от озноба, деревья, и все восемь человек, сгрудившиеся под ними. Они, бодрствуя, встречали этот день.

Примерно в это же время восточнее, под Москвой, загрохотали пушки, взвыли моторы сотен танков и самолетов: «Тайфун» начал свое движение точно 2 октября, как и предусматривалось планом.

4

Фон Зигель из окна своего кабинета увидел, как два полицейских провели по улице человека. Картина нормальная, если бы из-за спины одного из полицейских не торчали две винтовки. Почему две? Одна отобрана у задержанного?

Невысокого мнения был господин комендант о своей полиции, поэтому приказал задержанного немедленно доставить к себе.

Через несколько минут к нему в кабинет, осторожно постучавшись, вошел начальник полиции Свитальский. Фон Зигель поморщился: зачем приходить, если приказание отдано иное?

Свитальский уловил недовольство господина коменданта и торопливо пояснил, стараясь говорить как можно тише и почтительнее:

— Докладываю: задержан с оружием. Самоуверен, я бы сказал — нагл до чрезвычайности.

— Где он?

Свитальский хотел было сказать еще что-то, но обронил лишь одно слово:

— Слушаюсь.

В кабинет фон Зигеля втолкнули задержанного. Ему можно дать пятьдесят и даже все шестьдесят лет. Лицо — осунувшееся, бледное; голова почти вся седая. Под глазом наливалась синью припухлость, из разбитых губ сочилась кровь.

«Уже успели», — удовлетворенно отметил фон Зигель, но ничего не сказал. Он теперь внимательно осматривал и замызганный ватник, и латаные-перелатаные штаны, и невероятные опорки на ногах задержанного.

Рассматривал одежду, а краешком глаза следил за его лицом. Нет, оно было спокойно: ни робости, ни растерянности; словно заранее знал, что его здесь ожидает.

— Кто есть вы? — спросил фон Зигель.

— Осмелюсь напомнить, задержан с оружием в руках, — подавшись корпусом вперед, сказал Свитальский.

От фон Зигеля не укрылось, с какой ненавистью начальник полиции глянул на задержанного. Невольно подумалось, что не лучше ли сначала на часок дать волю Свитальскому? Он заглушил это желание и сухо спросил:

— Правда?

— Как бог свят, правда, — ответил неизвестный, сделав шаг вперед. — С маленькой поправочкой, вернее, с уточнением: враг — он крадется в темноте, а я белым днем в село вошел. И серединой дороги, не таясь.

Быстрый взгляд на начальника полиции. Тот на мгновение прикрыл веки.

— А величают меня — Опанас Шапочник. Слыхали?

Это имя ничего не говорило фон Зигелю, он опять глянул на Свитальского. Тот недоуменно повел плечами.

— Плохо, ваше благородие, что начальником полиции являетесь, а имени моего не знаете. Знали бы — не такой встреча вышла бы.

В голосе Шапочника звучали обида и осуждение.

— Почти пятнадцать годочков на советской каторге ишачил, чего не перетерпел и все же выжил большевикам назло. Через сто смертей прошел, а до родных краев добрался. Думал, новая власть с лапочками сцапает, а она — по зубам!

Только теперь рукавом ватника вытер кровь на подбородке и замолчал, без подобострастия и страха глядя прямо в глаза фон Зигелю.

— Садитесь, — сказал тот, показав глазами на стул в отдалении от стола.

Шапочник поклонился, подошел к стулу, пощупал его, словно проверяя прочность, и сел.

— Почему же ты, собачий сын, с винтовкой пер? — сдерживая злость, спросил Свитальский. Он ненавидел Шапочника уже только за то, что на него обратил свое внимание комендант района.

— У моего отца — царствие ему небесное! — сам пан Петлюра за столом сиживал! — отрезал Шапочник, по-прежнему глядя только на коменданта. Это понравилось фон Зигелю, про себя он с удовольствием отметил, что если после проверки Шапочник окажется тем, за кого себя выдает, то другом Свитальского никогда не станет, не забудет ему «собачьего сына». А это очень хорошо, когда тебе непримиримые враги служат: они друг другу малейшей промашки не простят.

Когда в землянке во всех деталях обсуждали появление Василия Ивановича в Степанкове, единогласно решили, что он должен держаться человеком, которому сам черт не страшен. И теперь, хотя временами зябко становилось в груди, он шел намеченной линией, поэтому и продолжил без видимой робости:

— А что с винтовкой был... Еще с тех лет здесь кое за кем должок числится.

— Чем знаменит этот... Как вы назвались? — спросил фон Зигель.

— Опанас Шапочник, — ответил Василий Иванович и встал, вытянулся, подчеркивая, что к властям он относится с должным уважением. — Когда всякие их благородия за границы разные поутекали, я здесь остался, сколотил отрядик и пускал кровь советчикам.

— Кто это подтвердит?

— А бумаги-то архивные? — И, словно спохватившись, что они могли погибнуть за месяцы войны, торопливо добавил: — Да и старики, поди, помнят меня. Из Слепышей я родом. Близехонько отсюда.

В кабинете повисла тишина. Настороженная, неустойчивая. Чувствовалось, в любой момент она могла прорваться злобным криком и даже выстрелом. Василий Иванович знал, что сейчас решается его судьба, что сейчас достаточно малейшей промашки с его стороны, чтоб загрохотать в бездну мучений, и напрягся, но по-прежнему говорил только для господина коменданта, только его взгляд и ловил; он уже понял, что ему не преодолеть неприязни начальника полиции, что тот навсегда останется его врагом, значит, надо заиметь могущественного покровителя. Вот и старался.

Действительно, Свитальский возненавидел Опанаса Шапочника и — будь его воля — немедленно исполосовал бы шомполами. И за обидный, даже оскорбительный намек в адрес офицеров, которые в свое время по заграницам разбежались, и за

теперешнее пренебрежение. Особенно же за свою ошибку: сначала опросить бы этого чертова Опанаса, уточнить все, а потом и заявиться к господину коменданту. Дескать, я подходящую кадру выявил.

А фон Зигелю нравился этот советский каторжанин. Тем, что нет у него робости в глазах, что знает себе цену. И все же он подкинул каверзный вопрос:

— Как вы относитесь к тому, что мы сегодня здесь?

Люди слабые обычно без промедления и фальшиво-восторженно клялись в верности Великой Германии. Этот же ответил:

— Извините, не знаю, как вас величать положено, но наш род веками прямотой славился... Лучше бы нам самим Советы турнуть, да силешки нет... Так из чего тут выбирать?

Фон Зигель чуть слышно звякнул колокольчиком, что стоял у него на столе. В кабинет немедленно вошел дежурный и замер у порога.

Комендант указал глазами на Василия Ивановича и поднял два пальца. Дежурный прищелкнул каблуками.

Едва Василий Иванович вышел из кабинета коменданта, как к нему пристроились два автоматчика. Они и отвели его в подвал, втолкнули в каморку, на двери которой белела цифра «2».

5

Для одного человека сутки быстротечны, как удар молнии, для другого — дорога в степи, опустошенной лютым пожаром: нет ни конца ни края ей, и глаз ничто не радует. Именно такими, бесконечно длинными и безрадостными, были для Клавы все последние дни сентября и эти первые октябрьские.

Клава любила Виктора, как ей казалось, с того самого часа, когда он, измотавшийся дальше некуда, еле перешагнул порог ее дома. Ей все было мило и дорого в нем. И черные усики, еще не знавшие бритвы, и серые глаза, то строгие, спрашивающие, то вдруг такие ласковые, что глянешь в них — и напилась счастьем, захлебнулась в нем: что хочешь, проси, приказывай, любимый.

О той ночи она вспоминала теперь без страха и внутреннего содрогания, как это было сначала. Теперь, уже не стесняясь себя, она мечтала, что вот сегодня ночью Виктор наконец-то слезет с печки и, чуть слышно шлепая босыми ногами по вымытому полу, войдет в ее горницу, присядет на краешек кровати...

Не потому ли и пол мыла почти каждый день?

А он не шел. Редко пошутит, того реже обнимет за плечи, заглянет в глаза и сразу же отшатнется, посуровеет. Чаще же сидит у окна, смотрит на безлюдную улицу и покусывает ногти. Окликнет она, спросит о чем — он будто из другого мира вернется (так странно посмотрит на нее), но ответит подробно и без скрытого недовольства. Даже словно обрадуется, что она с ним заговорила.

Не знала Клава, она и заподозрить не могла, что с каждым днем у Виктора все больше и больше росло беспокойство: вот-вот вызовет комендант и спросит, как он, пан Капустинский, намерен служить Великой Германии?

И тогда он ответит, как посоветовал Василий Иванович:

— Полностью вверяю вам свою судьбу, господин комендант. Куда направите, там и буду стараться.

Интересно, что предложит фон Зигель? Что?

Василий Иванович велел соглашаться на любое предложение коменданта: дескать, потом обмозгуем, как лучше использовать твое служебное положение с выгодой для нас. Кроме поездки в Германию, на все соглашаться. А если такое предложат, Василий Иванович велел смиренно склонить голову, наобещать с три короба, а самому вернуться в Слепыши, забрать Клаву и вместе с ней уйти в лес.

До вызова ни в коем случае самому не лезть на глаза коменданту: навязчивость может вызвать подозрения.

Вот и сидит Виктор дома, ожидая вызова коменданта, вот и ломает голову над тем, что уготовила ему судьба. До девичьих ли глаз тут?

Вообще, события и погода такую круговерть завели, что впору волком взвыть. Погода — моросящий дождь и холодный ветер. Не то что человек, а даже воробьи носа на улицу не высовывают. А обстановка... Дед Евдоким принес из Степанкова приказ, где ясно сказано: кто не сдаст валенки в фонд зимней кампании, того ждет расстрел. И кто голубей держит — тоже расстрел. И у кого запасы продовольствия больше чем на неделю — расстрел.

А позавчера еще и отряд немцев и полицаев нагрянул. И всю живность, все зерно — под метелку!

— Слава тебе, господи, что последних зубов меня недавно лишил! — перекрестился прилюдно дед Евдоким, когда немцы и полицаи уехали.

Он благодарил бога, но разве народ обманешь? Народ, он все понимает...

Конечно, кое-кто сумел утаить крохи запасов, только как на них прожить зиму? А если у тебя еще и семья большая? Вот Виктор с Клавой, их всего двое, и зерно с картошкой у них не все нашли, однако Клава обмолвилась, что, может, только на болтушке они и протянут до весны. До апреля или мая. Не больше.

Эх, была бы силища, как бы трахнул по фашистской сволочи и по всему их новому порядку!

— Опять принесла их нелегкая! — в сердцах говорит Клава и привычно обводит глазами горницу и кухню: нет ли на виду того, на что позарятся гитлеровцы.

Виктор спрыгивает с печи, бросается к окну.—

Так и есть, принесла нелегкая... На двух машинах... Нет, на трех: и легковушка коменданта с ними...

Вот солдат грохает прикладом автомата в дверь хаты деда Евдокима, и тот поспешно семенит к машине коменданта, козыряет и с проворством бывалого солдата рвет с головы картуз, как того требуют правила. Теперь дождь светлыми гвоздиками прибивает к голому темени седой пух последних его волос.

Проходит еще несколько секунд, и по энергичным взмахам рук деда Евдокима, по тому, как широко он разевает рот, повернувшись лицом вдоль улицы, Виктор понимает, что дед скликает односельчан.

— Укутайся понадежнее, дождь сильный, — говорил Виктор, повернувшись к Клаве. — Видать, Зигель опять речугой угостит.

Клава, оказывается, уже готова, и они выходят на улицу. Холодные капли дождя тусклыми бусинками сразу же прилипают к черной шали Клавы. Раскисшая земля ползет из-под ног, но они послушно идут на зов деда Евдокима.

На сей раз фон Зигель и переводчик обосновались в кузове одного из грузовиков. Солдаты, положив руки на автоматы, казалось, закостенели, окружив свое начальство. Тут же, но чуть сбоку, стояли полицейские с самим начальником полиции района. Вместе с ними — и Василий Иванович. Строгий, еще больше осунувшийся.

— Второго октября немецкая армия начала решительный штурм Москвы, — пролаял фон Зигель, и немедленно это же повторил переводчик, хотя сегодня комендант говорил по-русски. — Наше кольцо с каждым часом все туже и туже сжимается вокруг Москвы. Настал час, указанный фюрером! — Тут фон Зигель даже привстал на носки и вскинул руку над головой.

Немедленно и тоже в фашистском приветствии вскинул руку и офицер, стоявший перед строем солдат, а те дружно и отрывисто рявкнули:

— Зиг хайль!

Виктор видел, как почтительно при этом крике вытянулся Василий Иванович, какими преданными глазами он смотрел только на коменданта.

— Час окончания войны близок! И в эти дни, как никогда, везде нужен порядок! — продолжал самодовольно фон Зигель. — Однако порядка недостаточно. Имеют место случаи, когда отдельные элементы пытаются... Как это?.. Сунул палку в колесо!.. Но палка сломалась, колесо продолжает свой победный путь!.. Немецкое командование пока не склонно в беспорядках винить свободных фермеров. Пока мы взыскиваем с тех, кому сами доверили охрану нового порядка. — Фон Зигель замолчал, вздернул подбородок к серому небу.

Минутное замешательство среди полицаев. Начальник полиции тревожно смотрит на переводчика. Тот чуть заметно недоуменно поводит плечами. Тогда начальник полиции, решив дальше действовать на свой риск, делает шаг вперед и гудит пропитым басом:

— Так вот, господа хорошие, как дело повернулось. Из-за отдельных жидов и комиссаров русский человек жизни лишается. Давай его сюда!

Только сейчас Виктор увидел, что во втором грузовике, задний борт которого был давно откинут, лежит человек. Руки у него скручены колючей проволокой. За спиной скручены.

Теперь этого человека двое полицаев поставили на ноги, повернули лицом к толпе, казалось, заботливо поддерживали под локти. Не лицо — багровый синяк с зеленоватым отливом по краям. И кровь запекшаяся.

— Дёмша! — выдохнула Клава.

Виктор тоже узнал его. Вспомнил, как тот однажды ворвался к ним в дом и весело, беззлобно проорал с порога: «Шнель поворачивайся!»

Или что-то в этом роде...

Только сейчас Виктор заметил, что грузовик стоит точно под веткой березы, пятнистой от множества черных наростов. Через эту ветвь один из полицаев перебросил веревку с петлей.

— Смотреть всем! — спокойно и в то же время властно приказал фон Зигель. — Он плохо охранял новый порядок и будет повешен.

— Из-за вас, сволочи! — добавил начальник полиции.

Петля на шее Дёмши. Ему осталось жить считанные секунды. Виктор ждал, что сейчас Дёмша обязательно скажет что-то очень важное и обличающее немцев. Но Дёмша только смотрел на людей, на тучи, бегущие по серому небу, на ствол березы, запятнанный уродливыми наростами. И лишь когда грузовик тронулся, он сделал попытку поклониться.

А может, просто дрогнули его ноги?

Слышно, как мелкий дождь острыми иглами впивается в раскисшую землю.

— Подойди! — зовет фон Зигель.

Виктор, пересилив себя, шагает вперед, останавливается почти под раскачивающимися ногами Дёмши.

— Ты будешь вместо него. И ты... А он — старшим.

Так сказал фон Зигель, и кто-то из полицаев сунул в руку Виктора винтовку, кто-то протянул нарукавную повязку полицая.

Все случившееся было так неожиданно, так невероятно, что Виктор словно сквозь сон видел, как фон Зигель сел в легковушку и она, виляя задом по раскисшей дороге, поползла из деревни; за ней двинулись грузовики. Он опомнился лишь тогда, когда услышал рядом бодрый голос:

— Уж нас-то с тобой, старшой, не вздернут, поверь мне!

Виктор оглянулся. Рядом с ним стояли Василий Иванович и Авдотьин приемыш. На рукавах их пальто тоже белели повязки полицаев.

6

Готовясь объявиться в Степанкове и потом, когда пришлось четверо суток высидеть в одиночке подвала комендатуры, казалось бы, обо всем передумал Василий Иванович. И о том, что говорить на допросах, если они будут, да еще с пристрастием, и как вести себя на свободе. Однако чаще и невольно думалось о том, что, присвоив себе чужое имя, он в глазах людей станет врагом всего советского. Значит, люди будут сторониться его, может быть, бояться, но уж презирать — обязательно.

Из соседних камер ночами уводили на допросы. После этого над его головой всю ночь раздавались крики, которые прекращались только под утро. И тогда снова в подвале звучали шаги солдат, неизвестного страдальца волокли по полу и швыряли в одну из камер. Или на дворе вдруг начинал работать мотор автомашины. Вскоре она уходила; тогда в подвал никто не возвращался.

Сердце невольно учащенно билось, когда в подвал спускались солдаты: «Не за мной ли?» Чтобы никому не выдать своей слабости, в эти минуты он заставлял себя думать о том, как будет жить и бороться, когда выскользнет отсюда. Казалось, до последней мелочи все продумал. Поэтому, когда фон Зигель вызвал в себе и сказал, что назначает старшим полицейским в Слепыши и потребует ревностного отношения к службе, он с достоинством поблагодарил и спросил разрешения поселиться в родном доме. Подумав, фон Зигель ответил:

— Дом и землю возвратим вам после нашей полной победы над большевиками. Конечно, если ваша служба будет полезна Великой Германии. А пока... Нужен ли одинокому человеку целый дом? У старшего полицейского не должно оставаться свободного времени.

Василий Иванович не имел права сердить или настораживать коменданта и, обосновавшись в Слепышах, занял пустовавшую половину дома, в котором жила Нюська. Умышленно так поступил: хотел получше узнать и понять ее. Действительно, с ней первой у него и состоялся разговор. Встретились они вечером у калитки, и Нюська, играя ямочками на щеках, сказала:

— Теперь, господин старшой, ваша прямая забота завербовать меня как соседку в приверженцы новой власти. Берите ихние газетки и заглядывайте ко мне, агитируйте.

— Ты, слыхал, уже сагитированная, — буркнул он грубо, растерявшись от ее нахальства.

— Вот и первая промашка ваша! — вызывающе засмеялась она. — Оседланная — верно, а насчет агитации...

Она не договорила, повернулась и, покачивая бедрами, ушла в свою половину дома. Глядя ей вслед, Василий Иванович подумал, что, похоже, не злая насмешка, а грусть слышалась в ее голосе.

Поди проверь сейчас...

Но что особенно обижало Василия Ивановича — при встрече деревенские поспешно кланялись ему и уступали дорогу.

Это злило, нервировало, и сегодня, увидев деда Евдокима на улице, Василий Иванович заспешил к нему, чтобы излить свою обиду. Только поздоровались, только собрался заговорить о наболевшем — подошел приемыш Авдотьи и сказал, нагло пялясь на деда:

— У этого старого козла, старшой, ни самогонки, ни сала нема, значит, нечего его щупать! Пойдем, я тебе богатый закуток открою.

И вся злость, вся обида, накопившиеся в душе за эти дни, хлынули наружу. Они были так велики, что смогли излиться лишь сдавленным шепотом:

— Ты кому, паскуда, тычешь? Кому? Ты, гад, кого сейчас козлом обозвал? Кого?.. Власть местную принижаешь?

Нагловатая ухмылка еще подрагивала в углах рта Авдотьиного приемыша, а по лицу уже начала расплываться мертвенная бледность, в глазах — растерянность, страх.

— Я буду тебе тыкать! И пойдешь ты только туда, куда я пошлю! Ясно? А теперь крой домой, жди моих указаний!

Авдотьин приемыш по-военному четко повернулся на стоптанных каблуках и не зашагал, а засеменил к дому, ни разу не оглянувшись.

— Выходит, Василь Ваныч, вместе послужим новому порядку? — улыбнулся дед Евдоким, тотчас же посуровел и деловито спросил: — Делать мне пока ничего не надо?

Но пропало желание откровенничать, и Василий Иванович направился домой, где поставил винтовку в угол у двери, сел за стол и уронил голову на руки. Он не знал, сколько времени пробыл наедине со своими невеселыми думами. Потом вдруг разозлился на себя за эту слабость, вновь взял винтовку и решительно двинулся к домику Клавы, поднялся на крыльцо и спросил, как только перешагнул порог:

— У вас есть какая-нибудь большая белая тряпка? Быстренько состирните ее и повесьте сушиться перед крыльцом. Так повесьте, чтобы из леса ее видно было.

— В дождь-то сушить? — удивилась Клава.

— Надо же своих известить, что я здесь.

— Если простыню? Она заметнее.

— Собирайся, Виктор, к Афоне пойдем, — вместо ответа сказал Василий Иванович.

Сворачивая к дому Груни, Василий Иванович оглянулся. Клава уже растягивала на веревке простыню.

Груня с Афоней встретили их без радушия. Василия Ивановича это не смутило, он уселся за стол и сказал, глядя в глаза Афони:

— Завтра подашь мне заявление с просьбой зачислить тебя в полицаи. И клятвенно заверишь, что будешь честно служить новому порядку... Самогоночкой не угостите?

Иногда люди судачат и час, и два, а понять друг друга не могут. А здесь, хотя и мало сказал Василий Иванович, Афоня сразу спросил:

— Может, сегодня?

— Завтра... Будто я тебя сагитировал.

Тут смысл предложения Василия Ивановича дошел и до Груни, она засуетилась и сказала, разливая самогон по стаканам:

— Ох и трудно вам, мужики, будет.

В лексиконе Груни «мужик» — олицетворение по-настоящему сильного человека, и поэтому Афоня обрадовался, поспешил заверить ее:

— Ничего, выдюжим.

Выпили молча. Груня немедленно ткнула вилкой в соленый гриб, только хотела закусить, как Василий Иванович снова заговорил:

— От вас, Груня, таиться не буду: начальник я над Виктором и над другими некоторыми. И лично вам таков мой приказ: будете разведчицей. Что нам надо? И о немцах, и слухи разные, и вообще, кто из народа чем дышит... Эх, если бы приемник нащупать!

Звякнула о тарелку вилка с соленым грибом.

— Значит, и меня не забыли, — с гордостью сказала Груня. — Что ж, нам, бабам, не привыкать слухами пользоваться. — И заторопилась, заметив, что Василий Иванович намеревается встать из-за стола: — Еще по стаканчику?

— Нельзя больше. К Авдотьиному приемышу в гости идем.

— Может, мне заглянуть к вам на огонек? — предложил Афоня.

— А с чем придешь? На кого донос у тебя? Ведь мы — полиция! Не ровня тебе.

— С кусочком сальца и четвертью самогона прибежит, вот и сравняетесь, — фыркнула Груня. — И униженно просить будет, чтобы вы в полицию его зачислили.

Честное слово, лучше Груни не придумаешь!..

В покосившуюся избу Авдотьи Василий Иванович, как и положено начальству, вошел без стука, толчком ноги распахнув дверь.

— Гостей принимаете, хозяева, или нет? — с пьяной развязностью спросил он от порога, быстро и внимательно осматривая жилье.

Авдотья и ее приемыш лишь на какие-то считанные секунды будто окаменели, а Василий Иванович успел заметить, что в кухне только и были печь и полати, с которых на него уставились испуганные и любопытные детские глаза; да еще простой дощатый стол, где чадила керосиновая лампа без стекла, лавка вдоль

стены и три темные от времени табуретки. Ни занавесочки на окнах или челе печи, ни полки с посудой на стене.

Прошло первое оцепенение, и Авдотья метнулась к табуретке, зашаркала по ней ладонью. А ее приемыш вылез из-за стола, несмело шагнул навстречу своему начальнику, прихода которого сегодня никак не ждал. Похоже, он хотел что-то объяснить, но Василий Иванович остановил его жестом руки и потребовал с настойчивостью пьяного, наслаждающегося своей властью:

— Представься по всей форме!

— Господин старший полицейский! Полицейский Аркадий Мухортов находится дома на отдыхе! — отрапортовал тот.

— Вольно, сам недавно таким был, — хохотнул Василий Иванович и неожиданно для всех заговорил тепло, по-товарищески: — Не обессудь, Арканя, но службу от тебя потребую — как положено! А так... Разве нам не одну лямку тянуть?

— Да вы к столу присаживайтесь, вот сюда, здесь чисто, — суетился Аркашка, показывая на передний угол. Даже к локтю Василия Ивановича чуть прикоснулся, словно намеревался поддержать начальство, если оно ненароком оступится на ровном полу.

Василий Иванович нарочно долго усаживался за стол, украдкой наблюдая за тем, как Аркашка что-то зло выговаривал Авдотье, как та покорно выслушала его и тенью скользнула за дверь. И еще подумал: «Не перепьянел ли? Пожалуй, надо трезвее казаться».

— Извините, не ждал вас, вот и не приготовился, — юлил Аркашка, так зыркнув глазами на ребятню, что та вмиг исчезла, затаилась на полатях.

Так началась эта ночь, полная до краев мутного самогона и бахвальства Аркашки Мухортова. Только под утро, поддерживая друг друга, Виктор с Афоней добрались до дома Клавы. Здесь опустились на крыльцо, и Виктор простонал, бессильно уронив голову на колени:

— Ой, тошно...

Афоня не догадался, что виной тому не самогон, а хвастовство Аркашки, и предложил, с трудом ворочая отяжелевшим языком:

— Ты пальцы в рот...

Сзади скрипнула дверь.

— Я сейчас, Клава, сейчас, — стараясь казаться трезвым, сказал Виктор и услышал в ответ голос Груни:

— Обе мы тут. По домам вас растащить или на крыльце дрыхнуть будете?

Услышал Виктор этот грубоватый насмешливый вопрос, увидел совсем близко расширенные тревогой глаза Клавы, и мигом исчезло то нервное напряжение, властно поддерживавшее его во время всей пьянки, и он бурно захмелел, только и смог выдохнуть:

— Домой... Спать...

Даже сегодня, когда минуло уже двое суток с той пьянки, невольно всего передернет, как вспомнишь о ней. Одно оправдывает: теперь Аркашка как на ладони. Если верить ему, он всю жизнь ищет большую деньгу и не может найти: работать по-настоящему лень, и талантов особых (даже на мошенничество) тоже нет. Ездил на стройку — сбежал от комаров и дождей. Прослышал, актеры хорошо зарабатывают, — сунулся туда, метнулся сюда — говорят, сценические способности крайне ограничены; еле втиснулся статистом в какую-то задрипанную труппу и два года колесил с ней по задворкам больших городов. Единственное, что вывез из этого турне, — умение банальные вещи произносить увесисто, под интеллигента.

Потом, когда все чествовали героев Хасана и Халхин-Гола, возомнил, что красивая жизнь только у военных, и добровольцем подался в армию. Из-за малого образования (всего пять классов) в училище не приняли, зато быстро пробился в старшие писари батальона, даже чуть не скользнул в секретчики.

Началась война, и все пошло прахом: часть, в которой он служил, попала в окружение, и вот он здесь, в Слепышах.

Но уж теперь-то он ухватит за хвост жар-птицу! Теперь-то он не дурак и карьеру сделает!

Все это Виктор узнал той ночью. Тогда же окрепло в нем убеждение, что та пачка из-под сигарет брошена под плетень только Аркашкой: вырвалось у гада, что немецкие власти его уже знают и ценят.

Василий Иванович неожиданно постучал в окно. И Виктор выскочил на крыльцо.

— Останешься здесь старшим, — сухо сказал Василий Иванович, сердясь на себя за то, что недосмотрел и позволил тогда напиться этому мальчишке. — А я — в Степанково, насчет Дёмши.

Трое суток раскачивает ветер труп Дёмши. И все это время он непрерывно поворачивается лицом то в одну, то в другую сторону. Будто высматривает, как ведут себя односельчане после его смерти.

Трое суток по приказу коменданта висит труп Дёмши. И трое суток ни один человек, если не считать новых полицаев, не проходит улицей мимо него. Словно чувствуют люди какую-то вину перед Дёмшей и не могут ее простить себе.

А хата, в палисаднике которой стоит береза, как-то незаметно опустела. Кажется, еще сегодня утром к ее маленьким перекосившимся окнам лепились детские мордашки, кажется, еще сегодня утром из трубы жиденькой ниточкой тянулся дым, а сейчас в хате никого нет. И дверь подперта колом. Да еще над дверью появилась какая-то темная икона, «обихоженная» мухами. Под ней — пустая лампадка.

Василий Иванович один на улице. За спиной у него винтовка. На рукаве — повязка полицейского.

7

Первое, что бросилось в глаза, когда вошел в Степанково, — на улице перед комендатурой было необыкновенно много солдат, они быстро лезли в кузова машин, стоявших короткой колонной. Десять машин насчитал Василий Иванович. И еще заметил, что коменданта здесь нет.

Переждав в переулке, пока не ушла из Степанкова концевая машина с немцами, Василий Иванович решительно зашагал к комендатуре, у крыльца которой, нахохлившись под дождем, парой дежурили немец и полицай.

— К гауптману фон Зигель! — громко заявил он, поравнявшись с караульными. Те будто не слышали.

И вот он снова в знакомом кабинете, стоит шагах в трех от стола и спрашивает, словно рапортует:

— Согласно вашему приказу враг нового порядка, казненный три дня назад, еще висит на устрашение всем прочим. Разрешите снять или какие другие распоряжения будут?

Фон Зигель сегодня зол. Виной тому письмо отца, которое утром привез старинный друг дома. Веря в порядочность почтальона, отец откровенно пишет, что, по его мнению, наступление под Москвой уже провалилось, хотя немецкие армии кое-где еще продолжают продвигаться на восток. К этому выводу отец идет шаг за шагом, с дотошностью потомственного военного анализируя каждый этап войны на русской земле.

Да, в ночь на 22 июня на русском фронте вермахт бросил в бой 190 дивизий, то есть около пяти с половиной миллионов солдат, в совершенстве овладевших наукой войны. Их действия обеспечивали 3712 танков, 4950 самолетов и 50 тысяч орудий. Колоссаль!

И вся эта армада на первом этапе войны успешно продвигалась вперед, окружая и рассеивая части Красной Армии; старалась уничтожить, а смогла только рассеивать.

К чему это привело? Части русских, просочившись через фронт, вновь возникали на пути вермахта. Именно в этом и кроется одна из причин того, что уже под Смоленском три советских генерала — Лукин, Курочкин и Конев — полтора месяца на равных противостояли войскам самого фон Бока.

Так, незаметно и внезапно, начался второй этап войны, логическим продолжением которого стала неудача вермахта под Москвой, где генерал Жуков заставил бежать (бежать!) прославленных немецких гренадеров!

А вот эти строки письма отца врезались в память дословно: «Конечно, любая победоносная армия может иметь в своем послужном списке и поражения (одно не исключает другого), однако не такие победы, после которых побежденному присваива-

ется почетное воинское звание — гвардия. Одно это говорит о многом, сын мой».

Что ж, возможно, отец во многом и прав как тыловик, который располагает какими-то точными данными, но зато не знает конкретной обстановки на многочисленных фронтах.

Да, вермахт несет под Москвой неожиданно очень большие потери: только за октябрь выбыло из строя более ста тридцати тысяч верных солдат и офицеров фюрера.

А известно ли тебе, отец, что у русских под Москвой, как установлено разведкой, всего примерно три с половиной тысячи орудий и минометов против семи с половиной тысяч немецких?

По тем же данным, у русских на весь фронт только девяносто или около того зенитных орудий!

Даже этих чудовищных «катюш», знаешь, отец, сколько у русских? Не больше десяти установок!

И все это почти на четыреста километров фронта!

Конечно, эти данные еще нуждаются в проверке, уточнении, но они явно близки к истине. Так не рано ли, отец, ты вынес свой приговор?

А вот сокровенные мысли доверил бумаге — страшная ошибка: у гестапо много добровольных помощников.

Мысль о том, что содержание письма уже известно гестапо, и волновала фон Зигеля. Он даже подумывал, а не предпринять ли ему контрманевр, который обеспечил бы его личную карьеру, когда в кабинет вошел Василий Иванович — Опанас Шапочник. Вошел решительно и четко изложил просьбу. Это понравилось фон Зигелю, и он не выгнал его, как намеревался сначала, лишь спросил предельно сухо:

— Ваш начальник — господин Свитальский. Почему вы пришли ко мне?

— Виноват. Приказание отдано лично вами, и я считал...

— Ваше дело — считать жидов, комиссаров...

— Никак нет, этих считать не намерен, — осмелился Василий Иванович перебить коменданта, почувствовав, что именно сейчас можно выиграть многое. — Их буду уничтожать!

Подобие улыбки скользнуло по хмурому и надменному лицу коменданта, но он спросил по-прежнему холодно, официально:

— Есть еще что?

— Я провел в деревне разъяснительную работу. И Афанасий Кругляков просит зачислить его в полицию, клянется насмерть стоять за новый порядок.

Четкий шаг к столу, и заявление Афони ложится перед фон Зигелем. Тот, словно боясь запачкаться, берет его за уголок, пододвигает к себе, рассматривает.

— Кто есть он?

— Вполне надежная личность: отец из раскулаченных. Так сказать, свои личные счеты с Советами.

Фон Зигель неслышно барабанит пальцами по столу, в упор смотрит на Василия Ивановича и молчит. Преданным слугой за-

мер Василий Иванович, напрягся, чтобы не моргнуть под тяжелым взглядом коменданта, а у самого дрожит каждая жилочка: «Какую еще пакость замышляешь?»

А комендант доволен и тянет время лишь для того, чтобы слуга проникся бо́льшим уважением к тому решению, которое будет сейчас принято.

Наконец фон Зигель отбрасывает заявление Афони на край стола и говорит:

— В полицию ему рано. Держать в поле зрения, изучать... Что есть еще?

— Сначала одна гражданка, а потом и другие высказали мысль, что я как старший полицейский обязан не только охранять новый порядок, но и всячески ратовать за него. Как говорят у советских, я должен стать агитатором за него.

«Ты, кажется, умнее, чем я думал», — мелькает у фон Зигеля, а говорит он только одно слово:

— Слушаю.

— Я согласен с этими гражданами, каждый полицейский должен быть агитатором.

— Собрания? Митинги?

— Лучшая агитация — победные сводки вермахта. Вот и зачитывать их народу. Ежели даже два человека соберется — читать.

Комендант в этом предложении не усматривает ничего затаенного, не догадывается о том, что сводки командования вермахта нужны самому Василию Ивановичу и его товарищам, чтобы хоть приблизительно знать положение на фронтах, и милостиво разрешает:

— Можете каждый день присылать за сводками, я распоряжусь.

И тут с языка Василия Ивановича неожиданно срывается слово, от которого за версту разит рабской покорностью:

— Спасибочко!

Комендант кивает. Василий Иванович четко поворачивается и идет к двери, без грохота, но твердо ставя ноги.

— Айн момент.

Василий Иванович оборачивается. Пачка сигарет летит ему почти в лицо.

— Прозит!

Около часовых Василий Иванович демонстративно распечатывает пачку сигарет и спрашивает:

— Пан Свитальский у себя?

— На операции, — охотно отвечает полицай и, понизив голос до шепота, поясняет: — Нефедовских карать поехали. Там они двух ихних укокошили, — и покосил глазом на немца: дескать, вот этих.

— Кто замещает?

— Пан Золотарь.

Пан Золотарь — пузан с невероятно большим лбом мыслителя. Настолько большим, что вздернутый нос кажется лишь кнопкой, случайно попавшей на лицо. От пана Золотаря разит самогоном, но держится и говорит он вполне трезво. Прежде всего высказывает недовольство тем, что пан Шапочник сразу полез к самому коменданту.

— Ежели каждый нижний чин станет так поступать, то что будет? Бардак! И мы не позволим! Мы — власть!

Василий Иванович понял, что сейчас самое время бросить на стол своего козыря, и сказал без тени смущения или робости:

—, Если так будет поступать каждый, то, безусловно, вы правы. Но я лично знаком с господином комендантом, лично им назначен на пост. Надеюсь, вам это известно? Или вы желаете, чтобы я сейчас же вернулся к нему и доложил, что получил от вас выговор? И объяснил, за что?

Станислав Никандрович Золотарь (в прошлом — штабс-капитан) за годы вынужденного скитания по Польше, Румынии и снова Польше отлично усвоил одно правило, которое теперь считал главнейшим в жизни: идти против начальства — это против ураганного ветра плевать. Действительно, ему ли, Станиславу Золотарю, который пока и в кресле заместителя начальника районной полиции сидит очень неуверенно, конфликтовать с самим фон Зигелем? Кроме того... Лично он, Станислав Золотарь, ничего не имеет против пана Шапочника, это пан Свитальский зол на него, да и то за свою ошибку. Если же быть откровенным, то он, Золотарь, в какой-то степени даже благодарен пану Шапочнику: войдя в доверие к фон Зигелю и враждуя с начальником полиции, он хоть чуть-чуть, но поколебал позиции последнего. Может, случится и так, что ему, Золотарю, придется пересесть в другое кресло? У которого спинка повыше.

Все это пронеслось в голове Золотаря, пронеслось за считанные секунды, и поэтому, прощаясь, они даже рукопожатиями и фальшивыми добрыми улыбками обменялись.

Глава седьмая

НОЯБРЬ

1

«Гебитскомендану оберсту фон Шикке.

Имею честь доложить, что операция в Нефедово проведена точно в срок и в соответствии с планом, утвержденным Вами: все мужское население в возрасте от 5 до 60 лет уничтожено, а женщины, представляющие ценность как рабочая сила, под конвоем отправлены в Смоленск.

Одновременно доношу, что сегодня ночью неизвестные злоумышленники подожгли амбар, где хранилось зерно, подготов-

ленное к отправке в Германию. Бо́льшая часть зерна к употреблению в пищу не пригодна, и мною отдан приказ о восполнении ущерба за счет запасов местного населения.

Полицейские, охранявшие амбар, убиты ножом в спину.

Следствие ведется, виновные в поджоге амбара с зерном и в убийстве полицейских будут обязательно найдены и наказаны по всей строгости законов военного времени.

Гауптман фон Зигель».

И на отдельном листке бумаги, в верхней части которого просматривались водяные знаки фамильного герба:

«В мои руки случайно попало чудесное боа: две черно-бурые лисицы, голова к голове!

При первой возможности привезу лично.

Преданный Вам

фон Зигель».

2

В конце октября, будто с целью разведки, несколько раз наведывался мороз; он подкрадывался, умело используя темноту ночи, а под утро, глянь, и покрыта земля ледяной корочкой, которая только к обеду и таяла. А в первых числах ноября за одну ночь мороз так густо замесил землю, что под ногами человека она казалась камнем. Да и машины не все — только очень тяжелые — оставляли на ней свой рубчатый след.

Как и положено, сразу за морозом веселым нескончаемым роем бесшумно нагрянули белые мухи и закружились над землей. И вот под плотным саваном уже скрыты и поля, где в этом году не сеяли озимых, и воронки от бомб и снарядов, и недавние пожарища; лишь кое-где торчит обуглившееся бревно, особо зловеще-черное на окружающей белизне.

В лесу нет обугленных бревен, здесь снег лег на ветки деревьев, как вата на праздничные елки. И кругом торжественная тишина, которую не осмеливаются нарушить ни зверь, ни птица: первоначально снег всегда настораживает, даже отпугивает. И от землянки, в которой разместились Каргин с товарищами, лишь одна тропка — к длинной поленнице, как стена, прикрывающей землянку от северного ветра.

Около черного огрызка трубы, изредка выбрасывающего в ночь быстро гаснущие искры, снега нет и земля не заледенела.

В землянке за обеденным столом, стоящим меж лежанок, устланных пихтовыми ветками, сидит Иван Каргин и что-то старательно пишет в тетрадке. Временами он подкручивает фитиль в лампе-молнии, которая то вдруг начинает стрелять огненными языками и расписываться черной копотью на собственном стекле, то затухать, казалось бы, без видимой причины.

— Вань, а дневалит сегодня Григорий, — будто между прочим говорит Павел.

Он сидит у железной печурки, приткнувшейся к противоположному от двери углу землянки, и изредка, чтобы не дать угаснуть огню, бросает на красные угли обрубок сучка, терпеливо ждет, пока по нему не замечутся шустрые язычки пламени, и лишь тогда прикрывает дверцу.

— Ну и дневалит, так что из того? — вскипает Юрка и даже приподнимается с лежанки; ему скучно, он тешит себя надеждой, что, может, хоть Павел затеет с ним спор.

— А то, что лампа без керосина обычно не горит, — поясняет Павел.

Юрка ловко соскальзывает с нар к столу, осторожно приподымает лампу, чуть встряхивает и почти кричит:

— Подъем, Гришуня!

Все бодрствуют, поэтому никто не цыкает на Юрку. Больше того: будить Григория, когда он в чем-то виноват, дело не простое, «настоящий цирк» — как однажды заметил Федор. Вот и сейчас Григорий будто не слышит зычного голоса Юрки, даже легонько похрапывает, прикрыв голову полой шинели.

Первое время, после такого же сравнительно безобидного вступления, кто-нибудь кричал: «Боевая тревога!», и лишь после этого Григория начинали тормошить, дергать за руки и за ноги. Но спящим он притворялся мастерски, и его, бывало, даже оставляли в покое, решив: «Черт с ним, пускай дрыхнет!» До тех пор оставляли в покое, пока однажды Федор, подпалив в костре веточку, не подошел к «спящему» Григорию и не сказал, будто спрашивая совета у товарищей:

— А что, если сейчас, пока он спит, вот таким способом снять с него бороду?

— Так морду же ему опалишь! — запротестовал Юрка.

— Ничего ей не сделается, — вмешался Павел. — Видал, как шерсть и сукно гладят? Через сырую тряпочку горячим утюгом. И ни одна шерстинка, ни один волосок не подгорят. Вот и мы так же: Федор подпалит, а я сразу мокрой тряпкой это место приглажу. Волосищ на лице у Гришки не станет, а кожа нисколечко не пострадает. К тому же она у него дубленая.

Юрка, который обычно очень медленно понимал скрытые шутки и розыгрыши, особенно если у товарищей и голоса, и лица были серьезны, еще обдумывал услышанное, а Федор уже шагнул вперед, даже чуть наклонился к Григорию. Тот сразу же шарахнулся в сторону, сказал совсем не сонным голосом:

— Но, но, не балуй!

С тех пор «спящему» Григорию даже самой малой пощады не было, случалось, и на дождь выносили, но неизменно заставляли «проснуться».

Сегодня в эту игру вдруг вступил сам Каргин. Он заговорил так, будто даже обрадовался:

— Лампу, говорите, он не заправил? Это даже хорошо: когда мы полицаев у амбара прикончили, я у одного из них фляжку изъял. Граммов на пятьсот. А какое сегодня число?

— Шестое ноября.

— То-то и оно. Сейчас в России все за Октябрьскую революцию тост поднимают. А мы не советские, что ли?.. А Гришка... Он, конечно, виноват, да еще и спит. Без него выпьем.

Гришкин храп оборвался. Все заметили это, перемигиваются и осторожно звякают кружками, кто-то шепчет, что у него есть луковица на закуску; наконец, раздается и бульканье. В кружки льется обыкновенная вода, но Григорий этого не знает, он медленно потягивается, открывает глаза. И первое, что видит, — Каргин вытирает губы рукавом, ставит кружку на стол. Григорий рывком садится, смотрит на товарищей. Они жуют лук. Лишь Юрка возится со своей пайкой: слышно, он цедит сквозь стиснутые зубы.

— А мне? — спрашивает Григорий.

— Что тебе? — будто не понимает Каргин его просьбы-вопроса.

— Как всем, с праздничком. — Григорий многозначительно прикоснулся пальцем к своей шее.

— Ишь, чего захотел, — усмехается Федор.

— Я бы и сам не отказался, — отвечает Каргин, пряча кружку в вещевой мешок.

Григорий считает, что притворством он заслужил такое отношение товарищей, поэтому не обижается, только умильно поглядывает на всех, но чаще на Каргина, зная его отходчивость, справедливость.

Юрку трогают страдания друга, и он признается:

— Воду пили.

На правду Григорий реагирует вовсе неожиданно: он бледнеет от злости и говорит, даже чуть заикаясь:

— Дураком считаете, да? Самогонкой всю землянку провоняли, не чувствую, да? — И обиженный, нет — оскорбленный в лучших товарищеских чувствах, лезет на свое место, опять ложится и даже отворачивается лицом к стене.

Какое-то время все молчали, потом дружно грохнули таким хохотом, что Григорий вскочил с нар, схватил и понюхал кружку, которая по-прежнему стояла перед Юркой. Раза три внюхивался, потом легонько щелкнул ладонью Юрку по затылку и тоже захохотал. А когда в землянке установилось подобие тишины, сказал:

— Что лампу забыл заправить, да еще в канун такого дня, — виноват, готов принять взыскание... А почему так случилось?

— Опять Витьке-Самозванцу завидовал: дескать, он среди баб крутится, — вонзил Юрка привычную шпильку.

Однако сегодня Григорий не почувствовал укола, продолжал на полном серьезе, даже с внутренней болью в голосе:

— Как шестое ноября, везде — и дома на гражданке, и в армии — завсегда торжественные собрания были, народ на улицах и в клубах гуртился... Собраний-то я не любил... Товарищ Каргин, как командир хоть малюсенький докладик грохни, а?

Только теперь, когда Григорий высказал свою просьбу, остальные поняли, чего им не хватало весь сегодняшний день, поняли, почему они будто потеряли и не могли найти что-то крайне необходимое для себя, крайне необходимое для их теперешней жизни. Теперь они с надеждой смотрели на своего командира. А тот, словно только и ждал этой просьбы, достал из кармана карту европейской части Советского Союза, положил ее на стол и сказал, вернее, спросил:

— Что мы имеем на сегодняшний день?

Карта — самая обыкновенная, из учебника. Василий Иванович, став старшим полицаем, на законном основании заглядывал во все дома Слепышей, даже в соседние деревни наведывался и, используя свою власть, под самыми различными предлогами многое конфисковал.

Таким же путем попали в лес и железная печурка, и кастрюли с мисками, кружками и ложками, и даже два одеяла.

А карту Василий Иванович вырвал из учебника, когда во время визита в один из домов она попалась ему на глаза. Мотивировку привел убедительную: когда война закончится, государственные границы обязательно изменятся, или вы за сохранение прежних?

Чтобы не навлечь на себя беду, хозяин с радостью отдал не только распроклятую карту, но и коробку цветных карандашей (на каждом из них звездочка была выдавлена).

Карандаши Каргин припрятал, зато на карту набросился с жадностью изголодавшегося: сначала просто читал дорогие сердцу названия русских городов, потом, когда от Василия Ивановича стали поступать сводки немецкого командования, географическая карта превратилась в оперативную, где хотя и приблизительно, хотя и простым карандашом, но фронт был обозначен.

Почему простым, а не синим и не красным, как принято?

Этот вопрос задал Павел и немедленно услышал в ответ:

— Простой карандаш, Паша, легче стирать резинкой.

Над этой картой сейчас склонились все, рассматривая скупые пометки Каргина и думая каждый по-своему, но об одном: скоро ли резинка потребуется, чтобы стирать и двигать на запад линию вражеского фронта?

Карта пестрела цифрами, вернее, датами. Так, около Орла стояла пометка «2 октября», у Ржева и Вязьмы — 6, у Калуги — 12, у Можайска — 18, у Харькова — 24.

Если верить немцам, то в эти числа октября пали указанные города.

Близко, очень близко к Москве подошел враг: от Можайска до Москвы, кажется, километров восемьдесят...

Зато глаза никак не могут оторваться от записи на белых полях карты: «22 июля гады впервые осмелились бомбить Москву, но из 200 самолетов до нашей столицы доковыляли только 10—15. Молодцы, певеошники!»

И даты падения городов, и сведения о немецких самолетах, сбитых во время первого налета на Москву, — все это раздобыл Василий Иванович.

Последнее, что узнали от Василия Ивановича совсем недавно, — 16 июля передовые части фон Бока достигли пригородов Смоленска, даже овладели городом, продвинулись от него километров на тридцать или сорок и тут, неожиданно для себя, встретили упорнейшее сопротивление Красной Армии. Всю вторую половину июля и весь август немцы здесь не могли продвинуться вперед!

Одно это говорит уже о многом.

Больше того, раненые немцы, которые теперь появились даже в Степанкове, под большим секретом шептали своим сородичам о том, что у советских есть какое-то страшное оружие: небо вдруг перечеркивают огненные хвосты, а потом земля сама начинает взрываться, дымиться и даже полыхать.

Дескать, засекреченное название этого оружия — «ка-тю-ша».

Где-то под Смоленском и будто бы в июле впервые было применено оно.

Есть такое мощное оружие или нет, Василий Иванович не мог утверждать, но склонялся к мысли, что оно появилось: дыма без огня, как говорится, не бывает.

Столь длительное стояние немецкого фронта под Смоленском и слухи о таинственном оружии Красной Армии — все это укрепляло веру в неизбежность краха немецкой авантюры. Где и когда он произойдет, предугадать трудно, но что фашисты по морде получат скоро — точнее некуда!

Все это Каргин высказал товарищам, глядя на карту, а закончил так:

— Что лично мы можем добавить к общему рапорту? — Он взял листок бумаги, над которым корпел недавно, и прочел: — «Нашим отрядом на сегодняшний день убито пятьдесят фашистов и прочей сволочи, подорвано и сожжено шесть автомашин с разными грузами, один деревянный мост через речку и склад хлеба»... Еще много раз мы рвали телефонную связь, вели разъяснительную работу среди населения и прочее, но об этом говорить не будем... Таковы наши с вами личные итоги. Хороши ли — судите сами.

В печурке чуть тлело несколько угольков, подернутых серым пеплом, когда Павел открыл ее дверку, чтобы бросить обрубок ветки. Тогда, достав из кармана нож, Павел начал строгать ветку, строгал до тех пор, пока она не закурчавилась деревянной бахромой. Ее он и положил на угли, несколько раз дунул, и сорвался пепел серым беспомощным роем, и вот уже на мгновение, словно еще опасаясь чего-то, сверкнул огонек и погас, чтобы сразу же возродиться вновь. Скоро пламя набрало силу и загудело весело, будто негодуя, что негде ему разгуляться по-настоящему в этом железном ящике.

— Мало мы еще сделали... Немцев надо ворошить так, чтобы они... — начал подводить итог Каргин. И замолчал, не найдя слов. Да и не нужны они были.

— А когда ворошить их, когда? — как всегда, стал горячиться Григорий. — Сначала комиссара выхаживали, потом сил набирались, обстановку разведывали, а тут — снегопад! Нешто по первому снегу выйдешь на операцию? Наследишь — ужас!

— Ты что, всю зиму здесь только отсиживаться собираешься? — полез в спор Федор. — Значит, немцы пятнай наш снег, а мы и поприветствовать их не моги?

Шумно, по-деловому шумно стало в землянке: каждый предлагал сделать, и немедленно, то, к чему больше лежала его душа. Так, Федор ратовал за ежедневные засады на дорогах, чтобы стрелять в каждого немца, попавшегося на глаза. А Григорию с Юркой подавай что-то более масштабное, например налет на комендатуру в Степанкове.

Каргин уже который раз подумал, что нет, не выбито оружие из рук этих парней, не выбито. И пусть они все очень разные люди, но цель у них одна, и поэтому они обязательно придут к ней. Может, не все, но придут.

В печурке пламя горело ровно, сильно, и начали розоветь ее железные бока.

В эту же ночь кто-то осторожно стукнул пальцами в окно, и Виктор сразу проснулся. Жизнь уже многому научила его, и, схватив винтовку, он метнулся к стене, осторожно приблизился к косяку и посмотрел поверх занавески. Под окном стоял незнакомый мужчина.

Как ни был осторожен Виктор, занавеска чуть качнулась от его дыхания, и немедленно человек, что был за окном, сказал:

— Открой, Клавка.

Сказал с уверенностью, что его обязательно узнают и впустят в дом.

Действительно, Клава, до этих слов прятавшаяся за спину Виктора, бросилась к окну, приподняла край занавески, только взглянула на того, за окном, и сразу же побежала к дверям, обрадованно бросив:

— Никола Богинов!

Виктор помнил, что до войны председателем колхоза здесь был Богинов, что он и увел местных мужиков и парней неизвестно куда. Этот парень был явно молод для председателя колхоза. Может быть, его сын? Или однофамилец? Ведь иной раз половина деревни одну фамилию носит.

Незнакомец вошел в комнату и, увидев Виктора, сунул руку в карман полушубка, оттопырив его. Он казался старше Виктора года на два-три, был шире в плечах, осанистей. И самое главное, что сразу бросалось в глаза, — спокойнее и увереннее.

Едва Клава проскользнула в комнату, он спросил:

— А это кто такой? Приймака заимела?

Спрашивал Клаву, а смотрел на Виктора и руку из кармана не вынимал.

Клава выпалила скороговоркой, не скрывая гордости за Виктора:

— Он — лейтенант, с медалью, и партизанский отряд здесь представляет, а для отвода глаз — полицай!

— Ишь ты, сколько должностей сразу, — усмехнулся Николай и вынул руку из кармана.

— А вы кто будете? — спросил Виктор.

— Слыхал ведь, Николай кличут, — ответил Богинов ершисто и тут же спросил: — Поджог амбара с зерном и прочее — ваша работа?

Виктору хотелось поважничать, напустить на себя таинственную многозначительность, но радость встречи с незнакомым партизаном была так велика, что только и сказал:

— Ага.

Через несколько минут они уже вполне дружелюбно сидели за столом, и тут Николай спросил:

— Выходит, как представитель отряда, ты здесь главный?

Виктор вспомнил, что Василий Иванович много раз предупреждал: во вражеском тылу болтливость — враг первейший. Поэтому сразу же нахмурился и спросил:

— А зачем тебе это знать?

— Значит, надо, раз спрашиваю.

Виктор уже понял, что сейчас нужно промолчать или полностью довериться Николаю. Однако пусть это решает Василий Иванович. И он сказал Клаве:

— Позови.

— Одного?

— Афоню тоже. Пусть за улицей понаблюдает.

О чем говорили Василий Иванович и Николай Богинов, этого Виктор не знал: его тоже попросили подежурить на улице. Он не обиделся: понимал, что конспирация прежде всего.

Ушел Николай примерно через час. После этого Василий Иванович сказал Виктору с Афоней тоном приказа:

— Если кому из вас встретится человек, который подойдет и скажет: «Богато нынче снегами», вы должны ответить: «Да, богато. Но снег обязательно стает». Он ответит: «Тогда быть половодью!» Слово в слово скажете это друг другу и немедленно того человека ко мне... А теперь отдыхайте.

Не сказал им Василий Иванович, что отряд, из которого приходил связным Николай Богинов, хотя и был вооружен, не сразу начал действовать, сначала осматривался, накапливал силы, обживал не только главную базу, но и запасные. И все это время вооружался, вооружался. А вот теперь, когда сделано главное и даже по радио установлена связь с Москвой, начал боевые операции.

Выходит, не так уж мало и сделал отряд Каргина, тем более, если учесть, что он во много раз меньше и не имел связи ни с подпольным райкомом, ни с Красной Армией.

3

У некоторых племен и даже народов месяцы носят вполне конкретные названия, связанные с каким-то явлением жизни: «месяц линьки диких гусей» или «месяц быстрых заячьих лапок». Если бы кто-то потребовал (именно — потребовал, а не попросил, так как Пауль Лишке даже себе боялся в этом признаться), так вот, если бы кто-то потребовал по такому же принципу назвать месяц октябрь, то он с болью в сердце и со смертельным страхом промямлил бы: «Минувший октябрь — месяц разочарований и сомнений».

Такое название породила неудача наступления под Москвой.

Наступление началось в первых числах октября (если верить сводкам, то, кажется, пятого), но Пауль знает, что сводки чуть-чуть опаздывают, чтобы командованию было время все проверить, чтобы нечаянно не соврать, не оскандалиться. Успешно начали наступление: танки Гудериана, захватив Орел (говорят, большой и богатый город), понеслись к Туле, дошли до нее, до этой оружейной мастерской Советов. А дальше что? Тут они и застряли. Почему?

Говорят, дожди превратили дороги в непроходимое болото. Это отговорка: здесь шли точно такие же дожди, здесь точно такая же земля, и она, разумеется, раскисла, но для танков распутица не страшна. На то они и танки, чтобы ходить по бездорожью.

В чем же тогда дело?

Об истинной причине даже страшно думать, чтобы во сне не проболтаться и не угодить в лапы гестапо.

До середины октября из-под Москвы летели победные реляции, потом тон их стал заметно тускнеть. Сейчас же в сводках только и есть, что доблестные войска фюрера по-прежнему ведут упорные бои на ближних подступах к Москве.

А позвольте спросить, сколько можно биться «на ближних подступах»? Не честнее ли прямо сказать, что русские умеют воевать?

И самая невероятная, самая крамольная догадка — ставка фюрера давно сообщила, что Красная Армия уничтожена, что у нее нет оружия. Так кто же удерживает вермахт «на ближних подступах»? Тогда откуда же русские «катюши» и штурмовики, которых солдаты вермахта окрестили «черной смертью»?

Неужели эта ложь передавалась на весь мир с ведома фюрера?

Фюрер и... обман. Они же несовместимы!

А память, чтобы доконать, услужливо подсовывает недавнюю статью из газеты, где говорилось, что русское население повсе-

местно восторженно приветствует своих освободителей. Даже соответствующие кадры кинохроники показывают. Особенно запали в память те, где бедная и старая крестьянка со слезами на глазах упрашивала немецкого солдата взять от нее петуха: она стояла перед смеющимся солдатом, протягивала ему петуха и плакала. Диктор пояснил, что она плакала от радости.

Как же это примирить с тем, что он, Пауль Лишке, наблюдает здесь? Здесь, бывает, русские тоже плачут. Но не оттого, что у них не берут добровольное приношение. По другим причинам плачут здесь русские.

Великий, милосердный боже! Ты все видишь, ты все знаешь, тебе все подвластно, так подскажи, осени, направь своего раба, чтобы он вновь стал достойным солдатом вермахта!

С подобной краткой молитвой Пауль Лишке уже не раз обращался к богу.

Как уложить в одну ячейку мозга пространные беседы о том, что русские — низшая раса, полудикари, которых как нацию в скором будущем надлежит уничтожить, и крикливые статьи о наконец-то счастливой жизни этих же русских? Счастливой жизни под присмотром Великой Германии?

А что русские не полудикари, доказательств тому в избытке...

Хотя, может быть, эти сомнения оттого, что он нарушил одну из основных заповедей фюрера: «Немец не имеет права думать, за него думаю я»?

Но как можно не думать, если мысли сами лезут в голову?

Боже, не оставь меня с моими сомнениями!

Не только старый фон Зигель и ефрейтор Пауль Лишке разными путями шли к одному выводу. Об этих днях (правда, только в 1956 году) выскажет свое мнение и генерал Блюментрит: «С удивлением и разочарованием мы обнаружили в октябре и начале ноября, что разгромленные русские вовсе не перестали существовать как военная сила».

Даже Гудериан, на которого Гитлер возлагал особые надежды, именно в эти дни октября 1941 года записал в свой дневник: «Наше дело находится в бедственном положении, ибо противник выигрывает время, а мы со своими планами находимся перед неизбежностью боевых действий в зимних условиях».

Он же напишет значительно позднее: «Еще Фридрих Великий сказал о своих русских противниках, что их нужно дважды застрелить и потом еще толкнуть, чтобы наконец они упали... В 1941 году мы вынуждены были убедиться в том же самом».

Да, тогда, в ноябре 1941 года, некоторые немцы уже сомневались в возможности победы, были бы рады выйти из войны, которую развязал немецкий фашизм.

Не понимала, вернее, не хотела понимать, явного лишь правящая фашистская верхушка. И немецкие дивизии, сконцентрированные под Москвой, грозным приказом были брошены в новое, теперь уже «генеральное наступление»: 15 ноября две немецкие танковые армии, усиленные армейским корпусом, нацелили

свой удар южнее Московского моря, а 16 ноября началось наступление и на Волоколамском направлении. Началось генеральное наступление, хотя фашистский генерал Гальдер доносил в ставку: «Войска, находящиеся здесь, совершенно измотаны и не способны к наступлению».

И вновь кровь немецких солдат стала замерзать на русском снегу. И вновь многие тысячи писем с траурной каймой устремились в Германию.

4

Как только Виктора назначили полицаем, для Клавы началась череда черных дней: утром, едва перекусив, он закидывал винтовку за спину и уходил из дома, чтобы появиться только ночью. И почти каждый раз выпивши.

Где он был, что делал — не рассказывал. А если верить слухам, ползущим по деревне, старался для немцев: обыски производил, всех мужиков (особенно — пришлых) подробно расспрашивал буквально о каждой мелочи. И где родился, профессия гражданская, и почему не отступил с советскими?

Клава верит Виктору, она считает, что все это он делает только с согласия, а может быть, и по приказанию самого Василия Ивановича. Но народ-то ничего этого не знает! А раз не знает, то долго ли Вите пулю из-за угла схлопотать? Сейчас чуть не каждую ночь в соседних деревнях хоть одного немецкого солдата или прислужника новой власти, но убивают.

Самая же навязчивая мысль — вдруг подцепила Виктора на крючок какая разбитная молодка? Вот и подпаивает его, а потом милуются.

Подобные мысли настолько измучили, что, помотавшись по дому без особой надобности, после полудня Клава неизменно усаживалась к окошку в кухне и смотрела вдоль улицы, ждала Виктора, хотя знала, что раньше сумерек он не явится.

Виктор не замечал душевных мук Клавы, некогда ему было к ней по-настоящему приглядываться, в ее переживаниях разбираться; он разведывал и разведывал, обзаводился помощниками, такими же надежными, как Афоня с Груней. Если бы Василий Иванович сегодня потребовал, он немедленно привел бы с собой уже двадцать три человека. Сила!

А после седьмого ноября Виктор и вовсе с ног сбился: не одна Груня, многие говорят, что седьмого ноября на Красной площади парад наших войск был, что сам товарищ Сталин перед войсками с речью выступил.

Откуда родились слухи? Ясно, у кого-то есть приемник. Вот и ходил с обысками, вот и рыскал по окрестным деревням, чтобы хоть на след его напасть. Бесполезно и рыскал, и самогонкой травился.

Правда, вчера, когда они с Афоней, намерзшиеся вдоволь,

заглянули днем к Груне, чтобы хоть немного согреться и передохнуть, она вдруг сказала:

— Слышь, мужики, а вы Петра поспрошайте. Ну, Авдотьиного, старшего. В школе, помнится, он радио увлекался, мастерил что-то.

— Развесь уши, позволит ему Аркашка приемник держать, — усомнился Афоня.

— Нешто у вас, дураков, обязательно на все разрешение спрашивать? Чем вот я занимаюсь, когда ты с Витенькой по округе шастаешь? Знаешь, чем? Может, в те самые счастливые минутки и принимаю полюбовника? Чернобрового, не в пример тебе, мужика смелого, настоящего!

В последние дни Груня стала часто болтать о подобном, но так прямо, даже цинично, — впервые. И Виктор догадался, что она пытается расшевелить Афоню, подзадорить его на активность. А тот, вместо того чтобы проявить мужской характер, сопел или хватал шапку и уходил со двора. Короче говоря, Афоня берег свою душу от обидных слов Груни, не понимая цели ее озорства.

О подсказке Груни немедленно доложили Василию Ивановичу. Тот немного подумал, потом сказал, глядя на Афоню:

— Завтра Аркашку пошлю в Степанково. И тебя с ним, чтобы помогал ему. Возьмете подводу, погрузите на нее барахло, что мы для фрицев подготовили, и марш. Сдадите как положено и мне расписочку: дескать, получено от деревни Слепыши в фонд зимней помощи вермахту столько-то пар валенок, столько-то полушубков и овчин.

— Может, самое рванье все же здесь оставим? Честно говоря, боязно такое и везти.

— А три пары новых валенок на что? Две Аркашка отдаст Свитальскому с Золотарем, а ту, которая поаккуратнее, — самому коменданту. И будь уверен, в остальном ковыряться не станут... Ежели все же придерутся к рвани, скажи, все под метелку вычистили... За Аркашкой в оба глаза смотри! И чтобы вернулись только к ночи.

— Списать бы его, а? — уже который раз предложил Афоня.

И в который раз Василий Иванович ответил:

— Этот мнит о себе много, а так — дурак дураком. Вдруг вместо него настоящий зверюга заведется? — И сразу же приказал Виктору: — А ты переговори с Петром. Ясно, о чем? Тогда действуйте.

На другой день, проводив подводу с валенками и полушубками за околицу, Виктор зашагал к дому Авдотьи, вошел в уже знакомую кухню и спросил:

— Петро дома?

— Здесь я, — откликнулся Петро и слез с печи. Лет тринадцати или четырнадцати, длинный, худой от постоянного недоедания, он стоял перед Виктором и смотрел на свои босые ноги, покрытые цыпками.

— Собирайся, пойдешь со мной.

Авдотья испуганно, с мольбой смотрела на Виктора, в глазах ее дрожали слезы, и все же она не сказала ни слова в защиту сына.

А Петро сунул босые ноги в разбитые отцовские сапоги, набросил на плечи шубейку матери, нахлобучил вислоухую шапку и заявил с вызовом:

— Все ладное он в фонд сдал.

«Он» — понимай Аркашка.

Ну и сволота! С Авдотьей живет и ее же детей грабит!

Виктор, когда еще учился в школе, последние два года был пионервожатым. И учителя говорили, что у него определенно есть подход к ребятам. Впервые услышав это, он задумался: может, и правда есть у него этот пресловутый подход?

Подумал, мысленно поискал его и решил, что нету ничего, что просто, когда надо было, выкладывал он ребятам свои мысли или предложения. Начистоту, без дипломатии.

Поэтому и сейчас, когда они вдвоем оказались на улице, прямо спросил:

— У тебя он какой? Детекторный?.. Ламповый?

— Ага, — выпалил Петро, потом насупился и с обидой на себя, но без страха: — Он выследил и донес?

— Нет, я сам догадался.

Есть приемник! Настроение такое, что на всю округу завопил бы от радости! Но нельзя. Нельзя ни на минуту забывать о том, что ты полицай...

— Почему ты сразу сознался?

— Так ведь кому? Тебя-то я с теми, из леса, видел. — В глазах Петра хитроватая усмешка, из них торжество льется: «Что, съел?»

Виктор смущен, даже встревожен:

— Где видел?

— Один я был.

Если парень уклоняется от прямого ответа, лучше не настаивать: такого нагородит, что от правды в непроходимые дебри уведет. Знал это Виктор и решил разговор об этом отложить до более подходящего момента; перешел к главному:

— Где он у тебя? Надо незаметно вытащить. Потом мне передашь, а я направлю куда надо.

— А питание есть? Приемники питаются от сети электрического тока или...

— А ты как?

— Когда нужно, к сети подключался.

Электричество только в Степанкове. Значит, чтобы пять минут послушать Москву, Петро каждый раз бегал туда. Около восьми километров в один конец и столько же обратно. И всегда в непогодь, когда немцы по избам прячутся!

— У меня речи товарища Сталина есть, — шепчет Петро,

спрятав подбородок в облезлый воротник шубейки. — Он в Москве. И речи произнес. Шестого и еще седьмого, на параде.

Скрипит снег под сапогами, постанывает. Двое идут серединой деревенской улицы, шагают мимо изб, нахлобучивших почти до окон белые шапки, и молчат. Петр высказал главное и торжествует, а Виктор потрясен, он готов кричать от восторга: товарищ Сталин в Москве — не сдадут ее немцам!

И парад... Немцы топчутся в пригородах, их бомбовозам минуту лететь до Москвы, а по Красной площади идут войска, и товарищ Сталин напутствует их!..

— Петро... Никому!.. Пусть все умрет в тебе... А я свяжусь с кем надо, тогда и решим насчет приемника.

— А речь товарища Сталина сейчас отдать? Я малость записал... Помехи большие.

Он еще спрашивает!

— Незаметно сунь мне.

И вот листок бумаги в кулаке Виктора, который стиснут так, что, кажется, никакая сила не разожмет.

— Сейчас я садану тебе.

— Валяй, — соглашается Петро и торопливо добавляет: — Только не по носу, он у меня слабый.

Если кто-то подсматривал за ними, то увидел, как полицай вдруг взмахнул рукой и так огрел мальчишку по уху, что тот кубарем полетел в снег. Вскочил и, оглядываясь, затрусил к дому. А полицай вслед грозил кулаком.

Виктор не помнил, поднимался ли он по ступенькам крыльца или перемахнул через них. Он пришел в себя лишь заметив, что обнимает и целует растерявшуюся Клаву. Облапил посреди кухни и целует.

Она еще ничего не поняла, а он уже отшатнулся, нахмурился и по-обычному деловито:

— Я к Василию Ивановичу.

Вернулся минут через тридцать и приказал:

— Слетай за дедом Евдокимом. — Немного подумал и добавил: — И Груню позови... Только побыстрей!

Груня прибежала мигом, лишь накинув на плечи полушалок. В ее глазах тревога: «Что с Афоней?» Но, взглянув на Виктора, поняла, что нет у него черной вести, и сразу к зеркалу: подоткнуть прядь волос, выбившуюся из прически.

Дед Евдоким вошел степенно, долго обивал о порог снег с валенок, на которых было больше заплат и заплаток, чем целого, и лишь после этого выставил табуретку на середину кухни, где любил сидеть, опустился на нее.

Клава с Груней устроились у окна: здесь к Виктору поближе, да и видно, если кто в дом пойдет.

Виктор не смог себя заставить сесть. Он стоял у стола и некоторое время только восторженно смотрел на всех. Потом на едином дыхании выпалил:

— Товарищ Сталин... в Москве!

Дед Евдоким спросил удивленно:

— А где же еще ему быть, ежели враг у столицы?

Виктор рассказал о выступлении товарища Сталина на торжественном заседании и о параде на Красной площади. Потом достал из кармана листок и медленно прочел, с трудом разбирая каракули Петра:

— «Товарищи!.. Враг очутился у ворот Москвы и Ленинграда... Товарищи красноармейцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы как на освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осеняет вас победоносное знамя великого Ленина!» — Виктор бережно сложил листок, спрятал в карман. — Это, что я сейчас прочитал вам, товарищ Сталин сказал на параде седьмого ноября. А речь, произнесенную шестого, по техническим причинам вовсе записать не удалось. Только это: «...Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР: что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. Отныне наша задача... будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого, прорвавшихся на территорию нашей Родины в качестве ее оккупантов...

Никакой пощады немецким оккупантам! Смерть немецким оккупантам!»

Виктор замолчал, стараясь проглотить комок, подступивший к горлу.

В окно заглядывали снежинки, неслышно бились о стекло. Так же неслышно дед Евдоким опустился на колени и зашептал молитву, крестясь на передний угол, где давно не было икон. И никто даже не усмехнулся, видя это.

5

В землянке, когда Каргин прочитал листок с отрывками из речи Сталина, никто не опустился на колени. И криков «ура» не было. Просто долго сидели молча. Потом Федор сказал с укором:

— А ты, Иван, шпынял меня за того немца.

Каргин не ответил. Каждое слово Сталина (к этому привык с детства) было для него законом, обойти который даже мысли не появлялось. Вспомнился ему сейчас и недавний разговор, когда Василий Иванович сказал, что эта война особенная, не похожая на предыдущие. Усомнился тогда Каргин в справедли-

вости слов комиссара. Хоть и частично, но усомнился. А вот теперь сам товарищ Сталин повторил то же самое и даже точно назвал, какая эта война: истребительная. Или они нас, или мы их. Под корень.

Выходит, Василий Иванович — мужик с партийным понятием. Может, и насчет того прав, что, пока решение командира в приказ не оформлено, его все обсуждать могут?

— Значит, все прошлые войны против теперешней — малявочки, — после долгой паузы сказал Каргин.

— А их офицеры, что на излечении, к леснику ездят. Охотятся там, на лыжах ходят, — говорит Федор.

Каргин вскидывает на него глаза, ждет пояснения, и тот продолжает:

— Пятеро. Туда на лошади приехали, наклюкались в домике лесника и потом палили с крыльца по лесу. Я-то с тем мальцом был, что приемник имеет, ну и не прострочил.

Верно, ходил Федор на задание: Петро показывал ему, где к линии подключался, чтобы приемник заработал. Только оттуда до избы лесника — километров десять. И Каргин спрашивает:

— С Петром был, а видел, как те с крыльца пуляли?

Федор не смущается, отвечает спокойно:

— Задание ваше, то есть командования, выполнил, ну и увязался за теми... Петра домой отправил, а сам пошел.

— Если был один, почему не срезал гадов? Струсил? — не выдерживает Юрка.

А Григорий сегодня словно воды в рот набрал. Смотрит на розовеющий бок печурки и молчит. Только сейчас говорит необычно для себя серьезно:

— В трусости никогда не обвиняй, пока точно доказать ее не сможешь.

— Не было гарантии, что всех уложу, вот и стерпел, для всех нас сберег, — поясняет Федор. — Зачем пугать до времени?

— Правильно, — согласился Каргин. — Нас мало, и мы должны бить наверняка. А если и погибнуть, то только оправданно.

— Погибнуть — легче простого, — заметил Павел. — На войне жизнь человека — огонек спички на ветру. Вспыхнул — и нет его... Я долго жить хочу.

— Думаешь, мне неохота? Но если фашиста вижу, то бью его, и баста! — ерепенился Юрка.

— Мне нет резона жизнь баш на баш отдавать. Они мне здорово задолжали, — начинает злиться Федор.

— И чего спорите, чего яритесь? Ну, Юрку заносит, а ты, Федор, чего в бутылку лезешь? — пожимает плечами Каргин и бормочет, загибая пальцы: — Сегодня — четверг, завтра — пятница... Есть предложение: в то воскресенье, если офицеры заявятся, навестить лесника.

Единогласно решили уничтожить и немецких офицеров, и самого лесника, который, по сведениям, поступившим от Василия Ивановича, был частым гостем в комендатуре района и в поли-

ции и однажды даже водил Свитальского в лес, показывал что-то. А чтобы действовать наверняка — с пятницы на субботу произвести детальную разведку. В разведку, как обычно, напросились Юрка и Григорий.

Ушли они на рассвете. Каргин, провожавший их, сказал, посмотрев на белесое небо, где длинными когтями застыли перистые облака:

— Однако метель будет.

— Будто не видали мы ее, метели! — отмахнулся Юрка и первый на лыжах заскользил меж деревьев, сдержанно гудевших вершинами.

Скоро змейка двойного лыжного следа вонзилась в молодой ельник и затерялась в нем.

К вечеру деревья гудели уже могуче, раскачивались и стонали, будто жаловались друг другу, что невмоготу им, подсушенным недавними крепкими морозами, сгибаться долу в угоду ветру.

Минули ночь и еще день. А метель только входила в раж: еще жалобнее стонали деревья, чьи вершины поглотил снежный вал, катившийся над лесом.

А в землянке ни воя озверевшего ветра, ни слепящего снега. Здесь настороженная тишина. И позвякивающий крышкой чайник, который с обеда ни на минуту не снимали с печурки: ребята придут замерзшие.

Три человека лежали на нарах, прикрытых пихтовым лапником, и молчали.

Чем еще займешься, если слова человеческие застревают в горле, а от матюков постановили воздерживаться? И единственную колоду карт, что раздобыл Юрка, Каргин сразу же сжег?

Лежали и ловили каждый звук, который должен был вот-вот родиться у входа в землянку: ведь придут же они, придут! Поэтому все враз поймали шорохи какой-то возни, все слышали, как кто-то навалился на дверь, будто не знал, куда она открывается.

Федор схватился за автомат, лязгнул затвором. В это время и услышали усталый голос Юрки:

— Ну, чего ты там корячишься?

Федор чертыхнулся и сунул автомат в изголовье, опять улегся.

Наконец дверь приоткрылась, и в нее боком протиснулись сначала один немец, за ним — второй. Ступая так, словно вместо ног у них были протезы, они деревянно подошли к печурке, согнулись над ней, почти прижали руки к ее бокам.

Появление немецких солдат было столь неожиданным, что все растерялись. Даже Федор, у которого автомат был всегда под рукой, не успел вновь схватить его. А когда пришли в себя, в землянке, прикрыв за собой дверь, уже стояли и Юрка, и Григорий. Лица — виноватые, растерянные, лоснящиеся от пота.

— Вот так, значит, — пробормотал Григорий и поставил в угол сначала немецкую винтовку, потом свой автомат. — Пусть оттают, потом вычищу.

Юрка повторил не только действия своего друга, но, казалось, и его движения.

Потом сняли шапки и полушубки, бросили на лежанку. Разгладили ладонями взмокшие от пота волосы и остались стоять у порога; они осознавали свою вину и ждали приговора.

С нар слез Каргин, обошел немцев, осмотрел их сгорбленные спины и сапоги, с которых еще не стаял снег, и спросил с ледяным спокойствием:

— Надеетесь, за снегом я сбегаю?

Юрка схватил ведро и вылетел из землянки, а Григорий, поняв, что страшное, чего они боялись, вот-вот начнется, зачастил злым от обиды голосом:

— А вы бы смогли, да? Смогли? Они, как котята несмышленые, уткнулись лбами друг в друга и стоят на коленях, смерти ждут. Вы бы смогли, да? А вот мы не смогли, и все тут! В бою — с нашим удовольствием, а тут не смогли!

— Смерть немецким оккупантам! — выкрикнул Федор. Он уже сидел на краю лежанки, в руках был автомат. На лице его было столько злости, что Каргин уже хотел было броситься к нему, чтобы не грохнула в землянке очередь, но тут Григорий шагнул вперед, ухватился за рукав Федора и потащил его с нар, приговаривая:

— А ты убей их, убей! Выведи из землянки и убей!

Федор неожиданно обмяк и полез в глубину нар, где царствовала темнота.

Немцы — ефрейтор и солдат, — видимо, поняли, о чем кричал Григорий. Они выпрямились и, покачиваясь на почти бесчувственных ногах, стояли по стойке «смирно»: хотели достойно, по-солдатски принять смерть.

Влетел Юрка с ведром снега, сунул его к порогу и сразу метнулся к ближайшему немцу, ловко опрокинул его на спину. Тот попытался бороться, но на помощь Юрке уже поспел Григорий, и вдвоем они не только быстро спеленали немца, но и разули. Его побелевшие ступни свешивались с лежанки.

Рядом Каргин с Павлом распяли второго.

Тогда один из немцев внятно сказал:

— Ес лебе фатерлянд!

— Чего он? — спросил Григорий, растирая снегом ноги немца.

— .Да здравствует родина... Пыток ждет, — пояснил Федор, прикуривая прямо от розового бока печурки.

— Вот дурак!

Когда ноги немцев были растерты до красноты и в них появилась боль, немцы и вовсе присмирели. Чувствовалось, они старались и не могли осмыслить происходящее.

Так же молча и безропотно они выпили по кружке горячего чаю. Лишь после этого рядовой сказал почти без акцента:

— Спасибо.

— Шпрехаешь по-русски? — удивился Григорий.

— Я — студент, изучал ваш язык, — ответил тот, поспешно вставая и замирая по стойке «смирно».

— Оба ложитесь там. — Каргин кивнул в сторону самого темного и теплого угла землянки.

Теперь и второй немец вскочил с лежанки, даже попытался щелкнуть голыми пятками. А еще через минуту, укрывшись своими шинелями, они улеглись в углу. И тут ефрейтор что-то пробурчал своему товарищу. Юрка, которому до всего было дело, немедленно спросил:

— Что он там лопочет?

Федор за время своего пребывания в плену научился понимать язык врагов. Это знали товарищи и теперь смотрели на него, требуя перевода. И он зло сказал:

— Говорит, раз мы их не расстреляли, значит, думаем использовать по специальности. И что нужно не сердить нас, быть послушными... Сволочи!

— А ты, Федька, не сволочи. У них, видать, свое понятие о плене, — примирительно говорит Григорий.

— Вот именно, свое! — взрывается Федор. — Одним глазочком глянул бы ты, через что я в плену прошел, что бы ты тогда запел? Их от смерти спасают, ноженьки снегом растирают, чайком отпаивают! Поди, еще с сахаром? А нам, кто в ихнюю неволю угодил, что они давали, что? Селедку ржавую и ни капли воды! А потом воду привезли и на землю вылили! — Он задохнулся от злости, всхлипнул и вдруг уткнулся лицом в шинель. Даже застонал, закусив грубое сукно.

Каргин было шагнул, чтобы подсесть к нему и успокоить, но остановился на полпути, спросил:

— Чем мы можем сейчас помочь тем, кто у них в плену томится? И пленным немцам устроить такую же житуху-каторгу?

— Значит, от смерти спасли, подлечим и отпустим на все четыре стороны? Может, и охрану выделим? Чтобы кто из наших, натерпевшихся от них, случайно не обидел?

Каргин оставил без внимания истеричные выкрики Федора, пошел на свое место и, уже ложась, сказал:

— А лозунг «Смерть немецким оккупантам!» — программа наших действий.

Скоро улеглись и остальные. Лишь Павел остался бодрствовать. Он уселся лицом к печурке, где весело потрескивали дрова. Справа у него было оружие. Только протяни руку. Да и все товарищи спали, привычно обнимая автоматы.

Винтовки немцев, заботливо вычищенные Григорием с Юркой, сиротливо стояли в углу.

Но Каргин только притворялся спящим. Он думал о том, как сложна жизнь. Вот Федор. Человек, можно сказать, измоло-

тый и перемолотый немецким пленом. Люто ненавидит немцев и все немецкое. Того шофера убил и не поморщился. А сегодня, когда Григорий в горячке предложил убить и этих, наотрез отказался. Значит, не сгубили фашисты в Федьке настоящего человека!

Одно плохо: беспечно живем во вражеском тылу. И Петро выследил встречу Виктора с Юркой, и сегодня, ввались в землянку другие немцы, всех бы в минуту уложили.

Он уснул, твердо решив: «Завтра же обо всем поговорю с ребятами. Будя беспечно жить, пора за ум браться!»

А над землянкой бесновалась, завывала метель.

6

Здесь, на Смоленщине, которая теперь оказалась во вражеском тылу, зима надежно замаскировала многие следы войны, засыпала снегом полуобвалившиеся окопы, воронки от бомб и снарядов, холмики над братскими могилами. Даже пепелища в деревнях и те, припудренные снегом, выглядели не такими страшными и уродливыми.

Вот только запах многих пожарищ не могли поглотить ни снег, ни мороз.

Зато там, восточнее, где грохотал фронт, снег подернули черные полосы копоти от взрывов, припорошило его землей, вывороченной снарядами и бомбами. Там нет тишины. Ни днем ни ночью. А здесь и снега белизны невероятной, и тишина до звона в ушах. Да и откуда здесь шуму быть, думал Аркадий Мухортов, если пустынно на дорогах, если с наступлением ранних сумерек люди спешат по своим закуткам, чтобы всю долгую ночь пребывать в дремотном забытье, вздрагивая и просыпаясь от малейшего стука.

Даже собаки не лаяли теперь. Их приказали уничтожить. Сначала голубей, потом их. Чтобы враги нового порядка не смогли использовать их в преступных целях.

Что у немцев хорошо, продолжал рассуждать Мухортов, — строгость во всем, за любое нарушение порядка — расстрел. Нарушил комендантский час, не сдал излишки продовольствия, имеешь валенки или еще какое нарушение допустил — безжалостный расстрел.

Главное же, кто виноват, что тебя расстреляли? Только ты сам: тебе все заранее объявлено было, и проступок, и наказание. Ведь все приказы господина коменданта района обязательно зачитывает сам старший полицейский; после чего вывешивает на специальном листе фанеры, прибитом к той самой березе, на которой был повешен Дёмша.

Часто меняются приказы и объявления на том щите. Сегодня, например, такой висит:

«Каждый, кто непосредственно или косвенно поддержит или спрячет членов банд, саботажников, бродяг, пленных беглецов

или предоставит кому-либо из них пищу либо иную помощь, будет покаран смертью.

Все имущество его конфискуется.

Такое же наказание постигнет всех, кто, зная о появлении банд, саботажников или пленных бродяг, не сообщит немедленно об этом своему старосте, ближайшему полицейскому руководителю, военной команде или немецкому сельскохозяйственному руководителю.

Кто своим сообщением поможет поймать или уничтожить членов банды, бродяг, саботажников или пленных беглецов, получит либо 1000 рублей вознаграждения, либо право первенства в получении продовольственных продуктов, либо право на надел его землей или увеличение его приусадебного участка».

Он, Аркадий Мухортов, все эти приказы и объявления наизусть учит. Чтобы случайно промашки какой не допустить.

Конечно, приказы строгие, вот и затаились люди по хатам. А почему затаились, почему ежечасно смерти ждут? Вину свою перед немцами чувствуют. У каждого небось хоть маленькая, да имеется.

Вот и он, Аркадий Мухортов, сейчас дома отсиживается. И опять же почему? Страх за свою жизнь заставляет.

А так, ему сейчас полный простор для частной инициативы: заходи в любую хату — встретят поклоном, усадят на почетное место и выставят на стол все, что имеется. Правда, немцы — народ аккуратный и так сараюшки и амбарушки вычистили, что голодает народ. Но уж бутылка первака в любой хате найдется!

И спокойно, как ему казалось, шла его жизнь до той метели, в которую двое у немцев пропали. Пошли чинить оборвавшуюся телефонную линию и пропали.

Фон Зигель рассвирепел страсть: по всем деревням разослал патрули, велел сыскать следы тех солдат.

Не нашли. Тогда господин комендант приказал в каждой деревне района по двадцать человек выпороть. И выпороли. В Слепышах тоже.

Порка, конечно, вреда особого не приносит, мужичью она даже полезна, чтобы не блудило. Однако чуток неладно вышло. В Слепышах-то в число двадцати Нюська с Авдотьей явно безвинно попали.

Однако и это можно пережить! А вот что дальше произошло, над этим думать и думать ему, Аркашке Мухортову.

Началось все с того, что всех полицейских района вызвали в Степанково. Сам фон Зигель на них кричал: дескать, наступление вермахта под Москвой продолжается, до большевистской столицы теперь осталось только около двадцати километров, окончательная победа близка, до нее, можно сказать, рукой подать, и ему обидно, что именно сейчас, когда мир будет вот-вот подписан, таинственно исчезают солдаты-победители или оказываются убитыми из-за угла. Дескать, такое могут позволить себе только варвары. А потому, если пропавшие солдаты не бу-

дут найдены, он прикажет от каждой деревни района расстрелять по два человека.

На площади, где стояли полицейские, гуляла поземка, веселился мороз, а все они — без шапок. Из почтения к господину коменданту. Уши ломило, голова мерзла, но лично он, Аркадий Мухортов, считал это правильным: чтобы все до глубины души прочувствовали, кто сейчас здесь хозяин, кто сейчас в их жизни и смерти волен.

В таком великом гневе волю свою высказывал господин комендант, что сам пан Свитальский боялся шевельнуться, чтобы не привлечь к себе внимания. Тишина — кажись, каждой снежинки полет слышно.

И тут выходит вперед его старшой, Опанас Нилыч Шапочник. Щелкает каблуками, пялится в глаза господина коменданта и спрашивает:

— Разрешите личное мнение высказать, господин гауптман?

Как дурной, смотрел он, Аркадий Мухортов, на коменданта и своего старшого, тайно ждал, что вот сейчас поведет плечиком господин комендант, и не стало старшого!

Иначе вышло: господин комендант кивнул благосклонно.

— Осмелюсь доложить, господин гауптман, такой метели даже старики не помнят, — начал старшой и сразу за подтверждением к полицейским: — Правильно я говорю?

Так нахально это спросил, что многие поддакнули. Даже он, Мухортов.

Почему поддакнули? Ссылкой на невиданную метель многие господа полицейские себя страховали.

И старшой продолжал еще более уверенно:

— Такая метелища гуляла, господин гауптман, что и среди местного населения имеются жертвы. Так, у нас в Слепышах пропал сын известного вам полицейского Мухортова. Уже тринадцать лет было парнишке!.. А пошел в лес за хворостом — и сгинул. Об этом прискорбном случае мне доложил сам Мухортов. В присутствии полицейского Капустинского доложил.

— Так точно, докладывал, — выступил вперед Витька и сразу спрятался за спину старшого.

— Избави бог меня уравнивать жизнь немецкого солдата с жизнью кого-то из местных, только, господин гауптман, тела ихние сейчас найти невозможно: снега-то по пояс, а где и по грудь. Лишь весной пропавшие обнаружатся. Когда снег стает. — Помолчал и торопливо добавил: — Вам доложить обо всем этом посчитал своим долгом, чтобы некоторые не подумали, будто новая власть действует без знания местных природных условий.

Фон Зигель некоторое время молчал, покачиваясь на носках, потом обронил:

— Правильно, местные условия всем знать надо... Заложники будут расстреляны весной. Когда снег стает.

Когда возвращались в Слепыши, он, Аркадий Мухортов, спросил:

— Чего это вы, господин старшой, наговаривать на меня начали? Дома он, Петька.

Старшой, не сбавляя шага, сказал Виктору, показывая глазами на Аркадия:

— Видал, как вчера натрескался? Сам доложил, а теперь отпирается. — И, сразу посерьезнев, почти сурово: — Сейчас к тебе домой зайдем, увижу Петьку — пеняй на себя: начальству врать я непривычный.

Вчера он, Аркадий, действительно крепко выпил, но помнил, и где пил, и как домой пришел. А что со старшим встречался, докладывал ему, — убей, нет в памяти. Но ведь говорит старшой...

Остаток дороги он только и думал о том, когда в последний раз видел Петьку, вспоминал, а не плакалась ли Авдотья о пропаже сына.

Уже у самой деревни, будто наяву, вдруг увидел Авдотью такой, какой она была после порки. Зареванная, с волосами, выбившимися из-под головного платка. И еще она покачивалась то ли от изнеможения и боли, то ли от обиды. А поддерживал и вел ее домой Петька! Он, Петька, еще и прошипел злобно, когда они мимо него, Аркадия, проходили:

— Эх ты...

Так как же могло случиться, что он, Аркадий, вчера плел такую несуразицу?..

От догадки холодный пот прошиб: оговаривают!

А что в теперешнее время двоим одного погубить?

Он отчетливо представил себе дальнейшее: входит в дом, а Петька свешивает с полатей кудлатую башку, щерится в злорадной ухмылке. Эти, разумеется, сразу в Степанково с докладом: «Так и так, господин комендант, наврал вчера Мухортов, с перепою или по какой другой причине, но наврал».

В лучшем случае — пинок из полиции, а скорее всего...

Несказанно обрадовался Аркашка, когда Петьки дома не оказалось, когда Авдотья, неумело пустив фальшивую слезу, стала уверять, что он в метель сгинул.

Обрадовался и затаился: ну погодите и ты, старшой, и ты, костистая дура! Сочтемся! Сполна сочтемся! Ведь с целью какой-то Петьку скрыли, с целью?

Конечно, проще всего было сбегать в Степанково, пробиться к самому коменданту и выложить все, как оно есть. Но уж очень милостив господин комендант к старшому, еще не поверит сразу, назначит дознание, а что оно даст ему, Аркадию? Запросто оговорят...

А эта дура тоже хороша! Против кого поднялась? Не он ли одарил ее лаской, не он ли заставил вспомнить, что она баба? Так на тебе, отблагодарила!

Злоба душила, копилась бурно, как тесто на хороших дрожжах, и, чтобы не расплескать ее раньше времени, он отсиживался дома, сказавшись больным. Лежал на печи, бешеными

глазами следил за каждым движением Авдотьи, ловил каждое ее слово — не сболтнет ли чего о Петьке? — и беззвучно шептал:

— Погоди, старшой, погоди, я еще отыграюсь!

Не знал Аркашка, что милостивое отношение коменданта района к старшому в тот день было продиктовано не личными симпатиями, а прекрасным настроением фон Зигеля: во-первых, наступление на Москву продолжалось и довольно успешно, во-вторых, старинный знакомый семьи оказался на редкость порядочным человеком, и неосторожное письмо отца не дошло до гестапо.

Не знал этого Мухортов, ну и плел узоры мести, один хитрее другого. Такие же затейливые, как и те, которыми мороз затянул окна.

Крепчал мороз, день ото дня становился злее, неистовее.

7

Скучно Григорию без Юрки, до чертиков надоело смотреть на дорогу, через которую перебегают только снежные струйки, подгоняемые ветром, вот и врет он, надеясь вызвать на разговор Федора или Павла:

— А мороз нынче за сорок. Да еще с ветром.

Товарищи не ответили. Будто не услышали. Или вовсе закоченели.

Только разве можно было не слышать, если сказано это в полный голос, а кругом тишина — до звона в ушах?

И вообще Федька — сволочь порядочная: назначил его Каргин старшим над Павлом с Григорием — он и радешенек, власть свою показывает! Ишь, с вечера сам залег и товарищей уложил за этим сугробом, а для чего? Неужели не понимает, что пропала ночь? Ведь сколько часов пролежали, а ни одного фашиста, ни одной ихней машины даже не видели!

Нет, если бы командовал он, Григорий, не лежали бы они в этой глухомани. Он бы вывел их на тракт у Степанкова. Там, правда, немцы всегда начеку, все время за автоматы теперь держатся... Да и убивать фашиста там все же опасно: не ровен час, невинные жители пострадают...

Опять же, почему им страдать, если покойников фашистских можно в лес утащить и там в снегу захоронить? Или они с Юркой не так делают?..

Самое обидное — вставать, чтобы малость поразмяться, и курить Федор разрешил, а вот слова из него не вытянешь. Уж он ли, Григорий, не пробовал разговорить этих молчунов? Даже насчет мороза нарочно соврал, что он за сорок. Думал, поправят, тогда он в спор и вступит.

Прошло еще несколько минут, и Григорию смертельно захотелось курить. Он полез в карман за кисетом, но Федор зашипел:

— Не видишь?

— А чего видеть-то, чего? — начал злиться Григорий, но зыркнул глазами по дороге и сразу увидел большой грузовик. — Может, я по шоферу стегану? — оживился Григорий. — А вы с Павлом...

— Или забыл, о чем условились?

Как же забудешь, если раза четыре повторено все!

Без спешки, солидно шел грузовик и вдруг заметался по дороге от одной ее кромки до другой. Метров тридцать провилял, пока шофер не остановил его.

— Сработало! — беззвучно и только для себя прошептал Григорий и пополз, как было условлено, вжимаясь в снег, к правой дверце кабины.

В это время на дорогу спрыгнул шофер: только глянул на заднее спустившее колесо — выругался длинно и зло. Немедленно открылась дверца кабины и с той стороны, где залег Григорий. Но этот немец не спрыгнул на дорогу, а остался стоять на подножке, наведя автомат на молчаливый лес.

И вдруг шофер, который осматривал спустившее колесо, поднял что-то с дороги, поднес на мгновение почти к самым глазам и метнулся к машине.

Добежать до кабины он не успел: три короткие автоматные очереди срезали и его, и того, который стоял на подножке.

В еще теплой руке шофера была колючка — подарок Василия Ивановича. Откуда он взял ее, этого не знали, но зато сразу прикинули, что дырявить покрышки колес машин с ее помощью можно. Так и вышло.

Пока Григорий обыскивал немцев, а Павел смотрел, не появится ли кто непрошеный, Федор хозяйничал в кузове, заботливо прикрытом брезентом. Он, Федор, и заговорил первым, не скрывая своего торжества:

— Глянь, братцы, чем она нагружена!

Сказал и бросил к ногам Григория и Павла по куску чего-то, похожего на мыло.

— Никак тол? — удивился и обрадовался Павел.

— Вот бабахнем так бабахнем! — возликовал Григорий.

— Нет, его к себе, в землянку, унести надо, — возразил Федор.

Павел неторопливо подошел к машине, встал на ее колесо и заглянул в кузов.

— Его тут тонны две, не меньше, — наконец сказал он. — Втроем не утащить. Ведь до землянки километров пятьдесят.

— А мы его в лес, под кустики, перетаскаем, чтобы потом постепенно весь к себе забрать, — предложил Григорий и сам же ответил: — Не, таскать нельзя: пока весь осилим, такую дорогу протопчем, что запросто нас выследят.

Что правда, то правда...

— Но и не оставлять же его здесь?!.

— Килограммов по пятьдесят возьмем? — с сомнением в голосе спрашивает Федор.

— По тридцать, не больше, — покачал головой Павел.

— Может, все же попробуем?

— Что ж, попробовать можно.

И они набили немецкие ранцы головыми шашками. Даже банки с консервами выбросили, чтобы лишние головые шашки положить.

Запалы разместили по карманам гимнастерок, бикфордовым шнуром опоясались несколько раз. Когда оставалось только взорвать машину, Павел предостерегающе крикнул:

— Еще одна!

Действительно, шла еще одна, но не дизельная, поменьше.

— Как думаешь, сколько ей тащиться до этой машины? — спросил Федор.

— Минут пять, — ответил Григорий.

— Бери все десять. Да еще минуты две или три набрось на торможение. Когда к этому подъезжать станет, — поправил его Федор.

— Что задумал?

Но Федор будто не слышал, будто сам с собой разговаривал:

— Бикфордов шнур горит со скоростью один сантиметр в секунду. Сколько же это получается?.. Выходит, метров восьми хватит... А ну, топайте в лес!

Как и предполагал Федор, шофер, заметив собрата, одиноко стоявшего среди дороги, сбавил скорость, посигналил. Конечно, ему не ответили. Тогда вторая машина и вовсе поползла осторожно, готовая остановиться при первом намеке на опасность.

Машины разделяло метра три или четыре, когда из кузова первой вырвалось яркое пламя...

Осмотрев огромную воронку, образовавшуюся на том месте, где недавно были немецкие машины, Федор удовлетворенно сказал:

— Полный орднунг!

Глава восьмая

ДЕКАБРЬ

1

Минуло две недели, а Каргин с товарищами только и узнали, что ефрейтора зовут Пауль Лишке, что у его отца в Пиллау маленькая мастерская по ремонту автомашин, что во Франции Пауль был ранен и после излечения назначен связистом в комендатуру. В России, говорит, участия в боях не принимал.

Может быть, и врет, но разве проверишь?

Пауль — блондин, высокий и голубоглазый; в словах и движениях сдержан.

А солдат — Ганс Штальберг. Чернявый, приземистый. Тоже побывал во Франции, тоже там ранен. Короче говоря, что ни

спроси у Пауля и Ганса, ответ почти одинаковый. Только в родословной и разошлись: у Ганса отец — колбасник.

Все это узнали из коротких разговоров, которые вспыхивали сами собой.

В первое же утро, приготовив чай, Григорий, как обычно, заорал:

— А ну, подымайсь, орелики, пока за ноги на мороз не повыкидывал!

Шумливость Григория — диковинка для немцев, и они мгновенно вскочили, привычно уложили шинели, застегнули френчи на все пуговицы и замерли в ногах лежанки, ожидая следующей команды. В глазах, кроме готовности выполнить все, заметно и удивление: кто же здесь командует? Кому в первую очередь подчиняться? Этому горластому или тому, который вчера распоряжался?

А Григорию только бы покомандовать, он надеется повеселить товарищей:

— На зарядку, шагом...

— Фашистюга! — кричит Федор, и увесистая немецкая каска, не присядь Григорий вовремя, обязательно врезалась бы ему в лицо.

— Ты что, ошалел? — приподнялся Юрка.

Сели на нарах и остальные, все смотрели на Федора.

— Измывается, гад, — только и сказал тот.

Всем стало стыдно, неловко за Григория. Действительно, на зарядку никогда не ходили, только Каргин, проснувшись, обязательно, голый по пояс и в любую погоду, вылезал из землянки и колол суковатые кругляши, подготовленные с вечера; около часа ежедневно тратил на те кругляши.

— Я же не со зла, — начал оправдываться Григорий, но понял, что слова излишни, и, ссутулившись, вышел из землянки.

— Пусть сапоги снимут. Морщились, когда надевали: ноги-то подморожены, — проворчал Федор из своего угла.

— Или они сами без языка?.. Вчера орал, почему не расстреляли, а сегодня... В няньки подался?

Это уже Юрка; ему обидно за Григория, вот и ехидничает.

Чтобы обстановка не накалилась еще больше, чтобы немцы не стали свидетелями ссоры русских солдат, Каргин одернул Юрку резко, чего обычно избегал:

— Помолчи, если не понимаешь!

И шагнул к немцам, сказал, ткнув пальцем:

— Разувайтесь.

Жест выразителен. Пауль Лишке снял сапоги, протянул их Каргину. В этот момент и зашипел Ганс, зашипел зло, осуждающе. И Пауль рывком убрал за спину руку с сапогами. Замер, вытянувшись. Словно удара ожидал.

Потом пили чай. И, что особенно поразило Пауля, — русские посадили их за один стол с собой. И хлеба дали нисколько не меньше, чем взяли себе. И от того же самого каравая.

Поев, немцы переглянулись и вскочили так стремительно и дружно, что Юрка, сидевший с ними рядом, даже вздрогнул, сплеснул кипяток себе на колени и чертыхнулся. Вскочив, немцы замерли: они молча докладывали, что поели, благодарят и ждут приказаний.

Каргин кивнул, и они ушли на нары, где сначала лежали, затаившись, а потом, осмелев, зашептались. Вернее, шептал Ганс, а Пауль перебивал его отрывистыми вопросами. Федор вслушивался в их разговор, не все понимал, но все же слушал.

— Говоришь, они назвали того фашистом? Разве у русских тоже есть наци? — удивился Пауль, украдкой поглядывая на Григория, который в это время выгребал из печурки золу и остывшие угли.

— Они обругали его так. И еще сказали, чтобы он не смел издеваться над нами.

— Но ведь он не издевался? — еще больше удивился Пауль.

— Видимо, русские считают иначе, — меланхолично ответил Ганс и повернулся лицом в угол, давая понять, что намерен вздремнуть.

А Пауль не хотел, не мог спать. Все пережитое за сутки переполняло его, ему бы высказаться, излить душу, поделиться сомнениями, но с кем? Ганс уже похрапывает, а он, Пауль, не так воспитан, чтобы из-за личного желания поговорить будить кого-то.

С русскими? Он не знает их языка.

И сразу же поймал себя на том, что еще вчера эта же мысль формулировалась бы так: «Почему русские не знают немецкого языка?»

Поворот на сто восемьдесят градусов! И вполне логичный: побежденный обязан знать язык победителя, а не наоборот.

Побежденный...

Нет, он, ефрейтор Пауль Лишке, не изменял фюреру! Он не перед врагом сложил оружие. Стихия заставила.

Пауль с отчетливой ясностью увидел снежные вихри и волны. Они неслись со всех сторон и разом. Когда сталкивались друг с другом или натыкались на него, Пауля, все заволакивало такой белесой мутью, что вытяни руку — ладони не увидишь.

Сначала они с Гансом боролись с метелью, упорно шли ей навстречу, пробирались через метровые сугробы, оступались в рытвины и ямины, запинались и цеплялись ногами за что-то и даже падали. Но шли. Как им казалось, шли в Степанково, где были товарищи и тепло. Главное — тепло.

Именно тогда, когда они боролись с метелью, он, Пауль, и вспомнил нечаянно подслушанный разговор господина коменданта с кем-то из высоких армейских чинов. Разговор начался с того, что армейский чин в довольно резкой форме сообщил о наличии большого количества случаев обморожения немецких солдат и потребовал:

«Немедленно, — слышите меня, фон Зигель? — немедленно нажать на все пружины, но зимнее обмундирование должно быть у меня в ближайшие дни!»

«Оно уже есть, — заверил господин комендант. — С осени лежит на ближайших складах».

«Тогда почему же его не выдают?»

«Не могут, нет приказа».

«Зима уже свирепствует, а они ждут чьего-то приказа!»

«Чтобы не подрывать веры солдат в то, что война скоро окончится, зимнее обмундирование задержано на складах. Таков приказ фюрера».

Минутная пауза и какое-то потерянное:

«Хайль!»

Вспомнил этот разговор и подумал: значит, есть зимнее обмундирование, хранится на складах, а он, ефрейтор Пауль Лишке, в метель и мороз бредет в шинелишке, подбитой ветром!

Кажется, тут силы и покинули его окончательно, и он опустился на колени. То ли оступился, то ли от усталости, но опустился на снег. Ганс пытался поднять его, потом сказал: «Отдохнем немножко, соберемся с силами», — и присел рядом.

Сидели, упершись лбами друг в друга. Ветер бил теперь, казалось, каждому только в спину, и сразу стало теплее.

Эти двое русских... Откуда они появились?

Неожиданно возникли из снега. Как добрые духи в старой сказке...

Отобрали винтовки и пинками, подзатыльниками заставили сделать первые шаги.

Русские спасли немецких солдат...

«Я освобождаю человека от унижающей химеры, которая называется совестью. Совесть, как и образование, калечит человека», — приходит на ум одно из любимых изречений фюрера; он повторял его почти в каждой из своих речей.

Совесть унижает человека... Выходит, он, Пауль, унизился, испытывая сейчас чувство благодарности к этим русским?

Но мать, когда узнает всю правду, будет молиться за здоровье этих русских...

Вдруг совершенно неожиданно всплыл вопрос: «А ты, Пауль, смог бы поступить так, как эти русские?»

Трусливо удрал от этого вопроса — налетел на другой: а где же мучительные пытки? Ведь офицеры твердили, что пытка пленных — традиция русских солдат?

Пауль почему-то уверен, что из этих русских никто не способен на такое. У них очень спокойные глаза по-настоящему сильных людей. Такие убивают сразу. И без пыток.

Может, их с Гансом счастье в том, что среди этих русских нет комиссара? И сделай, пожалуйста, боже так, чтобы ему, Паулю Лишке, никогда не довелось встретиться с ним.

С этой молитвой Пауль и уснул. Сон был тревожен. Сначала снились снежные волны, которые захлестывали его, не давали

дышать. Затем они разом расступились, и тогда на него стал стремительно надвигаться гауптман фон Зигель, почему-то — верхом на тросточке. Его указательный палец прожигал грудь Пауля точно против сердца. Паулю было больно, а гауптман, усмехаясь, говорил: «Ты нарушил клятву, данную самому фюреру!»

Пауль стонал во сне, вскрикивал, а в это время в землянке обсуждали, как быть с немцами, которые так непрошено ворвались в их жизнь.

— Теперь их не убьешь, не отпустишь на все четыре стороны, — начал Каргин.

— Убить-то можно, — отозвался Федор.

— Возьмешься? — обозлился Юрка. Он километра два тащил того, чернявого, на своей спине. Взмок, измотался — дальше некуда и поэтому считает Ганса чуть ли не своей личной собственностью.

— К тому сказал, что убить-то можно, только нет среди нас таких, чтобы кровь ихнюю на себя приняли.

Так сказал Федор Сазонов, прозванный Орднунгом. Обычно, если он начинал выслеживать немецкого солдата, тот неизменно оказывался убитым. Выстрелом в голову или ударом ножа в сердце. Поднимал гитлеровец руки или нет — он убивал его. И после этого обязательно говорил со злостью и удовлетворением: «Орднунг!»

Это промелькнуло в голове Каргина, а сказал он:

— Не взять ли нам сюда Петра? Над приемником пусть колдует, и за этими догляд будет.

Сказал и задумался: не повредит ли Василию Ивановичу и остальным исчезновение Петра из деревни? Что ни говорите, Петр под одной крышей с настоящим полицаем живет.

— А мы Петьку на метель спишем! — нашелся Юрка.

— Братцы, а у Юрки в котелке что-то есть! — радостно засмеялся Григорий.

С появлением Петра будто светлее стало в землянке. Нет, он не принес с собой керосина, запас которого теперь, как сказал Григорий, «сплавился» литров до пяти, не прорубил и окон ни в глухих земляных стенах, ни в потолке из плачущих смолой бревен. Просто — словно младший брат у каждого появился. Даже Пауль, увидев Петра, вдруг посветлел лицом, достал из грудного кармана френча губную гармошку, поднес ее к губам, и в землянке впервые прозвучала незнакомая, но приятная для слуха и души мелодия.

Она оборвалась внезапно, на половине музыкальной фразы. Пауль вытер гармошку рукавом, протянул ее Петру.

— Маленький я, что ли? — сбычился Петр, даже руки, чтобы они желания не выдали, в карманы поглубже засунул.

Однако всем было ясно, что подарок приглянулся.

— Бери, Петро, бери, — подтолкнул его в спину Юрка. До тех пор подталкивал, пока он не взял гармошку.

Взял Петр гармошку и вместо благодарности вдруг спросил:

— Вот ты, кажись, добрый, а зачем к нам с войной пришел? Или мы тебя трогали? Задирали?

— Солдат не выбирает своих путей, ему их указывают, — за Пауля ответил Ганс.

— А я не с тобой разговариваю, мне пусть он ответит.

Ганс перевел Паулю вопрос Петра, усмехнувшись, добавил что-то. Пауль нахмурился и ответил с неохотой, не совсем уверенно:

— Фюрер знает.

— Дурак он, ваш фюрер, вот кто!

Немцы нахмурились, помолчали. Потом Пауль заговорил. Ганс пытался возразить, но Пауль нахмурился еще больше и потребовал дословно перевести свой ответ.

— Фюрер — есть фюрер! — переводил Ганс, глядя себе под ноги. — Он настолько велик, что поставил на колени Европу, его боится Америка. Разве простой смертный способен на такое?.. Ни один из нас не имеет права обсуждать деяния фюрера!.. А мальчикам вроде тебя обзывать нехорошими словами даже просто старших — очень плохо. Твоим родителям должно быть стыдно за твое воспитание.

Казалось, атмосфера накалилась и вот-вот ударит оглушительный гром, засверкают молнии. Но Каргин обнял Петра за плечи и спросил, ласково улыбаясь:

— Ну, съел? Думаешь, раз он гармошку тебе подарил, то сразу и нормальным человеком стал?

Ганс торопливым шепотом перевел Паулю слова Каргина.

2

Если ты молод и тебе какое-то время во всех твоих делах неизменно сопутствует удача, то наступает такой момент, когда ты начинаешь считать себя умнее окружающих. Если нашло такое, то обязательно и очень скоро допустишь ошибки и промахи, которых раньше наверняка избежал бы.

Виктору длительное время везло: и все его вылазки — совместные с Афоней и одиночные — сошли с рук, и ни одного задания отряда даже в малом он не завалил. Наконец и приемник нашел, и в отряд его доставил!

А тут еще и немецкие войска увязли в боях под Москвой, здешние деревни уже ободраны, как весной молодые липки, и фон Зигель пока ничего не требовал. Даже не ругал за то, что полицейский пост Слепышей не доставлял в Степанково неблагонадежных лиц. Возможно, и потому, что считал: в такие морозы и метели все враги нового порядка сидят затаившись по своим теплым закуткам.

Первые дни Виктор наслаждался покоем, а потом почувствовал какую-то гнетущую тяжесть. Исходила она и от Клавы,

которая караулила каждое его желание, и от тишины, безрадостно царствующей в доме.

Старик он, что ли, чтобы на печке сутками сидеть?

Особенно тяжелы воспоминания, а они, словно назло, шли бесконечной чередой. Чаще всего — родная Тюмень и спуск к лодочной переправе в Заречье; летишь на санках по нему, вот-вот задохнешься от встречного ветра... И школьные вечера...

Прошлой зимой в это время пошел бы в кино. Или на каток, или в библиотеку...

— У тебя, Клава, есть что-нибудь почитать? — спросил он.

— «Анна Каренина», — ответила она после небольшой паузы и добавила, оправдываясь: — Последние два года я в Москве жила... Дать «Анну»?

— Проходили мы ее в школе...

— А теперь ты просто почитай, — заторопилась Клава, ветром слетала в соседнюю комнату и, вернувшись, положила перед Виктором изрядно потрепанную книгу.

— Другого ничего нет? — спросил Виктор, не скрывая своего разочарования.

— «Анатомия». Перебирала хлам в чулане и нашла ее.

В этот вечер они сидели, как образцовые супруги, сидели за столом рядом и читали. Клава была довольна, а он злился. И на книгу, которая не смогла увлечь его, и на Клаву, за то, что она была рядом и одновременно — далека, и на себя за непотребные мысли.

Ведь обещал же Василию Ивановичу, что теперь Клава для него будет только сестрой!

Когда стало вовсе невмоготу, захлопнул книгу и сказал, залезая на печь:

— Муть сплошная, лучше посплю.

Клава пообещала завтра же у соседей поспрашивать интересную книгу, уверяла, что и эта очень хороша, только вчитаться в нее надо. Нудно, как маленького, убеждала.

Он демонстративно отвернулся лицом к стене и даже начал похрапывать: дескать, засыпаю, не мешай.

Утром, наскоро поев вареной картошки с луком, Виктор вышел из дома, остановился на крыльце. Солнце уже довольно высоко поднялось над лесом, и снег тысячами искорок впился в глаза, ослепил.

В мире белизны чернели две кривые линии избушек. В сугробах они казались меньше, чем были на самом деле, и выглядели немного жалкими. В поднебесье лениво карабкались жиденькие столбики белого дыма: жизнь требовала свое, и хозяйки мудрили у печей.

Куда же пойти? Василий Иванович еще вчера ушел куда-то, сказав, что вернется через сутки или двое, а для начальства, если оно спросит, дескать, ушел проверять окрестные деревни.

Может, к Афоне заглянуть? А что даст эта встреча? Длинный разговор о том, скоро ли Красная Армия отгонит немцев

от Москвы, скоро ли начнет громить их. Потом Груня опять будет втыкать Афоне шпильки, а он начнет хмуриться и сопеть. Надоело!

Виктор быстро зашагал к домику Авдотьи. То ли дело беседа с Аркашкой! С ним болтай, а ухо востро держи. Как циркач, что по тонюсенькой проволочке под самым куполом цирка выплясывает. И внизу сетки нет.

Аркашка встретил радостно и сразу послал Авдотью за самогоном.

— Я вчера в Степанково ходил, — словно между прочим сказал Аркашка, когда выпили по стакану. Сказал и украдкой цепко следил, как отреагирует Виктор. Но тот даже косого взгляда не бросил — как хрумкал огурец, так и продолжал. Тогда Аркашка пояснил торопливо: — За сводкой, как старшой приказывал.

— И что там? — спросил Виктор и потянулся к бутылке.

— Чтобы фронт выровнять, немецкая армия Тихвин оставила. Где такой, не скажешь?

Виктор знал, где находится Тихвин. Теперь, услышав, что он освобожден, даже подумал, а не дало ли трещину кольцо блокады вокруг Ленинграда. Но ответил пренебрежительно:

— Таких городишек не счесть, разве упомнишь?

— Так ведь ты в школе учился, полное образование получал.

— Думаешь, отличником был?

— Ну, не отличником, а все же учился. Я и то помню, что в Тихвине строили что-то. По пятилетке.

— Выходит, ты больше, чем я, следил за их успехами. Поди, в активистах ходил?

Аркашка поспешил выпить:

— Чтоб это последнее сокращение фронта было!

Так, пытаясь поймать друг друга на слове, досидели до сумерек. Авдотье наверняка пришлось бы бежать снова за самогонкой, но мимо окон избушки, скрипя полозьями, пополз обоз. Странный и страшный обоз: сани-розвальни тащили люди. Один шел за коренника и по два-три человека на каждую оглоблю. Старики, женщины и дети тащили сани-розвальни, где, торопливо и неумело увязанное, громоздилось нехитрое крестьянское добро: узлы с тряпьем, чугунки и даже хомуты. Лошадей не было, а хомуты везли. Это больше всего поразило Виктора: зачем хомут, если нет коня?

Рядом с санями шли те, кто уже не мог впрячься и еще не обессилел настолько, чтобы свалиться на родичей и соседей лишним грузом.

Ни вскрика, ни матюка. Только монотонный скрип полозьев.

Сразу протрезвев, Виктор выскочил на улицу.

Равнодушно шли люди мимо Слепышей. Угрюмые, подавленные своей бедой.

Втянулся обоз в единственную улицу деревни, и из хат повысыпали люди, молча, недоуменно смотрели на вереницу саней, скорбную и величавую, как похороны героя.

Но вот дед Евдоким зашагал рядом с одними санями, перекинулся несколькими словами с женщинами, тащившими их, а еще через минуту, ухватившись за оглоблю, властно свернул к своей избушке, вспарывая санями снежную целину.

Сразу от всех домов к обозу метнулись люди, загалдели, заголосили, заплакали.

Общее горе подмяло даже Аркашку, он сказал без обычной ухмылки:

— Видать, покарали кого-то.

У дома Клавы сгрудились трое саней, и Виктор заторопился, чтобы помочь Клаве разместить людей, а заодно и узнать, что за беда обрушилась на них и когда. Едва перешагнул через порог кухни, не успел еще и поздороваться, как увидел на лавке изможденное старческое лицо. Именно только лицо — строгое и чуть согретое последними крохами жизненного тепла.

Около умирающей толпились беженцы. Сейчас они здесь были хозяевами, а Клава, спрятав руки под концы шали, стояла в сторонке и будто боялась шевельнуться.

Одна из незнакомых женщин и шагнула Виктору навстречу, сказала строго, подняв на него ненавидящие глаза:

— Уйди, господин полицейский, богом прошу, уйди. Дай ей хоть умереть среди своих.

Он выскочил на крыльцо, хрястнув дверью.

А он что, не свой? Не советский?

Злость кипела, душила его, и он быстро шел по улице, шел, казалось, неизвестно куда, а остановился у той половины дома, где жила Нюська. Здесь не стояло саней во дворе. Здесь никто не толпился и в горнице. Он, Виктор, да Нюська. Двое.

Она глянула на него, усмехнулась как-то нехорошо, а еще через несколько минут на столе появились две бутылки самогона и соленые огурцы. Опять огурцы, опять соленые! И он схватил миску с огурцами, со всего размаха трахнул ее о стену.

Огуречный рассол заслезился по темным от времени бревнам.

Нюська даже упрека не бросила. Она просто собрала огурцы с пола, сложила теперь на эмалированную тарелку и снова поставила на стол.

А Виктор, которому вдруг до невозможности стало жаль себя, заревел в голос, как это умеют только окончательно пьяные мужики, и, уронив голову на стол, легонько стучал ею по столешнице.

Сколько-то времени он не слышал ничего, кроме своей душевной боли, потом в его уши вполз ровный страдающий голос Нюськи, а чуть позже и слова, которые она произносила нараспев:

— ...Если хочешь знать, то в любой войне нам, бабам, больше всех достается. Мы и мужиков своих войне отдаем, и слезы

по ним изливаем, и еще от чужих притеснения имеем... А ты закуси огурчиком, закуси, больше-то у меня ничего нету.

Он, подавленный открывшейся ему бабьей правдой, не только взял огурец, но и сжевал его до малюсенького скрюченного хвостика.

А Нюська все плакалась:

— Или я по доброй воле к нему бегаю? Да близко бы к себе в другое время такое мурло не подпустила, а теперь его сила... «Ежели в указанный срок не явишься, с отделением к тебе нагряну. Тогда напляшешься», — это он мне говорит. И приедут, и надругаются, а где заступу найдешь? Вот и хожу точно в срок... Реву, но бегу...

Виктору жаль Нюську, он искренне рад бы ей помочь. Еще больше жаль себя. Ведь он так старается для всех советских людей, а что имеет за это? Все от него шарахаются, презирают его! Справедливо?! И он пьяно бормочет, обнимая Нюську:

— Оба мы с тобой несчастные, оба!

Она поддакивает, подносит к его губам стакан с самогоном, и сразу словно черным пологом отгораживается Виктор и от Нюськи, и от всей жизни вообще...

Просыпается Виктор неожиданно и долго не может вспомнить, как попал сюда, почему спит на кровати Нюськи. Со стыдом осознает, что в чем мать родила валяется под стеганым одеялом.

Закрывает глаза, притворяется спящим. Чтобы еще хоть на минуту отдалить момент неизбежного пробуждения.

3

Дед Евдоким не был ханжой, в молодые годы и выпивал в компании, и в любовь с бабами играл. Поэтому он многое прощал Виктору и еще больше простил бы. Но вчерашнее — ни в жизнь: свои, русские, с бедой пришли, а Витька мало того, что нализался, так еще и к Нюське завалился. Будто плевать он хотел на мирское мнение и вообще на все, что на белом свете творится.

А ведь событие-то какое! И горе народное, и радость превеликая — все сразу!

Немцев расчихвостили под Москвой!

Если верить пришельцам, сначала, когда немцы еще верх брали, они не особенно шастали по деревням. Конечно, и расстрелов, и насилий, и грабежей — этого хватало, но, сжав норов в комок, терпеть можно было.

Потом, в середине декабря, в деревни нагрянули особые немецкие команды, выгнали всех на мороз и запалили хаты. Дескать, мы отойдем, чтобы выровнять фронт, но русские найдут здесь только безмолвную снежную пустыню. Вот и палили деревни целиком, от околицы до околицы. Дымище — неба не видать.

Чуть заголосил, стал хоть чуток защищать отцами нажитое — автоматная очередь. Или загонят всю семью в дом и спалят его.

Каковы потери немецкой армии, какой силы удар на нее Красная Армия обрушила, этого пришельцы не знали. Зато твердили в один голос: аж под Яхромой на Москва-канале фашисты были, да так турнули их оттуда, что на весь мир пришлось немцам объявить о своем отступлении.

Однако хитры, сволочи: дескать, нас не побили, а мы сами добровольно отходим, чтобы сократить и выровнять фронт. Вот что кричат!

Нашли дураков, кто поверит?

Беспощадно разозлился дед Евдоким на Витьку-лейтенанта за его бесчувствие к народному горю и, как только в деревню вернулся Василий Иванович, решительно зашагал к Афоне.

В доме Груни тоже полно бедолаг: ребятня, сморенная теплом, посапывала на печи и полатях, а взрослые сидели за столом, о чем-то рассказывали.

Окинув взглядом людную горницу, дед Евдоким сказал, глядя на Афоню:

— А ну, выдь на крыльцо.

Афоня как сидел за столом, так и выскочил на мороз в одной рубашке. Немедленно вслед за ним вышла Груня, набросила ему на плечи кожух и осталась стоять рядом.

— Тебя, Грунька, кто сюда кликал? — заворчал дед Евдоким. — Не бабий разговор у нас.

— Не скажи, деда, не скажи! — шепотом затараторила она. — Где это видано, чтобы у мужика от жены секреты были? Али правду судачат, что ты по солдаткам шастать начал? Может, для подмоги моего Афоню сманиваешь?

— Дура! — оборвал ее дед Евдоким, пожевал бороду, вспомнил, что Груне многое известно, и сказал так, будто и не гнал недавно: — Шагай, Афоня, к Василию Ивановичу. Доложи, мол, так и так, лейтенант шибко большую политическую промашку дает. И что есть она сплошной подрыв авторитетства и законной власти, и всей Красной Армии... Я бы и сам зашел, да тебе сподручнее: ты к нему подмазываешься, чтобы полицаем стать.

Афоне неохота с доносом идти. И на кого? На Витьку-лейтенанта. Он, если хотите знать, первейший человек!

Вот и мнется Афоня, выискивая причину, чтобы отказаться.

— Раз надо, то надо, — говорит Груня и уходит.

Ей больно, что Афоня пойдет как бы с доносом на своего товарища, но отговаривать — язык не поворачивается: виноват Витенька, крепко виноват лейтенантик. И перед народом, и перед Клавой виноват...

Забежала к ней, а у нее глаза краснущие и нос припух.

Ох и тяжела ты, доля бабья...

Афоня вернулся быстро, того быстрее собрался и вновь ушел, бросив у калитки, где простился с Груней:

— В отряд послал.

К людям Груня вернулась внешне спокойная. Они даже не заподозрили, как ей сейчас тяжело. И всю ночь просидела с ними, стараясь предугадать решение немецких властей: здешних в покое оставят или тоже погонят подальше от родных мест?

Во всех домах Слепышей этой ночью не спали люди, во всех домах примерно об одном думали. Лишь у Аркашки своя забота: всерьез началось или только временно отступили немцы?

Эх, ежели бы знать точно, он бы такую тактику разработал...

Не спал и комендант района гауптман фон Зигель. О разгроме вермахта под Москвой он узнал несколько дней назад из официального сообщения и бесед с ранеными офицерами-фронтовиками; их в Степанкове теперь порядочно скопилось. Особенно часто раненые вспоминали бой у какого-то Дубосекова, где горстка русских легла костьми, но преградила немецким танкистам путь на Москву.

Самое ужасное, думал фон Зигель, — это потери вермахта: только за период генерального наступления под Москвой (с 16 ноября по 5 декабря) около ста пятидесяти тысяч солдат и офицеров, почти полторы тысячи танков и сотни орудий, минометов и пулеметов.

А если сюда же приплюсовать потери первого наступления? Да еще потери и на других фронтах? Хотя бы за этот же период?

Нет, об этом лучше не думать...

Однако он, фон Зигель, настоящий немец, настоящий солдат. Помнится, он еще не ходил в школу, когда отец сказал, строго глядя в глаза ему:

«Король во главе Пруссии, Пруссия во главе Германии, Германия во главе всего мира. Ты должен быть верен этому завету предков».

И он верен ему. Больше того, как каждая женщина знает, что роды обязательно сопровождаются болью, но идет на это, так и он, верный сын Великой Германии, знал, что на войне победы чередуются с поражениями. В разных пропорциях, но чередуются.

Да, отец, ты оказался прав: ЭТО наступление на Москву закончилось неудачей. Но настоящий немец никогда не отказывается от своих планов. Он всю жизнь бьется за них. Ради себя. Ради своих детей. Ради их детей, внуков и правнуков.

Все это обдумано и решено, можно сказать, продиктовано самой природой немца — вечного солдата-завоевателя.

И все же фон Зигель в теплых ночных туфлях ходит по скрипучим половицам спальни. Изредка взглянет на затянутое льдом оконце и снова ходит. В комнате тепло, и лед тает, выпуклой лужицей расползается по подоконнику. В углах подоконника — свернутые жгутом два бинта. С них вода капает в пустые консервные банки. Звонко капает: кап-кап... кап-кап...

Что сейчас нужно вермахту для победы? Прежде всего — правду. Голую, некрасивую, но только ее. Говорят же советские своему народу правду?

В этом тоже одна из причин их победы под Москвой.

Зачем голая правда немецкому народу? Сейчас зачем? Чтобы до сознания каждого немца дошло: война закончится победой Германии лишь в том случае, если ты вложишь в нее все, что имеешь. И даже чуть больше этого.

Разумеется, высказать такую мысль нельзя — кое-кто ехидно спросит: «Учиться у советских?» Может, даже в гестапо поспешит с доносом.

А разве сила вермахта не в том, что он всегда своевременно подмечал у противника лучшее и брал себе на вооружение? Так, еще в начале тридцатых годов русские первыми додумались до применения в войне массовых парашютных десантов; у русских же зародилась идея создания крупных танковых соединений.

Но, придумав новое, они почему-то отшатнулись от него, а вермахт вцепился — не оторвешь.

Или танковые клинья Гудериана. Они, нацеленные своим острием на какой-то участок фронта, бьют со страшной силой и, разумеется, сокрушают вражескую оборону. Потом устремляются в эту брешь и движутся вперед, пока не увязнут во вражеских тылах или не сомкнутся, окружив врага.

Многие, не только немецкие, но и английские, и американские военные специалисты видят в этом приеме тактическую новинку. Что ж, пусть так и думают, пусть кричат об этом. Но ведь мы-то, немцы, знаем, что подобная тактика родилась у русских? Родилась двадцать два года назад. Только тогда не танковый, а конный клин применяли русские. Тогда конная армия нацеливалась на какой-то узкий участок фронта, тоже прорывала его и неслась по вражеским тылам, порождая смерть, панику, разрушая тылы и коммуникации.

Если сравнить тактику танковых колонн Гудериана с действиями конной армии русских, то в чем принципиальная разница? Танковая лавина вместо конной?

Отсюда вывод: никогда не позорно перенять у врага лучшее.

И последнее. Сейчас, после поражения вермахта под Москвой, к местному населению должно применять только самые жестокие меры воздействия. Смерть и только смерть во всех видах и за любую вину. Страх парализует волю человека.

Короче говоря, прочь доброту вообще! И по отношению к немцам тоже! Фюрер тысячу раз прав, когда говорит, что доброта — слабость, что с добрыми немцами надо расправляться, как с предателями родины. Почему? Добрый никак не поймет: одно то, что побежденный живет, — уже тягчайшее преступление. Доброму невдомек, что немцы как нация никогда не возвеличатся, если на земном шаре будут в меньшинстве. Значит, путь к величию немецкого народа пролегает только через уничтожение других наций. И тогда да здравствует, да властвует сильнейший!

И прочь с дороги всех слабонервных!

Лично он, фон Зигель, всегда был и остается сторонником разумной жестокости. Почему он приказал публично повесить того полицейского из Слепышей? Не проще ли было его расстрелять и бросить труп в овраг? Или — самим убить, а свалить на население? Конечно, проще, но зато сейчас полицейские знают, что служить новому порядку нужно только с полной отдачей сил, ибо их товарищ наказан за бездействие. К тому же, свалив вину за смерть полицейского на местное население, он, фон Зигель, расширит трещину между полицейскими и народом.

При любом исходе этой схватки выигрывает только Германия: друг другу русские будут горло рвать.

Что бы такое придумать сейчас, похожее на операцию с тем полицейским? Только в большем масштабе: русские должны понять, что отступление вермахта от Москвы — рядовая неудача. Не больше.

Скрипят уставшие половицы, скрипят монотонно и жалобно: уже какой километр прошагал по ним господин комендант района...

Скрипит сухой снег под лыжами Афони, который ходко бежит в такую стужу, когда деревья боятся шелохнуться.

Звезды яркими точками еще горели на небе, когда Афоня вышел к знакомой полянке. Только ступил на нее, и вдруг окрик:

— Кто идет?

— Афоня из Слепышей.

— Махорка есть?

Это, конечно, Григорий, только он обязательно обирает пришельца. Ни хлеба, ничего другого не попросит, зато на куреве разорит обязательно.

Григорий долго высекал огонь, даже не раз матюкнулся, пока веселая искорка не попала на фитиль, не поползла по нему, наливая его жаркой яркостью. Но только прикурил, только сделал первую затяжку, сразу заговорил:

— Видал, что наше начальство придумало? Оно дрыхнет в тепле, а ты стой на посту, охраняй его.

Слова осуждающие, а тон такой, будто гордится Григорий, будто любы ему и приказ Каргина, и то, что стоять на посту в такой морозище выпало ему.

— Давай зови начальство, — заторопился Афоня, которому обязательно сегодня хотелось вернуться домой: что ни говорите, полна хата пришлых людей, легко ли Груне?

Григорий завернул рукав тулупа и, затянувшись цигаркой, глянул на часы. Афоня успел заметить, что они у него кирпичиком, немецкие. Григорий почувствовал этот взгляд и пояснил:

— А Пашка-немец — ничего мужик. Гармошку Петьке подарил, свои часы для караула пожертвовал. — И торопливо доба-

вил: — Временно, конечно, пока своих не заимеем... Хотя, айда в землянку, так и так подъем играть надо.

У спуска в землянку остановился так неожиданно, что Афоня сунулся лицом в воротник его тулупа.

— Особо на Пашку-немца глянь: соскочит, будто шильями его кольнут, — сказал Григорий.

4

Соврал Ганс Штальберг, когда назвался сыном колбасника, — учителем был его отец. Русского языка учителем. С первых дней прошлой мировой войны он попал к русским в плен, а вернулся домой — новая специальность уже приобретена. Правда, ни в университеты, ни в офицерские училища его не приглашали, в рабочей школе преподавал. Возможно, из-за его взглядов на Россию не приглашали: любил, заполучив слушателей, рассказывать о том, как богата русская земля и какие смелые и честные люди живут на ней. Однажды после такого разговора отца вызвали в городскую управу. Вернулся он через час или чуть больше, ни слова не сказал о причине вызова, но поток его воспоминаний о России неожиданно иссяк. Разве лишь иногда, выпив лишнюю кружку пива, разоткровенничается, да и то с ним, с Гансом.

Потом, когда Ганс стал членом гитлерюгенда, разговоры с отцом стали возникать чаще. Помнится, он, Ганс, захлебываясь от восторга, поведал отцу, что фюрер хочет вырастить юных немцев похожими на диких зверей.

Отец ответил с непонятной тогда грустью:

«Миллионы лет потребовалось природе на формирование самого совершенного существа, которое известно под именем человека. Не понимаю, почему нужно возвращать человека к первоначальному скотскому состоянию?»

«Фюрер имеет в виду ловкость, силу», — залепетал тогда Ганс, а в ушах звенел голос инструктора-агитатора: «Мы вырастим нашу молодежь резкую, требовательную и жестокую...»

Тогда Ганс не до конца понял то, что хотел внушить ему отец, но какое-то сомнение закралось в душу. Теперь с Гансом неизменно и враз разговаривали два человека: отец и инструктор-агитатор. И если один из них доказывал что-то, другой немедленно вступал в спор с первым. Например, инструктор, захмелев от произносимых слов, процитировал фюрера:

«Славяне должны быть неисчерпаемым резервом рабов в духе древнего Египта или Вавилона. Отсюда должны поступать дешевые сельскохозяйственные и строительные рабочие для германской нации господ!»

Товарищи Ганса ревели от восторга, плача, орали «Стражу на Рейне». Ганс тоже, попав под влияние общего психоза, плакал и орал, но чуть менее восторженно — он вслушивался в тихий голос отца:

«Русские любят пельмени, бруснику, блины. Они многое любят. Но больше всего — свободу. Поэтому сам Наполеон не мог осилить их».

В другой раз разговор начал отец:

«Помню, был там один офицер, любитель ударить солдата. Его нашли мертвым в выгребной яме сортира. Захлебнулся в нечистотах... Русские отзывчивы на чужую беду, способны поделиться последним с нуждающимся, но побои превращают их в непримиримых врагов. И тогда берегись!»

А инструктор твердил другое:

«Уровень развития русских так примитивен, что слова на них не действуют. Единственное, что они понимают и признают, — физическую боль. Значит, когда будете повелевать ими, не жалейте плеток и виселиц. Именно они больше всего отвечают русскому духу».

Вот так и рос Ганс Штальберг, постоянно находясь под воздействием двух противоположных убеждений. В результате, как он считал, не вышло из него ни настоящего немца, ни тайного приверженца русских.

В одно искренне уверовал Ганс Штальберг, наслушавшись подобных речей: германский народ несправедливо обижен историей; прекрасна, но неразумно мала его милая земля. Поэтому, когда взревели трубы военных оркестров, он с чистой совестью явился в солдатскую казарму, был готов воевать за землю для своего народа. И воевал.

Он искренне радовался, когда знамя Германии затрепетало над Голландией, Норвегией и Францией. Он, как и другие его однополчане, отправлял домой посылки из всех стран, где пришлось побывать по воле фюрера, и считал это законным правом победителя. Однако уже тогда, во хмелю легких и быстрых побед, он заметил несправедливость: солдатские посылки — крохи от добычи, осевшей в карманах высокого начальства.

Потом было ранение. Не в бою, случайное: на людной улице Парижа патруль стрелял по французу, но одна пуля угодила в ногу Ганса.

Залечил рану и приехал домой, в отпуск. На солдатском мундире Ганса не было ни креста, ни медали, однако штатские смотрели на него с немым обожанием, готовы были оказывать всяческие услуги. Особенно девушки. И замужние женщины. Даже отец, который часто говаривал, что за оружие человек обязан браться только в исключительных случаях, даже он первые дни отпуска Ганса был весел и много шутил.

Однако в канун возвращения Ганса в часть у отца вырвались слова, доставившие Гансу много горьких минут. Отец сказал, казалось бы, без всякого повода:

«Теперь ты скорее всего пойдешь моей дорогой, пойдешь на восток. Я бессилен изменить твой маршруг, мне остается только желать, чтобы твоя дорога как можно меньше отклонялась от моей».

Ганс удивился, даже оскорбился и спросил, чтобы проверить свою догадку:

«Если я правильно понял, ты желаешь мне скорого пленения?»

«Жизни желаю... Война с русскими не парад — народное бедствие. А я уже стар. Мне хочется, чтобы именно ты подставил свое плечо под мою руку, когда это потребуется... Страшно доживать одному. И зачем?»

Сказал это и ушел в сад, склонился над клумбой, где росли его любимые георгины.

С детства Ганс знал, что если склонился отец над георгинами — не подходи к нему, не беспокой. Сегодня тоже не последовал за отцом. Не осмелился возобновить разговор и позднее, чтобы не поссориться перед разлукой. Просто запомнил все от слова до слова и увез с собой в далекую и таинственную Россию.

Здесь уже первые бои показали, что отец во многом оказался прав. Даже в том, что здесь фронта как такового не было и в то же время он подкарауливал тебя круглосуточно и со всех сторон. И убить тебя на советской земле мог не только красноармеец, но и сугубо штатский человек. Даже женщина, которая, казалось бы, добровольно пошла с тобой в укромный уголок. Случалось и такое...

Сначала Ганс не понимал истоков этой ненависти русских к немцам, которые, как объяснялось населению, пришли в Россию с возвышенной и благородной целью — помочь сбросить ярмо большевизма. В первые дни он, Ганс, даже пытался познакомиться с русскими, хотел стать чьим-то покровителем. Во Франции, например, многие сами искали покровителей среди немцев. И умели быть благодарными за это. А здесь старик, к которому он подсел и завел разговор о погоде, отвечал односложно, неохотно. Тогда, чтобы пробить брешь отчужденности, Ганс прямо спросил:

«За что вы лично нас ненавидите?»

«А если бы я к тебе в дом непрошеным ворвался, как бы ты на меня глядел?»

«Но мы пришли освободить вас...»

«Вот этого-то аккурат и не требуется, эту науку мы крепко и первыми освоили», — вырвалось у старика.

Неуютно, страшновато стало Гансу на русской земле. А тут еще и вереницы машин с ранеными — безногими, безрукими, обезображенными ожогами. Мороз по коже, как увидишь все это...

Тогда и родилась присказка к каждой молитве: «Пусть минует меня чаша сия». Какая чаша, Ганс не говорил: бог сам все знает.

Однако, чтобы помочь богу в исполнении просьбы раба своего, он ревностно нес службу: проштрафишься — фронта не миновать.

Все шло нормально, и вдруг — пленение...

Сначала, когда еще не прошел страх, вызванный возможностью смерти в снегу, он даже радовался, что лежит в тепле, что у него целы руки и ноги. Лишь под утро, когда стало ясно, что русские вот-вот проснутся и могут пересмотреть судьбу своих пленников, под сердце закралась тревога.

Как утопающий за соломинку, хватался Ганс за рассказы отца. И вынужден был признать, что пока сбывалось все, о чем говорил отец: русские и не пытались измываться, унижать человеческое достоинство его, Ганса, или Пауля. Даже не проявляли к ним повышенного интереса, вели себя так, будто пленные немцы для них не диковинка.

За одно это он благодарен им.

Правда, раза два, как казалось Гансу, беда была рядом. Особенно не по себе стало, когда Пауль приказал дословно перевести его ответ Петру, осмелившемуся оскорбить фюрера. Лично он, Ганс, воздержался бы от такого ответа. Но все обошлось.

Зато было много вечеров, когда разговоры завязывались сами собой. Тогда и узнал, что эти русские — бывшие солдаты, отбившиеся от своих частей, — темными ночами рвали линию связи, убивали немецких солдат-одиночек.

Эти действия русских казались ему настолько абсурдными, что однажды он изменил правилу держать свои мысли при себе и спросил:

— Как долго вы намерены сопротивляться неизбежному?

— До полной победы над фашизмом воевать будем, — ответил Каргин.

Ганс мог бы напомнить, что вермахт подмял под себя Эстонию, Латвию, Литву, Белоруссию и Украину, взял Одессу, Киев, Минск и другие большие города, окружил, зажал петлей голода Ленинград и подошел к Москве, но осмелился только заметить:

— Позвольте, но ваши редкие вылазки нельзя назвать войной. Это не боевые операции, а скорее всего... — Тут он замялся, пытаясь подобрать менее обидное выражение.

Паузу нарушил Юрка, его спаситель:

— Как хочешь, так и называй наши действия, мы не обидчивые. А с позиций наших не сойдем. До самой нашей победы не сойдем.

Они не сойдут со своих позиций... Странно, очень странно... Лично он, Ганс Штальберг, пожалуй, не смог бы жить под вечным страхом смерти да еще так непоколебимо верить в свою победу.

За одно это русские достойны уважения. Как нация достойны.

К этому выводу Ганс шел долго, по нескольку раз пережевывая то, что слышал от отца, что увидел и пережил сам.

Самое странное и непонятное за дни пребывания в плену было то, что Пауль вдруг настолько сблизился с русским мальчиком Петером, что добровольно вызвался сначала помогать

ему по хозяйству (колол дрова, носил и растапливал снег), а потом даже ушел с ним подключать приемник к линии, сказав:

— Я — связист, ефрейтор.

И сходил, и вернулся, принеся сводку советского командования, в которой говорилось о разгроме вермахта под Москвой.

То-то ликовали русские!

А Юрий даже несколько раз повторил:

— Ну? Чья берет, чья?

Все шло более или менее нормально, и вдруг Пауль заболел. Еще вчера пожаловался на недомогание, а сейчас, ночью, Ганс случайно прикоснулся к нему и отдернул руку: Пауль горяч, как раскаленная печка.

Пауль заболел... По логике жизни его нужно изолировать. А как изолируешь в этих условиях? Да и зачем?..

Нет, Гансу не все понятно и приятно в характере Пауля, в беде лучше рядом иметь кого-то другого, кто маскировал бы свои взгляды, убеждения. Однако он, Ганс, не имеет права выбора.

И все же, если русские, опасаясь заразы, немедленно ликвидируют Пауля...

Тогда он, Ганс, останется один. Совсем один!..

От подобных мыслей бьет озноб.

Может, попросить у русских позволения переселиться в свободную землянку? Он, Ганс Штальберг, поклянется родовыми муками матери, что не сделает даже попытки к побегу, что будет свято верен русским.

Поверят ли? Ведь они безбожники...

Так думал Ганс, когда в землянку ввалился Григорий с незнакомцем, зажег лампу и проорал привычное:

— Подъем, ореликн!

Афоня с необъяснимым любопытством уставился в тот угол, где, по словам Григория, лежали немцы, и видел, как оба они рванулись с нар при первых звуках команды. Рванулись разом, но один тут же сник и как-то боком сунулся на пол. Второй склонился над ним, подхватил и стал поднимать, горячо нашептывая что-то.

Григорий добавил в лампе огня, и стало отчетливо видно, что глаза у Пауля закрыты, что на ногах он держится только потому, что Ганс сзади обнимает его.

Каргин вплотную подошел к немцам, глянул на Пауля и сказал:

— Он же болен, пусть ляжет.

Ганс как только мог осторожно опустил товарища на нары и заговорил горячо, с искренней слезой в голосе:

— Он поправится... Я очень прошу... Клянусь вам...

Забылась заранее подготовленная убедительная речь. Даже слова русские забылись от волнения, вот и бормотал никому не понятные обещания.

— Его бы поближе к печке, — подсказал Павел.

Каргин кивнул, и Петро с Григорием помогли Паулю поудобнее улечься на новом месте. Во всех их движениях Ганс не уловил ничего, кроме обыкновенной заботы о больном товарище. И у Ганса появилась уверенность, что все обойдется обязательно хорошо; он даже перебрался поближе к Паулю, он уже не думал о том, что может заразиться.

А русские сдвинулись вокруг пришельца, который сказал, что вермахт разбит под Москвой, вот фашисты и бесчинствуют там: палят деревни, угоняют на запад мирных жителей. Потом, помявшись немного, закончил:

— Василий Иванович велел передать, что лейтенант выпил и к Нюське завалился, хотя в деревне твердая власть нужна.

Ганс, разумеется, не мог знать, что Афоня умышленно и смягчил вину Виктора, и несколько путано доложил о ней, желая хоть этим помочь товарищу. Ганс просто удивился, что о таком пустяке докладывается командиру: эка невидаль, офицер выпил и с женщиной развлекся!

Так считал Ганс, отметив для себя, что Каргину, оказывается, подчиняются не только здешние бывшие солдаты, но и неизвестный лейтенант. Еще больше он удивился, услышав решение Каргина — человека доброго, отзывчивого и спокойного:

— Насчет лейтенанта, если комиссар согласен, приказ такой: разжаловать в рядовые, лишить правительственной награды. Как морально разложившегося.

Не знал Ганс, что такое вроде бы суровое решение Каргин принял с огромной радостью, даже с тайным облегчением: ему, как и остальным его товарищам, было крайне неприятно, что мальчишка — пусть и бедовый — в глазах народа незаслуженно слывет и лейтенантом, и медаленосцем. Конечно, можно было развенчать его и сразу, как только встретились и узнали биографию, но не принесло ли бы это ущерба общему делу? Ведь кое-кто мог бы подумать, что все советские, которые сейчас во вражеском тылу оказались и вокруг себя народ сколачивают, в какой-то степени тоже самозванцы?..

А разве можно народ на большое дело поднять, если у него нет к тебе полной веры?

Василий Иванович, видать, понял, что сейчас самое время справедливость установить, поэтому и прислал Афоню с известием о художествах Витьки Самозванца. А сам власть свою не применил только потому, чтобы еще больше придать веса ему, Каргину.

Кроме того, в теперешнем положении, когда враг власть имеет, с малой моральной гнили многие большие беды могут начаться...

Строгость наказания поразила Ганса, но то, что где-то здесь же есть и комиссар, в согласии которого нуждается Каргин, и вовсе огорошило. Большевистский комиссар в тылу немецкой армии?! А вдруг он до сегодняшнего дня ничего не знал о том, что Каргин приютил их с Паулем? Вдруг этот мужик, что так вни-

мательно рассматривает его, Ганса, сегодня впервые доложит комиссару об этом, и тот...

Афоня же на какое-то время вообще лишился речи: и звание, и награду — все долой?.. А остальные будто бы еще и недовольны. Мало им этого, что ли?!..

Но спросить об этом не успел, так как снова заговорил Каргин:

— И еще комиссару скажи, что я за то, чтобы он собрал, кого можно, и принародно объявил это. Оно больнее ударит.

— Справедливость восстановлена, и по зубам схлопотал! — оживился Григорий, хотел сказать еще что-то, но Каргин перебил его:

— Доложи также, что у нас Пауль заболел. Может, прикажет раздобыть медикаменты?

Последнее понравилось Афоне. Не потому, что он желал быстрейшего выздоровления фрицу (пусть хоть сегодня сдохнет!). Афоня увидел в этом задании путь к восстановлению авторитета Виктора, уже какое-то искупление его вины и поэтому жадно ухватился за слова Каргина, зачастил радостно:

— В Степанкове — в клубе, сельсовете и райкоме — госпитали, как лекарства не достать? А что трудно или опасно, так разве нам впервой? Лейтенант-то, — тут Афоня запнулся, но быстро поправился: — Он-то, лейтенант бывший, на такие операции горазд. Мы ее, операцию, как миленькую, провернем. Разрешите идти?

Горячность Афони и то, что задание Виктора он воспринял, как и свое, обрадовали Каргина. Но он вида не подал, только предложил тоном радушного хозяина:

— Может, чайку с нами сгоняешь?

— Не, мне еще шагать и шагать, — заторопился Афоня и вышел из землянки, даже не взглянув в сторону пленных.

А Ганс подумал, что давно ли в Степанкове был один госпиталь. Теперь их уже три...

— Видать, Виктор там крепкие корни пустил, — заметил Каргин, все еще переживая радость Афони.

— Хрен с ними, с корнями, — заворчал Григорий. — Операцию не провернем? Хоть малюсенькую?

— Так ведь снегом воронки еще не замело, что остались от тех двух машин, — сказал Каргин так, словно намеревался уговаривать Григория отдохнуть.

Моментально в разговор вклинился и Федор:

— То было три дня назад. Пора бы и...

— И чего вы на меня набросились? — повел плечами Каргин. — Или я против? Давайте пораскинем мозгами, когда и куда ударить сподручнее.

Они уселись вокруг стола и оживленно заговорили.

А Ганс, хотя они и не таились от него, не слушал их. Он вновь думал о загадках души русского человека. За выпивку и короткую близость с какой-то женщиной сразу разжаловали,

и кого? Заслуженного боевого офицера! А о том, что от Пауля можно заразиться, об этом не подумали. Где же здесь железная логика жизни? Где та центральная струна в жизни человека и целой нации? У немцев она ясна: выполняй беспрекословно все, что тебе прикажет фюрер лично или через людей, поставленных над тобой. Убивай, жги, как только и что можешь, — за все не ты, а старший в ответе. Просто и понятно.

А у русских?

Во имя спасения жизни немца рисковать своими, русскими? Ведь добыть медикаменты — не просто сходить в аптеку и купить.

Кроме того, Пауль вовсе не так плох, что немедленно подавай ему лекарства. Да и организм у него молодой, сильный и сам должен справиться с болезнью.

5

Василий Иванович, готовясь взвалить на себя ношу коммуниста-подпольщика, который под личиной старшего полицейского по долгу своей службы был обязан создавать хотя бы видимость деятельности на пользу Великой Германии, не мог даже предполагать, что она окажется так невероятно тяжела. Фон Зигель периодически подсовывал ему задачи, при решении которых требовалось найти что-то такое, чтобы и комендант остался доволен, и товарищам в глаза смотреть было можно с чистой совестью.

А личные встречи со Свитальским или фон Зигелем? Каждая из них была поединком, после которого чувствуешь себя опустошенным.

Да и изучение окружающих людей, установление с ними контактов — это не только опасно, но и томительно, даже муторно: затаились люди, не открывают своей души человеку, который известен им как бывший лесной бандит, а ныне — старший полицейский деревни Слепыши. Перед иным человеком самого себя наизнанку чуть не выворачиваешь, он поддакивает, соглашается с тобой и... в последний момент обязательно уклонится от прямого ответа.

А ведь пока беседовал преимущественно с теми, кому о нем замолвили словечко дед Евдоким, Груня или Клава!

Откровенные же разговоры дают поразительно много. Взять, к примеру, Нюську. Запали ему в память ее слова о том, что она «оседланная, но не сагитированная». А потом и этот дурацкий случай с Виктором подвернулся. Вот и зашел вечерком к Нюське. Поговорили о погоде, о том, как бы до весны дожить. И тут он намекнул: дескать, весной-то обязательно большая вода будет, она поочистит землю, наведет на ней порядок. Казалось бы, самый обыкновенный разговор, а Нюська поняла его правильно. И раскрылась.

Оказывается, она родилась в Смоленске, в слободке, где все дома были только одноэтажные и обязательно герань на каждом окне, обязательно занавесочки; чем плотнее стоит герань на подоконниках, чем затейливей узор на занавесочках, тем больше достаток в доме. Так считалось.

Когда Нюська была еще девочкой, у них герань стеной стояла на окнах. А к тридцатым годам уцелел лишь один цветок, да и то потому, что Нюська облапила его ручонками и так ревела, что мать отступилась. И вся беда — пьянство матери. Оно подкралось незаметно, а потом захлестнуло, закружило, заметелило. Правда, мать — в прошлом хорошая портниха, а теперь пьянчуга, готовая на любые унижения ради водки, — все же успела передать дочери часть своего таланта, и Нюська чуть ли не с четырнадцати лет смогла сама зарабатывать шитьем, стараясь всячески отделиться от матери, от ее нахальных, бесцеремонных гостей. В четырнадцать же лет, если не раньше, Нюська узнала и правду о рождении детей.

Ей исполнилось лет семнадцать, когда стала ловить на себе жадные, оценивающие взгляды мужчин. Это не обижало, даже льстило, что матерые мужики, познавшие не одну женщину, тянутся к ней.

В начале тридцатых годов Нюська впервые и предприняла набег на окрестные деревни.

Из поездки вернулась с толстой пачкой червонцев и двумя плетенками, где один к одному лежали куски сала и масла. Одну плетенку через знакомых мигом продала и ахнула, увидев, какую кучу денег огребла без единого усилия. Сразу после этого, как теперь считала Нюська, она и допустила первый жизненный промах: позволила себе влюбиться в Сашку-гармониста. Дело в том, что его бурная любовь отцвела одновременно с шелестом последних червонцев из пачки, о которой он знал. Нюська в то время еще была готова на жертвы ради любимого, она чуть не достала потаенные сбережения, да сам Сашка спас от беды, сказав спокойно, деловито:

— Вот и кончилась пирушка, начинается похмелье. А я никогда не опохмеляюсь там, где пил.

Чувствовалось, не ей первой так сказал.

Когда он ушел, Нюська долго ревела от обиды, что за свои деньги любовь свою продала.

Проревевшись, она стала думать о мести. Не о той, когда обидчика принародно всяческими словами поносят, когда тайком на его пиджак кислоту плещут. О более страшной мести мечтала. О такой, чтобы Сашке во сто крат больнее стало, чем ей недавно было.

И дня через два или три загудел, задрожал от пьяного топота одноэтажный домик, на подоконниках которого только один цветок герани маячил. Так загудел, что Сашка-гармонист на другой окраине Смоленска услышал, прибежал и, рот разинув, застыл на пороге: стол прогибался под тяжестью закусок разных

и больших гнездовий не самогонки проклятой, а настоящей государственной водки.

Над всем этим изобилием царствовала Нюська — разряженная, порозовевшая от волнения и пригубленного вина. Глаза у нее были большие, и такая ласка из них лилась, что у Сашки-гармониста голова кругом пошла.

— Проходи, Саша, желанным гостем будешь, — пропела она и даже сдвинулась, давая понять, что его место рядом с ней.

Во время застолья, уверовав, что она не держит на него обиды, он и шепнул:

— А мне не сказала, что при деньгах.

— Зачем говорить-то было? — почти в полный голос удивилась она.

— Не ушел бы.

— Потому и не сказала. Надоел ты мне, Сашок, так надоел, что не знала, как от тебя избавиться. Статьи мужские у тебя не те, что мне надобны.

В горнице, где людей — не перечесть, повисла страшная тишина. Будто зверь затаился перед прыжком. Начни он, Сашка, спорить или хотя бы оправдываться — пьяное застолье, охочее до чужого посрамления, сничтожит хохотом, улюлюканьем. В мокрое место сомнет, попробуй пальцем погрозить Нюське. И он ушел, спиной чувствуя, как жалят его злорадствующие взгляды Нюськиных прихлебателей.

А еще через несколько дней Нюська, ничего не сказав матери, уехала из Смоленска и почти год моталась по деревням, обшивала модниц. Наконец, поднакопив денег и устав скитаться, купила половину пустовавшего дома, обосновалась в Слепышах. Здесь у нее и народилась, окрепла мечта — еще поднакопить деньжат и подцепить мужа. Не звезду какую-нибудь, а просто заметного. Хотя бы и в районном масштабе: такой, боясь скомпрометировать себя, не насмеется над ней и верховодить в семье особо не станет; что ни говорите, а на одну зарплату не нашикуешь, вот и придется муженьку за материальной подмогой к жене обращаться.

Задумка Нюськи была, казалось бы, и неплоха, но одна беда все время преследовала: если рядом и повиливал хвостиком кто из районного начальства, то люди в годах и должности малой — кладовщик, завхоз, киномеханик. С киношником, правда, даже жить вместе было начали, да вдруг его жена нагрянула и такое кино устроила, что все Слепыши глядеть и слушать сбежались.

Часа три та Нюську срамила...

Тогда же, сразу после столь бурного расставания с обманщиком, Нюська и решила, что теперь для нее все дороги к настоящему семейному счастью заказаны, что впредь вся радость ее — уловила кого, ну и пользуйся, пока не отберут или сам не убежит. И улавливала. Хоть и кратковременно, хоть и с оглядкой, но радость имела.

Когда началась война, первым побуждением Нюськи было желание бежать в военкомат, проситься в армию. Но жадность (на кого добро оставить?) вескими доводами отговорила: или в России мужиков мало?

Потом адовым кошмаром обрушился фашист со своими притязаниями. И сломалась Нюська, как порой ломается молодое деревцо, которое нерасчетливо пригнули к земле. Отвергнутая своими деревенскими, она в урочный день нарочно гордо проходила по единственной улице Слепышей. До самой околицы гордо шла, чтобы потом, войдя в лес, нареветься в голос.

И возвращалась всегда с высоко поднятой головой...

Еще Нюська в тот вечер сказала, что ей казалось, будто навеки уснула в ней даже обыкновенная женская гордость, и вдруг в ее комнату ввалился донельзя пьяный Витька-полицай и разревелся от большой обиды. Глядя на его пьяные, но искренние слезы, она будто прозрела, вдруг увидела, как в людском мнении упала. И захотелось доказать, что она лучше, чем о ней думают.

«Ну погодите, вы еще узнаете мой характер!» — горячила себя Нюська.

Но в указанные день и час вновь побежала в Степанково...

Вот какова Нюська. Разве нет смысла бороться за то, чтобы она настоящим человеком стала? И разве она одна нуждается в помощи? Всем обязан помогать и подсказывать он, коммунист Мурашов. Поэтому, когда Афоня передал ему решение Каргина, он, улучив момент, зазвал к себе деда Евдокима, Груню с Клавой, а Виктора поставил на середину комнаты и от слова до слова передал ему решение командира отряда. От себя одно добавил:

— С сегодняшнего дня ты рядовой боец. А из отряда не выгоняем потому, что еще верим в тебя.

Виктор стоял на середине той самой комнаты, в которой столько раз бывал, и впервые увидел сучок — черный, узловатый; он уродовал желтую половицу. И как этому сучку никогда не слиться с половицей, так и ему, Виктору, не вернуть былого. Не звания лейтенанта, не медали — они чужие, а доверия и уважения людей. Для них он сейчас чернее черного.

Несколько минут все молчали. Дед Евдоким и Груня были потрясены строгостью наказания. Груня даже уже нашла оправдание поступку Виктора: откуда он мог знать, что именно в этот день беженцы нагрянут? Ну, а дальше, хоть и пьян был, пришел помочь Клаве. А как его беженцы встретили?

Вот и начудил.

У Клавы все переживания были одновременно и сложнее, и проще. Во всем случившемся она винила только себя. Окончательно убедили ее в этом слова Груни, сказанные в сердцах, когда Афоня ушел в ночь и мороз. Забежала посочувствовать, а выпалила такое:

— Ежели, Клавонька, по нашей бабьей правде судить, ты сама виновата. И мой тебе сказ напоследок: или гони его прочь сразу и окончательно, или перестань выламываться, уступи.

— Так он же и не глядит на меня, — всхлипнула Клава.

Груня немного опешила, потом затараторила с еще большим жаром, но уже без злости на Клаву, как бы поучая младшую:

— Мужики, Клавонька, разные бывают. Который в жизни послабее, тот до нас самый настырный. А настоящий мужик гордость имеет. Если получил отказ, силком брать не будет. Взять моего Афоню. Сперва я его телком считала, ну и не допускала до себя. А когда убедилась, что человек он серьезный, что чувства его ко мне не шуточка, кликать, подманивать стала. Не идет паразит! Притворяется, будто не понимает!.. Что же я сделала? Расправила постель, да как заору на него: «И долго еще мне по два комплекта постельного белья стирать? Или не знаешь, что мыла нехватка?»... И пришел, как миленький пришел!

Нет, она, Клава, не сможет так...

Прервал молчание дед Евдоким:

— Вот оно, Витьша, как все обернулось. Таиться не буду, считаю твой грех тягчайшим. К тому говорю, что не привычен в прятки играть. Только иного генерала хоть до унтера разжалуй, он снова в генералы выйдет, природа свое возьмет.

— Не на вас, на себя обижаюсь, — начал Виктор с трудом, отдыхая после каждого слова, а закончил зло, даже с вызовом: — А медикаменты достану!

— Когда пойдем? — спросил Афоня.

— Хоть сейчас идите, — ответил Василий Иванович.

До самого Степанкова молчали, если не считать разговором замечание Афони:

— Потри щеку, белеть начинает.

В улочке Степанкова, когда стала видна комендатура, Афоня спросил:

— Как добывать будем? Или я для мебели?

— Первым делом в полицию заглянем, начальству покажемся. Потом я один явлюсь к Пузану, выменять на продукты попробую.

Пузан — личность в районе известная: начальник одного из госпиталей, а все по деревням рыскает, покупает, выменивает и просто отбирает продукты, чтобы сразу же отослать их в Германию. Похваляется:

«Я имею фюнф киндер: драй медхен унд два зонн... Мальчик!»

В полиции, оставив Афоню в комнате дежурного, Виктор смело подошел к двери кабинета самого Свитальского, удивился, что здесь нет привычного глазу телохранителя, и, постучав, скользнул в кабинет.

Вошел и прежде всего увидел не Свитальского, а чей-то розовый затылок, который, казалось, растекался в плечи, обтянутые простеньким серым пиджаком. Эти чьи-то плечи с розовым затылком, по краям которого вихрились седоватые волосы, по-

хожие на клочья свалявшейся овечьей шерсти, были столь громоздки, что из-за них, как из-за надежного укрытия, выглянул пан Свитальский. Узнал Виктора, разгладил пальцами свисающие к подбородку усы и сказал с радушием хозяина, знающего, что все, сказанное им, будет принято только должным образом:

— Прошу, пан Капустинский, прошу до нашей компании. — И когда Виктор подошел к столу: — Вы не знакомы? Пан Горивода, лесничий.

— Мефодий Кириллович, — добавил Горивода. — Так сказать, имя и отчество у святых позаимствованы, но лично сам — каюсь! — во многом грешен.

У Гориводы бугристое лицо. И брови буграми, и кончик носа самостоятельным бугром, иссеченным синими жилками, и подбородок — все буграми. Между ними, двумя светлыми точками, глаза. Голубые до прозрачности. Позднее Виктор заметил, что именно глаза передавали собеседнику настроение их хозяина, смеялись или были строгими, вопрошающими. Еще привлекали внимание руки — большие, жилистые. Сейчас они недвижимо лежали, но чувствовалось, им ничего не стоит сокрушить подлокотники массивного кресла, на которых они сейчас покоились.

Разговор вертелся около того, что командование вермахта очень разумно поступает, сокращая фронт в канун рождественских морозов: отступая, выманивает русских в чистое поле.

В разгар этого разговора в кабинет ввалился телохранитель Свитальского, зло глянул на Виктора, тревожно — на своего хозяина и успокоился, когда тот милостиво разрешил:

— Давай все на стол, здесь чужих нет.

На столе появились четверть самогона, увесистый кусок сала и даже две куриные ножки. Телохранитель положил их не на середину стола, как все прочее, а перед паном Свитальским, давая понять гостям, что это не для них.

Как ни старался Виктор казаться беззаботным, подстроиться под тон застолья, это удавалось ему так плохо, что Горивода сказал, сверля Виктора бездонными голубыми глазами:

— Мы тут хиханьки да хаханьки, а у молодого человека кошки сердце рвут. Может, мне выйти, чтобы не мешать деловой беседе? — Он даже чуть оторвал плечи от спинки кресла.

— И не вздумайте, Мефодий Кириллович, кровно обидите, — запротестовал Виктор. — Жена заболела, а лекарств никаких, вот и... Сами понимаете, молодожены...

— А ты, Капустинский, на бабьи болячки не оглядывайся, они выдуманные! — загоготал Свитальский.

Горивода же спросил участливо:

— Чем болеет, не знаете?

— Жар сильный и кашель, — врал Виктор напропалую.

— Чаем с малинкой поили?

— Нет ее у нас... Понимаете, ничего нет. Она, я и хата. Все прочее для победы вермахта добровольно отдано.

— А как много и чего из лекарств надобно?

Голос подвел Гориводу, вопрос прозвучал так пристрастно, что даже Свитальский отложил в сторону необглоданную куриную ножку, уставился на Виктора.

— Боже мой, или я доктор и знаю, каких и сколько лекарств надо, если человек простудился? — с обидой сказал Виктор. И не понять, была ли это обида на самого себя за то, что на пустяковые вопросы ответить не может, или на Гориводу, который только выспрашивал, но не помогал.

— Малинки сушеной могу одолжить, если желаете, — потупил глаза Горивода. — Прочего — не обессудьте.

Пока шел этот взаимно вежливый разговор, Свитальский пришел к выводу, что он обязательно должен воспользоваться этой ситуацией, чтобы привлечь Капустинского на свою сторону (авось с его помощью удастся сковырнуть Шапочника), и поэтому зычно рявкнул:

— Генка! — и приказал, когда тот ворвался в кабинет: — Аллюр три креста — к доктору! Лекарств от простуды. Новейших! Расчет потом. — И взмахом руки отпустил телохранителя. — Вот и делов-то... Выпьем?

Горивода отказался, сославшись на время, которого у него больше нет. Прощаясь, напомнил Виктору:

— За малинкой забегайте, обещал — сделаю.

— Большое спасибо, обязательно забегу! — заверил Виктор, стараясь не моргнуть под взглядом голубых глаз, инстинктивно почувствовав, что Горивода — враг первейший, посильнее и похитрее Свитальского и Золотаря, вместе взятых.

Генка ворвался в кабинет без стука, швырнул на стол пакетик порошков и зло выпалил:

— За такую хреновину кило сала отдавать!

— Испарись! — для порядка повысил голос Свитальский.

Виктор понял, что сейчас самое время уходить, и, поблагодарив за помощь и хлеб-соль, заверив в своей вечной признательности, униженно, задом, выскользнул из кабинета.

Лишь за околицей Степанкова, когда рядом был только Афоня, Виктор зло выругался и сказал, потрясая кулаком с зажатыми в нем порошками:

— Лучше бы напасть на госпиталь, чем так унижаться!

— Может, сам порошки в лес снесешь?

— А ты бы смог? На моем месте, смог?

— Потому и предлагаю, что смог бы.

Восточный ветер режет лицо, выжимает слезы. Скрипит снег под ногами двух человек, шагающих бодро, дружно. Рядом с дорогой замер белый лес. Береза ли обнаженная, ель ли разлапистая — все белое от комля ствола до самой тонкой веточки, до самой малой иголочки. И тишина. Будто умер лес, будто сгубил мороз все живое.

Навстречу ползет обоз. И здесь в сани впряжены люди. Идут во всю ширину дороги. Полицаю дорогу они, разумеется, уступят, полезут в сугробы, увязнут по пояс в них. В душе будут

проклинать, но дорогу уступят. Чтобы большую беду не накликать.

Люди уже пытаются вырвать полозья головных саней из колеи, и Виктор с Афоней торопливо отступают с дороги.

Скрипит обоз, скрипит. Медленно ползут сани. Виктор с Афоней все стоят, стараясь не встречаться взглядами с людьми, проходящими мимо; не злоба, а что-то иное, более страшное, читается в глазах людей.

— Так и живем, для своих стараемся, а они живьем тебя съесть готовы, — злится Виктор, глядя на обоз.

— Давай фрица кокнем? — предлагает Афоня. — Вон того, что нас догоняет.

Действительно, разметав обоз на обе стороны дороги, тарахтит мотоцикл. С его руля прямо перед собой смотрит пулемет.

Поравнявшись с полицейским, водитель швырнул на снег конверт и крикнул, разворачивая мотоцикл:

— Приказ господина коменданта!

Руки коченеют на резком ветру, но Виктор вскрывает конверт и вчитывается в каждую строчку: «В целях выравнивания отдельных участков фронта в последние дни производится планомерный отход частей вермахта на заранее намеченные и подготовленные рубежи. Вместе с вермахтом добровольно отходит и местное население.

Однако в массе добровольно уходящего на запад русского народа затаились и отдельные враждебные элементы, которые не только распускают ложные слухи, но и идут на поджоги, убийства и другие террористические действия по отношению к коренному местному населению. Это обязывает местные власти к особой бдительности, и поэтому:

запрещается без разрешения коменданта района давать пришельцам приют более чем на ночь.

За нарушение данного приказа — расстрел и полная конфискация всего имущества».

— Выходит, гнать людей из тепла? С детишками малыми на мороз выгонять? — заволновался Афоня.

— Так получается.

— И будем?

— Это как Василий Иванович решит... Может, он любую ночь прикажет первой считать?

Некоторое время шли молча, потом, когда настала пора расставаться, Афоня спросил:

— Что он, Зигель, родив такой приказ, выигрывает? Людей поморозит?

— Само собой... Да и на другое нацелился: чтобы уберечься от расстрела, местные, как он думает, сторониться пришлых будут. Вот и пойдет разлад.

— Ясно... Ты прямо домой?

— К деду Евдокиму... Как домой пойду, если меня оттуда выгнали?.. Да и перед Клавой...

— А я бы пошел. И рассказал все. Поймет же, не деревянная.

— А я не пойду, — ответил Виктор и зашагал, ни разу не оглянувшись.

Дед Евдоким, казалось, ждал прихода Виктора; ни о чем не спрашивал, ничего не рассказывал, а, шаркая валенками, ходил по своей избушке, собирал на стол, что имел: картошку, лук и хлеб. Виктор был благодарен ему за молчание, думал, что на сегодня мытарства кончились, и вдруг явилась Груня, строгая, неулыбчивая.

— Витенька, выйди со мной на одно словечко, — сказала она ласково и добавила, заметив, что он готов выскочить как есть: — Сбрую-то захвати.

Виктор гадал, что заставило Груню ночью разыскивать его и куда она ведет. А когда понял, что идут они к знакомой околице, к домику Клавы, то запротестовал:

— Не пойду я туда!

Тогда Груня надвинулась на него грудью, заставила отступить в снег и зло прошипела:

— Измываешься над девкой?

— Стыдно же...

— Иди, дурной. — И со скрытой лаской рванула его за рукав.

Войдя в дом, первым делом покосился на лавку, где тогда умирала старушка. Лавка была свободна. Он, украдкой вздохнув и пряча глаза от людей, поискал, куда можно поставить винтовку, бросить одежду. Выручила Клава, она забрала и унесла все к себе в горницу.

— Ужинать будешь или сразу спать? — спросила она так, словно не было за ним никакой вины.

— Чего зря спрашиваешь? Мужик весь день на ногах, на морозе — ясно, голоден, — повысила голос Груня.

Сегодня Виктора не обижало, не злило то, что Клава ухаживала за ним.

6

Больше недели куражились морозы, и почти все это время Пауль болел тяжело, временами бредил. Все это время около него посменно дежурили Ганс и Петро. Да и остальные были готовы в любую минуту прийти на помощь. Даже курили только в печурку, даже разговаривали только шепотом.

Не заболей Пауль, не окажись Каргин с товарищами такими человечными, отзывчивыми на чужую беду, возможно, еще долго таял бы лед отчужденности, возможно, еще не один месяц прошел бы, прежде чем людей друг в друге разглядели бы. А теперь, едва Пауль, очнувшись, попросил есть, как просит каждый больной, решительно повернувший на поправку, Ганс встал, опустил руки по швам и сказал, глядя на Каргина:

— Я думал о вас плохо...

— Что ж, бывает, — ответил тот и кивнул, давая понять, что считает разговор оконченным.

Зато Григорий сразу же постарался вознаградить себя за долгие разговоры шепотом:

— Ты, Ганс, удивительно темная личность, такая темная, что слов нет! И чего нас бояться?

Ганс пожал плечами и улыбнулся. Первый раз за время пленения улыбнулся.

А еще через несколько дней Пауль вышел из землянки, посмотрел на серое небо, угрожающе нависшее над землей, на деревья, ветки которых согнулись под тяжестью налипшего на них снега — мягкого, пушистого, и сказал:

— Гут!

— Что гут? — спросил Федор, который выскочил вслед за ним.

Не понимал себя Федор. Нет, ненависть к немцам у него не ослабела, она стала даже еще сильнее, чем была раньше. Всех немцев ненавидел, кроме этих. Почему так? Хотелось разобраться, понять себя, вот и прислушивался к беседам товарищей с немцами, вот и старался, будто нечаянно, оказаться с Паулем или Гансом.

— Все гут! — убежденно ответил Пауль.

— И я?

— О, Федор — тоже гут!

Пауль уже накопил какой-то запас русских слов, но предпочитал говорить короткими фразами, комплектуя их из наиболее известных русских и немецких слов. Случалось, слов все же не хватало, тогда на помощь спешили руки, они дополняли, растолковывали. Вот и сейчас рука плавно поднялась, нацелилась на ель, и Пауль сказал:

— Хорошо! Рождество!

Ель действительно хороша: метров под тридцать высотой, разлапистая, она гордо возвышалась над сестрами; хлопья белейшего снега пластами лежали на ее ветвях, подчеркивая строгость их зелени.

А рождество... Оно где-то рядом с Новым годом...

На Новый год елку в клубе ставили. Высотой под потолок. И с красной звездочкой на верхушке...

Как далеко все это!

Федор заговорил о том, что больше всего волнует его сейчас:

— Нет, для вас я плохой. Для меня немец, что заноза в сердце. Увижу — обязательно убью.

Пауль уже знал историю Федора, знал, что через самое страшное он прошел, прежде чем оказался в отряде. И уважал его за это. За верность Родине главным образом. Очень уважал. Поэтому не обижался на его, порой резкие, слова. И сам старался говорить с ним без вызова в голосе, спокойно.

— Федор плохой для наци, — сказал Пауль и тут же постарался увести разговор от опасной темы: — У нас не такая зима.

Немного снега, немного мороза. Как это?.. Валенки! Они не нужны.

— Тогда ночью вместо Гришки с Юркой наскочи на вас я — убил бы без промедления.

— Федор лжет на себя.

— Не стал бы разглядывать, просто прострочил бы и все.

Действительно, почему Федор не мог бы поступить так? Перед ним были бы враги. И бог не осудил бы его: убить врага — всегда святое дело.

Ответил же Пауль по-другому, так как не смог подобрать нужных слов:

— Война есть плохо. Солдату не дано знать, где его ждет смерть... Война — зер шлехт.

— Ага, дошло! — обрадовался Федор и, увидев товарищей, которые вылезли из землянки, радостно сообщил им: — Сагитировал я его, война — плохая штука, говорит!

Григорий считает, что Федор незаслуженно приписывает себе перевоспитание Пауля, и бросает словно между прочим:

— Пауль — мужик башковитый, сам разобрался.

— Считаешь, самолично до всего дошел? — усмехнулся Каргин.

— О нет, не сам! — протестует Пауль и, волнуясь, рассказывает о том, что зимнее обмундирование лежит на складах, хотя солдаты вермахта замерзают в лесах, рассказывает о неоправданной жестокости наци не только к русским, но даже и к немцам, которые осмеливаются лишь думать несколько иначе, чем Гитлер.

Только высказался Пауль и сразу заметил, что впервые фюрера назвал просто Гитлером. Русские и Ганс, кажется, этого не заметили, а он полон смущения, будто согрешил против чего-то священного для своего народа. Одновременно пришло и облегчение: сказал просто — Гитлер, тяжесть свалилась с души.

Ганса тоже прорвало, он вдруг выложил всю правду про отца, не умолчал и о своих сомнениях. А закончил так:

— Я не уверен, что вы во всем правы, но я ищу правду и уверен, что найду ее.

— Факт, найдешь, — авторитетно заверил Юрка, а Каргин подвел итог:

— Отец у тебя наблюдательный... Побольше бы таких в Германии, не дрались бы мы между собой.

— А знаете, что мне сейчас пришло в голову? — оживился Ганс. — Мы с вами — верные союзники. Это же необоримая силища! И французов, и англичан мы мигом поставили бы на колени!

— Почему как верные союзники мы были бы должны ударить на Францию и Англию? — скорее удивился, чем возразил, Каргин.

Действительно, почему? Эльзас и Лотарингия — исконные немецкие зёмли? Или чтобы расширить территорию Германии за счет колоний Англии?

Сегодня этот довод почему-то кажется неубедительным, и Ганс бормочет: «Черчилль...», — вкладывая в это имя только ему одному понятный смысл.

Однако Каргин разгадал ход его мыслей и бьет в самое уязвимое место:

— Каждая мать желает счастья своему ребенку. И вдруг ее ребенка убили. За что убили? Кому-то понравилась его земля. Справедливо так будет, Ганс?.. Наконец, если земля вам так нужна, почему не возьмете ее у себя? Как мы в Октябре семнадцатого года?

— Мы каждый квадратный сантиметр своей земли держим на строгом учете. Мы точно знаем, что у нас нет внутренних резервов земли, — заявляет Ганс.

— А какую площадь занимают поместья хотя бы одного Геринга?

Поместья Геринга... В Вестфалии, Баварии, Восточной Пруссии и еще где-то они есть. Какова их площадь? Газеты об этом не писали ни разу. О больших охотах и приемах писали, а об этом — ни строчки.

Разобраться в догадках не дает Пауль, он говорит:

— Муттер обижать плохо...

Мама... Канун рождества, и она сейчас наверняка поглощена заботами: бегает по магазинам, на рынок, может быть, и к фермерам ездит, чтобы в праздник стол был получше. Ведь от него, Ганса, уже давненько нет посылок...

Ганс так отчетливо представил себе мать — чуть сгорбившуюся и поседевшую, но изо всех сил старающуюся казаться молодой, что перехватило дыхание от нахлынувшей нежности.

У мамы такие ласковые глаза...

— Пауль, если завтра на нас нападут твои соотечественники... Если завтра нам придется обороняться от них, можно будет дать тебе оружие? Оно не выстрелит нам в спину? — спрашивает Каргин.

Белка высунула голову из дупла, посмотрела на людей, недовольно зацокала и, распушив хвост, перепрыгнула на ветку ели. Ветка качнулась, и снег посыпался с нее белым облаком. Когда оно осело, ветка оказалась без белых отметин, строго темно-зеленой.

Белка же, словно ей только и нужно было очистить ветку от снега, вновь спряталась в дупло.

— Я не буду стрелять в тебя... в Григория... В тебя тоже... Когда вернусь домой, буду молиться за вас. Если нужно будет убить вашего полицейского... Стреляю хорошо, убедитесь... Или итальянцы нападут, тоже буду стрелять. — Он замолчал, не осилив того, что был обязан сказать.

— Спасибо и на этом, — вздохнул Каргин.

Ганс впервые обрадовался искренности Пауля: не скажи он, самому пришлось бы высказать то же самое. И высказал бы: обманывать спасителей было свыше его сил. Стрелять по соотечественникам — тоже. Ведь тот, в кого он в этом случае будет целиться, возможно, жил с ним в одном городе, в одну школу ходил...

И вдруг в ушах сначала неясно, потом все отчетливее и отчетливее зазвучал голос инструктора из гитлерюгенда: «Мы одинаково безжалостно уничтожим всякого, кто осмелится мешать нам. Для настоящего немца враг не имеет национальности».

Выходит, они, Ганс и Пауль, сейчас стали врагами Германии? Только потому, что едят и спят с русскими под одной крышей? Не пытаются уничтожить их?

Не маловата ли вина, господин инструктор?!

И тут впервые за последние месяцы вспомнилось то утро — солнечное, теплое и трагическое. Их часть недавно вернулась из Франции, вернулась победительницей. Гремели оркестры, произносились речи, возвеличивающие фюрера, Германию и отдельных солдат, чьи подвиги были отмечены различными железными крестами.

А потом было то утро — солнечное, теплое. Тогда оркестры молчали. Тогда часть, в которой служил он, Ганс, просто выстроили во дворе казармы. Когда появились сам оберст и люди Гиммлера, из черного автомобиля вытолкнули Иоганна — унтерофицера, кавалера двух железных крестов.

Он был бледен, скорее всего — упал бы, если бы его не поддерживали два гестаповца.

Перед строем полка с него сорвали погоны, сняли кресты. «Он совершил преступление против нации и достоин смерти, но фюрер милостив: смертная казнь для него заменена пятью годами пребывания в концлагере», — сказал оберст.

После этого Иоганна швырнули в тот же черный автомобиль-фургон и увезли.

Уже значительно позднее из разговоров шепотком Ганс узнал вину Иоганна: он с раннего детства любил соседскую девчонку, которая неожиданно оказалась еврейкой; он попросил снисхождения для нее.

Если за такую малую вину Иоганн осужден на пять лет, то что ждет Пауля и Ганса? А раз так, то не лучше ли попросить у русских оружие, чтобы было с чем в руках отстаивать свою жизнь?

Не успел разобраться в этих вопросах Ганс: появился Павел, готовый к походу, — на лыжах, с автоматом за спиной, рог магазина которого смотрел в серое небо.

— Ничего не забыл? — спросил Каргин.

Павел пожал плечами.

— Тогда — ни пуха ни пера.

— Иди к черту, — ответил Павел без намека на улыбку и заскользил в глубину леса.

Он пошел на задание. Не в первый раз кто-то из русских уходит на задание. И всегда так же буднично, как на обыкновенную работу. Кажется, пора бы привыкнуть, но Гансу и Паулю невольно хочется почтительно вытянуться.

7

Аркашка Мухортов вовсе не был затворником, вовсе не искал одиночества. Даже наоборот, все его потуги с выбором профессии таили в себе одну мечту: выкарабкаться в знаменитости, завладеть деньгами, чтобы вокруг всегда суетились людишки, возвеличивая его.

Первое время, став полицейским, он, как казалось ему, нашел то, о чем мечтал втайне: перед ним заискивали, сгибали спины в поклоне, одним словом, он чувствовал себя если и не пупком деревни, то фигурой весомой. И вдруг потом вокруг него образовалась пустота. Нет, ему по-прежнему тащили самогон, но от бесед с ним уклонялись. Даже в доме Авдотьи, где еще недавно безраздельно властвовал только он, что-то нарушилось. Об этом кричали и боязливые взгляды ребят, которые он частенько ловил на себе, и молчаливая покорность Авдотьи. Только покорность, ничего больше!

А внимание людское было крайне необходимо ему. И сегодня, проснувшись, когда ночь еще и не думала отступать, он вдруг решил, что обязательно сейчас же пойдет в лес, выберет, срубит и принесет домой самую лучшую елку. Небось тогда загалдят Авдотьины звереныши, начнут ласться к нему, Аркашке: шутка ли, лишь у них в канун Нового года будет елка. Единственная на все Слепыши.

Вместо игрушек на нее навешать винтовочных патронов — вот и вся недолга!

Он засунул за пояс топор, закинул за спину винтовку, встал на лыжи и пошел в лес. Шел не спеша, чтобы в ельник прибыть к рассвету, шел и думал теперь уже не о том, как станет ластиться к нему ребятня, а о том, как бы так словчить, чтобы привлечь к себе внимание большого начальства и сначала обскакать, а потом, при удобном случае, в мелкую пыльцу стереть старшого!

Не было у Аркашки никаких фактов против Опанаса Шапочника, но внутренний голос почти непрерывно нашептывал: «Не тот он, за кого себя выдает, не тот!»

Неважно, откуда и когда зародилось такое предубеждение, но оно крепло с каждым днем, каждый день его подкармливало и взращивало то, что дед Евдоким и Грунька с Клавкой живут, как одна семья, все время друг к дружке снуют.

Конечно, к такой дружбе формально не придерешься: старости деревни и семьи полицейских живут в мире и согласии — только радоваться. Тогда почему он, Аркашка Мухортов, не

пришей к шубе рукав? И должностное лицо, и живет близехонько, а к нему не бегают, к себе погостить его не зовут?

Нет, врешь, господин старшой, Арканя все видит, на ус наматывает, и наступит время, обязательно с поличным тебя ущучит. Тогда, не обессудьте, отыграется за пренебрежение, всласть натешится!

Шел по насупившемуся лесу, веселя себя подобными мечтами, шел до тех пор, пока не уперся в густой ельник. Елки-одномерки, словно держась друг за друга, переплелись ветвями.

Чтобы выбрать лучшую, решил дождаться полного рассвета и, найдя поваленное ветром дерево, уселся на него. Только уселся, только перестал шевелиться, и сразу влился в окружающую тишину, стал частицей ее.

Это было время, когда ночь сдавала вахту дню, и поэтому ночные хищники уже забились в свои тайники, а дневные обитатели еще не вышли на промысел. И в лесу царила тишина, которая казалась плотной, даже осязаемой и хрупкой, как стекло. Сломайся малюсенький сучочек — она уже лопнула, рассыпалась звонкими осколками. А тут раздался кашель. Обыкновенный человеческий кашель. Он сокрушил тишину.

При первых его звуках Аркашка метнулся в ельник, потом сообразил, что лыжня все равно выдаст, что в такой ситуации лучше иметь возможность маневра, и осторожно, вспахивая головой снег, вылез из ельника, затаился за деревом, всматриваясь и вслушиваясь в редеющий полумрак.

Неизвестного лыжника увидел, когда тот проходил метрах в десяти от засады. Одет он был в крестьянский полушубок, но за спиной рогом в сторону Аркашки покачивался немецкий автомат.

Немецкий автомат у цивильного — вернее паспорта обличает.

Вот она, возможность отличиться!

Может, крикнуть ему: «Стой!»?

Лучше без крика: еще бухнется в снег да как стеганет оттуда очередью...

Выждав, пока незнакомец не миновал места засады, Аркашка выстрелил ему в спину. Целился чуть повыше магазина автомата.

Незнакомец, не докончив шага, рухнул, неудобно подломив под себя ногу.

Выстрел сорвал снег с ветвей дерева, под которым стоял Аркашка. Комки снега упали тяжело и сразу. Зато пыльца, почти невесомая, холодная и равнодушная, оседала долго.

Ошалев от удачи, Аркашка подбежал к убитому, перевернул его на спину, заглянул в лицо: не знакомый ли?

Лицо убитого было худощавым, молодым. Русая бородка завитками. Однако и она оказалась бессильна состарить незнакомца. Двадцать два, ну, двадцать четыре года ему, не больше. Значит, из красноармейцев или младших командиров. Из тех, о ком не раз предупреждал господин комендант района.

После того как обшарил карманы убитого и не нашел ничего, первым побуждением было бежать в деревню, сообщить старшому и уже с подводой вернуться сюда. Однако эту мысль сразу же начисто отверг: еще заграбастает старшой себе его, Аркашкину, удачу. Лучше употеть до последней нитки, но самому доставить в деревню трофей: народ, он любит на убитых смотреть, обязательно сбежится, и тогда старшой, хочет он этого или нет, не сможет скрыть правды от начальства, хочет или нет, а придется ему докладывать куда следует о геройстве полицейского Мухортова.

Из последних сил выбился, пока дотащил убитого до Слепыщей. Со злобной яростью сбросил его с плеч на дорогу, едва увидел, что его ноша замечена и почти от всех хат спешат люди.

Подошли, сгрудились вокруг. Народу много столпилось, а слышно только дыхание, прерывистое, взволнованное. Оно давит, гнетет, и Аркашка докладывает, вытирая рукавом пот со лба:

— Вот, выследил и ухлопал.

В ответ — молчание. Многопудовое. Оно так ощутимо, что Аркашка спешит добавить:

— Стрелял гад по мне. Очередями, длинными. Однако я ему врезал.

Словно окаменели старшой и другие. Смотрят на убитого — и ни слова. То ли завидуют ему, Аркашке, то ли осуждают?

И вдруг Клавка всхлипывает, выдает себя.

Всхлипывает и тут же, правда, спохватывается, зажимает рот концом головного платка. Сама-то спохватывается, да одного не учитывает: бабы на причитания охочи, они всегда только выжидают момента, чтобы одна какая начала. Так и здесь случилось: Клавка первую слезу пустила и поперхнулась, а Грунька уже воет во весь голос, бьется в плаче на груди Афони, своего полюбовника.

А тот прижал ее к себе, успокаивает, хотя у самого губы тоже пляшут...

Вот когда попались! Знакомец, выходит, на дороге валяется?!

И вдруг на Аркашку холодным ливнем обрушились причитания Груни:

— И что с нами станется теперь? Понаедет сюда начальства разного, следствие закрутится!.. И зачем ты, ирод проклятый, приволок его сюда?

Аркашка опешил от догадки, что совершил промашку, а Василий Иванович на лету схватывает подсказку и кричит:

— Разойдись!

Люди недоуменно смотрят на него, не понимая, почему надо уходить. Тогда он кричит по-настоящему зло:

— Кому говорю, разойдитесь?!

Теперь у тела Павла только свои, если не брать во внимание Аркашку.

— Да, натворил ты дел, теперь всем нам беду расхлебывать и расхлебывать, — говорит Василий Иванович.

— Чего я натворил? Врага срезал? — хорохорился Аркашка.

— Не срезать, а живьем захватить его надо было, — развивает атаку Василий Иванович. — «Языка» ты уничтожил, вот в чем твоя вина. А спрос теперь с кого?

Только теперь до Аркашки доходит, что поступил он опрометчиво, что большое начальство, пожалуй, так приметит — не возрадуешься. И он заюлил, выпрашивая сочувствие:

— Как его захватишь, если он длинными очередями стегал?

Афоня взял в руки автомат убитого, понюхал ствол и сказал:

— Не стрелял он, нагаром не пахнет.

Окончательно же доконал Аркашку дед Евдоким:

— Видать, ты крепко слова его боялся, раз убивать только со спины осмелился... Полчок твой, что ли?

Если волчью стаю обнести красными флажками, волки теряют разум, лезут прямо на охотников и погибают, хотя запросто могли бы проскользнуть под шнурком с пугающими флажками. Нечто похожее произошло сейчас и с Аркашкой. Услышав обвинения, высказанные Василием Ивановичем и дедом Евдокимом, он настолько растерялся и перетрусил, что начисто забыл о своих недавних честолюбивых помыслах, думал лишь о том, как выкарабкаться из ямы, в которую сам и добровольно прыгнул. Больше же всего пугало и угнетало — ведь знал, что нет вины за ним, а как докажешь, если спрос пойдет? А у фрицев он особый. С него мертвые оживают, слезами умываются.

И, дрожа за свою жизнь, он униженно заканючил:

— Честное слово, братцы, не подумал, что все так может обернуться... Неужели не поможете? Нешто я не свой, не русский?.. Да я после этого и с печки не слезу! — И тут же польстил старшому: — Кроме как по вашему приказанию... Вызволите из беды, тогда приказывайте, что надо, все в лучшем виде исполню!..

— Помочь бы надо, да как поможешь? — пожал плечами Василий Иванович.

Ему было очень нужно, чтобы немцы не узнали о Павле, чтобы до них и слух не дошел о том, что здесь, в сравнительно глубоком немецком тылу, расхаживают советские солдаты, расхаживают с немецкими автоматами. Василий Иванович уже многому научился за месяцы скитаний, приобрел выдержку, которой раньше порой не хватало, и теперь выжидал, добивался, чтобы перепуганный Аркашка сам подсказал нужный выход и даже сам привел в исполнение весь план, уже сложившийся в голове Василия Ивановича. Так надежнее: на себя с доносом не побежит.

Действительно, скоро Аркашка сказал то, чего ждали:

— Сам принес из леса, сам в лес и унесу, а? В снегу захороню. Будто и не было его вовсе... А народ видал — чихать! Нету ему веры у новых властей, нету!

— Разве что так, — будто бы заколебался Василий Иванович:

А дед Евдоким другого мнения:

— Так-то оно так, только понадежнее захоронить надо. Чтобы звери не раскопали, на свет божий не вытащили... Может, на нашем кладбище похоронить? Тебе с Витьшей? А мы — будто и не знаем об этом вовсе.

Весь короткий зимний день Аркашка с Виктором провозились с могилой: земля промерзла почти на метр. И все же осилили, вырыли могилу. Потом навалили сверху холмик земли. Метель мигом укутала его снегом, будто тоже была заинтересована в сохранности тайны.

— Заруби себе на носу: если кто спрашивать будет, он из пришлых. Обозвал тебя всячески, колом замахнулся, ну ты и выстрелил, обороняясь, — в который раз повторил Виктор сообща придуманную версию.

Вместе копали могилу, вместе опускали в нее тело, вместе закапывали его. А с кладбища хотя и одной дорогой, хотя и рядом, но врозь шли. Ни словом не обмолвились, ни табаку друг другу не предложили, когда закуривали. Ненависть разделяла их. И если ненависть Виктора исходила из того, что Аркашка — враг всего советского, следовательно, и его личный, то у Аркашки она родилась вместо благодарности за сделанное ему добро, за своевременную выручку: не хотел он быть кому-то обязанным, вот и желал скорейшей погибели своим спасителям.

Темными окнами и гробовой тишиной встретили их Слепыши. Ни одного огонька, ни человеческого вскрика. Будто с убитым оказалась захороненной вся жизнь.

«Нечего сказать, веселый Новый год настает», — с горечью думал Аркашка, сворачивая с дороги к своему дому.

А ветер голодным псом кружил по деревенской улице, устилая землю бегущими лентами сухого и колючего снега.

Но настоящую силу метель набрала к утру: ветер стал пронизывающим, непрерывным, и, казалось, весь метровый пласт снега повсеместно пришел в движение. Пелена его была настолько плотной, что, как ни вглядывайся в нее, лишь соседний дом разглядишь, да и то не целиком, а какую-то его часть.

Настолько разгулялась метель, что даже на лесной полянке, где притаилась землянка Каргина с товарищами, временами рождались снежные вихри, которые, пробежав немного, разбивались о деревья или о черное колено трубы.

Пауль Лишке, зажав под рукой винтовку, смотрит на движущийся снег и думает о бренности жизни, о том, что она почему-то очень часто обрывается неожиданно, неоправданно. Вот мог ли он даже позавчера предполагать, что видит своего русского тезку в последний раз?

Лишь вчера ночью, когда напрасно прождали Павла день и вечер, стало ясно, что он погиб. Нет, не обязательно умер: попасть в лапы гестапо или абвера пострашнее смерти.

Поэтому необычно тихо было в землянке. Только огонь в печурке то гудел ровно и сильно, то вдруг начинал потрескивать, ломая сучки, вгрызаясь в их сердцевину, да тихонько всхлипывал Петро.

Тогда Пауль подумал, что теперь здесь русских осталось только пятеро, если считать и Петера — мальчишку, которому за оружие браться явно не по возрасту. Дальнейшее произошло очень просто и неожиданно: он вдруг взял из пирамиды свою винтовку и начал протирать. Через минуту или чуть позже рядом с ним устроился Ганс. Такой же молчаливый и решительный.

Сколько времени в землянке сидели две группы — русские — у стола, и они, бывшие солдаты вермахта, — у пирамиды с оружием и даже с винтовками в руках, — этого никто не замечал.

И вера русских в самую обыкновенную порядочность своих недавних врагов окончательно сломила Пауля, наполнила душу его тихой радостью.

Удалив из ствола и с затвора лишнюю смазку, он зарядил винтовку и сказал, стараясь подражать спокойствию русских:

— Их бин фертиг.

Разом забыл все русские слова, вот и сказал по-немецки, что готов.

Каргин придирчиво осмотрел его и приказал:

— Валенки надень. И мой полушубок возьми.

Ночью Пауль заступил на пост; он, немец, ночью отстоял первые два часа в русском карауле. Тогда его сменили точно в срок, а теперь он снова на посту.

Больше всего удивляло Пауля то, что он чувствовал: будет всерьез стрелять по любому, кто попытается напасть на землянку. Кто бы он ни был.

Глава девятая

ЯНВАРЬ

1

В первых числах января метели и морозы враз откочевали со Смоленщины, и установилась ясная, солнечная погода с морозцем, который русские очень метко окрестили «бодрящим»: не пытается откусить нос или уши, но и застаиваться не дает. И если еще недавно, объезжая свой район, фон Зигель не находил никаких прелестей в русской зиме, если еще недавно снег казался ему только холодным маскировочным пологом, наброшенным на землю, чтобы скрыть пожарища и другие следы войны, то теперь он, тот же самый снег, заставлял сравнивать себя с белейшим полотном, расшитым серебром наивысшей пробы.

А как красивы, оказывается, русские березы!

Белоствольные, они величаво стоят вдоль дорог, опустив ветви, унизанные плотным искрящимся куржаком. Не от бессилия, не от страха перед морозами опустив ветви, а в ожидании весны, которая неминуемо придет.

Час Гудериана, Браухича и Гёпнера, похоже, уже минул: приказом самого фюрера они отстранены от командования. Как не оправдавшие надежд, не обеспечившие победы, отстранены.

Да, русское наступление под Москвой оказалось не кратковременным порывом шалого ветра, а глубоко продуманной операцией. Уже одно то, что оно продолжается второй месяц, говорит о многом. А если прибавить к этому, что на сегодняшний день русские полностью вернули себе Московскую и Тульскую области, частично Калининскую и Ленинградскую, вторглись в Орловскую, успешно продвигаются к Смоленской?..

Главное же, что безвозвратно проиграла Германия за время наступления русских, — это не территория, не сотни тысяч немецких солдат, убитых на полях Подмосковья (фон Зигель, чтобы не расстраивать себя, даже мысленно не повторял фактической цифры потерь). У Германии пошатнулся авторитет: теперь любому ясно, что молниеносная война не состоялась, что непобедимый вермахт можно бить, да еще как.

Конечно, еще рано утверждать, что война проиграна. Нет, она обязательно закончится победой Германии, но когда?

А тому, что сомнения в победу вермахта вкрались в душу маловеров, доказательств сколько угодно. Даже Свитальский и Золотарь затаились, выжидая! А уж им-то, казалось бы, только и оставалось в жизни, что уповать на Германию: бывшие петлюровские офицеришки, промотавшие по кабакам награбленное, кому они будут нужны, если вермахт проиграет войну?

Много можно привести примеров неверия в мощь вермахта, много...

Но теперь (слава богу!) в сводках уже нет истеричности, меньше воспевается и подвигов одиночных солдат. Это верный признак улучшения обстановки.

Может быть, скоро и стабилизируется фронт?

Однако отец пишет, что фон Бок и фон Лееб жалуются на свое здоровье. Еще два командующих... А полководцы, как известно, жалуются на здоровье лишь в том случае, когда ими недоволен верховный, когда они точно знают, что стоит промедлить и... последует сильнейший пинок, нацеленный пониже спины. Ссылка на болезнь — крохи сахара, которыми верховный разрешает подсластить очень горькую пилюлю.

Лично он, фон Зигель, только сочувствует всем этим генералам, не больше. Для него их вина бесспорна: на то тебе и власть большая дана, чтобы с тебя спрашивать по полному счету. Не оправдал надежд? Вот и получай!

Взять фон Лееба. Ему было приказано стереть с лица земли Ленинград, а он застрял, увяз в его пригородах, ограничился

лишь бомбежками и артиллерийским обстрелом. Разве так он должен был действовать? Конечно, нет! Положи десятки, даже сотни тысяч своих солдат, но выполни приказ!

Хотя в России на каждом шагу натыкаешься на неразрешимые загадки. Вот он, фон Зигель, должен обеспечить полный порядок в своем районе. Словами приказов, силой оружия или страхом смерти, но обеспечить.

А как обеспечишь, если не знаешь, если не можешь даже предположить, о чем думает русский, мимо которого пронеслась твоя машина? Согласен, как и полагается, за несколько метров до нее русский обнажил голову, склонил ее в поклоне. Из покорности сделал все это? Из страха? Скорее всего ни то, ни другое. Лично он, фон Зигель, готов биться об заклад, что русский прячет глаза, чтобы сохранить в тайне свои мысли.

Всё загадка в России. Сплошная загадка. Как снег прячет не только кочки и ямины, но и человеческие трупы, так и смиренный поклон почти любого русского не что иное, как искусная маскировка.

Да, в районе за последние два дня не было ни одного поджога, ни одного нападения на солдат вермахта или полицейских. Однако из этого вовсе не следует, что здесь установлен настоящий порядок: сегодня доложили, что бесследно исчезли еще пять солдат из тех, которым по делам службы надлежало проследовать через район. И это легко объяснимо: здешние солдаты и полицейские чины с наступлением сумерек сидят в казарме или дома, вот и не исчезают.

Правда, гебитскомендант склонен причину исчезновения этих солдат видеть в некотором упадке дисциплины, вызванном временными неудачами на фронте; считает, что они дезертировали. А, позвольте спросить, куда дезертировали? Разве не глупо думать, будто какой-то немецкий солдат надеется проскользнуть незамеченным через Россию да еще половину Европы?

Нет, господин гебитскомендант, подождем лучше до весны. Как сказал тот полицейский из Слепышей, весной снег стает, и тогда многое тайное станет явным.

Ох уж эти русские снега!

Все-таки Опанас Шапочник — хороший старший полицейский, его владения, пожалуй, единственные в районе, где нет грызни между полицейскими чинами. За три месяца ни одной жалобы, все приказы выполняются точно и в срок.

Хотя хорошо это или плохо, что нет грызни? Скорее — плохо: где нет свары, неизбежно наступает единение, значит, копится сила.

Завтра же брошу кость, пусть перегрызутся, пусть меж них родится недовольство друг другом, пусть их постоянно гложет черная зависть. Как у Свитальского с Золотарем.

Фон Зигель даже усмехнулся, вспомнив, с каким воодушевлением два бывших петлюровца, мнящие себя столпами будущей местной власти, наговаривают друг на друга. Не только о том

доносят, что сказал или сделал коллега, но и что, возможно, думает.

А почему так старательно друг на друга наговаривают? Потому, что один стремится поплотнее усесться в кресло начальника, а другой ночей не спит, себя в том кресле видит.

Он, фон Зигель, щедро авансирует обещаниями того и другого.

Что бы такое и кому из полицейских в Слепышах пообещать? Только одному, кому — безразлично. Узнать фамилии, выбрать одну и поманить ее владельца пряником.

Довольный, что нашел ловкий ход, фон Зигель написал на листке бумаги, где значилось все, что следовало сделать завтра: «Сообщить, что полицейский такой-то за особые заслуги (не называть какие!) представлен к награде. Возможно, это будет медаль».

2

Угрюмая, злая тишина повисла в землянке, когда пришел Афоня и рассказал подробности гибели Павла. Не потому, что напугала смерть товарища: она на войне, да еще во вражеском тылу, — дело обыденное. Кровно обидело и разозлило то, что от руки последнего труса и не в бою, а при случайной встрече погиб Павел.

Помолчали. Потом Григорий с Юркой заспорили, даже поссорились. А из-за чего? Оба требовали немедленно казнить убийцу, но Григорию непременно подавай суд и все прочее, а Юрка это считал излишним:

— И чего с ним цацкаться? Суд — это уже признание, что того гада за человека считаем. А он — бешеная собака, которую нужно немедленно просто убить!

Конец спору положил Каргин. Он долго терпел перебранку, а тут хлопнул ладонью по столу и сказал так властно, что приятели сразу угомонились:

— Поорали — и хватит!.. Почему погиб Павел?.. Вас спрашиваю.

— Случай... Судьба такая глупая, — буркнул Григорий.

— Случай! Судьба! — передразнил Каргин, начавший злиться. — Эту самую судьбу я вчера по всему лесу видел. Наследили, будто гонки лыжные состоялись!

— Зимой завсегда след остается, — стал закипать и Григорий. — Не ангелы мы, а люди, по земле ходим!

— С головой ходить надо!.. Как у нас на Урале охотники к своим потаенным удачливым угодьям ходят? Перед метелью или в снегопад. Чтобы следы сразу замело!.. И еще елочку за собой тащат, лыжню заравнивают!.. Вот так-то...

Возразить нечего. Лишь Петро спрашивает:

— Дядя Ваня, а почему этого ты раньше не сказал? Когда дядя Павел еще живой был?

— Почему не сказал?.. Есть вещи, говорить о которых в голову не приходит: настолько тебе они ясны. Вот и не сказал... Моя вина.

Чистосердечный ответ командира больше всего поразил Пауля. Ни один из офицеров, которых он знал, никогда не осмелился бы сказать подобное. Да что там офицеры! Ефрейтор Пауль Лишке, упрекни его в чем-то подчиненный, заподозри в ошибке, — так бы оборвал нахала, немедленно показал бы ему место!

Несколько дней безвылазно просидели в лесу, ждали метель или снегопад. Но небо все время было безоблачным. Ожидание всегда тягостно, а если у тебя еще и еда на исходе — оно мучительнее иной пытки. Пустой желудок нагоняет мысли грустные, все больше о еде. Вот и сказал однажды Ганс, слив из миски в ложку последние капли грибной похлебки:

— У нас в Германии бывали дни, когда весь народ за одним столом обедал.

— Где же этот стол ставили? Чтобы весь немецкий народ за один стол усадить, во сколько же километров длина его должна быть? — невесело пошутил Юрка.

— Нет, такого стола не было. Просто в указанный день на улицы выезжали походные солдатские кухни, и все настоящие немцы подходили, покупали суп. И рабочий, и владелец завода, и... — Тут Ганс замялся, боязливо глянул на Пауля, который для него все же оставался старшим по чину, но все же закончил: — ...и Гитлер тоже.

— Так тебе и станет Гитлер баланду хлебать, — усомнился Григорий.

— Сам Гитлер, сам Геринг ели за общим столом, клянусь богом! Ибо единство нации — превыше всего!

Все уже знали, что, если немцы клянутся богом, будь уверен, что они говорят правду, и Юрка не стал спорить, пробормотал что-то невнятное и отвернулся от Ганса, будто потерял интерес к разговору. Зато Каргин немедленно воспользовался моментом, заговорил, как всегда, спокойно, словно думая вслух:

— Вот так и оболванивали. Как же, сам Гитлер простой суп ест! Полное единение всех немцев!.. А еще немного погодя — и немецкие солдаты Ганс Штальберг и Пауль Лишке с радостью идут умирать. А за что умирать? Ради чего умирать?.. Григорий, на сколько килограммов прибавил в весе за войну Геринг?

Еще осенью, когда зарядили проливные дожди, Василий Иванович, чтобы расшевелить товарищей, начал играть в суворовские вопросы. Игра прижилась, о ней не забыли, и Григорий бойко ответил:

— Если взвешивать до обеда, на пятьдесят, после обеда — на все пятьдесят восемь.

И вдруг у Пауля ярко сверкнула догадка, которая примерно неделю назад забрезжила неясно, туманно: в последние дни обед разливает только Каргин; а поровну ли разливает? Ведь показа-

лось же ему, Паулю, показалось тогда, что у Каргина суп еле прикрывал дно миски.

Тогда он заметил эту несправедливость, а до сознания не дошла, вот и не проверил. Значит, остается выжидать. И он промолчал, только особенно пристально посмотрел на Каргина. Кажется, осунулся не больше других...

Ожидание погоды наконец осточертело Федору, и он сказал:

— Все грибы, грибы... Схожу, командир?

— Один?

— Как прикажешь.

С ним ушли Григорий и Юрка. Вернулись утром с двумя солдатскими ранцами. В каждом — бутылка шнапса, пачка галет и банка мясных консервов.

— Геринга бы на такой паек! — проворчал Каргин.

Вскоре кончился и керосин. Теперь в землянке темень. Ее прорезают лишь красноватые отблески пламени, резвящегося в печурке. Когда они, эти отблески, падают на лицо человека, густые тени сразу скапливаются во впадинах его щек, углубляют их, и человек кажется изможденным и злым; в глазах у него чудятся недоверие, голодный блеск.

Есть все время хочется; о чем бы ни старался думать, мысль сама обязательно вернется к еде...

Каргин остатки супа из кастрюли выливает в свою миску. По заведенному порядку товарищи ждут его, чтобы обедать всем разом.

Семь мисок на столе. В каждой похлебка из грибов. Она кажется черной в алюминиевых мисках.

Семь мисок на столе, и во всех одна и та же грибная похлебка. Но в одной она лишь дно прикрыла. Самые полные миски стоят перед Петером, Гансом и Паулем.

Пауль встает. Шесть человек поднимают на него глаза. Тогда он молча тычет пальцем поочередно во все миски. Взгляды шести человек прыгают за его пальцем.

Пауль говорит:

— Почему у Пауля больше? Он маленький? Как Петер? Ему тоже нужно расти?

Даже в темноте все заметили, что Каргин смутился. Он пробормотал растерянно:

— Чего взъелись? Ошибся при дележке, с кем не бывает.

— Чтобы впредь не ошибался, — буркнул Федор, обменил свою миску на миску Каргина и начал есть, будто ничего особенного не случилось.

Григорий с Юркой, переглянувшись, враз потянулись к новой миске Каргина, чтобы долить ее. Тот зажал миску в руках, прикрыл телом и заговорил непривычно мягко, просительно:

— Хватит, ребята, бузить, хватит. Вам же опять на задание идти, вот и копите силу.

— А тебе она не нужна? — буркнул Федор. — Доливай ему!

Только три миски остались нетронутыми — Петера и немцев. Это обидело Пауля, ему показалось, что их, немецких солдат, считают такими же слабыми, как и Петера, и он запротестовал. К его удивлению, никто (не считая Ганса) не встал на его сторону.

— Понимаешь, у нас, советских, есть своя платформа: коли ты к нам в плен попал, то теперь мы за твою жизнь в ответе. Больше своей беречь ее обязаны, — так объяснил Каргин общую непреклонность в этом вопросе.

Начальству не прекословь, не оспаривай мнения старших. Послушание и еще раз послушание впитал Пауль, как говорится, с молоком матери и поэтому не осмелился возразить, хотя мысленно произнес длинную негодующую речь.

Покончив с супом и зная, что больше ничего не будет, Пауль и Ганс вскочили, как обычно, вытянулись у стола. К этому привыкли, и Каргин кивнул: дескать, можете идти. Но они не ушли в свой угол. Даже в темноте чувствовалось — смотрели на Каргина.

— Что еще? — спросил тот немного грустно.

— Мы настаиваем, чтобы нас признали равными или содержали полностью на режиме, установленном для пленных, — сказал Пауль, видимо заранее подготовленную фразу; не споткнулся даже, подбирая слова.

И по тому, как зашевелились за столом товарищи, Каргин понял, что претензия немцев признается законной. Но он все же попытался отстоять свою точку зрения:

— Что мы имеем на сегодняшний день? Землянку, самих себя и полное отсутствие связи с нашим военным командованием. Отсюда вывод: отправить вас в наш тыл или здесь соответствующим образом содержать — нет никакой возможности. Так есть ли смысл предъявлять ультиматум?

— Тогда считайте равными во всем, — сказал Ганс, покосившись на Пауля (все же заговорил без разрешения старшего по званию).

— А кто вас зажимает? — попытался удивиться Каргин, но это удалось ему плохо.

Григорий чертыхнулся и полез на нары, чтобы не нагрубить. Поднялся из-за стола и Юрка. Тут Федор и спросил:

— Ты, Иван, коммунист?

— Бепе.

— Один спрос, раз командир... Мне, еще школяру, настойчиво вдалбливали: «Коммунист всегда смотрит правде в глаза, всегда говорит только правду».

— Во мне такая же начинка, — откликнулся с нар Григорий.

Разговор оборвался, и долгое время было слышно только потрескивание дров в печурке. Наконец Каргин не выдержал этого молчаливого осуждения, заговорил:

— А если их убьют? Или живьем захватят? Об этом подумали?

— Здесь тоже, если налетят, и убить, и захватить могут, — заметил Федор. И тут же заговорил горячо, убежденно: — Человеку нельзя пользоваться половинкой, ему все давай! Как подключаться к вражеской линии связи, как в карауле стоять, то Пауль и Ганс? Равноправие? А как прочие задания, мы сразу вспоминаем, что они пленные? Нет на тебе креста, Иван.

Можно было отшутиться: дескать, креста действительно нет, но настроение не позволяет. Похоже, не ту линию ведешь, командир, не ту...

— Если их одеть в немецкую форму, то очень толково может получиться, — думает вслух Федор.

— Они и так в ней, — подхватывает Григорий.

— Факт, — подтверждает Юрка.

— Дай, Григорий, твоего горлодера, — просит Каргин, долго возится с самокруткой и произносит, укрывшись в облаке едкого дыма, произносит спокойно, как давно решенное: — Сегодня пойдем на главный тракт. Двумя группами. Чтобы Степанково в середке оказалось. Ты, Федор, старшим над горластыми, а я — с Паулем и Гансом.

Тщательно осмотрели оружие, одежду, и, едва короткий день пошел на убыль, две группы покинули землянку.

— Дорога дальняя, к утру, может, и не вернемся, — только и сказал Каргин.

Он идет головным. Пауль, как и полагается второму по званию, — замыкающим. Идут медленно: немцы к лыжам не привычны, их лыжи то под сучок попадут, то пенек или елку в клещи схватят...

Наконец подошли к тракту. После каждого снегопада его очищают от снега жители деревень. И образовались на обочинах снежные валы. Каргин считает, что самое верное — залечь за одним из них, отсюда и прострочить шофера, но по привычке он советуется:

— Здесь, пожалуй, и заляжем. И тракт далеко просматривается, и лес близко.

Ганс переводит Паулю слова Каргина и, выждав немного, торопливо добавляет что-то, показывая рукой на себя, на Пауля и тракт. Пауль, подумав, одобрительно кивает. Тогда Ганс докладывает Каргину:

— Господин ефрейтор предлагает на тракте стоять патрулем. Останавливать машины, проверять грузы.

Не из боязни личной ответственности Ганс свое предложение выдает за мнение «господина ефрейтора», по привычке делает это: все, что одобрено старшим, для рядового становится сразу же приказом свыше.

Каргин еще обдумывает предложение, а Пауль уже что-то говорит Гансу, говорит отрывисто, повелительно, и тот поспешно перелезает через вал снега, прочно обосновывается на тракте. Чуть впереди его и тоже расставив ноги, тоже положив руки на автомат, замирает Пауль. Луна светит изо всех сил, и на искря-

щемся снегу хорошо видны два немецких солдата. Два изваяния замерли на тракте, положив руки на автоматы.

Колонной прошло несколько грузовиков. Их не остановили. Потом появился еще один, замигал фарами. Пауль вышел на середину тракта и повелительно вскинул левую руку: правая сжимала автомат.

Грузовик истошно завизжал тормозами и остановился. Проверка документов, выразительный жест Пауля, и грузовик побежал дальше.

Каргин от холода уже начал стучать зубами, когда появилась легковушка. Узнав ее по низко сидящим фарам, Пауль и Ганс обменялись несколькими фразами, лязгнули затворами автоматов. Каргин подумал было, что они, испугавшись встречи со своим бывшим начальством, сиганут к нему за снежный вал, но, когда настал момент, Пауль поднял руку.

Из легковушки вышел офицер. Он был так брюхат, что его ноги казались случайными тонкими подставками-времянками. Зычным голосом он стал выговаривать что-то Паулю и не умолкал все время, пока проверялись документы.

Лишь возвращая документы, Пауль ответил сдержанно, без намека на грубость, но, похоже, так весомо, что офицер моментально усмирил голос, сменил интонации; теперь он упрашивал, почти умолял.

Как жалел Каргин, что ничего не понимает по-немецки! Ему оставалось одно: притаившись за снежным валом, наблюдать, как Ганс вынимает из машины свертки, пакеты и пакетики, а потом и канистру, скорее всего — с бензином.

Теперь офицер словно плакался, взывал к самому обыкновенному человеческому состраданию.

Наконец Пауль, когда Ганс откозырял ему, повелительно бросил шоферу, не взглянув на офицера, мельтешившего перед глазами:

— Форвертс!

Это слово Каргин знал и обрадовался, услышав его: сейчас машина уйдет, можно будет встать, поразмяться. Действительно, офицер сразу же сел в машину, и она резко рванулась к Степанкову.

— Ну, что добыли? — спросил Каргин, вылезая на тракт и яростно размахивая руками, чтобы хоть немного согреться.

— Продукты и канистру бензина, — охотно ответил Ганс. Он был возбужден удачей, непрестанно улыбался. — Господин ефрейтор сказал ему, что заготовкой продуктов имеют право заниматься только специальные команды вермахта, а не отдельные личности. Таков приказ господина коменданта района. А бензин забрали в назидание. Чтобы не ездил больше! — засмеялся он.

Пауль связывал пакеты и пакетики и молчал. Каргину захотелось услышать его голос, и он спросил:

— Кто он, тот офицер?

— Врач. Из Степанкова.

На лице Пауля отражалось только чувство исполненного долга. Ни волнения, ни радости. Одна убежденность человека в правильности того, что он сделал. Ничего больше!

3

— Богато нынче снегами, — услышал Василий Иванович за своей спиной, вздрогнул от неожиданности и оглянулся.

На тропинке, которую он очищал от снега, стоял мужчина лет шестидесяти. Его одутловатое лицо и пегую бородку Василий Иванович заметил прежде всего и лишь потом обратил внимание на потрепанное полупальто, на залатанные яловые сапоги. Каждый день он ждал этой встречи, почему-то считал, что она произойдет обязательно ночью и будет тот посланец подполья вооружен. Простоватое лицо этого человека, его одежда, смахивающая на нищенскую, и обыкновенная суковатая палка для защиты от деревенских собак — все это так не вязалось с образом, созданным в мечтах, что Василий Иванович только смотрел на незнакомца, враз забыв и пароль, и отзыв.

— Богато нынче снегами, — повторил тот, и, как показалось Василию Ивановичу, в глазах его на мгновение мелькнула лукавинка.

— Да-да, очень много снега! Но он обязательно стает!

— Тогда быть половодью, — отозвался незнакомец и спросил: — А в дом к себе не пригласите?

В кухне, грея руки о теплый бок печи, незнакомец представился:

— Зовут меня Николай Павлович. Надеюсь, этого достаточно для первого раза?

— Разумеется, — согласился Василий Иванович, хотя был готов обрушить град вопросов. — А я...

— Вы — Василий Иванович. Даже скажу, что до войны были директором школы, а в настоящее время — старший лейтенант.

— Нет, я — лейтенант...

— Давайте, Василий Иванович, условимся раз и навсегда: если один из нас сказал что-то, другой воспринимает его слова только как правду.

— Но я действительно...

— Когда вы были ранены, вам присвоено очередное воинское звание... И еще рад сообщить, что жена и оба ваших сына здоровы.

У Василия Ивановича непроизвольно задергались губы, повлажнели глаза. Чтобы скрыть волнение, он полез в карман за кисетом и долго сворачивал «козью ножку», высекал кресалом искру.

— Почему не спросите, откуда у меня эти сведения?

— Радио?

— Оно, милое, оно. И новости первейшие из Москвы, и все

прочее... Ну, Василий Иванович, рассказывайте о своем житье-бытье. С самого начала и как можно подробнее.

И Василий Иванович начал с того, как очутился в лесу и увидел над собой склонившихся солдат. Назвал их по именам.

— Как вы сказали? Каргин? — встрепенулся Николай Павлович. — Незаметный такой?

— Кто это незаметный? Каргин? — удивился и даже обиделся Василий Иванович. — Это внешность у него самая обыкновенная, но сам он человек рассудительный, с хозяйственной хваткой и завидной точностью в выполнении всего задуманного. Если хотите знать, часто из таких людей в минуту испытаний и выявляются вожаки, герои. Не обязательно мирового масштаба, но способные кого-то вести за собой. И словом, и личным примером. У таких людей неистребимая вера в правоту того дела, за которое они взялись. Между прочим, Каргин сейчас командует нашей группой. А вы где встречались с ним, если, конечно, это не секрет

— Допрашивал. После перехода фронта.

— Вы... особист?

— Вас это настораживает?

— Нисколечко... Если быть откровенным, все эти месяцы я разговаривал со своей совестью. А ей, знаете, не соврешь, от нее ничего не утаишь.

— Ну и как? Она все ваши действия одобряет? Или спорите с ней?

— Есть, конечно, промахи, есть даже ошибки. Но разве обойдешься без них, если дело для тебя до беспросветной дикости незнакомое? Меня никто не учил, как организовывать партизанский отряд, никто, даже мельком, не перечислял задач, которые необходимо решать в первую очередь. До всего сами доходим... Упрекнуть нас можно и за то, что все же маловато сделано нами за эти месяцы. Так я думал еще недавно, до встречи с Николаем Богиновым. Оказывается, в их отряде картина почти такая же. Спрашивается, почему? Ваше мнение, Николай Павлович?

— А если сначала я хочу вас послушать? — усмехнулся тот.

— Что ж, можно и так. Только дилетанты могут считать, что любой группе людей, обосновавшихся во вражеском тылу, дозволено нападать на врага сразу, без изучения местных условий, без тщательной подготовки. А на все это нужно время. И еще об одном, о чем нельзя забывать... Если в отряде всего восемь активных штыков, разве ему посильно нападать на гарнизоны, транспорты? Кроме того, очень осторожно приходится убивать каждого вражеского солдата: за одного своего фашисты уничтожают десятки мирных жителей. А тут еще и зима. И будь проклят снег, что надолго сохраняет следы!.. На пустом месте и с пустыми руками мы начали... О людях рассказывать?

— Обо всем, Василий Иванович, обо всем. Считайте, что Николая Богинова здесь не было.

Василий Иванович сказал, что некоторые бойцы отряда ни в какой период своей прежней жизни не были активистами в полном смысле этого хорошего слова. Но, когда встал вопрос — быть или не быть Советской власти, они оружием единогласно проголосовали за нее.

— Меня как коммуниста это особенно радует, — закончил Василий Иванович.

— Да, они без лишних громких слов взялись за оружие и пошли биться за Советскую власть! — подхватил его мысль Николай Павлович, потом сказал после большой паузы: — Главная ваша ошибка, Василий Иванович, — ни черта вы не смыслите в конспирации. И всем своим людям вы известны, и по хатам бегаете, в человеческих душах копаетесь, а должность у вас — препоганая, заметная. Нарвись вы на негодяя, донеси он — большого ума не потребуется, чтобы всю группу ликвидировать. С сегодняшнего дня извольте связь иметь только со своими полицейскими и лишь через них — с отрядом, с окрестными деревнями... Считайте это указанием нашего подпольного райкома партии.

— Как вы сказали? — переспросил Василий Иванович, который еще боялся поверить своим ушам.

— Как слышали, — усмехнулся Николай Павлович. — Надеюсь, не надо предупреждать, что это тайна? Ну-ну, не обижайтесь: вам верю. Настолько верю, что признаюсь: я не только райком, но и подпольный обком представляю.

Откровенно говоря, долгими зимними ночами случалось и такое, что вдруг наваливалась тоска. Тогда начинало казаться, что ты вообще один, а врагов кругом полнехонько. На другой день Василий Иванович нещадно ругал себя за малодушие, ибо в глубине души неизменно верил, что невидимые товарищи всегда рядом. И вдруг сейчас он услышал, что где-то здесь действуют подпольные райком и даже обком партии!

— Николай Павлович, можно я вас обниму?

— Ну, хватит, хватит... И понимаю, и сочувствую, но все же держи себя в руках...

Этот переход на «ты» был столь естествен, что оба почувствовали даже радость.

После того как Василий Иванович справился со своим волнением, Николай Павлович спросил:

— Как тебе нравится поведение немцев?

— А что? Они очень даже нормально ведут себя. Вполне порядочными людьми оказались, — заулыбался Василий Иванович.

— Так чего же ты плачешься, что вы мало их поубивали? — только и нашелся спросить Николай Павлович.

Василий Иванович, которому сейчас и зима казалась жарким летом, сказал сквозь смех:

— Так это я о наших немцах! О Пауле с Гансом! — И он рассказал о них все, что знал.

Выслушав рассказ, Николай Павлович спросил:

— Говоришь, не коммунисты и не штрафники, которые от наказания у нас скрываются? Говоришь, самые обыкновенные немцы?

— Обыкновеннее не бывает.

— И бежать не пытаются, и перевоспитываются?

— Не веришь? Так вот, они еще и в карауле стоят, и к выполнению других заданий привлекаются!

— Да это, Василий Иванович, если хочешь знать, очень примечательно! Самые средние немцы!.. И то о многом говорит, что люди твои на распыл их не пустили... Неужели не понимаешь, как это здорово?

— Не только я, но и остальные наши давно все поняли, — пожал плечами Василий Иванович, которого немного покоробила столь неприкрытая восторженность.

Однако Николай Павлович будто не заметил смены его настроения, продолжал в прежнем тоне:

— Слушай, как считаешь, почему они вдруг перевоспитываются?

Над этим вопросом Василий Иванович и сам задумывался не раз, поэтому ответил без промедления:

— И вовсе не вдруг, время для этого потребовалось... Здесь немцы увидели и узнали сокровенное тех людей, которых еще недавно считали своими заклятыми врагами. Увидели, узнали и, возможно, незаметно для себя, приняли сначала сердцем, а потом и умом. Вот и стали союзниками недавние враги.

— К сказанному тобой, пожалуй, ничего не добавишь... И в карауле стоят, и на задания, говоришь, ходят? И не боитесь?

— Риск есть, конечно.

— Вот это еще правильнее... В самую тяжелую для нас пору все же есть немецкие солдаты, которые переходят на нашу сторону! А что начнется тогда, когда громить их по-настоящему станем?.. Но присматривать за ними пока ой как надо...

Потом пили чай без сахара и снова беседовали. И Василий Иванович узнал, что настала пора объединения маленьких партизанских групп в отряды. Чтобы удары по врагу стали мощнее; кроме того, легче будет наладить централизованное снабжение, руководить действиями партизан.

— На этой неделе тебя разыщет человек. Или два сразу заявятся... Дашь им провожатого и пусть идут к Каргину, — вдруг сказал Николай Павлович.

— Пароль и отзыв? — спросил Василий Иванович, сдерживая радостное волнение.

— Прежние... Ты с Каргиным с глазу на глаз не разговаривал? Какого он мнения о своем бывшем командире роты?

— Как сказать...

— Только откровенно.

— Ни у Каргина, ни у его товарищей нет обиды на капитана Кулика. Но и уважения к нему тоже нет. Непонятен он нам.

— А чего в нем непонятного? — удивился Николай Павлович. — Человек он предельно честный, исполнительный.

— Считаешь, этих качеств вполне достаточно, чтобы командовать людьми?

— Не будем спорить... Кулика нужно в деле повидать, чтобы о нем правильно судить. Так что не будем... Капитан Кулик со своими людьми поступает в распоряжение Каргина. Ясно?

Если бы Николай Павлович сказал, что Кулик отстранен от командования вообще, что теперь он рядовой боец или отделенный, Василий Иванович воспринял бы это как должное. Сейчас же он сказал после длительной паузы:

— Все-таки неудобно. Бывший командир роты — в подчинении у своего солдата.

— Повсеместно установлен такой порядок: кто к кому приходит, тому и подчиняется. Чтобы опять не начинать с изучения местных условий и людей... Скоро и твой Каргин двинется к Полесью. А кто из них там старшим станет — жизнь покажет. Между прочим, ты не задумывался, почему в такой маленькой деревеньке, как Слепыши, немцы без особой проверки трех человек записали в полицаи?

— Это и ребенку ясно: хотят как можно больше народу запятнать, чтобы обратного хода у них не было.

— Правильно. Только это, так сказать, первый этап — массовая вербовка. А скоро и неизбежная фильтрация начнется. Кого-то из теперешних полицаев удастся и в крови народной замарать. Эти, как ценный кадр, останутся. А кого-то и спишут за непригодностью. Как этого вашего...

— Дёмшу.

— Самая главная борьба еще впереди, дорогой Василий Иванович, так что все силы нам в плотный кулак собрать нужно. И поскорее!

Уходил Николай Павлович еще засветло. Провожать себя категорически запретил. Просто пожал руку в сенях и сказал:

— Мухортова вы правильно решили пока не трогать. Он — сволочь, доносчик, но глуп. Значит, если постараетесь, то и без убийства сможете парализовать его деятельность.

Искушение выйти на улицу и посмотреть вслед Николаю Павловичу было очень велико, но Василий Иванович все же заставил себя остаться в горнице. Смотрел на потолок и улыбался его темным доскам.

4

Горивода заприметил Виктора за его манеру держаться уверенно, с чувством собственного достоинства, что в это смутное время было явлением редким, если не сказать — исключительным. Да и откуда взяться у человека всему этому, если никто не знает, что с ним завтра будет? Взять его, Гориводу. Думал ли он, когда с Симоном Петлюрой вошел в Киев, что поход закон-

чится полным крахом? Даже удрать, хотя бы в Польшу, не удалось, так замордовала Красная Армия. И пришлось, сорвав знаки воинской доблести, бежать в Москву, там пробиваться случайными заработками.

Ликвидировала, изжила Советская власть нэпмачей, и после долгих раздумий уехал Горивода на Смоленщину. Здесь ему повезло: устроился лесничим. Работал усердно, как того власть требовала, а сам жадно и с надеждой ловил слухи о боях на КВЖД, Хасане, Халхин-Голе, в Финляндии. Особой надежды на перемену жизни от этих конфликтов не питал, но все же тешил себя мыслью, что льется советская кровь, пусть пока ручейком, но льется.

Воспрянул духом, когда началась эта война. Как только пришли немцы, сразу явился в полицию и раскрыл себя. И тут тоже повезло: Свитальский-то — полячок, вместе на Киев в ту войну шли. Шли-то вместе, а драпали порознь, вот и оказался Свитальский в Польше, убежал от того, что выпало пережить ему, Гориводе.

Но все же и тут он осторожничал: не пошел служить в полицию, куда дружок звал, а остался простым лесничим: опасался, а не забуксуют ли колеса немецкой военной машины.

Все разворачивалось лучше не надо, и вдруг немцев поперли от Москвы!

Казалось, гитлеровцы — карта козырная, а жизнь взяла и побила ее.

Ну кто в такой обстановке, при таких переменчивых событиях может быть уверен в своей судьбе? Дурак или полный прохвост, на двух хозяев работающий. Или тот, у кого в самых верхах Германии крепчайшая рука есть. Способная из любой беды вытащить.

То, что Капустинский не дурак, это сразу видно. Тогда кто же он? Свитальский с Золотарем только и знают, что ему сам господин комендант благоволит. А почему? Дескать, бог ведает.

Поковыряться в душе Капустинского надеялся во время его визита за малинкой сушеной. Не пришел Капустинский. Разумеется, самое верное и милое дело через денек самому к нему нагрянуть: «Как здоровье супруги? Думаю, не пришел, значит, хуже ей стало, вот и осмелился сам наведаться». Не воспользовался этим случаем исключительно из-за того, что не знал, чья сила под Москвой верх берет. А раз не знал, то зачем лишнего врага наживать, когда кругом и без того горечь одна?

Жизнь, она такая тонкая и хрупкая, что не семь, а сто раз отмерь, если резать собираешься.

Сегодня уже ясно, что советские выдыхаются, вот-вот прекратят свое наступление, и тогда начнется стояние фронтов, как в первую мировую войну. С той разницей, что теперь на фашистов вся Европа каторжно работает, значит, вермахт поднакопит силушку, зализет раны да как двинет весной на восток!

Во всех хатах Слепышей люди уже ко сну готовились, когда Горивода поскоблил ногтем темное окно дома, где жил Виктор. Умышленно так поздно заявился: днем, сославшись на неотложные дела, еще и удерет Капустинский, а теперь никуда не денется.

И еще одно, тоже тайное: не осмелится он ночью выпроводить гостя, который с помощью к нему пришел. Не осмелиться — придется ночлег предложить. Значит, для беседы времени предостаточно будет.

Дверь открыл Капустинский. Будто бы не удивился позднему визиту, радушно поздоровался, пригласил в горницу:

— Извините, в кухне у нас родичи жены живут.

Действительно, в кухне, прямо на полу, прикрыв его каким-то тряпьем, лежали женщина и трое детей.

«Спят или только притворяются?» — зло подумал Горивода и заворковал:

— Избави бог, не беспокойтесь, я только малинку занес.

— Гостям всегда рады, а таким, как вы, Мефодий Кириллович, и подавно, — ответил Виктор, вежливо подталкивая гостя к дверям горницы.

Горивода вошел в горницу, потупив глаза, будто бы от смущения за свой поздний визит, а сам заметил и наскоро прикрытую одеялом кровать, и две смятых подушки на ней, и винтовку в ее изголовье; она, винтовка, заставила уважительно подумать о Капустинском: молодой, но момент правильно понимает, жизнь задарма отдавать не собирается.

Благоприятное впечатление произвела и молодуха. Не в пример другим, она молча поклонилась гостю и выскользнула из горницы, погладив мужа влюбленными глазами.

— Поправилась, значит, ну и слава богу, — закивал Горивода и еще раз, теперь уже неторопливо, прошелся глазами по горнице.

Кроме кровати, здесь стояли два стула с прямыми резными спинками и древний комод.

— Раздевайтесь, Мефодий Кириллович, раздевайтесь, гостям мы всегда рады, — подлаживаясь под тон Гориводы, приглашал Виктор.

— Гость — от бога! — выспренно изрек Горивода и положил на пол в углу и полушубок, и шапку с шарфом, напоминающим обрезь половика: такой непритязательной расцветки был шарф, такой грубой работы.

— Обижайтесь или нет, Мефодий Кириллович, но я атеистом воспитан. Однако двумя руками голосую за это изречение, — ответил Виктор, не пряча глаз от пронзительного прищура гостя.

Наконец прищур потух. Горивода залез рукой во внутренний карман поношенного пиджака, извлек оттуда тощий мешочек-кисет:

— Вот она, малинка, пользуйтесь.

Противно Виктору разговаривать с лесником, озноб бьет, как посмотрит на его лапищи, на шею, растекающую в покатые плечи, но он находит в себе еще и силы улыбаться доброжелательно. Втайне же мечтает о помощи, хотя знает, что никто из товарищей случайно не зайдет к нему ночью. Он мучительно ищет лазейку, и вдруг в кухне хлопает дверь, гремит голос Василия Ивановича:

— Эй, пан Капустинский! Или я за тебя сегодня ночью патрулировать буду?

Распахнув дверь в горницу, Василий Иванович видит Гориводу, раскрывает объятия. Тот так же охотно подается ему навстречу, но в глазах — настороженность.

А Василий Иванович распоряжается:

— Афоня! Одна нога здесь, другая там, а выпивка и закусон у меня на столе! — И сразу Виктору: — А тебе так скажу: молод еще за моей спиной шашни заводить! И шейка у тебя тонкая, не ровен час... Заманил к себе такого гостя и помалкиваешь?

Весело, с прибаутками вошли в половину дома, где жил Василий Иванович, и сразу же гость с хозяином остались одни. На столе маячило несколько бутылок самогона, и все же, даже за выпивкой, разговор то судорожно вспыхивал, как костер, на который плеснули бензина, то безнадежно затухал: обсуждать распоряжения начальства оба избегали, а о чем же тогда говорить, если почти не знакомы?

А Виктор с Афоней в это время стояли на крыльце, ждали, не потребуется ли Василию Ивановичу их помощь. Виктор уже знал, что это Клава, выбежавшая будто бы за самогоном, известила товарищей о непрошеном госте. И сейчас, ловя каждый звук морозной ночи, Виктор думал о том, что такая, как Клава, никогда не бросит в беде своего друга.

Наконец Горивода заспешил домой.

— Не обижайте, Мефодий Кириллович, не позорьте перед соседями, — притворно умолял его Василий Иванович.

Горивода долго стоял на своем и вдруг попросил, уже одевшись:

— Вот если у кого-то из рядовых полицейских ночевать устроите, не откажусь. Здоровьишко-то аховое, как обратную дорогу осилю — не ведаю. Ну, к Мухортову хотя бы...

«Ври больше, ври. Еще сотню километров ножками отмеришь, и лишь тогда на твоем лбу испарина, может быть, выступит», — подумал Василий Иванович, но гнул свою линию крайне обиженного хозяина:

— Что люди обо мне говорить станут, если гостя в ночь отпущу?

— А тебе будто не все равно? — неожиданно разозлился Горивода. — Им никогда не угодишь! Серебром осыплешь — золото подавай!.. Или боишься, что полицейский наплетет на тебя?

— Скажешь тоже! — Василий Иванович прикинулся обиженным, быстро оделся, взял винтовку.

— Пошаливают?

— По привычке беру.

Теперь, «обиженный», Василий Иванович имел право бросать лишь самые необходимые слова. Поэтому, будто поссорившись, шли молча до дома Авдотьи. Здесь, заметив, что Василий Иванович намерен остановиться, Горивода сказал как только мог ласково:

— Не держи обиды на сердце.

Василий Иванович еще решал, сменить ли гнев на милость, а Аркашка уже услышал человеческие голоса у крыльца, лязгает в сенках затвором винтовки и орет:

— Кто там? Как пальну!

Едва лязгнул затвор невидимой винтовки, Горивода метнулся к стене дома, будто прилепился к ней спиной. Оттуда и прошипел злобно:

— Трус запросто и своего ухлопать может.

— А ну, выйди, — приказал Василий Иванович, не повышая голоса.

Немедленно, одновременно недоверчиво и обрадованно, прозвучал голос Аркашки:

— Это вы, господин старшой?

— Кому же, как не мне, ходить по ночам?

И все же Аркашка не распахнул, а лишь приоткрыл дверь, в щель осмотрел пришельцев и только тогда выскочил на крыльцо, затараторил:

— Я вас сразу узнал, господин старшой, для порядка кричал, как вы того требуете!

«Продаст или нет?» — какой уже раз подумал Василий Иванович, но отступать было поздно, и сказал, будто ничего не боялся:

— Пан Горивода у тебя заночует. — И добавил после небольшого раздумья. — Сам начальник полиции пан Свитальский с ним запросто.

Добавил для того, чтобы насторожить Аркашку, поукоротить его язык.

Аркашка, который искренне верил в свои многочисленные грехи, намек схватил на лету.

Убогость жилища, куча ребятни, глазевшей с полатей, и Авдотья, будто пришибленная, с потухшим взглядом и плоская, как доска, окончательно убедили Гориводу в том, что Аркашка Мухортов принадлежит к категории вечных неудачников. Такого хоть золотом одари, он все равно с голоду подохнет. Правда, едва гость уселся в переднем углу, женщина слетала куда-то и бесшумно поставила, будто швырнула, на стол четыре бутылки самогона. Ни в одном движении, ни в одном взгляде ее не улавливалось ничего похожего на самое обыкновенное радушие.

Горивода был недоволен и хозяином, и хозяйкой дома, где ему предстояло ночевать. Не знал он, не мог знать, что сдержанность Аркашки — умышленная, от предупреждения Василия

Ивановича. Если бы не тот намек на близость Гориводы к Свитальскому, если бы не боязнь ответственности за свои промашки, он многое бы выложил гостю. Все, что было и могло быть. А сейчас только поддакивал и расхваливал своего старшого и порядки, установленные им.

Молчание и сухость Авдотьи шли от неприязни к тем, кто сидел за столом. Еще до публичной порки она для Аркашки была готова стать преданной рабой, видела в нем обломочек своего счастья, наконец-то дарованного жестокой судьбой.

Авдотье едва исполнилось шестнадцать, когда на покосе ею овладел Никита — разъединственный на Слепыши выпивоха. Ему уже перевалило за сорок, когда случилась эта беда с Авдотьей. Как говорится, и в годах он был, и ни лицом, ни хозяйством в женихи не напрашивался, но она вышла за него, чтобы за церковным браком скрыть позор.

Двенадцать лет промаялась с мужем-пьяницей, не раз терпела от него побои и все же родила ему трех сынов. Могла бы и больше, да сгорел от вина Никита.

Похоронила, даже голосила на его могиле. Почему голосила, если ни света, ни радости с ним не видела? Так полагается. Да и себя жалела: тридцати не исполнилось, а с тела спала, усохла вся.

Потом по-своему пыталась найти свое бабье счастье. Не нашла, только двух девчонок еще родила. И вдруг постучался в дом Аркашка — изголодавшийся, потерянный, разнесчастный. Пустила переночевать. Жалеючи, и вымыла в корыте, жалеючи, и не выпроводила ни завтра, ни через несколько дней. А потом как-то само случилось, что заметила его обходительность, стремление хоть чем-то быть полезным. Тогда и закралась мыслишка: а не долгожданное ли счастье заглянуло? И стоило ему несмело потянуться к ней, раскрылась полностью, доверчиво и радостно.

Около месяца с тревогой ждала, не изменится ли что в его отношении к ней. Не менялось. Тогда еще больше уверовала в свое счастье: не бил, не поносил всяческими непотребными словами. Что еще надо? Она верила, что со временем окрепнет это неожиданное счастье, наберет силу, вот и угождала Аркашке, в глаза заглядывала. Однажды даже щеки свои соком свеклы натерла!

Прозрение нагрянуло сразу, на другой день после порки. Болело тело, но еще больше — душа. И Авдотья, стыдясь выйти из дома, тихонько копошилась в кухне, ежась под испуганными и недоумевающими взглядами своих детей. Переставляла чугуны и чугунки, а сама непрестанно думала о позоре, обрушившемся на нее, спрашивала у бога, за что ей такая кара жестокая, за что?

Переживала, казнилась, а тут еще и Петька, которого считала первым своим заступником и самой надежной опорой, ударил словами, будто ножом в сердце:

— Он-то стоял и похохатывал.

Она, чтобы заглушить крик души, сунула голову в чело печи, загрохотала ухватом по камням пода, ловя несуществующий чугунок.

— А старший полицай, когда тебя к лавке поволокли, до самого коменданта пробился, в заступу пошел, — продолжал без ножа резать Петька.

Авдотья опять видит себя распластанной на скамье, опять слышит злобный, прерывистый свист плети. И невольно вспоминается, что он, Аркашка, ни разу ее пальцем не тронул, но и слова доброго не сказал; если и берег, то как вещь, которая сгодится в хозяйстве.

Слова Петра заставили ее иначе взглянуть на все, связанное с «ним» (теперь и она, как Петька, мысленно называла Аркашку только «он»). А взглянула на Аркашку внимательно, поняла, что не из сострадания, не оберегая ее запоздалое счастье, все бабы сторонятся его, почувствовала — есть в Аркашке что-то отталкивающее, отпугивающее людей. Авдотья не смогла бы словами выразить, что именно, но, обнаружив это один раз, теперь чувствовала повседневно, ежечасно.

Потом исчез Петька. Захотелось взвыть в голос, уже метнулась было за помощью к деду Евдокиму, да Витька-полицай перехватил в проулке и сказал, чтобы не паниковала:

— Петро уехал погостить к хорошим людям. Может, до весны. Или более... Только не болтай об этом. Как бы не отыгрался твой приемыш на Петре. Уж больно разобиделся за упрек, что он, Аркашка, не заступился за тебя.

Теперь и вовсе стал ненавистен «он», но терпела исключительно из-за страха за детей. Поэтому и сегодня покорно прислуживала, хотя — будь ее сила — мигом вымела бы их из хаты. Была все время рядом и невольно слышала, как пришелец расспрашивал о делах в деревне, о всех полицейских, как увиливал «он» от прямых ответов или расхваливал все — дальше некуда.

Наконец мордастый сказал:

— Похабно живешь, без масштаба соответствующего.

— Как понимать прикажете?

— В развалюхе обитаешь, баба у тебя... Да еще ребятни куча... Человек за себя настоящую цену запрашивать должен.

Не шепотом, во весь голос говорили. А ведь она, Авдотья, тут, рядышком.

Замерло сердце в ожидании его ответа: может, хоть слово в защиту скажет?

Он ответил:

— Нет, господин хороший, у Аркашки Мухортова прицел верный и дальний. Меня сам господин комендант знает, презентовал даже!.. А что здесь пока обитаю... В школе учили: дескать, прямая — кратчайшее расстояние между двумя точками. А в жизни умные по прямой не ходят, они свою тропочку пробивают, порой отсиживаются в глухой дыре... И у каждого тропка

обязательно только собственная, единственная. Так, позвольте спросить, откуда вам знать, с масштабом или без оного я живу?

Это были первые за весь вечер слова Аркашки, за которыми промелькнуло его собственное лицо, и Горивода уже с интересом глянул на собеседника, заметил, что тот нисколечко не пьян и глаза у него настороженные, злые.

«Хитер подлюга!» — обрадовался Горивода, еще раз глянул, чтобы убедиться, правильно ли разгадал человека, но теперь с ним сидел опять только угодливый, пришибленный жизнью человечишка.

«Из подлюг подлюга!» — восхитился Горивода и тут же подумал, что такому палец ко рту не подноси. Видать, много знает, только вот как его разговорить?.. Может, старуха мешает?

И он круто повернул разговор:

— У меня вся жизнь в лесу, елки-палки вокруг, с ними, известно, даже словом не перебросишься. А я ведь еще не старик.

«Курятинки захотелось!» — со злорадством подумал Аркашка и тут же мысленно перебрал всех женщин Слепышей, отыскивая ту, которая приняла бы гостя на ночь. Не нашел. Вот разве только Нюська. Правда, у нее за стеной старшой живет... А к кому еще вести, кроме нее?

Выбрал, но ничего не сказал, решил подождать, чтобы Горивода еще раз и прямее высказал просьбу.

Тот не заставил себя долго ждать:

— Так есть что подходящее, друг Аркаша, или нет?

— Этого добра хватает... Правда, все стоящие в Степанково к немцам бегают. По расписанию, день в день, час в час. — И хохотнул то ли завистливо, то ли презрительно.

— Что бегают, даже хорошо, здоровые, значит, — оживился Горивода. — Проводишь или из подворотни домик укажешь?

Намек на трусость разозлил Аркашку, он отбросил колебания и, мигом собравшись, увел гостя из дома, прямо к Нюське с ним направился.

Авдотья некоторое время еще находилась во власти оцепенения, сковавшего ее после откровенного ответа Аркашки, потом, набросив шубенку и укутавшись в шаль, выскочила на улицу и сразу же остановилась, будто налетела на преграду. К кому идти? К деду Евдокиму? К соседям?

Можно бы и к ним, но еще подумают, что бабья обида, ревность дикая подстегивают ее. Так подумают — засмеют. Если мужик к другой бабе бегает, кто поможет, как не сама себе?

Постояв и разобравшись в мыслях, Авдотья заторопилась к Витьке-полицаю, с отчаянностью человека, которому терять нечего, забарабанила в оконную раму так, что задребезжало, зазвякало оконное стекло.

Клава немедленно приподняла уголок занавески:

— Кто там?

— Я, Авдотья... Мне поговорить с твоим надо.

И вот Авдотья в горнице, стоит у порога и молчит; она толь-

ко сейчас поняла, в какое глупое и двойственное положение поставила себя: как встретит Клава ее слова, вцепится ли ей, Авдотье, в волосы, когда узнает, с какой целью она прибежала? Ведь всей деревне известно, что Витька-полицай согрешил с Нюськой...

Боязно и стыдно было Авдотье начать разговор, и еще недели две назад она скорее всего неловко соврала бы: дескать, дай огонька, или что другое придумала, но теперь какая-то неведомая сила заставляла говорить только правду. Поэтому Авдотья начала с того, в чем чувствовала главную опасность:

— Он-то говорит, по прямой умные не ходят, они все вокруг, в обход, чтобы вернее своего достичь. Мордастый поддакнул, похвалил, значит... И еще Аркашка бахвалился, что сам комендант с ним запросто. Теперь оба к Нюське догуливать отправились...

Ни разу Клава не напомнила Виктору о том, что сама не забывала, казалось, ни на час. Правда, Виктор ей рассказал, как пьяный приперся к Нюське черт знает почему и зачем, клятвенно уверял, что между ним и Нюськой ничего не было. Она верила каждому его слову и в то же время сомневалась. Однако всячески подавляла в себе это недоверие. И вдруг явилась Авдотья доложить Виктору, что те к Нюське направились!..

Ну и что из того?

Почему именно к нему, к ее Вите, прибежала Авдотья с этим известием?

Клава вдруг почувствовала, что ноги слабеют в коленях, и, чтобы не выдать своего состояния, присела на краешек кровати, сдвинула брови и уставилась на свои пальцы, непривычно вытянутые и неподвижные. Она хотела уже крикнуть: «А ему что за дело?» — и тут вспомнила жалобу Нюськи, которую пересказал ей Виктор: «И нагрянут, и надругаются... Кому пожалуешься, кто вступится?..»

— Хорошо, Авдотья, ты иди... Я сделаю что нужно, — сказала Клава и решительно поднялась, потянулась за шалью.

5

Фон Зигель никогда не кричал на подчиненных. Он только смотрел на них так, что виноватый понимал: завтра или послезавтра придется с маршевой ротой ехать туда, откуда поезда и вереницы машин везут солдат и офицеров вермахта, продырявленных пулями и осколками или обезножевших от русских морозов.

В последние дни гауптман частенько леденяще-спокойно поглядывал на своих подчиненных. Поэтому они старались даже не дышать громко, чтобы ненароком не привлечь к себе внимания.

Сегодня именно такой вечер, когда глаза господина коменданта — арктический лед. Кажется, над головой каждого занесен топор палача. Тяжелый и отточенный. Малейшее неосторожное

движение, даже случайный шепот, и он ухнет вниз, с радостью прольет человеческую кровь.

Все работники комендатуры и начальник полиции с заместителем были на своих местах: вдруг соизволят спросить? А фон Зигель засел в своем кабинете, как в доте, находящемся на линии огня, и отвечал только на телефонные звонки.

Началась эта бесшумная буря с циркуляра из гебитскомендатуры, в котором говорилось, что коменданты всех районов должны взять под свой неусыпный контроль лечебную работу в местных госпиталях, так как имеют место случаи, когда медицинский персонал тратит время и медикаменты на раненых, которые и после выздоровления не смогут вернуться в строй; господам комендантам районов надлежит помнить, что фатерлянду нужны солдаты, солдаты и еще раз солдаты, а не беспомощные калеки; и вообще, гуманно ли бороться за жизнь человека, не способного в дальнейшем постоять за себя, позаботиться о себе?

Фон Зигель в сопровождении своих помощников немедленно пошел по госпиталям, заглянул во все палаты и не обнаружил ничего похожего на то, о чем предупреждал циркуляр. Он даже милостиво шутил с офицерами, благосклонно отвечал на молчаливые приветствия солдат. И вдруг, когда он собрал начальников госпиталей и сказал им, что нужно усилить питание выздоравливающих, уродливый толстяк Трахтенберг заявил:

— Господин гауптман, это очень легко сделать, если вы прикажете патрулям не отбирать у нас то, что мы заготовляем по собственной инициативе.

— Не понимаю вас.

— Несколько дней назад, когда я возвращался в госпиталь с продуктами, которые реквизировал у местного населения, меня остановил патруль и забрал все.

— Господа, напоминаю, что шнапс рекомендуется только в ограниченных дозах и обязательно с достойной закуской, — пошутил фон Зигель.

Но Трахтенберг упорно твердил, что сказал правду.

Тогда исчезла улыбка с лица господина коменданта, тогда он посмотрел леденяще-спокойно сначала на своего помощника, потом на начальника полиции. Те недоумевающе шевельнули плечами.

Зло блеснули стекла очков господина коменданта, но спросил он спокойно:

— Вам это не приснилось?

Трахтенберг молча поднял руку с двумя прижатыми друг к другу пальцами.

— Прошу следовать за мной, — приказал фон Зигель и увел доктора в свой кабинет.

Там подробнейшим образом выспросил все мельчайшие детали действий неизвестного патруля, а еще немного погодя перед комендатурой были выстроены сначала все солдаты гарнизона, а потом и полицейские. Даже Свитальский с Золотарем.

Каждому в лицо заглянул доктор и прошел мимо.

— Может, то были переодетые местные? Или солдаты вермахта, просто проходившие через наш район? — спросил фон Зигель.

— Одного из них — старшего патруля — я не раз видел в комендатуре.

Значит, доктор стал жертвой явного мошенничества.

Даже не мошенничества, а отвратительнейшего преступления: таково любое деяние, если оно совершается в личных целях, а прикрывается именем Великой Германии. И виновные должны быть найдены и наказаны так, чтобы у живых каждая клеточка тела рыдала от боли и страха! В то время, когда весь немецкий народ ведет такую войну, находятся мерзавцы, которым собственное брюхо дороже интересов нации!..

Но как уличить мерзавцев? Личное опознание ничего не дало...

Придется, очевидно, обратиться за помощью в гестапо: у них везде есть свои люди.

И фон Зигель, возможно, позвонил бы туда, хотя бы ради того, чтобы застраховать себя на случай доноса, но в это время ожил телефон самого гебитскомиссара, и он поспешно схватил трубку, отрапортовал в нее:

— Гауптман фон Зигель у телефона!

Для начала разговора гебитскомиссар (сослуживец отца в прошлую войну) обычно спрашивал о новостях из дому, о личном самочувствии, даже о погоде и лишь после этого переходил к делу, но сегодня привычное оказалось нарушенным.

— Поднять по тревоге весь гарнизон, — приказал гебитскомиссар. — Немедленно всеми имеющимися в наличии силами перекрыть дороги. Задерживать всех. Без исключения.

— Яволь... Осмелюсь спросить, причина?

— У вашего южного соседа бандиты пустили под откос воинский эшелон, — после небольшого раздумья ответил гебитскомиссар и положил трубку.

Выходит, и на Смоленщине начались диверсии на железных дорогах...

Что это, акт мести отчаявшегося одиночки или первый сигнал, извещающий о том, что и здесь русские начинают выполнять приказ своего Сталина? Неужели и здесь они уже организовались в так называемые партизанские отряды?

6

Когда к Нюське ввалились Аркашка с неизвестным и Аркашка с пьяной ухмылкой заявил, что гостя переночевать привел, она неожиданно даже для себя не оробела, не взвыла от страха и обиды, а схватила ухват, взметнула его над своей головой и гаркнула до звона стекол:

— Геть, кобелины, отсюда!

Аркашка сразу бросился к порогу, но неизвестный, недобро сбычившись, пошел к Нюське. Его огромные и сильные лапищи с растопыренными пальцами были чуть отведены в стороны. И Нюська поняла, что такого мужика не то что ухватом, а и топором не враз остановишь, и сразу сказала зловеще-спокойно:

— А ну, подойди, гостенек, я твой лоб ухватом помечу. Чтобы моему Гансу легче тебя искать было.

Горивода, словно по инерции, сделал еще шага два, потом остановился. Его лапищи, еще минуту назад готовые схватить и скомкать Нюську, повисли вдоль тела.

— Ну чего остановился? Иди, — ворковала Нюська, у которой появилась самая малая надежда на то, что авось обойдется.

Но Горивода стоял. Он думал о том, что ссориться с немецким солдатом — все равно что лбом дуб ломать: лоб — вдребезги, а дуб и не заметит удара. Конечно, можно сделать и так, чтобы эта дура утром никому не пожаловалась... Однако слюнтяй, что у порога затаился, на первом же допросе расколется... Может, и его?..

Задрожала дверь от ударов прикладов, и послышался злющий голос старшего полицейского:

— Открывай, стерва!

Нюська, словно заново рожденная, метнулась в сени, и почти тотчас лязгнул откинутый крюк.

Опережая клубы морозного воздуха, в дом ворвались черные дырки дульных срезов двух винтовок, метнулись в один угол, в другой и остановились на груди Гориводы. И тот по-настоящему струсил: сейчас достаточно любого предлога, чтобы убрать человека, который тебе мешает или просто неприятен. Можно и без предлога...

И Горивода невольно вздохнул с облегчением, когда господин Шапочник узнал его (а ведь запросто мог и «не узнать»), опустил винтовку и сказал, не скрывая разочарования:

— А мы-то думали...

Горивода ликовал, что опасность миновала, и ответил с неподдельной радостью:

— Вот на огонек заглянули, прогреться.

Сказана явная глупость (не холодище же в хате Авдотьи!), но Василий Иванович притворяется, будто верит сказанному, и гнет свою линию:

— Очень прошу, Мефодий Кириллович, вашими святыми заклинаю: не предпринимайте подобных прогулок в нашей деревне, не искушайте судьбу.

Сказал спокойно, даже ласково и ни разу не взглянул на Аркашку, который теперь вылез на передний план и порывался что-то сказать.

— Избави бог! — искренне заверил Горивода. — До полного дня и носа не высуну от этого сукина сына, которого вы мне подкинули!

Василий Иванович возразил:

— А не вы ли хотели переночевать именно у него? Как я мог отказать вам? Вы и так подозрение высказали, будто я боюсь вашего разговора с моими подчиненными.

Позднее, уже лежа на узкой лавке в хате Авдотьи, Горивода вновь и вновь вспоминал минувшие события и вынужден был признать, что все сказанное старшим полицейским — сущая правда. Только уж очень гладкая, без сучка, без задоринки. Как в спектакле. И полицейская служба в деревне несется образцово, и во всем-то виноват лишь он, Горивода; своей волей он и на ночлег пришел сюда, пришел не к человеку, а к сплошному ничтожеству.

Одно смущало: ведь и он, Горивода, в этом спектакле играл, сам себе и слова, и действия придумывал...

«А этого слизняка Аркашку — гнать из полиции, в три шеи гнать! Подскажу Свитальскому при встрече», — решил он и начал похрапывать, обманутый тишиной хаты.

Но не спали ни Аркашка, ни Авдотья. Первый почувствовал подползающую беду, искал, как выскользнуть из-под удара. Лежал на печи злой и до дрожи напуганный. Зато Авдотья впервые за последние годы радостно улыбалась: оказывается, очень приятно бывает, когда помешаешь злу свершиться.

7

Всю длинную зимнюю ночь продежурили на дорогах заставы, всю ночь, взбадривая себя кофе, просидел фон Зигель у телефонов, готовый немедленно действовать; по ту сторону двери его кабинета всю ночь томились Свитальский с Золотарем, стараясь перещеголять друг друга в усердии.

Никого не задержали заставы. Ни разу не звякнул ни один из телефонов.

Фон Зигель всю ночь был один на один со своими мыслями, о многом и разном передумал и пришел к твердому убеждению, что каналья Трахтенберг просто ловко провел его, придумав мифическое ограбление. Зачем ему это понадобилось? Скорее всего чтобы прикрыть какие-то свои грешки. Возможно, хочет списать часть медикаментов, проданных на сторону. Или — заявка на будущее. Дескать, я вас предупреждал, дескать, могу ли я за все быть в ответе, если на дорогах района такое самоуправство творится?

Решив так, фон Зигель не рассердился на доктора, а даже проникся к нему некоторым уважением: настоящий немец должен уметь извлекать выгоду из любого положения.

Неприятный осадок оставляет элемент нечестности! А какой способ наживы лишен этого? Например, некоторые миллионеры, не краснея, говорят, что один из их предков был пиратом. Выходит, не видят в этом ничего постыдного.

Разумеется, многие свое стяжательство облекают в соответствующую форму, но у Трахтенберга нет ни цветастой родослов-

ной, ни могущественных покровителей, да и в партии он всего года три или четыре. В такой ситуации невольно станешь менее разборчив в выборе средств.

А что весь гарнизон и всю полицию согнал на построение он, фон Зигель, что каждому в глаза заглянул, — даже хорошо: многие глаза блудливо отводили, значит, есть вина за ними, значит, боятся ответственности за нее.

Между прочим, жизнь доказала, что лучше выполняют свои обязанности не те, кто безгрешен, как ангел, а виноватые и понимающие это: они отца родного не пожалеют, чтобы себя от удара уберечь. Разве плохо для Великой Германии иметь побольше таких слуг?

И эшелон, пущенный под откос у южного соседа, тоже неплохо: во-первых, диверсия совершена не у него, фон Зигеля, а у соседа, значит, начальству там и следует искать упущения по службе; во-вторых, эта диверсия (пусть она совершена даже отчаявшимся одиночкой) дает повод для решительных репрессий согласно инструкции верховного командования вермахта от 16 сентября 1941 года.

Фон Зигель открыл свой ящик-сейф, достал инструкцию и, наслаждаясь строгостью мысли, прочел абзац, подчеркнутый красным карандашом:

«Чтобы в корне подавить недовольство, необходимо по первому же поводу, незамедлительно принять более жесткие меры. При этом следует иметь в виду, что человеческая жизнь в странах, которых это касается, абсолютно ничего не стоит и что устрашающее воздействие возможно лишь путем применения необычной жестокости. В качестве репрессии за жизнь одного немецкого солдата должна применяться смертная казнь 50—100 коммунистов. Способ казни должен усиливать устрашающее воздействие...»

Россия — именно такая страна, «которой касается». А относительно пятидесяти или ста коммунистов тоже не нужно беспокоиться: хватай любого из местных жителей — и редко ошибешься.

Наконец фон Зигель вышел из своего кабинета. Невидящими глазами скользнул по всем, кто замер в приемной, и сказал:

— Великая Германия никогда не забывает своих верных слуг. Прошу следовать за мной, и вы убедитесь в этом.

А еще через несколько минут легковая машина и два грузовика с солдатами и полицейскими выехали из Степанкова. Фон Зигель один ехал в своей машине, а Свитальский с Золотарем тряслись в грузовике: сидеть рядом с начальством — высокая честь, ее заслужить надо.

Мерно покачивается легковая машина, будто катер на пологих волнах успокаивающегося моря. Мирный покой исходит от снега, искрящегося в лучах солнца, и от елей и берез, застывших в карауле вдоль дороги.

Эх, если бы с собой был фотоаппарат, какой бы получился экзотический снимок: березы по колено в снегу, и рядом с ними этот старик. Его волосы, как кончики ветвей березы, такие же белые, такие же просвечивающие!..

Но глаза настоящего немецкого офицера тем и отличаются от глаз обыкновенного человека, что способны одновременно с красотой улавливать и малейший непорядок. Фон Зигель на ногах старика увидел валенки.

Господин комендант хмурится, впивается в старика взглядом, и шофер легонько осаживает машину.

Несколько секунд комендант смотрит в голубые глаза старика и ничего, кроме спокойствия, не может в них прочесть. Коменданту кажется, что он где-то уже видел этого старика, но он гонит эту мысль и спрашивает, опустив стекло:

— Тебе известен приказ, что все валенки должны быть сданы?

— У меня одна видимость валенок, — басит старик, вытаскивает ногу из сугроба и держит ее какое-то время на весу, чтобы господин комендант мог рассмотреть многочисленные заплаты и заплатки.

Да, дрянь, не валенки...

Но порядок — прежде всего!

К легковушке подбегают солдаты и полицейские, Свитальский с Золотарем. Они почтительно смотрят на фон Зигеля и настороженно — на старика.

— За укрытие валенок полагается расстрел, — спокойно роняет фон Зигель и выдерживает паузу, чтобы дать возможность прочувствовать всю неумолимую строгость этого наказания и внутренне похолодеть. Потом продолжает: — Я щажу твою старость. Сдай валенки и иди домой... на печка!

— Осмелюсь напомнить, господин гауптман, этот старик — староста из Слепышей, — шепчет Свитальский.

— Зачем мне знать это? — удивляется фон Зигель (так вот почему знакомо лицо этого старика!).

— Староста он, так сказать, служит Великой Германии...

— Слуга обязан неукоснительно выполнять волю своих хозяев. Это его первейшая и главнейшая обязанность. Или вы не согласны со мной?

— Никак нет, полностью разделяю вашу точку зрения, — поспешно заверяет Свитальский и, чертыхнувшись в душе, бежит к своей машине: господин комендант, не дослушав его, приказал шоферу трогаться.

Скользят по укатанной дороге три машины. Немецкий солдат под хохот товарищей тесаком отпарывает с валенок заплаты и заплатки: он поспорил на бутылку шнапса, что эти валенки состоят только из заплат.

Босой и с непокрытой головой стоит дед Евдоким в сугробе. Он думает, куда ему лучше поспешить: домой или в Степанково, к куму. Кажись, в Степанково ближе...

А фон Зигель, спрятав подбородок в меховой воротник шинели, еще раз, теперь уже и вовсе спокойно, обдумывал, правильно ли он поступил, сняв среди дороги валенки с этого старика. И пришел к выводу, что был абсолютно прав. Приказ для того и отдается, чтобы все выполняли его.

Русский старик отморозит ноги или простудится и умрет? Что ж, вполне логичный для него конец. Ведь фюрер ясно сказал: «Мы обязаны истреблять местное население, это входит в нашу миссию охраны немецкого населения... Если меня спросят, что я подразумеваю под истреблением местного населения, я отвечу, что я имею в виду уничтожение целых расовых единиц. Именно это я собираюсь проводить в жизнь, — грубо говоря, это моя задача».

Фюрер настолько велик, что может смело заявлять об уничтожении целых расовых единиц. Он же, фон Зигель, делает лишь то, что в его силах.

В Слепышах не станет старосты? Чепуха! Сегодня же назначу старостой этого... Как его?

Фон Зигель заерзал, недовольный своей забывчивостью, а шофер уже скосил на него глаз, чтобы немедленно остановить машину или увеличить скорость. Но фон Зигель улыбнулся, вспомнив эту чертову фамилию.

Шофер вновь смотрит только на дорогу.

Василий Иванович с Гориводой как раз дошли до околицы, когда из леса вынырнули машины.

— Поздравляю, к тебе начальство с визитом, — немедленно подколол Горивода, который никак не мог забыть своих вчерашних неудач.

Василий Иванович, ничего ему не ответив, подошел к воротам околицы и распахнул их. Он не мог уклониться от встречи с начальством и поэтому замер в приветствии у въезда в деревню.

Горивода не знал, радость или беду несет Шапочнику визит всего районного начальства, но и уйти боялся (по уходившим и убегающим, случалось, немцы стреляли без предупреждения), поэтому тоже замер по стойке «смирно», но по другую сторону дороги.

Встречать так встречать!

Фон Зигель невольно одобрительно кивнул, заметив и оценив расторопность местной полиции, даже подумал, а не господина ли Шапочника поблагодарить сегодня. И сразу отогнал эту мысль: еще великий Мольтке говорил, что военачальник, меняющий свои решения, обречен на неудачу.

И все же старший полицейский заслуживает поощрения!

Фон Зигель пальцем показал шоферу, что нужно остановиться.

Машина еще двигалась, когда Василий Иванович уже оказался у ее передней правой дверцы, и, прояви фон Зигель хоть малейшее намерение выйти, он распахнул бы ее. Однако комендант только кивнул на заднее сиденье и вроде бы даже сказал:

— Зетцен зи зих.

Василий Иванович не подумал о том, какую беду на себя накличет, если неправильно понял кивок коменданта, и, опустившись на сиденье, немедленно доложил:

— За истекшие сутки происшествий не было, господин комендант. Разве только одно... Если, конечно, как на него посмотреть...

Фон Зигель не проявил интереса, но и не оборвал. Пришлось продолжить:

— Ночью заявился пан Горивода. Лично я о нем только и знаю, что он дружок пана Свитальского. Пришел, будто бы малину сушеную принес больной жене моего полицейского. Но, разрешите доложить, она давненько выздоровела, так что малинка запоздала... Потом, после всяких разговоров, он к женщине одной местной вломился... Я вежливо выпроводил его: эта женщина — подруга солдата вермахта. Я посчитал, что только он один и волен в ее чести и жизни. — И поспешно добавил: — Как и все прочие, кто над ним поставлены.

Боялся, очень боялся Василий Иванович последствий неожиданного визита Гориводы и, чтобы хоть как-то обезопасить себя, попытался заронить зерно сомнения в душу коменданта. И был доволен, когда тот сказал:

— В ваших рассуждениях есть логика.

Вот и весь разговор. Для остальных он остался тайной, остальные только и знали, что сам господин комендант пригласил к себе в машину простого полицейского. Честь немалая! Поэтому, едва легковая машина остановилась, Свитальский с Золотарем поспешили пожать руку пану Шапочнику и ласково улыбнуться. А Горивода, видевший, как его старый приятель, в прошлом — ротмистр Свитальский, трясся в грузовике, подумал, что у Шапочника прочнейшая рука и не иначе, как в самой Германии. Значит, поперек дороги ему не становись, значит, в друзья его пробивайся.

Но то, что сказал фон Зигель, когда жители Слепышей сгрудились вокруг машин, остановившихся под березой, окончательно повергло всех в смятение. Господин комендант заявил, что заслуги полицейского Мухортова перед Великой Германией так значительны, что он, фон Зигель, с сего часа назначает его старостой деревни с правом ношения оружия и входит с ходатайством к высшему командованию о награждении указанного Мухортова; он, фон Зигель, склонен считать, что его ходатайство будет удовлетворено и господин Мухортов в скором времени получит медаль.

Сказал и милостиво подождал, пока Свитальский с Золотарем и прочие поздравят взволнованного счастливчика.

Горивода же, наблюдавший за всем этим из толпы, только и подумал: «А эта сволота, не гляди, что трус, здорово шагает!» И, забыв свое намерение доложить на Аркашку кому следует, тоже подошел с поздравлениями.

В этот момент фон Зигель подозвал к себе Шапочника и сказал, что разрешает вместо господина Мухортова зачислить в полицию этого... как его?

— Афанасия Круглякова, — подсказал старший полицейский.

Фон Зигель кивнул, сел в машину, и она сразу же тронулась.

Небо было нежно-голубое, и снег искрился, будто тоже радовался Аркашкиной удаче. Мороз исподволь набирал силу.

8

В ясную морозную ночь любой звук слышен отчетливо и на большом расстоянии. Вот и эхо ночного взрыва на железной дороге услышали не только немцы, но и жители деревень, тонувших в снегах. И буквально уже утром от деревни к деревне поползли слухи о том, что в лесах, граничащих с Полесьем, стоит большой отряд смельчаков: и много-то их (то ли полк, то ли дивизия), и вооружены, как армия кадровая.

Никто даже не пытался узнать, насколько достоверны эти слухи: желаемое — оно на веру принимается. И сразу же не один мужик или парень, сидевший до поры запечным тараканом, вдруг почувствовал, что борьба с фашистами не окончена, что даже и они, одиночки, если собьются в группу и станут немного посмелее, тоже смогут больно кусать врага.

Нет, они еще не взялись за оружие, но уже стали припоминать, где оно спрятано.

В землянку весть о взрыве на железной дороге принес Пауль, который в ту ночь с Григорием был на задании и, включившись в линию связи, слышал разговоры и о взрыве, и о том, что под откос свалились два вагона и цистерна с бензином.

Доложил об этом Пауль, — в землянке радостно зашумели. А Григорий заявил:

— Не иначе, там десант сброшен!

— Факт! — присоединился к нему Юрка.

— Почему же обязательно десант? Может, там действует отряд вроде нашего? Только малость помощнее, — высказал свое мнение и Каргин.

А Пауль подумал о том, что, выходит, даже та земля, которую вермахт считает завоеванной, не покорилась ему. Затаилась, но не смирилась с неволей. И, возможно, в каждом лесочке, в каждом овраге пока бедует вот такая же маленькая группа патриотов, чтобы начать действовать с первой весенней капелью.

Эти свои мысли немедленно и высказал товарищам.

— А как же иначе, если враг захватил твою землю, тебя рабом сделать пыжится? — удивился Каргин.

Пауль согласен. Фатерлянд... Это такое, такое...

И вообще он, ефрейтор Пауль Лишке, нисколько не жалеет, что попал в такую компанию: здесь он никого не боится, здесь у него есть настоящие друзья. Особенно Петер...

Единственное, что осуждал Пауль у русских, так это отсутствие, как он считал, должного уважения к воинскому положению и званию. Нет, когда Каргин отдает приказание, оно выполняется быстро и точно. Но в остальном, в повседневной жизни... Будто не военные, а самые обыкновенные соседи собрались за столом и разговаривают, спорят до хрипоты.

Никакого почтения к старшему!

Вот, например, сейчас разве порядок, что Григорий пристает к Каргину с вопросами? И ведь не просто спрашивает, а еще и свою точку зрения отстаивает!

Если бы он, Пауль, мог здесь распоряжаться, он немедленно Каргина поселил бы в соседней землянке, а Ганса к нему вестовым назначил: этот исполнительный и службу знает; подберет, что плохо лежит, но своего командира необходимым обеспечит.

Да, он, Пауль, признает, что русские — замечательные солдаты, что никто так не любит Родину, как они. Но почему у них нет должного уважения к воинскому званию?

В это время за столом разговор не умолкал ни на минуту. И все об одном: как бы связаться с тем отрядом, как бы влиться в его ряды?

— Не примут они нас, не примут! Чтобы десантники, да нас, бедолаг, до себя приняли? Не бывать такому! — уже в который раз повторил Григорий.

— Заткнись! — взревел Юрка.

Еще недавно Пауль невольно напрягался, когда страсти достигали подобной точки кипения, а теперь не волновался: он знал, что сейчас Григорий немедленно замолчит, а чуть погодя обмякнет и Юрка; больше того, раскаиваясь и винясь, он будет поддакивать товарищу, и мир обязательно восстановится.

За эту незлобливость друг к другу Пауль тоже любил своих новых товарищей.

— Мы, когда еще только организовывались в отряд, поставили перед собой конкретную задачу: до весны изучать обстановку, накапливать силы и всячески мешать фашистам проводить их политику. Эту линию мы и выдерживали все эти месяцы... Однако еще тогда, осенью, мы предвидели, что придет время и вольемся в какой-то отряд. Только исходя из этого я и принял на себя командование. Вот Гришка сейчас кричит, что надо установить связь с тем отрядом. Али забыл ты, Григорий, что сейчас над нами твердая власть стоит? Забыл, что Василий Иванович через Витьку передал? Напоминаю: «И есть на этой территории подпольные обком и райком партии нашей, им мы и подчиняемся безоговорочно». Ясно? Передаст Василий Иванович приказ соответствующий — хоть куда вас поведу и сдам свои права, кому скажут. А пока — слушать меня и не бузить!

Этими словами Каргин как бы поставил точку. И Пауль, и все остальные поняли, что это не только слова. Поняли и оборвали спор, словно не было его вовсе. Теперь каждый только про себя думал о том, когда и с кем произойдет желанная встреча.

9

Дед Евдоким еле доковылял до Степанкова. Осторожно, словно хрупкие и чужие, ставя голые ступни, поднялся на обледеневшее крыльцо, а окунулся в тепло дома, и будто сознание на миг помутилось. Не помнил, поздоровался ли, как объяснил свой жалкий вид. Он просто вдруг увидел, что сидит на скамье, а ноги его стоят в тазу со снегом и кум с кумой в четыре руки растирают их. Ждал, что вот-вот от ног к сердцу прокатится волна боли. Как величайшую благодать ждал эту боль. Она не пришла. Тогда он опустил глаза и посмотрел в таз, где теперь вместо снега плескалась вода. Ступни оставались по-прежнему белыми и холодными. И понял, что они не смогли больше жить.

Достав из тайника последний шматок сала, кум вылетел из дома и скоро вернулся с немецким доктором, похожим на раздувшийся шар. Он, этот шар в мундире немецкого офицера, скользнул взглядом по лицу деда Евдокима, чуть подольше посмотрел на его ноги и даже ткнул в каждую ступню сначала своим пальцем-сосиской, потом иглой и сказал:

— Ампутация.

Сказал спокойно, словно речь шла не о живом человеке.

И после паузы, которой было вполне достаточно для того, чтобы все осознали трагизм положения, продолжил:

— Десять фунтов сала — я делать ампутация.

— Фунта три, может, наскребу, — неуверенно сказал кум.

— Десять!

Немец затеял торг, где продавались и покупались ноги деда Евдокима.

Дед Евдоким знал, что у кума нет трех фунтов сала, догадывался, что он надеется по крохам насобирать их у знакомых, но весь этот торг почему-то не волновал его. Словно разговор шел о спасении ног совершенно чужого и безразличного ему человека; впервые за последние месяцы у деда Евдокима была спокойная душа. До безмятежности спокойна.

Сошлись на четырех фунтах. Тут немец и сказал, уже взявшись за ручку двери:

— Я — честный врач, я хотель предупреждай... Его, — он кивнул на деда Евдокима, — имеет гросс год, после ампутация он может капут.

Сказал это пузан, и дед Евдоким вдруг понял, почему у него так спокойно на душе: внутренне он давно осознал, что километры, пройденные босыми ногами по снегу, — последние километры его жизненного пути.

После этого и сказал:

— Домой хочу... Так и так капут...

Его в три голоса убеждали, что бывает и счастливый исход, но дед Евдоким с упрямством маленького избалованного ребенка твердил одно:

— Домой хочу...

И сразу начал волноваться и торопиться, словно боялся не успеть что-то сделать в родных Слепышах. А что — и сам не знал.

На следующий день деда Евдокима привезли в Слепыши. Привезли на обыкновенных санках, запеленутого одеялами. И оттого, что такой большой дед Евдоким сейчас беспомощно смотрел на мир с санок, все поняли, что он больше не жилец. Без обычных в таких случаях причитаний и соболезнований его бережно подняли Афоня и Виктор, а кто-то поддерживал большие и теперь непослушные ноги.

— К нам несите, — распорядилась Груня.

Деда Евдокима уложили на кровать, подсунув под спину пирамиду подушек и подушечек. И он лежал пунцовый от внутреннего жара, в бреду порывался что-то сказать и не мог. Лишь несколько раз внятно позвал:

— Витьша...

Четверо суток смерть не могла сломить жизнь в костистом теле деда Евдокима, и все это время поочередно или обе враз дежурили около него Груня с Клавой. И малиной поили, и какими-то новейшими порошками, за сало добытыми, пичкали, и холодные полотенца на лоб клали. Извелись, но никому не уступили права быть рядом с дедом Евдокимом в эти последние минуты его жизни, хотя каждый день с раннего утра до позднего вечера односельчане робко стучались в дверь, тихо входили в дом и исчезали, от порога посмотрев на деда Евдокима. Исчезали, а в сенцах или на кухне после их ухода обязательно обнаруживалось нехитрое приношение: краюха хлеба, реже — яйцо или кусочек сальца, а чаще — картошка и луковица.

Для всех в эти дни были открыты двери дома Груни, кроме Аркашки.

Свое вступление в новую должность он ознаменовал тем, что сразу после отъезда фон Зигеля и его свиты нахально вошел в холодную избу деда Евдокима. Аркашка считал, что теперь ему, как самому главному должностному лицу в деревне, положено жить только в отдельном доме. А что он, этот дом, не обихожен — ерунда: распервейшая красавица с радостью войдет в собственный дом, да еще старосты деревни, которому разрешено носить оружие!

Правда, вездесущие мальчишки рассказывали, что, войдя в дом, Аркашка прежде всего к дверям кухни и сенок приделал новые крючья, потом тщательно проверил, плотно ли сидят вторые рамы, не проржавели ли гвозди, удерживающие их в пазах. И лишь после этого самодовольно развалился на дедовой лежанке, но тут же вскочил с нее и залез на печь: это место не просматривалось ни из одного окна.

Аркашке и в голову не приходило навестить деда Евдокима, справиться о его здоровье. И все же на третий день он зашагал к дому Груни, чтобы узнать, зачем туда народ тянется.

Груня встретила его на крыльце и спросила в полный голос:

— Зачем пожаловал, господин староста? Дом украл, а теперь и исподнее прибрать к рукам хочешь?

— Но-но, ты полегче, я — власть! — огрызнулся Аркашка.

Тут Груня и сказанула, куда бы она сунула такую власть. Непотребно и обидно сказанула. Аркашка было шагнул вперед, чтобы поудобнее ухватить ее за волосы и тряхнуть как положено, но она промолвила, не отступив ни на шаг:

— Мой-то мужик с Витькой-полицаем в хате сидят. Шумну — выскочат.

Действительно, эти выскочат. И накостыляют. Им это запросто...

Он отступил, мысленно пообещав расплатиться и за сегодняшнее, и за прошлое пренебрежение.

Хоронили деда Евдокима только полицейские.

И невдомек было Аркашке, что такие малолюдные похороны были задуманы лишь для того, чтобы не показать ему и немцам, как деревня встретила эту смерть. Не знал и того, что похоронили деда Евдокима рядышком с тем, которого он, Аркашка, в лесу подстрелил. Так плотно гроб с телом деда Евдокима к гробу того прижали, что один холмик земли прикрыл их.

Глава десятая

ФЕВРАЛЬ

1

В первых числах февраля, народившегося под вой метели, стало ясно, что сейчас до весны ни та, ни другая сторона не предпримут никаких решительных действий: тем и другим нужно было время, чтобы восстановить и перегруппировать силы.

Однако весь мир, все человечество увидело, что громогласные заявления захватчиков о молниеносной войне оказались радужным мыльным пузырем, который лопнул, натолкнувшись на мужество и воинское умение советских солдат.

Поняли это все люди, а вот политические заправилы фашистской Германии все еще лелеяли свои безумные планы, согласно которым вся Россия была разделена на четыре основных рейхскомиссариата:

Московский, включающий не только Москву, но и Тулу, Ленинград, Горький, Казань, Киров, Уфу и Пермь;

Остлянд, объединяющий Эстонию, Латвию, Литву и Белоруссию;

Украинский, которому должны были стать подвластны Волыно-Подолия, Житомир, Киев, Чернигов, Харьков, Николаев, Таврия, Днепропетровск и Донецк;

Кавказский, чье черное крыло, по мнению фашистских главарей, должно было накрыть Кубань, Калмыкию, Ставрополье, Грузию, Армению, Азербайджан и так называемый Горский комиссариат.

Еще не победили, а на куски уже разрезали!

Фашисты под Москвой, казалось бы, уже получили отрезвляющий удар, но Гиммлер все же осмелился хвастливо заявлять: «Русские должны будут уметь только считать и писать свое имя. Их первое дело — подчиняться немцам».

Еще только начался февраль 1942 года, а в ставке Гитлера уже приступили к разработке плана летней военной кампании. Удар Красной Армии под Москвой был настолько ощутим, что теперь планировалось наступление ВСЕМИ ИМЕЮЩИМИСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ СИЛАМИ не на всем огромном фронте от Баренцева до Черного моря, а лишь на сравнительно узком его участке.

Но тогда, в феврале 1942 года, ни Каргин с товарищами (а население оккупированных районов и подавно!), ни фон Зигель и его подручные ничего не знали о замыслах фашистских главарей. Тогда, в начале февраля, было своеобразное затишье, которое обычно наступает перед грозой. И если фон Зигель вынашивал и смаковал планы отправки молодежи района на фабрики и заводы Германии, если его беспокоило, удастся ли сграбастать всю стóящую молодежь, то Каргин и его товарищи (да и просто жители деревень) все еще вслушивались в эхо того взрыва на железной дороге; со временем оно для них нисколько не ослабело, а стало вроде бы еще раскатистее. Даже заклеванная жизнью Авдотья, осмелевшая после того, как Аркашка покинул ее дом, как-то сказала Груне, встретившись с ней у колодца:

— А рванули тогда наши — страсть!..

Федор, Григорий и Юрка так обозлились, когда узнали о том, что проделал фон Зигель с дедом Евдокимом, что похватали автоматы, чтобы немедленно идти в Степанково, напасть на комендатуру; может быть, и ценой своей жизни, но отомстить фашистам.

Каргин сразу понял, что сейчас уговорами не воздействуешь, поэтому просто встал в дверях землянки, уперся руками в косяки. Стоял так и только смотрел в бешеные глаза товарищей. И молчал, катая желваки на скулах.

Может быть, его и отшвырнули бы к нарам, но Петро вдруг тоже подбежал к дверям, тоже уцепился ручонками за косяки, потом рванул на груди рубашку.

— Ты чего, ошалел? — только и спросил Григорий, чуть попятившись.

— Он — не то что некоторые, службу понимает, — сказал Каргин.

Григорий, конечно, разорался: дескать, хватит Каргину власть свою показывать, дескать, мы тебя командиром назначили, мы тебя и разжалуем. Но чем больше он орал, тем спокойнее становился Федор, тем больше растерянности было заметно на лице Юрки. И тогда Каргин, обняв Петра за плечи, отошел от двери, сел за стол и сказал, не повышая голоса:

— Назначили изначально вы, а потом партия утвердила. Вот и выходит, только ей меня и снимать с должности.

— Товарищ Каргин, позволь лишь дойти до Степанкова. На рожон не полезем, слово даю, — вступил в разговор Федор.

— Или забыли, что Василий Иванович наказывал? Пополнение вот-вот прибудет, а вы хотите немцев взбудоражить... Когда все прибудут, тогда за многое враз рассчитаемся.

Честное слово взяли с Каргина, что не забудет, отметит за деда Евдокима. Только после этого и поставили автоматы в пирамиду.

У Гориводы тоже свои заботы. Он забился в свою избушку лесника, где, не хмелея, пил самогон и вспоминал, а не сболтнул ли чего лишнего старшему полицейскому в Слепышах (с самим комендантом в одной машине ездит!), не выказал ли Аркашке своего пренебрежения (что о нем ни думай, а он к награде представлен!). Того и другого хотел съесть, а они в такой силище оказались, что только поведут челюстями — сразу схрумкают его, Мефодия Кирилловича. И ни один святой не поможет, если захотят слопать.

Только у Аркашки, казалось, не было ни особых забот, ни мысли самостоятельной: каждое его действие предусмотрено инструкциями; не жизнь властелина деревни, а листок бумаги, где каждый твой шаг не только помечен, но и соответствующей цифрой обозначен. Чтобы не напутал чего.

Единственная радость — встречные уступают дорогу и торопливо обнажают голову. И пусть только из боязни это делают, пусть: боязнь окружающих тоже признак твоей силы.

А метели выли, бесновались на земле Смоленщины, с яростью бились в окна, словно звали людей выйти на улицу и свершить что-то важное.

2

Шли самолеты в ночи. С земли не было видно не только опознавательных знаков, но и самих самолетов, однако все определили безошибочно — идут советские самолеты: так мощно и ровно, без подвывания, работали их моторы.

Услышав ровный шум моторов, Виктор сначала сел на кровати, а потом накинул поверх нижней рубашки полушубок, сунул босые ноги в сапоги и выскочил на крыльцо. За ним устремилась и Клава. Он долго шарил глазами между звезд, а когда

взглянул на Слепыши, ему показалось (а может, так было и на самом деле?), что к окнам многих домиков прильнули взволнованные лица. И он, не имея сил сдержаться, обнял Клаву за плечи, прижал к себе, прикрыл полой полушубка и несколько раз повторил:

— Вот оно, Клавонька, наше счастье, вот оно...

Григорий, услышав шум моторов первой группы самолетов, немедленно ввалился в землянку и крикнул:

— За мной, орелики!

И потому, что в его голосе не улавливалось даже намека на тревогу, одевались особенно быстро и кое-как. Когда выскочили из землянки, Григорий, сняв шапку, стоял на полянке и, казалось, затаив дыхание, слушал небо. Оно — невероятно темное, звездное и глубокое — пело ревом моторов. Не одного, не двух, а многих.

Мороз покусывал уши и щеки, но Каргин и все остальные стояли на полянке, подняв лица к небу.

Если Каргин с товарищами чуть не плакали от счастья, то Пауль с Гансом не могли радоваться, они, каждый по-своему, думали примерно об одном: врала, безбожно врала пропаганда Геббельса, когда уверяла, что авиация русских полностью уничтожена.

Неужели Каргин и его товарищи правы, утверждая, что все обещания и заверения Гитлера наглое вранье?

Этот вопрос особенно мучителен потому, что возник уже в который раз. Хотелось надеяться, что русские хоть в чем-то ошибаются...

Еще не стих гул моторов последней группы самолетов, как небо на западе разом обесцветилось, а еще через какое-то мгновение земля вздрогнула, и осыпался снег с ветвей ели. С этого момента взрывы следовали один за другим, и небо постепенно наливалось кровью.

— Интересно, чего они там бомбят, чего? — уже который раз спрашивал Юрка.

— Станцию на железной дороге, — наконец ответил Григорий так уверенно, словно это он давал летчикам боевое задание.

— Не похоже. На земле что-то самостоятельно рвется, — не согласился с ним Каргин.

— Они... Там склад бомб, — сказал Пауль, повернулся и зашагал к землянке.

— Склад бомб? А почему ты нам ничего не сказал о нем? — крикнул вслед Григорий.

Пауль будто не услышал вопроса, он шел к землянке, не оглядываясь. За ним, опустив голову, плелся Ганс.

— Сложна человеческая душа, — сказал Каргин, провожая их глазами.

Его поняли правильно: Пауль и Ганс по собственному желанию несли караульную службу, участвовали в выполнении не одного боевого задания, но еще ни разу при них не применялось

оружие против их соотечественников; сегодня они впервые стали свидетелями того, как другие откровенно радовались силе удара своей армии.

Это поняли и нарочно подольше задержались на полянке.

Спустившись в землянку, Пауль сразу почти упал на нары и обхватил руками голову так, словно она вот-вот могла лопнуть от распиравших ее мыслей; как обручи, легли его руки.

Рядом с ним пристроился Ганс и сидел, затаившись.

А Пауль думал, искал выход из тупика, в котором оказался. Отшатнуться от русских, забыть, что именно им обязан жизнью? Это выше его сил: он уже не верил ни Гитлеру, ни тем идеалам, ради которых Германия будто бы и начала войну; он уже точно знал, что в этой войне бог (вера в него нисколечко не ослабела) не на стороне немцев, не он направляет их оружие.

Но ликовать вместе с русскими...

Боже, ты все знаешь, все можешь, так подскажи!..

Наконец Пауль встал, подбросил в печурку дров и, когда они разгорелись, распахнул дверцу, чтобы видеть и лицо, и глаза Ганса.

— Мы с тобой, Ганс, сейчас стоим одной ногой здесь, другой — там... Это отвратительно, — сказал он, глядя в расширенные зрачки Ганса.

— Понимаю, господин ефрейтор...

— Я — Пауль.

Впервые он, ефрейтор Лишке, позволил солдату впредь называть себя так, и Ганс понял, что ему предлагается настоящая солдатская дружба; это обрадовало.

— Я с тобой, — просто сказал Ганс.

— Ты не знаешь, что я решил.

— Обе ноги человека всегда должны стоять на одной земле.

Они замолчали. Потом Пауль встал, вытянулся, как на параде, и сказал торжественно:

— Клянусь действовать только так, как подсказывает совесть!

Ганс искренне повторил его клятву.

И (опять же впервые!) Пауль протянул ему руку.

Когда Каргин и другие вернулись в землянку, на печурке весело и даже самодовольно попыхивал чайник, а Пауль и Ганс одновременно вскочили с нар, вздернули подбородок. Как бы доложили, что все в порядке.

Чаевничали долго и говорили преимущественно о том, что Красная Армия скоро пойдет теперь уже в решительное и окончательное наступление. А когда начали вставать из-за стола, Григорий вдруг повернулся к Паулю и сказал с обидой:

— Вот если бы ты про тот склад бомб нам сказал, мы бы рванули его...

— Вы о нем не спрашивали, — ответил Пауль и, устыдившись, что увиливает от прямого ответа, добавил: — Мы знаем, где хранится бензин... Много бензина.

Сказал это и покосился на Ганса. Тот молча положил ему на плечо свою руку.

Григорий первым понял, что означало это признание Пауля, и так обрадовался, что прямо через стол бросился к нему, опрокинул на пол и кружки, и чайник. Он облапил Пауля, повалил на нары и долго тискал.

Каргин, всегда ревнино следивший за порядком, не сделал ему замечания.

Потом, когда Григорий немного успокоился и шум стал стихать, Каргин откашлялся, чтобы привлечь внимание, и сказал:

— Завтра мы с Федором идем на разведку к тому складу бензина.

3

Первых пять человек привел в лес Афоня. Едва он обменялся паролем с Паулем, стоявшим в карауле, из землянки выскочили Каргин и все остальные. Они не скрывали радости, и каждый в душе таил надежду обнаружить среди прибывших знакомого. Посчастливилось Григорию: в одном из новеньких он узнал того самого солдата, с которым распил бутылку водки в отряде, называвшемся как-то длинно и завлекательно. Этот и рассказал, что примерно месяц назад немцы скрытно подобрались к месту стоянки отряда и почти всех похватали сонными. Спастись удалось только им, пятерым.

Рассказывал, и все чувствовали, что стыдно солдату за бесцветно прожитые месяцы и за бесславный конец отряда.

— Всех наших, кого взяли, немцы отвели в село. Десятерых повесили, а остальных тут же на площади расстреляли.

— А вы как? — спросил Юрка.

— Что как?.. По лесам скитались, пока соответствующего человека не встретили... Он и приказал сюда явиться.

— Сам кто будешь? — это спросил уже Каргин.

— В армии сержантом был... Андрей Устюгов.

— Хреновым сержантом ты был, — убежденно заявил Каргин. — Будь моя власть — немедля разжаловал бы в рядовые. За притупление бдительности, за несоблюдение уставов...

— Меня-то за что? Там и постарше чинами были, — начал было оправдываться Устюгов, но Каргин строго глянул на него и прикрикнул, не повышая голоса:

— Разговорчики!.. Рядовой Федор Сазонов.

Тот вышел вперед.

— Назначаю отделенным. Занимай вон ту землянку. И чтобы к утру был полный порядок!

Федору никогда в голову не приходило, что он вдруг может стать командиром отделения, случись это до войны — отказывался бы до последней возможности. Но сейчас он осмотрел свою пятерку, ткнул пальцем в грудь правофлангового и приказал:

— Будешь сегодня дневалить. Заготовь дров и прочее... Остальные — за мной!

Скоро из трубы и второй землянки вырвались искры, устремились к темным ветвям ели и затерялись в них. В необжитой землянке, с потолка которой нестерпимо капало, плечом к плечу сидели все бойцы отряда и без утайки рассказывали друг другу о себе, о том, что пережили и передумали за минувшие месяцы войны. Каргин только внимательно слушал и все больше убеждался в том, что эти пятеро будут хорошими бойцами.

И вдруг в полуоткрытую дверь землянки ворвался окрик Григория:

— Стой! Кто идет?

Разговоры оборвались, все схватились за оружие, но ни один не тронулся с места: ждали приказа. Это тоже понравилось Каргину. Выждав еще немного, он встал и вышел из землянки. За ним поспешили остальные.

На небе обозначились первые признаки скорого рассвета, но в лесной чащобе еще царила темнота. Из нее, получив на то разрешение Григория, бесшумно и выскользнули десять человек. Восемь из них замерли на опушке, а двое — Виктор и кто-то высокий в ватнике, перекрещенном ремнями, — пошли к землянке.

— Разрешите доложить, товарищ командир, — весело начал Виктор, и тут же высокий отстранил его рукой, вышел вперед и привычно отрапортовал:

— Группа бойцов в количестве девяти человек прибыла в ваше распоряжение! Командир группы — капитан Кулик!

Григорий непроизвольно присвистнул. Каргин, Виктор, Юрка и Федор окаменели: капитан Кулик? Тот самый?

А капитан Кулик, будто находился на плацу, сделал шаг в сторону и повернулся так, чтобы Каргину было удобно подать ему руку и сразу же пройти к замершему на опушке строю. И Каргин подал руку, подошел к строю. Сделал это автоматически и лишь потом понял, что только так и был обязан поступить.

Каргин так разволновался, что словно онемел, враз позабыл, зачем он подошел к строю. И тут услышал за своей спиной дыхание капитана. Нетерпеливое, недоуменное. Оно вернуло к действительности, и Каргин вскинул руку к шапке, вытянулся и поздоровался зычно, как это, не счесть, сколько раз, бывало на ротных строевых занятиях в мирное время.

Прибывшие ответили дружно и приглушенно.

В строю не было ни одного знакомого человека, но Каргину хотелось броситься к этой молчаливой шеренге солдат, обнять кого-нибудь из них и молчать, молчать. Однако дыхание капитана Кулика словно нашептывало, что не это сейчас главное, что это и потом успеется, и он позвал:

Капитан Кулик!

Тот моментально вытянулся, сделав шаг вперед.

— Размещайте своих бойцов в этой землянке... Потом... Зайдите ко мне.

Каргин козырнул и торопливо ушел, почти убежал, в свою землянку: он был растерян, хотел основательно разобраться в случившемся.

Он вообще не ожидал, что когда-нибудь встретится со своим бывшим командиром. А встреча произошла... Может, передать командование капитану?

Нельзя: приказано всех прибывших брать под свою руку...

Как за тонкую спасительную ниточку, ухватился за мысль, что капитан не узнал его. И тут же отбросил ее: если капитан даже не узнал, он, Каргин, сам должен все напомнить; ни один командир не имеет права врать.

Ничего не придумал, не решил Каргин, а с порога землянки уже звучит знакомый голос:

— Разрешите войти, товарищ командир?

— Да-да, — торопливо отвечает он и встает.

— Прибыл по вашему приказанию.

— Садитесь. — И опускается на нары лишь после того, как капитан удобно устроился около гудящей печурки.

Некоторое время сидели молча, разглядывая друг друга. Капитан заметно сдал: и морщины изрезали лицо, и виски белые. Однако взгляд его по-прежнему требователен. Каргина ни на минуту не оставляет ощущение, будто капитан прибыл экзаменовать его и сейчас проверяет, как он знает свои обязанности командира. Точь-в-точь как при заступлении в караул проверяет.

Первым заговорил капитан Кулик:

— Вы узнали меня, товарищ Каргин?

— Так точно, узнал.

— Как я понимаю, вас смущает, что приходится командовать мной?.. Или обижаетесь на тот случай?

У Каргина нет обиды. А вот чувство неловкости... Куда его денешь?

— Даю слово, не узнал вас тогда, а врать не умею... И сейчас не помню, были вы у меня в роте или нет.

— В третьем взводе...

— Верю.

И опять надолго замолчали.

— Что с ротой? — наконец пересилил себя Каргин.

— Большинство пало смертью храбрых под тем селом... Потом было окружение. Прорвали это — попали в другое. И опять выскользнули, и опять кругом немцы, опять дорогу на восток нам перекрывают. Вот и стали во вражеском тылу действовать... Между прочим, еще до войны один мой бывший солдат в командиры полка вышел. К тому говорю, чтобы вы лучше поняли наши с вами теперешние взаимоотношения. Что было, то было, а сейчас жизнь другое диктует... Я выполню любое ваше приказание, как того требует устав. Даже кашеваром назначите — подчинюсь. Но предупреждаю: вот это ваше приказание обязательно

обжалую в уставном порядке. Когда такая возможность представится.

И тогда Каргин сказал то, о чем думал все время:

— Вот если бы вас надо мной поставили...

Капитан посуровел и сказал, словно отрубил:

— Приказы не обсуждаются.

— Может, назначить вас начальником штаба отряда? — наконец спросил Каргин.

Капитан, похоже, и вовсе разозлился:

— Отказываюсь понимать вас, товарищ Каргин. Неужели у вас только и забот, как бы меня не обидеть? Повторяю в последний раз: всяческую посильную помощь вам окажу и выполню любое ваше приказание!

Капитан Кулик сидел подчеркнуто прямо и в упор смотрел на Каргина. Не глаза — буравчики. Они сверлили, добирались до сердцевины. Но странно: этот взгляд вселял уверенность. И Каргин заговорил спокойно, тоном бывалого командира:

— У нас два объекта для нападения пока запланированы. Домик лесника, где их офицеры иногда пьянствуют, и склад бензина. Сил теперь достаточно, чтобы разом и туда и сюда нагрянуть...

Григорий заглянул в землянку через несколько минут после начала этого делового разговора, покрутился у пирамиды с автоматами, делая вид, будто проверяет оружие, потом осторожно вышел и сказал товарищам, которые с нетерпением ждали его:

— Как в заправском штабе. Сидят и по карте пальцами елозят.

4

«Тяжела ты, шапка Мономаха» — это выражение Аркашка впервые услышал от трагика — любимца и гордости труппы — и посчитал своеобразным словесным вывертом: с каких это пор стал тяжел головной убор, обозначающий, что ты лицо, наделенное властью? Ему, Аркашке, хоть чугунок на голову надень, но чтобы он, чугунок тот, был со значением — всю жизнь проносит и не поморщится!

Аркашка мечтал о шапке властелина и наконец завладел ею — стал старостой деревни. И только тут почувствовал, что шапка сама по себе ничего не дает, что даже в тягость она временами.

Действительно, когда был полицейским, какие заботы одолевали его? Потрафить властям и о себе не забыть. Больше ни о чем душа не болела.

А теперь?

За всю деревню в целом и за каждого из деревенских отвечай. Самое же обидное — ты о них печешься, а они чем отвечают? Взять, к примеру, избу деда Евдокима, где он, теперешний староста, обосновался. Только слава, что дом, а если загля-

нуть внутрь — ветхая хибара, где все углы прохудились. Кажется, собраться бы односельчанам и сообща организовать ремонтик, мебелишки и посуды какой подбросить, так нет, не хотят люди замечать убогости жилья своего старосты! Больше того: когда на другой день после вселения в дом деда Евдокима он, новый староста, продрожав на холодной печи ночь, зашел к этой костлявой суке Авдотье и сказал, чтобы пришла, истопила печь и прибрала в избе, она не выказала никакой радости, просто промолчала.

Он прождал полдня, потом побежал к ней, готовый на быструю расправу, но Авдотья будто ключевой водой окатила:

— Старший полицейский велел дорогу расчищать. И наказал, чтобы, пока эту работу не кончу, ни в один дом, кроме своего, не заглядывала.

Сказала спокойно, а сама так и светилась от распирающей ее радости, что удалось насолить старосте, что бессилен он сорвать на ней злость.

— Тогда почему дорогу не расчищаешь? — спросил он, костенея от злости.

— На то особое приказание будет.

Аркашка высказал все, что думал о самой Авдотье и ее детях, но ударить не посмел, хотя руки чесались. Высказал и пошел к старшему полицейскому, кипя обидой и злобой. Мысленно заставил его ползать у себя в ногах, вымаливая прощение, а встретились...

— Вот что для зарядки я скажу тебе, господин староста, — так начал старшой, едва он, Аркашка, подошел к нему на улице. — О личных корыстных целях забудь, если они во вред Великой Германии. Богом прошу, забудь... И еще: хоть разок командовать попробуешь — пеняй на себя.

— Я — власть! Меня сам фон Зигель к награде представил! — Это или что-то подобное прокричал тогда в ответ он, Аркашка (разве упомнишь слова, если от обиды в глазах темнело?).

— Конечно, власть, кто спорит? Да не надо мной... А что угрожаешь, запомню. И свидетели найдутся, которые весь наш с тобой разговор от слова до слова слышали.

Такой варнак найдет многих свидетелей, по какому хочешь делу найдет... И он, Аркашка, притворился смирившимся, но едва старшой вошел в дом, он поспешил в Степанково, чтобы там обо всем доложить лично господину коменданту.

Фон Зигель принял Аркашку, даже, не перебивая, выслушал его сбивчивый рассказ о столкновении со старшим полицейским и лишь потом сказал, приподняв над столом ладонь:

— У вас разные обязанности, но цель одна. Надеюсь, договоритесь.

И опустил ладонь на стол, будто ставя точку.

Аркашка готов был поклясться, что господин комендант почему-то остался доволен его доносом. Но вот задача: доносом

доволен, вроде бы и на стороне Аркашки, а приказал мирно договариваться со старшим полицейским?..

Вернулся в Слепыши, а тут еще беда: к стволу той березы, на которой в свое время был повешен нерадивый полицейский, кто-то прибил маленький образок.

Никого поблизости не оказалось, и он сам слазил на березу, сорвал образок и швырнул его в снег у дороги. Только швырнул, появился откуда-то Афоня, поднял образок, вытер с него снег и спросил, прицельно прищурив глаза:

— А не рано ли вы, господин староста, начали святыми иконами разбрасываться? Сами безбожник, так и не посягайте на веру других.

Он, Аркашка, не верил в бога и поэтому не боялся мук загробной жизни, но всего сегодняшнего страшился панически и промолчал, оставил без ответа ехидный намек. Зато, придя к себе во двор, схватил топор и немедленно сорвал злость на поленьях, некоторые из них разваливая одним ударом.

Потом, сидя у печки, в которой жарко горели сухие березовые дрова, вдруг подумал, что ему в дом немедленно нужна хозяйка. И не обязательно раскрасавица и девица: такую-то еще когда найдешь да еще обрадуешься ли, если супружеская жизнь ей в диковинку. Нет, ему жена нужна немедленно и такая настырная, пробойная, чтобы сразу верным помощником стала во всех его делах и задумках.

И тут вспомнилось, что Авдотья как-то нашептывала ему: дескать, никак не поймет Нюську — сама пригожая, в теле, и руки-то у нее золотые, и хозяйка-то — лучше не надо, а пошла на такое...

А если говорить откровенно, чего постыдного в том? Если смотреть на это трезво, то разве мало одиноких баб имеют полюбовника? Да и замужние не безгрешны... А что фашист он, враг народа русского, так это говорит о практической сметке Нюськи: за такой защитой можно жить сравнительно безбоязненно. Вон Горивода к самому Свитальскому запросто вхож, а перед Нюськой лапки сложил.

Аркашка совсем было уже убедил себя в том, что Нюська — самая желанная для него жена, и вдруг подумал: а как на это посмотрит тот солдат, к которому она бегает? И тут же успокоил себя тем, что он может и не узнать о ее замужестве.

Едва стемнело настолько, что из поля зрения пропали дома на той стороне улицы, Аркашка пошел к Нюське, чтобы обоюдным договором скрепить свое будущее семейное счастье.

Нюська, как он и предполагал, сумерничала одна. Она не обрадовалась, казалось, и не удивилась его приходу. Только спросила, добавляя фитиль в лампе:

— Второй-то в сенцах топчется или на дворе ожидает?

Он предпочел не услышать обидный намек и начал спокойно, уверенный в неотразимости всего того, что скажет:

— Сидел, сидел у себя в хоромах и вдруг решил: зайду-ка к Нюське, она, как и я, тоже в одиночестве мается.

Нюська положила на колени чулок, который штопала, пододвинула лампу так, чтобы она освещала лицо Аркашки.

— Ты чего? — удивился он.

— Да вот гляжу, не ошиблась ли. Разговор-то вроде вовсе не твой.

— В теперешнее время каждый умный человек внутрь себя прячется.

Изрек это и спохватился, что намертво позабыл главное, то самое, что намеревался степенно выложить в многообещающем вступлении, и со злости на себя выпалил:

— Бросай комедию ломать, выходи за меня, а?

Она молчала. Только очень внимательно смотрела на него.

«Сомневается», — решил он и заговорил с жаром, с божбой. Он обещал ей и верность свою до гробовой доски, и полный достаток в доме, и вообще не жизнь земную, а сплошную радость.

А закончил так:

— Не маленькая, сама должна понимать, что значит для тебя стать женой человека, теперешней властью обласканного. Честь и выгода прямые.

Снова Нюська промолчала. Аркашка, конечно, не подозревал, что она искала такую форму отказа, чтобы и оскорбить его чувствительно, и самой потом не очень пострадать. Он же думал, что Нюська еще колеблется, и поторопил:

— Так как, согласна или нет? У меня дел уйма, мне прохлаждаться некогда.

По его расчетам, Нюська сейчас должна была промямлить что-то вроде того, что поступит, как он пожелает, но она сказала:

— И верно, иди к ним, своим делам. Я и одна привычная.

— Значит, отворачиваешься? Прынца́ ждешь?

— Так я же себе цену знаю. Мужика только за то, что он в штанах ходит, к себе в постель не пущу. Это мне еще маменька заказывала.

— Значит, от меня морду воротишь? — наливаясь злобой, спросил Аркашка.

— Уж ежели Авдотья, судьбой и людьми обиженная, от тебя отвернулась, то мне и вовсе не к лицу подбирать ее обноски. И не кричи! Надень тихохонько шапочку, чтобы темечко не застудить, и поспешай к Авдотье, пади ей в ноженьки. Может, вымолишь прощение, может, примет.

Он вылетел из дома, даже не обругав хозяйку. Понимал, что с такой зубастой стервой и прочими деревенскими ему сейчас еще не совладать, значит, лучше стерпеть, чтобы, выждав момент, за все сразу рассчитаться.

Столкновение со старшим полицейским и неудачи с Авдотьей и Нюськой натолкнули его на мысль, что в Слепышах нет ни одного человека, на которого он мог бы положиться. И окончательно пропал у него по ночам спокойный сон; не спал, а тре-

вожно дремал он теперь и поэтому прекрасно слышал, как в ночи прошли над Слепышами советские самолеты. Сначала испугался (сейчас начнут бомбить!), потом успокоился, поняв, что есть цели во много раз важнее. Он стоял, затаившись в простенке между окон, и зло смотрел на дома той стороны улицы, зная, что там молчаливо торжествуют его личные ненавистники.

Он нисколечко не боялся односельчан. И в возможность возвращения Красной Армии не верил. Однако беспрестанно растущая собственная злоба обострила в нем чувство настороженности к людям. Он окончательно перестал верить им, в каждом простейшем их поступке старался найти (и находил!) подспудно направленное лично против него как старосты деревни. Даже самогон, который по привычке брал всегда в одном доме, в последние дни стал казаться слабее обычного и с горчинкой.

Самое же неожиданное и важное открытие, сделанное в часы раздумья, заключалось в том, что старший полицейский все время обводил вокруг пальца его, Аркашку. И о себе ничего не рассказал, а о нем все выведал, и любое деяние, любое событие так поворачивал, будто направлено оно специально во вред новому порядку. Им, Аркашкой, направлено.

Стало ясно: все это ниточки одной сети. Но как половчее выхватить ее?.. Хотя и так старшой с Афоней у него в руках; стоит только все о них рассказать господину коменданту, а уж тот-то правду выжмет. С кровью, с жилами, но выжмет!

Аркашка столь явственно представил, как произойдет падение недругов и возвеличивание его, что не сразу заметил, как в хате вдруг посветлело. А заметил — метнулся к окну и увидел, что где-то в стороне Степанкова по небу бесшумно мечутся огромные красные языки пламени с большими черными хвостами копоти.

Первой мыслью было поднять всю деревню и повести ее за собой, чтобы помочь тушить то пожарище. Она, эта мысль, властвовала секунды две, не больше, и исчезла, уступив место всегдашней осторожности. Он решил, что сейчас самое время проверить свои подозрения, и побежал к дому Клавы, забарабанил в окно.

— Витька, вставай! Тревога! — крикнул он и уставился на занавеску окна.

Наконец она колыхнулась, приподнялся ее уголок. К окну подошла Клава.

— Подымай своего с постели!

Она, как показалось Аркашке, молчала невероятно долго, потом ответила:

— Он в обход ушел.

Знаем мы эти обходы!

И он уже без спешки зашагал к дому Груни, поднялся на крыльцо, властно постучал в дверь. Она открылась почти мгновенно, словно Груня в сенцах ждала этого стука.

— Твоего тоже нет дома?

— На обходе.

— И давно?

Она глянула на мечущиеся над лесом языки пламени и ответила вроде бы без тревоги:

— С полчаса как ушел.

Такая удача, такая!.. С радости Аркашка вломился в хату самогонщицы, потребовал четверть первака и, торжествуя, вернулся к себе. Он был по-настоящему счастлив. Впервые в жизни.

Выпив самогонки, Аркашка окончательно уверовал, что теперь старшой и все прочие только хрупнут у него на зубах. Даже личное знакомство с господином комендантом района не спасет их от мучительных пыток и виселицы!

В эти минуты он чувствовал себя подлинным властелином деревни и, не хмелея, жадно пил самогонку. Он ликовал от сознания того, что его личные недруги сокрушены, даже ясно увидел, как бились в плаче их полюбовницы.

Постой, постой, а Клавка — она ничего. И Витьки сейчас дома нету...

Набросив на плечи полушубок и схватив шапку, он побежал к ней. Ворвался в дом, не видя беженки с детьми, быстрыми и уверенными шагами прошел прямо в горницу. Клава только глянула на Аркашку и сразу поняла, что этого не упросишь, не умолишь...

Будто в бреду была Клава какое-то время. Даже позднее, уже придя в себя, она долго не могла понять, почему они с Груней и беженкой лежат на Аркашке, почему изо всех сил стараются втиснуть в подушки его голову. Потом, будто пробуждаясь от кошмарного сна, вспомнила, что беженка появилась в горнице сразу, как только Аркашка навалился на нее, и с того момента они уже вдвоем боролись с ним.

А Груня... Она прибежала позже... Сшибла Аркашку на кровать и, чтобы не кричал, ткнула лицом в подушку.

Как страшно, что он совсем не шевелится...

Клава, поняв случившееся, выпрямилась и, словно сейчас это было самое главное, начала приводить в порядок свою одежду. Она не смотрела на того, от которого недавно отбивалась. Ей было противно и боязно глянуть на него.

— Никак перестарались, бабоньки, — тихо сказала Груня и тут же разозлилась на себя за неожиданную оторопь, почти закричала, грубостью маскируя свою растерянность: — Берите его, дуры, и потащим в сенцы, в хлев или еще куда! Лишь бы там морозно было!

Потом прибрались в горнице, затопили печку и в ней сожгли обе подушки. И уселись в кухне, где трое малышей странно смотрели на них своими не по годам взрослыми глазами.

Едва Виктор с Афоней переступили порог, Груня сказала:

— Иди сюда, Витенька, — и прошла в горницу.

Она больше никого не звала, но за ней потянулись все взрослые.

— Вот тут мы его, — начала Груня, и вдруг слезы покатились из ее глаз.

Сразу же, уронив голову на комод, забилась в рыданиях Клава. Только беженка, у которой прыгали губы, не потеряла власти над собой и рассказала о том, как Аркашка ворвался в горницу, как вскрикнула Клава. Все до конца рассказала.

— Хватит вам выть! — прикрикнул Виктор как только мог строго, прикрикнул потому, что невмоготу стало слышать плач. — Не вы, так другие прикончили бы его... Сейчас надо думать, как деревню от беды уберечь.

Может быть, только сейчас женщины поняли, что, если откроется убийство Аркашки, фашисты всю деревню испепелят. И постепенно рыдания Клавы стали стихать, а Груня вытерла полотенцем лицо и отвернулась к окну.

Успокоив женщин, как могли, Виктор с Афоней заторопились к Василию Ивановичу. Там засиделись до поздней ночи. А ближе к утру на околице Слепышей вдруг рванула автоматная очередь. Ей почти тотчас ответили винтовочные выстрелы.

Многие жители деревни попадали на пол, чтобы не зацепила шальная пуля, залезли в подвалы. Лишь несколько смельчаков умудрились краешком глаза глянуть в окно. Они увидели, как из-под крыши дома деда Евдокима вырвался багровый лоскут, как он сначала слизнул снег, а потом зло набросился на потемневшую от времени солому.

Каждый из видевших начало пожара в душе молился, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома, но тушить никто не вышел: стрельба, как только начался пожар, стала еще яростнее.

К утру только головешки дымились на пожарище да печь смотрела на мир черным от копоти челом. Это видели все. И еще все видели старшего полицейского, который неторопливо и долго прохаживался около пожарища.

Зато никто не заметил Афони, который в это время шагал в Степанково, чтобы самому пану Свитальскому передать донесение старшего полицейского деревни Слепыши:

«Начальнику полиции района пану Свитальскому
от пана Шапочника —
старшего полицейского деревни Слепыши.

Имею честь донести вам, что сегодня ночью неизвестные лица пытались проникнуть во вверенную моей охране деревню, но полиция всеми имеющимися силами оказала посильное сопротивление.

В глубокой скорби доношу, что во время этого боя, который длился минут пятнадцать или более, бандитская пуля сразила старосту деревни Аркадия Мухортова, который в порыве безрассудной ярости один бросился на двух неизвестных, поджигавших его дом.

Дом сгорел полностью, а тело старосты пока не найдено. О чем и докладываю вам, оставаясь на посту около пожарища.

И еще осмелюсь доложить, что храбрость бывшего старосты деревни Аркадия Мухортова достойна награждения, что хоть в какой-то степени может уменьшить горе его безутешной вдовы».

5

Сознание вернулось к капитану Кулику от ощущения того, что он лежит на кровати, что щека его касается наволочки, которая еще не утратила запаха недавно глаженного белья.

Он, стараясь не шевельнуться, чуть приподнял веки.

Да, он лежит на настоящей кровати и под настоящим одеялом. И еще увидел бревенчатые стены обыкновенной крестьянской горницы и темное пятно на одной из них, там, где до недавнего времени очень долго висел чей-то портрет. Два окна затянуты не решетками, а узорчатым льдом. Лучи солнца пробиваются сквозь него и сейчас беззаботно играют на графине с водой, который стоит на тумбочке.

Капитан Кулик устало опустил веки, и тотчас, словно наяву, полыхнуло в ночи яркое пламя, снег окрест показался залитым алой и горячей кровью.

Только убедившись, что пламя яростно пожирает все пять цистерн с бензином, начали поспешный отход. Он, капитан Кулик, и три его бойца шли замыкающими.

Уже появилась надежда, что выскользнули, когда вдруг с дороги, которую нужно было пересечь, ударили очередями вражеские автоматы. Немедленно меж деревьев холодными искорками замелькали трассирующие пули. Одна из них сразу же нашла его ногу. Через минуту или того меньше был ранен и во вторую.

Капитан Кулик и сейчас с удивлением думал о том, почему тогда у него не было страха. Упав, он просто поудобнее устроился за пеньком и дал в сторону немцев длинную очередь. Умышленно — длинную, умышленно, как цель, обозначил себя: пусть немцы на нем сосредоточат свой огонь; может быть, товарищи воспользуются этим и выскользнут из смыкающегося кольца.

Но три бойца мигом оказались рядом, тоже упали в снег и тоже обозначили себя очередями. Тогда он крикнул:

— Отходите!

Они не подчинились.

— Приказываю отходить! — гаркнул он со всей возможной властностью в голосе.

— А ты? — спросил тот, который лежал почти рядом.

— Отходите!.. В ноги я ранен.

Капитан Кулик не знал, сколько времени они вчетвером удерживали немцев около себя. Единственное, что он хорошо помнил, — кровь лилась из его ран и временами темнело в глазах. Как сквозь кошмарный сон, он слышал шум многих машин на дороге и голоса гитлеровцев. И отчетливо видел, что теперь

трассирующие пули плотной сетью накрыли снег, в котором он лежал; даже на сантиметр нельзя стало приподняться.

Очнулся — увидел сапог у лица. Этот сапог носком своим осторожно и брезгливо поворачивал его голову так, чтобы лицо оказалось обращенным к черному небу.

На мгновение он, капитан Кулик, увидел множество звезд, потом луч электрического фонарика ударил в глаза, ослепил.

— Встать! — приказал немецкий офицер тихо, но с металлическими нотками в голосе.

Было невыносимо больно, да и земля плыла, ускользала из-под ног, но он встал. Стиснул зубы и стоял, будто перед строем своей роты: расправив плечи, руки — по швам, подбородок чуть приподнят.

Офицер разгадал его мысли и недобро усмехнулся:

— Хочешь умереть солдатом? Мы этого не допустим.

Сказал это и повернулся, пошел к легковой машине, которая пряталась за тупорылым грузовиком.

— Взять его.

Это бросил, уже опускаясь на сиденье.

Капитана Кулика подхватили, не дали упасть и бережно положили в кузов грузовика. Даже накрыли чьей-то шинелью, чтобы не замерз. Потом, когда машины остановились, перенесли в какую-то комнату (в эту или другую — он не мог определить). Сразу же явился врач — огромное брюхо на тонких ножках. Он перевязал раны и сделал укол. После укола и забылся капитан Кулик...

Вчера все проявления заботы со стороны немцев о его здоровье он внешне воспринял как должное, не выказал ни благодарности, ни удивления. Он выжидал, что последует дальше: за месяцы войны слишком хорошо узнал фашистов и поэтому поверил каждому слову офицера о том, что умереть солдатом ему, капитану Кулику, не суждено; им, фашиствующим немцам, главное — пострашнее убить человека, упиться его муками.

Значит, его задача — противоборствовать им. Хоть надежды почти никакой, но чем черт не шутит...

Он опять приподнял веки, вновь, не поворачивая головы, осмотрелся.

Да, он лежит в горнице деревенского дома. И окна ее не изуродованы решетками. Зато на улице под окнами прохаживается часовой. Его каска на мгновение появляется то в одном, то в другом окне.

И еще один стоит здесь, в комнате, стоит у самой двери. Она лишь прикрыта, и за ней слышны голоса немцев.

Разве убежишь при такой охране? Да если еще и в ноги ранен?..

Двое суток его не тревожили ни допросами, ни просто вопросами. Двое суток трижды в день и точно в одно и то же время

приносили еду (скорее всего — из офицерского котла), один раз в сутки к нему обязательно являлся врач-пузан, щупал пульс и уходил, буркнув что-то немцу с лошадиным лицом, который обязательно сопровождал его.

Больше никого и ничего. Лежи и думай, капитан Кулик, думай о своем житье-бытье, о своей безрадостной судьбине.

Немцам, которые неустанно наблюдали за ним, должно было казаться, что русский уже сломлен, уже примирился со своей участью: так безропотно он выполнял все немногие распоряжения. И от еды не отказывался, и курил лишь тогда, когда ему разрешали это, и даже вымылся в корыте, даже нижнее белье сменил. Уцепился лишь за гимнастерку со «шпалами» в петлицах.

Не знали, не догадывались враги, что капитан Кулик, притворившийся сломленным, все думал, думал. Он не сомневался, что близок его последний час. Знал, что этот час будет невероятно тяжелым. Даже страшным. И готовился встретить его.

А что касается угрозы немецкого офицера...

Не его, капитана Кулика, вина, что пока не выпало ему свершить что-то героическое, что пока он не вписал в свою биографию ни одной яркой странички...

А ведь может! Ведь он пока еще живой!

Он с отчетливой ясностью именно в эти двое суток вдруг понял: любую смерть можно принять так, что она возвеличит или напрочь сничтожит тебя. Главное в смертный час — не показать врагу, что дрожит все в тебе, что жить тебе страсть как хочется.

Сможешь осилить такое — значит, достойно умрешь. Как солдат на поле боя.

И все равно — повесят ли, на медленном ли огне сожгут тебя враги — велик ты в своем подвиге будешь.

Достойно умереть, умереть так, чтобы даже смерть твоя напугала врагов, — одно оставалось капитану Кулику. Вот и берег силы для главного, не спорил по мелочам.

К исходу третьего дня, когда от него уже ушел врач-пузан, в горницу вбежали два полицая, вырвали его, Кулика, из постели и волоком протащили через двор в подвал двухэтажного дома, бросили на холодный бетонный пол в коридоре, куда выходило несколько дверей, обитых железом. Бросили на пол и словно забыли о нем.

За дверью, около которой на полу оказался капитан Кулик, надрывно кричала женщина. Кричала от боли, которая мутит сознание, заставляет забыть, что ты — человек.

Капитан Кулик уже было подумал, что и его сейчас бросят в одну из таких камер, чтобы он тоже, как эта женщина, исходил криком, но тут в подвал не спеша спустились немцы. Один из них гневно что-то сказал тому, кто командовал полицаями, а

еще через несколько секунд его, капитана Кулика, бережно уложили на носилки, укрыли одеялом и понесли.

Потому, что носилки появились очень быстро, да еще с одеялом, и потому, что на лице того полицейского чина, на которого кричал немец, не было ни страха, ни раскаяния, капитан Кулик понял: все это — инсценировка, цель которой — окончательно подавить его волю к сопротивлению.

Ведь женщина-то от боли кричала по-настоящему...

Его внесли в кабинет, на двери которого была табличка с надписью на русском и немецком языках: «Господин комендант района».

Едва носилки коснулись пола, из-за стола поднялся тот самый офицер, которого Кулик видел ночью. Подошел и уставился глазами-стекляшками. Молча, будто гипнотизируя.

Когда ты лежишь и смотришь на стоящего человека, невольно начинаешь чувствовать себя слабым по сравнению с ним, даже беспомощным, беззащитным, и, чтобы не поддаться этому чувству, капитан Кулик попытался хотя бы сесть.

— Хотите сидеть? Здесь? Или там? — Кивок на стул, примостившийся к торцу письменного стола; говорил комендант почти без акцента.

— Лучше там.

Его осторожно усадили на стул. Чуть шевельнулась бровь коменданта, и все вышли из кабинета. Только комендант и он, капитан Кулик, остались с глазу на глаз. В соседней комнате часы гулко пробили шесть раз.

— Как ваше самочувствие? — участливо спросил комендант.

— Спасибо, нормально, — спокойно ответил Кулик, стараясь сберечь силы для того момента, который неизбежно наступит.

— Раны не беспокоят?

— Терпимо.

— Есть претензии? На питание? Обращение?

— Все в норме.

— А за сегодняшнее недоразумение извините. Если быть откровенным, начальник полиции у нас иногда своевольничает. Интересно, почему вы, русские, так ненавидите друг друга? Я имею в виду тех, кто придерживается противоположных политических взглядов?

— Не задумывался над этим... Может быть, именно потому, что они крайне противоположны? Что примирить их нельзя?

— Между прочим, я — гауптман фон Зигель, комендант данного района. Если я правильно разбираюсь в ваших знаках различия, по воинскому званию мы равны. А какую должность вы занимали у себя, в Красной Армии?

Вот оно, началось!

Но ответил по-прежнему спокойно:

— Не имеет значения.

На лице коменданта появилась насмешливая улыбка, хотя глаза оставались холодными.

— Неужели вы, капитан, настолько наивны, что думаете сберечь государственную тайну, если не назовете свою должность? Судя по заданию, которое вы так умело выполнили, вы — командир роты. Или батальона. Не больше. А какую государственную тайну может знать такое должностное лицо? Численный состав роты? Батальона? Нам это известно давно. Вооружение своей части? Это мы тоже знаем.

За минувшие двое суток капитан Кулик до мелочей продумал все, что будет отвечать на допросах. Решил назваться парашютистом, специально сброшенным сюда для этой диверсии. Это, как казалось ему, поможет скрыть от немцев, что в здешних лесах накапливаются силы партизан. Теперь он посчитал момент подходящим и сказал вроде бы с большой неохотой:

— Вам, думаю, будет достаточно знать, что я командовал этими парашютистами?

Фон Зигель, казалось, не обратил на это признание никакого внимания, он протянул пачку сигарет и услужливо щелкнул зажигалкой.

Несколько минут молча курили. Заговорил фон Зигель, и вовсе не о том, о чем предполагал капитан Кулик:

— Сознайтесь, капитан, вы ждали пыток? Вы недоумеваете, почему вас окружили заботой, вниманием? Запомните: мы суровы и даже беспощадны с явными своими врагами. С врагами!.. Вы — коммунист?

— Что нет, то нет.

— Почему?

— Как и объяснить, не знаю.

— Не бойтесь, говорите правду, мы очень терпеливы к чужим заблуждениям. Наша цель — разъяснить заблуждающемуся его ошибки, указать ему правильный путь.

— Не дорос я еще до того, чтобы в большевистскую партию вступать.

— Не понимаю. Как нам известно, в вашей партии есть и простые рабочие, и крестьяне. А вы: «Не дорос».

— Я и говорил, что не знаю, как объяснить... Внутреннее у меня ощущение, что не достоин пока быть членом партии. Понимаете? Не достоин такой чести, и все тут.

Разговор оборвался. Фон Зигель неторопливо курил, стряхивая пепел в морскую раковину-пепельницу. Он думал о том, что этот русский гораздо сильнее и хитрее, чем казалось; такого не возьмешь одними посулами, такого нужно крепко ломать.

Что ж, наука не новая. Ломать человека во много раз проще, чем создавать.

Глаза фон Зигеля стали и вовсе холоднущими, когда он спросил:

— Какой местности вы уроженец?

— Из Вольска. Есть такой город на Волге.

— Как велика ваша семья?

— Мать и сестренка.

— Жили в достатке?

— В тридцатые годы трудновато приходилось. А перед самой войной жизнь пошла.

— Ваша фамилия?

— Иванов... Иван Иванович Иванов.

Фон Зигель выдвинул ящик письменного стола и достал пачку фотографий, протянул ее:

— Эти люди были вашими солдатами?

Одиннадцать фотографий в руках капитана Кулика. Одиннадцать мертвых лиц перед глазами капитана. И молодых людей, и в годах.

От внутреннего холода на мгновение зашлось сердце.

— Только вот эти три, — наконец сказал капитан Кулик и бережно, будто боясь причинить им боль, положил фотографии на стол.

Фон Зигель, казалось, не обратил внимания на его слова, даже не взглянул на фотографии опознанных. Он спросил равнодушно:

— Сколько всего человек было в вашем отряде?

— Эти трое и я, — ответил Кулик и сразу понял, что соврал грубо и за это придется расплачиваться.

— Вы солгали, капитан. Почему? — действительно немедленно уцепился фон Зигель.

— А как бы вы на моем месте поступили? — разозлился капитан Кулик.

— Я? На вашем месте?

И фон Зигель захохотал.

Он хохотал долго, а капитан Кулик наливался злобой, пока не выпалил, нагнувшись вперед, пока не выпалил прямо в разинутый в хохоте рот гауптмана:

— Смеетесь? Не верите в такую возможность? А мое сердце чует, что попадете! Да еще как!

Фон Зигель оборвал хохот, с минуту леденяще смотрел на Кулика, потом многозначительно усмехнулся и положил руку на спинку стула. Казалось, он не подал сигнала, но дверь кабинета чуть слышно скрипнула, и кто-то, тяжело ступая, подошел, встал за спиной Кулика. Ему стало зябко, захотелось оглянуться, но он пересилил себя и спросил, нагнетая в себе злобу, чтобы она вытравила и страх, и жалость к своему телу:

— Значит, разговоры о гуманности побоку? Значит, обрабатывать начинаете?

6

Одиночка — каменный мешок с тонкими кирпичными боковыми стенками. Пол бетонный, и от него исходит могильный холод. Ни одного хотя бы даже слабого лучика света. Зато хорошо слышно, как в соседних камерах стонут люди. Судя по голосам — мужчины и женщины.

Особенно невыносим тот самый женский голос. Он на одной ноте тянет бесконечное «а», потом захлебывается в слезах и снова вдруг пронзительно врывается не в уши, а в самое сердце.

Капитан Кулик очнулся, казалось, от этого страшного крика. Несколько секунд лежал неподвижно, пытаясь вспомнить, как попал сюда. Но нить воспоминаний неизменно рвалась в тот момент, когда немец с лошадиным лицом взмахнул дубинкой над его головой. После этого — обрывки: он захлебывается в водопаде, вот-вот утонет, и тут в глазах светлеет, и он видит, что не водопад это вовсе, а самая обыкновенная вода, которую льют на него из ведра; были еще тупоносые сапоги на толстой подошве. У самого лица были... И еще была какая-то табуретка. Как в больнице, белилами покрашенная...

Болело все тело. Так болело, что страшно шевельнуться. Но он, сдерживая стоны, поднялся на четвереньки и пополз, чтобы отыскать лежанку или хотя был клок соломы, хотя бы — тряпочку завалящую: все не так пронзителен будет холод бетонного пола.

Каждый сантиметр пола ощупал руками — ничего нет.

Тогда, присев в углу, осторожно прошелся пальцами по голове, лицу.

На голове — валик синяка. Там, где легла дубинка. А лицо распухло и очень липкое; похоже, кровь запеклась.

А женский голос не стихает, рвет душу...

Чтобы не вслушиваться в него, капитан Кулик стал опять припоминать все мельчайшие подробности допроса: не сболтнул ли лишнего, не опозорился ли как командир в глазах очкастого.

Ничего такого вроде бы не случилось. И сразу стало намного легче: выходит, не доставил врагу особой радости!

Вдруг щелкнул замок, скрипнули петли двери, и почти сразу в глаза ударил сноп яркого света.

— Ком!

Не показать бы, как страшен новый допрос...

Вот и кабинет коменданта. За столом, как и в прошлый раз, сидит фон Зигель.

— Как вам удобнее: сидеть или лежать?

В голосе коменданта издевка, она рождает волну гордости, протеста, и капитан Кулик отвечает, изо всех сил стараясь казаться как можно спокойнее, даже безразличнее:

— И сидеть, и лежать могу.

Фон Зигель удивленно сверкнул стеклами очков. Но голос его прозвучал по-прежнему ровно и по-прежнему с издевкой:

— Тогда мы посадим вас вон на ту, знакомую вам, табуретку.

Капитан Кулик сразу узнал ее. Именно на нее его усаживали каждый раз, как только в его глазах появлялись проблески жизни. Усаживали для того, чтобы сразу же ударом сбросить на пол.

Табуретка, покрашенная белилами, как в больнице...

— Ваша фамилия?

— Я уже сказал: Иванов, Иван Иванович Иванов.
— Капитан?
— Да.
— Парашютист? Командир группы?
— Точно.
— Кто и зачем послал вас в наш тыл?
— Наше командование. Чтобы этот склад бензина взорвать.
— Напоминаю: то, что было в прошлый раз, — лишь задаток. Не лучше ли заговорить сейчас, пока еще не отбиты легкие и печень, пока все кости целы?

Капитан Кулик промолчал. Тогда фон Зигель повысил голос:

— Я не настолько глуп, чтобы поверить, будто вас заслали сюда из-за этих тридцати тонн бензина. Они так, между делом... Ваша основная цель? Ну?

Капитан Кулик боялся новых пыток и поэтому решил грубить, решил вести себя так, чтобы этот фашист, психанув, выстрелил в него и убил. Сразу, одним выстрелом. И он ответил:

— Не запряг, а уже нукаешь!

— Вы уверены, что все выдержите? — даже весело спросил комендант.

— Орать, конечно, буду. А язык распускать — не дождетесь.

— Значит, вы предпочитаете умереть, но не выдать военную тайну? Неужели вы все еще надеетесь остаться чистым в глазах ваших сослуживцев, родных и знакомых?

Фон Зигель достал из ящика стола незаклеенный конверт, бросил его на колени капитана Кулика и сказал строго:

— Посмотрите внимательно и оцените нашу работу.

В конверте лежало несколько фотографий. Капитан Кулик достал их, глянул мельком, и будто на мгновение все заледенело в нем: на каждой фотографии был он, капитан Кулик. Не в крови и синяках, а умытый, причесанный.

Вот около его кровати стоят немецкие офицеры и ласково улыбаются, глядя на то, как он ест...

А здесь он положил руку на плечо немецкого солдата. Будто дружески обнял его...

Шесть подобных фотографий изготовили немцы, а сколько смогут еще?

Любая из них — явное доказательство его измены...

А вот и листовка — мнимое его письмо к недавним однополчанам...

— Ну как, нравится? — торжествует фон Зигель. — У вас, советских, есть такое выражение — агитплакат. Вот он, готов!.. Да от вас мать родная откажется, если мы захотим!

Мать... Капитан Кулик (а тогда Егорка Кулик) схоронил ее в голодном двадцатом году. И сестры у него не было. Жены — тоже. Любил он Красную Армию, которую не мыслил без уставов, без железной дисциплины; любил потому, что она, Красная Армия, в его представлении была мощнейшим щитом, прикрывающим свой народ от всяких там капиталистов-империалистов.

Он действительно был беспартийным, но партию и все ее дела и планы чтил, как святыню. И вот партия, когда он был еще юнцом, бросила клич: «Крепи оборонную мощь страны!»

До самой глубины сердца дошел этот призыв. Потому и остался в армии, как думал, пожизненно.

Месяцы войны прокричали ему, что не все правильно было в его прошлой работе как одного из командиров Красной Армии. Вот и Каргина проморгал. А какой бы из него отделенный, даже взводный получился! Не удивился бы капитан Кулик, если бы его за все прошлые промахи в рядовые разжаловали. Чтобы опять с самых низов начал познавать воинские премудрости. Но картина, нарисованная ему сейчас фон Зигелем, — листовка, которую, может быть, увидят те, кто знавал его, и их общее единодушное презрение, — была настолько невероятно чудовищной, что капитан Кулик онемел на некоторое время. Сидел, смотрел на листовку и не мог вымолвить ни слова.

Его душевное состояние, разумеется, не ускользнуло от фон Зигеля. Он самодовольно скрестил на груди руки и улыбнулся. Только улыбнулся, а в душе капитана Кулика закипела, поднялась к горлу злоба, и он крикнул прямо в лицо коменданту:

— Чего скалишься, чего?.. Это даже очень хорошо получится, если ты эту пакость через фронт забросишь: наши поймут, что в твоих я лапах, значит, на мое задание другой пойдет!

Лицо фон Зигеля посуровело, окаменело. Рука непроизвольно схватилась за кобуру, рванула ее застежку.

— Мне — «ты»? Офицеру вермахта — «ты»?

— Дерьмо ты собачье, а не офицер!

Фон Зигель, не сводя глаз с капитана Кулика, попятился к столу, нашарил на нем кнопку звонка и нажимал на нее до тех пор, пока двери кабинета не распахнули вбежавшие.

Капитан Кулик потерял сознание после первых же ударов дубинкой по голове. Как и в прошлый раз, свалился с табуретки на пол. Но сегодня его не поднимали, не обливали водой, чтобы вернуть сознание. Сегодня его — распростертого на полу и бесчувственного — пинали ногами.

Наконец фон Зигель, равнодушно стоявший у стола, сказал:

— На сегодня достаточно.

Только Свитальский осмелился не согласиться:

— Дозвольте мне к себе его взять? Мы так над ним поработаем, что он о смерти как об избавительнице мечтать станет!

— Он уже ищет ее, потому и хамит, — пренебрежительно усмехнулся фон Зигель.

— Тогда бить его до тех пор, пока жизнь вот на такой тонюсенькой волосиночке не повиснет, а потом дать передышку, чтобы волосиночка окрепла, и опять все сначала! — не сдавался Свитальский: в этом советском командире он видел одного из тех фанатичных красноармейцев, которые поломали его судьбу еще тогда, в годы гражданской войны, поэтому и ненависть его была беспредельна.

— Вы крайне примитивны в своем мышлении, — чуть поморщился фон Зигель. — Вы обычно всегда начинаете с пряника, а кончаете кнутом. Поэтому ваши допросы, как правило, заканчиваются только смертью подозреваемого. И самое печальное для нас — он умирает немым... К этому... Иванову мы применим иное... В море непрерывно катятся волны. И еще бывает девятый вал... Волна отчаяния, волна надежды, которая снова поманит всеми радостями жизни... Это должно быть очень страшно, когда надежда то угасает, то возрождается вновь... Не только тело, но и душа человека должна кровью обливаться!

Сказал это и кивком отпустил всех.

7

Ни Свитальского, ни Золотаря в Степанкове не было, вот и пришлось Афоне донесение Василия Ивановича вручать самому фон Зигелю. Тот, выслушав рассказ Афони о том, что на Слепыши ночью напала какая-то банда и отошла, встретив отпор и убив старосту деревни Мухортова, ничего не сказал. И, вернувшись в Слепыши, Афоня пожаловался:

— Прожег он меня своими ледяшками до самых печенок. Не облаял, не спросил ни о чем. Только все сверлил своими глазищами. Не иначе — пакость задумал.

На что другое, а на это Зигель мастак...

Еще не улеглось волнение, вызванное смертью деда Евдокима, как не вернулись с задания капитан Кулик и три его бойца. По какой-то причине сбились с маршрута? Убиты? Или...

Нет, ни Каргин, ни его товарищи за те двое суток, что капитан Кулик провел с ними до выхода на задание, не успели ни полюбить его, ни даже оценить как командира и человека. Не потому ли, что в памяти не потускнело, как капитан от своего солдата отказался? Так или иначе, но настороженно присматривались к нему.

Единственное, что молчаливо одобрили, — капитан Кулик точно и без рассуждений выполнял все немногие распоряжения Каргина, при встречах с ним держался так, словно еще недавно не был командиром роты, в которой Каргин служил рядовым.

Заметили и то, что вся его группа, как и командир, держалась с достоинством и без претензий.

Не успели полюбить капитана Кулика, но, как только узнали от вернувшихся с задания, что он остался там, у склада бензина, чтобы отвлечь от товарищей внимание врага, Каргин встретился с Василием Ивановичем и так изложил свою точку зрения:

— Нельзя допустить, чтобы такое без отмщения осталось. Никак нельзя!

— И что конкретно думаешь предпринять? Григорий с Юркой уговорили налет на Степанково сделать?

— Для этого силешек маловато. Но разведать — может, укараулим кого? — следует.

— Понимаешь, Иван, я полностью за твое предложение, одного боюсь... Вот-вот придет приказ перебазироваться, а кто его выполнит, если все вы к тому времени в бою поляжете? Не нанесем ли большой ущерб общему делу, допустив своеволие?

— Тоже верно, — вздохнув, согласился Каргин, помолчал и добавил: — А ты, Василий Иванович, запроси райком или кого там... Дескать, так и так, думаем то-то и то-то.

— Договорились.

Каргин ушел к себе в лес. Но теперь он думал о капитане Кулике почти все время, вновь мысленно просматривал каждый его шаг и пришел к убеждению: капитан — командир что надо; просто он, Каргин, в свое время не до конца понял его, вот и считал сухарем, формалистом. Но оказалось совсем не так. Лучшее подтверждение этому то, что три бойца, хорошо знавшие капитана, без приказа легли рядом с ним, не бросили его в одиночестве.

Чтобы подчиненные пошли на такое — это заслужить надо!

О просьбе Каргина и своем мнении Василий Иванович сообщил в подпольный райком партии. Ждал с разъяснениями кого-нибудь из больших начальников, а пришел Николай Богинов. Сказал, что настал черед и отряду Каргина сниматься с насиженного места и что перед уходом даже полезно потрясти немцев.

Только сказал это и сразу заторопился, даже от кружки горячего чая отказался:

— Или думаете, у меня и дел — вас одних известить? — И еще добавил, когда уже на лыжах стоял: — Я или другой кто — к тебе лично обязательно наведается, в курсе общей обстановки держать будем. Весна ведь скоро.

Василий Иванович понял, что ему приказано пока оставаться здесь, в Слепышах. Что ж, раз надо, то надо.

Зато Каргин, получив через Афоню приказ на выход, обрадовался так, что даже выстроил весь отряд на полянке и сказал:

— Завтра, как стемнеет, уходим отсюда на Степанково. К западной его окраине подходит Федор со своим отделением, все прочие со мной идут к восточной. Нападать только на машины и другой транспорт, чтобы ущерб для врага был побольше... И одиночек-фрицев, конечно, не миловать... Светать станет — расходимся парами в разные стороны, и чтобы к ночи всем быть у Гнилого Урочища... Дорогу туда знаете? Не заблудитесь?

Последнее сказал для очистки совести: всех сам лично сводил туда, можно сказать, последние суток трое и не спал из-за этого.

— А вопросик можно?

Это, конечно, Григорий.

Каргин кивает, тот выходит из строя и спрашивает:

— Если я правильно понял, мы с Юркой в прочих?

Бузотеристому Григорию обидно, что нет ему доверия, вот и напоминает о себе. Каргину все это понятно, он даже рад, что у Григория просыпается самолюбие. И отвечает без тени насмешки:

— Вам с Юркой особые задания будут... Ты отвечаешь за жизнь Петра. И отсюда шагай прямо на место общего сбора. Ясно?

— А чего тут понимать-то? Знай шагай, и все, — вроде бы безразличным тоном ответил Григорий, хотел сказать еще что-то, но промолчал.

А Каргин словно и не заметил внутренней борьбы Григория, он уже вновь смотрит только на неподвижный строй.

— Сержант Устюгов Андрей, выйди из строя... И Юрка, выйди... Чует мое сердце, что Зигель клятый нащупает наши землянки. Вот-вот нащупает. Так что вы подготовьтесь к встрече фашистов... Ежели трое суток минет после нашего ухода, а они не заявятся, идите вдогон за нами... А ты, сержант Андрей Устюгов, будешь все это время в подчинении у рядового, как ранее не оправдавший своего командирского звания. Не обессудь, но так будет. И он мне, когда встретимся, доложит, как ты вел себя при выполнении этого задания. На предмет того доложит, достоин ли ты своего сержантского звания... Вопросы есть?.. Разойдись!

8

Когда капитан Кулик очнулся, женщина уже не кричала. И соседи не стонали. Он был несказанно рад этому: казалось, голова на маленькие кусочки вот-вот разорвется от любого звука.

Не было сил перевернуться на живот. Да что перевернуться — вот она, кружка с водой, рядом, от жажды все внутри ссохлось и горит, а у него нет сил дотянуться до нее.

Хотя, может быть, он боится? Боится боли, которая неминуемо и с еще бо́льшим неистовством вонзится в каждую клеточку его еще живого тела?

Может быть, и так...

Болит все, но особенно сильно ноги. Они перебиты железным прутом.

Ох, ноги, ноженьки...

Как бывало уже не раз, замок заскрежетал внезапно, и сноп яркого света ударил в одиночку, скользнул по стенам, остановился на полу́, где, скрючившись, лежал он, капитан Кулик.

А вот властного окрика не последовало. Немцы просто подошли, склонились над ним, заглядывая в глаза. В одном из них он узнал врача — брюхо на тонких ножках. Того самого, который в первые дни накладывал повязки на его раны, а позднее — показывал, куда наносить удар железным прутом.

Врач напоил его, сделал укол, от которого боль исчезла и по телу разлилась приятная теплота.

Потом его, капитана Кулика, осторожно положили на носилки и понесли через двор, понесли по знакомому коридору, в тот самый кабинет, откуда он ни разу не ушел в сознании.

Яркое солнце заглядывало в окна кабинета, и, будто позолота, его лучи лежали на недавно выскобленных половицах.

— Ах, капитан, как хороша жизнь! — сказал фон Зигель. Он стоял у окна и любовался белыми облаками, которые неслышно скользили по голубой глади. — Весна идет, капитан, весна... Представьте на минуту, что вы сидите в садике у своего дома, а кругом цветы. Очень красивые и разные цветы. И все они источают аромат, и вам дышится легко-легко. А неподалеку, на лужайке, играют ваши дети... Вы кого бы хотели иметь: сына или дочку?

Много сынов... И чтобы все они стали солдатами...

— Что ж, солдаты — опора империи... А каких женщин вы больше любите? Брюнеток или блондинок? Лично мне, откровенно говоря, цвет волос безразличен, другое в женщине главное: она должна быть здорова и в меру упитанна, чтобы рожать нормальных детей... А ваше мнение?

— Раньше об этом не думал, а сейчас и вовсе не ко времени...

— Наоборот, сейчас вам самое время подумать о семье. Если вы назовете только свою настоящую фамилию — ничего больше! — мы наградим вас наделом земли, поставим усадьбу и дадим денег, чтобы вы смогли обзавестись соответствующим инвентарем, имуществом... Не торопитесь с ответом: право же, все это слишком высокая цена за одну фамилию. Лично я никогда бы не предложил вам такую сделку, но наш гебитскомендант — чудак, и таков его приказ.

Белые облака плывут по голубому небу, плывут себе, плывут...

Капитан Кулик закрывает глаза и устало говорит:

— Не надо... Не буду жениться...

Фон Зигель с видом победителя глянул на своих помощников, сдерживая торжество, не спеша подошел к капитану Кулику, рывком за волосы приподнял его голову и сказал, ласково улыбаясь:

— Я и не это заставлю вас сделать!

Тут голос фон Зигеля куда-то провалился. Сразу же померкло и солнце. Капитан Кулик уже не чувствовал, как врач — брюхо на тонких ножках — лихорадочно торопливо вогнал ему в руку иглу, как чьи-то неумелые пальцы расстегивали у него на груди гимнастерку. Он ничего больше не чувствовал. Даже боли, которая неотступно была с ним все эти дни. Он обрел покой.

Еще через несколько минут его бесцеремонно выволокли на двор и бросили там у входа в подвал, прикрыв окровавленной и

драной рогожей. А Трахтенберг равнодушно записал в дневнике комендатуры: «Сегодня русский, назвавшийся Ивановым Иваном Ивановичем, неожиданно скончался, хотя к нему никаких мер физического воздействия применено не было.

Диагноз — паралич сердца».

9

Даже в мыслях не было такого у Каргина, но своим приказом он здорово обидел Григория. Выходит, Федор в отделенные попал, Юрка — хоть над одним солдатом да начальник, а он, Гришка, только в няньки и пригоден?

Однако Григорий сумел спрятать свое недовольство: и с Каргиным простился честь по чести, и с Юркой обнялся.

Километра два или три они с Петром бежали ходко, а потом к ногам Петра будто кто гири привязал: стал отставать, через каждые пять минут канючить:

— Отдохнем малость, дядя Гриша...

Сжалился, присели отдохнуть. Тут Петро и сказал:

— А товарищ Каргин подходяще немцев пощиплет.

Во время второго привала, который пришлось сделать очень скоро, так как Петро где-то обронил рукавицу, была брошена тоже только одна фраза:

— А дядя Юрка даст фрицам, когда они сунутся к нашим землянкам.

Вот тогда Григорий и понял всю подноготную отставаний Петра, посуровел и сказал, сам не зная того, что подражает Каргину, разговаривающему с провинившимся бойцом:

— Если бы ты, Петро, был солдатом, я бы запросто мог тебя на губу упрятать. За обман командира, за симуляцию, за попытку сбить товарища с верного пути выполнения боевого приказа... Рукавицу-то куда спрятал? Достань немедля... Вот так-то... Приказ, Петро, на то и дается, чтобы солдат его выполнил. Кровь из носу, а выполнил!.. Думаешь, большая радость в нянь-ках при тебе состоять? А я состою. И доставлю тебя туда, куда приказал товарищ Каргин. И ты не изматывай мою душу, не надрывай! Мне силы для драки с фрицами еще понадобятся... Шагай, что ли!

10

Тетя Аня пришла из Степанкова утром. Вошла в дом Клавы, истово перекрестилась на пустой передний угол и, даже не взглянув на Виктора, прошла к столу, села. Годы уже сгорбатили ее спину, иссушили и покрыли восковой желтизной лицо и руки. Обычно она выглядела немощной старушкой, которой тлеть осталось самую малость. Но сегодня, даже сидя за столом, она опиралась на суковатую палку и поэтому казалась прямее, сильнее и мужественнее, чем обычно.

Она, как показалось Виктору с Клавой, молчала очень долго, словно ждала вопросов. Потом сказала одной Клаве:

— В великих муках преставился воин Иван. И будет ему вечное царство небесное, ибо постоял он за Родину и народ свой.

Отбив положенное число поклонов, она поднялась с колен, жестом руки отвергнув помощь Клавы, и, стоя посреди кухни, поведала, как израненного капитана — ноженьки резвые прострелены — привезли в Степанково, как улещивали, а потом и пытали его, чтобы отрекся от своего народа. Умер под пытками капитан Иван, а черной измены не совершил.

— И выволокли они его мертвого во двор, прикрыли рогожей... Но и мертвый он грозил кулаком! И такое сияние от его лица лилось, что сквозь рогожу слепило! — убежденно закончила она свой рассказ.

— А пытал его... кто? — спросил Виктор, проглотив комок, стоявший в горле.

— И фрицы, и полицаи... У одного шея — во, а лапищи и того страшнее... Этот за главного при всех пытках был.

Горивода!

Тетя Аня скоро ушла обратно, так и не сказав Виктору ни слова. Но, уже взявшись за ручку двери, посмотрела на него и постучала по полу суковатой палкой. Будто приказала понять что-то обязательно. И, не простившись, ушла.

Только своим и пересказали, что узнали от тети Ани, а уже на другой день о героической смерти неизвестного капитана судачила вся деревня. Клава с Груней передали, что бабы, лишь столкнутся хотя бы две или три, непременно заведут разговор об этом, перескажут друг другу те муки, через которые он чистым прошел, и закончат неизменно одним:

— Долго ли терпеть такое?

Даже Авдотья, которая еще недавно, казалась, слова прилюдно молвить боялась, и та во весь голос заявила у колодца:

— А по мне — всей деревней, всем миром в леса глухие уйти, и пущай фрицы с полицаями меж собой грызутся!

А следующей ночью, пошатываясь и держась рукой за грудь, где из последних сил барабанило сердце, к околице Слепышей подбегала Нюська. Подбегала на непослушных от усталости ногах, растрепанная, даже лохматая. Минут пять она стояла, почти упав грудью на изгородь, собираясь с силами.

Сегодня был ее черный день, и в указанное время она приплелась в Степанково. А ночью, когда тот храпел, а она отрешенно смотрела в темноту, всех солдат подняла боевая тревога. Ее мучитель тоже убежал на построение, приказав ждать его. И она ждала. Но он заскочил только на несколько секунд, схватил что-то, потом неизвестно почему рассвирепел, увидев ее, и вытолкнул на улицу, по которой сновали полицейские и солдаты. Из отрывков их разговоров и узнала, что утром, когда рассветет, они будут прочесывать лес в районе Слепышей; будто бы туда ушла лыжня поджигателей склада бензина.

Нюська не знала тех, кто поджег склад. И все равно они были дороги ей, все равно их судьба волновала ее: они не сломились, они, как только могли, мешали врагу утвердиться на советской земле.

Нюська не знала, кто те смельчаки, не знала и о том, как можно помочь им. И все равно из последних сил бежала в Слепыши: здесь Витька-полицай, ему она верила. Даже тайком подозревала, что он не просто Клавкин полюбовник, как судачили бабы, хотя спроси ее на самом страшном суде, не смогла бы объяснить почему. Может, чувствовала в нем ту душевную чистоту, которая обязательно умирает в человеке, отрекшемся от родного народа.

Верила Витьке-полицаю, о нем думала всю дорогу, но без остановки пробежала мимо его хаты, забарабанила кулаком в дверь квартиры Василия Ивановича.

Тот сразу же окликнул:

— Кто там?

— Открой... Это я, Нюська...

Через некоторое время, показавшееся ей невероятно долгим, он открыл дверь и впустил Нюську в горницу.

— Облава... Большущая, — сказала Нюська сразу же, как только переступила порог. — Будто от того склада в наш лес лыжня поджигателей склада бензина ушла...

Василия Ивановича словно не удивило это известие, он просто помолчал какое-то время, а потом сказал:

— Зови сюда Афоню с Виктором. И побыстрей!

Она поняла, что в ней нуждаются, и сразу, позабыв про усталость, метнулась на улицу...

Когда машины с гитлеровцами и полицаями приблизились к околице Слепышей, кто-то невидимый окликнул их:

— Стой! Кто идет?

Свитальский, который ехал в кабине головного грузовика, крикнул по возможности властно:

— Начальник полиции района!

Немедленно из одного сугроба вынырнул полицейский и, держа карабин на изготовку, подошел к машине, взглянул на Свитальского, отрапортовал, что за минувшую ночь происшествий не было, и попросил разрешения вызвать товарищей. И моментально бабахнул в черное небо.

Фон Зигель, когда услышал выстрел и пока еще не знал причины, породившей его, решил руководить боем из машины: это даст ему возможность маневра (так он мотивировал свое решение). На самом же деле испугался этих будто вымерших домишек и леса, который, казалось, за ночь придвинулся угрожающе близко. А велики ли у него, коменданта района, силы, устоят ли они, если из-за темных елей ударит большевистская банда? Меньше сотни солдат и полтора десятка сброда, который при первой серьезной опасности даст стрекача!

И еще он подумал, что при первой возможности нужно будет полностью уничтожить все подобные деревеньки, затерявшиеся среди лесов.

Прошло еще несколько минут, и его отряд, усиленный тремя полицейскими из Слепышей, раскинулся цепью и вступил в лес. В цепи облавы, нацелив винтовки на лес, шли Василий Иванович и Виктор с Афоней. Перед ними маячила, дразнила широченная спина Гориводы, который был проводником. Виктору чудилось, что он даже сейчас, даже сквозь шапку видит его розоватый затылок, сбегающий в покатые плечи.

Юрка уже начал подумывать, что дежурить им у пустых землянок остается лишь еще две ночи, когда между деревьев мелькнула фигура человека, который, легко выбрасывая лыжные палки вперед и чуть в стороны, шел в глубину леса, шел точнехонько по направлению их землянок. Юрка еще решал, как ему поступить — окликнуть незнакомца или просто проследить за ним, — когда за спиной того замелькали ненавистные серо-зеленые шинели. И тогда, вскинув автомат, он дал очередь. Целился точно в грудь того, первого, понимая, что именно он ведет остальных. Увидев, что он рухнул лицом в комель березы, сразу, как только мог быстро, Юрка побежал к землянкам, чтобы заблаговременно предупредить о фашистах сержанта Устюгова, в солдатскую расторопность которого не очень верил. Но тот уже ждал его у землянок.

— Заминировал? — спросил Юрка. — И веревочку закрепил, как учили?

— Проверьте, если сомневаетесь.

И Юрка проверил. Он прекрасно понимал, что взрыв уничтожит следы людей, живших в землянке. Вернее — не полностью уничтожит, а сделает так, что невозможно станет определить, сколько человек здесь жило; умение обмануть врага — тоже искусство настоящего солдата. И жаль, что нельзя было заминировать всю эту полянку!

— А теперь идем, встретим их, — сказал Юрка.

Едва настороженную тишину леса разорвали автоматные очереди, Виктор плюхнулся в снег, зарылся в него лицом. В этот момент он не думал о том, что это стреляют свои, своевременно обнаружившие врага. Виктор просто испугался этого внезапного грохота, сорвавшего с деревьев снег. Испугался за свою жизнь.

Страх исчез скоро и так же внезапно, как обрушился. Виктор приподнял голову и со злорадством отметил, что залегла вся цепь, что и немцы в подавляющем большинстве своем, как и он недавно, уткнулись лицами в снег. И тут же глаза остановились на Гориводе. Он лежал впереди всех. Лежал большой и до невероятности неподвижный. В его бок — единственное, что видел от-

четливо, — и стал выпускать пулю за пулей, радуясь, что и немцы с каждой минутой стреляли все злее, яростнее.

Потом откуда-то справа приползла команда, скорее истеричная, нежели властная:

— Вперед!

Цепь поднялась и перебежками, от дерева к дереву, от сугроба к сугробу, спотыкаясь на каждом шагу, двинулась в чащу леса.

Примерно через час между деревьями обозначился просвет, и Виктор понял, что подошел к землянке; глянул на Афоню, который все время держался рядом, перехватил его чуть насмешливый взгляд и вспомнил, что товарищи уже ушли.

Цепь снова залегла, едва передние увидели черное колено трубы, вокруг которого вытаял снег. Сразу же загремели выстрелы. Били по черному колену трубы (оно скоро упало, срезанное пулями), били просто по снежным буграм над землянками.

Наконец стрельба захлебнулась, и на лес упала невероятная тишина. Была она настолько по-мирному прозрачна и светла, что белка высунулась из своего дупла.

Из-за ствола этой самой ели, которая приютила белку, пан Свитальский и прохрипел молодцевато:

— Вы окружены! Сдавайтесь!

Землянки отмолчались.

Тогда пан Свитальский взмахнул рукой, и два полицая-добровольца, чуть выдвинувшись вперед, разрядили винтовки в дверь главной землянки.

Опять никакого ответа.

Тогда те же два полицая, желая выслужиться, метнулись к землянке, один из них рванул на себя ее дверь. Тотчас грохнул взрыв, от которого, казалось, зашатались все деревья и взлетели на воздух две другие землянки.

Когда осела последняя почти невесомая снежная пыль, к огромной яме, из которой кое-где торчали обломки бревен, подошли сначала саперы, потом Свитальский с Золотарем и, наконец, фон Зигель. Они долго стояли на краю ямы. Если на лицах большинства немецких солдат читалось только любопытство, то Золотарь со Свитальским были явно разочарованы, зло перешептывались, словно обвиняли друг друга в чем-то, и украдкой бросали на коменданта встревоженные взгляды. А тот, не мигая, смотрел на разорванный взрывом бок железной печурки, внешне был абсолютно спокоен, но думал о том, что здесь, в Советской России, все значительно сложнее, чем казалось сначала. Только сейчас он по-настоящему понял, что поражение вермахта под Москвой — вовсе не случайность, а нечто другое, во много раз более страшное. И еще подумал, что главная борьба впереди и что будет она невероятно тяжелой, кровопролитной. От таких выводов стало зябко даже в меховом жилете, даже в шинели, меховой воротник которой ластился к шее.

В это время к нему подбежал солдат на лыжах, козырнул и протянул пакет. Фон Зигель удивленно вскинул бровь, о чем-то спросил солдата. Тот начал отвечать, но фон Зигель жестом руки приказал ему замолчать, вскрыл конверт, прочел послание и, сохраняя внешнее спокойствие, зашагал обратно по своему следу. Зашагал зло, решительно, нимало не заботясь о том, что снег упорно лез за голенища валенок.

А немцы в цепи перешептывались, от них Василий Иванович и Виктор с Афоней узнали, что сегодня на рассвете у самого Степанкова неизвестные напали на колонну из пяти машин и уничтожили ее; снаряды, лежавшие в кузовах грузовиков, рвались так, что в комендатуре почти все стекла повылетали.

11

Лишь на лыжне, оглянувшись и заметив, что за ним идут только Пауль и Ганс, Каргин вдруг почувствовал холодок между лопатками: хотя они вроде бы и хорошие парни, но все же — вчерашние солдаты вермахта; их двое, он — один; его товарищи удаляются с каждой минутой, а соотечественники этих — вокруг.

Он понял, что допустил просчет и настал час самого страшного испытания: если сейчас, выдав командира русского партизанского отряда, Пауль и Ганс еще могут рассчитывать на прощение или хоть на какое-то снисхождение, то позже уже никогда им не вернуться в ряды вермахта.

Все это прекрасно понимал Каргин, ничего изменить уже не мог и поэтому внешне спокойно прокладывал лыжню, хотя первое время ждал, что вот-вот сзади лязгнет затвор винтовки и кто-то из немцев пролает страшное, уничтожающее: «Хальт! Хенде хох!»

Но сзади доносилось только дыхание людей, старающихся не отстать.

Шли весь день. Сначала, опасаясь погони, Каргин старался выиграть время и поэтому не делал привалов, а позднее вдруг почувствовал, что ночные походы в Гнилое Урочище не прошли даром, что свинцовая тяжесть разлилась по ногам и была настолько велика, что, казалось, сесть — сядешь, а вот встать уже не сможешь. И опять шел без остановок.

Почти в полной темноте Каргин вдруг увидел у ног черную дыру в снегу. Он еще не решил, осмотреть ее или идти дальше, а Пауль уже встал между ним и неизвестным лазом, нацелив туда винтовку. Ганс встал рядом с Паулем. И тоже с винтовкой наготове.

Несколько минут вслушивались, потом Пауль чуть посторонился, и Ганс, сняв лыжи, медленно, осторожно и в то же время решительно полез в эту дыру, казавшуюся бездонной.

Теперь и Каргин положил руки на автомат.

Дыра оказалась лазом в блиндаж. Было непонятно, кому и зачем понадобился он в этой глухомани. Эти вопросы только

промелькнули, не взволновали. Главное — есть пристанище на ночь! И пусть в нем нет ни лежанки, ни столика, ни печурки. Зато это уже ночевка не под елкой, и самое радостное — в дальнем углу громоздились пустые патронные ящики. Два из них Ганс сразу разломал, а еще через несколько минут на земляном полу, сохранившем следы чьих-то подкованных каблуков, запылал небольшой костер. Дым с неохотой шел наружу, словно чувствовал, что к ночи мороз покрепчал, и висел под потолком клубящейся сизой пеленой. Но дым — мелочь, которой можно пренебречь: от костра струилось такое хорошее домашнее тепло!..

Каргин все еще несколько остерегался Пауля с Гансом и решил не спать всю ночь. С такой мыслью он и навалился спиной на земляную стенку блиндажа, устроился как только мог удобнее и положил руки на автомат, висевший на груди.

Каргин намеревался бодрствовать всю ночь, но уже через считанные минуты голова его безвольно склонилась на грудь, а еще немного погодя и сам повалился на бок. Он не чувствовал, как Пауль и Ганс подхватили его и подтащили поближе к костру, уложили спиной к нему. Не слышал и пояснения Пауля:

— Чтобы спине его было теплее. Она всегда первой мерзнет.

Вскоре по другую сторону костра и тоже к нему спиной прилег Ганс, обняв винтовку. Лишь Пауль бодрствовал, чтобы поддерживать огонь.

Каргин спал беспокойно, вскрикивал, дергался, словно порывался встать. Пауль решил, что ему холодно, и, подумав, снял с себя шинель и осторожно, чтобы ненароком не потревожить, накрыл ею Каргина. Пусть геноссе Каргин хорошо отдохнет...

Будто от внутреннего толчка проснулся Каргин и прежде всего спохватился: где автомат? Он лежал у него на груди. Тогда, еще боясь окончательно поверить в большую радость, он открыл глаза и увидел немецкую шинель, которой он был накрыт.

Так вот почему ему было так тепло!..

Каргин сел и повернулся лицом к костру. Сразу же увидел Ганса в одном френче и протянул ему шинель. Не сказал ни слова благодарности, просто протянул шинель. Только свой автомат, который даже во сне сжимал изо всех сил, снял с шеи и положил так, словно он стал общим.

Позавтракали всухомятку и вылезли из блиндажа, чтобы осмотреться и продолжать путь.

Мороз за ночь набрал силу и сразу вцепился в уши, щеки, нос. Но по зеленовато-голубому небу плыло солнце. Было оно не кровавым, как в лютую зимнюю стужу, а просветленным, даже ярким. И в воздухе струилась прозрачность.

Стало ясно, что этот мороз, может быть, последний, что еще немного, совсем немного — и зазвенит капель, запоют под снегом первые ручейки — разведчики надвигающейся весны. А там, гля-

дишь, нагрянет и разыграется половодье, после которого земля всегда выглядит помолодевшей и обязательно очищенной от гнили. Главное же — окончательно укрепилась уверенность, что еще соберется снова весь отряд, что его боевая история только начинается.

ПЕРЕД РАСПЛАТОЙ

КНИГА ВТОРАЯ

Глава первая

1

Будто от внутреннего толчка проснулся Каргин и прежде всего спохватился — где автомат? Он лежал у него на груди. Тогда, еще боясь окончательно поверить в большую радость, Каргин чуть приоткрыл глаза. И сразу увидел немецкую шинель, которой был накрыт.

Так вот почему ему стало так тепло!

Каргин вновь закрыл глаза: ему нужно было побыть одному с нахлынувшими мыслями; он не хотел, чтобы Пауль с Гансом заметили его волнение.

Подумать только: ведь еще вчера он считал ошибкой то, что один пошел с Паулем и Гансом, пошел лесной глухоманью! Не верил им полностью, вот и считал, что совершил ошибку...

Действительно, кто они ему? Что знал он о них, чтобы полное доверие иметь?

В ноябре прошлого года в лютую метель Григорий с Юркой нашли их, замерзавших, в снежном круговороте. Одолела жалость — что ни говори, а люди! — вот и пригнали в партизанскую землянку...

Потом были длинные зимние вечера, когда откровенно говорили друг с другом. Обо всем говорили. И о жизни вообще, и о том, что гитлеровская пропаганда — сплошное и наглое вранье, рассчитанное на то, чтобы задурить мозги простачкам.

Вроде бы эти разговоры действовали на Пауля с Гансом. В хорошую сторону действовали. Но окончательно поверили им тогда, когда после нелепой гибели Павла эти недавние фашистские солдаты сами вызвались стоять в карауле, сами напросились на боевую операцию.

Но все равно до этой минуты Каргин еще не полностью верил им.

Каргин сел и повернулся лицом к костру. Сразу же увидел Ганса в одном френче и протянул ему шинель. Не сказал ни слова благодарности, просто протянул шинель. Только свой автомат, который даже во сне сжимал изо всех сил, снял с шеи и положил так, словно он стал общим.

Пожевав сухарей, Каргин первым вылез из блиндажа.

Мороз за ночь набрал силу. Но по зеленовато-голубому небу плыло солнце. И было оно не кровавым, как в лютую зимнюю стужу, а посветлевшим, даже ярким. И в воздухе струилась прозрачность.

Стало ясно, что этот мороз, может быть, последний, что еще немного, совсем немного, и зазвенит капель, запоют под снегом первые ручейки — разведчики надвигающейся весны. А там, глядишь, нагрянет и разыграется половодье, после которого земля всегда выглядит помолодевшей.

На душе было так спокойно и даже радостно, что Каргин улыбнулся заснеженному лесу, потом повернулся к Паулю с Гансом и сказал, не глуша улыбки:

— Пошли, что ли, товарищи?

Он впервые и неожиданно даже для себя назвал их товарищами. И по тому, как ответно улыбнулись они, понял, что сегодня был просто обязан произнести это слово. Чтобы навсегда закрепить то, что явно проросло этой ночью.

Озорно, начисто забыв о вчерашних страхах, бежал Каргин впереди своей небольшой группы. То ли немцы уже начали втягиваться в ритм перехода, то ли душевная радость помогала им, но сегодня, как казалось Каргину, они шли легче, сегодня их дыхание не было таким тяжелым и прерывистым, как вчера. И неизменно, когда Каргин поджидал их, они открыто и чуть-чуть виновато смотрели на него. Словно извинялись, что еще не могут бегать на лыжах так же легко и быстро, как он, словно обещали в скором времени постичь и эту науку.

Когда солнце помутнело, налилось кровью и краем своим припало к вершинам елок, подошли к обусловленному месту встречи. Весь сегодняшний день Каргин гадал, какой будет она, эта первая встреча с новыми товарищами. Нет, он не боялся ее, он просто очень хотел, чтобы она была точно такой, как рисовалось это воображению. Однако чуть ли не за триста метров увидел человека; тот вылез из-под ели и остановился на припорошенной снегом лыжне, по которой шли Каргин и два его товарища. Остановился лицом к ним и почему-то распахнул полушубок. Словно жарко вдруг стало.

Скорее всего это был встречающий: враг подпустил бы еще ближе и срезал всех троих одной очередью. Однако то, что сделал сейчас этот неизвестный, было явным нарушением инструкции, и Каргин сначала замедлил шаг, а потом внезапно нырнул за ближайшее дерево; пусть оно и тонковато, но все равно от пули защита.

Нырнул за дерево и краешком глаза проследил, убедился, что товарищи мгновенно поступили так же.

Неизвестный, похоже, растерялся, он прокричал вовсе не то, что был обязан:

— Товарищ Каргин, куда же вы?

Почти тотчас зеленую стену елочек прорвало человек двадцать — все с трофейными автоматами. Среди них Каргин узнал

Федора Сазонова, Юрку и других дружков, с которыми за минувшие месяцы войны довелось через многое пройти. А вот Григория с Петром не было. Задержались в пути? Или?..

Юрка с разбега бросился на Каргина, чуть не опрокинул в снег и восторженно возопил, казалось, на весь лес:

— Иван! Товарищ командир!

— Доложите как положено, — чтобы скрыть волнение, оборвал его Каргин.

Юрка не обиделся, не стал спорить, как не раз бывало раньше, а как-то особенно лихо козырнул и зычно отчеканил, что задание выполнено. Потом с рапортом подошел Федор.

— Значит, все в порядке? — все же спросил Каргин.

— Только Гришка с Петькой запропастились, — затараторил было Юрка, но Каргин успокаивающе положил ему на плечо руку.

— Сам знаешь, куда и как им идти приказано.

— Оно, конечно, знаю, только чует мое сердце, что тот баламут чернявый...

— Или не понимаешь? Объяснить популярно?

Юрка замолчал. Он вдруг понял, что не надо, нельзя так говорить о товарище сейчас, при людях, с которыми встретились впервые. В тот самый момент замолчал Юрка, когда к Каргину подошел парень в распахнутом полушубке — коренастый, широкоплечий. Он смотрел на Каргина ясными виноватыми глазами. Застегнув полушубок, козырнул и представился:

— Михась Стригаленок, командир передового...

— Погоди, сначала я скажу, — бесцеремонно перебил его Каргин. — Богато нынче снегами.

— Так точно, богато! И они непременно стают! — будто даже обрадовавшись, ответил Стригаленок. И такая в этот момент из его глаз лилась ласка, что Каргин даже несколько смутился, сказал не так четко и уверенно, как того хотелось:

— Значит, большое половодье будет.

— Так точно, большущее! Я, товарищ Каргин, человек прямой и поэтому при всех откровенно заявляю: виноват, допустил промашку, что так встретил. Уж очень обрадовался, когда вас увидел.

— С чего вдруг такая радость? Ведь мы с тобой, если меня глаза не обманывают, до сегодняшнего дня не встречались? — Стригаленку было лет восемнадцать, вот и обратился к нему Каргин на «ты».

— От ваших товарищей о вас наслышан, — еще шире улыбнулся Стригаленок.

Неужели не понимает, что эти его слова — откровенное подлизывание? Неужели таким приемом надеется задобрить его, Каргина? Чтобы начальству не доложил о его промашке? Жаль, не дослушал, чего передового он командир. Однако узнать это всегда успеется...

А может, он по простоте душевной все это сказанул так неловко?..

— Куда теперь идти? — спросил Каргин.

— За мной прошу. — И Стригаленок уверенно зашагал к стене зеленых елочек, нырнул в чуть заметный прогал.

Каргин ожидал, что где-то сравнительно недалеко увидит костры и сидящих вокруг них партизан. Или землянки, похожие на те, которые они сами покинули двое суток назад. Но Стригаленок вывел его на лесную дорогу, на которой еле угадывался санный след, и молодцевато свистнул. Через несколько минут откуда-то из леса донеслось лошадиное пофыркивание, а еще немного погодя появились и двое саней-розвальней.

— Прошу в передние, товарищ Каргин, — опять козырнул Стригаленок и уже совершенно другим тоном — тоном строгого, даже беспощадного начальника: — Доставишь, Спиридон, товарища Каргина точно в штаб. Лично проверю!

Чего угодно ждал Каргин, но только не того, что в санях-розвальнях поедет по вражеским тылам. Однако сумел скрыть свое удивление, сидел в санях будто бы равнодушный к тому, что видели глаза. А они намертво схватили, что Спиридон беспечно положил свой карабин в сани, что не сделал даже малейшей попытки хоть что-то узнать о тех людях, которых вез. Невольно пришло в голову: Спиридон уверен в безопасности пути, по которому едет, ему не впервой выполнять такое поручение. И подумалось: насколько же велик этот партизанский край, если они какой час по нему едут, а конца пути не видно? Насколько же сильны здешние партизаны, если полными хозяевами себя на этой земле чувствуют?

Хотя зачем сравнивать несравнимое? Ведь у него, Каргина, когда он в прошлом году партизанить начал, в подчинении и было-то всего три человека — Григорий, Павел и Юрка; да в придачу — полуживой от ран Василий Иванович, батальонный комиссар. И ни оружия, ни базы, заранее подготовленных. Это уже потом Федор Сазонов, бежавший из фашистского плена, примкнул и Витька-полицай с Афоней объявились...

Если с точки зрения военной науки рассматривать, разве это настоящая сила? Но они и ее, кажись, на полную мощь использовали, не давали фашистам на перинах нежиться!..

Но еще больше удивился и обрадовался Каргин, когда их маленький обоз оказался в улице какой-то деревни. Велика ли она — этого не успел узнать (сани остановились у третьего от околицы дома). Да и не это было главным для него сейчас: его переполняло торжеством сознание того, что и в глубоком немецком тылу есть по-настоящему свободная советская земля, где в деревнях люди открыто живут по советским законам.

— Прямо в эту хату и шагайте, товарищ Каргин, — сказал Спиридон.

— Может, командир, нам с тобой пойти? Или здесь подождать? — немедленно спросил Федор, поудобнее перехватывая

автомат. Чувствовалось, и другие товарищи настроены так же. Значит, не забыли того, что случилось осенью прошлого года, помнили, что, когда они из окружения вышли, Каргина сразу же на допрос увели. Да и сам Каргин не забыл этого. Поэтому и медлил у саней, хотя до хаты — шагов десять или чуть побольше того.

— А чего вам ждать его здесь, если ваша хата рядом? — похоже, обиделся Спиридон. — Перин вам не приготовили, зато картошка есть. Вот и шагайте, растапливайте печь. К тому времени, когда он, — кивок в сторону Каргина, — к вам вернется, глядишь, картошку сварите.

Каргин постоял на улице, не замечая мороза, который и вовсе озверел, подождал, пока его товарищи вошли в указанный дом, пока тусклый свет не залил там три окна. Лишь после этого решительно поднялся на крыльцо, открыл дверь, на ощупь прошел темные сени и громко сказал, входя в кухню:

— Разрешите?

Человек, сидевший за столом, ничего не ответил, он просто передвинул керосиновую лампу так, чтобы ее свет падал на его лицо. Оно было широкое, одутловатое... Около ножки стола пристроилось ржавое ведро с водой, куда он и бросил окурок самокрутки...

Майор-особист! Тот самый, который в прошлом году допрос вел!..

— Товарищ майор! Рядовой Каргин прибыл в ваше распоряжение, — доложил Каргин чуть дрогнувшим голосом.

— Узнал, значит. — Каргину показалось, что в голосе майора прозвучало даже удовольствие. — Садись, закуривай и оттаивай. Можешь и моим табачком воспользоваться. Только предупреждаю: не табак — горлодер.

Это непринужденное предложение закурить, этот простой разговор о табаке-горлодере помогли Каргину немного освоиться, почувствовать себя сравнительно раскованно, но все равно, сделав несколько жадных затяжек, он почему-то заговорил не о себе, не о том, как и почему в прошлом году ушел с товарищами из-под караула, а о нелепой смерти Павла от пули предателя Аркашки Мухортова, о деде Евдокиме, с которого Зигель в лютую стужу содрал валенки... Почти обо всех, с кем был в минувшие месяцы войны, рассказал он. И ни разу майор-особист не перебил его вопросом; только курил почти непрерывно и смотрел на Каргина если и не с сочувствием, то уж без всякой предвзятости.

Это настолько ободрило, что Каргин и сам не заметил, как случилось, в какой момент это произошло, но стал величать майора просто Николаем Павловичем. Потом настолько осмелел, что даже спросил:

— Меня-то почему не спрашиваете о том, как из-под караула ушел?

— Без надобности мне это, — улыбнулся Николай Павлович.

— Как понимать прикажете? — нахмурился Каргин.

— Я, Иван Степанович, каждый твой шаг знаю. От самого Василия Ивановича знаю...

— От батальонного комиссара? — удивился Каргин и тут же сделал вывод: — Значит, это вы к нему от подпольного райкома приходили...

Николай Павлович почему-то невероятно долго сворачивал цигарку и прикуривал ее от керосиновой лампы. Потом все же заговорил, глядя в глаза Каргина:

— Это вы, оказавшись во вражеском тылу, правильно сделали, — вы будто забыли фамилии друг друга, только по имени друг к другу обращались. За редким исключением. Прятать настоящие фамилии — это, так сказать, одно из основных требований конспирации... А Василий Иванович вовсе не батальонный комиссар, как вы считаете, он — старший лейтенант, призванный из запаса. До встречи с вами ротой командовал... К чему это тебе говорю? Чтобы ты лучше оценил то доверие, какое мы тебе оказываем, чтобы еще большим уважением проникся к Василию Ивановичу... На шинели батальонного комиссара вы из пекла боя его вынесли, вот самовольно и присвоили ему звание. А он отпираться не стал, понимая, что вы это по-всякому истолковать сможете. Вплоть до того, что в трусости его обвините. Да и в идейном отношении кто-то старшим над вами должен был быть. Вот он и не отпирался. Больше того, чтобы нам пользу принести, под видом матерого нашего врага Шапочника жить стал... А что ты про Виктора Капустина и его дружка Афоню скажешь?

То, что секунды назад открыл ему Николай Павлович, было настолько велико и потрясающе, что Каргин несколько замешкался с ответом, зато потом, опомнившись, горячо заявил, что Витька Капустин, хотя он и вчерашний школьник — в прошлом году девятый класс окончил, — хотя он и носит повязку полицая на рукаве, — наш, советский, до самой последней жилочки, как и его дружок Афоня; и жены ихние — Клава с Груней — тоже всей душой против фашистов. Даже Нюська с Авдотьей, хотя и не безгрешны сугубо по женской линии, если глубже глядеть, могут быть использованы в борьбе с врагом.

Обо всех, кого знал, как мог обстоятельно рассказал Каргин. А потом спросил, стараясь придать голосу равнодушие:

— Ежели про меня все знаете, то зачем до себя затребовали? Или эти сведения у кого другого и, скажем, завтра нельзя было получить?

— Взглянуть на тебя захотелось, — засмеялся Николай Павлович и вновь протянул свой кисет: — Закурим, что ли, еще по одной?

И еще около часа они просидели вдвоем. За это время Николай Павлович рассказал Каргину и о бригаде — о ее недавнем прошлом, о том, что она должна будет сделать в ближайшее время, и обстановку на фронтах хоть и кратко, но обрисовал.

Единственное, о чем умолчал, — о силах Советской Армии и врага лютого. Потому умолчал, что и сам не знал этого. Да и вообще, кто из простых смертных мог тогда знать это?

Но о том, что в 1942 году фашистам уже не наступать всеми фронтами, догадывались многие. Николай Павлович сказал, раскуривая очередную самокрутку:

— Теперь, Иван Степанович, и мы не те, какими год назад были. А захватчик и подавно не тот. Ему уже не до жиру, сейчас он больше о жизни своей печется.

2

Еще вчера мороз бесцеремонно хватал тебя за щеки и нос, а сегодня первые звонкие и прозрачные капли вдруг начали срываться с крыш домов и оконных наличников; чем ближе к полдню, тем неистовее.

Солдаты комендатуры, свободные от службы, повысыпали на солнечную сторону улицы. Они о чем-то оживленно переговаривались. Похоже, радовались, что наконец-то проглядывается скорый капут этой проклятой зиме с ее дикими морозами и бешеными метелями.

Фон Зигель с раздражением подумал, что все эти солдаты вермахта очень хотят жить. И будь его воля, он только за одно это желание жить немедленно посылал бы солдат в самое пекло боя, ибо нет для солдата ничего преступнее этого желания вообще, да еще в тот момент, когда престиж вермахта основательно пошатнулся в глазах почти всего мира. Сейчас даже самому отъявленному олуху должно быть понятно, что наистрашнейшее последствие поражения под Москвой — не сотни тысяч немецких солдат, нашедших смерть на советской земле, а откровенная радость и англичан, и французов, и всех прочих, кто сам оказался не способен на то, что свершила Советская Армия.

Настоящий немецкий солдат, как считал фон Зигель, сейчас был обязан думать прежде всего только об отмщении, только о сражениях, которые покроют его новой славой и всех заставят забыть позор недавнего разгрома вермахта под Москвой.

Фон Зигель решительно отошел от окна и вновь заметался по кабинету, стараясь не глянуть в окно, чтобы не видеть тех мерзавцев, которые откровенно радовались солнцу. Отмщение и еще раз отмщение! Только об этом он и думает с того дня, когда поддался уговорам этого ничтожества Свитальского и согласился лично возглавить облаву, во время которой в перестрелке неизвестно с кем были убиты два его солдата и лесник, вызвавшийся быть проводником.

Даже самому себе фон Зигель теперь не признавался, что не Свитальский, а он был вдохновителен и организатором облавы, закончившейся так плачевно. Вот если бы она принесла удачу...

То, что погибли два солдата вермахта, разумеется, печально. Однако фон Зигель не скорбел и не скорбит об этом, он искрен-

не согласен с фюрером, который откровенно заявил: «Мы должны быть жестокими... Посылая на войну 10 миллионов молодых немцев, я не могу мучиться мыслью о том, что посылаю их на смерть...»

Да, да, настоящий немец должен быть жестоким!

Помня слова Гитлера о жестокости и полностью разделяя это его мнение, фон Зигель, вернувшись в Степанково, намеревался немедленно арестовать Свитальского, свалив на него всю ответственность за случившееся, хотел в тот же день стереть с лица земли Слепыши. Вместе со всем населением стереть с лица земли.

Почему не поступил так?

Поостыв и подумав, решил, что сделать это никогда не поздно. Главное же — только круглый дурак сам оповещает всех о своей неудаче, а умный...

Действительно, кто точно знает, сколько советских солдат скрывалось в том лесу и как они там появились? Были они пришлыми, допустим, парашютистами или давно осевшими здесь? Наконец, разве в Брянских лесах, в Полесье и во многих других местах не обнаружились огромные скопления советских партизан? Настолько огромные, что там есть целые районы, где все еще сохраняется Советская власть? Разве не могло такое скопище этих лесных бандитов случайно напасть на Степанково?.. Хотя почему случайно? Намеренно напасть! Только потому напасть, что здесь твердой рукой насаждается железный порядок!

Этот тактический ход подсказал Шапочник. Ох и продувная бестия! Уже на другой день после неудачной облавы заявился в Степанково и спокойно, но настойчиво начал просить, чтобы жителям Слепышей было оказано некоторое послабление, так как они делом доказали свою приверженность Великой Германии.

Каков наглец, а? И ведь так упорно отстаивал свою линию, словно здесь, в Степанково, никто не имел ни малейшего представления о случившемся!

Или он, фон Зигель, не способен еще более уверенно держаться, когда о случившемся будет докладывать своему начальству?..

И даже очень хорошо, что взрывы разрушили землянки: теперь можно смело утверждать, что эти убежища для красных бандитов были еще в стадии подготовки, что именно благодаря отчаянно смелым действиям и решительности его, коменданта района, вся операция закончилась так успешно: убито только два солдата вермахта!

Продумав и взвесив все, фон Зигель и послал своему начальству донесение, из которого явствовало, что случившееся — еще один подвиг солдат вермахта и лично его, гауптмана фон Зигеля.

В том донесении он точно указал не только свои, но и потери противника: тридцать пять убитых.

И убитые были. Их фон Зигель не выдумал. Ровно тридцать пять. И все местные. Из окружающих Степанково деревень. Те самые местные, которые повстречались на дороге, когда его отряд от землянок спешил к комендатуре.

В том, что убитые были самыми обыкновенными гражданскими лицами, не было преступления. Фон Зигель точно знал, что любая жестокость по отношению к местному населению будет очень благосклонно встречена в верхах: ведь не случайно заявлено, что не подсудно любое деяние людей вермахта, совершенное на восточных землях; он очень хорошо помнит, как радостно смеялся Гиммлер, когда ему осторожно, боясь навлечь на себя гнев, рассказали об ответе девочки из варшавского гетто. Действительно, ответ девочки звучал забавно. У нее спросили, кем бы она хотела стать. Она совершенно серьезно ответила: «Собакой. Ведь часовые их так любят».

Лично он, фон Зигель, в этом ответе улавливает самое главное, чего и планировали добиться всем режимом гетто: не учительницей, не врачом, не актрисой мечтала стать та девочка; она за несколько месяцев соответствующего режима прониклась сознанием, что лучше всего, выгоднее всего быть тем, кто угоден господам. Не случайно и то, что именно ребенок, а не кто-то из взрослых, так сравнительно быстро схватил невысказанное желание господ: дети наиболее восприимчивы, их душа всегда готова подчиниться воле по-настоящему сильного.

Так рассуждал фон Зигель. Как ему казалось, логично и правильно рассуждал. Он даже мысленно самому себе боялся признаться, что ему очень страшно. Страшно от мысли, что ближайшей ночью на его комендатуру может напасть какой-нибудь партизанский отряд и тогда...

Он был уверен, что в его положении самое разумное — сидеть тихонько около теплой печки и молить бога о том, чтобы партизаны хотя бы до весны, хотя бы до тех дней, пока после разгрома под Москвой вермахт вновь не воспрянет духом, не нагрянули к нему.

Но, пожалуй, еще больше он боялся, что кто-то из своих вдруг обвинит его в мягкосердечии. А такое может обрушиться. И подтверждение — вчерашний разговор с гебитскомендантом. Сначала оберст справился о здоровье отца, пожаловался, что ночами и к перемене погоды побаливают раны, полученные еще в первую мировую войну, и лишь после этого сказал, словно только сейчас придумав:

— Да, дорогой фон Зигель, надеюсь, вы хорошо помните, что сказал фюрер? «Эта партизанская война...»

— «...имеет и свои преимущества: она дает нам возможность истреблять всех, кто выступит против нас», — как эстафету, подхватил фон Зигель.

— Прекрасно! Однако эти пророческие слова нужно не только помнить. Надеюсь, вы поняли меня?

— Яволь...

Даже не простившись, оберст бросил телефонную трубку.

Неспроста состоялся этот разговор, неспроста...

Конечно, партизанская война представляет много возможностей для расправы со всеми неугодными элементами из местного населения; конечно, она — блестящий повод для уничтожения местного населения. Но как претворить в жизнь это указание, если у тебя ничтожно мало солдат, а кругом все — и люди, и леса, утонувшие в снегах, — враждебно тебе?..

Или, может быть, все же позвонить гебитскомендану и доложить, что в районе далеко не так благополучно, как сообщал ранее?

Что угодно, но только не это! Ни один из фон Зигелей, как бы отвратительно он себя ни чувствовал, никогда и никому не признавался в трусости или бессилии!

Фон Зигель мучительно искал выход, был крайне зол и на самого себя, и на подчиненных, и на свое начальство за то, что оно толкнуло его в этот озлобленный край, но когда кто-то робко стукнул костяшками пальцев о дверь, гауптман сразу остановился у стола на своем привычном месте и сказал спокойно, словно настроение у него было самым распрекрасным:

— Войдите!

Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы в образовавшуюся щель смог быстро и бесшумно проскользнуть Свитальский. Проскользнул, молодцевато вытянулся у порога и почтительно доложил:

— Старосты деревень собраны по вашему приказанию.

Глядя на начальника полиции, осунувшегося и постаревшего за эти дни, фон Зигель окончательно запрятал свой страх в самый дальний закуток души, стал еще непроницаемее, еще величественнее.

Едва он вышел на крыльцо, старосты поспешно обнажили головы, склонили их в почтительном поклоне. Может быть, в притворно-почтительном? Может быть, для того, чтобы спрятать глаза?

— Осмелюсь спросить, господин гауптман, — рвет сторожкую тишину почтительный, но спокойный голос Опанаса Шапочника. — Учитывая, что наш староста доблестно погиб при исполнении служебных обязанностей, я самовольно сюда явился. Прикажете удалиться или дозволите остаться?

Внутренне фон Зигель поморщился, когда Шапочник так бестактно и при всех напомнил о гибели старосты, даже глянул на него гневно и сразу успокоился: такие ясные и правдивые глаза, как у Шапочника, могут быть только у человека честного, преданного тебе. И фон Зигель смягчился, кивнул благосклонно.

Речь коменданта района была предельно краткой и понятной всем: приближается весна, а в это время года, как известно,

нужно засевать поля; господа старосты жизнью своей ответят, если хоть одно поле окажется незасеянным.

Будто пролаял это и ушел в комендатуру, никого не удостоив даже взглядом.

3

Вернувшись в Слепыши после облавы, в которой ему против своей воли пришлось участвовать, Василий Иванович сразу же поспешил домой, словно там у него дел было невпроворот. Но, посидев немного за пустым столом, понял, что ему просто страшно, что все это время он ожидает от фон Зигеля какой-то гадости и боится ее.

Да, фон Зигель обязательно должен на ком-то сорвать свою злость. Чтобы душу отвести и перед начальством оправдаться. А если так, то почему коменданту района со всей своей бандой не обрушиться на Слепыши? И домишек здесь теперь только одиннадцать (никто из большого начальства не упрекнет за то, что исчезла эта деревушка), и к лесу, где партизанские землянки были обнаружены, они самые ближние. Выходит, если рассуждать логично, то вроде бы население Слепышей виновато в противоборстве новому порядку.

Хотя зачем фон Зигелю рассуждать логично? Он и так прекрасно знает: что́ самое зверское ни сотвори — все равно перед своим самым высшим начальством прав будешь.

Уличил Василий Иванович себя в трусости и сразу же рассердился до невозможности: или он глупая курица, чтобы в курятнике сидеть и яйца нести, пока голову не отрубят?

А что конкретное сделать, что?..

Пожалуй, только одно и посильно: завтра же пойти к Зигелю и, бия себя кулаком в грудь, попытаться доказать, что в Слепышах живут одни ярые приверженцы нового порядка.

Надежды мало, что фон Зигель заглотит приманку?

Но ведь она есть! Хоть малюсенькая надежда, но имеется!

Василий Иванович уже почти утвердился в своем решении, когда к нему без стука вошла Нюська. Не поздоровалась, слова не сказала. Просто подошла к столу и села как можно ближе к пучку лучины, коптившей над тазиком с водой. А еще через несколько секунд у нее в руках оказалось какое-то шитье.

Долго они сидели молча. Он уже начал думать, что, помолчав, Нюська уйдет, но она вдруг спросила:

— Как мне-то теперь быть?

Не ждал Василий Иванович вопроса, поэтому не понял его и удивленно посмотрел на Нюську.

— Ну... Ходить к тому гаду в Степанково или как?.. Не случись вчерашнего — ушла бы отсюда куда глаза глядят. Чтобы тот даже след мой потерял!.. А сейчас...

— Договаривай.

— Будто сами не понимаете?

Нет, он понял все. Даже уловил в ее голосе ту же самую боязнь, которая еще не совсем покинула и его. И он закричал, даже ногами затопал. Дескать, она дура! Дескать, волков бояться — в лес не ходить!

Нюська выслушала его крик, тяжело вздохнула и ушла, тихонько прикрыв за собой дверь.

А он, проворочавшись на лавке всю ночь, уже с рассветом решительно зашагал в Степанково, пробился к Зигелю и, глядя в его леденящие глаза-стекляшки, нахально потребовал вознаграждения всему населению Слепышей. За верность интересам Великой Германии. В душе боялся, что вот-вот нажмет пальчиком Зигель кнопочку звонка и загремит он, Василий Иванович, в тартарары, но высказал все, что намеревался. Однако обошлось, и он, осмелев, сегодня опять умышленно полез на глаза коменданту. И снова, похоже, беда пронеслась стороной.

Василий Иванович скрытно вздохнул с облегчением, даже шапку не надел смиренно, как все старосты, а лихо надвинул на одну бровь, когда ушел с крыльца фон Зигель. Еще думал, сразу ли в Слепыши возвращаться или заглянуть в полицию к своему прямому начальству, и тут за спиной раздался голос Золотаря:

— Важным ты стал, Опанас, даже с друзьями не здороваешься.

Василий Иванович мог бы возразить, дескать, когда мы с вами, пан Золотарь, подружиться успели, если с глазу на глаз и беседовали-то раза два или три? Но вместо этого он вытянулся (что ни говорите, а перед ним начальник стоял!) и сказал голосом скорее спокойным, чем виноватым:

— Не осмелился сам подойти к вам, пан Золотарь, потому как имею свое собственное мнение о той разнице, какая определена вашим и моим служебным положением.

— Зазнаешься, что сам господин комендант тебе честь разговорами оказывает? Или за нашу первую встречу на меня все еще зуб держишь? — навалился с вопросами и Свитальский, который тоже почему-то оказался рядом.

— Помилуй бог! — воскликнул Василий Иванович и несколько раз истово перекрестился. Ему нужно было срочно определить линию своего поведения — гордо фыркнуть или прикинуться смиренной овечкой, вот и осенял себя крестами, выигрывая секунды. — А насчет обиды на вас... Разве я жизнью не тертый, между ее жерновов не попадал? Не понимаю, что она мастерица человека в свои переплеты заманивать?

— Не причитай, это вовсе не в твоем характере, — поморщился Свитальский, а Золотарь одобрительно замотал своей огромной головой. — Пойдем лучше ко мне, посидим, дружка моего Гориводу помянем. Пусть земля ему пухом будет.

С грустью сказал это Свитальский и, не дожидаясь согласия Василия Ивановича, сутулясь, зашагал к крыльцу, где теперь стоял его верный телохранитель Генка. Стоял на самой верхней

ступеньке крыльца и держал руки в карманах добротного полушубка; карманы были остро оттопырены в сторону старост и полицейских.

— Ты ведь, помнится, знавал его? — опять начал разговор Свитальский, когда они втроем уселись за стол в его кабинете: он — во главе стола, а Золотарь и Василий Иванович — по бокам и лицом к хозяину, как приживалы, готовые удрать при первом намеке.

— Заглянул он как-то ко мне в Слепыши, было такое, — ответил Василий Иванович. — Поамурничать, что ли?.. Да вы как начальник полиции и сами должны помнить. Это когда ныне покойному старосте Мухортову господином комендантом медаль была обещана.

Свитальский все помнил. И как фон Зигель приказал шоферу притормозить и принял к себе в машину этого мужика. И то, что Мухортов так и не получил обещанной медали — был убит вскоре. И тут же невольно пришло в голову, что Горивода тоже ничего не получил, хотя действовал вроде бы наверняка. До награды оставались, казалось, считанные минуты, а тут смерть возьми и кусни его.

— Одна-то пуля его точно в затылок тюкнула, — будто нечаянно заметил Золотарь. Он деловито разливал самогон по стаканам, вроде бы не прислушивался к беседе, а словами ударил вовремя. Но глаз не оторвал от струйки булькающего самогона.

— В бою чего не бывает? — стараясь казаться одновременно в меру удрученным и несколько беспечным, как человек не раз побывавший в лапах смерти, пожал плечами Василий Иванович. — Помню, еще в гражданскую, когда мы красным саблями и штыками шкуру рвали, одному из наших пуля в правое ухо вошла, а в левое вышла. А с другим из наших и вовсе несуразное приключилось...

— Винтовочная та пуля была. Которая ему в затылок попала. Понял? Винтовочная! — чуть повысил голос Свитальский, ощупывая глазами нож, который держал так, словно вот-вот пырнет им кого-то.

— А какой ей быть-то надлежало? — притворно удивился Василий Иванович, внутренне напрягаясь еще больше: он уже понял, что не просто так его зазвали сюда, что сейчас смерть очень близка к нему.

— Бандиты из автоматов строчили, ихняя очередь грудь его прошила, — будто бы равнодушно продолжал дожимать Золотарь, по-прежнему глядя только на стаканы; зато Свитальский теперь сверлил Василия Ивановича злыми глазами, подернутыми тонкой сетью кровавых жилок.

— Вот оно что, — медленно, словно с трудом разбираясь в нахлынувших мыслях, начал Василий Иванович. — Значит, кто-то из своих в него пальнул?

Золотарь немедленно подтвердил:

— Так выходит...

— Вот и не так, — еще больше нахмурился Свитальский. — Разве свой своему в затылок стреляет?

— Может, пан Свитальский, все же случайная та пуля? — не сдавался Василий Иванович.

— Случайная, говоришь? — не по-доброму усмехнулся Свитальский. — Одна, может, и так залетела... У него и в левом боку еще шесть дырок было.

Тяжелая тишина так долго висела в кабинете, что Генка заглянул, чуть приоткрыв дверь, и моментально исчез, натолкнувшись на взгляд своего начальника.

— Надеюсь, господину коменданту не доложено об этом? — наконец спросил Василий Иванович, подымая на Свитальского глаза — строгие и чистые, требующие немедленного и честного ответа.

— А тебе, пан Шапочник, какая забота, доложили мы об этом господину коменданту или нет? — зло спросил Свитальский.

— Ежели по правде сказать, не люблю, когда у меня начальство меняется, — четко выговаривая слова, ответил Василий Иванович. — Пусть вы полностью и не доверяете мне, пусть между нами не все так, как желательно... Может, новое-то начальство для меня еще хуже будет?

— Чего это ты нас поснимал с должностей раньше приказа соответствующего? — усмехнулся Свитальский, но в глазах его на мгновение мелькнула тревога. — Расшифровывай.

— Неужто непонятно? Шесть пуль в нем, говорите, оказалось? Значит, умысел налицо... А кому это надо?.. Ни мне лично, ни моим он дорогу не пересекал... Опасаюсь, что господин комендант, когда ему правда доложена будет, спрос начнет... Извиняюсь, но мне и своих бед в жизни хватало, слава богу, хоть эта должна стороной миновать.

Да, Свитальский об этом варианте почему-то не подумал, он почему-то сразу решил, что те выстрелы могли принадлежать только Шапочнику или кому-то из его людей. Почему так решил? Черт его знает!..

А ведь в словах этого мужика есть логика. Не дай бог, чтобы они дошли до Зигеля!

Какое-то время помолчали, будто не знали как или не решались сменить тему разговора. Потом Свитальский провел ладонью по лицу, словно снимая с него что-то, и сказал сожалеючи, но уже не гневно, даже без подозрительности:

— Пусть земля будет ему пухом... А господину коменданту о тех пулях знать вовсе не обязательно, это, так сказать, наше с вами внутреннее дело... Генка! Черт паршивый!

Генка моментально ворвался в кабинет, зыркнул глазами и замер у порога, готовый убить кого или подать что-то.

— А закусь где? — рявкнул Свитальский, и Генка исчез.

И Василий Иванович понял, что пока отвел беду от себя, что его пригласили даже как бы в единомышленники. Ему очень надо было выиграть время, чтобы скрыть свое торжество, и по-

этому он сначала потупил глаза, будто произнося краткую молитву за упокой души Гориводы, потом решительно поднял свой стакан и, не чокнувшись ни с кем, выпил самогон. До последней капельки. Не дожидаясь закуски.

Долго они сидели втроем, вели самую обыкновенную беседу. Если бы кто-то в этот момент заглянул к ним, ему и в голову не пришло бы, что внутренне они все трое ненавидели друг друга, что это мирное застолье — лишь маскировка. Не больше.

4

Как только над оконцем нависла первая сосулька, прозрачная до голубизны, у Григория сил будто прибавилось: он, неожиданно осмелев, сполз с печи, которую не покидал почти месяц. Только встал на зыбкий пол, только выпрямился — стены избушки пришли в движение, сначала лишь качнулись, а потом закружились все быстрее, все неистовее. Чтобы не грохнуться на пол, он опустился на приступку, и оставался недвижим, пока стены, сделав еще несколько кругов, не замерли на своих привычных местах.

Тогда он снова встал. Ждал, что стены опять метнутся на него, но они лишь качнулись. Поверив им, он, придерживаясь рукой за темные и потрескавшиеся от времени бревна, дошел до оконца. Пошатывался, чувствовал, как от слабости дрожали колени, но дошел до оконца и поспешно опустился на лавку. Сидел, прислушивался к бешеному бою сердца и улыбался тому, что оно заявляло о себе так яростно и надежно.

А лес — матерые, разлапистые ели, казавшиеся синими от белизны снега, залитого солнцем, — подступил к самому оконцу, которое было так мало, что невольно подумалось: если фрицы или полицаи нагрянут, в него не выпрыгнешь, в него можно будет только протиснуться. Подумал об этом по привычке к осторожности, хотя был уверен, что ни те, ни другие не заглянут сюда. По крайней мере, до лета. Бездорожье помешает, лесная глухомань отпугнет. Ведь и сам он, когда нечаянно забрел в эти места, прежде всего подумал, что так и загинут они с Петром среди этих елей-великанов, которые, казалось, равнодушно взирали на то, каких усилий людям стоил каждый шаг. Правда, он, Григорий, в то время, считай, почти бесчувственным был, если что видел и понимал, то смутно или не до конца; будто кто перед его глазами на мгновение делал щелочку в занавеси, чтобы сразу же напрочь изничтожить ее.

Можно прямо сказать, что не сам он шел тогда, а Петро тащил его на себе. Мужика в расцвете сил пацан на себе пер!

Из тех теперь уж далеких дней Григорий хорошо помнит лишь одно: на второй день пути вдруг задыхаться начал, страшную слабость во всем теле почувствовал. И очень часто глотал снег, чтобы заглушить пожар, сжигавший нутро.

Не смог затушить. К утру третьего дня пожарище так разгорелось, что встать с еловых веток Григорий уже не смог. Сил только на то и хватило, чтобы прошептать Петру:

— Ты иди... Все время в этом направлении иди... А я полежу... Не бойся, догоню...

Петька швыркнул носом и ответил неожиданно по-взрослому:

— Не болтай. Лучше обопрись на меня — и пойдем. Или я тятьку пьяного домой не волакивал? А он потяжельше тебя, да и я еще совсем мальцом был.

Если верить Петьке, еще двое суток он пер на себе Григория. Говорит, раза два или три здорово перетрусил, даже сопли пустил: думал, не осилит.

Но ведь не бросил!

Григорий не помнил, как оказался в этой избенке. Опять же Петька поведал: дескать, почти и вовсе я из сил выбился, когда буквально в метре от себя увидел носки самодельных лыж. Только поднял глаза — сразу уперся ими в здорового мужика, стоявшего на пути. Конечно, опешил от неожиданности, не знал, то ли зареветь, чтобы попытаться разжалобить случайного встречного, то ли попытаться завладеть автоматом, болтавшимся на животе у Григория.

Ничего не успел решить, а мужик, заросший волосами по самые глаза, как-то особенно осторожно и легко уже взвалил Григория на свою чуть сутулую и широченную спину и зашагал в самую чащобу, не сказав ни слова.

Лишь в избенке, которая смахивала не обыкновенную деревенскую баньку, раздев Григория почти догола и уложив его на горячую печь, мужик пробурчал сиплым голосом:

— Величай меня дедом Потапом. Он, — кивок в сторону Григория, — стало быть, мой сын, а тебе — отец. И наиважнейшее, ежели кто спросит, — тиф у него. Сыпняк!

Дед Потап столько тайного смысла вложил в последнее слово, что у Петра спина зарябила мурашками, и стало очень жаль Григория — такого горячущего и беспомощного.

— Фашисты, они тифа боятся, сразу удерут, коль такое заявим.

С неделю, пока Григорий в беспамятстве пребывал, дед Потап больше не обронил ни слова. Молча ухаживал за ним, Григорием, молча готовил и нехитрую еду — чаще варил в чугунке картошку, но иногда, бывало, и что-то среднее между кашей-размазней и густой баландой. И еще — немилосердно чадил самосадом, сидя у топящейся печки или около двери, где почти всегда к утру порог белел инеем.

Потом, когда Григорий медленно, но все же пошел на поправку, Петро стал иногда исчезать из дома; едва рассветет — наденет старые дедовы лыжи — и шасть в лес! Зачастую только поздним вечером являлся, чтобы без промедления наброситься на еду и сразу нырнуть на полати. А там обязательно уляжется так, чтобы и Григория и деда Потапа видеть. Лежит и зыркает

глазами то на одного, то на другого: чувствовалось — охота парню дать волю языку, но молчал, пересиливал себя; словно боялся хорошую тишину словом сломать.

Сначала Григорий думал, что Петро побаивается деда, потому и молчит. Но однажды после исчезновения Петра дед Потап стал искать свои рукавицы-шубенки и не смог найти. Конечно, разворчался, разумеется, всячески поносил сорванца; грозил и уши ему оборвать, и без ужина оставить. Но Григорий, как ни старался, не смог уловить в его голосе искренней злости. Поэтому и спросил:

— А ты будто радуешься, что он их утащил?

Дед Потап буркнул что-то, зло бросил к печке охапку дров и лишь после этого ответил:

— Разве моим лапам мороз страшен? Они у меня и к огню, и к холоду привычны.

Что правда, то правда: Григорий не раз видел, как дед Потап брал пальцами красный уголек и прикуривал от него.

Так начался их первый разговор. А что до этого было? Спросит о чем Григорий — дед ответит односложно, словно одолжение превеликое сделает, вот и вся беседа. А если сам заговаривал, то только и услышишь:

— А ну, перевернись... На, ешь...

Других слов будто и не знал дед Потап. Поэтому в тот раз и обрадовался Григорий, поспешил спросить, чтобы продлить разговор:

— Сам-то чем занимаешься? Если, конечно, не секрет?

Дед Потап долго укладывал дрова в печь. Григорий уже решил, что не состоялся разговор. Но дед все же ответил:

— За лесом доглядываю... И охотой балуюсь.

— Белкуешь? — уточнил Григорий, вспомнив, что Каргин в разговор об охоте частенько вставлял это слово.

— Ага, как и ты, белкую, — хмыкнул дед Потап.

Григорию вникнуть бы в смысл этого ответа, пошевелить бы мозгами, а он в спор полез:

— Отродясь таким делом не занимался, если хочешь знать, я другую стезю топчу.

Тогда дед Потап, похоже, обиделся, что Григорий отказался мозгами пораскинуть, напрочь оборвал разговор и немедленно ушел из дома. Позже Петра он в тот день из леса вернулся.

Но дня через два или три, когда Петра опять дома не было, дед сам и вдруг скакнул к тому вопросу. Вернее, исчез из дома на несколько минут и вернулся с тремя исправными немецкими автоматами.

— Вот они, те шкурки, — сказал дед Потап, и, как почудилось Григорию, в голосе его прозвучало что-то молодецкое, сбереженное от давно и безвозвратно минувшей юности.

Так начался разговор, к концу которого Григорий и узнал, какие причины загнали деда Потапа в здешнюю глухомань. Оказалось, что еще перед русско-японской войной он впервые надел

серую солдатскую шинель. Правда, в боях с японцами участвовать не пришлось...

Почему не женился, когда со службы домой вернулся? Сначала старших братьев женить надо было, потом сестренке приданое копили. Вот оно, время, и летело...

А когда началась та мировая война, снова забрили в солдаты. И почти сразу — в окопы, под пули и снаряды немецкие. Одним из тех многих снарядов, каждый из которых жизнь запросто отнять мог, он и был контужен. Настолько крепко, что слух потерял и припадкам стал подвержен. И месяцев за шесть до Октябрьской революции вернулся в родные края — на Брянщину. Вернулся к заколоченной хате: мать и сестренка, проводив на войну всех трех мужиков, по самую маковку в долгах запурхались, ну и пошли в Москву работу и счастье искать. За год до его прихода смелости на такое набрались.

Сначала, когда Потап еще привыкал к родной хате, и бабы, и девки, которые побойчее, не обходили его вниманием, даже зовущими взглядами щедро одаривали. Но после того, как с ним случился припадок в самый неподходящий для этого момент, односельчане потеряли к нему интерес: в любом хозяйстве работник, а не калека нужен.

Может быть, и вошла бы жизнь Потапа в нормальную колею, может быть, и вернул бы он себе расположение односельчан, но время-то тогда какое было? То белые, то красные, то еще какие в деревню врывались, и каждый свою правду кричал. Вот и бурлила деревня, почитай, в каждой избе были приверженцы двух (и даже более) враждующих партий или группировок.

Не слышал Потап слов пламенных, даже если его и пригоняли на сходку, он только безучастно глазами хлопал. И пустил кто-то слушок: дескать, у Потапа контузия все мозги отшибла, дескать, вовсе без соображения он.

Дополз этот слух до Потапа — будто обожгло его душу. И, кровно обидевшись на односельчан, он ушел в эти леса и срубил здесь избенку, в которой и живет по сей день.

Нет, уже давно он не держит обиды на людей за то, что они тогда шарахнулись от него. И слух к нему вскоре вернулся, и припадки канули, словно и не было их никогда. Конечно, теперь мог и семьей обзавестись. Но сначала выжидал — а не затаились ли недуги? Так долго выжидал, что потом стал уговаривать себя (и уговорил) не заводить семьи на шестом десятке лет. Вот поэтому и живет один. А лет ему уже семьдесят четыре вот-вот стукнет.

— Выходит, ты — закоренелый единоличник, — подвел Григорий итог рассказу деда Потапа.

— Не, я за колхозы и все прочее советское, — убежденно ответил тот. — Иначе и невозможно: разве не вижу, как народ жить начал?

— А «белочек» своих где нащелкал?

И тут дед Потап поведал, почему-то понизив голос почти до шепота, что близехонько, если по прямой — верст тридцать, не больше, — фашисты в лагере наших пленных держат; сотни две или три загнали в бывший коровник и обнесли колючей проволокой в один ряд. Нет слов, чтобы передать, в каких условиях фашисты тех пленных содержат. Как ни взглянет он, дед Потап, а у ворот лагеря завсегда покойников тридцать штабелем лежит!

Вот и ходит дед Потап вокруг того лагеря, как коршун, кружит, все ждет, что хоть один из тех страдальцев да совершит побег. Случится такое — он тут как тут: укроет надежно, подкормит, чтобы силу былую человеку вернуть.

Во время этих кружений у лагеря и уловил фашистюг. Конечно, жаль, что пока только трех.

— Понимаешь, шомполка у меня, она как орудие бабахает. Разве можно такой шум допустить? Вот и приходится каждый раз момент улавливать, чтобы до его проклятой шеи руками дотянуться, — пожаловался дед Потап.

— Первого, может, и следовало так взять, а других-то зачем? Или не знаешь, как стрелять из ихнего автомата?

— Руками вернее...

— А Петька, случаем, не по твоим следам шастает?

— Не, он больше с горки катается. И на живность лесную глазеет, — поспешно заверил дед Потап, помолчал, сворачивая «козью ножку», и добавил: — По моим следам шастать я ему настрого запретил. А он парень ничего, исполнительный...

Недели три назад состоялся этот разговор. С тех пор Григорий вовсе потерял покой и сон. Теперь он и ночью и днем думал о том лагере, о людях, которые каждодневно в нем нечеловеческие муки принимали. И еще — часто виделся Федька Сазонов. Этот ничего не говорил, этот только смотрел, да так, словно упрекал Григория за бездействие.

Но что сделаешь, если у тебя сил только на то и хватило, чтобы, держась за стену, от печки до оконца добраться?

Нет, ты, Федор, не кривись в усмешке, ты погоди, еще самую малость потерпи. Силы-то ведь уже явно прибавилось?! Вот окрепнет он, Григорий, окрепнет окончательно, взглянет на тот лагерь своими глазами — тогда и решение соответствующее непременно примет!

Чтобы силы поскорее вернулись, Григорий потянулся к столу, достал из чугунка вареную картофелину, очистил ее и стал есть, мечтательно глядя на мрачные ели, застывшие у самого оконца.

5

Весна почему-то несколько задержалась в пути, зато потом, наверстывая упущенное, недели за две расправилась с зимой так, что только кое-где в лесной чащобе уцелели клочки ноздреватого и землистого снега. Нагрянула весна — зазвенели ручьи, наливая силой речки и реки, которые, поднатужившись, вскоре

сокрушили свой ледяной панцирь и резво побежали к морю, неся в своих мутных волнах прошлогодние листья, мусор, гниющие стволы деревьев и трупы людей. Если трупы местных жителей иногда вылавливали и предавали земле, то фашистов при малейшей возможности раздевали до нитки: как известно, голые друг на друга похожи, их национальность не так-то просто распознать. А кому охота, чтобы около его деревни фашисты обнаружили труп солдата вермахта? Вот и спешили его, раздетого, оттолкнуть от берега, в душе молили речку побыстрее и подальше утащить его.

Часто в эту весну речки и реки несли трупы. Даже тот ручеек, через который у Слепышей был переброшен мостик. Невольно думалось, что в минувшую зиму многие тайком на оккупантов успешно охотились.

Самое же радостное — начала оживать земля: зазеленела первой травой, выстрелила подснежниками. Значит, скоро появятся щавель, крапива и многое другое, из чего можно сварить похлебку. Ведь с первых чисел марта голодать по-настоящему начали; ну, как было не ликовать, если до солнечных дней дожили?

Не все дожили. Авдотья, например, двух младших похоронила. А на остальных, когда они на солнышко выползали, глядеть страшно было: опухшие от голода, с глазами большими и полными взрослой тоски. Односельчане, как только глянули на них, кто и что мог притащили Авдотье. Та низко кланялась, беззвучно плакала, но приношения принимала: не для себя, для детей брала.

Только много ли человек дать может, если и у него в доме от голода все мыши передохли?

Вскоре Авдотья, перекинув через плечо лямку самодельной холщовой сумки, пришла к Василию Ивановичу. Остановилась у порога и сказала:

— Пошла я... Сколько ноженьки выдержат, столько ходить и буду. Может, не всех до последней крохи обобрали... Одна к тебе просьба: как ты есть власть теперешняя, досмотри за ребятами моими.

И замолчала, решительно и упорно сжав губы в бесцветную полоску. Потом поклонилась в пояс и пошла. Она, казалось, не слышала того, что Василий Иванович звал ее, велел подождать хоть несколько минут, пока изготовят для нее соответствующий документ. Только у леса догнал ее Афоня и почти насильно всунул в безвольные пальцы бумажку, которая свидетельствовала о том, что Авдотья является жительницей деревни Слепыши и следует с разрешения господина старосты указанной деревни.

— Честное слово, Василий Иванович, не поняла Авдотья ничегошеньки. Только и глянула на меня, как на пустое место. Мертвыми глазами глянула, — доложил Афоня, вернувшись.

Ничего не ответил Василий Иванович. Да и что он мог сказать? Что не только в семье Авдотьи зимой похозяйничала смерть? Что уже в трех домах Слепышей ветер хозяином обосно-

вался? Что от такой развеселой жизни у любого человека запросто может окостенеть язык?

Авдотья ушла утром, когда солнце еще только намеревалось взглянуть на Слепыши, а вечером Виктор доложил, не скрывая радости и удивления:

— А в доме Авдотьи сейчас Нюська за главную: моет, скребет, скоблит и с ребятней воркует. По вашему указанию или сама додумалась?

Конечно, всего проще было сказать правду. Только, как считал Василий Иванович, еще не настало время Нюське доброе имя создавать, и поэтому ответил уклончиво:

— Не об этом сейчас должна болеть твоя голова. А вот если вы все — и Афоня, и Груня с Клавой — тоже за домом и ребятами Авдотьи присмотрите, спасибо скажу... Если бы хоть пару грядок в ее огороде засадить...

Еще прошлой весной засадить две грядки — дольше говорить, чем делать. А сейчас — задача почти неразрешимая. Однако Виктор ответил кратко и твердо:

— Сделаем. Может, и чуть побольше осилим.

Почти три недели ничего не слышали об Авдотье. Даже думать перестали о том, сможет ли она благополучно миновать все вражеские кордоны, которые окажутся на ее пути к дому. Но она пришла. Глубокой ночью пришла. Заглянула в свою хату, убедилась, что дети мирно посапывают на еще теплой печи и, сразу обессилев, опустилась на табуретку, заплакала облегченно, благодаря неизвестно кого. И вовсе растрогалась, и вовсе прониклась благодарностью к односельчанам, когда увидела поленницу дров, прижавшуюся к стене хаты, и три грядки, нежно зеленевшие в огороде.

Помолодевшей и даже похорошевшей выглядела Авдотья, когда, одетая во все лучшее, что имела, поспешила к колодцу, навстречу идущей к нему Груне. Вся светилась радостью и благодарностью, а вот слов подходящих, которые смогли бы передать то, что переполняло ее душу, таких слов не нашла. Только и сказала, светясь улыбкой:

— Здравствуй, Груня.

Та, похоже, не удивилась ее появлению, только мельком глянула и ответила, опуская ведро в колодец:

— Теперь, когда бы я к тебе в дом ни заглянула, чтобы там всегда был такой порядок, как сейчас. Поняла? Чуть что — при всем народе так ославлю, что враз и вовсе слиняешь.

В другое время Авдотья скорее всего налилась бы обидой и немедленно убежала домой, чтобы в каком закутке нареветься всласть. Сегодня же она только согласно закивала: дескать, исполню, все исполню, как ты наказываешь.

А еще немного погодя у колодца толпились уже почти все бабы деревни и слушали, слушали, не перебивая, не звякая ведрами, даже не охая. Хотя им, которые за эти месяцы испили много невероятно горького, все, рассказанное Авдотьей, было уже

ведомо. И то, что все деревни, как и Слепыши, ограблены фашистами начисто, и то, что стонет сама земля, волею военной судьбы оказавшаяся под вражеским сапогом.

Плачущим голосом поведала Авдотья, что во многих деревнях десятки людей убиты врагом; есть и такие деревни, где ни одного жителя, ни одной хаты не уцелело, где даже печи все разрушены, кирпичным крошевом стали.

Выходит, Слепыши еще сравнительно дешево отделались: здесь фашистами убиты только Дёмша и дед Евдоким, да восемь человек за зиму от голода и болезней умерли.

— Вот какое нам счастье выпало, если только с нашей колокольни глядеть, — так закончила Авдотья свой рассказ, помолчала и вдруг сказала с несвойственной ей ранее решительностью: — Что меня касается, то пропади пропадом оно, такое счастье!

Самое же главное Авдотья приберегла напоследок, приберегла для Нюськи. Зазвала ее к себе во двор, достала из-за поленницы банку консервов:

— Тебе, не обидь, прими.

— Гляди-ка, мясные. Неужели на кражу осмелилась? Такое богатство никто сам запросто не отдаст.

— Не крала я, в танке их взяла. В болоте он завяз. За Степанковым. Ну, куда мы по клюкву ходим... Пустой возвращалась, думала, хоть ягодкой прошлогодней, может, поживлюсь, вот и заглянула туда. А он там и стоит.

— Наш или фашистский? — спросила Нюська, хотя прекрасно видела, что консервы советские. Спросила только для того, чтобы проверить свою догадку.

— Нашенский. И ребятки в нем лежат. Трое. Видать, от ран померли.

— И ты не убоялась их? Покойников? — ахнула Нюська.

Авдотья недоуменно повела костлявыми плечами и ответила после продолжительной паузы:

— Если хочешь знать, фашисты меня смелой сделали. До отчаянности... Да и не упокойники те, а наши воины, убиенные ворогом, жизни за нас отдавшие...

Нюська наотрез отказалась взять предложенную ей банку консервов: дескать, до глубины души обижает ее такой подарок. Авдотья печально вздохнула, хотя и обрадовал ее этот отказ Нюськи: нашла и принесла она домой всего пять таких банок, легко ли одну из них отдавать, если Коляшка с Митькой завсегда есть хотят?

Очень довольны были друг другом, однако чуть не поссорились, даже переругиваться начали, когда речь зашла о тех солдатах, которых Авдотья мертвыми в танке нашла. Обе согласились, что их следует похоронить, как обычай того требует. Может, и не на кладбище, чтобы внимания врага проклятого не привлекать, может, просто на сухом взгорочке, но обязательно

похоронить. И надежно запомнить, заприметить то место, чтобы потом, когда наши возвернутся, все обстоятельно обсказать и показать людям.

Раздор пошел с того момента, как только Нюська сказала, что о танке и солдатах-покойниках надо поставить в известность старшего полицая — Опанаса Шапочника.

— Чтобы он донес в Степанково и надруганию их тела подвергли? — моментально до крика взвилась Авдотья.

— Неспособен он на такое, неспособен! — подняла голос и Нюська. — И почему ты в нем сомневаешься? Уже забыла, как он за тебя в заступу шел? Поперек Аркашкиной дороги становился?

— И все равно он в холуях у фашистов ходит! — упрямо стояла на своем Авдотья.

Казалось, мир между ними надолго порушен, и вдруг Авдотья предложила:

— Может, Витьке-полицаю обсказать? Молод он больно, чтобы во зле погрязнуть. И дед Евдоким покойный — царствие ему небесное! — для него сердце свое открытым держал.

Нюська радостно закивала: она уже давненько приметила, что Витька-полицай во всем ее нечаянного соседа, Шапочника, слушается.

Василий Иванович, когда Виктор пересказал ему все, что узнал от Нюськи с Авдотьей, долго не думал, сразу приказал:

— Обязательно и сегодня же ночью тех героев захоронить. — Помолчал и продолжал, словно думая вслух: — А танк тот надо бы уничтожить. Чтобы как трофей фашистам не достался. Да чем его уничтожить, если взрывчатки нет? Его пилой или топором на куски не разделаешь... Может, у вас с Афоней что припрятано? Головые шашки или другое что?

Виктора обидело это предположение Василия Ивановича, и он стал демонстративно смотреть в окно.

— Ну, ладно, ладно, уж и пошутить нельзя, — добродушно проворчал Василий Иванович, а закончил по-прежнему властно, тоном командира: — Боюсь, как бы слух о находке Авдотьи до полиции не дополз, потому сегодня же и отправляйтесь туда. На месте и решите, можно ли что-то с танком сделать.

Долго ли собраться тому, кто всегда в дорогу готов? И уже минут через пятнадцать Виктор с Афоней вышли из Слепышей, почти сразу свернули в лес, где березы были словно дымкой зеленоватой подернуты.

Шли неспешно и молча. О чем говорить, если зимой вечера были длиннющими и обо всем переговорено? Шли, прислушиваясь к нежному птичьему пересвисту, шли по лесу, пробуждающемуся от зимней спячки, и каждый думал о своем. Афоня — тот никак не мог примириться с тем, как еще вчера засевали поля. Не семена, а черт знает что в холодную землю бросали!

Василий Иванович, конечно, все объяснил. Дескать, для врага, что ли, хлеба выращивать? Дескать, хоть отборным зерном

все засей, фашисты отберут урожай, набьют свои закрома, а нам одна солома достанется.

Умом понимал сказанное и сделанное, а вот сердцем... Оно и сегодня болью исходит, как вспомнится, что в этом году земля останется бесплодной. А ведь ее святейшая правда — рожать хлеба! Чтобы человеку жилось легко, чтобы он сыт и весел был!..

А у Виктора другая забота: Клава, плача от радости, вчера сказала, что у них к осени будет ребенок. Мальчик или девочка — этого она не знает, но что кто-то обязательно будет — точнее некуда.

Потом, немного успокоившись, Клава, разумеется, стала убеждать Виктора, что нисколечко не боится ни родов, ни того, что у них в доме сравнительно скоро появится еще один человек, который тоже захочет есть, который уже и сейчас настойчиво требует к себе повышенного внимания.

А он, Виктор, маленький, что ли? Сам в жизни ничего не понимает? Конечно, с таким делом он сталкивается впервые. Но Авдотья, Груня и другие деревенские бабы на что? Эти все знают, все могут!

Невольно вспомнилось, что ему обо всем этом Клава сказала только вчера, а с Груней, Авдотьей и Нюськой шушукаться начала никак месяц назад. Он-то, дурак, думал, что о мелких бабьих делах они судачат!

Пока шли к танку, Виктор все время думал о том, как он теперь вести себя должен. Напряженно думал, но в голову пришло только одно: хотя и хорошие люди рядом есть, все равно на него в первую очередь многие дополнительные заботы по хозяйству ложатся. С сегодняшнего дня все эти заботы на него ложатся. Каковы они будут, он точно не знал, но мысленно готовился принять их все полностью. И что велики, ответственны они будут — это тоже знал. Не потому ли и повзрослел за одни сутки, настолько повзрослел, что себя мужчиной почувствовал?

Танк увидели сразу. Его орудие было развернуто в ту сторону, откуда он пришел. Словно ждали танкисты погоню, словно в любую секунду были готовы встретить ее метким выстрелом.

— Видать, в обход Степанкова хотели проскочить, — сказал Афоня, машинально гладя рукой холодную броню танка.

— Ишь, и орудийную башню развернули. Чтобы орудие о ствол дерева не повредить.

— А здесь-то, если все так, как ты говоришь, они чего остановились? Не похоже, что танк в трясине застрял. Глянь, не буксовал даже. Просто пришел сюда и остановился, — не то возразил, не то подумал вслух Виктор.

— Может, и так, — согласился Афоня. — Может, они и не хотели обойти Степанково. Может, просто, чтобы не сдать врагу боевую машину и чуя скорую смерть, водитель нырнул с тракта в лес. И вел танк до тех пор, пока силы были... Разве сейчас точно угадаешь, что здесь прошлым летом случилось? — И доба-

вил буднично, до обидного буднично: — Однако дух шибко тяжелый. Давай сперва захороним их, а потом и прикинем, что с танком сделать можно.

Похоронили танкистов на взгорке между трех молодых сосенок, стоявших несколько наособицу от других. Холмик сделали еле приметный. Его старательно обложили дерном с таким расчетом, чтобы он на могильный нисколько не походил.

Долго сидели рядом с могилой. Курили и молчали. Зачем тратить слова, если и так ясно, что у тебя с товарищем думы одни, если чувствуешь, если знаешь, что никакими словами невозможно излить свою душу?

Когда залезли в танк, Афоня сразу же метнулся к орудию. Сначала только гладил его, беззвучно шевеля губами, и вдруг, враз посуровев, начал тщательно осматривать замок, сначала осторожно, а потом все смелее и неистовее хвататься за разные ручки и рукоятки. К удивлению Виктора, орудие охотно подчинялось Афоне: и поворачивалось то вправо, то влево, и угрожающе поднималось к небу или смирнехонько никло к броне, будто хотело прижаться к ней.

— Исправное, хоть сейчас огонь открывай, — наконец сказал Афоня, глянул на Виктора и удивился, даже обиделся: — Ты чего на меня глаза пялишь? Возликовал, что можно проверить, какой я артиллерист?

— И вовсе не проверяю, мне просто чудно: ты в армейской артиллерии служил, а с танковой пушкой запросто управляешься, — поторопился Виктор успокоить его.

— Ну и хитер! Будто сам не знаешь, что все орудия одинаковы! — засмеялся Афоня. — Есть у них, конечно, и отличия разные, но принцип действия один. Ну, например, замок поршневой или клиновой...

Чтобы окончательно не завраться и не разоблачить себя, не выдать Афоне, что в военном деле он слабак, Виктор поспешил перевести разговор:

— Хватит тебе миловаться с ней, хватит. Давай лучше танк осмотрим. Или забыл, какое нам приказание обязательно выполнить надо?

Осмотрели танк — утвердились в догадке, что водитель привел его сюда, почувствовав свою скорую смерть: и топливо еще было, и снаряды — двадцать три штуки! — имелись. Даже большой подрывной патрон с запалом нашли. Вот и получилось, что задумали танкисты одно, а довести дело до конца не успели — смерть опередила.

— Как видишь, бабахнуть его запросто можно, — сказал Афоня, скручивая цигарку. — Только что за радость просто так бабахнуть? Вот если бы... — начал Афоня и замолчал, словно вдруг забыл о том, что хотел сказать.

Виктор, который уже загорелся азартом, не выдержал, спросил нетерпеливо:

— Что конкретно имеешь в виду?

— Дождаться ночи и открыть огонь по Степанкову. Вот замечется Зигель, когда снаряды начнут рваться под окнами комендатуры! — выпалил Афоня, помолчал и продолжал, уже не скрывая огорчения: — Только как в комендатуру целиться, если ее отсюда не видно? Если нет ничего, чтобы данные для залпа вычислить?

— И корректировать огонь некому, — поддакнул Виктор, вложив в эти слова все, что знал о стрельбе из пушек.

Снова надолго замолчали. А солнце тем временем почти закончило свой дневной путь, и тени деревьев, становясь все длиннее, легли на болото. И хотя солнце все еще щурилось с голубоватого неба, из леса и с болота поползла прохлада.

— Слышь, Афоня, а что, если мы несколько раз просто выстрелим в сторону шоссе? Ночью выстрелим? Когда машины там пойдут? — вдруг предложил Виктор. — Сейчас, пока еще светло, пройдем до тракта по следу танка, прикинем расстояние, ну и... Направление и расстояние получим! Или того мало, чтобы хоть примерно туда снаряды послать? Фашистов, скорее всего, не побьем, но зато, представляешь, как они дрожать до утра будут?

Афоня возражать не стал, и, выбравшись из танка, они неспешно пошли по прошлогоднему следу танка, угадывая его по сломанным деревцам.

— А если ненароком на фашистов нарвемся, если они спрос начнут? — только и спросил Афоня, когда стал отчетливо слышен гул машин, идущих по тракту.

— Мы же полицаи, — пожал плечами Виктор. — Можем ответить, что патрулируем по приказу старшего.

Чуть поспорив, сошлись на том, что от танка до тракта около двух километров. Мало это или много для танковой пушки — Виктор не знал, а спросить не осмелился: побоялся разоблачить себя в глазах Афони: что ни говорите, а не он, Виктор, сегодня и орудие осматривал, и зарядил его, и взрывчатку между снарядами пристраивал. Правда, пока, похоже, Афоня ничего не заподозрил, но лучше не испытывать судьбу еще раз.

Потом несколько часов сидели около танка: ждали, чтобы ночь набрала силу, чтобы на тракте зашумела хоть одна машина. Месяц уже скособочился над елью, Большая Медведица уже наклонила свой ковш к земле, предупреждая, что скоро выплеснет рассвет, а на тракте было по-прежнему удручающе тихо. Ожидание измотало нервы, и поэтому Виктор почти крикнул, едва услышал нарастающий звук мотора:

— Пора, Афоня!

Прогудела броня под каблуками сапог Афони, и опять нависла тишина, теперь и вовсе невыносимая.

Но вот слепящее пламя вырвалось, казалось, из ночи, и почти тотчас же ужасный грохот обрушился на лес, на Виктора. И был он так невероятен, что Виктор невольно припал к земле, восторгаясь той силой, которую возродил к жизни Афоня, и боясь ее.

Сколько прогремело выстрелов — этого Виктор не знал, он просто облегченно вздохнул, когда его опять обволокла тишина, когда рядом оказался Афоня — живой, невредимый.

— Бежим? — спросил тот, рукавом вытирая пот со лба.

И они, как уговорились ранее, побежали в глубину леса, чтобы запутать следы, если завтра днем немцы или полицаи нагрянут сюда. Ежесекундно были готовы к тому, что за спиной вот-вот грянет оглушительный взрыв и подтолкнет, и все равно он обрушился на них неожиданно. Потом, когда взрывная волна пронеслась дальше, они оглянулись и увидели кровавое зарево, которое, казалось, разлилось по всему небу.

6

Орудийные выстрелы и взрыв, прогремевшие в ночи, как и предполагалось, переполошили многих. И если фон Зигель и его подчиненные, услышав первые орудийные выстрелы, похватали оружие и забились в заранее подготовленные бункера и окопы, если они изготовились к бою и всю короткую ночь внутренне продрожали, ожидая неизвестного удара, то кое-кто из местных уже в последующие две ночи, достав из тайников припрятанное оружие, вышли на лесные дороги. И не очень умело, но зато дерзко именно в эти две ночи были уничтожены три машины с грузами и пятнадцать солдат вермахта, осмелившихся покинуть свое жилье.

Взбеленился фон Зигель, когда ему доложили, что выстрелы те прогремели с советского танка, который благополучно перезимовал в непосредственной близости от его штаб-квартиры — Степанково.

— Ну-с, господин Свитальский, чем вы можете объяснить случившееся? — вкрадчиво-ласково начал фон Зигель, на третий день после случившегося вызвав к себе в кабинет всех своих помощников и Свитальского с Золотарем.

Свитальский, и вовсе осунувшийся за эти дни, только открыл рот, собираясь что-то ответить, но фон Зигель не дал ему молвить даже слова, обрушил на него град вопросов:

— Может быть, вы осмелитесь утверждать, будто танк появился здесь не в прошлом году, а недавно? Может быть, вы считаете, что он пришел из-под Москвы? Или его сбросили на парашюте?.. Или его и не было вовсе? Может быть, все — и выстрелы, и обломки танка, — может быть, все это наша общая галлюцинация? — И уже зазвеневшим от сдерживаемой злости голосом: — Не осмелитесь же вы утверждать, будто там и сегодня валяется не танковая башня, а обыкновенная кастрюля?

Свитальский еще в тот день, когда патруль, посланный на местность, обнаружил на болоте обломки танка, понял, что его карьера самым печальным образом может оборваться в любой час; ему сразу стало ясно, что фон Зигель, чтобы спасти себя, должен на кого-то свалить вину за случившееся. Конечно, он,

Свитальский, как начальник местной полиции, для этой цели фигура самая подходящая: русский по национальности, да еще и за порядок в данном районе отвечающий.

А что в оправдание скажешь? Как ни выворачивайся, а советский танк прозевали!

Но кому ни за что умирать хочется? Кроме того, нормальный человек, оказавшись даже вроде бы в безвыходном положении, до последней минуты жизни должен искать что-то, способное если не спасти, то хотя бы облегчить его участь. А Свитальского жизнь в такие переплеты брала, в такие... И он научился не сдаваться, всегда, как бы трудно ни было, пытался выкрутиться. Вот и теперь, как ему казалось, он нашел ход, который еще оставлял ему надежду. Слабенькую надежду. Но чем черт не шутит?

Действительно, а почему бы во всем случившемся не обвинить Гориводу? Как известно, покойника пыткам не подвергнешь, второй раз смерти не предашь.

— Что же вы молчите, господин начальник полиции? Надеетесь отмолчаться? — продолжал сгущать грозовую обстановку фон Зигель.

— Осмелюсь доложить...

— Слышите, господа? Он все же осмеливается!

Фон Зигель иронизирует, но Свитальский улавливает в его глазах мгновенный проблеск интереса и спешит использовать момент:

— Осмелюсь доложить, господин гауптман, что вины своей не отрицаю.

Сказал это, щелкнул каблуками и склонил голову, словно подставил шею под заслуженный удар. Удара, разумеется, не последовало. И тогда он выпрямился, продолжил с большой скорбью в голосе:

— Осмелюсь доложить, господин гауптман, как установлено следствием, известный вам лесничий Горивода являлся большевистским агентом. Прикидывался сторонником нового порядка, а сам Москве служил.

В кабинете, где было тесно от вызванных, вдруг зазвенела тишина: словно все и враз дышать перестали.

Фон Зигель, которому казалось, что он предусмотрел любую, самую невозможную уловку Свитальского, растерялся на какие-то считанные секунды, настолько растерялся, что позабыл хмуриться и сурово, беспощадно глядеть на начальника своей полиции. И тот, уловив это и осмелев, продолжал уже более уверенно, хотя и торопливо:

— Как установлено следствием, названный Горивода, большевиками был специально оставлен здесь для организации саботажа и диверсий. И танк, как нам удалось выяснить, был им запрятан для того, чтобы этим летом внезапно ударить по нашим тылам. Был названный Горивода не одинок. С ним в сговоре пребывал Аркадий Мухортов, который по приказу Гориводы жил

в Слепышах и лично вами был назначен старостой деревни и даже к награде представлен.

Здесь Свитальский выдержал паузу, достаточную для того, чтобы фон Зигель и все прочие осознали и запомнили главное: не только его, Свитальского, но и самого господина коменданта ловко обманул подлец Горивода — большевистский агент. Да еще как обманул!

Действительно, все запомнили это. На всякий случай. А Золотарь, кроме того, только сейчас понял, почему еще вчера без всякой вины были схвачены двое полицейских и брошены в застенок.

— Другие двое — Никифор Мышкин и Михайло Долбоносов — нами взяты и во всем сознались, — закончил Свитальский вовсе уверенно, поняв, что фон Зигель, похоже, надежно заглотил приманку; да и как было не сцапать ее, если она и ему указывала путь, может быть, даже не только к спасению, но и к славе? Ведь что ни говорите, а теперь он может рапортовать своему начальству о том, что, проявив бдительность, находчивость и упорство, обнаружил и обезвредил — под корень свел на нет! — группу агентов Москвы! Прекрасно замаскировавшуюся группу!

Правда, фон Зигель уже понял, какую выгоду он может попытаться извлечь из выдумки Свитальского (а в том, что все это ложь от начала до конца, он не сомневался ни минуты), и взглянул на него несколько добрее, можно сказать, — почти ласково.

Однако, чтобы скрыть свои истинные чувства, чтобы обезопасить себя и проверить, все ли предусмотрел Свитальский, выдвигая свою версию, он спросил:

— Горивода? Мухортов? Позвольте, разве не вы докладывали мне, что они искренне преданы нам и убиты врагами Великой Германии?

Ничего подобного Свитальский не докладывал, но, чтобы окончательно войти в милость, предпочел притворно-смиренно склонить голову и даже вздохнуть.

— Осмелюсь доложить, как установлено следствием, тот и другой своими убиты. Изволите помнить или запамятовали за множеством дел, что Горивода в Слепыши к Мухортову хаживал? Теперь точно известна цель тех свиданий: чтобы насчет награбленного золота договориться.

Здесь Свитальский опять сделал паузу, в мертвой тишине прошел до двери кабинета и выскользнул за нее.

Вернулся — положил перед фон Зигелем узелок, который тяжело стукнул о доски стола. Положил и сразу же отошел на свое прежнее место, откуда и сказал:

— Вот оно, то золото. Изъято нами у арестованных. Прошу зафиксировать, что здесь ровно килограмм и сто сорок граммов. Так сказать, с радостью возвращаю Великой Германии то, что у нее пытались украсть.

Фон Зигель чуть приподнял узелок, мгновенно определил, что

тут золота явно раза в два больше, чем прилюдно заявил Свитальский, и вовсе подобрел, но сказал строго:

— Сегодня вечером сам буду присутствовать при их допросе. — И кивнул, давая понять, что больше никого не задерживает.

Только в кабинете Свитальского, когда они остались одни, Золотарь осмелился промямлить:

— Рисково вы все это ведете... Вдруг...

— Что вдруг? — взъярился Свитальский. — Думаешь, те не сознаются в том, что я прикажу?

— И все же...

— Никаких все же! Убью, а в протоколе допроса будет записано то, что мне надобно! — отрезал Свитальский и так сверкнул глазами, что Золотарь понял: кого угодно под смерть подведет его начальник, чтобы от себя беду отвести. Ишь, и золото свое, что награбить успел за эти месяцы, торжественно вручил фон Зигелю. Для подмазки.

7

Казалось бы, все продумал, все сделал Свитальский, чтобы его ложь сошла за правду. Даже обвинение в измене не случайно взвалил именно на Никифора Мышкина и Михаила Долбоносова. Первого настало время немедленно убрать: строптив, нахален, и самая главная его вина — кое-что знает о золоте и прочем, что осело в тайнике его начальника. А Михайло Долбоносов... Этот глуп и наивен до невероятности; просто преступление, что подобные люди ходят по земле, видят небо.

Еще когда задумывал возвести напраслину на этих двоих, сразу решил убить Мышкина во время допросов, чтобы лишнего не наболтал. А один Долбоносов, как считал Свитальский, никакой опасности не представлял и в том случае, если им даже гестапо займется: по своему скудоумию такого нагородит, что всех окончательно запутает.

Казалось, все продумал, однако разговор с Золотарем насторожил, вселил в сердце тревогу. Поэтому, наскоро перекусив, поспешил в подвал, где содержались арестованные. Грохая сапогами, прошел в камеру допросов, по его приказу оборудованную с месяц назад. Нарочно здесь ее расположил: чтобы все арестованные сразу же узнавали, что их ждет, если осмелятся запираться.

— Не мог, что ли, кровь хотя бы со стен смыть? Ишь, чуть не до потолка забрызганы, — проворчал Свитальский, усевшись за стол.

— А чего ее смывать, если сейчас за Мишку возьмусь? — буркнул Генка, но за тряпкой потянулся.

И тут Свитальского осенило, он встал, несколько раз прошелся по камере и молодо, звонко приказал:

— Стоп, Генка!.. Ничего этого не убирай, даже наоборот: тащи-ка сюда все, чем при допросах разговариваем!

— Я больше кулаками и сапогами обхожусь, — самодовольно осклабился Генка.

— Все тащи! Давай сюда и этого... Мышкина.

— Он велел кланяться...

— Все равно тащи! И положи у той стены. Чтобы любой, кто сюда войдет, прежде всего его увидел.

Скоро камера допросов выглядела так, как того хотел Свитальский: к стене напротив двери был прислонен труп Мышкина с оскалом окостеневшей гримасы боли, а на столе, заполнив его без остатка, лежали плети, щипцы и все прочее.

Свитальский осмотрел камеру еще раз и сказал:

— Я сейчас выйду, а ты доставь сюда того дурака. И пусть он хорошенько рассмотрит все это.

Вернулся Свитальский минут через тридцать. Мельком глянул на окровавленный труп Мышкина и сразу же метнулся к Долбоносову, положил руки ему на плечи и спросил с огромной заботой:

— Ну, как, Михайло? Не успел еще этот живодер, — кивок в сторону Генки, — заняться тобой?

От синяка у Долбоносова один глаз даже не открывался, из рассеченных и вспухших губ и сейчас сочилась кровь, но Свитальский словно не заметил этого и закончил с явным облегчением:

— Вот и слава богу. А я бегу сюда и все думаю: неужели опоздал?

Свитальский, придерживая Долбоносова за талию, подвел его не к массивной табуретке, намертво прикрепленной к полу, а к единственному стулу, усадил и, словно только сейчас заметив Генку, заорал:

— Пошел вон, скотина!

Генка, разумеется, не стал ждать, когда отрезок трубы, который схватил Свитальский, будет брошен в него, и выбежал из камеры.

Свитальский смочил в воде свой носовой платок и осторожно обмыл запекшуюся кровь около глаз и губ Долбоносова. Проделал все это с такой искренней заботой, что Долбоносов вдруг всхлипнул и доверчиво ткнулся лохматой головой в его плечо.

— Будет, Михайло, будет, — похлопал его по спине Свитальский. — В жизни, сам понимаешь, всякое случается... Давай лучше перекурим это дело, а? — И щедро раскрыл свой портсигар.

Они закурили, сидя — один на стуле, а другой — Свитальский — на табуретке, предназначенной исключительно для арестантов.

Нарушил молчание Свитальский, он заговорил по-прежнему доброжелательно:

— Ты, Михайло, не обижайся на то, что Генка с тобой так несправедливо обошелся: сам знаешь, мозгов у него не густо,

а рвение к службе огромное. Вот и допустил оплошность, на тебя, друга моего, руку поднял.

— А я что?.. Как вы, пан начальник, прикажете, — закивал Долбоносов, глядя на окурок, который боялся и положить в пепельницу, как это сделал Свитальский, и бросить на пол.

— Вот и молодец! — улыбнулся Свитальский. — А знаешь, почему я приказал тебя арестовать? Да, да, я приказал посадить тебя в этот подвал. И знаешь, почему? Чтобы жизнь твою спасти!

— Господи, помилуй раба твоего, — перекрестился Долбоносов и со страхом взглянул на своего самого старшего начальника.

А тот продолжал, словно не заметил этого страха:

— Поверь, Михайло, чтобы спасти тебе жизнь, я приказал посадить тебя сюда. Я, брат Михайло, ценю верную службу, за верных мне людей и своей головы не пожалею!

Красиво и с большим душевным накалом говорил начальник полиции, и Долбоносов поверил ему, даже расчувствовался до слез и клятвенно заверил:

— Пан начальник, да ежели вам потребуется... Да я за вас... Всегда...

— Не надо, Михайло, слов, не надо, — даже поморщился от обиды Свитальский. — Или я тебя не знаю?

Вдруг посуровел, пытливо взглянул на Долбоносова.

— Постой, постой, Михайло, а ведь ты хорошую мыслишку мне подкинул... Замечательную мысль подсказал! Ну и голова у тебя!.. Если мы ее, эту мыслишку, в жизнь проведем... Но здесь без твоей помощи не обойтись.

Долбоносов поспешно встал и сказал, преданно глядя в глаза Свитальского:

— Что прикажете, пан начальник?

— Тут дело такого сорта, что приказывать никак нельзя, тут твое добровольное согласие надо.

— Вы приказывайте, а мы согласные. Как моего согласия может не быть, если вы того желаете?

В ответ Свитальский приложил палец к губам, предупреждая об особой осторожности, потом бесшумно, на носках, подкрался к двери камеры и рывком распахнул ее. Только убедившись, что никто не подслушивает, он вернулся к Долбоносову, почти насильно усадил его опять на стул и зашептал:

— Чтобы твоих и моих смертельных врагов, которые еще вчера тебя убить замышляли, чтобы их быстро и наверняка уничтожить, нам с тобой заодно действовать надо. Как пальцы одной руки, мы с тобой теперь действовать должны! — И он сжал пальцы в кулак. Потом отшатнулся от Долбоносова, спросил, пытливо заглядывая в его глаза: — Не отступишь не погубишь себя и меня?

Долбоносов хотел что-то сказать, но Свитальский зашептал еще более жарко и убежденно:

— Верю тебе, Михайло, как самому себе верю, потому и говорю с тобой откровенно... Понимаешь, надо уличить тех подлецов в измене. Никифора Мышкина и еще двух... Но трудно, ох как трудно это! — вздохнул Свитальский.

Лицо Долбоносова стало злым, щека его задергалась, и сказал он только одно слово:

— Выслежу!

— Уже выслежены, а вот прямых улик пока нет, — развел руками Свитальский. И продолжил так, словно только сейчас это пришло ему в голову: — Слушай... Вот если бы мне или кому другому ты показания дал, что и тебя они вовлекли в черное дело измены! Так бы этих субчиков ущучили, так бы ущучили!

На лице Долбоносова сначала была только прежняя злость, потом оно дрогнуло, на нем явно обозначилась растерянность. Но промямлил он лишь после значительной паузы, показавшейся Свитальскому бесконечной:

— Заявлю, а меня же и пытать станут...

— Да кто тебя пытать станет? Я лично тебя допрашивать буду! Лично!.. А если кто из посторонних на допрос и заглянет, ты повторишь то, что мне скажешь, и все дела... Подумай сам, кто же тебя пальцем тронуть посмеет, если ты сам с повинной придешь? Чтоб мне провалиться на этом самом месте, если хоть в малом вру! — И Свитальский истово перекрестился. — Тут опасность в другом кроется: выдержишь ли ты свою линию до конца?

— Я упрямый — страсть, — самодовольно заверил Долбоносов.

— Что верно, то верно, — поддакнул Свитальский. — Тогда мы так договоримся... А не струсишь, не попятишься? Целуй крест!

Только теперь Долбоносов вдруг и окончательно поверил в то, что сам пан Свитальский действительно нуждается в его помощи. Только поверил — сразу полезло его нутро, сразу осмелев, он немедленно приступил к торговле:

— Погоди — с целованием-то... Ежели договариваться, то до конца... На мою-то долю что перепадет? Когда это дело уладим?

Именно этого, последнего, вопроса больше всего боялся Свитальский, давно подготовил на него ответ и все равно начал не вполне уверенно:

— Понимаешь... Тебя с ними тоже судить будем. Для отвода глаз, может быть, и приговор вынесем...

— Мне все едино, к чему присудите, если все это понарошку будет, — хитро стрельнул в него глазами Долбоносов. — Ты прямо скажи, какую пользу для себя я потом, после суда, иметь буду?

— К медали представлю, — ляпнул Свитальский первое, что пришло в голову.

— Медаль, она для красоты. А мне и для жизни надобно.

— Тогда... Тогда корову дам!

— Стельную?

— Какая понравится, ту и выберешь, — щедро пообещал Свитальский.

— Побожись.

— Истинный Христос! — заверил Свитальский, крестясь на угол, забрызганный кровью.

Только после этого Долбоносов достал свой нательный крест, прижался к нему разбитыми губами, потом не спросил, а потребовал:

— Учи, что говорить надобно...

А уже следующей ночью фон Зигель записал в своем дневнике: «Сегодня повесили одного полицейского. Очень странный тип человека: хотя дело до физических мер воздействия и не дошло, он, похоже, откровенно сознался во всем, выдал своих сообщников и без малейших признаков страха подошел под петлю».

Глава вторая

1

В ту весну 1942 года фашистское командование еще не думало о мире, в ту весну оно по-прежнему бредило победой. И уже 5 апреля Гитлер подписал директиву, в которой было сказано: «Все имеющиеся в распоряжении силы должны быть сосредоточены для проведения главной операции на южном участке с целью уничтожения противника западнее Дона, чтобы затем захватить нефтеносные районы на Кавказе...»

Командование Советской Армии тогда, весной 1942 года, не знало об этой директиве. Оно, исходя из тех данных, какими располагало, решило, что наиболее вероятное направление летнего удара фашистских полчищ — Москва; и сил у вражеской группировки «Центр» было предостаточно, и линия фронта здесь оказалась чрезвычайно изломанной, так что без особого труда можно было найти много мест для внезапных фланговых ударов как советских, так и фашистских войск. Поэтому и приняло все меры для того, чтобы провалилась эта вражеская затея.

Планы эти разрабатывались, разумеется, в условиях строжайшей секретности, поэтому о них ничего не знали ни те, кому в скором времени предстояло стать их исполнителями, ни миллионы мирных жителей по обе стороны фронта. Но все без исключения — и военные, и мирные жители — все понимали, что сегодняшнее относительное затишье — временное.

А фон Зигель даже ненавидел эту весну. За то ненавидел, что она дороги превратила в непреодолимое для машин месиво. А ведь ему нужно было держать в повиновении район, который по размерам своим не уступал иному европейскому государству! Но, позвольте спросить, а как это можно осуществить, если

самой природой тебе сейчас только и дозволено сидеть в Степанково и с ненавистью и опаской поглядывать на зеленеющие леса и разлившиеся речки и болота?

К сожалению, местным бездорожье не помеха: теперь не только ночью, но и солнечным днем кто-то осмеливался рвать линии связи, подпиливать сваи мосточков и вообще всячески пакостить вермахту. Выходит, прав был он, фон Зигель, когда в каждом советском, даже в том, который кланялся вроде бы и почтительно, чувствовал потенциального врага Великой Германии!

Самое же обидное — начальство упорно отказывается правильно оценить ту обстановку, которая сложилась здесь. Оно, как и осенью прошлого года, требует и безжалостного покорения всего местного населения, и полного ограбления его.

Да, он, фон Зигель, прекрасно понимает, что победитель всегда наживается за счет побежденного. И полностью согласен с пояснением к плану «Барбаросса», с тем самым пояснением, в котором говорится: «Весь вермахт на третий год войны будет снабжаться продовольствием за счет России. При этом, несомненно, погибнут от голода десятки миллионов человек, если мы вывезем из страны необходимое нам».

Очень правильно и без дипломатического тумана все сказано. Но надо же думать и о том, когда он, комендант района, может проводить в жизнь эту линию, а когда обстоятельствами вынужден вроде бы отступать от нее. Временно отступать. Чтобы чуть позднее наверстать упущенное!

Еще можно понять, когда местные условия не желает учитывать кто-то, руководящий из Берлина. Например, Заукель — специальный уполномоченный райха по рабочей силе. Этот именно сейчас потребовал на оккупированных территориях привлечь к полезному для Великой Германии труду всех мужчин в возрасте от пятнадцати лет. И еще ему вынь да подай четыреста или пятьсот тысяч украинских девушек, которые будут использованы в Германии будто бы в качестве служанок. И немедленно исполни все это!

Но больше всего обижает и даже возмущает то, что даже гебитскомендант отказывается понимать, чем вызвана некоторая пассивность фон Зигеля. Почти каждый день звонит по телефону и притворно-вежливо требует активных действий!

Возможно, поступая так, он защищает себя? Дескать, я требовал, дескать, я постоянно напоминал гауптману фон Зигелю о необходимости точно следовать указаниям свыше?

Да, нелегко разгадать истинный ход мыслей начальника, очень нелегко. Даже в том случае, если он когда-то был сослуживцем твоего отца.

2

Никак не ожидал Каргин, что ему придется командовать ротой, но пришлось. Через неделю после разговора с Николаем

Павловичем доставили приказ по партизанской бригаде и предложили расписаться чуть пониже того параграфа, который гласил, что с сего числа Иван Степанович Каргин назначается командиром такой-то роты; и располагаться ему с ротой надлежит в деревне Лотохичи — на самой границе района, контролируемого партизанами.

Каргин, разумеется, сразу пошел к Николаю Павловичу и заявил, что еще не дорос до такой величины, какой является командир роты, дескать, он, Каргин, всегда горой за дисциплину стоял, а сегодня...

— И впредь ты обязан стоять за нее до самой смерти своей, — бесцеремонно перебил его Николай Павлович. — А что касается величины, какой является командир роты... Или трусишь? Ответственности боишься?

— В нашем роду такого не водится, — насупился Каргин и тут же понял, что нет у него сил сопротивляться приказу, и вздохнул тяжело.

Николай Павлович, похоже, уловил свершившийся в душе Каргина перелом, усмехнулся и закончил уже с легкой иронией:

— Поплакаться в мою жилетку хочешь? Что ж, валяй: я в бригаде за комиссара, так что мне по должности выслушивать любого человека положено.

— Плакаться, это нам и вовсе лишнее...

— Такое в вашем роду тоже не водится? — подмигнул Николай Павлович.

После этого замечания и вовсе оттаял Иван Каргин, засмеялся и спросил:

— А с обстановкой в том районе не познакомите? И вообще... Что за люди в роте, что в первую очередь сделать надлежит.

Вот тут и врезал Николай Павлович, так врезал, что и сегодня Каргин дословно все помнит:

— Что сделать надлежит, сам определи. Затем ты и на должность назначен, чтобы мозгами шевелил, сам решения принимал. И отвечал за них!

Почти выкрикнул это Николай Павлович и сразу же, словно и не было вспышки, ровным, спокойным голосом поведал, что в роте Каргина пока будет только тридцать семь человек; основная задача роты — следить, чтобы именно здесь враг внезапно не проскользнул в расположение бригады; и, конечно же, — заниматься боевой подготовкой. Как в армии, разработать план проведения ее и неукоснительно следовать ему.

— Еще что волнует вас, товарищ командир роты? — закурив, спросил Николай Павлович; глаза у него теперь были уже теплыми, доброжелательными.

— Моих дружков куда определили? Тех, кто со мной пришли? — спросил Каргин о том, что больше всего его сейчас волновало; что ни говорите, а каждый из них был для него все равно что брат или другой самый близкий родственник.

— В твою роту зачислены. Мы понимаем, что тебе на кого-то опереться надо. Конечно, и про других бойцов роты ничего плохого не скажу, но твои-то за тебя горой.

— И Пауля с Гансом тоже мне определили?

Николай Павлович некоторое время молча курил, сосредоточенно глядя на газету, лежавшую на столе, потом все же сказал с большой неохотой:

— По этому вопросу у нас единого мнения нет. Некоторые высказываются за то, чтобы их поскорее отправить на Большую землю.

— Значит, не верите ни им, ни мне? — насупился Каргин. — Выходит...

— Ты под наши внутренние разногласия политическую платформу не подводи! — шутливо, но с грустью, которую не удалось скрыть, пригрозил Николай Павлович — Пауль с Гансом у тебя остаются... Пока остаются. — И, словно не желая продолжать разговор на эту тему, спросил:

— Больше, надеюсь, вопросов не имеешь?

Каргин понял невысказанное желание Николая Павловича и поспешил проститься.

Деревня Лотохичи — всего шесть домиков, в половине которых, похоже, люди не жили уже несколько лет. И, как подумал Каргин, только потому, что место здесь — хуже не сыскать: и земли пахотной с гулькин нос, да и та в восьми километрах от деревни, и болота со всех сторон; даже вода, которую брали из маленькой речки, крепко тиной припахивала. А правильно ли причины определил, об этом спросить не у кого: немногих местных жителей, если верить Стригаленку, еще прошлой осенью фашисты куда-то угнали. За какую вину или для чего — этого никто не знал.

До весеннего половодья стояли в Лотохичах. Занимались боевой подготовкой, как того штаб требовал. И разведкой. Даже кое с кем из жителей окружающих деревень связь установили. Со всеми бойцами роты справедливо строг был Каргин. И все же к своим старым товарищам — особенно к Паулю с Гансом — требования предъявлял более жесткие. Умышленно так поступал: чтобы другие не говорили, будто он потачит своих, чтобы не только в его душе прочно утвердились Пауль и Ганс.

До тех пор в Лотохичах стояли безропотно, пока однажды утром, выйдя на крыльцо и глянув окрест, не увидел Каргин, что вода за минувшую ночь со всех сторон вплотную подкралась к горке, на склоне и вершине которой толпились избы Лотохичей. На острове он со своей ротой оказался! Лишь по гати, многие бревна которой давно сгнили, теперь можно было выбраться в лес. Почти три километра идти по гати до леса, не многовато ли?

— Тут, товарищ Каргин, у нас неприступная позиция! Если фашистские каты сюда сунутся, мы их на этой гати так употчуем, что навек запомнят!

Это сказал, конечно, Стригаленок. Он всегда появляется неожиданно, будто подкрадывается к тебе.

Рядовым бойцом был Михась Стригаленок в разведке у Юрки. Но все время норовил оказаться около командира роты. Словно специально кем-то приставленный для наблюдения за Каргиным и для оказания ему мелких услуг. Случалось, Каргин только заикнется, дескать, сюда надо бы такого-то вызвать, — Стригаленок уже сорвался с места. Или Каргин еще ощупывает свои карманы в поисках кисета, а Михась уже протягивает свой, с таким доброжелательством протягивает, что невольно в голову лезет: не закуришь у него — кровно обидится.

Кому-то все это, возможно, и понравилось бы, а Каргина иной раз до зуда в кулаках подмывало осадить Стригаленка, но пересиливал себя: боялся обидеть парня, глаза у которого были всегда такими доверчивыми, простодушными. Только поэтому и сейчас не вспылил, а сказал как только мог спокойно:

— А если не мы на них, а они на нас навалятся? Превосходящими силами? Во много раз превосходящими? Если так навалятся, что нам отходить придется?.. Главная сила партизанская — быстрый и неожиданный маневр. А где мы возьмем его, этот маневр, здесь сидючи?

Какое-то время на лице Стригаленка читалась лишь растерянность, но уже скоро он сказал так, будто даже обрадовался:

— Так точно, здесь мы начисто лишены маневра!

Ничего не ответил Каргин, повернулся спиной к Стригаленку и, чуть сутулясь, поспешно зашагал к избе, которую все именовали штабной. Только потому так нарекли, что обычно сюда Каргин вызывал командиров взводов и всех прочих, чтобы дать указания или нагоняй. Сейчас ему хотелось побыть одному, хорошенько обдумать то, что надлежало сказать товарищам. Однако не успел самокрутки выкурить — вошел Юрка. Десять суток он рыскал по окрестным деревням, зарос — борода чуть не до бровей добралась, крепко осунулся. Но больше всего поразили Каргина глаза Юрки. Безразличные они были какие-то. Это у Юрки-то!

Каргин сказал буднично, будто его нисколько и не волновало, что мог сообщить разведчик:

— Присядь, отдышись.

Еще больше удивило и насторожило то, что Юрка не затараторил в ответ, а послушно опустился — почти упал — на скамью, на тот ее конец, который был ближе к двери. Прижался спиной к темным бревнам и закрыл глаза. Однако Каргин не спешил с вопросами, он знал, что Юрка не из молчальников, что он вот-вот обязательно выскажет все, что так опустошило его душу. И Юрка действительно скоро заговорил, не открывая глаз:

— До самых Выселков дошел. Кажись, все деревни обшарил, кажись, всех, кого можно было, опросил, а Гришкин след не проглядывается.

Так вот почему ты сегодня такой смурной!

Даже нежность шевельнулась в душе Каргина (не забыл Юрка друга, ищет его следы!), но заговорил так, словно мораль прочесть вознамерился:

— Я тебе, когда в разведку отправлял, разве эту задачу ставил? Может, кто постарше меня в должности перехватил тебя в пути и отменил мое приказание?

— Чего цепляешься? Выполнил я твое задание, выполнил! Ага, наконец-то ты опять становишься самим собой, голубчик!

Каргин, сразу посуровев, властно потребовал:

— Доложи как положено.

И, подавая пример, встал, опустил руки по швам. Пришлось и Юрке отдираться от лавки.

— Докладываю, — начал он, подавив в себе недовольство тем, что и сейчас Каргин требует от него точного выполнения уставов; будто нельзя в спокойной беседе все высказать. — Дошел, значит, до самых Выселков. По кругу, как вы и приказывали, шел. Личным наблюдением и путем бесед с народом установлено: фашисты пока особой активности не проявляют, больше по бункерам и гарнизонам отсиживаются... Но чует мое сердце, Иван, что они опять какую-то подлость замышляют!.. И еще — на Выселках в тупике вагон стоит. Букса у него загорелась, вот и отцепили от состава, в тупик сунули. Какой груз в вагоне — того не знаю. Но пять фашистов около него болтаются... Слышь, Иван, у тебя в том чугунке не картошка вареная? Уж больно аппетитный дух оттуда идет.

Каргин молча переставил с шестка на стол чугунок с картошкой, и немедленно Юрка запустил в него руку. Картофелина, которую он ухватил, была горяча, он перекидывал ее с одной ладони на другую и все равно умудрялся чистить быстро и ловко.

Юрка ел с таким азартом, что и Каргин сунул руку в чугунок, машинально отметил, что там осталось всего картофелины четыре, не больше, и взял одну.

Скоро Юрка, пошарив в чугунке и даже заглянув туда, вздохнул не то разочарованно, не то сожалеючи и попросил:

— Дай, Иван, закурить. Мой самосад надо сперва выжать да для просушки на печке разложить.

Дымили нещадно. Словно хотели доказать друг другу, что вот, мол, у меня какие густые клубы дыма изо рта валят. Порой, когда случалось так, что они одновременно выпускали по едкому облаку табачного дыма, будто туманом кухоньку заволакивало.

— Говоришь, пять фашистов вагон охраняют? — наконец спросил Каргин, дымом выжимая у Юрки слезу.

— Точно, пятеро их. И еще — окна в том вагоне наглухо досками заделаны. А щеколда двери проволокой прикручена... Я ли не старался, но так и не разгадал, какой груз в том вагоне. Только, ручаюсь, есть там что-то!

— Потому и уточняю подробности.

— Хоть убей, больше ничего не знаю, — начал горячиться Юрка. — Если бы со мной хоть маленькая группа была, а то ведь я один разведку вел. Как перс одинешенек!

— Как перст, — поправил его Каргин.

— Чего?

— Перст, а не перс. Перст — палец, значит.

— Слушай, перс ли, перст ли, а тебе не все равно? Ты лучше скажи, один я был или нет? Факт это или не факт?.. Кроме того, объясни мне, почему и перс не мог быть один? Ты-то откуда знаешь, что не было такого исторического случая?

— Не таратор, думать мешаешь, — повысил голос Каргин.

— Вечно так: сами придирками на спор вызовут, а потом, когда я фактами давить начинаю, цыкают, дескать, замолкни, — проворчал Юрка, но уже тише и значительно спокойнее.

Напасть на Выселки Каргин решил еще в тот момент, как только Юрка сказал, что там в тупике торчит вагон, который охраняют пять фашистов. Наличие охраны убеждало, что груз в том вагоне стоящий.

Да и проверить роту в настоящем боевом деле очень хотелось: что ни говорите, а бой — лучший экзамен. В этом Каргин был уверен.

А как настоящий бой спланировать, это вопрос для любого командира важнейший. И не просто спланировать, а так, чтобы был полный успех.

Перво-наперво — человек десять выделить под начало Юрки. Они цепью отсекут тупик, где стоит вагон, от самой станции; она хотя и маленькая, можно сказать, видимость одна, что вокзал имеет, а все же вдруг там немецкие солдаты или полицаи хоронятся? Если так, если сунутся на выручку своим, Юрка их огнем встретит...

Человек десять надо здесь, в Лотохичах, оставить. Чтобы дырки не образовалось в охране района базирования партизан. Федор Сазонов службу знает и любит. Он промашки не допустит.

Остается еще семнадцать бойцов...

Одного надо послать в штаб бригады с донесением, известить, что так, мол, и так, подвернулся удобный случай насолить врагу. А семь других с сержантом Устюговым Андреем не со стороны тупика, а с противоположной к станции подкрадутся: если начнется пальба, сами застрочат, видимость окружения создадут.

Ну, а с остальными он, Каргин, сам к тому вагону полезет!

Каргин встал, привычно пробежал пальцами вдоль ремня, проверил, не появилось ли лишних складок на гимнастерке, и сказал сугубо командирским тоном:

— Передай дежурному, чтобы послал ко мне командиров взводов. Как по боевой тревоге!

Последние слова догнали Юрку уже в дверях.

3

Станция Выселки — восемь домиков, грудящихся около того, который местные жители величали вокзалом, — стандартного здания грязно-желтого цвета и о трех углах: четвертый развоpотила единственная бомба, еще в прошлом году случайно обpоненная каким-то фашистским летчиком. Были еще четыре блестящие полоски рельсов и две покрасневшие от ржавчины — тупик, как-то несуразно вильнувший в сторону леса, будто начали строить самостоятельную ветку, да почему-то передумали.

Нескольких минут наблюдения хватило Каргину, чтобы понять: нет здесь засады, обыкновенный товарный вагон, одиноко торчащий в тупике, — не приманка, нарочно подброшенная фашистами. Фашисты-охранники угрюмо толпились у вагона и с опаской поглядывали на нежную зелень молодых березок, шелестевших листвой метрах в десяти от таинственного вагона; старый бородатый козел от безделья разглядывал свою рогатую тень.

Однако, чтобы исключить даже невероятную случайность, Каргин приказал действовать точно по плану, с которым всех участников операции ознакомили еще вчера. Только разошлись бойцы, чтобы занять указанные им места, подошел Пауль и сказал, старательно выговаривая каждое слово:

— Товарищ Каргин, я имею предложить... Мы с Гансом идем по железной дороге. Мы — патруль... Они должны обрадоваться, когда нас увидят.

Резонно, ничего не возразишь. Фашистские патрули, как точно известно, периодически проверяют железнодорожное полотно. И эти, охраняющие вагон, просто обязаны кого-то послать к патрульным. Хотя бы только затем, чтобы спросить, не знают ли они, когда появится поезд. Кроме того, появление патруля должно успокоить охранников, дескать, безопасны здешние леса, нет в них партизан. А сейчас они ишь как в автоматы вцепились...

— Действуйте, — разрешил Каргин и даже толкнул Пауля кулаком в плечо, словно попросил поторопиться.

Над Выселками по-прежнему висит гнетущая тишина. За все время, пока Каргин вел наблюдение, ни один человек не вышел ни из станционного здания, ни из домиков поселка; словно не было тут никого живого. Кроме старого козла, который теперь улегся у серых досок сараюшки.

Наконец показались Пауль и Ганс. Они, неспешно шагая по шпалам, приближались к станции.

Их, разумеется, заметили и охранники. Они, словно забыв о вагоне, теперь смотрели только на патрульных.

— Пора? — чуть слышно дохнул кто-то в затылок Каргина.

— Замри!

Невероятно волновало Каргина благополучное завершение всего задуманного, поэтому и единственное его слово прозвучало

с огромной внутренней силой, противиться которой никто не осмелился.

Пауль и Ганс будто бы только сейчас заметили и вагон, и солдат, толпившихся около него. Они на мгновение даже замедлили шаги и перекинулись несколькими словами. Однако, положив руки на автоматы, висевшие на груди, продолжали свой путь; чувствовалось, они сторожили каждое движение тех, за спиной которых высился обыкновенный товарный вагон.

Уже через несколько минут Каргин понял, что Пауль с Гансом только так и должны были поступить: охранники, заметив, что патруль проходит мимо, закричали им, призывно замахали руками. И лишь тогда Пауль остановился, отрывисто спросил, что нужно. Умно остановился: теперь, если бы Каргин с товарищами вздумали стрелять, Пауль и Ганс не оказались бы на линии их огня.

Пауль не сделал даже попытки приблизиться — два охранника, закинув автоматы за спину, спокойно зашагали к мнимому патрулю; остальные на вагон теперь и вовсе внимания не обращали.

Вот сейчас пора!

Очереди прозвучали приглушенно, но дружно.

Каргин поспешил к убитым, чтобы проверить, нет ли при них документов, которые смогут заинтересовать Николая Павловича или другое начальство, а его товарищи метнулись к вагону. Он видел Юрку, бежавшего к станционному зданию, чтобы помешать кому-либо воспользоваться линией связи; слышал, как переругивались партизаны у вагона, стараясь осилить жесткую проволоку, опутавшую щеколду двери. Все это было так же естественно, как и то, что из домиков поселка выбегали люди с узлами, которые, похоже, были собраны не сейчас, даже не сегодня. Но он с тревогой глянул в сторону вагона, когда там вдруг стихли голоса. Ничего не увидел, кроме ног своих товарищей, толпившихся у невидимой ему двери вагона. Он еще не успел принять какого-либо решения, как там раздался вопль, похожий на многоголосый радостный стон. Прошло еще несколько мгновений, и на земле рядом с ногами товарищей Каргин увидел множество чужих ног. И даже несколько человек, которые почему-то лежали неподвижно. Неудержимо потянуло туда, однако он на какое-то время все же смог пересилить себя, хотя и бегло, но просмотрел все бумаги, найденные в карманах убитых. Лишь после этого без торопливости, степенно зашагал к вагону, по ту сторону которого творилось что-то важное, радостное и пока непонятное ему.

Перед ним расступились. Свои — уважительно, а прочие — почти мальчишки, обалдевшие от счастья, — с благодарностью.

— Гляньте, товарищ командир, какой груз мы нечаянно отбили, — начал было кто-то из партизан, но Каргин перебил его:

— Сам вижу! — Он действительно видел все. Даже мертвых успел сосчитать. Их было пятнадцать. — Всем в лес!

Спасенные немедленно галдящей толпой метнулись к деревьям. На них прикрикнули, и сразу голоса смолкли. Только потрескивание хвороста еще слышалось некоторое время.

Когда планировалась эта операция, Каргин никак не предполагал, что в вагоне окажутся люди, что и местные жители захотят уйти из своих домов. И сейчас ему нужно было хоть несколько минут побыть одному, чтобы принять решение, но от Юрки уже бежит боец, кричит:

— Сейчас поезд будет, товарищ Каргин!

Каргин быстро оглядывает лес, куда ушли люди (там полный порядок: ни голоса, ни одного человека, замешкавшегося на опушке), потом сиротливо торчащий в тупике вагон и с удовольствием фиксирует, что убитых фашистов кто-то уже додумался покидать в него, что со стороны станции не поймешь, пустой он или с грузом. И, придерживая автомат, бежит к станционному зданию, на пороге его сталкивается с Юркой.

— Ну, что стряслось?

— Товарняк идет. Здесь останавливаться не будет.

— Тогда чего панику сеешь?

— Я? Панику? — На лице Юрки недоумение сменяется обидой. Но высказаться он не успевает: на станцию врывается требовательный гудок паровоза.

Тут Каргин замечает мужчину в кителе железнодорожника. В руке у мужчины зеленый флажок и жезл.

— Встречай поезд как положено, — говорит Каргин, глядя прямо в глаза этого мужчины, и тот выходит к рельсам, держит наготове жезл.

Казалось, не будет конца этому составу, громыхавшему мимо станционного здания...

Наконец, вильнув на стрелках, и последний вагон убежал на запад.

Каргин, стараясь сделать это незаметно, вытер вспотевший лоб и вышел из станционного здания, где, затаившись за косяком, стоял все время, пока шел поезд. Только вышел — увидел опять того же железнодорожника. Теперь на его плечи был наброшен брезентовый плащ. Позади начальника станции толпились женщины, дети и еще трое мужчин в таком возрасте, что дедом величать чуть-чуть рановато. Все имущество этих людей горкой лежало на телеге, в которую была запряжена настолько дряхлая лошадь, что спала, стоя в оглоблях. К задку телеги был привязан козел — недоверчивый, весь в репьях.

— Позвольте и моей команде уйти с вами? — начал железнодорожник и сразу же повысил голос, словно заранее знал, что Каргин будет обязательно возражать: — А куда еще нам податься? Будто не знаете, что с нами фашисты за сегодняшнее сотворят?

Каргин уже решил, что и этих людей он просто обязан взять под свою защиту. Конечно, когда окажутся в Лотохичах, он немедленно доложит командованию о случившемся, а пока..,

— Взрывчатка с собой? — спросил Каргин, повернувшись к Юрке.

— Закладывают на стрелках. Как следующий эшелон пойдет, так и бабахнем. И домики эти подпалим перед уходом.

Терпеть не мог Каргин многословия Юрки и нахмурился, молча зашагал к лесу, туда, где скрылась его группа.

— Позвольте, а как же мы? Каково ваше решение по нашему вопросу? — всполошился железнодорожник и даже рванулся за Каргиным.

Юрка схватил его за рукав и многозначительно спросил:

— Без слов не понимаешь?

Больше чем в два раза выросла рота Каргина за эти часы. Это и радовало, и беспокоило. Он уже знал, что спасенные мальчишки еще неделю назад сидели по своим хатам, хлопотали по хозяйству. И вдруг нагрянули фашисты, согнали в колонну, а потом и втиснули в этот вагон. Сказали, что отвезут в прекрасную Германию, где каждый получит хорошую работу и наконец-то станет жить по-европейски.

Неделю пробыли они в вагоне. Даже спали стоя. Так тесно было. Последние трое суток не давали ни крошки хлеба, ни капли воды. Шуметь, требовать начали — фашисты ответили очередями. А стенки вагона разве защита от пуль?

— А теперь какую думку держите? — спросил Каргин, когда во время короткого привала выслушал эту историю.

Не ответили, а дружно потребовали:

— Зачисляйте в свой отряд!

Лишь один, помявшись, все же сказал:

— До дому пробираться буду. — И торопливо добавил, словно испугался, что его поймут превратно: — Мать там у меня одна. Больная. Параличом разбитая.

— Надеешься, что вторично тебя не схватят? — усмехнулся Каргин.

Парень долго не отвечал. Потом, когда Каргин уже намеревался отойти от него, он все же сказал:

— Поймите... Она же сама ничего не может...

И такая убежденность в правильности своего намерения прозвучала в голосе парня, что никто не возразил ему. Каргин же только и сказал, положив ему руку на плечо:

— Ладно, держи нос выше. Может, что и придумаем.

Часа три назад произошел этот разговор. С тех пор только и слышно, как чавкает грязь под ногами многих людей да поскрипывают колеса телеги.

4

Вот и минули первые дни мая. Можно сказать, все обошлось вполне благополучно. А ведь он, фон Зигель, был уверен, что именно в эти дни, которые местные жители привыкли считать большим праздником, партизаны опять громко заявят о себе.

Может быть, как в тот раз откроют огонь из какого-нибудь припрятанного оружия или что другое придумают. Но, слава богу, все обошлось.

Что ж, если быть честным, подобные ошибки даже приятны...

Неужели правильно утверждает это ничтожество Свитальский, будто сейчас в районе нет ни одной большевистской банды? Будто народ — наконец-то! — смирился с тем, что теперь ему века придется жить по законам Великой Германии?

Очень хочется верить в это...

Однако прошедшие месяцы многому научили его, фон Зигеля. Прежде всего — осторожности. Не потому ли он и живет сравнительно спокойно, что очень скоро понял: здесь, хотя по этой земле и прокатилась волна немецких войск, до полной победы, до полного покорения народа — невероятно долго. Сердцем чувствовал это, ну и вел себя соответственно; не был излишне строг с местным населением. Конечно, кое-кого из местных жителей пришлось и казнить, но разве хоть одна война возможна без чего-либо подобного? А если разобраться, он был очень лоялен ко всем местным. Настолько лоялен, что и сегодня кое-кто из начальства косо посматривает на него.

Так рассуждал фон Зигель, стараясь успокоить себя, а майский ветерок, врываясь в распахнутые окна, шелестел бумагами, лежавшими на столе. Назойливо шелестел. Словно знал, что фон Зигелю крайне неприятно вспоминать и думать о том, что сообщалось в них. Действительно, разве настоящему немцу доставит радость бумага, в которой говорится, что 12 мая на Харьковском направлении советские войска неожиданно перешли в наступление?

Именно об этом сообщалось в циркуляре, листы которого так вкрадчиво шелестели на столе.

Правда, там особо подчеркивалось, что советские войска хотя и ударили внезапно, но пока имеют лишь частичный успех.

Ха, частичный успех! Разумеется, война обязательно закончится победой Германии, но не пора ли начать называть вещи своими именами? Разве сейчас допустимо словно между прочим сообщать о каких-то «частичных успехах» советских войск, если каждый солдат вермахта знает, что на Харьковском направлении кое-где даже на шестьдесят километров продвинулись русские? Что они захватили не только много пленных, но и вполне исправные пулеметы, орудия, танки и самолеты?

Как только увидишь хотя бы двух шушукающихся солдат, так и знай, что они именно об этом наступлении русских судачат, гадают, не закончится ли оно для вермахта таким же разгромом, как и прошлогоднее, начавшееся под Москвой!

Короче говоря, и дураку должно быть ясно, что сейчас не время дразнить, еще больше обозлять местное население. А вот гебитскомендант будто ничего не видит, не понимает! Не позже чем вчера он опять звонил. Сначала пространно говорил о том, что дороги уже не плывут, уже приобрели жесткость, а разлив

рек и болот даже прекрасен, ибо он лишает партизан возможности свободного маневра; самое время начать массовые облавы и уничтожать всех, кто пытается скрываться в лесах и болотах.

Однако дальше общих слов гебитскомендант не пошел, он вдруг круто изменил направление разговора:

— Да, Зигфрид, я буду очень признателен, если вы в своем районе нащупаете что-то, хотя бы похожее на то боа. Помните, какое вы зимой мне презентовали? Кстати, моя жена очень благодарна вам за него, приглашает навестить ее, когда счастливый ветер занесет вас в Германию.

Фон Зигелю здесь бы и рассыпаться в благодарностях за столь лестное для него приглашение, заверить, что все силы приложит, ни спать, ни есть не будет, но выполнит это желание жены господина оберста. А он промолчал. И этого оказалось достаточно, оберст заговорил уже иначе:

— Вы слышите меня, гауптман? Что-нибудь похожее...

— Приложу все усилия...

— Избави бог! Все свои усилия по долгу службы вы обязаны сосредоточить на другом... Кстати, вы сдержали свое обещание?

Фон Зигель еще копался в памяти, а гебитскомендант уже дожимал, окончательно загонял его в угол:

— Ведь вы обещали, если не найдутся те два ваших солдата, расстрелять по два заложника из каждой деревни района? Когда снег стает, обещали расстрелять. Как видите, я ничего не забываю, гауптман.

Уже не Зигфрид, а гауптман... И все из-за того, что он не догадался умело использовать паузу в разговоре, которая была ему расчетливо предоставлена!

Интересно, а кто донес этому старому маразматику о том, что он, фон Зигель, дал это обещание и все еще медлит выполнить его? Кто осмелился на такое?

Фон Зигель мысленно перебрал всех своих помощников, всех, кто мог быть заинтересован в его падении. И пришел к выводу, что таким человеком мог оказаться только Свитальский. Этому жизненно необходимо утвердиться, этот понимает, что быстро сгорит, если он, фон Зигель, не изменит к нему своего отношения.

Попробовал купить — очень умно золото подсунул — ничего принципиально во взаимоотношениях не изменил, только на неопределенное время отсрочил свое падение.

Хотя, если быть откровенным, скорее всего — приблизил свой бесславный конец: фон Зигель не настолько идиот, чтобы оберегать жизнь такого опасного для себя свидетеля.

Чувствует, прекрасно знает все это Свитальский! Потому и старается доказать оберсту, что способен быть крайне полезен. Оставаясь именно здесь, именно в этой должности полезен!

Что ж, убрать его очень просто. При помощи неожиданного выстрела из кустов: партизаны, мол, счеты свели. Можно и про-

сигналить гестапо: пытался меня подкупить, я уверен, что в каком-нибудь тайнике он прячет еще бóльшие ценности.

Короче говоря, самыми разными путями к пану Свитальскому можно подтолкнуть смерть. И от него, гауптмана фон Зигеля, зависит, будет ли она мгновенной и легкой или придет как долгожданная избавительница от невероятных мук.

Но перед смертью вы, господин начальник полиции, еще поработаете на меня! Вы пожаловались начальству на мою забывчивость? Признаю свою вину, признаю! Больше того: намерен сегодня же все поставить на свои места!

Фон Зигель решительно подошел к письменному столу и чуть коснулся пальцем кнопки звонка. Через мгновение в дверях замер дежурный по комендатуре.

— Передайте господину Свитальскому, что я прошу его зайти ко мне, — сказал фон Зигель, голосом и глазами подчеркивая свою доброжелательность к начальнику полиции.

Это было столь неожиданно и невероятно, что дежурный на какие-то секунды задержался, чуть помедлил в дверях.

— Может быть, я не вполне ясно высказал свое приказание? — поинтересовался фон Зигель.

Теперь в голосе коменданта звучали знакомые металлические нотки, и дежурный, щелкнув каблуками и чуть вздернув локти, ответил:

— Яволь!

Свитальский, чуть запыхавшись, явился через несколько минут. Похоже, ждал нагоняя и поэтому почтительно и виновато замер у косяка двери.

— Прошу, — сказал фон Зигель как только мог ласково и рукой показал на стул, стоявший около стола. И вновь заговорил лишь после того, как Свитальский занял указанное ему место: — Надеюсь, вы помните, что я пообещал сделать, если не найдутся те наши два солдата, которые пропали зимой?

Ага, побледнел мерзавец!

— Виноват, начисто запамятовал, — неожиданно как простой мужик ответил Свитальский, глядя не в глаза фон Зигеля, а на верхнюю пуговицу его мундира.

— Никогда не следует брать на себя чужую вину: у каждого человека и своя достаточно велика, — окончательно развеселился фон Зигель, который теперь и вовсе уверовал, что ведет разговор с доносчиком. — Я пообещал расстрелять по два человека из каждой деревни района. По два! — повысил он голос и даже показал два растопыренных пальца.

— Прикажете заложников пригнать сюда? — оживился Свитальский, подался телом вперед, словно приготовился вскочить, если господин комендант даже только кивнет.

— Вы думаете, они поместятся в моем кабинете? — пошутил фон Зигель, довольный собой.

— В Степанково пригнать. И на площади расстрелять!

Боже, как он непроходимо глуп!

Однако фон Зигель, продолжая игру, пояснил спокойно, даже доверительно:

— Нет, расстреливать нужно в каждой деревне. Установлено, что казнь близкого или даже просто знакомого человека оказывает большее эмоциональное воздействие. Вот и нужно побывать в каждой деревне района. Даже в самой маленькой, в самой захолустной.

Лицо у Свитальского вытянулось, побледнело. И он спросил, еще тая слабую надежду:

— Если я правильно понял...

— Абсолютно правильно! Я доверяю вам! — мило улыбнулся фон Зигель и встал, давая понять, что разговор окончен.

— Какие силы разрешите привлечь для осуществления данной операции? — все же осмелился спросить Свитальский, обреченно глядя на фон Зигеля.

— Это извольте сами решить, — поморщился фон Зигель. — Неужели для того, чтобы расстрелять двух мирных селян, вам нужна рота солдат? Лично я, окажись на вашем месте, ограничился бы пятью или шестью полицейскими. И, разумеется, одной машиной.

Свитальский почтительно поклонился и пошел к двери. Лишь подчеркнутая прямизна спины выдавала его волнение.

5

Два последних дня дед Потап с Петькой будто сторонились Григория: на рассвете, наскоро перекусив, уходили из дома и возвращались лишь в густых сумерках.

Когда они пошли в первый раз, Григорий даже обрадовался: что ни говорите, а дед Потап за парнишкой досмотрит, не даст очень-то своевольничать.

Нырнули они в лесную чащобу — Григорий выждал немного (пусть не подумают, будто он за ними подглядывает!) и лишь потом вышел на полянку перед домом. Благодать-то какая! И солнце ласково пригревает, хотя только начало карабкаться на промытое до нежной голубизны небо, так пригревает, что хочется замереть с закрытыми глазами и ловить лицом его лучи, ловить. И скворушка, словно заведенный, заливается у своего гнезда. Метрах в четырех над землей звонкой песней счастья заливается!

Минут десять или пятнадцать Григорий простоял неподвижно, наслаждаясь пробудившейся жизнью, а потом вдруг почувствовал, что просто обязан немедленно начать что-то делать. Не для войны, о которой он вообще много думал и особенно во время своей болезни, а для деда Потапа и Петьки. Чтобы хоть как-то помочь им жить. И он торопливо, словно боясь опоздать, обошел вокруг избушки, высматривая себе дело. Не нашел. Правда, замшелые доски крыши вопили о необходимости замены, да где их возьмешь?

И дров целых две поленницы. Наколоты и уложены аккуратно; даже берестовыми пластами от дождя укрыты. Короче говоря, чувствовалось: дед Потап в жизни за многим не гнался, но уж что имел, то содержал в соответствующем виде.

Однако бездельничать было невмоготу, и Григорий стал бродить вокруг избенки, с каждым разом все больше увеличивая круги. И ноги учил ходить, и с лесом знакомился. Но прежде всего решил обследовать тропочку, по которой дед Потап возвращался с ведрами, полными холоднущей и вкусной воды. Прошел между огромных и угрюмых елей метров пятьдесят — в лицо ударили солнечные лучи, и перед ним распахнулась полянка-огород, деревьями надежно укрытая и от людского глаза, и от северного ветра. На склоне холма распласталась полянка, развернувшись к полуденному солнцу. И невелика была она, но грядки лежали на ней плотно. Только в самом центре ее торчал здоровенный осокорь, засохший на корню; судя по обугленному зигзагу, застывшему черной змеей, молнией убитый. На вершине, вокруг которой были отпилены или отрублены все ветви, виднелось гнездо аистов. Один из них и сейчас спокойно поглядывал на Григория. Только внимательно всмотревшись, Григорий разглядел старое колесо от телеги, на котором и лежало гнездо. Увидел колесо — понял, что без деда Потапа здесь тоже не обошлось.

А у самого основания холма, где, словно сплетничая, стояли три березы, только начавшие одеваться нежно-зеленой листвой, бил ключик. На дне ямки глубиной в метр неустанно бурлил он. Стенки этой ямки были любовно выложены камнями (из какой дали дед Потап припер их сюда?), а тропка у самого ключика кончалась здоровенной плахой. Даже о том, чтобы ненароком не замутить воду, подумал дед Потап! И невольно пришло в голову, что дед много лет назад не просто так свою избенку сунул, куда взгляд упал, а с расчетом на долгую и счастливую жизнь ее ставил.

Посидел, покурил Григорий у ключика, успокоенно глядя на нежные листья берез и на аиста, подправлявшего свое гнездо, и пошел дальше. К полудню из сил выбился. Казалось бы, теперь только обратно своим ходом вернуться, а тут глаза и запнулись за сушину. Да такую ядреную, что оставить ее в лесу никак не смог и вторую половину дня промучился с ней. Не счесть, сколько раз валился на землю, чтобы передохнуть, и все-таки осилил, приволок сушину к избенке!

За весь день только одну сушину и оборол, а радовался так, словно невесть что доброе сделал.

Дед Потап, как только они с Петькой заявились, заметил сушину. Но ни слова не сказал. Только хмыкнул. Да и то словно про себя, негромко. Зато вечером второго дня, когда рядом с первой обосновались еще три сушины, у деда Потапа вырвалось:

— Все же сильна в тебе наша кровушка, мужицкая.

— Не, я из рабочего класса, — гордо возразил Григорий.

— Значит, простого мужицкого звания чураешься?

Не нашелся что ответить Григорий. И поужинали молча. И ко сну отошли, словом не перебросившись. А утром, едва дед Потап заворочался на печи, Григорий встал с лавки, где спал последние ночи, и стал неспешно одеваться.

— Куда ноженьки востришь? — спросил дед Потап; он уже сидел на печи и почесывал грудь — широкую, без единого волоска.

— Вслед за вами, хочу в тайну проникнуть. В ту самую, которую от меня прячете. Думаете, Гришка — недоумок, ничего не видит, ничего не понимает? Думаете, он здесь заместо мебели?

Дальше Григорий намеревался сказать, что как ни крути, а именно он старшим над Петькой поставлен (самим товарищем Каргиным), что он, Григорий, не старик или пацан, что он настоящий мужик-солдат, но Петька вдруг бросился к нему, ткнулся головой ему в грудь и разревелся. В голос разревелся. И все прижимался к нему, словно боялся, что Григорий вдруг исчезнет, растворится в полумраке избенки.

Это было так неожиданно, что Григорий только спросил, рукой ободряюще похлопывая его по вздрагивающей спине:

— Ты чего? Чего нюни распустил?

В ответ Петька и вовсе взревел. И тогда, чтобы самому не захлюпать носом, Григорий прикрикнул:

— Отставить сопли на мою гимнастерку намазывать! Или ты не боец нашего отряда? Соединимся со своими, как я об этом моменте должен буду докладывать товарищу Каргину?

Петро всхлипнул еще несколько раз, уже затихая, а потом оторвался от Григория, ладонью мазнул по лицу, мокрому от слез, и сел за стол, куда дед Потап уже поставил чугунок с картошкой.

— А умываться за тебя медведь будет? — рявкнул Григорий.

Петро молча вышел из-за стола.

Поели в мертвой тишине. Потом Григорий все же спросил:

— И чего ты, Петька, разревелся, как последняя девчонка?

Тот опустил глаза и насупился — страшнее невозможно. Тогда дед Потап и поспешил ему на выручку:

— Он, Григорий, боялся, что болезнь тебя сломала.

— Меня? Чтобы меня какая-то паршивая болезнь да сломала? — удивился и даже обиделся Григорий.

— Почему тогда в молчанку играл? — буркнул Петро и глянул на Григория счастливыми глазами. — В отряде-то всегда самым разговорчивым был.

И правда, почему так случилось?

Не нашел Григорий ответа, поэтому и перешел в наступление:

— А ты, вихрастый, не заводи привычки начальство критиковать. Такая самодеятельность — да еще в военное время — до большой беды довести может. — И сразу же, чтобы сменить разговор: — Так куда же вы, единоличники, два этих дня шастали? Куда сегодня путь держать намерены? Не мало ли вас, не надо ли нас?

И тут дед Потап сказанул такое, что у Григория сначала даже дух захватило. Оказывается, они за минувшие дни лесную полянку вскопали. Лопатами вскопали. Чтобы хлеб посеять. А сегодня и ещё одну обработать нацелились.

— Война войной, а людям все равно есть надо. Мне-то одному много ли надо? Поверь, Григорий: нашим людям хлеб во как потребуется, — пояснил дед Потап и провел ребром ладони по горлу. — На моих-то поляночках авось герман хлеб не нащупает. Вот и послужит он нашему народу.

Дед Потап словно оправдывался, но глухой его голос звучал убежденно: чувствовалось, он ни за что не отступится от своей задумки.

— Не понимаю, чего ты меня агитируешь? — пожал плечами Григорий. — Если хочешь знать, на любое доброе дело я беда какой сообразительный. — И подмигнул Петру, который по-прежнему смотрел на него сияющими глазами. — Потому и повторяю: не мало ли вас, не надо ли нас?

В тот день они все вместе вышли из домика. Шагали как заправские солдаты — в ногу и широко. Только на плече у каждого вместо винтовки была самая обыкновенная лопата. Дед Потап, вышагивая впереди, сбивал сапогами росу, а Григорий замыкал цепочку. Но Петро нарочно упорно отставал от деда, частенько оглядывался на Григория: боялся запалить его быстрым переходом. Так отставал, что мешал Григорию шагать. И тот вынужден был припугнуть его:

— Веселей шагай, вихрастый! Иначе пятки твои отдавлю, в один момент инвалидом на всю жизнь сделаю!

В ответ Петро расплылся улыбкой: ожил дядя Гриша, ожил!

6

Перед рассветом, когда до Лотохичей оставалось километра три, из леса вышел Федор Сазонов. Он молча проводил глазами подводу, которая скрипом колес рвала тишину, и колонну группы, увеличившуюся больше чем вдвое. Лишь убедившись, что все в порядке, догнал Каргина и сказал, сдерживая голос:

— Начальства понаехало — ступить некуда.

— Куда и какое понаехало? — спросил Каргин, хотя и догадывался, что речь идет о бригадном начальстве, которое во время его отсутствия нагрянуло в Лотохичи.

— Бригадное, на нашу базу, конечно, — подтвердил его догадку Федор и продолжил с неожиданной иронией и даже озлоблением: — Один из них, видать, штабник, меня сразу экзаменовать бросился. Как клещами, вопросами в меня вцепился!

— О чем спрашивал?

— Сначала за уставы цеплялся. Не удалось подловить — вводные стал давать. Вроде того, что враг силами полной роты атакует: «Ваши действия?» — Он явно передразнил того штабника.

— Терпение мое испытываешь? Что ж, валяй.

— А дальше и вовсе потеха! — неожиданно улыбнулся Федор. — «У вас осколком повредило рацию. Ваши действия?» Отвечаю на полном серьезе: «Матюкаться во весь голос стану». Он сперва только глазами хлопал, а потом багроветь начал и с этакой ехидцей еще вопросик подкидывает: «Позвольте узнать, почему именно теперь?» — «Самое время, — говорю, — чтобы мысли свои о начальстве вслух высказать. Ведь оно, не дав рации, уже повредить ее вражеским осколком умудрилось...» Этот-то, казалось, вот-вот от злости лопнет... А командир бригады ничего, толково на мои слова отреагировал.

— Ну?

— Засмеялся он. Как-то по-хорошему смехом зашелся и замахал на меня руками. Дескать, исчезни с глаз моих.

Юрка, который во время этого разговора шел рядом, одобрительно хохотнул и тут же осекся, заметив, что Каргин остался равнодушен к ответу Федора. Почему? Разве не толково Федор уел штабника? Нет, Иван такое сразу схватывает. Вот и получалось, что есть какая-то причина, которая заставляет его хмуриться.

До смеха ли бойцу, если командир чем-то встревожен?

Действительно, Каргин сразу же оценил и находчивость Федора, и то, что тот сам вышел встречать его, предупредил о визите начальства. Каргин уже твердо решил, что Федора в обиду не даст. Если разгневанное начальство даже прикажет снять его с командирской должности, он, Каргин, конечно, выполнит приказ. Вернее — создаст видимость его выполнения: сегодня в рядовые произведет, чтобы уже завтра (или денька через три-четыре) вернуть на прежнюю должность. Или подобную. Это уже окончательно решено.

Беспокоило Каргина другое: начальство просто так, ни с того ни с сего, никогда не заявляется.

— Еще о чем разговор шел? — пытаясь найти хоть какую-то зацепку, спросил Каргин. — Чем еще интересовались-то?

Федор ответил даже без намека на недавнюю иронию:

— Штабник все нажимал на то, что мы из Лотохичей самовольно ушли.

— Вот откуда ветерком потянуло, — усмехнулся Каргин.

— Может, повременим с перебазированием в лес? — осторожно, словно боясь обидеть Каргина, предложил Федор.

— Повременить? Постой, постой, а ты как узнал об этой моей задумке?

— Стригаленок раззвонил.

Каргин сразу вспомнил и свой разговор со Стригаленком, и то, что именно его, прекрасно знающего местность, направил в штаб бригады с донесением о том, что рота пошла на станцию Выселки на боевую операцию.

— Проворен, ничего не скажешь, — опять усмехнулся Каргин и решительно зашагал в голову колонны.

Когда, чтобы попасть в Лотохичи, оставалось только перейти болото, Каргин остановил колонну, подозвал Юрку и сказал:

— Остаешься за меня. Особо проследи за тем, чтобы никто из леса не высовывался. И вообще... Выставь посты, чтобы из лагеря ни туда, ни сюда хода не было. В караул назначай только наших, проверенных. В оба глядеть, в оба слушать! А я с Федором к начальству пойду, представлюсь и доложу.

Юрка понял, что Каргин нарочно при начальстве намерен перевести роту из Лотохичей в лес, что пока он не верит новеньким, и ответил обнадеживающе:

— В лучшем виде исполнено будет.

Каргин предполагал, что в столь ранний час прибывшее начальство еще почивает или чаи гоняет, но увидел его бодрствующим, увидел сразу, как только вошел в единственную улицу деревни. Около штабного домика стояли Николай Павлович и еще три человека, судя по осанке и развороту плеч — кадровые военные. А чуть сзади них на завалинке сидел дедок с седой бородкой клинышком.

— Это и есть командир бригады, — буркнул Федор.

— По Стригаленку я и сам об этом догадался, — ответил Каргин.

Стригаленок действительно стоял между группой командиров и дедком: кто бы ни позвал — он моментально оказался бы рядом.

Каргин намеревался отрапортовать как положено, однако Николай Павлович неожиданно и быстро шагнул к нему, перехватил и пожал его руку, которую он поднимал к козырьку фуражки, и сказал:

— По глазам твоим вижу, что операцию провел удачно. Не ошибаюсь? Все в порядке?

— Так точно, в порядке.

Каргин не словами рапорта, а просто, даже буднично рассказал о необычном грузе, оказавшемся в вагоне, и о том, что теперь в его роте есть даже собственная подвода. Не утаил и того, что, к сожалению, вынужден был на место базирования роты привести жителей Выселок.

— К сожалению? Почему ты так сказал? — немедленно уцепился Николай Павлович.

— Само вырвалось, вот и сказал, — отвел глаза Каргин.

— А если откровенно?

— Кто его разберет, к счастью это или наоборот? — загорячился Каргин. — С одной стороны, когда к твоей части примыкают совершенно гражданские — бабье и детвора, — боеспособность части, конечно, уменьшается. В смысле маневра, имею в виду. Опять же, если взглянуть на этот факт с другой стороны... Теперь любой боец роты не только за свою жизнь в каждом бою будет ответствен, теперь на его совести и их жизни. Доказывать, что из этого вытекает?.. Да и невозможно народ

отталкивать, если он к тебе тянется, — закончил Каргин уже убежденно.

— Позвольте спросить, товарищ Каргин, а где сейчас ваша рота пребывает? — вклинился в разговор один из трех человек, что подошли вместе с Николаем Павловичем.

Ага, вот оно, начинается!

Но ответил спокойно, словно и не подозревал, что еще больше злит начальство:

— В лесочке, вон там, замаскировалась.

— А кто вам, товарищ Каргин, позволил сменить дислокацию, утвержденную командованием? — продолжал наседать тот же человек.

— Это, Иван Степанович, наш начальник штаба бригады, — начал было Николай Павлович, но тот бесцеремонно перебил его, взметнув руку к козырьку кепки:

— Старший лейтенант Пилипчук!

Во внешнем виде старшего лейтенанта, в том, как он держался и представился, было что-то раздражающее, заставляющее Каргина взбунтоваться, и он рявкнул так громко, как никогда до этого:

— Рядовой Каргин!

Старший лейтенант начал багроветь, казалось, вот-вот скажет что-то резкое, но за спиной у него раздался чуть дребезжащий добродушный смех. Это смеялся командир бригады. Он попрежнему сидел на завалинке. Просмеявшись, поманил Каргина рукой, показал глазами на завалинку и сказал:

— Посидим рядком, Иван Степанович, поговорим ладком.

Каргин присел на завалинку. По другую сторону командира бригады и лицом к Каргину уселся Николай Павлович. Он не смотрел на Каргина, внешне оставался спокоен, но, как потом утверждал Федор, из глаз его так и сыпались бесенята. Только старший лейтенант, не пожелавший скрыть обиды, продолжал стоять.

— Ты, Иван Степанович, сперва, для знакомства, ответь мне на такой вопросик, — начал командир бригады, откровенно разглядывая Каргина. — А вопросик таков: почему у тебя в отряде одни ершистые люди подобрались?

— Каков поп, таков и приход, — буркнул Пилипчук, упрямо избегая смотреть на Каргина.

Злость уже отхлынула, и поэтому Каргин ответил спокойно:

— Мы, товарищ командир бригады...

— Александр Кузьмич — так меня зовут, — перебил тот.

Нет, не мог Каргин такого большого военного начальника, каким считал командира бригады, запросто величать по имени-отчеству (да еще и при первой встрече!), поэтому продолжил так, будто не получил подсказки:

— ...дисциплину завсегда блюдем, с должным уважением к приказам относимся. Потому и думаем, как их получше исполнить. — Тут Каргин сделал паузу, будто ждал реплики или воп-

роса начальства. Но все молчали, и он заговорил снова: — Взять, к примеру, эту деревню. Не спорю, если на нее издали глядеть, она хороша для боевой позиции.

— Извините, Александр Кузьмич, но у меня вопрос к товарищу Каргину, — все же сорвался Пилипчук. — Разрешите?

Командир бригады с укоризной глянул на него, однако все же кивнул.

— У вас, товарищ Каргин, какое военное образование?

— Нет у меня его, образования этого.

— Не знал я, Иван Степанович, что ты врать мастак, — покачал головой Николай Павлович. — А два года службы в армии рядовым и почти год командования отрядом, — разве это не военное образование?

— Оно, конечно, так. Только товарища старшего лейтенанта другое интересует.

— Прошу не препираться, — чуть поморщился Александр Кузьмич. Вроде бы и обыкновенным голосом это сказал, но в тоне прозвучало что-то, заставившее моментально внутренне подобраться.

Каргин продолжил уже спокойно, деловито:

— Ведь и я раньше так же думал. Пока половодье силу не набрало. Я, конечно, многого не знаю, рации у меня нет...

— Осколком ее разбило, — ехидно подсказал Федор, который все это время упорно держался около своего командира.

Каргин глянул на Федора строго и опять повернулся к командиру бригады, словно для него одного раскрывал свои мысли:

— ...но чует мое нутро, что сейчас у фашистов где-то неувязочка происходит, где-то, похоже, основательно треплет их наша армия.

— Разве вы не получаете сводку Совинформбюро? — нахмурился командир бригады; спрашивал у Каргина, а негодующе смотрел на старшего лейтенанта.

Каргин поспешил на выручку:

— А как же, получаем.

Старший лейтенант промолчал. Он, покраснев до невозможности, нацарапал что-то на клочке газеты и спрятал эту записку в нагрудный карман своей гимнастерки.

— На Харьковском направлении наши войска перешли в наступление, — сухо бросил командир бригады и так глянул на старшего лейтенанта, что Каргин понял: хорошая баня тому обеспечена.

Жалко стало старшего лейтенанта, поэтому нарочно весело и подхватил:

— То-то и чувствую, что не до нас им! На Харьковском направлении, говорите, наступаем?

Командир бригады то ли не понял, то ли не захотел понять просьбы рассказать подробнее о боях под Харьковом, теперь он строго смотрел на Каргина, его торопил взглядом.

— Не будь этого наступления, поверьте, фашисты давно прислали бы сюда тучу самолетов. Что бы тогда оставалось мне делать? Лазаря петь?

— С военной точки зрения, товарищ Каргин, вы абсолютно правы. Но это не оправдывает самовольства, — вошел в разговор начальник штаба бригады. — Смотрите, какой у вас букет самовольщины: смена позиции, налет на станцию!

Ничего не стоило Каргину напрочь отмести обвинения старшего лейтенанта, но ссориться больше не хотелось. И он ответил как только мог спокойно:

— Будет на то ваше приказание — роту немедля сюда верну. Потому пока в лесу и оставил, что вы — начальство бригадное — здесь. Думы свои я высказал без утайки, а прав ли — вам решать... Что на станцию самовольно налет совершил... Может, к тому времени, когда бы пришло ваше разрешение, вагона-то и не было уже?.. Как понимаю, не самовольство это. Оно как-то иначе называться должно.

Дальше разговор и вовсе мирно пошел. Командир бригады одобрил и перебазирование роты, и за налет на станцию похвалил. Все шло, казалось, лучше не надо, когда Николай Павлович вдруг спросил:

— А с неожиданным пополнением что делать будем, товарищи?

Никому не хотелось произносить те слова, которые просто обязаны были прозвучать сейчас.

— Сам знаю, что мне проверять каждого из них придется, — нахмурился Николай Павлович. — Может, ты, Иван Степанович, кого из них уже заприметил?

— Один о матери больной все говорил, — словно думая вслух, ответил Каргин.

— Считаешь, с него начать следует?

— Не, этот самый ясный, он весь на виду... А вообще-то чужая душа — потемки...

— По этому вопросу решение возможно только одно: всех этих парней небольшими группами разбросать по батальонам и ротам бригады, — подвел итог Александр Кузьмич.

— Может быть, точно так же поступим и с оружием, захваченным группой товарища Каргина? — оживился старший лейтенант Пилипчук.

— Вот на это нет моего согласия! — нахмурился Каргин. — Кто те пять автоматов в бою добыл? Кто?

— Не скупердяйничай, Иван Степанович. У тебя в роте и так почти все автоматами вооружены, — примирительно заметил командир бригады.

— Не жадность, а необходимость это, товарищ комбриг, — стоял на своем Каргин. — К примеру, какое вооружение имеет, скажем, взвод эсэсовцев? У всех автоматы и еще десять пулеметов! Вот какая сила в случае беды от одного взвода фашистов на нас обрушится! Так почему я хуже их вооружен быть должен?

— Что ж, резонно, — согласился командир бригады.

— Кстати, Иван Степанович, — вдруг заторопился Николай Павлович. — Приказ пришел твоих немцев переправить на Большую землю. Сегодня же мы их и заберем.

Пауля с Гансом забрать?!

— Значит, все же не доверяете? — еще сдерживая обиду и гнев, спросил Каргин. — Выходит, роли и то не играет, что они вместе с нами в боевых операциях участвовали?

— А вот сейчас, товарищ Каргин, вы не командирский разговор пытаетесь повести, — заметил командир бригады. — Почему вы так упорно долдоните только о каком-то недоверии? Почему вам и в голову не приходит что-то другое? Например, что они с бóльшей пользой могут быть использованы там, куда их затребовали?

И верно, почему такое не пришло в голову?

Командир бригады не оставляет времени на раздумье, он говорит опять подкупающе добродушно, даже ласково:

— Не пора ли нам, товарищи, с бойцами Ивана Степановича поближе познакомиться? Заодно узнаем, как и чем он их кормит.

Все зашагали к лесу. Впереди — командир бригады с Федором. Не Федору, а Каргину полагалось сейчас быть рядом с командиром бригады, но не смог он пересилить себя, вот и плелся замыкающим.

Уже на гати, когда была пройдена почти половина ее, рядом с Каргиным оказался старший лейтенант. Какое-то время они молча шагали по ослизлым бревнам, потом начальник штаба бригады вдруг заговорил:

— Ты, Каргин, не думай, что я зануда, за параграфы уставов цепляюсь. А взъелся на тебя потому, что партизанщину — это когда каждый, что ему вздумается, то и городит — больше всего ненавижу. В партизанской бригаде дисциплина знаешь какая должна быть? Покрепче, чем в армии! Ведь здесь враги со всех сторон... Что молчишь? Или не согласен?

А Каргин смотрел на левую руку старшего лейтенанта. Она, эта рука со скрюченными пальцами, безжизненно висела вдоль тела.

— Что молчишь? Не согласен со мной, что ли?

— Войну когда и где встретил?

Старший лейтенант чуть замедлил шаг, перехватил взгляд Каргина, будто зацепившийся за его руку, и сказал, не скрывая большой обиды:

— В первом же бою, когда они через границу поперли, покалечило ее. Пограничник я... Бывший... Из-за этой напасти и в строй не пускают, сюда в начальники штаба спихнули!

— Ежели разобраться, на этой должности допустимо быть только человеку, у которого мозги не засушены. И военное дело понимающему, — ответил Каргин.

Больше ничего не было сказано. Но они поняли, что отныне если и будут цапаться, то исключительно по делу. Принципиально, даже беспощадно, но с самым искренним желанием понять друг друга.

7

Прошло около двух недель с момента возвращения Авдотьи. На первый взгляд в Слепышах все шло обычно, однако Василий Иванович с радостью обнаружил, что те три грядки, которые односельчане обработали в огороде Авдотьи, своеобразным мостом легли между всеми. Может быть, потому так случилось, что, сообща осилив сравнительно малое, люди подумали, что способны и на значительно большее, если перестанут отсиживаться по своим хатам. Причем (и это особенно обрадовало), убедившись, что старший полицай не препятствует, они стали даже собираться, чтобы обсудить кое-какие вопросы. Будто бы случайно встречались у колодца две или три женщины, шепотком судачили меж собой до тех пор, пока не подходили другие. После одного такого разговора, начатого Груней с Нюськой, женщины вдруг пришли к нему как к старосте деревни и заявили, что им в лес сходить надо. За цветами и сосновыми шишками; дескать, на шишках хорошо самовары ставить: и закипают быстро, и дымом мошкару и комаров отпугивают.

Василий Иванович, разумеется, дал согласие на эти походы. Только подчеркнуто официально предупредил, чтобы от деревни особо не удалялись.

Четыре дня подряд женщины ходили в лес. Возвращались в деревню лишь к ночи, и обязательно с корзинами, полными цветов и шишек. Василий Иванович будто не замечал, что чрезмерно тяжелы для цветов и шишек были иные из тех корзин.

Потом Виктор с Афоней ночью упрятали в яму, заранее подготовленную в лесу, около четырех пудов толовых шашек и девяносто семь самых различных гранат с пятью коробками запалов к ним.

Так дружен стал народ, что сегодня и Василий Иванович, будто бы позарившись на литр самогона, который посулила Авдотья, взялся починить крышу ее хаты. Уже ободрал прогнившие доски, упавшие на землю трухлявыми обломками. И, желая отдохнуть, только присел, как у околицы грохнули автоматные очереди. Они прозвучали так неожиданно, что Василий Иванович сначала не смог даже поверить, что сегодня — в такой прекрасный, по-настоящему летний день — кто-то осмелился стрелять в человека. Потом, схватив винтовку, которая лежала рядом, он спрыгнул на землю. Только выскочил из калитки на улицу — увидел грузовую машину. Прекрасно видел, что шла она ходко, а вот шума ее мотора не улавливал. Настолько был переполнен предчувствием того, что уже случилось что-то непоправи-

мое, что не сразу понял Свитальского, который прокричал из кабины проносившейся машины:

— Не паникуй! Это мы шумнули! Суку и двух щенков пристрелили!

Дошел смысл этих слов — Василий Иванович, как только мог резво, побежал к той околице, откуда появилась машина. Изо всех сил бежал, а самому казалось, будто еле-еле ватные ноги переставлял.

Бежал и искал глазами платье Клавы, которая с час назад пошла погулять с пацанами Авдотьи. И он издали заметил над нежной зеленью травы лоскут розового ситца с белыми горошками. Тот лоскут словно хотел оторваться от земля, стремился побыстрее и подальше улететь от этой поляны, да не мог одолеть силы, приковавшей его к этому месту.

Сразу за придорожной канавой голубели незабудки. Среди них, держа за руки сыновей Авдотьи, лежала Клава. Ее платье — розовое с белыми горошками — потемнело, отяжелело на груди.

Одна черная бровь Клавы была чуть приподнята. Словно до последней минуты своей жизни силилась понять Клава, почему в нее и двух малышей целятся из автоматов полицейские.

Около убитых валялась фанерка, на которой было написано по-немецки и по-русски: «Расстреляны как заложники».

Василий Иванович опустился на колени и осторожно, словно боясь причинить боль, взял Клаву на руки. Только выпрямился, бережно прижимая ее к груди, обожгла мысль: «А как же мальчонки? Оставить их здесь?»

Он положил тело Клавы на траву, склонился над сыновьями Авдотьи. Стоя на коленях, он вдруг и понял, что и тело Клавы — даже на самое короткое время — не может оставить здесь. А всех троих прижать к груди и унести в деревню был бессилен. Единственное, на что он оказался способен, придерживать подол платья Клавы. Чтобы шалый ветер бесстыдно не оголил ее ноги.

Груня, прибежавшая одной из первых, заглянула в его глаза, отшатнулась в страхе и прошептала:

— Никак сомлел...

Только теперь Василий Иванович услышал пение жаворонка, увидел не только три окровавленных тела, но и людей, толпившихся вокруг. Он медленно, словно это было невероятно трудно сделать, поднялся с колен, зашагал к деревне.

У самой околицы спохватился, что нет винтовки. Сразу понял, где мог оставить ее, и вернулся. Винтовка лежала там, куда он бросил ее. На примятой траве, среди незабудок.

Ночью, когда Василий Иванович считал, что деревня на сегодня уже перебурлила, кровавое зарево вдруг ударило в окна его комнаты. Однако на улице не слышалось тревожных голосов, не поднимал односельчан набат. Но только Василий Иванович вышел на крыльцо, чтобы глянуть, что горит, к нему подошел Афоня и сказал:

— Авдотья свой дом подожгла.

— Авдотья? Свой дом?

— А на что он теперь ей?

Тоже верно, зачем теперь Авдотье дом? Еще год назад хата была полна ребят, а сегодня от большой семьи уже нет никого. Конечно, кроме Петра. Да и о том пока ни слуху ни духу.

Василий Иванович опустился на крыльцо, долго и, казалось, равнодушно смотрел на зарево, потушившее звезды.

— Как Виктор?

— Закаменел.

Да, страшное горе должно обрушиться на человека, чтобы с ним случилось такое...

— Если не возражаете, завтра, сразу после похорон, мы с ним исчезнем. Суток на двое.

— Только не завтра. Завтра мой день... К Зигелю пойду.

— Правду искать?

В голосе Афони прозвучала явная издевка. Однако Василий Иванович только и сказал, поднимаясь с крыльца:

— Много ты понимаешь...

Глава третья

1

Последние два дня фон Зигель неизменно пребывал в прекрасном настроении; временами изволил даже шутить. Так, доктору Трахтенбергу посоветовал больше всего опасаться плена: русские, подкормив, наверняка, попытаются заменить им один из своих латаных и перелатанных аэростатов.

Сказал это и холодными глазами пробежал по лицам офицеров: хотел узнать, как они оценили его остроту. Те, разумеется, почтительно засмеялись.

Радовался фон Зигель потому, что гебитскомендант, получив подарок, опять называл его просто Зигфридом, сказал, что очень доволен тем, как он, комендант района, решительно выполнил свое обещание: в каждой деревне расстрелять, как минимум, по два заложника — поступок, на который способен только чистокровный ариец!

Но еще больше, чем похвала начальника, взбодрили успехи вермахта. А ведь начало месяца было очень тревожным: только с 3 по 16 мая советские войска, внезапно начав наступление на Харьковском направлении, захватили и уничтожили более четырехсот танков, почти шестьсот орудий и около ста пятидесяти самолетов, убили двенадцать тысяч солдат вермахта.

А вот сегодня уже ясно, что советское наступление провалилось! Больше того, русские чуть промедлили с началом отхода, и теперь почти три их армии оказались в окружении!

Надеюсь, теперь-то ты, отец, понимаешь, что ошибался, когда утверждал, будто под Москвой вермахту переломили позвоноч-

ник? Как тебе прекрасно известно, с перебитым позвоночником много не навоюешь.

Настолько сильным и неуязвимым почувствовал себя фон Зигель, что ответил категорическим отказом, когда утром ему доложили, что староста деревни Слепыши почтительно просит принять его. А после обеда, глянув в окно, вдруг увидел его на противоположной стороне улицы. Был тот словно изжеванный: и на лице синяк, и гимнастерка и шаровары не только измазаны грязью, но и порваны в нескольких местах. Еще больше удивило то, что винтовку он держал так, как будто подкарауливал кого-то. А ведь у нее не было затвора!

Фон Зигель вызвал дежурного и спросил:

— Почему он сидит там? Вы не сказали ему, что я отказываюсь принять его?

— Он ответил, что подождет, — щелкнул каблуками дежурный.

Подождет? Это становится уже забавным!

Теперь фон Зигель изредка бросал взгляды в окно. И каждый раз видел Шапочника на том же месте, в той же позе. Это стало раздражать, даже нервировать.

Однако только к вечеру фон Зигель снова подошел к окну и пальцем поманил к себе Шапочника. Тот немедленно подбежал, остановился под окном, приставив винтовку к ноге.

— Вам сказали, что я занят и никого не принимаю? — спросил фон Зигель, глядя поверх головы Шапочника.

— Так точно, сказали.

— Вы не поверили?

— Очень даже поверил.

— Я и сейчас занят.

— Ничего, подожду.

Эти лаконичные ответы насторожили, посеяли в душе какую-то необъяснимую тревогу. Тревога еще больше усилилась, когда гауптман убедился, что винтовка Шапочника действительно не имеет затвора, что вся левая скула Шапочника — сплошной синяк.

— Говорите, я слушаю.

— Разговор такой будет, что вести его надо с глазу на глаз.

Теперь фон Зигель смотрел на Шапочника уже с раздражением, теперь невольно думалось, что этот советский каторжанин заставляет его действовать не так, как хочется. Непоколебимой настойчивостью заставляет. Однако ни жестом, ни взглядом не выдав своего настроения, фон Зигель сказал спокойно, даже несколько высокомерно:

— Хорошо, для вас я сделаю исключение. Войдите.

Шапочник, оказавшись в кабинете, вопреки предположению фон Зигеля, не затараторил, а молча остановился у двери. И взгляд у него был какой-то особенный. В нем воедино слились и смертельная тоска, и душевная боль, и дикая злость.

Опять фон Зигель оказался вынужденным отступить, он первый прервал молчание:

— Слушаю. Докладывайте кратко.

Последняя фраза сказана исключительно для того, чтобы сохранить хотя бы видимость, что он, а не Шапочник здесь диктует свою волю.

— Официально докладываю: нет больше деревни Слепыши. Дотла спалена. Так что со вчерашней ночи безработным являюсь. Как тот генерал, что без войска остался.

— Партизаны? — стараясь казаться спокойным, спросил фон Зигель.

— Никак нет, сами жители. И дома начисто спалили. И скотину, которая еще была, убили или в лес угнали. И сами туда ушли.

— Бунт?

— Как вам угодно...

Не злость, а настоящая ярость стала бурно заполнять душу фон Зигеля. Прежде всего потому, что поздно сейчас за беглецами погоню посылать, да и Шапочника нельзя обвинить в том, что с докладом промедлил: сам его целый день перед окнами своими проманежил. Ярость от своего бессилия была настолько велика, что мысленно он уже подверг пыткам этого дурака, который так равнодушно стоит у двери. Однако пытаемые, как правило, врут. А знать нужно было только правду, поэтому и спросил:

— А где были вы? Куда смотрели ваши полицейские?

— Они вместе с народом деревню палили. И меня связали, обезоружили, — ответил Шапочник и показал свою винтовку без затвора. — Только потому жизни и не лишили, что велели к вам явиться, все подробнейшим образом обсказать.

Фон Зигель отказывался верить Шапочнику. Сами жители спалили все свое добро, веками нажитое, и ушли в лес? Полицейские помогали им? В том числе и потомственный шляхтич Капустинский?

Палец сам потянулся к кнопке звонка, почти коснулся ее. Но, когда пальцу оставалось преодолеть считанные миллиметры, Шапочник опять заговорил:

— Да и я к вам пришел лишь затем, чтобы доложить: в такие игры больше не играю. — И он осторожно положил на стол свою винтовку. — Осознаю, что от вашей воли зависит, быть мне живым или в падаль превратиться. Только у меня свои понятия даже о чести имеются.

Очень много (разве упомнишь сколько?) самых разных людей повидал фон Зигель за свою жизнь. И убежденных врагов Великой Германии, и тех, кого ложно обвиняли в этом. Одни умирали достойно, как и подобает человеку, другие на что угодно шли, чтобы жизнь себе выторговать или даже просто хоть чуточку отодвинуть неизбежную гибель. Но такого, который сам бы напрашивался на муки и смерть, — впервые встретил.

Самое же поразительное — в голосе, во всем поведении Шапочника было что-то необъяснимое, заставлявшее слушать, заставлявшее стараться понять его. И оно, это желание понять, оказалось таким сильным, что фон Зигель сказал, протягивая портсигар:

— Садитесь, курите.

Шапочник сел на стул, стоявший перед столом, и сигаретку взял; фон Зигель отметил, что не было дрожи в его пальцах.

— С чего все началось?

— Или не знаете? Или вам не докладывали? — вскинул глаза Шапочник.

— Я не имею привычки повторять свои вопросы.

Вот теперь Василий Иванович почувствовал, что фон Зигель по-настоящему переполнен злостью, что сейчас даже чуть затянувшаяся пауза может оказаться роковой, и заговорил поспешно, словно торопясь выплеснуть то, что переполняло его:

— Да где это видано, господин гауптман, чтобы свои своих уничтожали? Он-то, Свитальский, влетел в деревню на машине и давай пулять! По кому, думаете? Жену Капустинского и двух малолеток-парнишек, которые за подол держась еще ходили, двух парнишечек, что от всей семьи Мухортова уцелели, он смерти предал! Дескать, по приказу господина коменданта, вас то есть... Я, конечно, понимаю, что не было такого вашего приказа. А взять того же Капустинского. Он — молодой, горячий. Где ему догадаться, что тот идиот отсебятину порет?.. Прошу принять во внимание и то, что не он ли, Капустинский, так служил новому порядку, что себя не жалел... Однако какую награду за это получить соизволил? У него жену расстреляли. Да еще с малым дитем во чреве!

Задохнулся от волнения Шапочник, так разволновался, что сам потянулся было за сигареткой, но тут же отдернул руку.

— Курите, — разрешил фон Зигель и сам вновь закурил, только для того, чтобы скрыть от Шапочника свою растерянность. Разве мог он предполагать, что Свитальский способен на такую глупость? Расстрелять в качестве заложников членов семей полицейских — надо же додуматься до такого?!

— А дальше?

— Дальше и вовсе просто, — повел плечами Шапочник. — Не знаю кто, но кто-то к правильной мысли пришел. Дескать, сейчас за нами и партизаны охотятся, и свои, как перепелок, бьют. Так не спокойнее ли жизнь станет, если враг будет только один? Вот и пошло-поехало...

Да, пошло-поехало... Стоило допустить одну ошибку — стало разваливаться то, во что он, фон Зигель, вложил столько сил!

— А вас почему они не убили?

— Уже докладывал: чтобы к вам явился и все обсказал.

— Зачем это им понадобилось? Хотят, чтобы я простил их? Разрешил вернуться?

— Не похоже. Кто вернуться мечтает, свое добро не уничтожит, — ответил Шапочник и тяжело вздохнул, вытер рукавом пот, выступивший на лбу.

Фон Зигель, как показалось Василию Ивановичу, невыносимо долго барабанил пальцами по столу. Лишь потом сказал, с особой весомостью подавая каждое слово:

— В древности, когда гонец являлся с подобной вестью, его казнили. Вы не боитесь смерти?

— А куда мне податься прикажете? — развел руками Шапочник. — В лес? К советским? С теми наши дорожки двадцать лет назад врозь пошли... Вся надежда на вас была...

— Была? Я не ослышался?

— В нашем роду никто не врал.

— Значит, вы больше не верите в нашу победу? — Фон Зигель уже справился с волнением, теперь он был по-прежнему подчеркнуто холоден.

— Крепко сомневаюсь, — помолчав, ответил Шапочник. — Землю, так сказать, территорию, вы захватили. Только, ежели вас большинство народа сердцем не примет, не победа это... А что сейчас получается? Своих, тех самых людей, которые к вам, как к солнышку, тянулись, вы от себя напрочь отшибли. Разве допустимо такое?

Набатным колоколом звучит в кабинете тиканье стенных часов. Дверь бесшумно распахнулась. За ее порогом видны старый и новый дежурные по комендатуре. Они глазами спрашивали разрешения войти и доложить о том, что один из них принял, а второй сдал дежурство. Фон Зигель жестом заставил их исчезнуть.

— Как мне стало известно, Мухортов был советским агентом, — говорит фон Зигель, не спуская глаз с Шапочника.

До Василия Ивановича уже дополз слух о том, что Свитальский взвалил на Аркашку напраслину — будто тот до мозга костей советский. Больше того: ждал, что его вот-вот вызовут в Степанково, начнут выспрашивать, так это или нет. Поэтому ответил без промедления:

— Мертвый, он все стерпит, оправдываться не побежит.

Фон Зигель правильно понял сказанное: дескать, ни оправдывать, ни обвинять Мухортова данных не имею, а вот на Свитальского подозрение держу.

Ну, господин Свитальский, теперь-то вы у меня в руках! Теперь вам придется ответить за все: и за доносы, которые вы посылали на меня, и за золото, которое вы наворовали! Жизнью своей за все ответите! Все это, разумеется, будет спрятано за официальным обвинением. А оно будет предъявлено, как только вы вернетесь в Степанково: попытка подрыва могущества Великой Германии путем диверсий. И разберет ваше дело суд, тайным председателем которого буду я, Зигфрид фон Зигель!

Однако надо принять меры, чтобы гестапо не пронюхало об этом плане ликвидации Свитальского, не забрало этого подонка

к себе: там он запросто, глазом не моргнув, столько выльет грязи на коменданта района гауптмана фон Зигеля, что долго отмываться придется. Да еще и удастся ли?

Значит, все должно быть только так и не иначе: пока никому ни слова о том, что рассказал Шапочник; когда вернется Свитальский, его немедленно арестовать и так обработать, чтобы на суде он мог только мычать; в тот же день привести в исполнение приговор — повесить Свитальского на площади в Степанково. А народу объявить: «Казнен за то, что свою личную жестокость пытался выдать за политику Великой Германии».

Все это так, но как поступить с Шапочником? Тоже судить, обвинив в том, что своими действиями способствовал возникновению беспорядков в Слепышах, где был одновременно старшим полицейским и старостой?

Фон Зигель глянул на Василия Ивановича, глянул тайком, воровски, и от удивления приподнял бровь: Шапочника сморило пережитое, он дремал, сидя на стуле!

Подумалось, что человек, замышляющий подлость, никогда не сможет уснуть в тот момент, когда решается его судьба. Подумал так — в груди шевельнулось что-то, похожее на чувство жалости к этому старику, на долю которого жизнью отпущено столько тяжелого.

Может быть, именно его назначить на место Свитальского? Кажется, он честен, смел, ненавидит все советское...

Пожалуй, все же следует подождать с окончательным решением: сама жизнь, и в ближайшие сутки, подскажет, как поступить.

— Что ж, я внимательно выслушал вас, — сказал фон Зигель обычным голосом, но Шапочник вздрогнул, от стыда за свою оплошность даже заерзал на стуле. — Можете идти в казарму к полицейским. Там переночуете.

Шапочник встал, вытянулся и спросил, слегка побледнев:

— За что, господин гауптман, за какие грехи на смерть посылаете? Свитальский не помилует, узнав, что я здесь побывал... Да вы не извольте беспокоиться, я найду где ночку скоротать. А к часу, указанному вами, и прибуду аккуратненько.

2

Две полянки засеяли рожью дед Потап, Григорий и Петро. В такой глухомани засеяли, что Григорию казалось, будто сам он без провожатого никогда не найдет к ним тропочки. Однако, когда захотел проверить, так ли это, ноги словно сами вынесли его туда, куда требовалось.

— Видать, у ног-то свои гляделки имеются, они каждое корневище, каждую колдобину видят и запоминают, — то ли пошутил, то ли философски заметил Григорий, приглашая товарищей к разговору.

Ему не ответили: дед Потап придирчиво оглядывал зеленую щетинку, дружно проколовшую землю, а Петру было просто хорошо: и Гришка опять разговорчивым стал, и большущее дело ими завершено; он искренне верил в будущий урожай.

Осмотрели обе полянки, остались довольны своей работой — вот тогда Григорий вдруг и сказал, будто приказ отдал:

— Теперь самое время туда наведаться.

Куда «туда», названо не было. Но дед Потап уверенно шагнул к зарослям зеленых кустов, стал продираться сквозь них. Продрались — Петро сразу же догнал Григория, намеревался дальше шагать рядышком, но тот немедленно осадил его:

— Не знаешь, как здесь ходить полагается? — И пояснил на случай: — Держись сзади меня и на таком расстоянии, чтобы из вида не терять. А еще — без особой нужды веточки не сломи, следа не оставь.

Как показалось Григорию, часа четыре шли светлым березняком, лишь кое-где запятнанным молодыми елочками, потом под ногами захлюпало, зачавкало, а немного погодя идти пришлось и вовсе по болоту, осторожно ступая между кочек, поросших густой и высокой осокой. Здесь Григорий и убедился окончательно в том, что дед Потап прокладывает тропочку не по прямой, а то и дело начинает вести по дуге, словно обходя неизвестно что. Убедился в этом, но почему так делается — не спросил: решил, что сам догадается; а в крайнем случае — вопрос подкинуть и позднее можно будет.

С непривычки ноги отяжелели, пот застилал глаза, от комарья горела шея, однако Григорий даже намека не обронил, что пора бы, мол, и привальчик сделать: уж очень хотелось проверить свои силы.

Из болота вышли как-то внезапно. Казалось, что еще тот твой шаг был между кочек. С трудом верилось, что теперь под ногами уже сухая, не зыбкая земля, обильно посыпанная пожелтевшими иглами и опустошенными сосновыми шишками.

На самом взгорке, где сосны были особенно высоки и прямоствольны, дед Потап дождался Григория и сказал:

— Если приспичило кому, то можно и передохнуть. А до того лагеря теперь верст пять или шесть. С гаком.

— А как велик он, твой гак? — радостно улыбнулся Григорий, довольный собой: он уже понял, что и болото, и чащоба с буреломом, и хождение по дуге — все это испытания, придуманные дедом Потапом.

— Кто его мерил? — посветлел улыбкой и дед Потап, сел на землю и достал из своей котомки шесть вареных картофелин, три луковицы и половину хлебного каравая.

Ели молча и яростно. Наконец, отправив в рот крошки с ладони, дед Потап сказал:

— Дальше вдвоем пойдем, Петька пусть наш тыл охраняет.

Григорий понял, что дед хочет оставить Петра здесь. Но по-

чему? Дальше идти опасно? Или чтобы парень не увидел чего-то страшного?

— Можно и так, да нужно ли? — повел плечами Григорий. — За минувший год он такое пережил, такого насмотрелся...

Дед Потап настаивать на своем не стал. И они снова пошли, теперь обходя чащобу и упавшие от старости или поваленные ветром деревья. Около часа шли. Наконец дед Потап лег на землю, прополз метров сто до ствола березы, догнивавшего у кустов, и оттуда махнул рукой: дескать, давайте сюда. Подползли, улеглись рядом, улеглись почти на самой кромке неглубокого оврага. Примерно метрах в пятистах — загородка из колючей проволоки с двумя вышками по углам, глядящими друг на друга. На вышках — скучающие от безделья караульные, а внутри прямоугольника, схваченного колючей проволокой, — старый коровник с черными дырами в прогнившей соломенной крыше и молчаливая, почти неподвижная толпа людей в гимнастерках знакомого покроя. И по тому, как скорбно стояли или сидели эти люди и как равнодушно поглядывали на них с вышек караульные, Григорий понял, что в этом загоне собрали, видимо, самых слабых, чья дальнейшая судьба уже решена бесповоротно.

— Похоже, из-под Харькова, новенькие, — вздохнул дед Потап.

— А где остальные охранники? — спросил Григорий. — Только двух на вышках вижу.

— В домиках, что от наших глаз коровником скрыты. Ты, Григорий, сейчас не туда, а ближе гляди, — заворчал дед Потап.

Ближе? Между проволокой и оврагом — метров пятьсот выгона. Что тут примечательного? Разве лишь то, что нет на нем ни одного пня, ни одного даже малюсенького и чахлого кустика.

— На овраг глянь, — подсказывает дед Потап.

Только теперь Григорий замечает, что еще недавно этот овраг был значительно длиннее, что большая его часть засыпана.

Дед Потап уже поясняет каким-то бесцветным голосом:

— Чаще ночью, но, случается, и днем пригоняют сюда их и расстреливают.

Григорий сразу уловил ту огромную внутреннюю боль, которую попытался скрыть от него дед Потап.

Ни словом, ни жестом Григорий не выдал того, что сейчас творилось в его душе. Он просто еще раз и предельно внимательно осмотрел и загородку из колючей проволоки, и вышки с караульными; на овраг старался не смотреть, хотя тот, казалось, сам лез в глаза.

— Ежели с этой стороны к лагерю подкрадываться, собаки запросто след схватят, — словно только для себя заметил дед Потап. — А с той стороны по приказу германа пленные спилили деревья, даже пни выкорчевали.

Домой возвращались молча и напрямик. В молчании поели и легли спать. Но сна не было, и Петро видел, что дед Потап

и Григорий — то вместе, то порознь — выходили из хаты, садились на завалинку и подолгу смолили ядреный самосад.

Утром Григорий приволок откуда-то две жерди, в метре от конца прибил к ним чурочки и, нисколько не смущаясь деда Потапа и Петра, глазевших на него, с завалинки взгромоздился на ходули, но сделать успел только один неполный шаг и грохнулся.

Сначала до слез ухохотался Петро, глядя на то, как Григорий, сделав шаг или два, неизменно неуклюже падал, отбросив ходули. Потом его охватила жалость, и он сказал, отбирая у Григория ходули:

— Гляди, как это делается.

Взгромоздившись на ходули, хотя и не очень уверенно, Петр, однако, обошел избенку. Григорий все время был рядом, внимательно следил за каждым его движением, словно старался уловить то тайное, что позволяло Петру подчинить себе эти две жерди, наотрез отказавшиеся повиноваться ему, Григорию.

Спрыгнул Петро на землю — Григорий немедленно сказал тоном приказа:

— Валяй, еще раз пройдись. — И снова зашагал рядом.

Потом Григорий опять завладел ходулями. Поглазев еще немного на его муки, Петро ушел в лес, где с месяц назад заприметил лисью нору (может, уже появились лисята?). Хотел отлучиться на часок, не больше, но уж так случилось, что вернулся только поздним вечером. Подошел к избенке — чуть не задохнулся от удивления и восторга: на ходулях шарашился дед Потап!

Заметив восторженную ухмылку Петра, дед Потап так неловко спрыгнул на землю, что одна жердина упала точно на его сутулую спину. Петро от восторга даже взвизгнул, а дед сграбастал жердь, размахнулся и так саданул ею об угол избенки, что жердь переломилась.

— Как говорил чапаевский комиссар, а зачем мебель крушить? — усмехнулся Григорий, сидевший у порога.

После ужина, когда стали укладываться спать, Григорий сказал со строгостью, которой Петро и не подозревал в нем:

— Даю всем нам троим неделю срока, чтобы освоили эту распроклятую технику. Кто бегать на ходулях не научится — подчеркиваю: бегать, а не просто ходить! — того отстраню от участия в боевых операциях... Ты, Петро, чего зубами дразнишься?

— Куда уж бегать, если ты и стоять на них не можешь!

— Вот это уже не твоя забота, ты только за себя отвечаешь, — насупился Григорий, помолчал и закончил с улыбочкой, которая ничего доброго не сулила: — Ты, Петро, еще не знаешь моего характера. А он у меня покруче замешан, чем у самого товарища Каргина! Не только бегать на ходулях, но и забираться на них с земли, а не с завалинки научимся!

— Да на что все это, на что? В цирке выступать думаешь? — упрямился, не хотел сдаваться Петро.

— Чтобы к проволоке той проклятой подобраться, а собаки следа не могли взять! — отрубил Григорий и демонстративно отвернулся к стенке, почти уткнулся лицом в ее потемневшие и истрескавшиеся от времени бревна.

3

Свитальского расстреляли, а не повесили, как того первоначально хотел фон Зигель. Избитого до умопомрачения, выволокли на площадь, привязали к столбу виселицы и расстреляли. А народу, который согнали на это зрелище, объявили, что казненный — тайный агент большевиков, пытавшийся своими действиями всячески подрывать авторитет как Великой Германии, так и вермахта, несущего свободу народам всего мира. К чему сводилась эта свобода — об этом умолчали.

Трое суток, как стало уже правилом, труп Свитальского смердел на площади. Неподалеку от него все это время обязательно дежурили два полицая. И опять же — для чего? Чтобы местные не украли труп и не захоронили, как того требовал обычай? Или чтобы не надругались над трупом того, кого люто ненавидели?

На эти вопросы Василий Иванович ответить не смог. Да и не особенно старался: ведь и его судьба решалась в эти дни; мало верилось, что Зигель пощадит. Конечно, за эти дни не раз можно было ускользнуть в леса (слежки за ним вроде бы не было), но исчезнуть из Степанкова — раз и навсегда потерять контакты с Зигелем. А Василию Ивановичу особенно сейчас, когда маленькие партизанские отряды объединялись, когда у него вот-вот опять установится связь с подпольем (только верой в это и жил), хотелось быть максимально полезным. Поэтому, ночуя у свояка покойного деда Евдокима, он каждое утро обязательно приходил к комендатуре и усаживался на том самом месте, где сидел в тот день, когда Зигель подозвал его к окну. Целыми днями сидел, казалось, не обращая внимания ни на саму комендатуру, ни на солдат и полицаев, проходивших мимо.

Изматывающим было это ожидание неизвестно чего. Настолько изматывающим, что сон потерял. Вернется, бывало, к месту ночлега, нехотя сжует, что дадут, и поспешно лезет на сеновал. Каждый раз, когда лез туда, надеялся, что вот уж сегодня-то он обязательно уснет, будто в бездонную и глухую пропасть провалится. Но едва касался телом дырявого кожуха, подброшенного ему сердобольными хозяевами, сон неизменно бежал от него. И всю короткую летнюю ночь он лежал с открытыми глазами, бередя душу воспоминаниями о мирной жизни, теперь казавшейся такой далекой и даже как бы сказочной, или заново переживал смерть и деда Евдокима, и Павла, и Клавы с мальчонками.

Так измотал себя подобными воспоминаниями, что часто стало лезть в голову: а посильную ли ношу он намерен взвалить на себя? Крепко стал об этом подумывать. И ночью, лежа на

сеновале, и днем, испытывая свою судьбу под окнами Зигеля. И вдруг, когда почти решил, что ближайшей ночью уйдет в леса, увидел Нюську. Одетая просто, но к лицу и аккуратно, она шла главной улицей Степанкова. Ее появление здесь было столь неожиданным, что он моментально забыл про свои сомнения и страхи, он теперь видел только ее, только и думал о том, как и почему она оказалась здесь.

Нюська, поравнявшись с ним, не прошла мимо, как он предполагал, даже не поздоровалась. Она просто села рядом, оправила подол юбки, чтобы надежно прикрывал коленки, развязала узелок, который принесла, достала кусок хлеба, две картофелины и вложила их в будто окаменевшие руки Василия Ивановича. Проделала все это так спокойно и уверенно, что он, сам не понимая почему, стал немедленно есть. Ел не спеша, обстоятельно, словно давно ждал Нюську и того момента, когда она принесет еду. А она сидела рядышком, не глазела на него и молчала.

Наконец Василий Иванович пришел в себя и сдавленно прошипел:

— Какого черта приперлась сюда? Жизнь надоела?

Она отряхнула ладонью с юбки неизвестно что и ответила, впервые подняв на него глаза:

— Ой, какой ты обросший... Или бритвы найти не можешь?

— Я тебя спрашиваю! — и вовсе разозлился Василий Иванович.

— А ты на меня не шуми, не шуми, — до приторности ласково заворковала Нюська. — Я с детства до ужасов пужливая! Вот возьму сейчас со страху да и брякнусь в обморок! Интересно, что тогда станешь делать, господин староста?

— Серьезно спрашиваю, а ты комедию ломаешь, — сказал он голосом, в котором сейчас звучала только бескрайняя усталость.

— Пойдем отсюда, а? — попросила она и сразу же добавила, заметив его удивленный взгляд: — Вот сижу здесь рядом с тобой — через силу сижу, — а внутри каждая жилочка мелкой дрожью бьется.

Он и позднее сам себе не мог ответить, почему вдруг встал и пошел за Нюськой. Разжалобила своим признанием? Захотелось поскорее узнать, как там, в лесу, люди из Слепышей обосновались? Может быть, и потому. Но скорее всего — сам устал от ожидания неизвестного, подвернулся маломальский повод — вот и удрал, вот и отступил с позиции, которую сам себе выбрал.

Они ушли за околицу Степанкова. Здесь уселись на траву в тени старой березы, которая устало клонила к земле свои ветви, отяжелевшие от множества зеленых сережек. Тут, в прохладной тиши, нарушаемой лишь стрекотом кузнечиков, Нюська и поведала, что все жители Слепышей единогласно проголосовали за то, чтобы старшим над ними стал Витька-полицай; и обосновались они лагерем на островке среди болота — километрах в двадцати отсюда; но это временно, только пока обосновались: Витька всем

сказал, что обязательно надо искать другое место, более дикое и лучше пригодное для обороны и для внезапных вылазок; а еще краше — нащупать настоящий партизанский отряд и влиться в него.

— А что я в Степанкове оказалась, — тут Нюська немного замялась, но быстро справилась со своим внутренним волнением и выпалила, не опуская глаз: — Да один же вы!.. Постирать или подшить вам что-то надо будет... А потребуется вам — к Витьке или еще куда, — мигом слетаю.

Заиметь связного — о чем еще можно мечтать в его положении? Однако Василий Иванович осторожно, боясь обидеть Нюську, все же заметил:

— А люди? Они, знаешь, всякое подумать могут.

Нюська выпалила:

— Да как ты не поймешь, что я к тебе пришла? Может, ты и женатый, а я все равно взяла и пришла!.. И буду я рядом с тобой. Хоть кем при тебе буду. Ничего мне от тебя не надо, кроме слова или даже взгляда теплого!

Все это выпалила на одном дыхании и замолчала. Молчал и он. Да и что можно было сказать? Не имел он права даже на маленькую откровенность: у Опанаса Шапочника не может быть ни жены, ни детей, для всех людей он одинешенек на белом свете.

— Эх, Нюська, Нюська, — только и вырвалось у него.

В тот день Василий Иванович больше не вернулся на свое место перед окнами комендатуры: сначала все расспрашивал Нюську о том, как шли в лес, как вели себя дорогой и там, да знает ли она точно, что намерен в ближайшее время предпринять Витька-полицай, а потом просто сидел на сеновале, сидел в чужих исподниках, удивляясь и радуясь тому, как скоро Нюська стала своей в этом доме, где еще вчера ни один человек даже не подозревал о ее существовании; и белье-то с Василия Ивановича она почти насильно содрала и выстирала, а теперь вместе с хозяевами копошилась в огороде; он не слышал, о чем они там судачили, но голоса были явно дружескими.

На другой день около полудня его наконец-то вызвали к Зигелю. Екнуло сердце, но в знакомый кабинет вошел внешне спокойно, у порога щелкнул стоптанными каблуками и почтительно замер.

— Как вы относитесь к деятельности БНС? — немедленно выстрелил вопросом фон Зигель.

Василий Иванович, готовясь к встрече с комендантом района, казалось, на все вопросы заранее обдумал ответы. На все, которые, по его мнению, могли обрушиться на него. Выходит, не на все... И он растерялся, с надеждой посмотрел на Зигеля: может, сделает снисхождение и расшифрует, что это за штука — БНС? Но тот молчал, сверля его глазами. И тогда Василий Иванович решился:

— Может, я и виноват... Только не знаю, что это за штуковина.

Показалось или Зигель действительно усмехнулся одними глазами?

— БНС — Белорусская народная самопомощь. Это организация с нашего разрешения возникла в октябре прошлого года. В нее входят те люди, которые пекутся о будущем этой земли. Когда мы, — Зигель особо выделил голосом это «мы», — когда мы покончим с большевиками, лучшие ее представители войдут в правительство... Садитесь. Как гласит ваша поговорка, в ногах правды нет.

Василий Иванович медленно подошел в стулу и сел, лихорадочно думая о том, что желает услышать комендант. Может быть, заявить, дескать, приветствую появление такой организации, если потребуется, все силы отдам, чтобы поддержать ее? Нет, опасно так отвечать: ведь известно, что гитлеровцы не особо жалуют милостями тех, кого сами же совали к власти, как представителей будто бы союзного народа.

— Может, господин гауптман, я и ошибаюсь из-за своей малограмотности, только... — начал Василий Иванович и замолчал.

— Договаривайте.

— Слова соответствующие подбираю. Чтобы повежливее мысль свою выразить.

— Это излишне. Говорите так, как думаете, я пойму.

— Все, кто от любой власти лично для себя что-то выторговывает, все эти мне доверия не внушают. Уловят момент — обязательно продадут своих благодетелей. За большую цену продадут.

— А вы? Разве вы, работая на нас, лично для себя ничего не выторговываете?

— Я, господин комендант, еще при первой нашей встрече в прошлом году прямо заявил: мечталось мне своими силами...

— Не уклоняйтесь от ответа на мой вопрос.

— Хотите казните, хотите милуйте, а лично я всех бенеэсовцев, если случай удобный подвернется, к самому краешку подводить буду.

— К краешку? К какому краешку? Как вас понимать?

— За краешком-то что? Пропасть, бездна...

— Вы забываете, что они... что мы покровительствуем им.

— Как прикажете, господин гауптман, — развел руками Василий Иванович.

Фон Зигель, будь его воля, так бы цыкнул на всех этих бенеэсовцев, бульбовцев и прочих, что они о власти и думать не смели бы! Но он не имел права ни на мгновение забыть, что сам Геббельс сказал: «...полезно организовать в различных районах марионеточные правительства, чтобы переложить на них ответственность за неприятные и непопулярные мероприятия».

Все же фон Зигель сказал:

— Если случай удобный подвернется...

Эту фразу Шапочник волен был понимать так, как ему заблагорассудится: или как официальное одобрение его позиции в этом вопросе, или как самый обыкновенный повтор. Понравилось фон Зигелю и то, что Шапочник даже не попытался уточнить смысл сказанного, а просто на мгновение склонил голову.

— Вы по-прежнему считаете, что они не вернутся? — спросил фон Зигель после непродолжительной паузы.

Кто «они» — сказано не было. Конечно, можно было бы и попытаться уточнить, кого имел в виду Зигель, но Василий Иванович боялся переиграть и поэтому ответил без промедления:

— Они, как я считаю, уже отрезанный ломоть.

— Почему? Ведь Свитальский казнен? Считаете, что слух об этом не дойдет до них?

— Слух-то дойдет, а вот где они получат гарантию, что их жизням больше ничего не угрожает? Безвинными были, верой и правдой новому порядку служили, а что, извиняюсь, из этого вышло?

— Вы, однако, не побоялись, вы пришли ко мне? И с вами ничего не случилось?

«Пока вроде бы и не случилось», — ответил мысленно, а вслух сказал:

— У меня, как уже докладывал, особая статья.

— Кто есть вам та женщина, которая со вчерашнего дня находится около вас?

А ты считал, что за тобой слежки нет!

Но ответил без промедления, ответил так, как условились с Нюськой:

— Нашенская, из Слепышей. Нюськой зовут.

— Меня имя ее не интересует. Кто она вам?

Василий Иванович изобразил некоторое смущение и ответил, виновато опустив глаза на верхнюю пуговицу мундира фон Зигеля:

— Сами понимаете, господин гауптман, я хоть и в годах... — И сразу же с самой искренней тревогой, на какую только и был способен: — Осмелюсь напомнить, когда вы назначали меня на этот пост, по данному вопросу словом не обмолвились...

Удачно и очень вовремя сыграл Василий Иванович под перепуганного и недалекого мужика. Настолько удачно и вовремя, что фон Зигель окончательно утвердился в своем намерении и заявил без какого-либо перехода:

— Назначаю вас начальником полиции. К работе приступить сегодня.

Василий Иванович в думах готовился к чему-то подобному и все равно растерялся, только и смог вскочить, вытянуться. Фон Зигель, похоже, и не ждал от него большего: он уже отвернулся от Шапочника.

4

Выйдя из комендатуры, Василий Иванович украдкой облегченно вздохнул и на мгновение остановился в раздумье: куда теперь, кому прежде всего поведать о своем новом назначении? Золотарю и всем прочим, над кем минуту назад стал начальником, или Нюське?

Эх, Нюська, Нюська... И за каким чертом сюда тебя принесло?..

Нет, Опанас Шапочник — службист, что для него какая-то бабенка, желающая притулиться под его крылышком?

И он уверенно и без спешки зашагал к тому дому, где размещалась полиция. Еще издали увидел дежурного полицая, беспечно сидевшего на перилах крыльца и от безделья кромсавшего ножом какую-то палку. Непорядок? Да еще какой. Может ли он, Опанас Шапочник, равнодушно пройти мимо такого вопиющего нарушения устава? Ни в жизнь! Поэтому, поднявшись на крыльцо и остановившись рядом с полицейским, он строго спросил:

— Как твоя фамилия?

— Шагай себе, шагай, пока не препятствую, — беззлобно огрызнулся тот.

Только за последнюю неделю Василию Ивановичу выпало пережить такое, что другого человека запросто сломить могло. Его нервы давно требовали разрядки действием. И он, не ожидавший, что окажется способным на такое, размахнулся и со всего плеча заехал полицаю в ухо. Может быть, распалившись, ударил бы и еще раз, но тот опрокинулся. Это произошло столь неожиданно, что Василий Иванович даже опешил, когда у его лица вдруг мелькнули ноги полицая. Но машинально отметил, что сапоги были хромовые.

Оказавшись на земле, полицай не торопился встать, чувствовалось, он мучительно думает: стерпеть оплеуху или выстрелить? Пальнуть, конечно, проще простого, только... Да разве без чьего-то приказа простой полицай из каких-то Слепышей осмелится на такое?

Кто знает, какое решение избрал бы полицейский, но тут Василий Иванович раскричался: дескать, сгною в подвале, дескать, расстреляю, если еще хоть раз обнаружу подобную преступную халатность.

Так орать могло только большое начальство, и полицай вскочил и вытянулся, снизу вверх глядя на беснующегося на крыльце Шапочника, который еще вчера был предметом всеобщих насмешек.

На крик Василия Ивановича выбежали несколько полицаев и Генка — бывший телохранитель Свитальского. Заметив их, Василий Иванович с особой яростью прокричал, что ему, как новому начальнику полиции, просто неохота свое вступление в

должность отмечать расстрелом того, кто должен быть ему верной опорой, иначе...

Все поняли, что скрывалось за словом «иначе».

Здорово гневался новый начальник полиции, так здорово, что Генка подбежал к нему на носках, неумело, но старательно козырнул и спросил:

— Прикажете пана Золотаря сюда вытребовать или к вам в кабинет?

Холодно и так, словно только сейчас заметил, глянул Василий Иванович на Генку и мгновенно решил, что эта фраза Генки — заверение в преданности, в готовности служить Опанасу Шапочнику, как недавно служил Свитальскому. Хотя бы потому отталкивать его не стоит, что Генка многое знает и, если подобрать к нему соответствующий ключик, вдруг разоткровенничается? Все это мгновенно промелькнуло, поэтому и сказал, словно милостью одаривая:

— При мне будешь.

На мгновение в зрачках Генки мелькнуло что-то, похожее на восторг, и тотчас же захлебнулось, утонуло в потоке преданности, хлынувшем из широко распахнутых глаз.

Войдя хозяином в кабинет Свитальского, где до этого бывал только раза два или три, да и то не по собственной воле, Василий Иванович почти сразу же понял, что правильно повел себя: об этом свидетельствовали и шепоток за дверями, и полицаи, бесшумно мелькавшие за окном. А минут через пять после того, как он уселся за стол Свитальского, явился пан Золотарь. Он, льстиво улыбаясь, витиевато сказал, что давно предвидел только такой исход, что искренне рад служить под мудрым руководством пана Шапочника и убежден, что тот будет доволен им.

Наскоро обменялись любезностями, не веря ни своим, ни чужим словам, а потом Василий Иванович перешел к делу, стал расспрашивать о наличии полицейских в районе, о том, где они размещаются да как их рабочий день планируется.

На первые два вопроса Золотарь ответил обстоятельно, со знанием дела. Потом сказал, немного помешкав в нерешительности:

— Что касается планирования дня... Тут уж как придется... А почему — думаю, сами и уже к завтрашнему утру поймете.

— Что ж, подожду до утра, — милостиво согласился Василий Иванович. — А как обстоит дело с сетью осведомителей? Или как она тут у вас называется? Как велика и плотна она?

— Имеется и такая, — склонил лобастую голову Золотарь. — Полицейские, в деревнях обитающие, и старосты.

— Я имею в виду тайную сеть, — холодно уточнил Василий Иванович.

— И эта есть, — согласился Золотарь, помялся и нехотя добавил: — Она исключительно в моем полном ведении.

— Намекаете, что это не моего ума дело? — нахмурился Василий Иванович.

Золотарь неопределенно повел плечами.

И тогда Василий Иванович многозначительно заявил:

— А я было поверил тому, что вы рады служить со мной.

— Позвольте, пан Шапочник...

— Не позволю! Покорнейше прошу, пан Золотарь, запомнить: двум медведям в одной берлоге всегда тесно. Кроме того, каким же я начальником буду, если разрешу своему помощнику иметь от меня тайны? Не личные, а служебные?

— Воля ваша... Я хотел исключительно для вашего облегчения, — заявил, отступая, Золотарь.

Василий Иванович промолчал. Тогда Золотарь встал, молча поклонился и вышел из кабинета, бесшумно прикрыв за собой дверь. А еще через несколько минут перед Василием Ивановичем уже лежали требуемые сведения. Долго изучал их Василий Иванович. И не потому, что список перевертышей был очень велик (на весь район наскреблось только двадцать восемь), хотел раз и навсегда запомнить не только фамилии, имена и клички, но и адреса и приметы тех подонков, которые, тайно помогая фашистам, все же надеялись остаться чистыми в глазах односельчан на тот случай, если Советская власть вернется.

Конечно, появилась мысль, что этот список — вернее, копию с него — хорошо бы с Нюськой переслать хотя бы Виктору и наказать, чтобы занялся перевертышами, но он прогнал ее, эту мысль, прогнал потому, что решил действовать наверняка и без спешки, которая очень часто губит, казалось бы, самое верное дело.

Так хотелось поскорее постичь все тайное, что почти до первых петухов засиделся в своем кабинете. Только стал собираться домой, чтобы отоспаться за все прошлые ночи и Нюське рассказать обо всем, что стряслось с ним за этот день, в кабинет заглянул дежурный полицай и выпалил:

— Пан Золотарь велели доложить, что на тридцатом километре неизвестные злоумышленники сожгли две автомашины, а водителей убили!

Василий Иванович прикинул, что только круглый дурак будет часами ждать полицию на месте диверсии, и поэтому приказал:

— На машине немедленно отправить туда десять полицейских. Пусть прочешут местность.

Через несколько минут, взревев мотором, машина пронеслась мимо окон. И тотчас же в кабинет вошел Золотарь. Был он хмур, неразговорчив. Не спросив разрешения, сел на стул, стоявший в простенке, и замер, втянув голову в плечи. Только после большой паузы, показавшейся Василию Ивановичу бесконечной, Золотарь сказал, словно насилуя себя:

— Напрасно изволите беспокоиться сами и людей дергаете. Такое у нас почти каждую ночь случается. Даже господин комендант приказали теперь его по таким пустякам не тревожить...

А вы спрашивали, как мы сутки планируем... Ночь вздрагиваем, а днем отсыпаемся или в какой карательной акции участвуем.

Откровенность Золотаря — единственная радость за весь день. И невольно подумалось, что, возможно, эти сожженные машины — работа Виктора с Афоней: они мастера на подобные штучки.

Так подумал Василий Иванович, но радости своей ни словом, ни жестом не выдал.

Потом, и вовсе под утро, доложили, что в деревне Куцевичи по неизвестной пока причине возник пожар, во время которого сгорел дом старосты. Со всеми надворными постройками и живностью.

Снова молча хрустел пальцами Золотарь, а Василий Иванович, в душе ликуя, приказал и туда выслать группу: чем больше будут издерганы полицаи, тем лучше.

Солнечные лучи уже ласкались к высоким белым ниточкам облаков, когда новый начальник полиции в сопровождении Генки все же пошел домой, не к свояку деда Евдокима, а в собственный пятистенок. Уже у самого дома, когда стал прекрасно виден полицай, дежуривший у крыльца, Генка сказал вполголоса:

— Я, конечно, человек маленький, в политике, можно сказать, совсем не разбираюсь... Однако осмелюсь заметить, если будет на то ваше желание, смогу сварганить бабу и помоложе...

Смолчал Василий Иванович, будто не услышал. Потому смолчал, что не хотел даже малюсенькой ясности вносить в сумятицу мыслей своего телохранителя.

5

Не счесть, сколько раз Виктор с Афоней уходили в ночь, чтобы хоть как-то насолить фашистам. И всегда Виктор был старшим. И никогда власть не казалась ему обременительной. Больше того, случалось, подумывал, что, сложись подходящая обстановка, — и со взводом управился бы. Может быть, и с ротой. Теперь же, оказавшись на островке среди болота, Виктор почувствовал, что быть старшим над всеми этими людьми непосильно ему. Прежде всего потому, что, признав его главным здесь, к нему шли все, кому надо было или просто хотелось, шли с самыми разнообразными вопросами. И если Афоня с Авдотьей требовали немедленно организовать боевую операцию, да такую, чтобы Зигель в Степанково всю ночь икал, то Груня и другие женщины донимали сугубо житейскими, но, пожалуй, еще более сложными вопросами: как жить-то будем, чем питаться станем, когда поедим все, что с собой притащили?

Именно эти дни, когда он волею случая оказался старшим над всеми, кто недавно жил в Слепышах, на очень многое заставили взглянуть иначе. Теперь Виктор понял, что людьми командовать — не просто приказы отдавать, мол, ты туда сбегай,

а ты это сделай; именно в одну из таких бессонных ночей он вдруг вспомнил разговор отца с его старинным другом, который был каким-то начальником над учителями школ города.

— Как погляжу, подраспустились вы все! Уже успели забыть, что в гражданскую войну, бывало, командир бросал вам одно слово: «Приказываю!» — и вы из кожи вон лезли, чтобы тот приказ выполнить! — со злостью и большой внутренней болью сказал отцу тогда тот начальник.

Отец, помнится, с укором взглянул на него и ответил:

— Командир не просто приказывал. Он еще и делал все, что от него зависело, делал для того, чтобы тот приказ можно было выполнить.

Тогда Виктор понял лишь одно: отец был не согласен со своим начальником. В глубину же мысли, высказанной отцом, проник только сейчас.

Около недели крепился Виктор, никому не позволял взглянуть на то, что в душе у него творилось, а потом, отчаявшись, почти на животе вполз в низенький шалашик, который соорудили себе Афоня с Груней, и сказал:

— Ну вот что... И никакой я не лейтенант, а просто парень, и все. Потому и обязан сложить с себя командирскую должность.

Не со зла или обиды, а осознанно, понимая, что сейчас только так и можно, все о себе рассказал, без утайки.

С березы, которая печалилась на кромке болота, надсажалась кукушка, уверяя кого-то в том, что жить ему осталось еще больше ста лет, над самым ухом нудно звенели комары, готовясь к атаке, а они — Афоня с Груней и Виктор, — согнувшись в три погибели, молча сидели в шалашике и глядели на черную болотную воду, казавшуюся даже жесткой в своей неподвижности.

— А ты нормально командовал. Никогда бы не поверил, что гражданский на такое способен, — наконец сказал Афоня.

Что мог на это ответить Виктор? Напомнить все те случаи, когда был на волосок от разоблачения? Или начать оправдываться, ссылаясь на свою молодость и военную необходимость?

Еще с месяц назад, уличи его кто-то, он скорее всего поступил бы именно так. Но после нелепой гибели Клавы и двух мальчонок Авдотьи враз повзрослел он, вдруг понял, что в жизни слова — далеко не самое главное. А тут совсем недавно и Нюська внутреннего огня добавила. Уловила его, Виктора, когда рядом никого не было, и заявила таким тоном, словно самой главной здесь была.

— Я в Степанково сгуляю. Отпустишь или тайком убегать?

— Спятила? Или от жиру бесишься?

— Где он, жир-то? Порастаял за год, сейчас у меня одни мослы остались, слава богу и за то, что пока одежду не рвут... Ты, Витенька, улови главное, что меня на такое толкает: один он сейчас среди них. Одинешенек!

Да, туговато приходится сейчас Василию Ивановичу. Воз-

можно, даже вовсе худо. Только как ему поможешь, если обстановка сложилась — отвратнее нельзя?

И еще понял Виктор в тот момент, что большая, настоящая любовь живет в сердце Нюськи. Красивая и невероятно сильная любовь.

Он глянул в счастливые глаза Нюськи, вздохнул и зашагал прочь. Но вдруг остановился, посуровел и спросил гневно, не смиряя голоса:

— А если с тем столкнешься? С тем самым, к которому...

— Угнали ирода отсюда! Еще когда наши под Харьковом наступали, его угнали отсюда! — и вовсе расцвела в улыбке Нюська.

Выходит, и Нюську, которую многие считали беспутной, посетило большое счастье. А что есть у него, Виктора? И образ отца в памяти стал словно дымкой подергиваться, и Клаву с сынишкой убили... Самое же страшное, что пришло в голову только в эти дни, — война украла у него, Виктора, юность. Ту самую, о которой все пожилые вспоминают с такой теплотой. Действительно, детство у него было, а вот юность стороной промелькнула. И уже никогда не вернется, хотя лет ему в самый раз...

— Ну, Витенька, поплакался, отвел душеньку, и хватит! — решительно сказала Груня. — К нам с Афоней ты со своей бедой пришел, и вот тебе наш окончательный сказ: отставку твою отклоняем, воеводствуй над нами по-прежнему!

— Да поймите вы...

— Одному, известно, трудно. А ты все хозяйственные заботы на меня возложи. Вели Афоне собрать народ и объяви, мол, так и так, с этого самого момента Аграфена Никитична назначается моим замом или помом — как хочешь, так и обзывай — по хозяйственной части. Так что не смейте лезть ко мне с вопросами, не касающимися боя!

Даже шутить заставила себя Груня, но тревога и грусть лились из ее глаз. И Виктор понял, почему: легко ли любому человеку точно знать, что кругом на многие сотни километров враги, а жить тебе или умереть — это зависит от находчивости и распорядительности самого обыкновенного парня, который к тому же всего лишь минуту назад поддался слабости и нюни распустил?

6

Неделю оставлял себе и товарищам Григорий на то, чтобы научиться не только ходить, но и бегать на ходулях; пригрозил, что того, кто не осилит урока, отстранит от участия в боевых операциях. Однако на утренней зорьке уже второго дня дед Потап, неизвестно где пропадавший всю ночь, устало опустился на завалинку и сказал, скручивая «козью ножку»:

— Сегодня ночью опять расстреливали...

Больше ничего не добавил, ничего не предложил, вообще мнения своего не высказал. Просто поставил в известность, а решение соответствующее принимать — дело Григория как командира.

Григорий думал минуты две, не больше:

— Хватай автоматы — и айда!

Уже в лесу, когда была пройдена чуть ли не половина пути, он подумал, что еще дома следовало расспросить деда о том, сколько фашистов обычно бывает в конвое: ведь у него, Григория, вся боевая сила — три автомата, два из которых в руках старика и пацана. Подумать-то об этом подумал, но исправлять свою ошибку не стал, решил, что успеется и потом: сейчас надо просто еще раз взглянуть на то распроклятое место и уже там разработать план действий на ближайшую или какую следующую ночь. Однако, когда Григорий, расположившись почти на кромке уже знакомого оврага, вел еще только беглый осмотр местности, из-за колючей проволоки вышло восемь человек. Шесть — в гимнастерках и двое — в тряпье, которое еще недавно, похоже, было гражданской одеждой. Едва вышли они за проволоку — к ним подошли два охранника с автоматами.

Пленные взяли лопаты из кучи, видневшейся около ворот. Держа лопаты на плече, как винтовки, восемь зашагали к оврагу, метров на пять или чуть побольше опережая конвоиров.

Что-то страшное было в том, как шли эти восемь, как лениво, не подгоняя даже словом, плелись за ними вооруженные охранники, покуривая сигаретки.

— Гонят закапывать вчерашних... Потом и самих тут же, — прошептал дед Потап, хотя идущие никак не могли услышать его слов, будь они сказаны даже полным голосом.

Никакого плана не было у Григория, когда он спешил сюда. А увидел восьмерых обреченных — решение пришло само собой, казалось, без малейших усилий с его стороны. И удивительное спокойствие нахлынуло. Вместе с уверенностью, что все будет только так, как хочется ему. Именно спокойствие и уверенность явно прозвучали в его голосе, когда он сказал:

— Мы с тобой, дед, берем на прицел фрицев, я — левого, Одной пулькой каждого, чтобы без ненужного нам грохота. Бить точнехонько между глаз... А ты, Петр, держи на прицеле тех, кто на вышках. Но не шумни без особого на то моего приказа!

Как потом уверял Петро, два выстрела почти слились в один и прозвучали не хлестко, а приглушенно. Однако оба охранника сразу грохнулись, распластались на траве, даже не дрыгнув ногами. Настолько глухо прозвучали два этих выстрела, что караульные на вышках не уловили их. Может быть, и потому, что выстрелы у оврага стали для них привычными?

Прозвучали выстрелы — восемь недавних обреченных будто окаменели с лопатами в руках. И тут Григорий понял, что все время, с того момента, когда их вырвали из толпы, они ждали

этих выстрелов, ждали себе в спину. Потому и окаменели, потому и заклинило у них мысли.

Григорий поднялся из-за ствола березы и сказал так же спокойно, как недавно приказывал своим товарищам:

— Эй вы, если хотите жить, бегите сюда!

Семь человек, бросив лопаты, скатились в овраг и, выбравшись из него, послушно сгрудились около деда Потапа, приняв его за старшего. А восьмой — высоченный, широкий в плечах и настолько исхудавший, что старый пиджак болтался на нем, как на пугале, аккуратно положил лопату и, как показалось Григорию, излишне медленно подошел сначала к одному, потом ко второму убитому. Он взял их автоматы, обшарил карманы и лишь после этого нырнул в кусты.

— Что же ты, черт паршивый, так долго там шарился? — немедленно набросился на него Григорий.

Вроде бы и ругал, вроде бы даже негодовал, однако голос звучал ласково: тронул этот живой скелет сердце Григория. Тем накрепко зацепил, что не растерялся, в первую очередь не о своей жизни подумал, а вражеским оружием завладел.

— Я бежал, — флегматично ответил тот, стараясь унять чуть хрипловатое дыхание и глядя на Григория когда-то голубыми, а теперь словно слинявшими глазами.

Крепко же ослабел человек, если бежал изо всех сил, а Григорию показалось, будто он еле ноги переставлял...

— Давай пальнем по вышкам? — теребит за рукав Петро.

— Я тебе пальну! — грозит Григорий и сразу же поясняет: — Зачем нам себя выдавать? Может, подумают, что они сами с охранниками разделались?

Потом шли лесом, где почти на каждом дереве захлебывались в песнях птицы, шли меж белоствольных березок, стараясь нечаянно не задеть оружием их бархатистой и такой нежной кожицы. И с каждым шагом все дальше оставался тот овраг, где должна была оборваться и не оборвалась жизненная тропочка каждого из них.

Глава четвертая

1

В середине июня сбылось пророчество Каргина: ясным солнечным днем повисли над Лотохичами девять пикировщиков и до тех пор прицельно швыряли бомбы, пока все хаты не расшибли, не предали огню. Рота Каргина, которая располагалась в лесу, с безопасного расстояния смотрела на хороводившиеся в голубом небе самолеты и космы огня, бушевавшего на земле.

— Наши матери, товарищ Каргин, — все до единой! — до конца дней своих должны за вас бога молить! — чуть излишне восторженно высказал Стригаленок то, о чем подумали многие.

Ох уж этот Стригаленок...

В тот раз, как только начальство уехало, забрав с собой Пауля с Гансом, Каргин немедленно вызвал к себе Стригаленка и в присутствии командиров взводов спросил тем спокойным тоном, который, как знали многие, не сулил ничего хорошего:

— Как прикажете это понимать, товарищ Стригаленок? Доносчики для меня хуже врага. Или скажешь, что был не согласен со мной, вот и выступил с критикой? Не выйдет и такой пролаз: критика — это когда человеку в глаза все высказывают.

— Товарищ Каргин... Товарищи... Да разве же я со зла? — Глаза у Стригаленка открыты широко, в них дрожат слезы обиды. — Чтоб мне провалиться на этом самом месте, если я злой умысел имел! По глупости своей все это высказал начальству, по глупости! Сердцем чуял, что вы, товарищ Каргин, правильное решение приняли! Мог ли предполагать, что начальство не поймет правильности решения товарища Каргина?

И столько искреннего отчаяния было в голосе Стригаленка, в том, как молитвенно прижимал он ладони к груди, что только у Федора и вырвался единственный вопрос:

— Какого же дьявола ты, праведная душа, тогда смылся? Когда командир бригады сторону Ивана принял?

— Сюда, в лес, торопился. Чтобы здесь порядок навели, чтобы начальство врасплох не застало, чего случайно не увидело, — немедленно выпалил Стригаленок.

Может быть, потому так легко тогда Стригаленок выкрутился, что Каргин разговаривал-то с ним, а в мыслях все еще Пауля с Гансом держал? Все еще видел их глаза, полные искренней грусти? Все еще не мог смириться с тем, что кому-то они понадобились больше, чем его роте?

Интересно, нечаянно или с умыслом Стригаленок подбросил Каргину упрек в адрес командования бригады? И какая ему выгода будет, если между бригадным начальством и Каргиным черная кошка пробежит? Да, пожалуй, это еще одна загадочка Стригаленка. Но попробуй сейчас решить ее...

2

Александр Кузьмич пришел неожиданно и в тот час, когда многие видели уже вторые сны. Повесил фуражку на гвоздь, вбитый в стену слева от двери, и спросил, подходя к столу:

— Все чадишь?

Этот вопрос стал уже привычным, как и то, что сейчас Александр Кузьмич и сам свернет цигарку, поэтому Николай Павлович ответил тоже избитой фразой:

— А что еще делать остается, если умные мысли бегут мимо?

Отодвинув на самый дальний край стола немецкую каску, в которую Николай Павлович швырял окурки, Александр Кузьмич сел на табуретку, пригладил ладонью волосы, еле прикры-

вавшие большую лысину, и сказал, словно продолжая давний разговор:

— Итак, все наши искренне радуются, что только за последний месяц в бригаду пришло много новеньких. Рота Каргина, например, увеличилась почти вдвое.

Сказал это и замолчал, давая возможность задать вопрос или бросить реплику. Но Николай Павлович промолчал, желая, чтобы тот сам высказал главное, то самое, что привело его сюда в столь неурочный час. И действительно, выждав немного, Александр Кузьмич продолжил:

— Случившееся одни объясняют счастьем: мол, здорово повезло Каргину. А другие говорят, что так и должно быть: народ созрел для партизанской борьбы, не к Каргину — так к кому-то другому обязательно примкнули бы эти люди.

— Сами, лежа на печи, только помидоры дозревают, — буркнул Николай Павлович.

— А я согласен и с теми, и с другими, но с существенным уточнением, — загорячился Александр Кузьмич. — Действительно, Каргину повезло, в том смысле повезло, что именно он обнаружил вагон со столь неожиданным грузом. Правильно и то, что народ, оказавшийся на территории, временно оккупированной врагом, созрел для активной партизанской борьбы с захватчиками. Бесспорно и то, что эти парни, если бы судьба не перекрыла им все тропочки, влились бы в какой-нибудь партизанский отряд. Может быть, сначала организовали бы и свой, а потом влились.

— Иными словами, ты считаешь, что я как комиссар бригады должен растолковать всем, почему эти парни — да и многие тысячи других — созрели для этого шага? — перебил его Николай Павлович.

— Разве это не твоя прямая партийная обязанность? — глянул на него Александр Кузьмич. — Я, например, искренне верю, я глубоко убежден, что народ не просто так взял вдруг да и «созрел для партизанской борьбы». Я глубоко убежден, что в этом ему здорово помогло все то, что уже сделано и делается партией и правительством. Помнишь передовую «Правды»? Там было прямо сказано, что мы не рассчитываем на легкую победу, что победа над фашизмом будет трудной и потребует от нас много жертв. Уже на второй день войны партия откровенно предупредила весь наш народ о том, что борьба с гитлеровцами будет долгой и трудной. Короче говоря, эта статья в «Правде» была первой нотой настройки наших людей на определенный и нужный лад.

Николай Павлович теперь уже окончательно понял, чего от него хотел добиться Александр Кузьмич, даже попытался вклиниться в разговор, но командир бригады предостерегающе и просяще приподнял руку — он продолжал развивать свою мысль. Волнуясь чуть больше, чем это требовалось сейчас, он вспомнил и о том, что уже 29 июня 1941 года СНК СССР и ЦК партии

приняли специальную директиву — развернутую программу перестройки всей жизни и деятельности народов страны на военный лад, превращения Советского Союза в единый боевой лагерь. Даже зачитал: «...В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т. д. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».

Зачитал эти строки, бережно сложил листок, спрятал его во внутренний карман пиджака и лишь после этого испытующе посмотрел на Николая Павловича. И тот сказал, словно приняв эстафету:

— Конечно, не все советские люди, оказавшиеся во вражеском тылу, знали и знают об этой директиве. Взять, к примеру, того же Каргина с товарищами. Они слыхом не слыхивали о ней, но действовали именно так, как требовалось! Почти полгода не имели связи со своими, не только боевых приказов, но и просто советов не получали, однако делали то, что было нужно! О чем это свидетельствует? О том, что в основу этих документов заложены думы и чаяния всего советского народа. Ты к этому выводу хотел подвести меня? На эту мысль меня наталкиваешь?

Александр Кузьмич будто бы и повинился, но глаза его хитро поблескивали:

— Понимаешь, никак не могу привыкнуть, что теперь я не секретарь райкома партии. Вот и говорю по привычке так, чтобы собеседник меня обязательно понял.

Сказал это и пошел к двери, только у порога остановился, чтобы предложить:

— Может быть, обо всем этом следует побеседовать с коммунистами бригады? Или вообще со всеми бойцами?.. Нет, я не приказываю, я только мысли свои высказываю. Те, которые меня сна и покоя лишили.

Подмигнул и ушел в ночь. Николай Павлович какое-то время еще смотрел на дверь, закрывшуюся за ним. Потом поднялся из-за стола, несколько раз прошелся по кухне, не слыша скрипа пересохших половиц. Он думал, думал о том, что одна из прекрасных особенностей Александра Кузьмича — вот так, неожиданно, ворваться к человеку и заставить его активно шевелить мозгами. На пользу общему делу!

Обязательно нужно будет сказать в беседе и о том, что еще 18 июля 1941 года Центральный Комитет Коммунистической партии принял решение «Об организации борьбы в тылу германских войск», в котором прямо указал на необходимость усиления партийного руководства этой борьбой, намечались ее дальнейшие тактические и даже стратегические цели.

Николай Павлович решительно подошел к столу, сел на свое привычное место и торопливо записал на сером листке оберточной бумаги то, о чем говорил Александр Кузьмич, до чего сам додумался уже сейчас. Немного посидел, глядя на темное окно, и достал из маленького железного ящика, заменявшего сейф, несколько пронумерованных документов, нашел среди них решение ЦК «Об организации борьбы в тылу германских войск», еще раз внимательно прочел его и выписал: «...Нас обязательно поддержат в каждом городе и в каждом селе сотни и тысячи наших братьев и друзей, попавших под пяту германских фашистов и ждущих с нашей стороны помощи в деле организации сил для борьбы с оккупантами».

Переписал это и сразу же подумал: «Надо будет рассказать коммунистам бригады и о том, что 30 июня 1941 года ЦК Коммунистической партии Белоруссии разработал директиву номер один «О переходе на подпольную работу партийных организаций районов, занятых врагом», а 1 июля — директиву номер два — «По развертыванию партизанской борьбы в тылу врага».

И еще несколько торопливых строк легло на бумагу.

Не забыл Николай Павлович и о том, что ЦК Компартии Белоруссии тогда же организовал выпуск газет «Советская Беларусь» и «Раздавім фашицкую гадзіну»; что, стремясь еще больше улучшить руководство партизанским движением, ЦК 20 марта 1942 года создал свои Северо-Западную и Западную группы и закрепил их за рядом смежных областей республики; что 30 мая 1942 года был образован Центральный штаб партизанского движения и немедленно подобный же штаб был создан и в Белоруссии.

Увлекся Николай Павлович работой, настолько увлекся — даже искренне удивился, когда, глянув в окно, вдруг увидел, что керосиновая лампа давно горит зря. Он потушил ее, с удовольствием пробежал глазами написанное за ночь и встал, потянулся. До тех пор был доволен своей работой, пока не осенило, что было бы и того лучше, если бы все сказанное он мог подкрепить цифрами. Но где возьмешь их? Кто скажет тебе, сколько подпольных обкомов, горкомов, межрайкомов и райкомов партии работает сейчас в Белоруссии? Сколько партизанских отрядов сегодня активно действуют на территории, временно оккупированной фашистами, да какое и в каком количестве они получили оружие, получили в централизованном порядке?

Даже если бы и были у него эти сведения, нельзя их сегодня обнародовать...

Хотя почему бы не назвать лишь частицу того, о чем говорилось в Москве на недавнем совещании командиров и комиссаров партизанских соединений? Например, о том, что только за июль 1941 года в занятые врагом районы было направлено более 125 партизанских отрядов, что только за тот месяц в подпольную работу включилось более 1200 коммунистов, а на сегодняшний

день партизанских отрядов стало уже более 200, а число коммунистов, действующих в тылу врага, перевалило за 65 тысяч?

Эта мысль была настолько заманчива, что Николай Павлович даже вернулся к столу, но не сел за него: можно ли сейчас называть хотя бы эти цифры, не явится ли это разглашением государственной тайны?

Короче говоря, над этим еще нужно подумать. Крепко подумать.

3

Дед Потап угадал: те шестеро, что донашивали гимнастерки, в плен попали под Харьковом. Если верить им, даже оказавшись в окружении, до тех пор с врагом бились, пока патроны имелись, пока не пришел чей-то приказ: рассыпаться и небольшими группами пытаться проскользнуть через фронт. Может быть, кто-то выскользнул из вражеского кольца, а вот им не повезло, их захомутали фашисты проклятые. Сколько в их группе бойцов было? Десять. Всё, что к тому времени от роты уцелело. Где еще четверо? Трое за колючей проволокой и сейчас, поди, томятся, а четвертого сразу расстреляли: не поверили, что грузин, за еврея посчитали.

Двое в гражданском — самые обыкновенные хлеборобы, один — местный, из Куцевичей — есть такая деревня в Степанковском районе, а второй — из Прибалтики. То ли литовец, то ли эстонец. Сам этого не сказал, а Григорий уточнять не стал. Почему? Это ли самое главное, что сейчас прежде всего нужно знать о человеке?

Местного сцапали во время облавы в Минске на базаре. Накостыляли по шее и бросили в подвал, куда народу было столько напихано, что они только стоять могли. И на допросы его не таскали. Просто нынче весной вдруг сунули в колонну, вот и оказался он в этой мышеловке. Когда сцапали? Еще в ноябре прошлого года, сразу после праздника. А звать его Мыкола Сапун. Фамилия, прямо скажем, не так чтобы очень музыкальная, привлекательная, но все прадеды ее носили, так почему же ему от нее отрекаться?

И если Мыкола оказался даже излишне разговорчивым, то другой только и сказал о себе:

— Меня зовут Артуром.

И на вопрос, за что схватили, ответил тоже немногословно:

— Разве им для этого что-то надо?

Конечно, звать просто Артуром человека, который наверняка раза в два старше тебя, здорово неудобно. Но Григорий не растерялся: перед именем добавил слово «товарищ», вот и весь сказ. Теперь даже солидно и чуть-чуть таинственно звучать стало. Может быть, и всем прочим клички придумать, как принято в каждом тайном объединении людей?

Ни один из восьми не вызывал подозрений, но больше, чем

другим, Григорий поверил товарищу Артуру. Почему? Было что-то располагающее в его нежелании рассказывать о себе. Разве любой настоящий человек не имеет права на свою какую-то личную тайну?

Новичков отвели на дальнюю полянку, затерявшуюся в почти непроходимой чащобе. Григорий велел именно здесь соорудить временное жилье и объявил, что за порядок, дисциплину и все прочее ответственным назначает товарища Артура.

Хотя бы дрогнуло что-то в лице товарища Артура! Так спокойно приказ Григория выслушал, будто бы наперед каждое его слово знал.

— С чего ты, Григорий, отделил-то их от нас? Приглядеться бы к ним следовало, все ж не на гулянки вместе ходить намереваемся, — проворчал дед Потап, когда они втроем возвращались к своей избенке.

— А кто тебе сказал, что мы их без догляда соответствующего оставим? — усмехнулся Григорий. — Снабдим их картошкой и хлебом дня на два-три и сразу же поочередно поведем тайное наблюдение... Заметил, что они и попытки не предприняли узнать, кто мы такие да откуда свалились в самый нужный для них час? Ежели откровенно, здорово глянулось мне это: видать, крепко понимают, что военную тайну любому и всегда блюсти положено.

Первым тайное наблюдение вел Григорий, Он, вернувшись, сказал удовлетворенно:

— Умное соображение у этого товарища Артура. Распорядился четыре шалашика поставить, и не на полянке, куда я их сунул, а на кромке ее, под самыми распушистыми березами. На тот случай замаскировались, если фашистский самолет небо над лесом утюжить примется. Поставь они шалашики на полянке — летун сразу засечет.

— А ты сам про маскировку от летчика им сказать не мог? — насупился Петро, которому стало обидно, что какие-то новички и вдруг исправили ошибку не просто солдата Гришки, а Григория — командира отряда!

В ответ Григорий весело хохотнул и сказал, неожиданно щелкнув Петра пальцем по лбу:

— Может, чтобы их сообразиловку проверить, я такое им и подбросил? Скажи, приказывал я обосноваться точно на полянке? Нет, я просто вывел их на нее и сказал, что базироваться они будут тут. Понятно, какую я проверочку им устроил?

Они считали, что тайно наблюдают за новичками. И вдруг, когда Петро нес свою вахту, товарищ Артур, вроде бы дремавший на солнышке около своего шалашика метрах в пяти от Петра, спросил:

— Скажи, а в бога ты веруешь?

Близко никого не было, так кому же вопрос адресован? Или товарищ Артур сам с собой разговаривает?

— Я у тебя, Питер, спрашиваю.

Товарищ Артур сидел спиной к лесу, головы даже ни разу не повернул, а говорил так, будто видел Петра. И тот решил, что прятаться нет смысла, вышел на поляну.

— А как вы узнали, что я здесь? — спросил он, опустившись на корточки рядом с товарищем Артуром.

— Вы следите за нами с расстояния в шесть метров. С того самого часа следите, когда картошку и хлеб нам принесли. А мы на несколько минут раньше двух своих наблюдателей выставили. Они вас и заметили.

— Каждый раз нас видели? — охнул Петро.

— Вы ползали по одной тропочке.

Стыдно Петру за промашку Григория и деда Потапа, но еще больше потому, что следили они за такими хорошими людьми. Очень стыдно. Только поэтому и решил оправдываться:

— Понимаете, товарищ Артур...

— Ты не ответил на мой вопрос.

— О боге? Да нету его, нету! И никогда не было!

— Кто тогда создал землю? Все живое на ней? И самого человека?

— Они сами возникли. Из туманностей, — бодро, словно на уроке, отрапортовал Петро.

— Значит, не веришь в бога, — сделал правильный вывод товарищ Артур, с минуту смотрел на голубое небо, выгнувшееся над землей, и опять вопрос: — Может быть, ты знаешь, что находится там, за этой голубой твердью?

— Не твердь она, а атмосфера! — опять загорячился Петро, которому стало обидно, что товарищ Артур не знает таких простых вещей. — А дальше — бесконечность! До самой бесконечности! Все она! И ничего больше!

Дальше с той же горячностью Петро на одном дыхании выпалил все то немногое, что знал о происхождении человека, даже Дарвина упомянул. Но товарищу Артуру, похоже, было неинтересно слушать об этом, он вдруг ласково улыбнулся и сказал, словно самого себя спросил:

— Почему все мальчишки с одинаковой убежденностью одно говорят? Разными словами, но обязательно одно и то же?

О своем разговоре с товарищем Артуром, прибежав к избенке, Петро, разумеется, немедленно доложил Григорию. Думал, тот рассердится или хоть расстроится, когда узнает, что их наблюдение оказалось вовсе не тайным. Однако тот восторженно хлопнул себя руками по ляжкам и воскликнул:

— Вот это люди так люди!

Потом Григорий немного пошушукался о чем-то с дедом Потапом, подхватил ведро с вареной картошкой и сказал, что они, все трое, сейчас же должны идти к новичкам. И они пошли. Весело переговариваясь почти в полный голос.

На этот раз все восемь были у шалашей и сразу встали, построились в шеренгу, как только Григорий вышел из леса.

Каждому из них он подал руку и заглянул в глаза, улыбаясь широко, радостно. Потом шутливо скомандовал:

— А ну, садись, кто на чем стоит! — и первым опустился на траву в тени березы, ствол которой от старости стал шершавым и почти черным. — Не кажется ли вам, други мои, что скучна такая жизнь? — начал он, как только уселись все. — В том смысле скучна, что и оружия нема, и тишина бьет по ушам круглые сутки?

Товарищ Артур промолчал. Он сидел подчеркнуто прямо, прикрывая широкими ладонями свои костлявые колени. И спокойно, выжидающе смотрел только на Григория. Промолчали и другие, кроме Мыколы, который зачастил невероятной скороговоркой:

— Лично я до тишины огромный охотник! С той самой поры, как женился! Бывало, жинка дома заведется, загнусавит или забушует — я шасть на речку! Там сидишь...

Тут Мыкола натолкнулся на взгляд товарища Артура и сразу же замолчал, будто поперхнулся; даже попытался спрятаться за спину деда Потапа, сидевшего рядом.

— Приказывайте, мы ждем, — словно нехотя разомкнув губы, сказал товарищ Артур.

— К тому и веду, — посерьезнел Григорий и кивнул деду Потапу.

Дед положил на землю сверток, который все время держал у груди, осторожно размотал мешковину, и все увидели два немецких автомата. Все увидели, но никто даже не шевельнулся, будто никому из вчерашних смертников и не хотелось завладеть одним из них.

— Приплюсуем к этим еще и те, что захвачены в день вашего побега. Что получится? Как говаривал наш управдом, техникой мы обеспечены на пятьдесят процентов.

Замолчал Григорий. Чтобы дать новичкам возможность все обдумать. И слово «побег» умышленно подбросил: может, оно взбодрит, придаст людям уверенности?

Товарищ Артур взял автоматы и молча, ни с кем не посоветовавшись, вручил их тем самым двум, которые сидели рядом с ним.

Показалось или действительно Мыкола тайком облегченно вздохнул?

Двое, получившие автоматы, незамедлительно протерли их затворы подкладкой, загодя вырванной из пиджака товарища Артура, проверили, хорошо ли в каждом магазине пружина подает патроны, и снова замерли, готовые слушать Григория или действовать, если он даст команду.

— Теперь обмозгуем, всем идти на задание или только тем, у кого есть оружие? — подбросил вопрос Григорий.

Он с волнением ждал ответа: с одной стороны, вроде бы и не совсем ладно вести под возможные пули человека, у которого нет оружия, с другой стороны... А вдруг первая же пуля врага

насмерть сразит того, у кого есть автомат? Выходит, и замены ему не будет?

Кроме того, в отряде Каргина, когда там такое же положение с оружием было, на задания обязательно все ходили: общая опасность как-то особо сплачивала.

За всех ответил опять же товарищ Артур:

— Как прикажете, командир.

— Ага, чтобы всем шагать! — немедленно высказался и Мыкола.

По тому, как оживились остальные, Григорий понял, что это единое и общее мнение. Стало радостно на душе, солнце вмиг словно прибавило тепла своим лучам, а небо и вовсе налилось прозрачной голубизной. Так велика стала уверенность в новых товарищах, что Григорий осмелился задать и тот вопрос, который все эти минуты готов был сам сорваться с языка:

— Слышь, Мыкола, а мне было показалось, будто ты здорово обрадовался, когда тебе автомата не досталось?

— Выходит, заметили? — удивился тот, почему-то радостно улыбаясь.

— Не юли, — нахмурился Григорий.

— Беда не люблю железа стреляющего или режуще-колющего. И драк вообще сторонюсь, — посерьезнев, ответил Мыкола. — Не только смерти, но и просто крови боюсь. С самого детства такое со мной творится... Только, чем хотите, клянусь, когда на задание какое поведешь, трусить, конечно, стану — никуда не денешься, если моя природа такая! — от страха, может, и разрыв сердца у меня сотворится, но все равно раком не попячусь!

Это откровенное признание убедило Григория и всех других в главном, все поверили, что Мыкола действительно скорее разрыв сердца заработает и умрет, чем на подлость пойдет: большой внутренней силой человек обладать должен, чтобы так перед людьми обнажиться.

Потом один из новичков — невероятно окающий волгарь, назвавшийся пулеметчиком, — предложил сегодня же ночью пробраться к колючей проволоке лагеря.

— А что мы выиграем? — немедленно вопросом убил Григорий это вроде бы и дельное предложение.

Действительно, что? Те, томящиеся за проволокой, будут знать, что убежавшие живы и бродят рядом? Велика ли польза от всего этого, если учесть, что и на подонка можно нарваться? На предателя, способного за окурок шум поднять или с доносом уползти?

— Нет, наша тропочка прежде всего побежит к тракту. Там, случается, и ночью гитлеровцы шастают, — спокойно и деловито высказался Григорий. — Конечно, жаль, что сегодня мы конкретной цели не видим, не разработали, так сказать, план операции. Но ведь когда-то и с чего-то начинать надо? Так зачем тянуть?

Ночь выдалась лунная и такая безветренная, что на березах ни один листик не шелохнулся. И почему-то — удивительно отзывчивая на любой звук. Даже гнусавое гудение комаров, атакующих скопищем и со всех сторон, сегодня звучало невыносимо громко.

Всю ночь пролежали Григорий с товарищами в кустах у дороги, словно забытой всеми. Солнце должно было уже вот-вот всплыть над лесом и ударить по земле своими лучами, а Григорий все пытал счастье, все не отдавал приказа об отходе. Недалеко от него на своих местах лежали новые товарищи. Лежали спокойно, не выказывая ни нетерпения, ни волнения.

Это радовало, крепко обнадеживало, и Григорий наконец сказал больше себе, чем им:

— Со всяким может случиться такое, что счастье не сразу к нему всем фасадом повернется.

Сказал это и увел свою группу в лес, где под деревьями еще держался прохладный полумрак.

4

Отошли от тракта километров на пять и выбрали для дневки холмик, поросший сосняком: здесь и земля была посуше, и ветерок сюда наведывался, хоть и на короткое время, но тревожил комаров. Григорий приказал остановиться здесь, сказав, что нет резона ноги утруждать, если той ночью опять на тракт идти надо будет. Все спокойно встретили это решение, только дед Потап поворчал немного: дескать, им, молодым, времени еще не жалко, а вот ему, пожившему на свете, уже каждый час дорог; дескать, разве это порядок, когда человек здесь разлеживается, хотя у него дом есть и там работы полно?

Григорий в спор не полез. Он зевнул нарочно громко и улегся, выбрав самое тенистое место. Лежал неподвижно, а все равно не спалось, все равно думы одолевали. Вернее, одна, зародившаяся минувшей ночью. Вот есть у него, Григория, и собственный отряд в одиннадцать человек. Это побольше, чем у товарища Каргина в первые дни было. Значит, нужны, как воздух, потребны этому отряду и разведка, которая бы все знала, все видела, и надежная связь хотя бы с Василием Ивановичем: он мужик башковитый, так что не промахнется тот, кто к нему за советом придет.

Конечно, для ближней разведки дед Потап очень даже подходящий. А вот для дальней... Ноги у него к вечеру обязательно опухают, сам видел...

В какую сторону мозгами ни раскидывай, а в поход для установления связи с Василием Ивановичем надо снаряжать Петра с Мыколой: оба — коренные местные да еще и возраста не призывного. Честное слово, некого больше посылать, некого! Ведь на такое дело только того нацеливать положено, который внешне ничем от прочих не отличается!

Может быть, кого-то одного послать? Допустим, Петра?.. Еще молод шибко, запросто глупостей нагородит... Мыколу? А как он узнает Василия Ивановича, если в глаза его не видывал? Язык до Киева доведет? Оно, конечно, и так случается. Только иной раз он, язык этот, и быстрый путь к погибели указывает. Если им без должного ума пользоваться.

Да и как узнает Василий Иванович, что Мыкола — свой и ему следует доверять полностью?

Против этого варианта и то, что Григорий знает Мыколу без году неделю? Вот это сущая правда, тут риск огромный...

Только какое дело сейчас без риска провернуть можно? Сейчас если риска бояться, то сам себе связывай руки и в таком виде немедленно топай к фашистам, заявляй: вот он я, берите меня...

Под вечер, отозвав в сторону Петра и Мыколу, Григорий спросил: как они взглянут на то, что он намерен в паре послать их на особое задание? Петро, как и следовало ожидать, сразу загорелся и почти выкрикнул:

— С автоматом пойду, да?

Глянул Григорий в его восторженные глаза, и опять ожила в нем та глупая жалость, которую всякими доводами глушил весь день. Не хотелось позволить ей верх взять, потому и прикрикнул:

— Ты не указывай мне, ты молод еще! — И добавил, выплеснув раздражение: — Может, я по вражеским тылам под видом побирушки тебя послать намерен? Или откажешься?

Петро насупился, носом раза два даже шмыгнул, но больше не сказал ни слова.

Мыкола долго молчал, разглядывая божью коровку, пристроившуюся на качающейся былинке. Но когда Григорий уже начал терять терпение, заговорил и он:

— Только, товарищ командир, строго-настрого накажите парнишке меня с первого раза слушаться.

Григорий, разумеется, строго глянул на Петра и сказал, что идти им надлежит осторожно, избегая деревень и особенно — полицейских постов. До самых Слепышей идти. И запоминать все-все, за что глаза зацепятся.

А к Василию Ивановичу подходить можно только тогда, когда он один будет. И рассказать ему все, как оно есть.

— Если вопросов не имеется, то готовьтесь — и марш! — Такими словами закончил Григорий свое напутствие и заторопился, быстренько отошел от них подальше. Чтобы не передумать.

5

Выслушав посыльного штаба бригады, Каргин немедленно и решительно зашагал к Федору, занимавшемуся со своим взводом. Подошел, какое-то время придирчиво смотрел, как от дерева к дереву переползали новички, и сказал:

— За меня будешь, а я в штаб бригады. Особых указаний не даю.

— Когда вернуться думаешь?

— Скорее всего утром жди.

К штабу бригады, до которого от Лотохичей было километров пятнадцать, Каргин подошел точно в восемнадцать часов, как и было приказано. Не успел парой слов перекинуться со знакомыми, как из штабного домика вышло все бригадное командование.

Убедившись, что вызванные прибыли все, командир бригады ровным голосом довел до сведения собравшихся, что наше наступление под Харьковом закончилось неудачей, что гитлеровские полчища, стремясь развить свой успех, двумя мощными бронированными клиньями нацелились на Кавказ, намереваясь пробиться к нефти и в район Сталинграда, чтобы перерезать Волгу и не дать нам возможности использовать ее как транспортную магистраль.

— Из сказанного вытекают и наши задачи: так активизировать свои действия, чтобы фашисты при всем желании не смогли забыть о нас. Пустим под откос вражеский эшелон, уничтожим колонну автомашин или хоть какую-то часть ее, заставим фашистов броситься в погоню за нами — все это будет нашей действенной помощью родной армии. А кому из вас и что в ближайшие дни предстоит конкретно делать, об этом разговор поведет наш начальник штаба, — так закончил Александр Кузьмич свою короткую речь.

Все батальоны и роты бригады получили задания, ясно и четко сформулированные. Самые разные задания: одни пошли к железной дороге, чтобы взорвать ее, другим предстояло напасть на деревню, где стоял малый фашистский гарнизон, а третьи, совершая марш по деревням и селам, удаленным от партизанского района, должны были доказать народу, что и здесь есть сила, способная противоборствовать врагу и, конечно же, покарать изменников, продавших за вражескую подачку свой народ.

Да разве перечислишь все задания, которые получили батальоны и роты бригады?

На долю роты Каргина выпало сидеть в засаде у дороги, держать ее под огнем до тех пор, пока батальон Защепы не выполнит свою работу. Конечно, когда контролируешь дорогу, всякое можно ожидать. Однако чертовски обидно просто сидеть в засаде и ждать неизвестно чего, прекрасно зная, что тому же батальону Защепы выпало задание из заданий: напасть на вражеский аэродром, захватить его, пожечь там самолеты, которые окажутся на земле, и порушить, уничтожить все прочее.

Правда, аэродром маленький, в самый богатый день на нем было замечено только пять самолетов, на которых фашистские летчики, выписавшиеся из госпиталей, то ли заново летать учились, то ли проверялись начальством. Но все равно, разве сравнишь то, что предписано совершить батальону Защепы и роте

Каргина? Настолько несравнимо это, что Юрка, обидевшись до глубины души и разозлившись, прямо ляпнул, что, дескать, такие задания даются только по знакомству, дескать, Защепа — любимчик командира бригады, вот и получает всегда самое лучшее.

Каргин, как полагалось, одернул Юрку, строго напомнил, что приказы командования не обсуждаются, а подлежат немедленному выполнению. Однако и у самого кошки душу рвали. Или он, Каргин, со своей ротой не мог напасть на аэродром? Да если хотите знать, его рота всего человек на двадцать меньше батальона Защепы!

Усмирил разыгравшееся самолюбие тем, что Защепа — коммунист сто́ящий, делами проверенный. И вообще — он не такой человек, чтобы в рот кому-то заглядывать, поддакивать, кривя душой; хотя и встречались только раза два или три, а заметил, что характером он крут, своей честью дорожит.

Как и предписывалось, едва стемнело, Каргин вывел роту к названному в приказе участку дороги (толково, со знанием дела это место кем-то выбрано!), каждому взводу указал рубеж его обороны, разграничил секторы ведения огня и еще раз повторил, кому и что делать надлежит, если случится такое или этакое. Сначала намеревался остаться со взводом Федора, который должен был принять на себя первый удар врага, но потом передумал, обосновался на фланге и чуть сзади своих бойцов: вовсе негоже получится, если командир роты окажется раненым или убитым в самом начале боя.

Часа два или около того прошло в ожидании. И за все это время ни один посторонний звук не ворвался в тишину ночи. Будто и не было здесь почти ста вооруженных людей, готовых по первому приказу Каргина мгновенно породить ужасающий грохот, посечь пулями и ромашки, дремавшие в высокой траве, и старые березы, подступившие вплотную к тракту. Эта тишина радовала Каргина как свидетельство того, что каждый точно знает свои обязанности, что все бойцы его роты пока уверенно усмиряют свое волнение, которое перед боем обязательно взыгрывает в любом человеке.

Каргин почти бездумно сидел на пеньке и нетерпеливо поглядывал на кромку неба за южным лесом, где километрах в шести или семи затаился тот аэродром, к которому сейчас, если ничего непредвиденного не случилось, подползает батальон Защепы. Ждал появления в небе зеленой ракеты — сигнала, призывающего батальон к яростной быстротечной атаке.

Еще минут пятнадцать оставалось до обусловленного в приказе времени атаки, и вдруг в настороженную тишину ночи вплелся шум мотора — ровный, без надсады. Каргин встал, прислушался. Шла одна машина, шла в сторону аэродрома.

Мгновенно возник вопрос: напасть на нее или беспрепятственно пропустить? Напасть — поднять стрельбу, которая, бесспорно, раньше времени всполошит охрану аэродрома.

Выходит, машину следует пропустить? А почему бы и нет? Если в ее кузове даже и сидят солдаты, то сколько их может быть там? Десять? Двадцать? Не больше. Если так, то пусть себе едут: Защепа наверняка прикрылся охранением и с этой стороны, вот оно пусть и встретит этих непрошеных. Встретит залпами в тот момент, когда это уже не повредит делу, когда фашистам будет уже безнадежно поздно готовиться к бою: ведь до начала атаки осталось меньше пятнадцати минут, а машине еще катиться и катиться.

Вроде бы все продумано, решено правильно, однако по спине почему-то струится неприятный холодок...

А машина теперь совсем рядом. Уже ясно, что у нее не дизель, а самый обыкновенный мотор, работающий на бензине. В кузов такой не всунешь больше двадцати человек...

Едва машина прошла, всклубив дорожную пыль и сверля ночь лучами фар, подбежал Юрка и гневно спросил:

— Что же ты сигнала к нападению не подал?

— Марш на свое место! — огрызнулся Каргин, которому, хотя он и считал себя правым, сейчас было не до разговоров.

Юрка, разумеется, разобиделся: подчеркнуто официально козырнул и первые шаги даже отпечатал, как во время строевых занятий.

Ну и пусть перебесится, авось в следующий раз мозгами активнее шевелить станет...

Точно в обусловленное время зеленая точка вскарабкалась на черное небо и расцвела там яркой кляксой. И сразу дружно ударили многие автоматы, а еще немного погодя — небо озарилось кровавым пламенем нескольких взрывов, почти слившихся в один.

Не только Каргин, все бойцы его роты услышали приглушенные расстоянием автоматные очереди и взрывы. И зашевелились кусты, даже оживленный говор послышался.

— Прекратить разговоры! — процедил сквозь зубы Каргин. И связные сорвались с мест, растворились в темноте.

И снова воцарилась тишина. Но теперь она уже не казалась естественной, порожденной только пригожей летней ночью. Теперь что-то тревожное чудилось в ней.

Вместе с вернувшимися связными прибежал Юрка. Даже в темноте чувствовалось, что он цветет в улыбке, наверняка хочет что-то сказать, может быть, даже покаяться в недавнем, но Каргин опередил его:

— Разверни свой взвод навстречу той машине. Ну, той самой, что туда убежала. Она вот-вот обратно драпать будет.

Под машину так расчетливо метнули связку гранат, что она рванула под мотором. Пятерых полицаев, которые еще недавно тряслись в ее кузове, забрав их оружие и документы, оставили там, где догнала их внезапная смерть. Правда, Стригаленок предложил швырнуть их тела в огонь, пожиравший кузов машины, но Федор так зыркнул на него своими глазищами, что

тот поспешно отступил в густую темень, окопавшуюся под деревьями.

Прошло еще несколько минут, и снова на юге в небо поднялась ракета. Казалось, она карабкалась уже неторопливо, солидно, как и полагается вестнику победы.

— Начать отход, — сказал Каргин и только сейчас почувствовал, что почему-то ломит все тело. Так ломит, будто с непривычки всю-то ноченьку дрова колол, стога метал, рыл окоп полного профиля или еще что-то подобное делал.

— Как все просто! И нисколечко не страшно! — восторженно сказал кто-то из новеньких.

Каргин довольно усмехнулся.

6

Что Авдотья схвачена и подвергнута допросам, Василий Иванович узнал неожиданно, можно сказать, случайно. Просто услышал разговор двух полицаев о том, что старая ведьма по-прежнему только лается нещадно и — ни слова в ответ на вопросы. В голосах полицаев звучало неподдельное уважение к той женщине, и Василий Иванович захотел взглянуть на нее, чтобы потом, если представится хоть малейшая возможность, попытаться помочь ей. Может быть, быструю смерть принять и тем от пыток спастись. Но обязательно помочь. Поэтому и завернул в камеру допросов.

Сначала не узнал Авдотьи: на полу, темном от крови, привалившись обмякшим телом к стене и судорожно дыша, сидела совершенно седая старуха. В ее лице не было ни кровинки. И вообще, если бы не хриплое дыхание, с трудом дававшееся Авдотье, ее можно было бы принять за мертвую.

И все-таки в ее лице было что-то знакомое до боли, и он подошел поближе, склонился над ней. Однако и теперь не сразу узнал. Лишь когда она открыла глаза и взглянула на него, сначала отчужденно, стеклянно, а потом — осознанно, у него непроизвольно вырвалось:

— Авдотья?!

Золотарь, самодовольно щурившийся за его спиной, моментально подался вперед и вкрадчивым голосом спросил:

— Знакомая ваша?

Однако Василий Иванович уже снова полностью владел собой, он спокойно, даже с некоторой иронией взглянул на своего помощника и ответил:

— И вам, как лицу, руководящему местной полицией, следовало бы знать ее... Она — жена Аркадия Мухортова.

— Мухортова? Того самого? — то ли усомнился, то ли испугался Золотарь.

Василий Иванович не удостоил его ответом. Исключительно для того, чтобы дать почувствовать: сказанное начальником полиции не подлежит сомнению.

— Она бродила по деревням и такое плела, что сказать способна только ярая большевичка, — словно оправдываясь, начал пояснять Золотарь.

— Интересно, а что запели бы вы, окажись на ее месте? Неужели забыли, что за полгода она всю семью потеряла? Причем в смерти двух последних мальчишек ваш дружок Свитальский повинен... Может, она от горя с ума сошла?

Последнее подброшено как своеобразная приманка. Авось Золотарь ухватится за нее, чтобы хоть как-то оправдаться в глазах своего начальника? Нет, начальник полиции не утверждал, что эта женщина сумасшедшая, он высказал только свое сугубо личное предположение. Не больше.

Золотарь упрямо наклонил лобастую голову и буркнул, будто выругался:

— Я медицинского образования не имею, никогда не горел желанием копаться в человеческих кишках.

Василий Иванович мог бы пошутить с намеком: дескать, насколько я понимаю, именно это и есть ваша сегодняшняя слабость. Словно поощряя служебное рвение Золотаря, сказать такое. Мог и осадить, заявив, что с начальством таким тоном разговаривать недопустимо. Но положение создалось настолько сложное, что попробуй мгновенно решить, как лучше и правильнее себя вести, чтобы и самому под коварный удар не подставиться, и Авдотье участь облегчить.

То, что он уже высказал, никак нельзя поставить ему в вину: он просто установил личность задержанной и высказал свое мнение в отношении ее умственных способностей. Ошибся в диагнозе? Тоже не криминал: и с опытнейшими профессорами подобное случается, а он — всего-навсего простой мужик.

Страшило, заставляло быть настороже другое: как сейчас поведет себя Авдотья? Надломленная допросами, узнав его, не наговорит ли она чего лишнего? Возьмет, к примеру, и скажет хотя бы о том, что человека из леса тайком на деревенском кладбище захоронили? Случится такое — соизвольте, пан Шапочник, дать объяснение, соизвольте выворачиваться. Да еще и так, чтобы рядышком с Авдотьей не оказаться.

А уж пан Золотарь из кожи вон вылезет, лбищем своим стену сокрушить попытается, но все сделает для того, чтобы навсегда убрать со своего пути Опанаса Шапочника.

За считанные мгновения все это промелькнуло. Поэтому Василий Иванович будто бы и оставил без внимания слова своего помощника, просто повернулся и ушел. Словно его нисколечко не волновала дальнейшая судьба Авдотьи.

В полном смятении чувств остался пан Золотарь в камере допросов. С одной стороны, он абсолютно правильно действовал, когда арестовал и допрашивал эту старуху, которая в нескольких деревнях призывала народ к партизанщине, во весь голос кричала: «Или мы безмозглые бараны, чтобы стоять в хлеву и ждать, когда и нам фашисты горло перережут?»

Много настоящих свидетелей должны подтвердить это...

Когда же полицейский, случайно оказавшийся поблизости, сделал попытку арестовать ее, эта старуха из складок своей юбки выхватила гранату. Вот и попятился, ретировался полицейский. Чтобы, как он утверждает, не свою жизнь обезопасить, а затаиться и, изловчившись, обезоружить эту большевистскую агитаторшу.

Врет, подлец, перетрусил, конечно, и все тут...

Однако он же и молодец: выждав момент, бросился на старуху и, разумеется, запросто спеленал ее.

Самое же обидное — этого пан Золотарь и сегодня не мог простить старой ведьме — без запала была та граната.

Уже за одно то, что полицейского при народе опозорила, эта старуха самой мучительной смерти достойна!

Однако нельзя забывать, нельзя мимо ушей пропустить и то, что изволил молвить пан Шапочник. Конечно, ему, пану Золотарю, наплевать на всю психологию, лично он фаталист и свято верит, что никогда не утонет тот, кому суждено быть повешенным. Разве хоть сколько-то оправдывает эту старуху то, что она всю семью почти враз потеряла? Что ж, в жизни случается всякое. Не выдержала, свихнулась после такого удара? Опять же — судьбой послано ей это испытание на жизненную прочность. И сама она виновата в том, что оказалась неподготовленной к нему и сломалась.

Не было у Золотаря и капельки жалости к Авдотье. Он, глазом не моргнув, растер бы ее в порошок, если бы...

Самое поганое — ничего конкретного не сказал проклятый. Опанас! Казнишь или на все четыре стороны эту ведьму отпустишь — все равно ты один в ответе будешь, если высокое начальство начнет спрос: как, что и почему?

Окончательно доконал его Генка, вдруг вернувшийся в камеру допросов. Он подошел и прошептал, обдавая дыханием:

— Учти — он рукастый.

«Рукастый» — следовало понимать: и у самого у него руки длиннющие и мертвой хваткой наделены, сожмут — захрустят ребрышки, как у Свитальского; и к фон Зигелю он подход соответствующий знает, почти после каждой беседы с ним свою личную выгоду имеет.

Что ж, спасибо за напоминание...

Интересно, по собственному соображению или по подсказке чертова Опанаса заявился сюда Генка?..

Очень вежливо — на «вы» — матюкнулся пан Золотарь и почти выбежал из камеры допросов, хлобыстнув дверь: пусть хоть заживо сгниет здесь эта старая ведьма, а он больше пальцем не шевельнет, пока конкретных указаний не получит!

7

Что такое счастье? На этот вопрос еще недавно Нюська без долгих размышлений ответила бы так: она лично, сколько себя помнит, все время мечтала о любящем муже; и чтобы он видный из себя был, с положением и заслугами, пусть и малыми, но людьми признаваемыми. Как приложение к такому мужу дом — полная чаша: пожелай чего — пожалуйста, дорогая, вот оно!

Совсем недавно таким виделось ей счастье. Не общее для народа какой-то страны или всего мира, а ее личное, можно сказать, только ей и нужное.

А вот теперь она жила под одной крышей с любимым. Как соседка или близкая родственница жила, не больше. Он, как и раньше, еще в Слепышах, держался с ней ровно, ни разу ни словом, ни взглядом не обидел. Но даже и малюсенького шага к сближению не сделал. Больше того, вернувшись поздней ночью, иной раз он даже поесть бывал не способен; посидит за столом в кухне, накурится вдоволь, словно этого в полиции нельзя себе позволить, а потом, ни слова не обронив, уходит в свою горницу — самую малую в доме, — завалится там на кровать.

Сразу засыпал или только лежал — этого она не знала: ни разу не осмелилась непрошеной заглянуть к нему.

И в доме, хотя он просторный, хотя под рукой для услуг — только захоти! — всегда мигом появится Генка, такой сообразительный и ухватистый, что бровью поведи — твое желание поймет и в лучшем виде исполнит, — при всех этих-то условиях в доме только и есть то, без чего прожить невозможно.

И все равно Нюська была счастлива. Счастлива от сознания того, что может быть полезной Василию Ивановичу — постирать его латаную гимнастерку, обед сготовить.

Каждый вечер Нюська с нетерпением ждала его прихода, в тайниках сердца сберегая надежду, что, может быть, уже этой ночью произойдет то, чего она так ждала. Но сегодня, услышав его шаги на крыльце, еле удержала себя, осталась в кухне, где стол был почти накрыт: так ей надо было высказать все, что само рвалось из сердца. А он, как всегда, умывался обстоятельно, долго растирал полотенцем шею и лишь потом подошел к столу и сел, устало облокотившись на него. У Нюськи хватило выдержки, она не обмолвилась и словом, пока он хлебал щи, пока ковырялся вилкой в картошке, обрызганной подсолнечным маслом.

Конечно, разве это еда для настоящего мужика, если нет в ней ни одного кусочка мяса? Однако по теперешнему времени и это благодать, о которой другие и мечтать не смеют. Правда, на второй или третий день после вселения сюда Нюська с помощью Генки все же раздобыла курочку, радовалась, как дите малое, пока ее варила. Но больше ни на что подобное не осмеливалась, с нее хватило и того, что в тот раз он вообще за стол не сел, только и сказал, будто последними словами обложил:

— Не хватало, чтобы и для моего брюха народ грабили!

Кончил он есть, потянулся за кисетом — Нюська быстренько убрала со стола посуду, не вымыла, а просто свалила ее в таз с водой и с шитьем подсела к нему так близко, что почти касалась его плеча. Он глянул на нее удивленно.

— Сегодня днем тебя один человек искал. Не здешний, — тихо сказала Нюська.

Распирало, ох как распирало Нюську любопытство. Прежде всего, конечно, хотелось знать, кем был подослан этот человек? И по какому такому тайному вопросу? Ведь и ребенку ясно, что тому, кто начальника полиции по официальному делу ищет, нечего глазами вдоль улицы зыркать, нечего голос до шепота понижать.

Виду не подал Василий Иванович, как напряглось все в нем, когда Нюська выложила эту новость. Ну и денек выдался! Еще не успел прийти в себя после того, как Авдотью увидел, — потребовал к себе Зигель и тоном приказа сказал, что уже с завтрашнего дня основная обязанность пана Шапочника — сбор продовольствия для потребностей Великой Германии и ее вермахта; пану Шапочнику надлежит лично сопровождать специальную команду, выделенную для сбора продовольствия; взять с собой несколько полицейских и уже этой ночью начать объезд деревень; чтобы с рассветом быть в первой из них, выехать ночью.

— Дозвольте узнать, что и сколько брать в каждой деревне? — попытался хоть что-то прояснить Василий Иванович.

Фон Зигель пронзительно посмотрел на него, словно попытался прочесть невысказанное, и ответил бесцветным голосом:

— У старшего специальной команды есть и список деревень, и инструкция, где все сказано.

Теперь Василий Иванович понял главное, о чем не захотел сказать Зигель: не только еще раз обобрать деревни, но и жестоко покарать кого-то — вот для чего едет специальная команда. Зачем полицейских и его подключили к ней? Во время этой карательной акции они будут, возможно, только в оцеплении или даже просто наблюдателями. Чтобы задубели у них нервы и, если она еще есть, окончательно притупилась самая обыкновенная человеческая жалость; чтобы потом можно было, в душе посмеиваясь, сказать этим полицейским и ему, Василию Ивановичу: «Хотя и не вы были самыми активными участниками ТОЙ карательной акции, но ведь вы участвовали в ней? Советы не прощают подобного. А мы полностью доверяем. Настолько доверяем, что ЭТУ операцию поручаем вам».

Короче говоря, к тому фашисты дело ведут, чтобы получилось как в пословице: коготок увяз — всей птичке пропасть.

Как белый свет, бесконечно стар этот прием. Издавна им пользовались уголовники, чтобы накрепко привязать к себе сообщника. Кровью привязать.

Разгадал Василий Иванович тайную мысль Зигеля, но в ответ только и пробормотал:

— Слушаюсь, господин комендант...

Вернувшись в кабинет, лишь о том и думал, как бы уклониться от возложенного на него. Сказаться больным? Пришлют Трахтенберга или кого другого и мигом на чистую воду выведут. А случится такое — говори спасибо, если только из начальников с треском выгонят. Скорее же всего...

Ничего не смог придумать Василий Иванович, с головной болью пришел домой, надеясь хоть здесь отдохнуть от черных дум, терзавших весь день, а тут Нюська возьми и выскажись! И вот перед ним возникла еще одна задача, которую нужно тоже решать как можно быстрее, и только правильно.

Прежде всего, кто искал с ним встречи? Связной от Николая Павловича? Очень даже возможно: ведь он, Василий Иванович, никого не предупредив, сменил и должность, и место жительства. Вот и пришлось его разыскивать. Однако, если так, почему тот человек сунулся к Нюське? Считает ее любовницей? Это нисколько его не оправдывает: не каждая даже хорошая жена знает, что поручается или доверяется ее мужу. Вот и выходит, тот человек допустил грубую промашку...

Постой, постой, а почему ты все время цепляешься за связного от Николая Павловича? Разве какой-нибудь враг не может подослать провокатора?

— Повтори как можно точнее, как вы встретились и что он тебе сказал, — попросил Василий Иванович, постаравшись скрыть от Нюськи свою тревогу.

Однако не удалось ему это. Нюська участливо и пытливо глянула на него, немного подумала и начала:

— Ей-богу, ни разу не встречала его!.. Такой он... Со всех сторон неприметный!.. Подошел, глазками по сторонам стреляет и шепчет мне: «Передай своему, что мне встретиться с ним во как надо». — И она ребром ладони провела по горлу.

— А дальше?

— Ничегошеньки. Сказал и ушел... Нет, вру: еще велел, чтобы ты один по улице гулял, а он сам к тебе подойдет. Я ему вслед глядела, так он ничего, нормально шел.

И тогда Василий Иванович задал вопрос, который сейчас волновал его больше всего:

— Меня-то он как назвал? — И добавил, чтобы хоть немного замаскировать главное: — По имени или фамилии?

Нюська ответила убежденно:

— Нет, он просто сказал: «Передай своему...»

Хоть за это спасибо...

— Авдотья здесь. В подвал брошена, — сказал он, чтобы сменить тему разговора. — Ходила по деревням, народ в партизаны звала. В открытую все это орала.

— Вот уж дура так дура! — негодующе всплеснула руками Нюська. — Ты-то с ней разговаривал? Чем оправдывается?

— В ней жизнь чуть теплится, а ты...

Почему-то только после этих слов Нюська вдруг поняла, в какую беду попала Авдотья. Сразу исчезло негодование, сразу вместо него народилась самая обыкновенная бабья жалость, под воздействием которой порой и невероятно глупое свершается. Вот и сейчас, будь ее, Нюськи, воля, она немедленно бросилась бы к Авдотье, обняла бы, прикрыла бы своим телом. Но Нюська только прошептала:

— Неужто нельзя ей помочь?

Василий Иванович пожал плечами.

Разговор оборвался. Нюська тихонько всхлипывала, жалеючи и Авдотью, и всех прочих страдальцев, и саму себя, жизнь у которой почему-то идет так кособоко. А Василий Иванович курил одну цигарку за другой и все думал, думал. Об Авдотье — может быть, если основательно еще покумекать, найдется для нее спасительная лазейка? О том, кого и за что фашисты намерены покарать, и нельзя ли тех, над кем беда нависла, хотя бы предупредить? Наконец, и о самом себе, о том, что все складывается у него — хуже не придумаешь, из огня да в полымя его все время бросает! Даже подумалось, что на фронте легче было. И решал за тебя кто-то из старших. И только самая обыкновенная смерть подстерегала тебя там. А здесь на хитрющие козни на каждом шагу натыкаешься.

Едва скорый рассвет тронул окно серой краской, явился Генка и доложил:

— Все в сборе, пан начальник!

На ремне, которым Генка перетянулся поверх пиджака, у него висели четыре немецкие гранаты с длинными деревянными ручками; кроме пистолета, сегодня был еще и автомат — вороненый, без единой щербинки и даже царапинки.

— Иди, я сейчас, — невольно заторопился, даже засуетился Василий Иванович: вот оно, неотвратимое...

Нюська молча смотрела на то, как он надевал пиджак, как хлопал руками по карманам, проверяя, там ли все то, чему быть надлежало. Потом он понял, что просто обязан сейчас сказать Нюське что-то ласковое, успокаивающее. И пробормотал:

— Ты... Знаешь, не думай, ложись спать, и все...

Две машины с солдатами выделил фон Зигель, а в третьей — головной — ехали полицейские. Восемь человек. Василий Иванович — рядом с шофером, хмуро глядевшим только перед собой. А дорога знай себе неспешно раскручивалась и раскручивалась под колесами машины. Василий Иванович как-то машинально, словно они были на втором и даже третьем плане, видел и ели, замахивавшиеся своими мохнатыми лапами на машину, и просветленные березовые рощицы, будто зазывающие искупаться в росной траве. Он словно проснулся лишь тогда, когда по обе стороны дороги зачернели пепелища — все, что осталось от Слепышей. Он отчетливо видел и единственный подсолнух, осмелившийся приподняться над бурьяном и крапивой, и забытое кем-то старое ведро, уже тронутое ржавчиной.

Невольно полезло в голову, что вот здесь, на этом истрескавшемся от времени бревне, они с дедом Евдокимом не раз сиживали не столько разговаривая, сколько думая о жизни. А на этой черной от копоти печи, бывало, спал он, Василий Иванович...

Выехали за околицу — Василий Иванович нарочно перевел глаза на руки шофера. Они судорожно вцепились в баранку. Недавно шоферит или боится въезжать в лес, который вот-вот расступится перед машинами, чтобы потом сразу же окружить их угрожающе черной молчаливой стеной?

Боялся Василий Иванович глянуть на то место, где тогда нашел Клаву с мальчонками, потому и смотрел не отрываясь на руки шофера.

Сначала он не услышал автоматных очередей. Он просто удивился, с чего это вдруг в лобовом стекле появились круглые дырочки, от которых во все стороны моментально брызнули трещинки. А потом ему обожгло руку и бок.

Скорее инстинктивно, чем осознанно, он рванул дверцу кабины и выбросился в придорожные кусты, как только мог плотно прильнул к земле и замер, боясь даже дышать.

Прошли секунды полной растерянности — услышал, что из леса били только два автомата. Били длинными, на весь магазин, очередями. Потом увидел и грузовик, в кабине которого сидел еще недавно. Он горел, уткнувшись радиатором в ствол матерой разлапистой ели. Как раз в то время на нем взгляд остановил, когда вдруг, взметнув к небу ревущие языки пламени и клубы сероватого дыма, пошли огнем нижние ветви. Еще мгновение — и вся ель стала огненным вихрем, в котором словно растаял кузов машины.

Двух других машин Василий Иванович не видел, но знал, что они были где-то близко и сзади: оттуда по темному и уже беззвучному лесу били винтовки, автоматы и даже оба пулемета, что каратели тащили с собой. И, прижав здоровой рукой бок, откуда по всему телу разливалась тупая боль, он подумал, что сейчас неизвестные смельчаки уже отходят, что фашисты и полицаи только напрасно патроны жгут: в такой чащобе, как эта, любая пуля не больше метров двадцати пролетит, а потом обязательно в какой-нибудь ствол вопьется.

Уже минуты две или три не отвечали из леса автоматы, а тут все строчили и бахали. И тогда, пересиливая боль, Василий Иванович поднялся с земли, вышел на дорогу и осмотрелся. Ни солдат, ни полицаев видно не было. Тут и пришло в голову, что ему выгоднее быть раненым серьезно. И он нарочно картинно упал на дорогу.

Хотя он и не ждал этого, первым подбежал к нему Генка, опустился на колени и завопил на весь лес:

— Пана начальника ранило!

Этот крик и упорное молчание леса взбодрили всех, каждому, кто еще недавно прятался за ствол дерева и вел огонь вслепую,

теперь захотелось оказаться на виду, быть максимально активным, и многие столпились вокруг Василия Ивановича. Только не таким человеком был Генка, чтобы свое счастье из рук выпустить: он самолично и перевязку сделал, и на носилки помог уложить Василия Ивановича. Проделал это так заботливо, с таким искренним состраданием, что Василий Иванович вместо нагоняя только и спросил:

— Где же ты, сукин сын, был, когда по мне стреляли?

— Так они же по вам страсть как пуляли! А вы замаскировались — лучше невозможно. Смел ли я своим появлением выдать ваше убежище? — не моргнув глазом, ответил Генка.

Что ж, Генке это вранье необходимо для того, чтобы за благовидной причиной понадежнее упрятать от глаз высокого начальства свою трусость. А Василию Ивановичу разве в убыток будет, если все, по воле Зигеля оказавшиеся здесь, это же самое утверждать станут? Будто только на него, начальника местной полиции, и охотились те, которые после неудачного нападения в лесу скрылись?

И он закрыл глаза, даже поморщился, словно на него внезапно обрушился приступ сильной боли.

Все полицейские были так преданы своему начальнику, что немедленно изъявили желание лично доставить его в госпиталь. Да и солдаты, чувствовалось, были не прочь оказать ему посильную помощь. Однако начальник специальной команды оказался непоколебимым в желании выполнить приказ; единственное, на что он согласился, — разрешил раненого положить в кузов одной из машин, чтобы довезти до ближайшей деревни, откуда на подводе и отправить в госпиталь.

8

Однако в это утро машины не дошли до места назначения: положили раненого начальника местной полиции в кузов, тронулись, только миновали ель, стрелявшую огненными искрами в предрассветные сумерки, — натолкнулись на завал. Три огромные ели, скрестив мохнатые ветви, лежали поперек дороги. Там, где ветви топорщились особенно яростно, виднелся кусочек фанеры. На нем было четко выведено: «Заминировано!!!»

Ни саперов, ни добровольцев, которые вызвались бы разминировать завал, среди солдат специальной команды не оказалось. Поэтому, расстреляв из автоматов и пулеметов насупившийся лес, машины осторожно развернулись и резво побежали обратно, в Степанково.

Доложив фон Зигелю о случившемся, начальник специальной команды самоуверенно заявил, что лично он сегодня же прорвется к деревне, указанной в приказе, если ему будут выделены саперы и еще хотя бы взвод солдат вермахта, а не этого сброда, именуемого полицией.

Фон Зигель будто не улышал последних слов, он будто даже забыл и о начальнике специальной команды, и о других офицерах, безмолвно и неподвижно стоящих в его кабинете. Очень долго молчал господин комендант. Так долго, что начальник специальной команды осмелился напомнить о себе:

— Господин гауптман, я...

Фон Зигель поднял на него свои холоднющие глаза, выдержал паузу, необходимую для того, чтобы этот молокосос осознал всю глубину своей вины, и сказал почти шепотом:

— Я прекрасно слышал и понял все, что вы изволили здесь наболтать. Дать вам саперов и роту солдат вермахта?

— Только взвод, господин гауптман, — уточнил тот, чувствуя, как холодеет спина.

— Вы сказали: «Хотя бы взвод...» Я не дам вам ни одного солдата, ни одного сапера. Я приказываю вам немедленно ехать к тому завалу и лично сорвать фанерку, которая вас заставила забыть о том, что вы — солдат фюрера. Лично сорвать! — Тут фон Зигель немного помолчал, давая утихнуть желанию разразиться криком. — Или вы действительно настолько наивны, что думаете, будто русские станут нас предупреждать о своих минах?

И, чтобы не сорваться на крик, он махнул рукой, давая знать, что больше никого не задерживает.

На цыпочках, словно от постели умирающего, вышли все из кабинета. А еще через несколько минут мимо комендатуры пропылили машины с солдатами и полицейскими. В кабине головной рядом с шофером сидел начальник специальной команды. Лицо его было спокойно, он с нескрываемым пренебрежением смотрел только прямо перед собой.

Проводив взглядом машины, фон Зигель не спеша встал, вышел из-за стола и несколько раз прошелся по кабинету. И мысли его были об одном: вот и началось то, о чем в недавней частной беседе предупреждал гебитскомендант; узнав о новом наступлении вермахта, немедленно активизировались местные партизаны. Дружно активизировались, чтобы отвлечь на себя хоть какую-то часть сил вермахта, так необходимых там, на фронте.

Выходит, все эти партизанские банды связаны друг с другом? Может быть, даже подчиняются одному какому-то центру?

Этот вывод, родившийся так просто и неожиданно, почему-то успокоил фон Зигеля, и он, пробыв в одиночестве еще какое-то время, вызвал дежурного по комендатуре и сказал ему обыденно, словно и не с неприятностей начался этот день:

— Передайте доктору Трахтенбергу, что я прошу его навестить раненого.

После этого не прошло и часа, как Трахтенберг, сжав губы так, что они стали полоской, осмотрел раны Василия Ивановича, обработал и перевязал их. Потом, тщательно вытирая руки полотенцем, которое подала побледневшая и осунувшаяся от переживаний Нюська, он многозначительно сказал:

— Рана всегда есть рана.

Нюська, которая с того момента, когда Василия Ивановича почти внесли в дом, была сама не своя и будто напрочь потеряла способность мыслить, только теперь выпалила то самое сокровенное, что терзало ее все это время:

— Скажите, жить он будет?

Трахтенберг, еще когда ему передали просьбу (понимай — приказ) господина коменданта, сразу же подумал, что визит к начальнику полиции будет обязательно оплачен. Весь вид Нюськи и особенно этот ее вопрос уничтожили последние слабые сомнения. Теперь ему требовалось только безошибочно определить, что следует сказать этой женщине, чтобы плата была наиболее щедрой. Может быть, правду? Что одна пуля прошла через мягкие ткани плеча, не повредив ни костей, ни важных кровеносных сосудов, а вторая — чуть царапнула ребро? Что эти ранения нисколечко не опасны для жизни?

Безусловно, это должно обрадовать и самого раненого, и его сожительницу. Но велика ли будет от этого польза ему, доктору Трахтенбергу? Конечно, отблагодарят, но... один раз!

Кроме того, в это смутное время только глупец способен рваться в драку, а умный... Он должен радоваться каждой, даже самой малой возможности хоть на время уйти в тень.

Поэтому Трахтенберг ответил:

— Жизнь наша в руках божьих... — выдержал нагнетающую паузу и добавил, будто пошутил: — ...и лечащего врача.

Генка, который все это время столбом торчал у окна, теперь метнулся за дверь и буквально через несколько секунд вернулся, остановился позади Нюськи и чем-то увесистым коснулся ее ноги. Нюська недоумевающе оглянулась. Хотела огрызнуться, но сразу же увидела кошелку, аккуратно прикрытую чистой тряпицей. И выхватила у Генки эту кошелку, сказала, склонившись в поклоне:

— Примите, не побрезгуйте...

Трахтенберг приношение принял как должное. И к двери прошел степенно, сохраняя на лице маску непроницаемости. Однако у порога остановился и сказал, старательно подбирая и выговаривая слова:

— Я есть лечащий врач. Я буду делать визит раз каждый день.

Все — и офицеры комендатуры, и Золотарь, и просто полицейские, — все учли, что сам господин комендант проявил интерес к раненому начальнику полиции. И почти весь долгий день поскрипывали ступеньки крыльца того дома, где жил Опанас Шапочник; одни приходили исключительно для того, чтобы справиться о здоровье и выразить свое сочувствие, а другие, претендующие на какую-то особую близость, являлись с продуктовыми приношениями, осмеливались даже давать советы вроде того, что господину начальнику надлежит беречь себя; или у него нет верных помощников?

А пан Золотарь даже инициативу проявить попытался:

— Если не возражаете, я пришлю людей, чтобы крыльцо подправили. Скрипит нещадно окаянное.

— Зачем же уничтожать то, что мне самому надобно? — приподнял бровь Василий Иванович.

— Не понял вас, — чистосердечно признался Золотарь, подавшись вперед лобастой головой.

— Скрип тот — моя тайная сигнализация.

— Ага, вот оно как...

Только к ночи перестали стучаться в дверь те, кто набивался в друзья. И тогда Василий Иванович согнал с лица дежурную улыбку, которая все эти часы костенела там, и сказал устало:

— Слава богу, отмучался на сегодня.

И тут Нюська почти упала к нему на грудь и забилась в плаче, судорожно впившись пальцами в его плечи. Василий Иванович растерялся, он только и смог здоровой рукой поглаживать ее вздрагивающую спину:

— Ну чего ты ревешь, чего?

Глава пятая

1

Под вечер, после такого жаркого дня, что даже в лесу не ощущалось прохлады, с внешней заставы доложили Каргину, что видят начальника штаба бригады. Дескать, по всем признакам идет он в расположение роты и будет там минут через пятнадцать. Это донесение почему-то обрадовало Каргина. Он пробежал пальцами по пуговицам гимнастерки, проверяя, застегнуты ли они. Однако ответил абсолютно спокойно, вроде бы даже равнодушно:

— Себя не обнаруживайте, а он пусть шагает.

У первых шалашей, где жили бойцы роты, встретились Каргин и начальник штаба бригады.

— С утра ждешь или случайно на моем пути оказался? — спросил старший лейтенант, пожимая руку Каргина.

Не принял Каргин шутливого тона, ответил серьезно:

— Как только доложили о вашем появлении, с того момента и вышел встречать.

— Не выкай! Забыл, что меня Костей зовут?.. Кроме того, кому-кому, а друзьям и вовсе только правду говорить надо. Застава-то твоя, ну та, которая меня окликнула, почти в километре отсюда. Между прочим, когда прошел ее, нарочно оглянулся и заметил, что ни один из них даже не шелохнулся. Или ты специального скорохода держишь? Может, телефонами обзавелся?

— Так то наша, так сказать, внутренняя застава тебя чуток пощупала.

— Имеешь и внешние? Сколько? На каком расстоянии от лагеря?

— Во всю глотку отвечать или погодить малость? — улыбнулся Каргин искренней заинтересованности Пилипчука. Немного помолчал, потом сказал, сделав рукой приглашающий жест: — Прошу до штаба. Там на все вопросы отвечу точно. И документацию, какая имеется, покажу.

— Только одно сейчас скажи: телефоны имеешь?

— Пока только два.

— И один из них установил на самом опасном направлении, на той самой заставе, которая первой засекает представителей штаба? — захохотал Пилипчук, ткнул Каргина кулаком в грудь и зашагал по еле заметной тропке.

В штабной землянке, вырытой в густом ельнике и прикрытой накатом из толстых бревен, Пилипчук придирчиво проверил и схему охраны лагеря роты, и всю прочую документацию, которой сам же и приказал обзавестись. Потом вдруг заговорил о погоде, о том, что сейчас для трав и леса дождь во как нужен. До тех пор болтал о всякой ерунде, пока Каргин не перебил его вопросом:

— Чтобы на бога поплакаться, в роту ко мне и пожаловал?

Тогда, сразу посуровев, Пилипчук достал из своей планшетки карту, бережно развернул и разложил ее на столе.

— Гляди, — только и сказал он, чуть отшатнувшись к земляной стенке.

Самая обыкновенная карта европейской части СССР лежала на столе. Оттого, что она вмещала лишь меньшую часть Родины, на которой не только целые области и края, но даже и некоторые республики отсутствовали, Каргин с особой болью подумал, что фашисты много советской земли захватили.

Особенно кольнула в самое сердце недавняя штриховка, в черный цвет окрасившая и Донбасс, и весь Крым.

И еще Каргин увидел на карте огромный синий клин, начинавшийся от Курска и упирающийся в Воронеж. Здесь этот клин раздваивался на два пунктирных кривых рога, один из которых обходил Москву с востока, а второй устремился к низовьям Волги. Около этих рогов торчали большие знаки вопроса. Каргин понял: Пилипчуку неизвестно, куда теперь ударят фашисты — на окружение Москвы или на юг.

— Сам с любовью все это вычерчивал или ихние генералы для сведения прислали? — вот и все, что способен был сказать Каргин, бессильный скрыть раздражение.

— А ты не злись: злость — никудышный советчик, — так же зло осадил его старший лейтенант. — Или газет не читаешь? Уже забыл, что недавно Совинформбюро сообщило? Только за последние два месяца из Франции, Бельгии и Голландии фашисты перебросили на советский фронт двадцать две дивизии. Да еще в Италии, Румынии, Венгрии и Словакии бесноватый наскреб

до семидесяти дивизий и бригад! И финские войска на севере!.. Вот какая силища сейчас против нас прет.

После той первой встречи с командиром бригады Каргин сравнительно аккуратно получал немногие газеты, которые причитались его роте. А еще в роте теперь была и своя партийная группа, которая одной из первейших обязанностей считала организацию всевозможных бесед с партизанами. Поэтому Каргин знал о падении Севастополя, о том, что теперь в руках фашистов весь Крым очутился. Знал и об ударе врага на Воронеж. Однако до этой минуты почему-то считал: от Москвы вас, подлюг, отшвырнули — то, так сказать, задаток, а основное вот-вот выдано будет. Теперь же, увидев карту, он вдруг опять, как и в прошлом году, когда узнал о намерении врага штурмовать Москву, почувствовал, что просто обязан немедленно сделать что-то такое, что-то такое...

В землянку заглянул дежурный по роте. Он именно заглянул, а не вошел, и Каргин понял, что нет у него ничего спешного, вот и сказал, словно отрезал:

— Занят я!

Дежурный исчез, осторожно прикрыв за собой жиденькую дверь.

— Так вот, товарищ Каргин, слушай боевой приказ: поднять роту и форсированным маршем следовать к Заливному Лугу. Знаешь такой? Иди туда и занимай оборону с западной стороны. Вот в этом самом месте, где к нему тракт ближе всего подходит. — И старший лейтенант уже на другой карте, которую достал из той же планшетки, показал Каргину участок, где ему надлежало стоять в обороне.

Похоже, начальник штаба бригады ждал вопросов, но Каргин молча нанес на свою карту границы нового участка обороны роты и стал неспешно собирать свое немногочисленное личное имущество, укладывать его в трофейный солдатский ранец, обшитый кожей.

— И не спросишь, чем вызван этот приказ? — даже обиделся Пилипчук.

— Сам скажешь, если положено, — буркнул Каргин.

— Большая земля, Ваня, в одну из ближайших ночей к нам самолет обещает прислать.

Каргин, согнувшись, застыл над своим ранцем.

— Чего глаза таращишь? — довольный эффектом, засмеялся Пилипчук.

— В такое трудное для всей страны время — и вдруг нам самолет...

— Именно потому, что оно такое трудное, и надо встретить самолет в лучшем виде! Чтобы комар носа не подточил! — и вовсе расшумелся старший лейтенант. И невозможно было понять, отчего он так взвинтился: то ли от злости, что врагу многое удалось, то ли от радости, что с Большой землей прочная связь наконец-то устанавливается.

В землянку снова и уже более решительно заглянул дежурный по роте.

— Входи, докладывай, — разрешил Каргин.

Только сказал это — в землянку вошли Федор с Юркой. Юрка зачастил с порога:

— Понимаешь, товарищ Каргин, да окажись я на его месте, я бы тому сукину сыну...

— Тебе кто слово дал? Кто тебя сюда пригласил? — насупился Каргин, хотя в душе был рад и появлению друзей именно в этот момент, когда начальник штаба бригады вывалил на него столько нового, и тому, что заговорил Юрка, а не дежурный, которого он недолюбливал за излишний педантизм, за то, что этот дежурный даже с пустяками норовил явиться к командиру роты.

— Да разве этот рохля доложит так, чтобы вы поняли? — еще больше поднял голос Юрка, даже шагнул было вперед, но Федор сцапал его за плечо, рывком спрятал за свою спину и заговорил не спеша, как это случалось с ним только в минуты холодного бешенства:

— Боец Сергей Соловейчик дал в морду Стригаленку. За дело врезал. А этот, — кивок на дежурного по роте, — сразу к вам с докладом побежал. Говорит, чепе произошло.

— Конечно, чепе, если бойцы одной роты меж собой мордуются, — тоже зло отпарировал дежурный по роте.

Первым побуждением Каргина было — прикрикнуть, пристыдить товарищей. Дескать, на фронтах такое творится, над Родиной беда с новой силой нависла, командование бригады нам ответственное задание доверило, а вы... Но вовремя вспомнил, что они еще не знают того, что недавно стало известно ему. Да и правда сейчас на стороне дежурного: большое чепе случилось, если бойцы задрались друг с другом. И он глянул на старшего лейтенанта, будто намеревался спросить у него совета. Однако тот отошел в глубь землянки, давая понять, что во внутренние дела роты вмешиваться не намерен.

— Давай сюда Соловейчика, — распорядился Каргин и нахмурился еще больше: он никак не мог вспомнить бойца с такой фамилией; а это отвратительно, это очень плохой признак.

Но едва боец Соловейчик вошел в землянку, Каргин узнал его: это был тот самый парень, который так страстно хотел вернуться домой, чтобы помогать парализованной матери. И лицо парня — с тонкими, почти идеально классическими чертами — говорило о том, что он может увлекаться стихами, музыкой, рисовать картины — в общем, иметь склонность к чему угодно, только не к мордобою.

— Если дело такой оборот принимает, то и Стригаленка надо сюда, — сказал Федор. — Для полной справедливости.

Каргин будто не услышал его замечания, он спросил спокойно, даже доброжелательно, глядя в широко открытые глаза Соловейчика:

— Расскажи, что у вас там вышло.

Соловейчик пошевелил губами, даже открыл было рот и тут же плотно сомкнул челюсти, насупился.

— Самое безобидное оно, начало-то, было, — опять вступил в разговор Федор. — Сидели мы в тени под кусточком и трепались... О разном... Потом Стригаленок и сказанул...

— Не надо, я сам! — Теперь Соловейчик смотрел прямо в глаза Каргина, смотрел с отчаянной решимостью. — Он сказал... Он сказал, что я не доверяю маме, потому и рвусь домой.

— Не доверяешь? Своей матери?.. Да какие у Стригаленка основания на то есть, чтобы обвинять ее в измене Родине? — изумился и возмутился Каргин.

— Он в том смысле «не доверяю» сказал, что... Он сказал, что я вру, будто она парализованная, а на самом деле боюсь, как бы к моему возвращению у меня не появился брат. Рыжий! В того Ганса, что при мне к соседке хаживал!

— После этих слов Серега и врезал ему, — поставил точку Юрка.

Какое-то время в землянке царила тишина. Тяжелая, будто предгрозовая. Сокрушил ее Каргин. Он подошел к Соловейчику и сказал, подталкивая его к выходу из землянки:

— Ты, Сергей, иди, занимайся своим делом, иди... А со Стригаленком я лично поговорю.

Таким многообещающим тоном были сказаны последние слова, что, переглянувшись, Юрка, Федор и дежурный по роте поспешили откозырять.

— Может, забрать этого Стригаленка от тебя, куда-то в другое место определить? — предложил начальник штаба бригады, застегивая планшетку, куда уже спрятал обе карты.

Конечно, любому начальнику очень желательно побыстрее и полегче избавиться от дряни, обнаруженной в коллективе. Мелькнуло подобное желание и у Каргина. Однако он сумел подавить его и ответил с легкой грустью:

— Нет, Стригаленка я пока никому не отдам. Для его же пользы, для пользы общего дела пока не отдам... Знаешь, что он мне скажет, когда песочить его стану? — Каргин дурашливо вытянулся и сказал, глядя прямо в глаза Пилипчуку: — «Виноват, товарищ командир. Хотел пошутить, а вышло...» Нет, пока не отдам. У нас он выпрямится или... А за главное ты не переживай: ходоки мы хорошие, да и времени в запасе достаточно, так что точно на позиции будем.

2

Петру снилось, будто он лежит дома на полатях, а мать, отстряпавшись, почему-то одна сидит за столом, уставленным едой, и грустно смотрит на окно, завешенное одеялом. Ее неподвижность и то, что она смотрела на окно, завешенное одеялом, волновали Петра, он пытался встать и не смог: кто-то большой и

сильный прижимал к полатям. Тогда он рванулся отчаянно, готовый насмерть бороться с неведомой силой, пытавшейся сковать его.

— И чего ты бесишься? — услышал он голос Мыколы Сапуна, услышал явственно, совсем рядом, и понял, что и мать, и стол, уставленный едой, — все это лишь приснилось. А Мыкола продолжал гундосить: — Бужу тебя, бужу — не шевельнешься, будто помер, хотя и посапываешь носом. А потом вдруг так рванулся, что башкой своей лицо мне чуть не раскровянил.

Петро проснулся уже окончательно, он уже вспомнил, зачем они с Мыколой пришли в эти края и как, найдя вместо Слепышей лишь пожарище, убежали в лес, сидели там и спорили о том, как им следует поступить теперь. Петро тогда прямо заявил, что надо возвращаться к Григорию, считал, что предложение его — единственно разумное, поэтому очень удивился, когда Мыкола возразил, помотав головой:

— Не в моих правилах, пообещав, с половины пути вертаться.

— А что мы с тобой сейчас сделать можем, что? — стоял на своем Петро. — Или ты знаешь, где искать Василия Ивановича теперь?

— Кого искать? Как ты его назвал? — моментально вцепился Мыкола, какое-то время помолчал в ожидании ответа, а потом заговорил, будто продолжая думать: — У одного человека — два имени... Выходит... Тут и ребенку малому должно быть ясно, что из этого вытекает... Может, в Степанково след его нащупается?.. Кем он, говоришь, у вас в деревне был?

Кем Василий Иванович был в Слепышах — об этом Петро словом не обмолвился, об этом Григорий упомянул, когда задание давал. Поэтому Петро промолчал. А Мыкола, похоже, и не ждал ответа, он вел свои рассуждения:

— Если он одновременно был старшим полицейским и старостой деревни, то и следы его около полицаев искать надо... Вместе в Степанково пойдем или как? — спросил тогда Мыкола и сам себе ответил: — Нет, одному мне будет спокойнее. Вдруг ты на знакомого там нарвешься?

Он снова исчез на весь долгий летний день, а Петро отсиживался в лесу. И нисколечко не боялся: почему-то верил, что Мыкола на подлость не способен.

Вернулся Мыкола только перед самым заходом солнца. Выложил из карманов семь картофелин, краюху черствого хлеба и лишь тогда сказал:

— Большой, по теперешним временам — огромной, шишкой он стал. В начальниках всей полиции ходит!.. До него пробиваться я не осмелился, но его чернобровку уловил, наказал ей, чтобы доложила ему обо мне. Так что завтра на свиданку с ним самим пойду.

Они, прижавшись друг к другу, скоротали ночь, а на рассвете

Мыкола опять ушел в Степанково. И вот только сейчас вернулся. Через пять суток вернулся.

Как и в тот раз, Мыкола выгрузил из карманов несколько картофелин и сказал, очищая одну из них:

— Подстрелили его.

Василия Ивановича подстрелили? Да кто осмелился поднять на него руку?

Словно разгадав его мысли, Мыкола ответил:

— Многие ли знают, кто он такой? Для народа — он вражина клятый, вот и подстрелили... Поди, жалеют, что не до смерти.

— И здорово его? — пересилив растерянность, спросил Петро.

— Разное люди болтают, — пожал плечами Мыкола.

Молча расправились с картошкой, посидели, прислушиваясь к шорохам ночи. Первым опять заговорил Мыкола:

— Завтра вместе в Степанково пойдем. Надо наверняка моментом пользоваться, пока они сняли оцепление.

— Какое оцепление? — насторожился Петро.

— А с чего я пять суток пропадал? Все дороги, все тропочки вокруг Степанкова гады заставами перекрыли!.. Может, повезет и наскочим на нее...

— На Нюську?

— Нет, на мадам Нюсю, — поправил его Мыкола. — Тебя она знает, с тобой-то, может, и поговорит. А мне, человеку ей неизвестному, после той стрельбы одному и приближаться к ней никак нельзя: шумнет, и оборвется моя дороженька жизни!

Только несколько дней Петро пробыл вместе с Мыколой, ничего особенного за это время вроде бы и не произошло, но почему-то полностью признал в нем старшего над собой. Вот и сейчас, хотя очень хотелось спросить, а что ему, Петру, говорить надо будет, если с Нюськой встретится, он промолчал, веря, что Мыкола, когда все продумает, обязательно и подробно проинструктирует.

Когда солнце уже приподнялось над деревьями, Мыкола тихо сказал, будто скомандовал:

— Самое время, пошли.

Серединой дороги, не пытаясь укрыться от чьих-либо глаз, вошли они в Степанково. Петро сразу же заметил, что оно совсем не похоже на то, каким он знал его еще год назад. И дома те же, и люди одеты так же, но все равно не то. Будто что-то большое украдено у солнца, сверкающего на голубом небе, и у людей, среди которых Петро ни одного такого не увидел, чтобы шел спокойно, гордо, как раньше хаживали: все спешили куда-то; чувствовалось, каждый старался как можно меньше быть на виду у других.

— Вот они, его хоромы, — тихо сказал Мыкола, чуть сжимая локоть Петра.

Дом как дом. Рядом стояли такие же. Но у калитки этого неторопливо прохаживался полицай. С карабином за спиной. Да еще на крыльце сидел тот краснорожий, который раньше в Слепышах появлялся обязательно с прежним начальником полиции. Когда Демшу смерти предали. И во всех прочих подобных случаях.

Они уже почти миновали дом, и вдруг на крыльцо вышла Нюська. Она осунулась, побледнела, но, как показалось Петру, стала еще красивее. Она что-то сказала краснорожему, и тот сразу же развалисто зашагал куда-то.

В другое время, скажем, год назад, Петро просто окликнул бы Нюську или подошел к ней, а сейчас это отпадало. И тогда Петро вскрикнул и запрыгал на одной ноге, будто подвернул или поранил другую. Расчет оправдался: Нюська оглянулась на вскрик, узнала Петра и, чуть помедлив, решительно зашагала к нему. Мыкола немедленно сорвал с головы кепочку и закланялся, словно завели его, а Петро все прыгал на одной ноге и тихонько поскуливал.

Вот Нюська уже совсем рядом. Ее глаза посуровели, как только зацепились за Мыколу. Петро торопливо шепнул:

— Мы от самого Григория. С поручением.

— После обеда разочка два еще пройдитесь здесь, — так же тихо ответила она и тут же щелкнула Петра по затылку, да так ловко, что его фуражка шлепнулась в пыль.

Полицай, торчавший у калитки, одобрительно хохотнул.

Мыкола схватил Петра за руку и почти поволок его, прихрамывающего, в ближайший переулок.

Нюська, сдерживая волнение, изо всех сил стараясь не выказывать его полицейскому, степенно прошла к дому, неторопливо поднялась на крыльцо и лишь в сенях, словно враз обессилевшая, на несколько минут прильнула плечом к бревнам стены.

Думала, что совладала с волнением, но Василий Иванович только глянул на нее и сразу же ворчливо сказал, сворачивая цигарку и глядя в глаза Нюськи:

— Ну, выкладывай, что еще у тебя стряслось?

— Петька здесь, гонцом от какого-то Григория. С ним и тот, который тогда ко мне подходил.

Петька здесь? Гонцом от Григория? А почему не от Каргина?

Эти вопросы будоражили, заставляли немедленно предпринять что-то. Он уже подумал, а не позвать ли Петра сейчас, но тут Нюська в сердцах сказала, будто выругалась:

— Опять этого головастика черт несет!

Василий Иванович, матюкнувшись про себя, поудобнее улегся спиной на подушки и страдальчески нахмурился: сам Трахтенберг, который и сегодня уже побывал здесь, сказал, что пока ничего определенного, обнадеживающего обещать не может.

— Нет, нет, не беспокойтесь, я только на секунду забежал. Чтобы глянуть на вас, справиться о здоровье, — начал пан Золотарь, едва перешагнув порог.

Василий Иванович, улыбнувшись как мог радушно, все же пригласил его присесть, сказал, что раны основательно побаливают, но он уповает на милость божию, немецкого доктора и лекарства, на которые так щедро командование вермахта.

Про лекарства и Трахтенберга приплел исключительно для того, чтобы еще раз подчеркнуть: вот, мол, я какая важная персона, для моего быстрейшего выздоровления господин комендант ничего не жалеет; даже самого начальника госпиталя ежедневно для осмотра присылает.

Когда из-за ранения Василий Иванович оказался не у дел, стало правилом, что, справившись о здоровье, Золотарь сразу же начинал выкладывать новости, вернее — те сведения, слухи и просто сплетни, которые дошли до него за истекшие сутки. Так, позавчера он вдруг доверительно сообщил, что засуха набирает силу. Таким тоном об этом сообщил, будто Василий Иванович сам не знал, что около месяца в районе Степанкова не выпадало ни одного дождя и поникли травы, потеряли свежесть, стали жестковатыми и почти хрупкими резные листья берез, что кое-какие болота обезводели и многие аисты откочевали куда-то, оставив на крышах домов свои гнезда, сейчас похожие на самые обыкновенные кучи хвороста.

Да, здорово все подсушило...

А ведь где-то поблизости играют грозы! По ночам, когда в распахнутые окна не вползает самой ничтожной прохлады, до Степанкова доносятся приглушенные расстоянием раскаты грома или небо полыхает беззвучными зарницами...

Правда, вчера разговор получился интересным, хотя начало его было самым обыденным: Золотарь восторженно отозвался о сводке гитлеровского командования, которую слышал утром, дескать, вермахт здорово дает советским.

То, что сейчас происходило на фронтах, волновало Василия Ивановича значительно больше, чем долгое отсутствие дождей. Настойчиво, как только могли громко, кричали гитлеровцы о новых своих победах, которые будто бы косяком идут и будто бы с 8 мая. И невольно в душу закрадывалась тревога: чем больше фашисты трубили о своих победах, тем неистовее хотелось Василию Ивановичу узнать правду. Пусть горькую, но только ее: жизнь уже убедила, что во всю глотку гитлеровцы орут лишь о том, что выгодно для них; Василий Иванович знал точно, что они о чем-то умалчивают. Но о чем? О какой своей неудаче?

Из разговоров раненых Василию Ивановичу было известно, что 11-я армия овладела Керчью и Севастополем, что 28 июня войска армейской группы «Вейхс» начали наступление из района Курска, а 30-го из района Волчанска пошла вперед и 6-я гитлеровская армия. Раненые болтали, что это наступление вермахта подготовлено так тщательно, как ни одно другое: спланированы и рассчитаны суточные переходы танковых колонн и пехоты, потребное для этого наступления количество снарядов, бомб, мин, бензина, продовольствия и всего прочего, без чего не обойтись

любой армии на войне. Дескать, даже о колючей проволоке позаботились! О той самой, которая потребуется для ограждения лагерей будущих военнопленных.

Все это Василий Иванович уже знал, но Золотарь, высказав восхищение сводкой командования вермахта, вдруг понизил голос до шепота и сказал:

— Понимаете, пан Шапочник, а ведь эти победы вермахту огромной крови стоят. Солдаты прямо говорят, что после тех боев за Керчь и Севастополь иную ихнюю дивизию в батальон запросто свести можно было.

Сказал это Золотарь и пытливо уставился на Василия Ивановича: разволнуется или сохранит спокойствие?

Василию Ивановичу, похоже, удалось скрыть свои чувства, и Золотарь поспешил подстраховаться:

— Однако общее настроение у доблестных солдат вермахта бодрое, они верят, что эта летняя кампания закончится их победой!

Василий Иванович не только кивнул, он даже бормотнул, дескать, иного исхода и быть не может, хотя в душе возликовал: признание в больших потерях — свидетельство того, что настроение у гитлеровских вояк не очень-то хорошее; они здесь, в глубоком вроде бы своем тылу, не могут забыть тех недавних боев.

Тут же невольно пришло в голову, что Зигель, пожалуй, еще верит в скорую победу вермахта: уж очень спокойно он выслушивает утренние рапорты дежурных по комендатуре, хотя почти в каждом из них обязательно упоминается о нападении неизвестных злоумышленников на какой-нибудь полицейский пост, на солдат вермахта или на небольшую колонну машин, следовавшую ночью без должной охраны.

Новость о больших потерях фашистов Золотарь принес вчера; интересно, а с чем он пожаловал сегодня?

Золотарь не заставил долго гадать. Он, убедившись, что Нюська вышла из горницы, достал из кармана пиджака несколько листков бумаги и сказал, исходя радостью и усердием:

— Специально для вас, пан Шапочник, достал.

Василий Иванович глянул на листки и проворчал:

— Уже забыли, что я немецкого текста не читаю?

— Помилуй бог, разве можно допустить подобное? — обиделся Золотарь. — Для вас мы переводник данного документа изготовили. В единственном экземплярчике.

Перевод был исполнен на машинке, читался легко, но Василий Иванович, чтобы справиться с волнением и получше запомнить текст, читал медленно, вглядываясь в каждое слово этой новой инструкции гитлеровской верхушки: «...Следует воспитывать у немецких солдат чувство беспощадности... Следует поощрять солдат, своими действиями вызывающих страх перед германской расой... Никакой мягкотелости по отношению к кому бы то ни было, независимо от пола и возраста...»

Воспитывать у немецких солдат чувство беспощадности... Куда же больше быть беспощадным?! Ведь и сейчас честь и жизнь советских людей для солдат вермахта не представляют никакой ценности!

Но спросил Василий Иванович спокойно, даже вроде бы скучающе:

— У вас, пан Золотарь, этот документ породил какие-то мысли?

— Так точно, породил. А что, если и мы разработаем подобную же инструкцию? Для нижних полицейских чинов? Так сказать, поддержим и разовьем... Я уже и проектик набросал.

И вот в руке Василия Ивановича еще несколько листков, но теперь уже заполненных убористым почерком Золотаря.

— Хорошо, я ознакомлюсь... Только не кажется ли вам, пан Золотарь, что вы с огнем играете, большую политическую ошибку допустили?

— В каком смысле? — насторожился Золотарь.

— В прямом. Не слишком ли смело вы задумали приравнять в правах наших полицейских к солдатам вермахта? Быдло к чистокровным арийцам приравнять?

Теперь на лице Золотаря без малейшего усилия читались растерянность и самый вульгарный страх. Немного помолчав, он попросил:

— Позвольте, пан Шапочник, я изорву их...

— Зачем же? Я еще подумаю. Может, вы не зря трудились? — ответил Василий Иванович. И тут же сказал, будто вспомнив то, о чем давно следовало сказать: — Да, распорядись-ка мне дров завезти. Как гласит народная мудрость, готовить сани надлежит летом, а телегу — зимой. И лучше всего — долготье пусть привезут. Чтобы во дворе у меня его и пилили. — И добавил, словно стесняясь своей слабости: — Понимаешь, за годы каторги, которые пришлось советской Сибири подарить, полюбил я ширканье пилы. Оно для меня — что для другого соловьиное пение.

Пан Золотарь понимающе склонил голову и заверил:

— Сам прослежу, чтобы сегодня же привезли. Сам же и занаряжу полицейских на их распиловку.

— Зачем же полицейские? — то ли от недовольства, то ли от боли поморщился Василий Иванович. — Они тяжелую службу правят, они вот как свой короткий дневной отдых заслужили. Вы только прикажите дрова доставить, а мы с Генкой уж сами найдем, кому их пилить.

Сказал это Василий Иванович и будто в изнеможении уронил голову на подушку. Пан Золотарь, хотя и заметил, что начальство изрядно актерствует, виду не подал, он просто поспешил откланяться.

Часа через два или около того во двор въехала подвода с метровыми поленьями. Нюська как рачительная хозяйка вышла встречать ее, сама и указала, куда сложить дрова. Именно сло-

жить, а не свалить, как намеревался возница. После обеда Василий Иванович наконец-то почувствовал некоторое облегчение и с помощью Генки и Нюськи перебрался к окну. Он первым и увидел мужика с мальцом, вышагивающих по дороге.

— Кто такие? Вроде бы не наши, не степанковские, — сказал Василий Иванович, не спуская с них глаз.

— Прикажете уточнить? — с охотой предложил Генка.

— Уточни... Хотя нет, просто подгони их к моему окну.

Генка рысцой вывалился за калитку и повелительно замахал рукой мужику, дескать, шагай сюда.

— Кто такие будете и почему здесь околачиваетесь? — сурово спросил Василий Иванович, как только они, обнажив головы, замерли под окном.

Ответил мужик, склонившись в поясном поклоне:

— Не извольте гневаться, из Куцевичей мы. У свояка гостевали...

— Видал, Генка, что творится? — вовсе насупился Василий Иванович. — Лето — для крестьянина самое горячее время, а они базарят его, по гостям шастают! И ведь, поди, за столом бражничая, плачетесь, дескать, герман продыха не дает?

Ох и грозен в своем гневе был начальник полиции, так грозен, что Генка невольно положил руку на маузер. Чтобы сразу достать его и выстрелить, как только приказание на то последует.

Однако свою гневную речь начальник закончил неожиданно мирно:

— У вас полно свободного времени, а у меня дровишки имеются. Вот и разделайте их. И поживее... А работу у вас моя баба примет. Она и скажет Генке, что вам за нее причитается: плети или каравай хлеба.

Здорово старались пильщики, из кожи вон лезли, чтобы потрафить. Пожалуй, запросто смогли бы часа за три или четыре с дровами расправиться, если бы не баба пана начальника: она такой въедливой оказалась, что то одного, то другого на помощь себе в дом требовала. Вот и получилось, что не пилили, а маялся с двуручной пилой один из пильщиков, пока второй в доме молотком стучал или что другое делал.

Только после первых звезд закончили пильщики работу. Как и обещал, пан начальник дал пильщикам каравай хлеба, но не отпустил с миром, а велел запереть на ночь в сараюшку, строго наказав дежурным полицейским:

— Приглядывайте за ними. Если совесть у них хоть одно черное пятнышко имеет, они обязательно утечь попытаются. Заметите такое — бейте насмерть.

Но пильщики за всю ночь голоса не подали, даже шевеления какого не произвели. Сам пан начальник, когда утром едой подзаправился, отпустил их, приказав впредь по гостям не шастать, а прилежно трудиться в своем личном хозяйстве, трудиться на благо Великой Германии, которая их усердие обязательно заметит и вознаградит сторицею.

Так в один голос рассказывали сменившиеся с дежурства полицейские, когда пан Золотарь будто бы мимоходом и случайно поинтересовался и пильщиками, и тем, как они работали.

После такого рассказа пану Золотарю и в голову не могло прийти, что пильщики, побывав в доме пана начальника полиции, не только плотно поели, но и четкий наказ получили: передать Григорию, что он обязан взять под свою защиту всех жителей Слепышей, теперь скрывающихся в лесу, и как угодно, но в ближайшее время установить связь с Каргиным или командиром какого другого партизанского отряда.

Мыкола Сапун шагал бодро, весело: задание выполнено аккуратненько! А Петро, хотя и не отставал от него, был погружен в свои невеселые думы. Он все ломал голову над тем, почему Василий Иванович так долго прижимал его к себе и молчал, почему на вопрос, где сейчас мама, ответил лишь после очень длительного молчания:

— Я и сам, Петро, ничего толком не знаю о ее судьбе.

Петру казалось, что Василий Иванович утаил от него что-то очень страшное.

8

Счастье привалило нежданно-негаданно: в самую жарынь, когда, казалось, даже молодые елочки одурели от зноя, к Григорию подбежал один из бойцов и доложил, что в поле зрения появилось пять подвод с мукой и в охране при них только четыре полицая.

— В ружье! — бросил Григорий, схватил свой автомат и поспешил к дороге, даже не проверив, бегут ли за ним остальные.

Взглянул на дорогу — убедился, что доклад почти точен: по ней действительно ползли пять подвод, нагруженных мешками, похоже — с мукой, и в охране — четыре полицая. Единственное, о чем умолчал связной, чему не придал значения, — полицаи разомлели от жары и просто плелись рядом с концевой подводой, не глядя по сторонам; настолько верили в безопасность дневного перехода, что карабины свои небрежно побросали на мешки с мукой.

Были при обозе и возчики: два пацана, у которых усы только собирались пробиваться, и женщина, так укутавшая платком лицо, что виднелись лишь глаза. От палящего солнца оберегалась или от глаз полицаев пряталась?

Срезать полицаев одной очередью — проще простого. Это Григорий определил сразу. Но ему очень хотелось предстать перед своими подчиненными в самом выгодном свете. Невероятно этого хотелось: ведь уже больше недели минуло, а от Мыколы с Петром даже малой весточки нет; все глаза за эти дни проглядели, в засаде сидючи, а эти пять подвод — единственное, что

судьба послала. Долго ли при таком счастье авторитет растерять?

Самое верное средство утверждения авторитета, как искренне считал Григорий, — проявить личную храбрость. Поэтому, дав рукой товарищам знак — затаитесь! — Григорий вдруг вышел на дорогу один и в тот момент, когда до полицаев оставалось метров пять или чуть побольше. И молча остановился, держа руки на автомате. Один стоял, а будто всю дорогу перегородил.

Его появление было столь неожиданным, что полицаи на какое-то время будто окаменели. На несколько секунд будто окаменели, но и этого ничтожно малого времени оказалось вполне достаточно, чтобы подвода, на которой лежали их карабины, отгородилась от них улыбающимся Григорием.

Прошло оцепенение — полицаи, даже не переглянувшись, метнулись в лес. И тут же один из них упал головой к корням березы, а трое распластались в пыли дороги, срезанные очередью Григория.

— Ловко ты их! — Вот и все, что сказал дед Потап.

Одобрительно шумнули и остальные. Только товарищ Артур нахмурился и не спеша пошел к подводам, которые, свернув с дороги, уже стояли в тени берез. Молча осмотрел телеги, похлопал по холке одну из лошадей и лишь тогда спросил у парнишки, таращившего на него восторженные глаза:

— Комсомолец? В бога, конечно, не веруешь?

Спросил и сразу же, потеряв к нему интерес, повернулся к парнишке спиной, отошел в сторону и достал из кармана кисет — подарок деда Потапа.

Григорий, довольный собой и тем, как товарищи отреагировали на его действия, уже распорядился раздеть полицаев, забрать все их обмундирование, а тела затащить в лесную глухомань и бросить там.

— На что нам их тряпье? — попытался возразить кто-то.

Григорий сразу осадил его:

— Разговорчики!

Выдержал соответствующую паузу и пояснил:

— Мундиры ихние, может, еще и нам послужат. — И, словно только сейчас заметив возчиков, подошел к ним, спросил: — Откуда родом и почему оккупантам служите?

Ответил самый хлипкий с виду парнишка, ответил по-настоящему зло:

— А ты бы не пошел с подводой, если в нее твоего единственного коня запрягли?

Никогда не имел Григорий собственного коня. Зато когда-то (теперь казалось — очень давно) был у него собственный инструмент — набор ключей, молоток, зубило и все прочее, что слесарю-водопроводчику могло всегда пригодиться. Не было у Григория ничего дороже этого инструмента. Вот и понял он парнишку, не обиделся на его вызывающий тон. Только спросил, глядя лишь на него:

— Куда ты теперь своего коня направишь, за какую вожжу дернешь?

— Теперь ты им вместо меня правишь!

Опять Григорий правильно понял его. Действительно, куда теперь можно было податься ему, если не к партизанам? Дома сразу схватят и замордуют. Единственное, чего не смог понять Григорий, так это грубости парнишки, такого хлипкого с виду. И спросил:

— Ты, случаем, бешеной собакой не кусан? Ишь как без всякого повода на людей бросаешься.

Парнишка в ответ какое-то время только моргал до удивления глубокими глазами, потом покраснел и ответил еле слышно:

— Это я так... Чтобы вы трусами нас не посчитали...

Было это сказано с такой непосредственностью, что улыбнулся даже товарищ Артур.

Григория очень тянуло хотя бы несколькими словами перебросится и с женщиной, которая упорно держалась позади парнишек, словно они в трудную минуту могли защитить ее, но все же пересилил себя и скомандовал, глядя на деда Потапа:

— Давай прокладывай тропу на нашу базу.

Шли без дороги, выписывая замысловатые узоры, шли ходко и малейшую возможность использовали для того, чтобы замаскировать следы колес. Когда тени деревьев стали значительно длиннее и не такими густыми, какими были в полдень, Григория догнал товарищ Артур и сказал:

— Каждый человек живет по своим собственным законам. И еще по законам тех людей, которые рядом... На личный закон человека никто не имеет права посягать, если он не против общего...

— Ты, товарищ Артур, когда со мной разговариваешь, дипломатию и философию разную побоку, понял? Сознаюсь: я не шибко грамотный, так что от всех этих словесных украшений меня только тошнить начинает, — бесцеремонно перебил его Григорий.

— Командир не имеет права вызывать на себя вражеский огонь.

— Так они же без оружия были! — осклабился Григорий.

— Без карабинов, — уточнил товарищ Артур и тут же добавил: — Но у любого из них в кармане мог быть пистолет. Или граната.

Григорию и самому уже несколько раз приходило в голову это же. Но сознаться в ошибке он еще не мог и ответил нарочито небрежно:

— Замнем этот вопрос, а? Ведь все обошлось.

— Я не привык спорить со старшими, я сейчас замолчу. И жаловаться никому не стану, вообще никому не скажу об этом разговоре, — еще больше нахмурился товарищ Артур.

Дальше шагали молча, избегая глядеть друг на друга. Первым не выдержал Григорий. Он вдруг засмеялся и сказал, коснувшись рукой плеча товарища Артура:

— Сдаюсь, признаю свою вину. Может, перекурим этот неприятный для меня разговор?

Пока шли до шалашей, узнали, что мука — первый помол мельницы, которую на прошлой неделе гитлеровцы восстановили и заставили работать в Мытнице, что везли ее на какую-то железнодорожную станцию, откуда прямой путь ее в Германию; а пять подвод — все, что удалось наскрести в Мытнице. Прочих лошадей фашисты еще в прошлом году и весной угнали куда-то; обещали обязательно и вскорости вернуть, да разве можно им верить?

У шалашей до тех пор разговоры разные вели, пока дед Потап не заявил, что вот-вот валенком раскроит голову любого, кто хоть слово еще скажет.

Позубоскалили по поводу этой угрозы, но улеглись. Все, кроме двух, которые ушли в охранение. Прошло минут десять, не больше — засопели сладостно, словно не на голой земле лежали, а на пуховых перинах нежились. Григорию не спалось, растревожило его замечание товарища Артура, ой как растревожило. Прежде всего потому, что внутренне Григорий был глубоко убежден: подчиненные не должны видеть недостатков у своего командира, ибо тот обязан служить для них примером во всем, большом и малом. И невольно думалось, что у него, Григория, к сожалению, недостатков — больше некуда. А что вытекает из этого? Изживай их, недостатки свои, или передай командование достойнейшему!

До самого рассвета проворочался Григорий в шалаше, всю ночь провоевал с комарами, которые, казалось, на него одного и нападали. Рассвело настолько, что каждый листик видно стало, — он встал, по пояс умылся из ведра, чего раньше никогда не делал, и решительно зашагал к женщине, которая копошилась около чугунка, висевшего над небольшим костром.

— Слышь, тетка, у тебя, случаем, в юбке или еще где нет иголки с черной ниткой? — выпалил он на одном дыхании и сразу же будто со всего разгона на стену налетел: сегодня она была без головного платка, сегодня она не прятала лица и оказалась не теткой, а девахой лет восемнадцати, и притом — красивой.

Это открытие было столь неожиданным, что он только и пробормотал:

— И откуда ты такая взялась на мою голову?

Она зарделась от удовольствия, однако ответила просто, словно заранее знала, что он обратится к ней именно с этой просьбой:

— Снимай свою рубаху, зашью.

Она зашила не только ту прореху, на которую указал Григорий, но и еще несколько, правда, значительно меньших.

— Сменная рубаха у тебя есть? Чтобы эту состирнуть? — вдруг спросила она, когда он сунул голову в подол гимнастерки, которая, как казалось ему, уже посвежела от одного того, что побывала в ее руках. — Или она и есть все твое богатство?

Последние слова обидели, и Григорий зло врезал:

— Молода еще, не понимаешь, что не рубаха главное богатство мужика!

По-хамски ответил, но остался доволен собой и зашагал к деду Потапу, зашагал так решительно и важно, будто бы в генералы недавно произведен.

Почти до обеда они втроем — дед Потап, товарищ Артур и Григорий — муку прятали: пока яму для нее вырыли, пока устлали ее пихтовым лапником, время и пролетело. Особенно старательно — маскировали. Чтобы никто, если ему не положено знать, и не заподозрил бы здесь тайника.

Закончили маскировку — перекурили. Только вдавив в землю окурок, Григорий спросил:

— Ты, дед Потап, как-то обмолвился, что поблизости озерко есть? И будто рыбное оно страсть, и будто у тебя там даже лодка припрятана?

— С малолетства врать не приучен, а сейчас вроде бы и поздновато эту науку постигать, — почти обиделся дед Потап.

— Может, пока особых дел нет, заглянем туда? Товарищ Артур в командование за меня на это время вступит, а мы только взглянем на то озерко — и обратно.

Если бы не дед Потап, запросто прошел бы Григорий мимо того озерка: плотной стеной вокруг него стояли ивняки, крапива почти в рост человека. Небольшое озерко — всего метров сорок в длину и тридцать или двадцать пять в поперечнике.

Пока дед Потап вычерпывал воду из лодки, притопленной у берега, Григорий молча сидел на трухлявой колоде. Потом вдруг спросил, глядя на черную воду:

— Глубина-то здесь подходящая? Человека скроет или нет?

— На самой середке, помнится, вожжи дна не достали, — ответил дед Потап, по-хозяйски с веслом усаживаясь на кормовое сиденье. — Прокатиться или какую другую задумку имеешь?

Григорий решительно шагнул в лодку и сказал, махнув рукой в сторону середины озерка:

— Правь туда, на самую глубь.

В прибрежных кустах, не поделив чего-то, ссорились птицы. А Григорий, раздевшись до исподнего и зажав ладони коленями, сидел неподвижно и угрюмо смотрел в черную воду, которая, казалось, с каждой минутой все ближе подбиралась к верхней кромке бортов лодки.

— Так вот, дед Потап, как мои дела обстоят, — наконец сказал Григорий. — Плавать-то я вовсе не умею. А должен уметь! Потому сейчас сигаю в эту проклятую воду. А ты без крайней нужды меня за волосы не хватай, сначала дай мне вдоволь воды нахлебаться.

Сказал это, взглянул на деревья, наблюдавшие за ним, и плашмя плюхнулся в воду.

Она расступилась, пустила его в свою глубину.

4

Сколько дней ее не терзали на допросах — этого Авдотья не знала. Сначала просто бездумно радовалась отдыху, негаданно выпавшему ее истерзанному телу, а потом, когда боль кое-где притупилась, стала терпимой, все же попробовала вести этот счет. По куску хлеба попробовала: его бросали в камеру только раз в сутки.

И тут вдруг поняла, что живой ее отсюда не выпустят. Даже за самые сказочные богатства не выпустят.

Осознала это — теперь будто бы и не было холода, впивавшегося в ее тело от бетонного пола (почти все время она лежала на клочке полусгнившей соломы — единственном казенном имуществе, имевшемся в камере). Лежала, закрыв глаза, и думала, думала. Как бы заново шла по своей жизни. С того самого дня по всей своей жизни прошагала, какой первым помнился. До последних, теперешних.

Ох, какой круглой дурой все эти годы она была! Всю свою короткую жизнь непробиваемой дурой была!

По-иному бы пройти весь этот путь с начала, да нет такой возможности. И никогда больше не будет. Как говорится, жила-была Авдотья, маялась, ребят рожала, и вот уже нет ее...

Нет, Авдотья не боялась смерти, с первого допроса звала ее как избавительницу от нечеловеческих мук. Сейчас она с большой обидой на себя и с грустью думала лишь о том, что после ее смерти не останется на земле даже слабого следа от ее жизни. Словно и не жила она вовсе, только в списках кое-каких значилась — вот как теперь все обернулось.

Действительно, что она оставляет людям в память о себе? На годы оставляет?

Может, только Петро — ее кровиночка первая! — и зашагает дальше по жизни. Одного его только и уберегла, он один, может быть, и уцелеет от ее еще недавно такой голосистой семьи...

Постой, постой, а в чем ее личная заслуга, ежели Петро живым останется?

Правда, вырос он башковитым, не по годам серьезным. И за мужика по хозяйству хлопотал, и за няньку при младших сестренках и братишках состоял. Только разве она таким его сделала? Нет, все само собой получилось. Может, люди добрые подсказали ему, когда и что делать надлежит, может, и в школе надоумили. А она... Она, если говорить честно, толком даже не знала, чему его там, в школе, учили. Она только радовалась, что он без сучка и задоринки из класса в класс переходил, что на родительских собраниях, которые она раз в год обязательно посещала, в его адрес ни одного упрека не было.

И живой он сейчас (если только живой) не потому, что она для его спасения что-то такое особенное сделала. Витька-полицай спас Петра...

Почему это человек лишь в самые последние часы жизни своей вдруг понимать начинает, где, когда и какую ошибку он совершил, почему к дряни прильнул, а от хорошего человека отшатнулся?

Вот она до самого последнего времени Опанаса Шапочника побаивалась, не верила ему. Вроде бы и много хорошего за ним подозревала, не раз ловила на себе взгляд его ласковых и жалеющих глаз, а все равно не верила, и все тут...

И Витька-полицай, хотя он и спас Петра, не был для нее настоящим авторитетом. Вот самовольно и ушла из лагеря, вот одна и поперлась по деревням, надеялась своим корявым словом пробудить народ.

Ох, как невозвратимо поздно человек свои промашки осознает...

За ней пришли глубокой ночью. По тому, как одеревенело стояли полицаи у дверей камеры и как вкрадчиво-ласково, старательно пряча глаза, один из них сказал, что ее на допрос требуют, она поняла все. Пересилив боль, поднялась с гнилой соломы довольно бодро, одернула юбку и пошла к двери.

— Платок-то головной возьми, дура! — вдруг обозлился один из полицаев.

— А зачем он мне? — ответила Авдотья уже за порогом камеры.

5

Как и предполагал Каргин, стоило ему вызвать к себе Стригаленка и начать разговор, тот вскинул на него глаза, переполненные раскаянием, и вытянулся — больше невозможно; казалось, если и не от этих, то уж от следующих слов он обязательно разрыдается. И Каргин, подавив тяжелый вздох, безнадежно махнул рукой: дескать, больше не задерживаю. Но Стригаленок обязательно хотел покаяться, он сказал, прижав руки к груди:

— Товарищ Каргин, да разве я мог думать...

— Голова любому человеку в первую очередь для этого и дана! — все же сорвался Каргин и, чтобы спасти себя от еще большего позора (кричать на подчиненного он считал позором), скомандовал: — Кру... гом! Шагом... марш!

Стригаленок, разумеется, ослушаться не посмел.

Потом были четыре ночи, полные ожидания обещанного самолета. Хотя подобного приказа никто не отдавал, в эти ночи бодрствовали все. Ожидали самолет, ожидали и... подпсиховывали. Однажды даже Федор ни с того ни с сего на Юрку раскричался.

Единственная радость — к Заливному Лугу фашисты в эти дни даже не приближались. Днем по тракту еще пробегали их

машины, а только начинало солнце за лес скользить — будто вымирало все вокруг.

Самолет появился только пятой ночью. Гул его моторов так взволновал всех, что даже Каргин, как-то незаметно для себя, умудрился вскарабкаться на высоченный пень и стоял там почти на одной ноге. Еле стоял, а все тянулся вверх, чтобы хоть на сантиметр, но быть поближе к звездному небу, откуда плыл ровный и мощный гул моторов.

— Разрешите, товарищ Каргин? — почему-то шепчет Юрка, хотя пока можно говорить и в полный голос.

Своими мыслями был занят Каргин, потому не понял Юрку, потому и спросил:

— Чего разрешить-то?

— Мы сбегаем, а? Только одним глазочком глянем и мигом обратно?

За спиной Юрки угадывалась почти вся рота. И Каргин, чувствуя по себе, насколько велико это общее желание взглянуть на людей, которые еще несколько часов назад были на Большой земле, сказал:

— Повзводно. Начиная с первого.

Радостным гулом ответил лес, какое-то время потрескивали сучья под ногами бегущих, и снова все стихло. И тогда Каргин спрыгнул с пня, пошел не к Заливному Лугу, а на рубеж обороны своей роты: он как командир не имел права поддаваться эмоциям.

Все бойцы роты Каргина побывали у самолета. Счастливчикам удалось даже несколькими словами перекинуться с летчиками. Незначительными, общими словами перекинуться. Но чуть позднее, уже в расположении своей роты, они убежденно врали, будто бы летчики сообщили им о том, что в Москве полный порядок и вообще во всей стране все нормально, настолько нормально, что фрицам вот-вот полный капут будет.

Самое же интересное — остальные знали, что ничего подобного летчики не говорили, но все равно очень внимательно и взволнованно выслушивали все байки, даже верили в эти искренние домыслы. Не потому ли, что больше всего хотели именно это услышать?

А о том, что из самолета выгрузили рацию, взрывчатку и новенькие автоматы, — об этом никто и словом не обмолвился. И опять же почему? К тому времени каждый уже твердо знал, что болтать о таком — себе, общему делу вредить.

Казалось, неоправданно скоро, разметав тишину ревом моторов, самолет взмыл в небо и, сделав круг, ушел на восток, ушел туда, откуда — это все точно знали — вскоре должно было появиться солнце.

Едва рассвело — на тракте подняла пыль грузовая машина, в кузове которой сидели солдаты в глубоких касках. Она была точной копией той, которую видел Каргин еще в прошлом году,

когда стоял часовым у склада. И солдаты в ее кузове сидели точно так же: плотными и правильными рядами.

Велико было желание приказать открыть по ней огонь, но Каргин уже понял, что эта машина — только разведка, что ее задача — найти ту поляну, где приземлялся самолет, и осмотреть ее. Да и бежала машина вроде бы не к Заливному Лугу, а сама не знала куда. Так стоило ли обнаруживать себя? И смолчали автоматы, винтовки и пулеметы.

Однако, пройдя еще с километр, машина остановилась. Из ее кузова выпрыгнули солдаты, раскинулись в цепь и, держа автоматы у живота, пошли в лес. Тогда и открыл огонь сосед Каргина, огонь неистовый, беспощадный. И ни один фашистский солдат не вернулся на дорогу. А вскоре, подперев голубое небо лохматым столбом черного дыма, запылала и машина.

Не успел осесть столб этого дыма — появился Пилипчук. Был он возбужден, светился радостью, сквозь которую, однако, просматривались забота и даже тревога.

— Теперь, Иван Степанович, для нас самое главное только начинается, — сказал он, присаживаясь рядом с Каргиным. — И зачем они подпалили эту чертову машину? Вот что получается, Иван, когда человек мозги свои отключает. А сегодня ночью к нам два самолета должны прибыть, один за другим... Кровь из носа, но они обязаны приземлиться благополучно!

— Только приземлиться? Разгружаться и взлетать им уже не обязательно? — подначил Каргин, которому было радостно оттого, что один самолет уже приняли, что одну вражескую машину с солдатами на тот свет уже отправили, наконец, и оттого, что так волновался начальник штаба бригады — кадровый командир; оказывается, приятно вдруг узнать, что твои слабости и другому человеку присущи.

Пилипчук шутки не принял, продолжал в том же несколько возвышенном тоне:

— Если потребуется, вы здесь костьми лечь должны, но...

— Или ты, Костя, азы военной науки позабыл? Не знаешь, не можешь предвидеть, что фашисты делать теперь станут? — не сдавал позиций Каргин.

— Считаешь, сначала долгую разведку поведут и лишь завтра, подсобрав силы, сюда заявятся?

— А как иначе, если того военная наука требует?

Ошибся Каргин: не успели они с Пилипчуком и цигарки выкурить, как появился фашистский самолет-разведчик. Над Заливным Лугом он снизился, покружил.

— Вопросы имеешь? — только и сказал Пилипчук, провожая глазами самолет.

— Яснее ясного, — вздохнув, ответил Каргин.

— Вот теперь мы все узнаем, во что нам та сожженная машина обойдется! Разве нельзя было ее потом, когда уходить станем, сжечь? — почти раскричался Пилипчук. — А ты почему сидишь здесь, бездельничаешь?

— Соответствующие приказания давно отданы. Только корректировать их по ходу боя стану.

Пилипчук пристально посмотрел на окаменевшее в спокойствии лицо Каргина и вдруг понял главное, то самое, что Иван так старательно скрывал все это время: здорово волновался Каргин, даже побаивался этого боя, который должен здесь закипеть в ближайшие часы. Это открытие на какие-то секунды обескуражило Пилипчука. Но он почти сразу же осознал, что так оно и должно быть, если Каргин нормальный человек: ведь это будет его первый бой. Тот самый, в котором он мог участвовать еще в прошлом году. Рядовым бойцом участвовать. Однако судьба не дозволила, на другой путь толкнула. Конечно, минувший год для Каргина не пропал даром, явился хорошей школой и, если быть откровенным, — проверкой характера. В течение года Каргин неоднократно грудь с грудью сходился с ненавистным врагом, безжалостно уничтожал его. Но только очень наивный и недалекий человек может сравнить те, прошлогодние, выстрелы из засад с тем, что предстояло свершить сейчас. Сегодня Каргину придется участвовать в настоящем бою, а не стрелять по одиночному фашисту. Да еще и не рядовым бойцом, а командиром роты в первом своем бою участвовать. Вот и подписиховывал Иван Степанович, поэтому и старался казаться абсолютно спокойным, даже несколько развязным, хотя у самого сердечко во как екало!

А разве он, старший лейтенант Пилипчук, не испытывал подобное, когда свой первый бой принимал?

— Хочешь, я с тобой останусь? Свяжусь с комбригом, поговорю с ним и останусь? — просто, как о самом обыденном, спросил Пилипчук.

Каргин понял, что его душевное состояние уже не тайна. Это не породило обиды, стыда или раздражения. Больше того: почему-то стало спокойнее; словно это предложение Пилипчука сил добавило. И еще Каргин понял, что, останься здесь начальник штаба бригады, — он, Каргин, как бы спрячется за его спину, бо́льшую часть ответственности с себя снимет, заявив в случае неудачи, мол, а при чем здесь я, если он командование на себя принял?

Именно вот это и ни к чему! Он, Иван Каргин, не маленький, чтобы за дядю прятаться!

Но чувство благодарности было так велико, что не позволило обиде окрепнуть, мгновенно смяло, опрокинуло ее, и Каргин ответил непривычно мягко:

— Не надо, Костя... И спасибо...

Пилипчук, словно думая, как ему следует поступить, помешкал еще несколько минут, потом решительно поднялся, даже сделал первые шаги, но все же остановился и сказал внятно, четко:

— Я не прощаюсь. Понял, Иван?

— Ага... А вообще-то... Ты не переживай. Стрельба начнется — сразу в норму войду...

6

Прошла растерянность первых дней, когда, уйдя в лес, Виктор вдруг оказался старшим над всеми недавними жителями Слепышей, — вернулись былое спокойствие и уверенность. Теперь он, свалив все хозяйственные заботы на Груню, только и думал о том, как бы побольнее куснуть фашистов. Теперь он уже точно знал, что они с Афоней не способны свершить что-то особо выдающееся, значит, надо делать посильное. Обязательно делать, и как можно чаще! И они повадились ходить на тракт, по которому в последнее время даже ночами шли колонны вражеских машин с солдатами или самыми различными грузами. На двадцать и даже тридцать километров от своего лагеря уходили. Вот и сегодня залегли в ельнике у того же тракта. Уже третий час лежали, а единственное, что увидели, — семь порожних грузовиков, которые, пластая ночь на куски лучами фар, прошумели куда-то на запад. В самом начале ночи это было. И с тех пор никого и ничего. Но они, покуривая поочередно в рукав, чтобы даже искорки со стороны кто не заметил, терпеливо лежали под облюбованными елками. И молчали: о чем говорить, если все, что может сегодня произойти, не только обговорено до последней мелочи, но и отработано в прошлые разы?

А к разговорам о чем-то постороннем, к сегодняшнему делу не относящемуся, душа не лежала.

И вдруг тракт пересекли две тени и остановились буквально в нескольких метрах от того места, где лежали они.

Виктор с Афоней без слов и жестов поняли друг друга и бесшумно поползли к тем, которые теперь беспечно стояли посреди маленькой полянки то ли в ожидании еще кого-то, то ли просто так, отдыхая или гадая, куда направиться. Подползли к ним так близко, что неизвестные оказались вовсе рядом — шагни вперед и ударишь автоматом. Тогда Виктор тихо сказал, сказал спокойно и так весомо, что те обязательно должны были понять главное: если ослушаются, расплата последует незамедлительно:

— Бросить автоматы.

— И побыстрее, — добавил Афоня с противоположной опушки полянки.

Минутное замешательство — и два автомата, чуть звякнув, упали на землю.

— Отойти от оружия на пять шагов, — дожимал Виктор, стараясь как можно полнее воспользоваться их растерянностью.

И это приказание было выполнено.

— Афоня, забери их железяки, а всем прочим — продолжать держать на прицеле этих голубчиков.

Только теперь, когда Афоня завладел автоматами, Виктор встал, сделал тот самый последний шаг и остановился перед неизвестными, бесцеремонно разглядывая их. А они, два его одногодка, стояли сбычившись, чувствовалось — только ждут удобного момента, чтобы сигануть в чащобу.

— О побеге не мечтайте: уж если мы берем кого в клещи, то намертво, — усмехнулся Виктор. — Насколько я разбираюсь в лошадях, вы к полиции особой любви не питаете?

Парни переглянулись, но промолчали.

— Кто такие? Откуда будете?

И на эти вопросы ответа не последовало.

Пока шел этот односторонний разговор, Афоня быстро и сноровисто осмотрел автоматы парней: в магазинах не оказалось патронов. Это позволило сыграть в доверие, и Виктор распорядился:

— Ладно, верни им автоматы. Может, правильно оценят этот наш дружеский жест.

Парни оружие взяли, но разговорчивее не стали.

Неизвестно, каким был бы ход дальнейших событий, если бы в тишину ночи не вплелся звук многих моторов, работающих с полной нагрузкой.

Виктор смекнул, что именно сейчас он приобретет или потеряет двух товарищей, и сказал, будто ультиматум предъявил:

— Некогда нам с вами в молчанку играть! Или вы к нам присоединяйтесь или... мотайте отсюда!.. Пошли, Афоня.

Колонна вражеских машин растянулась на километр, если не больше. Шла она нахально, обшаривая лес фарами, шла уверенная в своей мощи. В первых машинах, которые промелькнули мимо Виктора с Афоней, сидели солдаты. Их автоматы были нацелены на лес по обе стороны дороги. Стало ясно: стóит дать даже самую малюсенькую очередь — немедленно забушует вражеский огонь. Оставалось одно: обстрелять концевую машину. В тот момент, когда она поравняется с местом их засады или самую чуточку минует его. Лучше — когда чуток минует.

Когда мимо прошла уже половина колонны, Виктор заметил, что скоро с ним поравняется что-то, по форме своей отличающееся от всех прочих машин. Только на мгновение фары осветили это что-то. Посоветоваться с Афоней времени не было, и Виктор просто замер в ожидании, изготовив автомат к стрельбе.

Таинственное что-то оказалось обыкновенной машиной, в кузове которой, прикрытом взыгрывающим на ветру брезентом, громоздились бочки. Полные бочки: машина, чтобы не порвать колонну, шла из последних сил.

Это уже значительно позднее Виктор стал уверять, что он сразу понял всю выгоду огневого удара именно по этой машине, дескать, верил, что, вспыхнув, она посеет панику во всей колонне. А в тот момент он лишь вскинул автомат и длинною очередью, съевшей почти весь магазин, ударил по бочкам; стрелял ли Афоня — этого не заметил.

Что было потом, ни сам Виктор, ни Афоня толком не могли рассказать. Лишь в одном сходились: после их очередей так полыхнуло, что на какое-то время они ослепли, только всем телом ощущали нестерпимый жар, метнувшийся на них от тракта. Вер-

нулось зрение — они ноги в руки — и айда, все ползком да ползком в самую чащобу!

Фашисты, опомнившись, конечно, открыли автоматный и даже пулеметный огонь. Только почему-то не в их сторону: ни одна пуля вроде бы не пропела над головой.

Может быть, и показалось, будто над ними пули не пели. Что ни говорите, а они и сами изрядно струхнули, когда на тракте началось полыхание и бабаханье.

В круговороте случившегося Виктор с Афоней совсем позабыли о тех парнях, которым вернули автоматы. Настолько позабыли, что даже опешили, когда те окликнули их.

Конечно, остановились, дали им возможность подойти. А еще немного погодя уже знали, что этих парней должны были угнать в Германию, да они сбежали почти из эшелона: суток двое в лесу от страха зубами простучали, а потом все же осмелились, пробрались к домам какой-то деревни, где и повезло отчаянно: набрели на двух пьянющих фашистов; вот и обзавелись автоматами; в одном опростоволосились: автоматы схватили, а о патронах не подумали; сколько их оказалось при автоматах — вот и весь запас.

— Так мы и стали партизанами, — закончил рассказ один из парней.

— И трофеи уже имеете? — не без ехидства спросил Виктор, который все еще находился под впечатлением того, что они с Афоней недавно совершили; ведь сзади, на тракте, по-прежнему ярились фашистские автоматы и даже пулеметы!

— На дороге у Степанкова завал из елок сделали, — начал один из парней, но второй бесцеремонно перебил его:

— И машину с полицаями обстреляли! Говорят, самого начальника полиции подстрелили!

— Жаль, что патроны кончились, вот и не добили его! — вновь включился в разговор первый из парней.

— Кого подстрелили, кого? — надвинулся на парней Афоня.

— Самого начальника полиции из Степанкова! — с гордостью повторил парень.

Афоня, казалось, вот-вот со всего плеча саданет парня, который так бы и не понял, за что его ударили. И Виктор поспешил вмешаться. Он понял не только то, что сказали парни, он уже сообразил, что нельзя сейчас раскрывать Василия Ивановича, хотя бы потому, что эти парни пока только случайные встречные. Кроме того, разве легче станет ранение Василия Ивановича, если они с Афоней сейчас основательно кулаками поработают?

Афоня, похоже, тоже кое-что ухватил, он, вздохнув, уже отошел от парней, с излишней тщательностью стал осматривать свой автомат.

— И здорово вы его?.. Того начальника? — как только мог равнодушно спросил Виктор.

Парень ответил сожалеючи:

— Только царапнули... Если бы у нас патроны не кончились, мы наверняка добили бы его!

— А на завале из елок мы фанерку укрепили. И написали на ней: «Заминировано!» Вот смеху было, когда фашисты прочли это да как шарахнутся в стороны! — взахлеб выпалил второй.

— Тебя как звать?

— Дмитрий. А это — Семен.

Виктор хотел назваться, но тут же передумал. Он только спросил:

— Завал, говоришь, сделали? Чем деревья валили?

— Пилой. Три ночи тайком ели подпиливали, чтобы потом, когда понадобится, быстро их повалить! А потом пилу бросили. Таскать ее...

— Пошли, что ли? — поторопил Афоня; он по-прежнему упорно избегал смотреть на Дмитрия и Семена.

Виктор поправил автомат, висевший за спиной, и сказал, будто отрезал:

— Если к нам примкнуть желаете, то с этой секунды мое или его слово, — кивок в сторону Афони, — для вас закон.

Сказал и пошел, даже не оглянувшись на парней. Но они потянулись за ним, стараясь шагать так же широко и бесшумно.

Афоня замкнул короткую цепочку.

Глава шестая

1

Командование бригады и рядовые партизаны — все были довольны действиями роты Каргина в том бою: и задачу по обороне она успешно выполнила, и только двенадцать своих бойцов потеряла убитыми и двадцать семь — ранеными, хотя билась с фашистами сутки; и отошла так ловко, что враг прозевал этот момент. А бросился в погоню — сразу напоролся на автоматные очереди; пока опомнился, пока к новой атаке изготовился — перед ним опять никого не оказалось.

Несколько раз так наказывали фашистов за беспечность, за излишний азарт. А потом вдруг исчезли следы партизан, и все тут. И тогда, бросив наугад десятки мин и ранив пулями автоматов и пулеметов многие деревья, фашисты прекратили преследование, вернулись к Заливному Лугу и перечеркнули, обезобразили его глубокими канавами.

Все равно Каргин хмурился, под любым предлогом старался уклониться от разговоров о событиях тех суток: он был недоволен собой как командиром. Да, это он, Каргин, приказал открывать по врагу огонь лишь в тот момент, когда фашисты начнут атаку; захлебывалась вражеская атака — немедленно обрывался огонь роты и такая тишина над линией обороны нависала,

что невольно думалось: а не причудились ли недавние взрывы и пальба? Но лес долго хранил запахи сгоревших пороха и взрывчатки.

Да, это он, Каргин, нарочно и с самого начала так вел бой: приучал фашистов к тому, что в этом лесу тишине нельзя верить. И добился желаемого: только утром, когда рота уже давненько снялась со своего рубежа обороны, фашисты повели, и то предельно осторожно, свое последнее в тот день и тоже бесплодное наступление.

Вроде бы все и задумано, и в жизнь претворено было удачно, но все равно Каргин чувствовал себя виноватым. В том виноватым, что его рота понесла такие потери: может быть, он что-то недодумал? Ведь двенадцать человек из жизни навсегда ушло!

Но сколько и как придирчиво ни искал своей ошибки, не мог ничего найти, похожего на нее. Потому и хмурился, потому и уклонялся от разговоров о том бое.

Похоже, только Костя Пилипчук и понимал его. Ведь лишь он как-то подошел и сказал, глядя в сторону:

— Такова уж, Ваня, любая командирская должность, что спать спокойно не дает. Конечно, если ты по-настоящему командир, — и сразу же перескочил на другое, давая понять, что не ждет ни возражений, ни согласия Каргина: — Честно говоря, я побаивался за твоих новеньких, думал, распсихуются с непривычки. А они ничего, нормально себя проявили.

Что верно, то верно: в бою все достойно себя вели. Даже Стригаленок, в котором Каргин сомневался больше, чем в комлибо другом. Но особенно обрадовал Серега Соловейчик: этот и патронов сравнительно мало израсходовал, стрелял, как многие свидетельствовали, только наверняка; и отходил точно со всеми и на своем месте, даже попытки не сделал опередить кого-то.

Настолько достойно вел себя в том бою Серега, что Каргин сначала даже хотел перед строем объявить ему благодарность. Но, подумав, решил повременить: разве полностью разгадаешь человека, если только в одном бою его видел?

Единственное, что придумал, — на недельку отпустить Серегу в родную деревню. Чтобы больную мать навестил, если обстановка позволит. Конечно, не в саму деревню отпустить, а просто в те края. И неделю срока решил потому дать, что дорогу туда и обратно учел, время, на разведку необходимое, сюда же приплюсовал.

Серега пришел точно в указанное время, хотя и не очень умело, зато старательно вытянулся, остановившись в трех шагах от Каргина, козырнул и выпалил, глазом не моргнув:

— Товарищ командир, боец Соловейчик явился по вашему приказанию!

Приятно Каргину было, что молодняк старается освоить азы военной науки, однако удержаться от замечания не смог.

— Это привидения в сказках да твой командир Юрка — являются, а военнослужащие, которые без заскоков, они прибывают.

Серега покраснел — вот-вот кепчонка вспыхнет, однако глаз не отвел, и голос его даже не дрогнул, когда повторил, исправляя ошибку:

— Боец Соловейчик прибыл по вашему приказанию!

— Ты вот что... Молодцом ты вел себя в том бою, и командование, — за этим словом Каргин надеялся спрятать себя, — разрешило тебе домой наведаться.

Серега, казалось, равнодушно выслушал и слова благодарности, и разрешение домой наведаться. Каргин посчитал, что это порождено растерянностью, может быть, даже некоторой боязнью появиться там, где его наверняка ищут, и начал расшифровывать свои слова:

— Наше доверие ты заслужил, а что касается прочего... Очертя голову в деревню не суйся, сначала все разведай, определи...

— Не надо, товарищ Каргин, про мой дом... Можно, я во взвод вернусь?

— Как так во взвод вернешься, если тебе такое доверие оказано? — начал сердиться Каргин.

— За доверие — спасибо... И если в разведку посылаете, то я хоть сейчас... А про дом — не надо.

— Да почему не надо-то? — окончательно вскипел Каргин.

— Они... Они убили маму. Меня забрали, а ее почти сразу же после этого и убили... Как больную, которая не может...

Не осилил Серега того, что должен был сказать, и замолчал. Какое-то время молчал и Каргин. Потом все же спросил:

— Тебе-то откуда все это известно?

Серега впервые промедлил с ответом. Этого было достаточно, чтобы Каргин понял: Юрка самовольно заглянул в те края или послал кого-нибудь. Обидело, возмутило не столько то, что Юрка сделал это самовольно, а то, что результаты разведки остались тайной для него, Каргина. Может, вся рота, и уже раз сто, обсудила данный житейский факт, а он, командир, сейчас впервые о нем услышал? Да и то случайно!

— Ты, боец Соловейчик, иди с миром, иди... А потатчику твоему... — Каргин замолчал, не найдя слов, которые смогли бы точно выразить весь гнев, обуявший его.

— Тут я, валяй, используй свою власть, — раздалось из-под лохматой ели, около которой Каргин разговаривал с Соловейчиком, а еще через три секунды — не больше — появился и Юрка.

— Подслушиваешь? — непроизвольно вырвалось у Каргина.

Только вырвалось, а он уже понял, что допустил непростительную промашку. Действительно, едва не пощечиной прозвучало это слово, и Юрка расправил плечи, глянул на Каргина уже не виновато, а зло, и зачастил:

— А кто, товарищ командир, дал вам право оскорблять бойца? Мало того, что тыкаете ему, как барин своему крепостному, вы его еще с головы до ног оскорблениями обливаете! Что, на этот район наша советская конституция уже не распространяется? Разве здесь уставы нашей армии уже не действуют?

— Ты полегче насчет конституции и уставов, — уже миролюбиво заметил Каргин, у которого, как только он глянул на разгневанного товарища и услышал его выкрики, сразу всплыло в памяти все, что довелось пережить вместе с ним; вспомнилось — и пропала всякая охота выговаривать даже за дело. И еще Каргин понял, что эта Юркина злость — игра, не больше. Юрка же не уловил перемены в настроении Каргина и продолжал с прежней напористостью:

— Почему их здесь нельзя вспоминать? Или только мне не дозволяется о них даже словом обмолвиться?

Каргин решил тоже включиться в игру, начатую Юркой, поэтому насупился до суровости, но не заорал, а сдавленно прошипел:

— А кто тебе, паразиту, позволил матюкать своего командира?

Обвинение Каргина могло иметь под собой реальную основу — распалившись, Юрка, случалось, и матюкался, не замечая этого, — и Юрка сразу сломался: заморгал глазами, даже покосился на Серегу, словно просил его подтвердить или опровергнуть обвинения Каргина. Но Соловейчик дипломатично смотрел только на ель, за которой еще так недавно прятался Юрка.

Не потому растерялся и сломался Юрка, что боялся наказания, — его испугало, обескуражило то, что, распалившись, он, похоже, сказанул такое, что больно задело Ивана, за которого он, Юрка, если потребуется, хоть сейчас на любое самое рискованное дело пойдет!

Растерянность Юрки была столь очевидной, что Каргин и вовсе оттаял и засмеялся, протягивая кисет:

— Присядем, перекурим? — И уже потом, когда они уселись на землю, усыпанную рыжими иглами: — Как же ты, дружок мой, осмелился пойти на такое дело? Подслушивать! И кого? Своего командира.

— Ей-богу, не подслушивал, ей-богу, все случайно вышло! — заверил Юрка, даже руку к сердцу прижал.

— Ну, кому врешь? — укоризненно спросил Каргин.

Очень неуютно чувствовал себя Юрка под вопрошающим взглядом добрых глаз Каргина, лихорадочно думал, как бы уклониться от прямого ответа, и тут увидел Серегу, напустился на него:

— Ты чего тут столбом торчишь? Радуешься, что с твоего командира стружку снимают?

Против ожидания Каргина, неоправданный выпад Юрки не породил у Сереги протеста. Он лишь так взглянул на Юрку, что Каргин понял: именно Юрка сейчас тот главный человек в жиз-

ни, за которого Серега будет цепляться изо всех сил. И Каргин сказал:

— Нужно ли его сейчас гнать, если самое секретное при нем было?

— Тогда... Тогда и рта не смей открывать! — Юрка окончательно выдохся и, пытаясь собрать разбегающиеся мысли, стал просеивать между пальцами рыжеватые иглы, устилавшие землю.

— Хрен с ним, с подслушиванием, — пошел на уступку Каргин, — на это мне наплевать. А вот за то, что разведку самовольно произвел и о результатах ее не доложил, — за это выговор в приказе получишь.

— Пойми ты, случайно мои ребята туда заглянули, случайно!

— Без твоего ведома будто? — вставил шпильку Каргин.

— Но ведь сведения-то не проверены? Одна бабка сказала — вот и весь источник информации! — продолжал Юрка, будто и не услышав ехидного вопроса. — Поэтому и не докладывал. Да и вообще, не с каждой же мелочью к начальству лезть, надо что-то и на себя брать?

— Беда, которая в семье бойца случилась, вовсе не мелочь, — отпарировал Каргин, нахмурившись. — Или еще что-то про запас держишь?

— В окрестных деревнях поговаривают, что фашисты на нас большую облаву готовят. Как ее? — Юрка взглянул на Серегу.

— Гроссфандунг, — немедленно подсказал тот.

— Точно, ее самую, — кивнул Юрка. — Чтобы об этом доложить, к тебе и шел, а ты...

— Хоть сейчас-то не ври, — поморщился Каргин и надолго замолчал. Сидел, курил и думал, думал. Наконец пришел к выводу, что слух о большой облаве — «утка» и рассчитан только на то, что, испугавшись, партизаны хоть на какое-то время прекратят свои активные действия, затаятся в лесах и болотах. А разве не это и нужно фашистам сейчас, когда каждая их дивизия позарез фронту требуется?

Да и не принято теперь оповещать врага о своем намерении, это раньше — при князьях разных — прежде чем войну начать, через гонца оповещали, дескать, «иду на вы». Теперь же все норовят неожиданно главный удар нанести. Чтобы с первого боя инициативой владеть.

Но мыслей своих Каргин вслух не высказал, он только молвил, вставая и рукой обивая со штанов соринки:

— Что ж, известим начальство и об этом.

Сказал и ушел, ни разу не оглянувшись. Тогда Юрка спросил о том, что волновало его все это время:

— Слышь, Серега, неужто я его?.. Как он говорит?

— Я к вашему разговору не прислушивался, — покривил душой тот.

2

Грозовая туча о своем приближении известила порывами холодного и влажного ветра, от которого зябко вздрагивали березы и тревожно шелестели листвой. Потом прогрохотал такой удар грома, что Григорию показалось, будто содрогнулась вся земля.

Громовые раскаты следовали один за другим, туча, искромсанная ослепительно белыми молниями, уже закрывала все небо, а дождя не было. Лишь несколько тяжелых капель уронила эта туча на Григория и его товарищей. Зато Петро, который появился минут через двадцать после того, как туча уползла дальше, был мокрым до нитки; вода, казалось, стекала с него ручьями.

— Вот прополоскало так прополоскало! — восторженно заявил он, отбиваясь от деда Потапа, который настойчиво пытался набросить на него свой кожух.

— Не выламывайся! — попытался прикрикнуть Григорий, но радость встречи была так велика, что это прозвучало не грозно, а ворчливо-ласково.

— Так тепло же! — отпарировал Петро. Он только сейчас заметил новеньких, робкой кучкой стоявших в сторонке, и немедленно восторженно выпалил: — Вот это да! Они сами до нас пришли или как?

Григория так и подмывало рассказать Петру о нападении на обоз, особенно же о том, что он, Григорий, плавать научился — два раза тонул, но научился! — однако он подавил это желание, нахмурился и не спросил — потребовал:

— Доложи как положено.

Петро, давясь хлебом, кусок которого ему подсунул дед Потап, и перескакивая с одного на другое, поведал обо всем, что видел и узнал. Особенно красочно и трагически — о покушении на жизнь Василия Ивановича, о встречах с ним и Витькой-полицаем, со всеми, кто убежал в лес из Слепышей.

Его не перебивали, не задавали вопросов. И долго молчали, когда он закончил свой рассказ. Лишь потом, когда общее молчание стало невыносимым, Григорий вдруг спросил, нахмурившись еще больше:

— Постой, постой... Как я понял, Василий Иванович вам наказал сперва со мной связаться и лишь после моего на то приказа к Витьке идти?

— Или не знаешь, кто с ним в лес ушел? И где обосновались они? Приглядись фрицы — из Степанкова их костры разглядеть могли! — не оправдывался, а нападал Петро.

Тоже верно: одни бабы да детвора с Витькой в лес ушли...

— Где они сейчас? За тобой следом плетутся?

— Не, мы их километрах в пяти отсюда лагерем поставили, — швыркнул носом Петро.

— И за то спасибо, — вздохнул Григорий, который почему-то лишь сейчас понял, что с сего часа забот у него станет и того больше. — С продовольствием у них как? Поди, пообглодали всю кору с деревьев?

Сказал это и сразу понял, что нельзя было так говорить, что насмешка прозвучала в его словах, поэтому сразу же и приказал, не давая никому слова вставить:

— Короче говоря, дед Потап, запрягай любую кобылу и грузи на подводу хотя бы два мешка картошки и прочее, чем их быстренько подкормить можно.

По одобрительному взгляду товарища Артура, по тому, как проворно запрягли лошадь и загрузили подводу, понял, что умело исправил свою ошибку.

Всю дорогу Григорий думал о том, какой будет его встреча с Виктором и с теми прочими, за чью жизнь теперь в ответе он, Григорий. И перед Василием Ивановичем, и перед своей совестью в ответе. Но особенно настойчиво уговаривал, убеждал себя в том, что он просто обязан ничем не выдать себя, когда увидит тех, кто стрелял по Василию Ивановичу.

Ведь понимал, что как по врагу стреляли они по нему, а все равно не мог простить!

Но все опасения и сомнения пропали, как только оказался в кругу женщин, утиравших слезы радости, как только увидел, с какой жадностью детвора пялилась на мешки, лежавшие на подводе. Самое же волнующее, тронувшее до слез, — ни один из малышей не заканючил, ни один голоса не подал.

Когда улеглось волнение, порожденное встречей, и женщины занялись приготовлением немудреного обеда, Григорий и сказал Виктору, сидевшему рядом:

— Есть в этих краях такая деревня, Мытницей называется. Там фашисты мельницу-ветряк восстановили.

Виктор понял недосказанное и ответил, не скрывая злости:

— Если тебя мое мнение интересует, то я готов. На мельницу или на что другое налет сделать. — Помолчал и добавил: — Бить их, уничтожать надо! Чтобы...

Не нашел слов, которые смогли бы передать его чувства, и замолчал. Григорий протянул ему кисет. И он дрожащими пальцами свернул толстенную самокрутку.

3

Около трех недель сравнительно спокойно просидел дома Василий Иванович, прикрываясь ранением. И чем дальше отодвигалось то утро, когда пули куснули его, тем реже кто-нибудь заглядывал к нему, чтобы справиться о здоровье. Причина была ясна: господин комендант лично не соизволил и разу навестить его. Вот многие и сделали вывод, что не так уж и значим Опанас Шапочник, если самое высокое местное начальство врача к нему направило, а само и не попыталось найти дорогу к его

дому. Один Генка почти дневал и ночевал у него: продуктами обеспечивал и многое по хозяйству за это время собственноручно сделал.

Василий Иванович только удивлялся неожиданному усердию своего телохранителя. Удивлялся, даже недоумевал, откуда взялась у Генки эта хозяйственная жилка, если он, как было известно Василию Ивановичу, никогда даже комнаты своей не имел. А вот Нюська нисколечко не удивлялась, она точно знала, что заставляло Генку усердствовать, знала, но помалкивала. Она и раньше, как только вошла в дом Василия Ивановича, не раз ловила на себе ощупывающие взгляды Генки, но вида не подавала, что разгадала его поганое желание. Потом, когда она была не в себе от обрушившегося на нее несчастья, Генка без промедления окружил ее вниманием и сочувствием: знал, подлец, что баба, если в ее душе смятение полное, беда податлива, беда отзывчива даже на доброе слово, вовремя сказанное. За многозначительными взглядами, как и ждала Нюська, последовали будто бы нечаянные встречи в сенцах, на кухне или еще где, куда ее толкали хлопоты по дому. Генка неизменно старался ей помочь, а она, прикидываясь глуповатой, будто бы и не подозревала за этим ничего тайного, пока еще открыто не высказанного. Однако настал и такой час, когда, перехватив ее в сенцах, Генка дал волю рукам. Вот тут она и поперла на него грудью, так поперла, что он попятился, и до тех пор пятился, пока не влип спиной в стену. И сказала, не повысив голоса:

— Еще хоть раз сунешься ко мне с ухаживаниями, кобелина паршивый, сама не знаю, что с тобой сделаю!

После этого предупреждения Генка стал и вовсе шелковым, теперь на Нюську он смотрел только преданными глазами, спрятав блудливость. И вообще теперь они держались так, словно начисто забыли о недавней стычке, так умело маскировали взаимную ненависть, что Василий Иванович ничего не заподозрил. И если у Нюськи эту ненависть породило то, что кто-то попытался грязными лапами замарать счастье, которое наконец-то пришло к ней, то Генка всей своей короткой жизнью только к этому чувству и был подготовлен.

Генке было лет пять или шесть, когда он точно узнал, что его отец вор, а единственное занятие матери — продажа краденого. Не с ужасом или омерзением, а с гордостью воспринял это свое открытие: из подслушанных разговоров отца с дружками ему было уже известно, что воры — люди смелые, рисковые, что они для того и предназначены, чтобы уму-разуму учить лопоухих фраеров, что никого и ничего они не боялись, что вся их жизнь — яркий праздник.

Месяц или чуть больше того походил Генка в школу — совершил первую кражу: в школьной раздевалке из кармана пальто спер кашне и принес домой, бросил матери как свою личную добычу. Спер почти без риска для себя; и цена-то тому кашне была копеечная, но Генку произвели чуть ли не в герои, о его само-

стоятельном деле только и судачили во время очередной пьянки. Он слушал хвалу, рдел от тщеславия, хотя и понимал, что украл далеко не лучшее кашне, что ухватился именно за это только потому, что оно принадлежало первому ученику их класса; завидовал страшно — вот и спер кашне, чтобы хоть как-то досадить тому, кого считали лучше его. Но похвалу всегда приятно слушать.

В те годы Генка еще верил в смелость и даже благородство тех, кто частенько сиживал за столом в их комнатушке; с искренним волнением и подпевал, когда кто-то, основательно захмелев, вдруг начинал надрывно выводить: «Не для меня весна придет...»

С чего и когда началось прозрение — этого не знал. Просто однажды он вдруг подумал, что воровская жизнь далеко не так красива и романтична, как рассказывают о ней. Зародилась эта мысль — стал приглядываться, стал не только слушать разговоры, но и думать над тем, что видел, о чем услышал. Но окончательно разметал всю мишуру один-единственный разговор с вором «в законе», который на короткое время появился в поле его зрения. Этот прямо сказал:

— Воровское товарищество, рисковая работа — брехня все это. Почему, думаешь, кое-кто сейчас в домзаке срок отбывает, а я на солнышке косточки свои грею? Почему, думаешь, они на себя мою вину взяли? Боятся меня, вот и весь сказ. Пуще суда и домзака боятся. Суд, он что? Его чистосердечным признанием и наивными глазами разжалобить можно, а меня ничем не возьмешь. — И тут он так глянул на Генку, криво усмехнувшись, что тому до противного озноба холодно стало.

Может быть, со временем и стерлись бы из памяти те слова, но уж так случилось, что негаданно Генка стал свидетелем смерти этого вора. В той самой комнатушке, где буйствовала очередная пьянка, она и настигла его. И убили его те самые двое, которые весь вечер пресмыкались перед ним, восхваляя его смелость и удачливость; когда, захмелев, он уронил голову на стол, тогда расчетливо и ткнули ножом между лопаток. Затем деловито обшарили его карманы, нашли лишь два червонца с мелочью. Ох, как материли они убитого, материли за то, что он обманул их, обмолвившись, что сегодня у него денег — курам не склевать.

На всю жизнь запомнилось и то, что отец только и сказал, чтобы они убрали тело и замыли кровавые пятна на полу.

Неизвестно как, но всплыло это дело, дошло до милиции, и все они, кто был в комнатушке в тот вечер, оказались на скамье подсудимых. Только Генка, как малолетка, на том суде был свидетелем, вернее, на все вопросы одно твердил:

— Спал я, знать ничего не знаю и видеть ничего не видел.

Остальные его не топили. Зато сколько помоев друг на друга выплеснули!

После всего этого Генка и сделал для себя выводы: обязательно имей рядом кого-то сильного, кто может вступиться за

тебя; сам лично никому не верь, представится хоть малейшая возможность — подминай под себя слабого.

Он всегда люто ненавидел не просто любого человека, а того, кого считал счастливым. Тот, например, которого ножом в живот пырнул, только-только распрощался с девахой. Да еще какой! Вот, чтобы не светился радостной улыбкой, Генка и подошел к нему, поиграл с ним самую малость.

Нюську он считал счастливой. Еще бы. как ты ее ни называй, а она прилепилась толково, к самому начальнику местной полиции в доверие втерлась! Вот и захотелось неудержимо поиздеваться над ней...

Получилось бы с ней — может быть, на том и утихомирился бы, а сейчас... Да появись у него самая малюсенькая возможность, он такое с этой стервой сотворит, что она всю жизнь, оставшуюся после этого, дрожать станет!

Больше же всего злило — или он не знает, как она еще в прошлом году в Степанково бегала? А теперь выламывается, честную из себя корчит!

Отомстить за невнимание к себе — такова была тайная мечта Генки, ее он лелеял, хотя сейчас больше всего боялся, что Нюська возьмет да и выложит все своему хахалю. Он даже подумал: а не настала ли пора переметнуться в лагерь пана Золотаря? Но что такое пан Золотарь? Ему бы, мухлюя, в очко по маленькой играть, а не интриги раскручивать. А пан Шапочник — птица с большим размахом крыльев. Это Генка сразу уразумел, как только увидел его. Этот вроде бы неспешно и бесшумно по жизни плывет, а ведь пана-то Свитальского слопал? Ведь меньше чем за год из бродяг в начальники полиции выкарабкался?

Прикинул все это Генка и твердо решил, что если со стороны Нюськи донос все же последует, то он, Генка, чистосердечно покается: да, было такое дело; она глазенапами постреливала, бедрами заигрывала, но он категорически отверг ее домогательства; вот со зла, с личной обиды баба поклеп и возводит.

Все это основательно и до мелочей продумал Генка, поэтому и вошел решительно в дом Шапочника, спокойно ответил на вопрошающий взгляд Нюськи:

— Мне к самому, дело неотложное.

Уж лучше обругала бы последними словами, чем вот так, с презрением, плечиками передергивать!

— Как самочувствие, пан начальник? — однако бодро выпалил он, переступив порог горницы.

— Ведь не поверишь, если скажу, что худо мне? — усмехнулся Василий Иванович, которому уже до невозможности надоели и утренние визиты телохранителя, и эта фраза, неизменно звучавшая каждый раз.

Теперь, если придерживаться выработанного ритуала, Генке следовало спросить, а не надо ли чего сделать или передать

кому, но сегодня Генка вдруг взял пиджак начальника, повертел его перед глазами и бережно, словно боясь разбить вдребезги, повесил не обратно на гвоздик, вбитый в стену, а на спинку стула.

Василий Иванович понял, что у Генки есть какая-то важная новость, что, по мнению Генки, его начальник сегодня же должен сходить куда-то, и спросил, вернее — приказал:

— Выкладывай. И не вздумай темнить.

— Чтобы я да стал темнить? И кому? Вам? — притворно обиделся Генка и сразу же выложил: — Не ко мне, к нему они приехали, он пусть и докладывает, кто они такие и зачем объявились. С меня и того хватит, что они хозяевами в вашем личном кабинете обосновались!

Как и рассчитывал Генка, его слова ударили в самую точку, потревожили самое больное, что не давало жить спокойно: значит, пан Золотарь, воспользовавшись моментом, опять ожил, опять закопошился?

Особенно же зацепило то, что неизвестные в его кабинете как у себя дома расположились. Или пан Шапочник уже снят со своей распроклятой должности?

Но спросил так равнодушно, будто и не тронули его слова Генки:

— Кто такие, не знаешь?

— Разве теперь люди говорят свои настоящие фамилии? Вранье одно... «Бени» они — вот и весь сказ.

«Бени» — все те, кто имел хоть какое-то отношение к так называемой «Белорусской народной самопомощи». Вспомнилось и то, что разговоры о ней шли с ранней весны, что даже сам Зигель однажды о ней упомянул. И вот теперь «бени» в этих краях объявились. Зачем? И почему пришли не к Зигелю или к нему, начальнику местной полиции? Или Золотарь за время его затянувшейся лежки так обнаглел, что какой-то свой тайный ход копать начал?

Взбудоражили эти вопросы, заставляли немедленно сделать что-то, однако Генке он сказал спокойно, даже вроде бы с ленцой:

— Ладно, иди и бди. А те — пусть поболтают, если на большее не способны.

Генку не обмануло напускное равнодушие начальника, он уловил, что посеял грозу, но вида не подал и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Не спеша шел двором и улицей, с таким скучающим видом шел, что никто и предположить не мог, что от восторга ему, как мальчишке, хотелось скакать на одной ноге. Зато у кабинета пана Золотаря сбросил маску равнодушия и энергично стукнул костяшками пальцев в дверь.

— Да, да, войдите, — проворковал пан Золотарь.

Как и предполагал Генка, в этот ранний час гости еще почивали, и пан Золотарь в гордом одиночестве восседал за массивным письменным столом.

— Если мой умишко не подводит, то медведь сегодня вылезет из берлоги, так что сами должны понимать... Ну, так я пошел? — то ли спросил разрешения, то ли поставил в известность Генка.

Пан Золотарь понял, что Генка не хочет, чтобы кто-то увидел его здесь; это же было нежелательно и ему, Золотарю, поэтому ответил с излишней торопливостью:

— Да, да, иди...

Василий Иванович действительно решил, что хватит отлеживаться, прикрываясь ежедневными визитами Трахтенберга, что пора и на глаза начальству показаться. Он попросил у Нюськи горячей воды для бритья. Она молча подала воду и чистую рубашку. Ни слова не сказала и позднее, когда, небрежно сунув руку в черную косынку, он вышел из дома. Лишь у самой калитки догнала и легонько, будто погладив, коснулась рукой его плеча.

4

Фон Зигель принял Василия Ивановича почти сразу, как только он через дежурного доложил о своем желании видеть господина коменданта. Принял сидя за столом. Даже не улыбнулся, хотя бы из вежливости. И Василий Иванович понял, что опоздай он прийти еще на день или два — неизвестно, какой прием ожидал бы его тогда.

— Господин гауптман, прошу разрешения приступить к исполнению служебных обязанностей! — отрапортовал Василий Иванович, будто и не заметив суровости начальства.

— Надеюсь, теперь ранения вашей жизни не угрожают? — холодно спросил фон Зигель, глядя не в глаза ему, а на переносицу.

Атаковал фон Зигель этим вопросом — стало ясно: пузан Трахтенберг, всячески поощряя безделье Василия Ивановича, с самого первого дня докладывал фон Зигелю только правду; наверняка сообщил и о том, что ранения — лишь глубокие царапины.

Оставалось одно — и самому говорить правду. Он ответил с притворным смущением:

— Осмелюсь доложить, господин гауптман, что ранения мои были легкими... Даже очень легкими... Для пользы дела я дома отсиживался, помня о вашем негласном разрешении. Ведь, к примеру, она, даже крепко раненная, — он приподнял руку, лежавшую в косынке, — распоряжения отдавать никак не мешала.

— Впервые слышу, будто я разрешал кому-то бездельничать, — еще более нахмурился фон Зигель.

Василий Иванович потупился, признаваясь, что солгал.

— Впервые слышу и о том, что для пользы дела начальнику иногда нужно сидеть дома, — продолжал наседать фон Зигель.

Теперь, снова глядя в холодные глаза коменданта, Василий Иванович ответил без тени смущения:

— Как я рассуждаю, господин гауптман, любое ранение начальника, полученное им при исполнении служебных обязанностей, всегда способствует росту его авторитета. И чем оно серьезнее, тем большее на подчиненных воздействие имеет. Кроме того, он, начальник этот, в подобный момент кое-что и тайное усмотреть может. Он в это время, извиняюсь, словно бы из засады за подчиненными подглядывает.

— В ваших рассуждениях есть зерно здравой логики, — снисходительно кивнул фон Зигель и только теперь разрешил: — Можете сесть.

— Благодарствуйте, — поклонился Василий Иванович и осторожно опустился на самый краешек стула, стоявшего не у стола, за которым сидел фон Зигель, а почти у самой двери; подчеркивал этим, что прекрасно помнит, какая дистанция между ним — Опанасом Шапочником, и господином гауптманом — комендантом целого района.

Робость начальника полиции и то, что он сам, и довольно точно, определял свое место, приятно пощекотали самолюбие фон Зигеля, и он решил, что пора напускной гнев сменить на милость:

— Курите. Если у вас не эта вонючка... Са-мо-сад!

Василий Иванович снова ответил тем же словом, которое каждый раз, когда он произносил его, вызывало тошноту:

— Благодарствуйте... Не извольте беспокоиться...

Фон Зигель бросил ему пачку сигарет. В ответ Василий Иванович метнулся к нему с зажигалкой. Некоторое время курили молча, потом фон Зигель возобновил разговор:

— Что же вы заметили? Когда сидели в засаде?

— Вроде бы и ничего особенного, — нарочно нерешительно начал Василий Иванович и осекся, словно испугался того, что намеревался сказать.

— Я жду, договаривайте, — немедленно потребовал фон Зигель.

— Как мне стало известно, вдруг умерла — ни с того ни с сего взяла и умерла! — одна арестантка. — И торопливо добавил, словно боясь, что фон Зигель остановит его: — Если бы ее ликвидировали, если бы при допросе смерть ее настигла — все это было бы ясно и вопросов не возникло бы. А ведь что случилось? Взяла и померла по собственной воле! Будто нарочно ушла от ответа!.. Понимаю, когда перед высоким начальством отчитываться приходится, кое-что и маскировать следует. А в этом случае, если только мне сообщается, кому и какой резон врать? — Помолчал и добавил многозначительно: — Не простая та арестантка была, женой Мухортову приходилась. Тому самому... Изволите помнить?..

Фон Зигель помнил Мухортова. Вернее, то, что покойный Свитальский именно на него пытался взвалить некоторые свои грехи. И невольно подумалось, а не та ли веревочка и сейчас продолжает виться? Не для того ли и умерла жена Мухортова, чтобы какие-то концы удалось понадежнее спрятать?

— Когда и за что она была задержана? — спросил фон Зигель по-прежнему спокойно и даже равнодушно, однако Василий Иванович заметил, как сердитые искры мелькнули и угасли в его ледяных глазах, и понял, что теперь Золотарь на остром и здорово зазубренном крючке.

— Примерно за час до выхода на то задание мне стало известно об ее аресте. Будто бы — за агитацию большевистскую... А потом, уже раненный, когда вспомнил о ней... — Тут Василий Иванович позволил себе сделать длительную паузу. — Самое же неожиданное — в моем кабинете обосновались представители той самой националистической организации, о которой вы как-то упомянуть изволили. О чем-то шушукаются с моим заместителем.

Упоминание о националистах не произвело на фон Зигеля никакого впечатления, и Василий Иванович понял, что с ведома (или даже благословения?) немецкого командования они здесь хороводятся. Что ж, учтем и это...

— Вы слышали последнюю сводку нашего командования? — спрашивает фон Зигель, и глаза его неожиданно теплеют.

Василий Иванович, кривя душой, расплывается в улыбке, намеревается ответить утвердительно, но фон Зигель не нуждается в его словах, он продолжает с большим пафосом:

— Это, господин Шапочник, наше по-настоящему генеральное наступление! Прошлогоднее под Москвой — разведка боем, и только! — Фон Зигель испытующе смотрит на Василия Ивановича (искренне разделяет его восторг или только притворяется?), но лицо, даже фигура начальника полиции, подавшегося вперед, излучали лишь радость. — Именно в этом году, именно в большой излучине Дона, мы нанесем тот удар, который окажется смертельным для армии Советов! И ту волжскую воду, в которой наши доблестные солдаты омоют от пота свои ноги, мы в хрустальных сосудах будем вечно хранить во всех наших музеях! Каждый ариец, как святыню, будет оберегать ее!

Никогда еще Василий Иванович не видел фон Зигеля таким возбужденным; невольно подумалось, что успехи фашистских полчищ, возможно, действительно по-настоящему велики, что Советской Армии сейчас ой как тяжело приходится. Захотелось побыть одному, чтобы обдумать и взвесить все, но жизнь требовала от него выражения восторга, и он улыбался, насилуя себя.

На его счастье, фон Зигель, похоже, устыдился своей восторженности, посуровел и спросил холодно, словно гневался:

— Когда приступите к исполнению своих обязанностей?

— Сегодня... Сейчас, если дозволите.

Фон Зигель кивнул и еще более грозно сдвинул свои белесые брови: нравился ему этот советский каторжанин, внушал почти полное доверие, однако подчиненному вовсе не обязательно знать, что о нем думает начальник; неопределенность лучше всего подстегивает самого усердного человека.

Вышел Василий Иванович из комендатуры — будто из-под земли вырос перед ним Генка и обрушил упреки:

— Да как же это вы, пан начальник, осмелились один из дома выйти? Мной брезгуете, так кого другого кликнули бы! Мало ли что случиться может, если человек ранен?

— Не егози! И вообще я не такой немощный, чтобы меня с боков орясины подпирали! — отрезал Василий Иванович.

Что-то тайно-грозное уловил Генка в словах и в голосе пана начальника, поэтому сразу будто уменьшился ростом, будто слинял с лица. И отступил за спину пана Шапочника: за чужой спиной всегда спокойнее, это каждый умный человек знает.

Если Генка подкарауливал его у самой комендатуры, то пан Золотарь поджидал около полиции, даже за локоток поддержать соизволил, когда Василий Иванович на крыльцо поднимался. Здесь, на крыльце, и стояли двое в цивильном. Интересно, вся их сбруя — и черные пиджаки с жилетами, и ботинки-лакирашки — из своих или чужих сундуков на свет божий извлечены?

Эти двое стояли вольно, словно их нисколечко не волновало, какой прием окажет им начальник местной полиции. Однако в глазах металось беспокойство, и Василий Иванович вновь почувствовал себя хозяином положения.

— Позвольте, пан начальник, представить вам наших гостей, — начал было Золотарь, но Василий Иванович, пожав руку каждого из непрошеных гостей, оборвал его:

— Еще успеешь познакомить. Когда одни останемся.

Войдя в свой кабинет, Василий Иванович одним взглядом схватил, что здесь все осталось по-прежнему; отсутствие даже пылинки — единственное свидетельство того, что тут без него бывали. Он уверенно прошел к своему привычному месту, неторопливо уселся в кресло с высокой резной спинкой и лишь тогда сказал:

— Теперь я к вашим услугам, панове. Как меня величают и кем являюсь, то вам отлично известно. Потому и не представляюсь. А как прикажете вас величать-наименовывать?

Властный тон, каким было сказано слово «прикажете», заставил и Золотаря, и его гостей понять, что перед ними настоящий хозяин района; даже невольно подумалось: а не получил ли пан Шапочник каких секретных указаний от самого фон Зигеля?

Пан Золотарь даже подался лбом вперед, готовый ответить, но один из гостей коснулся рукой его плеча и сказал с должным уважением и без боязни, словно чувствуя за своей спиной чью-то могучую поддержку:

— Пан Шапочник, конечно, понимает, что наши сегодняшние имена — псевдо, не больше. Поэтому мы не будем в обиде, если для него я останусь паном Григором, а мой друг — паном Власиком. Разумеется, только до того времени, когда нам будет дозволено открыться.

Пан Власик ласково улыбнулся в бородку, подковкой охватившую подбородок, и в вежливом поклоне склонил голову с маленькой проплешиной на затылке; только побелевшие пальцы, которые он почему-то сцепил на своем впалом животе, выдали его волнение.

Василий Иванович, будто он и не ожидал иного ответа, удовлетворенно кивнул и предложил всем сесть поближе к столу, чтобы, как он выразился, «беседа текла теплее». А еще немного погодя, когда Генка исчез, уставив стол бутылками с мутным самогоном и разнообразной снедью, и состоялся довольно путаный и долгий разговор, из которого вытекало одно: сейчас такое время настало, что нельзя, даже преступно кровным белорусам сводить какие-то свои личные счеты, что сейчас все, кто душой против Советов, обязаны объединить силы и оказывать всяческое содействие вермахту — единственной реальной мощи, способной сокрушить большевиков и всю их коммунию; а какая власть на этой земле после разгрома большевиков установится, кто и какое место в новом правительстве займет — обо всем этом можно будет договориться и позднее.

Говорил преимущественно тот, который назвался паном Григором. Пан Власик лишь изредка вставлял что-то свое, обязательно со ссылкой на священное писание или какую-то подобную же книгу. И все это с ласковой улыбочкой. Вот и сейчас, едва пан Григор замолчал, заявив, что в этой борьбе, которая только теперь по-настоящему и развернется, все методы хороши, пан Власик немедленно прожурчал ласковым ручейком:

— И тогда он сказал ему: «Пойди и посмотри на землю ту, на людей, ее населяющих, и на то, что она дать сможет».

— Не понял: кто это и кого на шпионаж так наставлял? — спросил Василий Иванович.

— Священное писание надо читать, — нимало не смутившись, ответил пан Власик.

Василий Иванович, когда еще работал в школе, много раз выступал с антирелигиозными лекциями, что только не читал, готовясь к ним, но о таком напутствии впервые услыхал, даже усомнился в правдивости услышанного:

— Священное писание?

Пан Власик испытующе посмотрел на него, словно желая убедиться, что он не иронизирует, но лицо Василия Ивановича выражало только искреннюю заинтересованность, и тогда, молитвенно подняв глаза к потолку, пан Власик торжественно изрек:

— Ветхий завет, четвертая книга Моисеева, глава тринадцатая: «Вы смотрите землю Ханаанскую, какова она, и народ, живущий на ней, силен он или слаб, малочислен или многочислен, и каковы города, в которых он живет»... Вот такими словами Иисус Навин напутствовал двух юношей. А чуть позднее послал их в город Иерихон, после чего, как свидетельствует священное

писание, воины господни ворвались в этот город и «предали смерти все, что в городе: и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом...»

Торжественно изрек все это пан Власик, с видом победителя посмотрел на Василия Ивановича и сказал:

— Много поучительного мог бы я вам на память из священных книг прочесть, да время не позволяет.

— Выходит, вся жестокость в нашей жизни — это как бы продолжение деяний самого господа бога? — помолчав, спросил Василий Иванович.

— Дорогой пан Шапочник, вся земная жизнь — сплошная жестокость! С дня рождения человека и до смертного часа его. А почему, спрашивается? Чтобы исчезло, погибло все слабое, богу неугодное!

Это было сказано почти с восторгом. И Василий Иванович окончательно понял, что пан Власик убьет человека — не поморщится. Поняв это, хотел сменить тему разговора, но пан Власик опередил:

— А вы, как я догадываюсь, не распахнули богу свое сердце?

Елейным голоском пропел, но в его серых глазах на мгновение мелькнула ярая злость.

Василий Иванович решил: вот он, тот момент, когда можно чуть-чуть приоткрыться без особого риска повредить себе, поставить себя над этими блюдолизами, и ответил резко, вовсе не в тоне всей беседы, где все улыбались друг другу и предпочитали говорить намеками:

— Интересуетесь, как я к богу отношусь? Боитесь, не равнодушен ли я к нему? — Он заметил, как переглянулись Григор с Власиком, как последний мелким крестиком пометил свой пупок. — Так вот, запомните накрепко: я за свою жизнь такого нагляделся, что бога отрицаю начисто! Попадись он мне — велел бы утащить его в допросную, где лично и спросил бы у него с пристрастием, как он, всевидящий и всемогущий, дошел до жизни такой, что позволил убивать детей малых, куда он смотрел, когда...

Злость ослепила Василия Ивановича, он, может быть, сгоряча и ляпнул бы что-то лишнее, о чем потом жалел бы, но пан Золотарь воспользовался паузой и, сам не желая того, пришел к нему на помощь:

— Пана Шапочника, безвинного, большевики многие годы в Сибири мукам предавали.

Исключительно для гостей сказал это пан Золотарь, но Василию Ивановичу и этих нескольких слов хватило, чтобы взять себя в руки; он криво усмехнулся и будто нехотя подправил пана Золотаря:

— Насчет безвинного — это вы крепко подзагнули... Ну да ладно, лучше продолжим деловой разговор... Что вы предлагаете конкретно? Зачем сюда пожаловали?

— Ничего, пан Шапочник, видит бог, не надо нам ничего такого, что как-то особо обременит вас, — немедленно заскользил языком пан Власик, так глядя на Василия Ивановича, словно любил и уважал его — больше некуда. — Единственное, что от вас требуется, — не паниковать, если в этом районе вдруг еще один партизанский отряд обнаружится.

Ага, вот вы на какую подлость пошли!

Но спросил сугубо деловито:

— Господин комендант в курсе?

Ему не ответили, только переглянулись многозначительно. Все трое.

— Я обязан поставить его в известность.

И лишь теперь, словно нехотя, пан Григор сказал:

— Нужно ли? Ведь мы не сами по себе приехали.

5

Григорий, посоветовавшись с товарищами, решил уничтожить ту мельницу-ветряк, которую восстановили фашисты. Впереди группы, цепляясь глазами за каждое дерево, за каждый куст, выплывающие из темноты, шли Виктор с Афоней и Ежик — тот самый из местных парней, который при первой встрече на каждый вопрос словно колючками щетинился. Ежик проводник, а Виктор с Афоней — одновременно и разведка, и охранение.

Виктор шагал рядом с Ежиком и краешком глаза все время видел его, все время был готов решительно вмешаться, если тот нечаянно попытается сделать что-то во вред группе. Чуть сзади неслышно скользил Афоня, тоже готовый к самому неожиданному.

Вторую ночь шли к мельнице-ветряку. И все это время с Ежика глаз не спускали, хотя ничего подозрительного за ним не замечали. Правда, в самом начале в его движениях, в том, как он поглядывал по сторонам, выискивая затаившегося врага, была заметна этакая нарочитость, словно он старательно и неумело подражал кому-то. Причину этого разгадали без особого труда: какой парнишка в четырнадцать лет не мечтает быть похожим на следопыта или разведчика, про которого из книг узнал? Вот и вел себя Ежик так, как его любимый герой. До тех пор в него играл, пока не устал, пока не освоился с действительностью; потом просто вел к мельнице, и все тут.

С самого начала похода Виктор ждал, что вот-вот увидит мельницу, и все равно на мгновение опешил, когда ее громада вдруг надвинулась на него, закрыв, как ему показалось, большую часть неба. Увидев ее, будто бы замахнувшуюся на него своими огромными и сейчас неподвижными крыльями, — сначала даже оробел на несколько секунд, потом, обозлившись на себя за эту невольную робость, решительно и бесшумно шагнул к ней, прижался телом к ее боку и заскользил вдоль него, отыскивая дверь.

Ежик рванулся за ним, однако Афоня сцапал его за плечо, заставил припасть к земле. И был он в том положении до тех пор, пока не появился Виктор и не прошептал:

— Дверь на огромный замок закрыта.

— Значит, сегодня Кривой дежурит. Он завсегда с поста домой утекает, — тоже шепотом пояснил Ежик.

Когда планировали, по косточкам разбирали эту операцию, предполагалось напасть только на мельницу и ее охрану, уничтожить то и другое. Не оказалось на мельнице охраны — вроде бы облегчение выпало: знай себе пали мельницу и сматывайся! Однако именно это Виктору и не понравилось: уж очень легко все само давалось в руки; а ему боя хотелось, ему мечталось, что хоть парочку полицаев, но отправят они на тот свет этой ночью. Кроме того, почему не предположить, что и прочие полицаи, как и этот Кривой, сейчас на печи отлеживаются?

Вот поэтому Виктор и заторопился к Григорию, шепнув Афоне:

— В оба гляди!

Обмен мнениями был предельно кратким, и уже через несколько минут Григорий, Виктор, Афоня и Ежик зашагали к деревне, спрятавшей свои хаты под березами. Зашагали для того, чтобы, как выразился Григорий, «тряхнуть полицаев». А товарища Артура и остальных оставили у мельницы, строго наказав подпалить ее немедленно, как только услышат стрельбу.

— Торопиться надо, дождь скоро будет, — вот и все, что в ответ на приказ сказал товарищ Артур.

Действительно, тучи, которые вчера рыскали по небу, словно отыскивая, за что бы им зацепиться, теперь плотной пеленой нависли над землей. Чувствовалось, им не хватало самой малости, чтобы разрядиться дождем; даже сейчас, при полном безветрии, от них растекалась прохладная влажность.

— Вот она, хата Кривого, — шепнул Ежик, показав на домпятистенок; Ежика била мелкая дрожь, и он мужественно старался скрыть ее.

Как и было оговорено, Григорий с Виктором поднялись на крыльцо, нарочно громко топая сапогами, и властно, в два кулака, забарабанили в дверь. Почти сейчас же кто-то ответил «Иду, иду», — закашлялся и матюкнулся.

Все дальнейшее произошло так быстро, что Ежик ничего не увидел, кроме того, что Кривой вдруг осел на крыльцо, словно растекся по нему.

Когда подходили к дому бывшего сельского Совета, где теперь обосновались полицаи, неожиданно взлаяла собака. Да так зло, взахлеб, что через несколько минут к ней на подмогу подоспели еще две. Напрасно Ежик навеличивал их по именам, напрасно многообещающе похлопывал себя по ноге: они еще только больше бесновались.

— Стой, кто идет? — взревел испуганно полицай, стоявший на посту, и лязгнул затвором.

Григорий понял, что в его распоряжении остались считанные секунды, толкнул Ежика в плечо так, что тот упал, и смело пошел вперед, заявив:

— Свои, из управы.

Нахально, почти в полный голос, проорал это, и постовой подпустил его к себе, но пальца со спускового крючка не снял. И даже выстрелил в небо, когда между ним и Григорием осталось почти метра три.

В ответ ударила короткая автоматная очередь.

Тогда Григорий крикнул:

— Бросай!

Три гранаты полетели в ночь. Две рванули, ударившись о стены дома, а третья (каждый считал, что именно его) грохнула внутри, ярким пламенем озарив и косяк окна, и человека, упавшего грудью на подоконник.

Григорий, строча из автомата, еще решал, надо ли продолжать атаку или пора отходить, а за околицей, где стояла мельница, к небу уже потянулись красные языки.

Может, полицаи все же попытаются схватить поджигателей?

Он приказал чуть отойти, залечь за плетнем, затаиться там.

Нет, полицаи даже попытки не предприняли выйти из дома, они по-прежнему только пуляли в ночь, пуляли яростно, не жалея патронов.

Тогда, подталкивая Ежика перед собой, Григорий начал отход, держа на зарево, расплывшееся по небу.

6

Часа четыре или около того дождь хлестал неистово, а затем превратился в морось, которая не прекращалась ни на мгновение. И когда километрах в пяти от шалашей увидели деда Потапа, поджидавшего их под разлапистой елью, все уже промокли — больше некуда.

Может быть, поэтому и не выказали радости при встрече?

Но Григорий считал, что виной тому не дождь — холодный и противный, не дорога, за эти сутки превратившаяся в болото, а большая неудача отряда, постигшая его в прошлую ночь. Лично он только так и оценивал все, что им удалось сделать: он никак не мог простить себе того, что столько у него в подчинении бойцов было, а все трофеи — спаленная мельница и два убитых полицая! Это Витьке с Афоней, когда они вдвоем на фашистов нападали, было похвально и такое осилить, а отряду...

Нет, Григорий прекрасно помнил и того полицая, который лежал грудью на подоконнике, но убитым его не считал: может, только оглушило его взрывом гранаты?

Григорий так глубоко переживал свою неудачу, что деду Потапу лишь руку сунул, на секунду не задержался около него. Тот, похоже, не обиделся, даже не удивился холодности командира. Дед Потап, бережно пожав руку Григория, молча пере-

считал глазами всех и зашагал рядом с товарищем Артуром, сзади которого Виктор с Афоней плелись. Некоторое время шагали молча, потом дед Потап все же спросил:

— Как оно там?

Товарищ Артур неопределенно повел плечами и буркнул:

— Чьими глазами смотреть.

— Так ведь, как я сужу, у вас потерь нету, — дипломатично заметил дед Потап, пытаясь завести разговор.

— Мельницу сожгли. И трех полицаев убили.

— А ты говоришь, чьими глазами смотреть! — обрадовался дед.

— Командир считает, что этого мало... Тьфу, разболтался с тобой, как баба у колодца!

Дед Потап не считал их сугубо деловой и короткий разговор похожим на бабьи пересуды, даже обиделся немного, но с вопросами к товарищу Артуру больше приставать не стал: разве из этого молчуна что нужное выжмешь? Он глазами отыскал Мыколу и поспешил к нему.

И опять мало проку: если верить Мыколе, то в Мытнице не голько полицаев, но и фашистов было полно; они такую пальбу из автоматов и пулеметов подняли, что просто чудо помогло товарищу Григорию вывести отряд без потерь из того ада.

Расстроен был Григорий своими мыслями, поэтому, вернувшись в лагерь, сразу залез в свой шалашик и лег там, с головой укутавшись шинелью. Лежал в одиночестве и всячески казнил себя. Настолько был погружен в свои черные мысли, что не слышал, как к шалашу подошел дед Потап, не видел, как он, посмотрев на своего командира, осуждающе покачал головой и исчез. Невдомек было Григорию, что, жадно поедая похлебку, почти все бойцы роняли добрые слова в его адрес, а Ежик восторженно и уже какой раз рассказывал Марии о том, как Григорий в самый горячий момент боя сшиб его с ног, чтобы уберечь от случайной пули.

Григорию и в голову не приходило, что именно в эти минуты окончательно утверждался его авторитет.

7

За одни сутки жара, стоявшая, казалось, невероятно долго, сменилась ненастной погодой, бесконечно щедрой на дожди и прохладу. В лесу сразу стало так неуютно, что в голову невольно полезли мысли о доме, в котором обязательно есть широкая и горячая печь; и в ней весело потрескивают дрова, дразнясь красными языками пламени...

В первых числах июля такие мысли многим в голову лезли. Спасибо штабу бригады — не давал возможности этим мыслям окончательно над всеми другими верх взять: что ни сутки, то новый боевой приказ. Вот и уходили из лагеря группы парти-

зан. Не было за неделю таких суток, чтобы хоть одна группа не ушла на какое-то боевое задание.

А остальные — сиди переживай за товарищей.

Правда, пока все группы возвращались. И без потерь.

Каждый день этой недели в роте Каргина появлялся связной штаба, а сегодня вдруг сам старший лейтенант Пилипчук пожаловал. Сердечно поздоровался с Каргиным и сразу же распорядился, не стряхнув даже капелек дождя со своей плащ-палатки:

— Подымай роту, вот приказ.

Каргин, словно пакет с приказом ему передал обыкновенный связной, сначала прочел приказ и лишь после этого расписался на пакете в том, что он, командир роты Каргин, действительно получил его такого-то числа в столько-то часов и минут.

В приказе говорилось, что роте Каргина надлежит в полном составе следовать в деревню Зайчата, где привести в исполнение приговор, вынесенный трибуналом старосте-зверю; и еще — группу в десять человек предписывалось выделить в распоряжение старшего лейтенанта Пилипчука.

— К приказу ничего не добавишь? — все же спросил Каргин, хотя все в приказе было изложено кратко и очень толково.

— Деревня, куда пойдешь, больше на село смахивает. И ты начни с того, что блокируй все подходы к ней, чтобы...

— Выходит, вы меня с должности снимать приготовились, да в тайне это пока держите?

Пилипчук не ожидал от Каргина такой ехидной реплики, он только сейчас понял, что его информация могла быть истолкована как подсказка, и на какое-то время растерялся, замолчал. А Каргин, словно и не произошло размолвки, уже отдавал распоряжения дежурному по роте.

— Зря, Иван, злишься, ведь я тебе лишь обстановку рисовал, — начал оправдываться Пилипчук, как только вышел дежурный по роте.

— То, что мне сейчас знать положено, в приказе сказано. А прочее, детали разные, — для этого у меня разведка есть. Толковые ребята, не звонари. Да и я ни на зрение, ни на слух не жалуюсь. Лучше скажи, зачем тебе десять человек? Может, двумя или тремя обойдешься?

— Завтра на одной полянке у меня свидание. С тремя... На всякий пожарный случай и беру твоих.

— Кто те люди? С которыми встретиться надо?

— Говорят, представители какого-то партизанского отряда.

Каргин с недоумением взглянул на Пилипчука, попытался увидеть его глаза, но они упорно рассматривали голенища сапог, заляпанные грязью.

— Когда я со своими дружками к вам шел, вы нас тоже под автоматами держали? Для страховки, так сказать?

— О тебе мы многое знали. А эти... Откуда они в наших лесах взялись, если еще месяц назад мы одни здесь хозяйничали? Вот и приходится...

Он недосказал своей мысли. Да и лишним было бы это: Каргин мысленно уже одобрил осторожность командования бригады, в душе сам себе даже признался, что, окажись на месте Кости, тоже кое-какие меры предосторожности принял бы.

— Давай я вместо тебя с ними встречусь? — все же предложил Каргин, хотя заранее знал, что скорее всего получит отказ.

— Может, вообще бойца пошлем? Который вроде бы поплоше? Чтобы не так жалко было, если он от удара ножа или пули погибнет?

— Тогда... Вдвоем с тобой на то свидание заявимся! В четыре глаза знаешь как все разглядим?

— С тобой идти в паре — тоже нельзя: может и так случиться, что сразу два командира погибнут... А вообще-то не в четыре, а в шесть глаз глядеть буду. Ведь, по условию, мы трое на трое встречаемся.

— Дежурный! — зовет Каргин, распахнув дверь землянки. — Как там?

— Рота к походу готова.

— Тогда почему не докладываешь? — еще больше распаляется Каргин.

Вытянувшись в длинную и молчаливую цепочку, идет рота. С деревьев, ветви которых отяжелели от множества водяных капель, срывается вода, земля под ногами расползается или цепко хватает за сапоги, но люди терпеливо сносят все, шагая за разведчиками Юрки. Чувствуется, они даже с охотой снялись с обжитого места, где им были знакомы и уже изрядно поднадоели и каждое дерево, и каждый кустик; они были готовы вытерпеть или пересилить любое, чтобы только добраться до фашистов. А что не на прогулку вышли — это понимали все.

Во время этого марша, воспользовавшись тем, что Пилипчук почему-то шагал во главе колонны, Каргин и подозвал к себе Федора, сказал ему тоном, исключающим возражения:

— Старшему лейтенанту десять человек надо. А ты отбери пятнадцать и сам с ними топай. — Ожидал, что Федор хоть гримасой какой выдаст свое неудовольствие (он все еще обижался на Пилипчука за тот экзамен), но Федор остался невозмутим. — На нужное и опасное дело он идет... Ты с одним бойцом — приглядывай самого расторопного — ни на шаг не отходи от начальника штаба... И глаз не спускай с тех, кто чужой к нему пойдет, с кем из чужих он разговаривать станет! Я рядышком буду, в пределах видимости, так что... Само собой разумеется, начальнику штаба ни о моем наказе тебе, ни о том, что я рядом буду, ни слова!

— Ты не психуй, углядим, — ответил Федор и заторопился: — Так я пошел?

Когда до поляны, где завтра должна была состояться встреча Пилипчука с неизвестными, оставалось километра три, Каргин подошел к начальнику штаба бригады и сказал бодро, даже чуть игриво:

— Ни пуха ни пера! Здесь мы отворачиваем от твоего маршрута, — и махнул рукой, словно просеку намечал.

— Иди к черту! — ласково огрызнулся Пилипчук и решительно зашагал дальше, взятый в кольцо бойцами Федора.

Исчез за деревьями последний боец группы Федора — Каргин приказал роте сгрудиться и, взобравшись на корневище ели, поваленной ветром, рассказал всем, куда и зачем пошел старший лейтенант, какое задание он, Каргин, возложил на Федора с товарищами.

— Конечно, наши промашки не допустят, конечно, у нас свое задание. Только мне думается, то, что нам велено, мы все равно выполним. Ведь в приказе не указано число, когда нам над тем гадом надлежит свершить суд. Так что, если даже на сутки здесь задержимся, с нас особого спроса не будет... А правильно или нет я рассуждения веду, это вам решать, — так закончил Каргин свою короткую речь.

Тягостная тишина была ему ответом. Настолько тягостная и невыносимая, что у него в коленях слабость обнаружилась. Ему казалось, что он бесконечно долго сверху вниз смотрел на лица людей. На множество лиц, которые, как подсолнухи к солнцу, были повернуты к нему. И заросшие бородами по самые глаза, и совсем юные, почти детские. Но ни одного равнодушного!

Молчание, столь тягостное для Каргина, сокрушил Юрка. Он, взгромоздившись на то корневище, где стоял Каргин, бросил в тишину, не удостоив командира даже взглядом:

— Лично я считаю, что в армии демократия — явление лишнее. На хрена она нам, если мы имеем командира, которому не митинговать, а приказы отдавать положено?

Только это и сказал обычно многословный Юрка и спрыгнул на землю, врезался в шеренгу своих разведчиков. И по тому, как поспешно они нашли место своему командиру, а все прочие, не обронив даже слова, выжидающе смотрели только на него, Каргину стало ясно, что желающих высказаться сейчас больше не будет.

Каргин молодцевато заломил фуражку на затылок и скомандовал:

— Командиры взводов — ко мне, а прочие — перекур!

Обшарили весь лес вокруг поляны, где завтра должна была состояться встреча, — ничего подозрительного не обнаружили. Тогда затаились, будто окаменели на местах, указанных командирами. С таким расчетом те места выбраны были, чтобы ни один чужой не проник на поляну незамеченным. Словно умерли на остаток сегодняшнего дня, на всю долгую ночь и на несколько часов завтрашнего рассвета. А дождь все моросил, моросил...

Каргину уже начало казаться, будто он разучился двигаться, когда подбежал Соловейчик и выпалил сдавленным шепотом:

— Идут! Трое!

Из своей засады Каргин скоро и увидел тех троих, увешанных оружием — больше невозможно. Потом сцапал глазами и

Пилипчука, который шел им навстречу. Федор с товарищем не отставали от него.

Встретились в центре поляны. Козырнули друг другу, но руки для пожатия ни один не протянул.

Особенно же обрадовало Каргина то, что Федор с товарищем свою задачу толково решали: и прикрыть собой Костю вроде бы не стремились, создавая видимость полного доверия, и в то же время настороже непрерывно были. Даже когда неизвестные кисеты протянули, не оба враз за табаком потянулись, а поочередно!

Перекурили — повели разговор, которому, как показалось Каргину, конца не предвиделось.

Но вот, опять только козырнув друг другу, они разошлись. Теперь Федор с товарищем шагали рядом — плечо к плечу — и чуть сзади Пилипчука, прикрывая его спину.

Каргину очень хотелось сейчас же узнать, о чем они договорились, каково первое впечатление Кости и Федора от незнакомцев, которые уже скрылись в лесу, но он вылез из-под ели и поднял руку. Моментально между деревьями замелькали его бойцы, короткими цепочками потекли к месту сбора роты.

Так быстро все ушли, что Костя не заподозрил, что все это время за ним наблюдали сотни глаз товарищей, готовых в любую минуту броситься ему на выручку.

8

К деревне подошли под вечер, и как раз в тот момент, когда тучи наконец-то разомкнулись и стало видно солнце, которое, хотя и направлялось на покой, было еще сравнительно далеко от вершин деревьев, закрывавших горизонт. И сразу же заметили, что здесь дома справные, около каждого — огород с зеленеющими грядками, а на пруду, который большущий лужей расплылся почти в центре деревни, лениво плавало даже несколько гусей, хотя буквально в считанных метрах от пруда извивался тракт!

Все это заставило глядеть в оба. И скоро Каргин заметил, что почти треть деревни сожжена, похоже — еще в прошлом году: голые березы с обуглившимися стволами и бурьян старательно прятали от людского взгляда печные трубы, изъеденные ветрами и дождями, иссеченные осколками снарядов и мин.

Увидел это сравнительно давнее пожарище — понял: из тех домов, что спалены, мужики наверняка в леса ушли; а гуси, спокойно плавающие около тракта, — «пряник», подброшенный фашистами: дескать, мы нисколечко не притесняем тех, кто нам верно служит, мы создаем им все условия для хорошей жизни.

«Пряник» подбросили, старосту-зверюгу бог весть откуда выкопали и здесь начальником затвердили, а народ все равно не покорился, ишь, весточку прислал: «Помогите!»

Все входы-выходы из деревни блокировали партизаны, которые и сейчас, при солнечном свете, поперли бы в деревню (велика ли сила — шесть полицейских?!), но Каргин приказал ждать ночи и не рыпаться. Вот и ждали, в душе костеря его за излишнюю осторожность. До тех пор костерили, пока разведчики не обнаружили телефонные провода, пока из трех домов, стоявших на краю базарной площади, вдруг не высыпало на будто бы вымершую улицу около двух десятков изрядно захмелевших солдат вермахта.

— Перережу? — спросил Юрка, показывая глазами на телефонные провода.

Пока все складывалось нормально — и Костю оберегли, и дождь передышку дал, и телефонную связь вовремя обнаружили, — поэтому Каргин позволил себе пошутить:

— Чтобы пана старосту о нашем появлении своевременно оповестить? — Помолчал и уже серьезно, тоном приказа: — Проследи, куда эти сволочи на ночь завалятся... А провода перерезать и в последнюю минуту успеешь.

Набрала силу ночь — будто вымерла деревня: ни огонька, ни собака не взбрехнет. И тогда в ее улицы бесшумными тенями скользнули три группы партизан. Каждая имела свое и предельно ясно сформулированное задание: двум надлежало, по возможности, без стрельбы, уничтожить фашистских солдат, вернувшихся в те же дома, а Юрке с двумя товарищами — изловить старосту: обязательно живьем взять!

Каргин долго колебался, долго и мучительно решал, какую группу должен возглавить он лично. Или, может быть, остаться с основным ядром роты, блокируя подходы к деревне?

Последнее, конечно, самое разумное: отсюда он как командир всегда сможет оперативно вмешаться, если случится что-то непредвиденное.

Короче говоря, многое было за то, что ему не следует ходить в деревню, но он впервые за последний год уступил своему желанию и, проверив автомат, зашагал с теми партизанами, которым предстояло напасть на фашистских солдат. Шагал бодро, во всем теле чувствуя необыкновенную легкость; словно невесомым оно вдруг стало.

Фашисты не ожидали нападения, они беспечно спали на перинах и подушках, устилавших весь пол горницы. Хмель и вера в то, что здесь им ничего не угрожает, были настолько сильны, что один из них, проснувшийся то ли случайно, то ли от легкого ветерка, ворвавшегося в горницу вместе с партизанами, немедленно и послушно уронил голову на подушку, как только Юрка, сдерживая голос, сказал ему по-немецки:

— Спи...

В обнимку с оружием спали фашисты. Это и подвело Каргина: когда ему доложили, что автоматов на один больше, чем фашистов, он почему-то не обратил на это внимания, он, посчитав, что в доме все сделано как надо, вышел во двор и сразу же

сунулся в хлев, где уловил какое-то шевеление. Только шагнул за порог хлева — на него с сеновала и прыгнул фашист, стиснул шею рукой и давай ломать. И вдруг, захрипев, кулем пал на землю.

Считанные секунды продолжался поединок, но Каргин в изнеможении припал плечом к бревенчатой стене. В эти мгновения он думал лишь о том, что на сей раз смерть все-таки обошла его, и машинально растирал рукой шею. Потом заметил Соловейчика, который вроде бы равнодушно стоял рядом.

— Спасибо, Серега...

— Командир велел доложить, что старосту взяли, — ответил тот.

— Ты иди, иди... Я сейчас...

Но Серега стоял рядом до тех пор, пока Каргин окончательно не пришел в себя, пока, одернув гимнастерку и подняв с земли фуражку, не вышел из хлева. И по улице деревни Серега шел на шаг сзади Каргина, прикрывая его спину.

Старосту — плюгавенького мужичонку, который, казалось, и мухи не был способен обидеть, — повесили на базарной площади, объявив народу, что так будет с каждым изменником.

Против ожидания, староста не молил о пощаде, не пытался свою вину свалить на кого-то, словом не обмолвился о том, что ему, дескать, приказывали. Он только смотрел на партизан и односельчан, толпившихся рядом. Смотрел так, что всем было ясно: он жалел, что кончилась его власть, что он к ним, а не они к нему в руки попали.

Староста еще стоял под петлей, когда первые огненные языки робко выглянули из-под крыши его дома. Потом враз и дружно запылали и дома полицаев, и те три, где еще вчера пьянствовали фашисты. Кровавое зарево стало разливаться по небу.

Уже в лесу, когда вершины деревьев укрыли от глаз отблески пожара, игравшие на кромках рваных туч, Юрка спросил, догнав Стригаленка:

— Откуда у тебя взялся этот чувал? Который на горбу прешь?

— В этой деревне у меня тетка живет. Заглянул к ней на минутку, а она — бабы знаете какие? — силком его всучила мне. Начал отказываться — в слезы ударилась, — бодро ответил Стригаленок. — И хлеба, и сала дала. Желаете?

Юрка, проворчав что-то невнятное, ускорил шаг.

Глава седьмая

1

Фон Зигель был глубоко убежден, что по-настоящему культурный и волевой человек должен жить точно по распорядку дня, который обеспечивал бы ему максимум здоровья и бодро-

сти духа. Конечно, когда грохочет война, когда на тебя возложены определенные обязанности, нельзя и мечтать о пунктуальном его выполнении, но стремиться к этому должно. Поэтому, как бы поздно ни лег бы вчера, какой бы беспокойной ни была ночь, он вставал обязательно ровно в семь часов, проделывал комплекс гимнастических упражнений, выпивал стакан парного молока и лишь тогда позволял себе выкурить сигарету.

С восьми до девяти был его личный час, во время которого он отвечал отцу на его пространные письма и просматривал газеты — как местные, так и прибывшие из Берлина. Конечно, еще год назад этот час не всегда оказывался заполненным до отказа. Но и в этом случае фон Зигель считал себя обязанным оставаться дома: это время было лично его, и он имел право распоряжаться им по своему усмотрению.

В летние месяцы 1942 года этого часа стало явно не хватать. Все потому, что теперь он сам вел своеобразную оперативную карту движения всех фронтов. Ежедневно наносил на нее обстановку и после долго размышлял, мысленно сопоставляя сводки командования вермахта с теми сведениями, которые получал от отца, гебитскоменданта и других офицеров или даже просто от раненых, прибывших в Степанково. Много мыслей, и не всегда радостных, порождало это сопоставление сводок командования вермахта с теми сведениями, которые пришли к нему другими путями. Так, как сообщило командование вермахта, 17 июля начали победные действия войска группы армий «Б», нацеленные на Сталинград; как свидетельствуют документы, уже 23 августа они вышли к Волге в районе Латошинка — Рынок; танки вермахта будто бы остановились у корпусов Тракторного завода, а 4-й воздушный флот и 8-й авиационный корпус — более тысячи боевых самолетов! — начали неистовую бомбежку самого Сталинграда. Одним словом, победа!

Однако, если все обстоит именно так, почему буквально через несколько дней после начала наступления группы армий «Б» ей в помощь была выделена и 4-я танковая армия, которую намеревались использовать в боях за Северный Кавказ? Почему туда же вскоре были брошены 8-я итальянская и 3-я румынская армии?

Не находил фон Зигель ответа на эти и многие другие вопросы, хотя каждое утро почти час искал их, сличая и изучая все сведения и даже слухи, которые дошли до него.

Вот и подумалось, что, видимо, верны, имеют под собой реальную почву слухи о сотнях новых советских стрелковых дивизий, о стрелковых и танковых бригадах, о зенитно-артиллерийских полках и даже бригадах, о полках и соединениях реактивной артиллерии.

Если эти сведения верны, то еще рано трубить победные марши, очень рано...

От всех этих мыслей сумрачно, даже тревожно было на душе у фон Зигеля. А тут, как назло, еще и гебитскомендант стал

активничать, непрестанно напоминать о том, что фон Зигель назначен на свой пост отнюдь не для того, чтобы поправить здоровье.

На прошлой неделе гебитскомендант даже вдруг спросил:

— Гауптман, у вас найдется «Памятка немецкого солдата»?

— Разумеется, — несколько недоуменно ответил тогда фон Зигель.

— Не посчитайте за труд, прочтите мне, пожалуйста, то, что сказано во втором ее пункте... Что же вы молчите? Я жду.

— «У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь жалость и сострадание, убивай всякого русского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай, этим самым спасешь себя от гибели. Обеспечишь будущее своей земли и прославишься навек...»

— Или вы, дорогой Зигфрид, не хотите вечной славы? Неужели вы предпочитаете нечто другое? — ударил вопросами гебитскомендант и, не дожидаясь ответа, бросил телефонную трубку.

Этот разговор еще больше испортил настроение. Значительно больше, чем очередное сообщение дежурного о нападении партизан на патруль из трех солдат. Да и не могло быть иначе: фон Зигель прекрасно понимал, что́ имел в виду гебитскомендант, когда упомянул про «нечто другое».

А потом были вызов в гебитскомендатуру и беседа со старым маразматиком, плечи которого украшали погоны оберста. И вот теперь, вернувшись к себе, фон Зигель сидит за столом в кабинете и мысленно повторяет все, что произошло недавно, глядит на листок бумаги, лежащий перед ним.

«...Под предлогом борьбы с партизанами мы стараемся уничтожить как можно большее количество представителей украинского народа...»

Под этими строками, подчеркнутыми лично господином оберстом, стояла подпись Шеера — начальника полиции Киева.

А рядом с этим листком лежал другой — донесение командира 3-го батальона 15-го полицейского полка. Оно свидетельствовало о том, что данный батальон за неполных три месяца пребывания в Белоруссии уже расстрелял 44837 человек, из которых только 113 считал партизанами.

Оба эти документа вручил гебитскомендант вчера вечером. А сегодня на рассвете заехал на несколько минут старый товарищ отца и с глазу на глаз передал фон Зигелю объемный пакет — очередное послание из дома. Отец, как всегда, писал обстоятельно, не выбирая выражений, так как истово верил в порядочность своего посланца. В конце пространного письма, где семейные дела перемежались со слухами, будоражащими Берлин, словно между прочим сообщал он и о том, что теперь с оккупированных на востоке земель в Германию продуктов поступает почему-то меньше, чем было еще недавно; неужели солдаты фюрера стали забывать родных?

Что ж, отца можно понять: он не знает, что местное население обобрано до ниточки, что многие продовольственные транспорты не доходят до Германии — становятся добычей партизан.

А вот гебитскомендану следовало бы знать все это! Если советский народ обобран до последней ниточки, то как и откуда добыть еще столько же? Гебитскомендант говорит, что сам фюрер требует этого. Оберст утверждает, что стоит лишь поосновательнее прижать местное население, как все появится само собой. Даже обещает для уничтожения партизан выделить воинские части. Воинские части против партизан — это прекрасно! Однако, как говорит мой начальник полиции, так называемая малая война — не увеселительная прогулка. Она требует привлечения внушительных сил вермахта. В вашем распоряжении, господин оберст, может быть, кое-что и есть, а какими силами располагаю я, комендант района?

Однако вы, господин оберст, не учитываете этого, предписываете мне одновременно очистить район от партизан, выкачать у населения последние запасы продовольствия, да еще и вербовать молодежь для работы в Германии!

Между прочим, «вербовать» — это дипломатический выверт, рассчитанный на то, что какой-нибудь слюнявый демократ из Швеции, Англии или другой страны вдруг да уцепится за него. А вы-то, господин оберст, вы-то прекрасно знаете, что такое «вербовка»: оцепили деревню, прошли с обыском по всем хатам, обшарили сеновалы, погреба, риги — глядишь, и поймали кого-то подходящего. А дальше и вовсе просто: под усиленным конвоем доставили «завербованного» до железнодорожной станции и впихнули в вагон.

Если верить слухам, приползающим сюда из Берлина, то сейчас разрабатывается и особый приказ, касающийся этой «вербовки». В нем будто бы будет прямо указываться, что немедленному сожжению подлежит дом того, кто откажется «добровольно» ехать на работу в Германию, а члены его семьи будут отправлены в концлагеря.

Что ж, эти крутые меры, возможно, и подействуют на какое-то время. До тех пор будут действовать, пока местное население само не спалит свое жилье и не исчезнет, не растворится в этих бескрайних и болотистых лесах. И боюсь, что это произойдет очень скоро...

Короче говоря, нервничал фон Зигель, можно сказать, временами терял власть над собой. Отсюда и внезапные приливы восторженности или такое настроение, что хоть сегодня же пиши рапорт об отправке в действующую армию. Чтобы просто драться и ни о чем не думать, кроме сиюминутного, тебя окружающего.

Но он, конечно, не подал рапорта об отправке на фронт. Он просто решил, что пока особо усердствовать не стоит: разве, допустим, через какое-то время, когда окончательно прояснится обстановка на фронтах, будет уже поздно и войска для борьбы

с партизанами затребовать, и окончательно опустошить белорусские деревни?

Нет, он, фон Зигель, своего постарается не упустить. Однако и головой рисковать без особой нужды не намерен. Она у него единственная.

2

В июле и августе временами выпадали такие жаркие дни, что Григорий перенес стоянку отряда к тому самому озерку, затерявшемуся в чащобе, где он впервые в жизни добровольно полез в воду; если обстановка и погода позволяли, он по нескольку раз в день плюхался в воду озерка, которая теперь уже не казалась ему пугающе черной, и долго плавал вдоль берега, старательно выбрасывая из воды руки — учился плавать саженками.

Первым за ним в озерко обычно лез Петро, и лишь потом — остальные. Кроме Марии Вербы: она, когда мужики начинали скидывать портки, сначала убегала в лес, где и отсиживалась до тех пор, пока ее не звали обратно, а потом пообвыкла, ограничивалась лишь тем, что поворачивалась спиной к озерку. Так и сидела, пока последний из купальщиков не вылезал на берег и кто-нибудь не говорил ей шутливо, что теперь она никого не сглазит.

Мария Верба... Занозой вошла она в сердце Григория. Самое же странное, чего никак не мог понять он, который раньше к любой женщине подходил без робости, теперь не то что слова, а даже предлога не мог найти, что бы позволил подойти к ней и хотя бы поговорить. Правда, однажды (тогда ему показалось, что все спали) он все же насмелился, пригладил рукой волосы, в душе пожалев, что здесь нет парикмахерской, и зашагал к шалашу, где Мария (это он знал точно) укрывалась от солнца. Тихо было вокруг — ни одна птица голоса не подавала, ни один лист на деревьях не шелестел, поверяя другим свою тайну.

Шага три или четыре оставалось сделать Григорию до шалаша Марии, и вдруг из кустов вылез Мыкола и заговорил, будто продолжая давно начатую беседу:

— Дождичек, дождичек во как сейчас хлебам нужен!

Григорий, разумеется, прошел мимо шалаша Марии.

Один этот случай, конечно, можно было бы посчитать и случайной неудачей, однако жизнь заставляла другой вывод сделать: оберегали товарищи Марию, как иной отец за своей дочерью, так они за ней доглядывали; куда бы она ни пошла — белье полоскать, за ягодами ли — обязательно за ней увязывался кто-то, годами солидный.

Не потому ли бородачи единодушно и взбунтовались, когда Григорий хотел отправить ее в семейный лагерь?

Появился в отряде Виктор — взыграла в Григории ревность: казалось, что на него Мария особенно ласково поглядывает, что именно Виктору лучшее из общего котла в миску кладет.

Остудил себя тем, что дальше этого дело не продвигалось.

А вообще-то времени ни для вздохов, ни для ревности у Григория почти не было: и вылазки на дороги они в эти минувшие месяцы частенько делали, «клевали по зернышку», как Мыкола выразился. Да и с семейным лагерем забот хватало: ну-ка попробуй прокормить такую ораву, попробуй среди баб, каждая из которых за годы своей жизни привыкла прежде всего о личном семейном очаге заботиться, так работу вести, чтобы ни одна свара не зародилась!

Правда, в этом вопросе ему здорово повезло: Груня с дедом Потапом сами напросились в старшие над бабьем и детворой, добровольно все заботы о них взвалили на себя.

С одной стороны — очень хорошо, когда у тебя такие помощники, а с другой — они и тебе, начальнику, ни за что покоя не дадут. Например, вчера вдруг заявился дед Потап — туча тучей, посидел, покурил и... обрушился с упреками на Григория, обвинив в том, что будто бы он чуть ли не приказом запретил ему пару полянок картошкой засадить!

Конечно, можно было повысить голос и по-командирски рыкнуть: дескать, с больной головы на здоровую не сваливай, дескать, не я, а ты и полянки подсмотрел, и только рожью их засеял.

Но Григорий сдержался. Только и позволил себе, да и то лишь тогда, когда прошумелся дед Потап:

— Прикажешь самому расстреляться или как?

Дед Потап сразу будто поперхнулся. И только после длительного молчания предложил, словно думая вслух:

— Сейчас, конечно, ту ошибочку не исправишь, вспять время не повернешь. Однако людям-то есть надо? Они-то не виноваты, что кто-то не тем местом думал... Может, нагрянем к кому из полицаев или старост, опустошим огород?

— На мародерство подбиваешь? Уже забыл, какой приказ по бригаде зачитывали? — выпалил Григорий.

И сразу же спохватился, что сказал глупость, которая может кровно обидеть деда Потапа. Но тот — слава богу — только глянул на него осуждающе и сказал тоном человека, искренне верящего в правоту своих слов:

— Не мародерство это, а самая заправдашняя боевая операция.

Подарил эту мудрость и замолчал. Григорий в душе был согласен с ним, однако уязвленное самолюбие заставило спорить, и он проворчал:

— Картошка сейчас полной силы еще не набрала, ей еще с месяц в земле быть надо, а ты...

— Если с позиций природы глядеть, то так оно и есть, — словно нож в оттаявшее масло, вошел в разговор Мыкола. —

Только, пока она полностью дозреет, как бы нам свою силу не потерять. — И добавил как самый неоспоримый довод: — Испокон веков так ведется, что еще с лета подкапываем ее. У себя в огородах подкапываем. А тут — о заклятых врагах народа нашего речь идет...

И опять же это не было откровением для Григория, но то, что Мыкола посмел вмешаться в разговор, встал не на сторону старшего, заставило понять, насколько серьезно, насколько важно добыть картошку сейчас, именно в эти дни; сразу же вспомнилось и то, что еще с неделю назад дед Потап плакаться начал: дескать, растаяли все мои запасы, как снежок под вешним солнцем, растаяли.

Григорий всегда был скор на решения. Вот и сегодня, подумав немного, решительно заявил:

— Предложение принимается, айда готовиться к операции!

Но дед Потап не ответил радостной улыбкой, он упорно смотрел на белое, будто ватное облачко, которое, казалось, вот-вот зацепится за вершину-шпиль высоченной ели. И Григорий поспешил пояснить:

— Без торопливости готовиться. Чтобы самое раннее — завтра выйти... И начнем с того, что объект для нападения определим.

По подсказке деда Потапа, казалось бы, намертво решили взять картофель с огорода старосты одной из ближних деревень. Даже обязанности распределили — кому лопатой орудовать, кому мешки с картошкой на подводы таскать, а кому с автоматом службу охранения нести; Григорий взял на себя самое поганое — беседу со старостой. Такую беседу, чтобы после нее тот и думки не заимел пожаловаться кому-то, чтобы только радовался, что еще легко отделался. И вдруг, когда все было вроде бы окончательно утрясено, Григорий заявил:

— А теперь, как в том фильме про Чапаева, на все это наплевать и забыть, начнем все сызнова. С выбора деревни начнем. Нужна такая, чтобы была подальше от нашего места базирования. Чуешь, дед Потап? Ведь и малому ребенку должно быть ясно, что чем короче цепочка следа, тем охотнику легче.

Даже товарищ Артур одобрительно кивнул.

Дед Потап долго не раздумывал: пожевал свою бороду-лопату, и не только другую деревню почти сразу же назвал, но и описал, поводя руками, как туда пробираться придется. И уже с рассветом следующего дня отряд тронулся в путь. Впереди — дед Потап и Виктор с Афоней, концевыми — две подводы. Лишь Мария осталась у опушки леса, начинавшегося почти от озерка. Стояла в двух шагах от озерка, над черной, будто полированной поверхностью которого начал струиться прозрачный туман, а смотрела на лес, бесшумно проглотивший отряд. Потом, опомнившись, нехотя вернулась к своему шалашу и в растерянности остановилась: а что делать теперь? Ушел отряд — не для кого готовить обед; нет людей — никто не попросит починить рубаху

или состирнуть белье. И невольно подумалось, что вот опять она суток на двое или трое одинешенька в этом лесу.

Если бы товарищи знали, как мучительно тошно ей бывает тут одной, они, может быть, брали бы ее с собой?

Как неприкаянная, Мария обошла весь лагерь, заглянула во все шалаши, кое-где обновила подстилку из пихтовых лап и замкнула круг, вернулась к своему шалашу. Подумав, разожгла костер и укрепила над ним котелок с водой — решила побаловать себя кипятком, настоянным на смородиновых листьях.

Костер весело потрескивал, изредка целясь в нее злыми искорками, вода в котелке давно кипела, выплескиваясь через край, а Мария сидела, обняв руками колени, смотрела на костер и на воду в котелке, покрытую шапкой желтоватой пены, видела и не видела все это. Она думала о себе, о том, как безжалостно фашисты сокрушили все ее жизненные планы.

Она перед самой войной окончила девять классов, думала, что минет еще годик — и вот уже открыта ей дорога в институт. В какой — этого не решила (хотелось одновременно быть и врачом, и учительницей, и такой самолет построить, чтобы на нем наши летчики запросто вокруг земного шара летали), но в том, что поступит в институт, — готова была поклясться чем угодно. И вдруг...

О том, как мыкалась этот год, даже вспоминать больно. Особенно о Кондрате Скрипке. А ведь был парень как парень, ничем не выделялся. Золотая серединка — обычно говорят про таких. Иногда осуждающе, но чаще — даже с удовольствием говорят.

Мария не знала, когда и почему Кондрат стал полицаем. Может быть, себя хотел уберечь или от дома беду отвести: ведь два его старших брата в Советской Армии служили. Даже не особенно негодовала, увидев его с повязкой полицая на рукаве, хотя, как ей казалось, навались на нее что-то подобное, она скорее смерть приняла бы, чем на измену своему народу пошла.

С неделю только походил Кондрат с повязкой полицая на рукаве — и раскрылось его нутро. Завистлив, властолюбив и жаден оказался Скрипка; уж если на кого или на что нацелится, — считай, приберет к рукам. Самое же страшное — если от фашистских катов еще можно было кое-что утаить, то этот все сквозь любую маскировку видел. Вот и Мария, едва прошел слух, что в деревню фашисты с часу на час нагрянут, по самые глаза платком укрылась, самое невероятное старье на себя напялила; даже горбиться начала, при ходьбе ногу волочить стала! И ведь фашисты спокойно проходили мимо нее, лишь пренебрежительно покосив глазом. А Кондрат поймал на улице и сказал, осклабившись:

— Даю тебе месяц сроку на то, чтобы в меня влюбилась. Влюбишься — сразу приходи ко мне. Небось знаешь, где ночую?

Сказал эту гадость и зашагал дальше, прутиком беспечно похлестывая себя по голенищу.

А она, забившись на сеновал, помнится, долго ревела от обиды и сознания того, что ой как трудно ей будет ускользнуть от бесстыжих рук Кондрата; считай, невозможно, если счастье не выручит.

Успокоила себя тем, что он это просто так, чтобы попугать, брякнул. Но ровно через неделю, когда она пропалывала морковь, он подошел к плетню и крикнул:

— Три недели имеешь!

Вот тогда она окончательно поняла, что это не шуточная угроза, тогда она поверила и в шепотки о том, что в соседней деревне он над ее сверстницей надругался, когда та отказалась к нему в полюбовницы идти. Не один, а с приятелями-полицаями надругался. И ничего ему не было, хотя та несчастная, едва ушли мучители, сразу же повесилась.

Неизвестно, что было бы с ней, Марией, если бы не подвернулась оказия — уйти с обозом. Добровольно она в возчики напросилась. На что надеялась — сама не знала, просто главным для нее тогда было — оказаться как можно дальше от Кондрата.

Несказанно возликовала, попав к партизанам. Даже не подумала о том, что она — единственная женщина среди стольких мужиков. Чуть позже, когда это дошло до сознания, решила, что во избежание неприятностей должна сама прильнуть к одному из них. Чтобы защиту надежную иметь. И ее даже обрадовало, что внимание на нее обратил сам командир отряда — такой чернобровый, статный и авторитетный. Настолько обрадовалась этому, что все недавние страхи забылись.

Но у него, у Гришеньки чернобрового, смелости только на тайные вздохи хватило...

Потом в отряде появился Виктор, она узнала его недавнюю трагедию и пожалела парня. Но вскоре заметила, что он на нее даже малого внимания не обращает, и будто какая-то сладостная волна сердце захлестнула.

Дней десять считала себя влюбленной в него, а затем вдруг поняла, что не любит ни Виктора, ни Григория, что лишь из-за страха готова была стать женой любого из них. Осознала это — со стыда хоть сквозь землю проваливайся. И, украдкой всплакнув, словно окончательно отрезвела.

Мария искренне думала, что излечилась от тайного своего недуга, а вот ушли они на эту чертову операцию — и взыграло былое: только о них двоих и думала сейчас, будь ее воля — со всех ног побежала бы по их следу. Прекрасно знала, что ни одного из них не любит, а все равно побежала бы...

Отряд за весь день не встретил ни одного человека. Зато под вечер, когда уже лежали под деревьями на опушке и наблюдали за деревней, увидели колонну пленных человек в шестьдесят. Ее гнали четыре фашистских солдата. Без спешки, без понуканий гнали.

За этой колонной партизаны наблюдали до тех пор, пока она не втянулась в улицу деревни, пока ее не скрыли от глаз избы и березы, толпившиеся около них.

— Если бы кто мое мнение спросил, то хрен с ней, с картошкой, — сказал Виктор, нарочно громко сказал, чтобы его услышали многие.

— Не вякай! — немедленно огрызнулся Григорий, у которого глаза тоже разгорелись: всего четверо конвойных!

— Мое дело и вовсе маленькое, я — последняя спица в колеснице, только и моя мысль с Витькиной схожа, — вклинился в разговор Афоня. Похоже, хотел добавить еще что-то, но его опередил Мыкола:

— А товарищи наши все еще сидят за той клятой проволокой, смерти ждут. Может, и этих туда же гонят?

Упоминание о том лагере оказалось последней каплей, и Григорий, глянув на Мыколу злыми глазами, решительно сказал:

— Разговорчики!

Немного погодя все же смилостивился:

— Что, командир не имеет права подумать даже самую малость?

— Разве мы против? — удивился Мыкола. — Мне отец частенько говаривал, что для любого человека думать — занятие полезное.

— Слышь, доморощенный стратег, сходи-ка, глянь на свою технику! — окончательно разозлился Григорий.

Мыкола не знал, что кроется за словом «стратег», посчитал его каким-то особым ругательством и обиделся; упоминание о технике укрепило в этом мнении: ведь приказом командира он был прикреплен к обозу, а точнее — к Венерке, самой норовистой кобыле.

Вслед за Мыколой, чтобы не нарваться на резкое слово, поспешили отойти и другие. Рядом с Григорием остались только Виктор с Афоней и дед Потап с товарищем Артуром. Заметив это, Григорий усмехнулся и сказал, подражая кому-то:

— Начнем, пожалуй?

— Чего начинать-то? — притворно удивился Афоня.

— Совет в Филях, — бросил реплику Виктор.

— Где те ваши Фили, это мне неведомо, — нахмурился дед Потап. — А это — Козевичи.

Однако Виктор ошибся, заседания «совета» не получилось. Просто Григорий, подумав, вдруг сказал, что сложившаяся обстановка требует перегруппировки сил, и поэтому он на сегодняшнюю ночь считает главнейшим нападение на конвой, а все прочее — и разговор со старостой, и картошка — это на вторую очередь отодвигается; не попросил Виктора, а приказал ему быть старшим над такими-то и такими-то партизанами (двенадцать человек поименно назвал), которым и надлежало решать главную задачу.

— Вопросы имеете? — спросил Григорий в заключение.

Только Виктор попросил уточнить:

— Когда начинать?

Вот тут немного поспорили, вернее — Афоня сказал, что это лучше сделать под утро, когда сон особенно сладок. Но товарищ Артур, согласившись, что сон под утро действительно крепче, уточнил, что это происходит лишь с теми, кто спит, а вот будут ли в эту ночь спать конвойные и местные полицаи — это еще вопрос: может быть, со страха они вообще ночь глаз не сомкнут? И чем глубже в ночь, тем напуганнее будут?

— Едва стемнеет, сразу и начнем, — принял его сторону Григорий.

Потом, объяснив партизанам выработанный план, перекурили и залегли.

Солнце в этот вечер словно нарочно не торопилось. Сначала оно томительно долго ползло по небу, потом, зацепившись за лес, будто и вовсе перестало двигаться. Григорий украдкой даже вздохнул с облегчением, когда оно — наконец-то! — все же провалилось за горизонт. Но и после этого еще долго было светло, и красные лучи, упираясь в небо, словно пытались поджечь белую пряжу облаков.

Высыпали дрожащие звезды — Виктор встал, потянулся и спросил:

— Так мы с Афоней пойдем разведаем?

Ушли Виктор с Афоней — только тогда Григорию пришло в голову, что почти точно так же была спланирована и операция в Мытнице. Вспомнил и о том, что Каргин неоднократно говаривал: одна из основных ошибок фашистов — они сами себя перепевают. Дескать, хорошо изучи одну их операцию — наперед знать будешь, что в том или ином случае они делать станут. Вспомнилось это — тревожно стало на душе. И злость навалилась: на себя — за то, что путного ничего в голову не пришло, а на Виктора с Афоней — за долгое отсутствие; чаи они там со старостой гоняют, что ли?

Тревога не покидала его и потом, когда вернувшийся Виктор рассказал ему все и повел отряд за собой. Немного отлегло от сердца лишь тогда, когда увидел убитых ножами конвойных и местных полицаев. Пленные, которые так неожиданно получили свободу, сначала только и могли молча обнимать своих спасителей или плакать, уцепившись за них. Чтобы совладать со своими нервами, Григорий скомандовал нарочито строго:

— Товарищ Артур, принимай под свою команду всех этих. И обращайся с ними по всей строгости наших партизанских законов, только заметишь что — сам знаешь, как поступить следует.

— Слушаюсь, — ответил тот и сказал недавним пленным: — Будете копать картошку и таскать ее на подводы.

Сам Григорий с Виктором и Афоней решительно зашагали к дому старосты.

Едва поднялись на крыльцо, не успели в дверь и раза стукнуть, как она будто сама распахнулась и кто-то сказал из непроглядной темноты сеней:

— Милости прошу, гости долгожданные, прямо в горницу.

В голосе говорившего не было даже намека на робость или растерянность. Это озадачило: то ли здесь западня подготовлена, в которую они сами лезут, то ли свой человек живет, специальное задание выполняющий.

Староста трещал без умолку, словно задался целью — голосом своим заворожить Григория с товарищами, не дать им спокойно ни одной мысли додумать. Залпом выпалил и о том, что с весны живет один — старуха к дочери подалась, чтобы помочь внука на ноги поставить, а он лично каждую ночь ждал, что вот-вот, если не они, то другие партизаны сюда заявятся: деревня-то фашистами почти не ощипана, разве местные жители не поделятся со своими защитниками тем, что сами имеют? Даже вроде бы обрадовался, когда узнал, что именно в эти минуты партизаны его огород от картошки очищают. Засуетился:

— Может, лопатку надо? У меня в хозяйстве их штуки две или три. Сходить показать, где они?

Григория раздражала словоохотливость старосты, только поэтому грубо и осадил его:

— Не таратырь и прижми зад вот к этому стулу, — и глазами показал, к какому конкретно.

Староста обиженно поджал губы, но на указанный стул сел. Правда, боком к Григорию. Давая понять, что обиделся на него.

— Сам-то кто будешь? И почему нас каждую ночь ждал? — начал спрос Григорий.

— Если вас имя мое интересует — Александр Никитич Птаха...

— То и поешь, заливаешься, — буркнул Афоня, сидевший у самой двери и готовый, если староста попытается бежать, перехватить его.

Староста от гнева на мгновение даже свел к переносице свои реденькие брови, но тут же совладал с собой и только сказал с укором:

— Над фамилией насмехаться никому не положено. Да и не сам себе я ее выбирал, от предков по наследству принял.

Чтобы не дать конфликту войти в силу, Григорий повторил свой вопрос:

— О нашем приходе кто тебя предупредил?

— Мозги подсказали, — ответил Птаха и тут же погасил улыбку. — По причинам, объяснить которые не имею права, вашего появления со дня на день ждал.

Если бы он, Григорий, хоть с кем-то из партизанского начальства имел связь, последние слова старосты наверняка натолкнули бы на мысль, что Птаха — свой человек, но теперь в душе опять зашевелилась неясная тревога. И тут, не дав ей оформиться, окрепнуть, вбежал Петька, выпалил с порога:

— Товарищ командир, вас туда немедленно требуют!

Столько волнения было в голосе Петьки, что Григорий поспешно встал, сказал старосте, на мгновение задержавшись у порога:

— А разговор мы еще продолжим.

Виктору с Афоней даже намека брошено не было: дескать, доглядывайте за этим, и они, тоже поддавшись волнению, выскочили вслед за Григорием, вместе с ним врезались в кучу партизан, чтобы разнять дерущихся. Человек десять было в той куче, а в центре ее стоял недавний пленный — молоденький солдат, пальцами зажимавший нос, из которого сочилась кровь.

— Этот сукин сын врет, будто фашисты к Волге вышли, уже в самом Сталинграде бои ведут, — обличил молоденького солдата Мыкола, от обычного благодушия которого не осталось и следа.

До Григория через его разведку уже не раз доходили слухи о том, что фашисты будто бы ведут бои на улицах Сталинграда. Не очень-то верил этим слухам: гитлеровцы и в прошлом году это же долдонили, когда на Москву наступление вели.

— Какой мне интерес врать? — сказал парень с разбитым носом; без обиды на недавний мордобой сказал.

— Вы, все прочие, с кем я сейчас разговора не веду, своими делами займитесь, — чуть повысил голос Григорий. Подождал, пока партизаны разошлись, тихонько ворча, и лишь тогда попросил: — Ты мне подробнее все, что знаешь, расскажи.

Парень, по-прежнему зажимая пальцами нос и потому гнусавя, поведал, что служил минометчиком, в самом Сталинграде стояла их рота. В сводках Совинформбюро ежедневно упоминалось о боях на подступах к этому городу; об этом же и раненые много судачили. Те, которых для лечения в Сталинград доставили. Но все равно это воспринималось лишь как разговоры. А вот 23 августа роту, в которой служил он, Спиридон Агафонцев, вывели на учебу в район Тракторного. Ну, как положено, и занимались боевой подготовкой. Если же честным быть, то больше по сторонам глазели: сами знаете, как солдат себя на таких занятиях ведет, если наперед все знает. Потому одними из первых и увидели множество танков и машин; они появились с запада, подошли к Тракторному и остановились. Советскими были те танки и машины. Если верить обмундированию, то советские солдаты и сидели в них. Так что поначалу ничто тревоги не вызывало. А потом заметили, что не попрыгали те солдаты на землю, не загалдели радостно, что к месту назначения прибыли; словно окаменевшие сидели на своих местах, и все тут. Это насторожило. И тогда командир минометного взвода лейтенант Бабко подошел к прибывшим. Будто бы прикурить. Подошел к одному танку, ко второму, заговорил с одним солдатом, показав свою цигарку, со вторым... Походил, походил около тех танков и машин и вернулся... с неприкуренной цигаркой! Белый — белее не бывает. Но этак спокойно вернулся и прошептал: «Фа-

шисты это! Ни один прикурить мне не дал, ни один не то что слова, даже матюка не обронил!»

— И приняла наша рота бой с ними, — вздохнул Спиридон Агафонцев, вытирая пальцы о шаровары. — Конечно, смяли они нас. — И торопливо добавил: — У них-то почти дивизия была, да еще с танками, а нас всего-то ничего, рота минометчиков!.. А меня контузило... У них в плену очухался.

Страшную правду обрушил на Григория этот солдат. Настолько страшную, что Григорий только и спросил:

— Как, говоришь, фамилия того лейтенанта? Что фашистов распознал?

— Бабко. Другие командиры его вроде бы Сашкой кликали... Я-то дня за три до этого к ним пришел. С пополнением...

Григорий никогда не был силен в истории и географии. Он и сейчас, если бы его кто-то экзаменовать стал, только и сказал бы, что Волга — она в самой сердцевине России течет, а Сталинград раньше Царицыном назывался, сам Стенька Разин гулял под стенами этого города, а в гражданскую войну здесь беляков сокрушили; и еще — здесь в годы одной из пятилеток заводище тракторный отгрохали. Назло всем империалистам и капиталистам взяли да отгрохали!

Очень мало знал Григорий о Волге и Сталинграде, но разволновался, услышав рассказ солдата. Думы о том, что сейчас творилось там, на берегу Волги и в улицах Сталинграда, были настолько тревожными, что Григорий как-то не придал значения тому, что староста деревни, с которым он так и не кончил разговора, вдруг обнаружился среди партизан, что-то объяснял им, похоже, даже указания давал. Окончательно пришел в себя Григорий только в лесу, вдруг увидев, что за отрядом ползут не две, а четыре подводы, груженные мешками с картошкой. Спросил у Мыколы, оказавшегося рядом:

— Эти-то откуда взялись?

— Никитич надоумил! — радостно ответил тот. — Говорит, разве вам надолго хватит того, что с моего огорода взяли? Берите и у соседа — полицая! И подводы он же мобилизовал, — уже менее радостно закончил Мыкола, заметив, что командир насупился.

Что Никитич — староста деревни, это Григорий понял сразу. Однако невольно полезло в голову: чем вызвана, чем продиктована эта заботливость пана старосты? Искренним желанием помочь? Радостью, что еще дешево отделался, жив остался, хотя запросто мог оказаться и на дерево вздернутым? Или тем, что от четырех груженых подвод вон какая колея остается?

— Да вы, товарищ командир, не думайте чего плохого: Никитич мне успел шепнуть, что он сюда для специальной работы нашими сунут, — снова затрещал Мыкола.

Чтобы Василий Иванович или он, Григорий, да признался в таком первому встречному?!

Остановив отряд, Григорий разделил его на четыре группы — по числу подвод. Каждая из них дальше своим кружным путем пошла к лагерю. А Виктор, Афоня и Григорий в том месте, где колея распалась, крестом на сырую землю легла, поставили пять противопехотных мин — все, что обнаружилось в заплечном мешке запасливого Афони.

Слова не проронили, пока минировали. Даже смотреть друг на друга избегали.

3

Стрельбу Василий Иванович услышал сразу. Мысленно даже отметил, что особенно буйствуют фашистские автоматы. Стрельбу слышал, а вот открыть глаза, оторвать голову от подушки — не мог: так измотался за последние дни. Зато, когда Нюська ворвалась в его комнату, сразу и проснулся и даже заметил, что она с перепугу в одной ночной сорочке к нему прибежала.

Проснувшись окончательно, он быстро оделся, схватил автомат, висевший в изголовье, и побежал из дома, еще решая, что ему надлежит сделать; он просто бежал к комендатуре, зная, что там фон Зигель, который и отдаст соответствующие приказания. Или даже несколько, исключающих друг друга.

Не успел пробежать и половины пути, как чуть не столкнулся с Генкой. Тот и доложил голосом, прерывающимся то ли от волнения, то ли от быстрого бега:

— Партизанский налет! Приказано занять оборону согласно плану!

Василий Иванович побежал к бункеру — главному опорному пункту на южной окраине Степанкова. Влетел в него, просунул автомат в амбразуру и... простоял так, не сделав ни одного выстрела за все то время, пока гремела перестрелка. А она оборвалась перед самым рассветом. Со стороны нападающих оборвалась. Немного погодя прекратили огонь полицаи и солдаты вермахта. Но до тех пор, пока солнце не поднялось над черным лесом, пока туман, скопившийся в низине, не загустел, не полез вверх тучей с темной серединой, ни один из них не покинул своего места: не верили, что партизаны отошли по-настоящему, оставив только торчащую стоймя столешницу, на которой углем было нацарапано: «Все равно повыпускаем из вас кишки!»

Убедившись, что партизаны действительно ушли, Генка первым покинул бункер, подошел к столешнице и, вызвав хохот остальных, демонстративно помочился на эту надпись.

Все — и солдаты вермахта, и полицаи — все были довольны результатами ночного боя. Только о том, как врезали партизанам, и говорили. Казалось, один Василий Иванович хмурился. Еще ночью, когда партизаны свои действия почему-то ограничили лишь пальбой, в его душу закралось сомнение в реальности всего происходящего. Теперь, когда стало известно и то, что они сами обнаружили себя, издали открыв огонь по бункеру,

и вовсе окрепла мысль, что этот «партизанский налет» — инсценировка. Причем бездарно сработанная.

Но зачем и кому она понадобилась?

Зайдя домой, чтобы умыться и перекусить, он сказал Нюське:

— Понимаешь, очень странно все это: только пальба в ночь вместо активных действий! Наконец — а где убитые? Раненые? Допустим, они унесли своих. Но ведь у нас-то ни одного даже не царапнуло!

Нюська уже давно и на все смотрела глазами Василия Ивановича, поэтому и сейчас только кивала согласно. А он продолжал развивать свою мысль:

— Главное же — ни одной ракеты мы в небо не выпустили! Каждую ночь черт знает сколько их сжигаем, а в эту, когда вроде бы враг наступал, ни одной! О чем это говорит?

— Выходит, не хотели, чтобы кто-то увидел тех, которые наступали, — в самую точку ударила Нюська.

— А о чем это свидетельствует? — окончательно восторжествовал Василий Иванович и сразу же заторопился: — Ну, я побегу в свою берлогу: чует мое сердце, что Зигель вот-вот нас увидеть захочет!

Действительно, не успел он до конца дослушать восторженный доклад пана Золотаря о поведении полицаев минувшей ночью, как сообщили, что их обоих требует к себе господин комендант.

Фон Зигель принял их в своем кабинете, где к тому времени уже собрались все офицеры комендатуры. Начал он свою речь с того, что очень выспренно не сказал, а почти прокричал о победах вермахта под Сталинградом, о том, что сейчас ни один пароход уже не пройдет по Волге, если на то не будет разрешения фюрера, что еще буквально несколько дней — и этот огромный город, за который так цепляются советские солдаты, окажется полностью в руках верных сынов Германии. Потом, только переведя дыхание, с не меньшим жаром сообщил и о том, что народ Белоруссии с восторгом воспринял новый порядок и все прочее, предложенное ему. Но!.. Но, как говорится в одной русской пословице, в семье не без урода. Это они, моральные уроды, подлежащие безжалостному уничтожению, и пытаются сеять недовольство и смуту, не останавливаются даже перед убийством как солдат фюрера, так и лучших сынов белорусского народа. Они, эти моральные уроды, настолько обнаглели, что минувшей ночью осмелились напасть на Степанково! Что вышло из этой авантюры — об этом он говорить не будет: все, присутствующие здесь, были участниками недавнего ночного боя, достойно вели себя на всех его этапах.

— Прошу, господа, мою похвалу довести до сведения нижних чинов, к которым у меня тоже нет претензий. — И, помолчав, так закончил свою речь: — Чтобы напрочь исключить возможность повторения чего-то подобного, я обратился к командованию с просьбой расквартировать в нашем районе батальон специаль-

ного назначения. Сообщаю вам об этом исключительно для того, чтобы появление здесь наших героев не застало вас врасплох.

Сказал это и кивком отпустил всех, кроме Василия Ивановича; жестом приказал ему задержаться.

— Говорят, вы так яростно вели огонь, что ваш автомат обжигал руки? — спросил фон Зигель вроде был шутливо, но глаза его прожигали холодом.

— Вас, господин гауптман, неправильно информировали, я ни одного выстрела не сделал, — ответил Василий Иванович, как всегда, глядя точно в зрачки фон Зигеля.

— Вы не сделали ни одного выстрела? Почему?

— Боялся в полной темноте в кого-нибудь из своих попасть.

— У вас есть кто-то свой среди партизан?

Еще первая фраза этого разговора открыла Василию Ивановичу главное — за ним кто-то следил. Может быть, пан Золотарь. Однако нельзя забывать и Генку. Скорее всего — именно кто-то из них: больше никого этой ночью рядом не было. Конечно, кое-кто и подбегал на минуту, другую, но эти двое все время торчали рядом. Значит, опровергать обвинение Зигеля — себе вредить. Потому сразу же и честно ответил на его вопрос. Потому и сейчас решил говорить только правду:

— Извиняюсь, господин гауптман, если что не так скажу. Однако врать вам права не имею, — начал Василий Иванович, помолчав немного, и продолжил с видом очень виноватого человека: — Приглядевшись, понял я, что ночью был не партизанский налет, а вами лично задуманная операция. Тонко задуманная, но... Несколько ошибочек допустили ее исполнители, другие не заметили их, а я сцапал, выводы соответствующие сделал. — Он упомянул и о ракетах, ни одна из которых в эту ночь почему-то не врезалась в темноту, и о том, что партизаны не ограничились бы одной стрельбой, одной атакой, они бы — не вышло в лоб, обязательно попытались бы прорваться в другом месте: он, Опанас Шапочник, на собственной шкуре испытал, что для достижения цели большевикам упрямства не занимать.

Высказался и замолчал, пытаясь угадать реакцию Зигеля. Ждал чего угодно, только не того, что было сказано:

— Вы, господин Шапочник, очень полезный слуга... или невероятный пройдоха.

Через несколько дней к Василию Ивановичу и пану Золотарю стали набиваться на прием старосты, полицаи и просто скрытые сволочи, дрожащие за свою шкуру или стремившиеся за предательство хоть что-то урвать у теперешней власти. Все они, будто сговорившись, твердили одно: где-то в ближних лесах стоит лагерем отряд советских парашютистов; командует ими Черный Комиссар, он со своими людьми нахально врывается в деревни и откровенно заявляет: «Не уйду из этого района до тех пор, пока здесь будет жив хоть один фашист или его прислужник!» Почему Черный Комиссар? Так его свои навеличивают. Может, потому, что и штаны и куртка у него из черной

кожи. Может, из-за того, что он лицом черен, на цыгана смахивает.

Больше всего тревожило доносчиков то, что кое-кто из местных сразу же отправился на поиски лагеря того отряда. А еще сколько тайно мечтают об этом же?

Однажды, придя домой поздней ночью, Василий Иванович сказал:

— Поверь, чует мое сердце, что вот-вот сработает эта фашистская ловушка!

Зло сказал. И опустился на табуретку, стоявшую в кухне. Даже сапог не снял, ни рук, ни лица не сполоснул. Никогда еще Нюська не видела его таким злым и растерянным. И не стала утешать или взбадривать: считала, что даже самыми правильными словами ему сейчас не поможешь. Она тоже села на табуретку и тоже молчала, давая ему возможность собраться с мыслями, овладеть своими нервами. Потом, когда он стал снимать сапоги, помогла ему. Молча сопроводила и до умывальника, где он плескался долго и с ожесточением.

Лишь поев и выкурив цигарку, он рассказал ей всю правду и о своем разговоре с Зигелем, и о доносах, поступивших за последние дни.

— Понимаешь или нет, какая провокация задумана? Той пальбой в ночь они воинскую славу Черному добыли, а сейчас ему же дают еще возможность и собрать вокруг себя людей, к партизанству готовых. Чтобы потом, в подходящий момент, прихлопнуть их безжалостно!

— Может, мне сходить куда-то надо? — только и спросила Нюська.

В ответ Василий Иванович так глянул на нее, что она сразу поняла: оттого он и зол, что некому сообщить о том, что узнал, что он ищет и не может найти способа помешать фашистам свершить еще одно большое зло.

— Вообще, Нюся, будь осторожна. И в разговорах, и в знакомствах, и с отлучками из дома. Есть сволочи, эти за каждым моим шагом следят. Почему бы им не попытаться и через тебя меня запятнать?

Сказанное Василием Ивановичем для нее новостью почти не было: обостренным чутьем любящей женщины она давно схватила и повышенный интерес к себе со стороны некоторых, и то, что, стоило ей выйти из дома, обязательно где-то поблизости оказывался один из тех, кто служил в полиции или был прочно с ней связан. Даже поняла, что жаловаться на это Василию Ивановичу — только ему волнений добавлять: те подлецы, глазом не моргнув, или отопрутся, или нагло заявят, что ее же оберегали.

А то, что он сегодня впервые ее Нюсей назвал, так окрыляло, было такой наградой за все ее мытарства, что теперь за Василия Ивановича она и вовсе на любые муки пошла бы. Но и об этом даже словом не обмолвилась. Просто она еще какое-то

время посидела за столом, потом на несколько минут исчезла из горницы и сказала, вернувшись:

— Ложились бы вы, на вас и так лица нет. Постель расправлена...

Как и предполагал Василий Иванович, настал момент — фон Зигель захлопнул ловушку. Случилось это в последней декаде сентября, в те самые дни, когда сводки фашистского командования были полны восторженных воплей по поводу того, что солдаты вермахта уже почти полностью овладели крепостью на Волге — Сталинградом. Операция, задуманная фон Зигелем, началась с того, что ночью по тревоге были подняты солдаты местного гарнизона и все полицаи. Потом, пересчитав и проверив поименно, им приказали занять места в грузовиках, которые урчали моторами на дороге, и всю ночь везли куда-то, петляя среди болот и лесов.

Перед самым восходом солнца, когда над болотами начал клубиться туман, машины остановились, и все, подчиняясь приказу, пошли дальше, пошли за молчаливым проводником. Километров восемь или десять брели лесом по бездорожью и вдруг увидели цепь солдат того самого специального батальона, который прибыл в район по просьбе фон Зигеля; сзади этой цепи отдельными кучками держались полицаи, как подумал Василий Иванович, почти со всего района. Полицаям было строго-настрого приказано: идти сзади солдат вермахта и без промедления уничтожать любого человека, который обнаружится между солдатами и ими, полицаями.

Прошло еще несколько минут — без единого выстрела тронулась вперед цепь фашистов, вроде бы даже без команды тронулась. Пошла дружно, готовая открыть огонь в любую секунду.

Взошедшее солнце с радостной улыбкой смотрело на землю, своими лучами нежно касаясь каждого листочка, каждой травиночки.

Птицы, озабоченно щебеча, уже сбивались в стаи, выбирали вожаков и придирчиво экзаменовали молодняк: хотели точно знать, что у них крепкие крылья, способные выдержать долгий перелет в чужие, но такие теплые края.

На болотных кочках истекала жизненными соками голубица; почти под каждым деревом торчал гриб — красивый да такой ядреный, что невольно думалось: обязательно заскрипит, как репа, едва его ножом коснешься.

Сама жизнь струилась на людей с прозрачно-голубого неба, источалась деревьями и землей; о ней щебетали птицы и нежно шелестели листья берез, еще не тронутые желтизной.

Автоматные и пулеметные очереди — бесконечные и невероятно громкие — вдруг и противоестественно ворвались в этот прекрасный мир и безжалостно сокрушили его.

Пока солдаты специального батальона вели яростный прицельный автоматный и пулеметный огонь, полицаи стояли неподвижно, многие из них даже припали к земле или спрятались за деревья, ожидая, что вот-вот в ответ ударят другие автоматы и пулеметы.

Но время шло, а ответной стрельбы все не было. Даже одиночного выстрела в ответ не прозвучало.

Василий Иванович подумал, что — слава богу! — в сети, раскинутые фон Зигелем, никто не попался, что эта пальба — обычная в таких случаях прическа леса, своеобразное предупреждение всем, кто скрывается в нем: дескать, замрите и носа из чащобы не смейте высунуть, у нас силища!

Стрельба оборвалась внезапно. Сразу же над лесом, хотя в нем скопилось так много людей, нависла тишина, от которой в ушах зародился легкий звон.

Выждав немного, солдаты специального батальона сломали цепь и теперь уже небольшими группами — по два или три человека — пошли дальше, переговариваясь, зубоскаля или неспешно закуривая. За ними, позабыв о недавних страхах, потянулись полицаи, раздираемые любопытством. Исключительно по долгу службы пошел за ними и Василий Иванович.

Большая поляна была залита солнцем. Оно, казалось, недоуменно заглядывало в шалаши, жавшиеся к деревьям, смотрело на детское платьице, недавно выстиранное, и на людей в гражданской одежде — молодых парней, но больше — женщин, стариков и малых детей, — которые лежали и в шалашах, и на росной траве.

Василий Иванович почувствовал, что еще мгновение — и он взорвется истерикой или другую глупость невольно совершит. Чтобы этого избежать, вернулся в лес, остановился у здоровенной ели, повидавшей за свой век бог весть что. Он смотрел на ее могучие корни, выступающие из земли, и думал о том, что сейчас он, Василий Иванович, и вовсе обязан жить как можно дольше. Чтобы успеть сполна рассчитаться с фашистами за все, все...

Когда возвращались к машинам, Василий Иванович заметил, что у многих полицаев появились узелочки и даже узлы. Понял, что эти мерзавцы ограбили убитых. Иное платье, может быть, содрали с еще не остывшего тела.

И еще услышал, как какой-то простоватого вида полицай сетовал на то, что ни самого Черного, ни его солдат ущучить не удалось: надо же было так случиться, чтобы именно в эту ночь все они ушли из лагеря!

Другие, похоже, не разделяли мнения этого простака. Или понимали, почему так случилось? Хотя скорее всего радовались тому, что добыча была взята так дешево: окажись Черный в лагере — еще неизвестно, чья жизнь оборвалась бы раньше, твоя или его.

Единственный, кто сейчас откровенно радовался, был фон

Зигель. Настолько радовался, что оказался бессилен спрятать свои чувства под маской непробиваемой холодности.

«И чего его так распирает?» — злился Василий Иванович, глядя на фон Зигеля. Ему и в голову не приходило, что комендант района мысленно уже настрочил победный рапорт, в котором абсолютно точно указал, что в результате удачно задуманной и осуществленной операции минувшей ночью уничтожено 176 партизан и сочувствующих им лиц.

Фон Зигель был почти уверен, что такой рапорт продвинет его к очередному званию или ордену. А что среди тех 176 были и грудные младенцы... Боже мой, стоит ли думать о такой мелочи, если есть более важное — твоя личная карьера?

4

Стригаленок обманул Юрку, сказав, что сало и прочее ему навязала любящая тетка. Не только тетки, но и вообще знакомых не было у него в деревне Зайчата. А что трофеями обзавелся — ушами хлопать не надо, когда случай сам в руки лезет! Он, Михась Стригаленок, пока командир и другие со старостой деревни возились, заглянул в одну хату, в другую, третью... Будто бы с проверкой. А сам хозяев изучал, их голоса, поведение. Вот и заметил, что кое-кто неуверенно себя в своем собственном доме чувствует. Почему так — до этого не докапывался: его не интересовало, рождена робость хозяина сознанием вины перед партизанами или он просто дрожит перед вооруженным человеком, зная, что тот в любой момент пальнуть может. Главное для Стригаленка — уловить это душевное смятение человека, а дальше все пойдет как по маслу. Только нахмурься посуровее, перехвати автомат поудобнее и спроси как можно строго, например, о том, где и для чего хозяева прячут оружие. С таким видом об этом спроси, будто специально для выяснения этих вопросов сюда пришел. Хозяин, конечно, начнет божиться, что и в думах у него ничего подобного не было. Но хозяйка-то смекнет что к чему, она мигом слетает куда-то, и скоро на столе появятся и самогон, и еда самая лучшая из того, что есть в доме.

Однако Стригаленок был не настолько глуп, чтобы на самогон зариться (командир учует самогонный дух — не возрадуешься!), зато все прочее интересовало его, и даже очень. Поэтому, поломавшись для виду, он обязательно скажет милостиво, что подарить воину-партизану такое — настоящий патриотический поступок.

После подобного заявления бери что хочешь. Кусок сала, каравай хлеба или из одежды что.

Нет, он никогда не забирал всего, что имелось у хозяина. И опять же почему? Теперь хозяева и вовсе искренне считали, что случай привел к ним хорошего человека, что они еще дешево отделались, по-своему были даже благодарны ему. И опять же,

кому бóльшая выгода? Ему, Стригаленку: такие хозяева никогда не побегут с жалобой на тебя.

Очень доволен собой был Михась Стригаленок. Ведь, как ему казалось, он умел с выгодой для себя использовать подходящий момент, легко входил в доверие почти к любому человеку, обманывая его своей мнимой деловитостью, своими ясными глазами, смотревшими на собеседника открыто и будто бы доброжелательно.

Конечно, не всегда жизнь гладко шла, случалось, и конфликты возникали. На этот случай у Стригаленка при себе всегда были два ключика: во-первых, он мог в случае чего сразу покаяться, даже публично заявить, что осознал свою вину, больше ничего подобного не допустит (покаявшегося, как известно всем, у нас охотно прощают); во-вторых... Еще будучи школьником, Стригаленок вдруг открыл, что даже самая необоснованная жалоба (особенно — в возможно высокую инстанцию) больше всего неприятностей несет не ее автору, а тому, на кого клевета вылита. Так почему бы, если первый ключик не сработал, не пустить в дело второй? Или хотя бы не припугнуть им? Ведь кристально чистым должен быть человек, быть очень уверенным в своих нервах, чтобы ответить: «Валяй строчи жалобу!»

Личная карьера, личное благополучие — вот то, ради чего все делал Михась Стригаленок. Даже в партизаны почему он подался? Не верил и не верит, что фашисты верх возьмут. Только потому одним из первых и записался в формировавшийся отряд; исключительно для того, чтобы привлечь к себе внимание начальства, карьеру на всю будущую жизнь сделать.

Первое время все шло нормально: и в командиры взвода пробился, и подчиненные смотрели на него с уважением. Но потом, когда отряд влился в бригаду, сломалось что-то незримое. Правда, от командования отстранили без шума, но все равно радость не велика. А с появлением Каргина дела и вовсе наперекос пошли. Попытался исправить положение угодливостью — Каргин однажды вызвал к себе и такое сказанул, что Стригаленок впредь предпочитал подальше от него держаться.

Пробовал к бригадному начальству приблизиться, раза два или три сунулся в штаб бригады с доносами на Каргина. Вернее — не с доносами, а с информацией о некоторых его действиях. Когда прибежал впервые, его внимательно выслушали, даже поблагодарили. Зато в следующий раз сразу переправили к комиссару, который долго выспрашивал его о семье, о том, где и как учился, какие общественные поручения выполнял. На все эти вопросы Стригаленок ответил без промедления и подробнейшим образом. И тогда комиссар отпустил его. Ни слова не сказал, если не считать того, что вопросы задавал и уйти разрешил. Только в глазах у него временами просвечивалось что-то нехорошее.

Ну и черт с вами! Как-нибудь проживем и без вашей ласки! Зато у кого в заплечном мешке всегда жратва есть? К кому бой-

цы за самосадом бегают? То-то и оно... И все потому, что он умеет на ходу жизнь взнуздывать!

Так взбадривал себя Стригаленок, готовясь к выходу на задание.

Наконец, проверив оружие, он достал из заплечного мешка расписной головной платок, торопливо — чтобы кто не заметил — сунул его за пазуху, проверил, достаточно ли туго затянут поясной ремень, и пошел к Юрке, сказал ему, вскинув руку к шапке-кубанке, в которой проходил все лето:

— Боец Стригаленок к выполнению задания готов!

Юрка придирчиво осмотрел его с головы до ног, даже проверил, свободно ли ходит затвор автомата, и спросил больше для очистки совести:

— Вопросы имеешь?

— Все яснее ясного: проникнуть в район «Н», где и произвести разведку сил фашистов, а если представится такая возможность, то и выявить их намерения! — выпалил Стригаленок, следя за тем, чтобы голос звучал достаточно бодро и звонко.

— Маршрут не забыл?

— Сначала иду на...

Каждый день уходили разведчики на задания. И у каждого из них оно было свое, у каждого из них был и свой маршрут, так разработанный, чтобы два разведчика ненароком не встретились, не помешали друг другу. Много было маршрутов разработано, разве все до последней мелочи запомнишь? Вот и не любил Юрка экзаменовать своих разведчиков по этому поводу, поэтому и сейчас, поверив, что Стригаленок все знает, бесцеремонно перебил его:

— Ладно, шагай. И не кашляй!

Последняя фраза — своеобразное пожелание удачи.

И Стригаленок зашагал. Даже заночевал в лесу, как было предусмотрено планом. Но к вечеру второго дня свернул в сторону от маршрута и часа через два решительно вышел к домику, втиснувшемуся между лесом и большим болотом. Цепной кобель, стерегущий хозяйское добро, встретил его милостиво, только взглянул, но даже клыков, пожелтевших от старости, не показал.

Еще весной, когда рота стояла в Лотохичах, нечаянно натолкнулся Стригаленок на этот хуторок. И с тех пор, если появлялась хоть малейшая возможность, обязательно заглядывал сюда. Случалось — на сутки и более, но бывало — и только на часок. Для того сюда подворачивал, чтобы встретиться с Галинкой — дочерью хозяина хуторка, вручить ей какой-нибудь маломальский подарок и взамен получить горячую благодарность. Так он поступил и сегодня, решив, что с разведкой успеется. Да и опоздать из подобной разведки на сутки и даже больше — вполне допустимо: разве в пути не может случиться что-то, не предусмотренное первоначальным планом?

Распахнул дверь в маленькую, знакомую до мелочей горницу, — нахмурился, непроизвольно остановился у порога: за столом, где раньше сиживали только они с Галинкой (ее отец предпочитал на это время исчезать из дома), теперь хозяевами расположились два чубатых хлопца и Галинка, раскрасневшаяся то ли от радости, то ли от выпитого самогона.

Стригаленок вскинул автомат и спросил строго, тоном человека, имеющего на это полное право:

— Кто такие? Документы и оружие на стол!

Про оружие упомянул исключительно потому, что не увидел его, самонадеянно посчитал, что только у него оно и есть, а следовательно, он — хозяин положения. Вот и решил покрасоваться перед Галинкой, показать ей, каким решительным он может быть, если жизнь потребует.

Стригаленок ожидал, что неизвестные растеряются, оробеют, увидев нацеленный на них автомат, но те, весело переглянувшись, расплылись в улыбке, и тот, который сидел рядом с Галинкой, сказал без тени тревоги:

— Так вот ты какой скорый на решения, женишок моей сеструхи!

До этого дня Стригаленок ни разу не слыхивал, чтобы у Галинки был брат или еще кто-то, кроме отца. Однако он сразу и охотно поверил незнакомцу: так было удобнее и спокойнее — ведь глупо ревновать к брату свою деваху, да и на душе легче, когда вдруг узнаешь, что столкнулся почти с родственником. И все равно, стремясь закрепить свой авторитет, он потребовал еще раз:

— Кто такие, спрашиваю?

Брат Галинки осторожно поставил на стол стакан с самогоном, провел ладонью по лицу — будто бы специально для того, чтобы стереть с него улыбку, и заговорил с угрозой в голосе:

— Разве можно так с оружием баловаться, на живых людей его наставлять? И на кого? Или не слышал? На родного брата той самой молодки, с которой любовь крутишь! — И тут словно выстрелил: — Рашпиль!

И тотчас в спину Стригаленка уперся ствол пистолета. Так уперся, что больно стало.

А брат Галинки уже опять командовал:

— Клади автомат, своячок, клади. Он здесь никуда не денется, а разговор наш, глядишь, спокойнее потечет.

Оказавшись безоружным, Стригаленок почувствовал себя так, будто голым стоял на людной площади. Единственное, что утешало, — чужой пистолет больше не буравил спину.

— Утихомирился? Больше брыкаться не станешь? — усмехнувшись, спросил брат Галинки, выбрался из-за стола, подошел к Стригаленку, какое-то время, показавшееся невероятно долгим, бесцеремонно разглядывал его и вдруг протянул руку: — Я — Дмитро.

— Михась, — механически ответил Стригаленок.

— Это нам от сеструхи уже известно, — опять усмехнулся Дмитро и подвел его к столу, усадил между собой и Галинкой. Сам наполнил самогоном его стакан: — За знакомство. Чтобы оно в хорошую дружбу переросло.

Дмитро так откровенно улыбался, что тревога отступила куда-то, оставив вместо себя лишь смутное беспокойство, да и то ненадолго: Галинка, прижимаясь к Михасю горячущим боком, добила его. Короче говоря, скоро Стригаленок и вовсе освоился в этой компании, где каждый был в меру весел и доброжелателен к другим. И еще — новые знакомые нисколько не таились от него, откровенно сказали, что Дмитро — командир небольшого партизанского отряда, а два его товарища — рядовые партизаны. А Рашпиль — невероятно корявый детина почти двухметрового роста — этот даже шепнул, извиняясь за недавнее:

— У нас, брат, насчет приказов строго. Вот и прижал тебя в четверть силы, чтобы ты глупостей не наделал.

Особенно же понравились Стригаленку взгляды Дмитро на партизанскую войну. Дмитро прямо заявил, что терпеть не может чистюль, которые кричат, будто они только из-за идеи воюют: должна же у людей быть хоть какая-то компенсация за постоянное нервное напряжение, за то, что сегодня они живы-здоровы, а завтра — покалечены или вовсе тю-тю...

Даже показал свои личные трофеи — золотые кольца и сережки с какими-то блестящими камешками.

Стригаленок на откровенность, конечно, ответил откровенностью, пожаловался на Каргина за его сухость, непонимание текущего момента и запросов души нормального человека.

В ответ Дмитро утащил его в кухню, предложил ему золотое кольцо и сережки. На память о сегодняшнем знакомстве. Стригаленок, конечно, отказался от такого дорогого подарка, говорил, что подвернется случай — и сам такое же добудет. Но Дмитро оказался настойчив, почти насильно засунул все это в карман Стригаленку, сказав:

— Не выламывайся! Или мы теперь не свои люди?.. Да и Галка, когда ты отдашь ей эти брякалки, наверняка еще добрее станет. Поверь: уж я-то знаю ее!

Потом пели песни. И белорусские, и украинские, и советские. Слаженно, со слезой пели. И пили, пили...

Но, проснувшись утром, Стригаленок не почувствовал потребности опохмелиться. Единственное, что его беспокоило, — не сказал ли он вчера лишнего о бригаде, о ее силах и месте базирования? Однако новые друзья даже не намекнули на это, и он успокоился. А после завтрака, во время которого пили все, кроме него, он стал собираться. Его, конечно, уговаривали задержаться здесь еще хотя бы на денек. До тех пор уговаривали, пока он не сказал, в какой район и зачем ему идти обязательно надо. Сказал это — Дмитро хлопнул себя ладонью по лбу, радостно захохотал и спросил, подойдя почти вплотную к Стригаленку:

— Михась, мне ты веришь? Как другу своему веришь?

Стригаленок утвердительно кивнул.

— Тогда шагом марш за стол, догуливать будем! — тоном приказа заявил Дмитро, отобрал у него автомат; Стригаленок сопротивлялся только для вида, на словах сопротивлялся:

— Но я должен задание выполнить. Кому под трибунал охота?

— А на что нам трибунал, если у нас Рашпиль есть? — и вовсе развеселился Дмитро. — Он только вчера утром пришел из того района!.. Конечно, за сутки кое-что из сведений устарело, но разве в жизни может быть без этого? Даже если самый опытный разведчик пойдет, вроде тебя, такой пойдет? И он не все увидит, не все разведает! Или я вру? Ну, скажи, вру?

Нет, Дмитро говорил правду. Главное же — сейчас Стригаленку никуда идти не надо! Нет необходимости рисковать своей головой ради каких-то сведений! Или он настолько глуп, что чужие разведданные за свои выдать не сможет?!

5

Только теперь, когда зарядили моросящие дожди, Григорий пожалел о том, что так долго откладывал «на завтра» выполнение совета Василия Ивановича — отыскать какой-нибудь большой партизанский отряд и влиться в него. Почему не торопился следовать этому совету? То времени, то людей для поисков не было — ведь не сидели сложа руки, а били фашистов и их пособников, еще как били! Редкая неделя проходила, чтобы хоть одного задания не выполнили.

И еще две причины были, но вспоминать о них Григорий не любил. Первая — в душе он все-таки крепко надеялся, что вот-вот, как прошлой зимой под Москвой, нынче под Сталинградом трахнут фащистов по черепу, и покатятся они назад, покатятся куда резвее, чем в прошлом году. А сколько после того удара Советской Армии исконно русской земли освобождено будет?

Крепко верилось, что уже в этом году дойдет черед и до того района, где их отряд обосновался.

Вот и прождал все лето, не дождавшись желаемого. А теперь, если верить фашистским сводкам, Сталинград уже почти полностью захвачен и советские солдаты лишь кое-где на самой береговой кромочке за развалины домов еще цепляются.

Вторая причина — о ней и вовсе думать противно — уж больно не по душе Григорию было то, что, влейся его группа в большой партизанский отряд, глядишь, и освободят от командирской должности, опять рядовым бойцом сделают.

У командира, конечно, забот и ответственности предостаточно, однако и лестно им быть...

Все лето (и вроде бы — неплохо) прожили: ни одного человека в стычках с гитлеровцами не потеряли, и урожай — до самого малого колосочка! — вовремя убрали с тех полян, что вес-

ной с дедом Потапом и Петром засеяли, и за счет разных там полицаев и старост запас на зиму некоторый создали.

А в скольких деревнях района надежных друзей заимели!

Ну разве плохо командовал?

Но все равно, вот проведут они эту операцию, он все силы, самых сметливых, самых расторопных людей на поиски партизанского отряда бросит, а там, если скажут, и рядовым станет, глазом не моргнув, даже в душе не поморщившись!

Невольно думалось обо всем этом, хотя время вроде бы вовсе неподходящее: ведь сейчас Григорий шагал во главе небольшой группы, шагал к тому самому лагерю, где еще весной ожидали смерти товарищ Артур и Мыкола. Он вел с собой только двадцать семь бойцов. Самых злых, самых опытных, но лишь двадцать семь. Для остальных оружия пока не было.

Правда, сзади, километра на два отставая, шли еще тридцать бойцов. На тот случай, чтобы при удачном завершении налета сразу завладеть фашистским оружием и тем самым мгновенно удвоить силы отряда. Конечно, вроде бы можно было сделать проще — раздать оружие, если его удастся захватить, тем, кого из лап смерти вырвут. Но, подумав сообща, решили, что поступить так будет опрометчиво: может, те, кого освобождать спешат, в таком состоянии от ран, голода и побоев находятся, что их на себе тащить придется?

Да и не окажутся ли среди спасенных и такие, кому оружие даже на самое малое время доверять никак нельзя? Ведь ходят же среди местного населения упорные слухи о том, что где-то в здешних лесах есть и такие партизанские отряды, которые и грабежами, и насилиями честь свою замарали. Григорий не верит, что на такое способен настоящий партизан, однако, как говорится, даже самого плохого слова из песни не выкинешь.

Давно вели наблюдение за этим лагерем, можно сказать, только на вчерашние сутки его оставили без догляда, чтобы ненароком в самый последний момент случайно не выдать себя. Установили, что ночью охрана — двое часовых на вышках, торчащих на противоположных углах четырехугольника, схваченного колючей проволокой, и караул из пяти человек, размещавшийся около ворот; все прочие гитлеровцы — около двадцати человек — на ночь забирались в четыре домика, боязливо жавшихся к караульному помещению, но уже по эту сторону проволоки.

Сначала, когда еще только обсуждали план нападения, хотели одновременно снять обоих часовых на вышках, если удастся, — снять без выстрела. И лишь после этого враз ударить и по караулу у ворот, и по домикам. Однако, поразмыслив, решили попытаться убрать бесшумно только одного часового, а второго пристрелить; эта очередь и должна была послужить сигналом общей атаки.

Казалось, все спланировали, учли даже то, что один из часовых, заступавших сегодня в ночь, имел привычку дремать на посту, повернувшись лицом к лагерю.

Заспорили неожиданно и после того, как Григорий вдруг заявил, что снимать часового будет он лично. Дед Потап и другие считали, что он должен идти с теми, кто будет атаковать караульное помещение. Только товарищ Артур имел особое мнение, которое высказал без промедления:

— Командир всегда должен быть командиром.

Григорий понял, к чему он призывал (дескать, дело командира руководить боем, а не соваться в пекло), но, используя власть, настоял на своем; он же очередью по второму часовому даст и сигнал общей атаки.

Что оставалось делать остальным, если это был приказ?

Григорий почти насквозь промок к тому времени, когда перед ним, словно из-под земли, вырос Мыкола — старший над теми, кто вел наблюдение сегодня.

Дальше уже ползли, вжимаясь телом в мокрую от дождя траву. Как показалось Григорию, ползли невероятно долго, так долго, что невольно полезло в голову: а не сбились ли с направления? Ведь у Мыколы, чьи заляпанные грязью сапоги сейчас маячили перед глазами, ни одного ориентира вроде бы не было.

Но Мыкола вывел точно к вышке. Передохнули, сгрудившись под помостом, на котором и находился часовой — любитель вздремнуть. С его площадки-помоста, однако, не доносилось ни звука. Или все глушил дождь, набравший силу?

Передохнув и взяв в зубы нож, Григорий с помощью товарищей добрался до помоста, где полагалось быть часовому. И сразу увидел его: фашист, втянув шею в поднятый воротник шинели, сидел в углу и, похоже, по обыкновению, дремал, обняв автомат; во всяком случае, на лагерь он даже не смотрел.

Григорий, выждав немного, бесшумно перелез через невысокий барьер, сделал два или три крадущихся шага и ударил часового ножом под левую лопатку, второй рукой зажав ему рот. И лишь сейчас обнаружил, что не только второго часового, но и вышки не видно отсюда! Из-за пелены дождя не видно.

Конечно, как он потом понял, проще всего было сразу же окликнуть Мыколу и сказать ему, дескать, так, мол, и так, не вижу того гада, пусть немедля кто-то другой им займется, но Григорий, приподняв крышку люка, почти скатился по лестнице к основанию вышки, почти упал к ногам товарищей.

— Ну? — только и спросил Мыкола, наклоняясь к нему.

— Займи его пост, чуть что — стреляй! Остальные за мной! — выпалил Григорий и сразу же, пригнувшись, побежал вдоль проволоки, побежал в сторону ворот, где, по его расчетам, уже должны были сосредоточиться партизаны. Бежал изо всех сил, даже упал, поскользнувшись, даже больно ушиб колено, но сразу же вскочил и снова побежал, понимая, что из-за его командирской промашки теперь всякое может случиться.

Поспел как раз в то время, когда кое-кто из партизан уже наседал на Виктора, предлагая часть бойцов немедленно послать к вышке: может, командир в помощи нуждается?

Чуть отдышавшись, Григорий вдруг обрел спокойствие, у него почему-то вдруг появилась уверенность в том, что все задуманное обязательно сбудется. И он сказал:

— Дуй, Афоня, ко второй вышке. На тебя записываю того часового. И помни, что мы начинаем через десять минут. После этого ты его и...

Афоня мысленно прикинул, какое расстояние отделяет его сейчас от вышки. Получалось, что десяти минут должно хватить. Но ведь предстояло не просто бежать? И он сказал:

— У того часового наверняка глаза и уши есть. Или он тоже из сонливых?

— Сколько добавить? — нетерпеливо спросил Григорий.

— Чтобы запасец был, еще столько же.

— Договорились. — И Григорий демонстративно повернулся к нему спиной, давая понять, что больше ни секунды не добавит.

И опять потянулись минуты тягостного ожидания, во время которого Григорий не раз самыми последними словами покрыл себя за то, что раньше не предусмотрел всего этого.

Наконец он сказал:

— Пошли!

Казалось, ничего не изменилось вокруг после этого приказа, но Григорий твердо знал, что сейчас рядом с ним, стараясь не отставать, ползут его товарищи, не замечая ни нудного дождя, ни мокрой травы. И будут так ползти до тех пор, пока от караульного помещения и домиков не окажутся на расстоянии броска гранаты.

Выждав для страховки еще минут пять сверх обещанного времени, Григорий метнул гранату и, как учили в армии, припал к земле, плотно прижался к ней.

Граната попала в окно караульного помещения и рванула там, выбросив в ночь сноп яркого пламени.

И загрохотали взрывы. Правда, еще только один из них — в домике, где жили гитлеровцы, остальные — около стен. Но много прогремело взрывов гранат. Пятнадцать или шестнадцать. Сквозь них еле пробилась автоматная очередь Афони.

Буквально через несколько секунд после взрыва первой гранаты из домиков в ночь вырвались автоматные очереди. Пока вражеские пули проносились где-то над головой, но Григорий знал, что это явление временное, что еще чуть-чуть — и фашисты окончательно опомнятся; тогда их огонь с такого малого расстояния окажется по-настоящему убийственным. А тут и в караульном помещении, откуда не прозвучало ни одного выстрела, начался пожар. Сейчас огненные языки метались еще внутри домика, но минет несколько быстротечных минут — они обязательно вырвутся из тесного для них помещения, и тогда партизаны окажутся в освещенном пространстве. А что может быть губительнее этого?

Опять догадка: надо было заранее попытаться подкрасться к домикам на такое расстояние, чтобы ни одна граната не пролетела мимо цели!

К Григорию подполз Мыкола, прокричал:

— Прикажи с той стороны лагеря разорвать проволоку!

Выгода предложенного предельно ясна: в ту дыру выскользнут военнопленные, томящиеся в лагере, и часть партизан к этим проклятым домикам с тыла подберется. И Григорий сказал:

— Действуй!

Еще минут десять или около того бесновались вражеские автоматы, потом огонь их начал слабеть. Наконец стало ясно, что бой идет к концу, что еще совсем немного напора — и придет победа. И тут Григорий заметил, что у самой стены домика, откуда еще огрызались гитлеровцы, вдруг приподнялся Виктор и швырнул одну за другой две гранаты. Метров с двух или меньше того швырнул, и поэтому точно.

Теперь со стороны врага не было стрельбы, но партизаны, еще не веря в свою победу, какое-то время по-прежнему били по домикам из автоматов и винтовок. Только после повторного приказа Григория стрельба угасла.

И вот партизаны уже внутри лагеря. Но из коровника, двери которого почему-то были распахнуты, не выбежал, не выполз ни один человек, ни одного вскрика не раздалось.

Хотя все стало ясно, все равно обшарили все углы коровника.

Опять перед Григорием вопросы, на которые нет ответа: куда фашисты подевали тех, кто еще недавно здесь томился? Ликвидирован этот лагерь вообще или нарочно освобожден для новеньких?

Зато яснее ясного стало другое: одни последние сутки не вели наблюдения, и вот расплата...

— Хреново получилось, — подвел итог Григорий и зашагал к лесу.

За ним потянулись остальные, неся шестерых убитых и четырех раненых; да еще восемь партизан, перевязанных наспех, пока ковыляли сами, некоторые — опираясь на товарищей.

Только в лесу, когда уже соединились с теми, кто оставался в резерве, к Григорию подошел Виктор и сказал нарочно громко:

— Все равно наш верх! Двадцать пять фашистов кокнули, и лагерь под корень уничтожили!

Это было правдой. Но Григорий понимал, что все могло быть иначе, что победа могла бы быть и более полной, если бы он как командир по-настоящему пошевелил мозгами, если бы у него был настоящий командирский талант.

6

Усердие фон Зигеля, как он и ожидал, было замечено начальством, должным образом оценено, и ему пожаловали звание майора. Сам гебитскомендант позвонил и сообщил об этом!

Фон Зигель, выслушав поздравления господина оберста, почтительно заверил, что никогда не забудет, кому он обязан такой радостной вестью. Нарочно так туманно сказал: под этим «кому» можно было подразумевать кого угодно, хоть оберста, хоть самое высокое начальство; так что, вцепись гестапо в это слово, не так-то просто будет состряпать обвинение. И, помня уроки прошлого, почтительно добавил:

— Одно меня смущает, господин оберст: два дня назад мне случайно попалось вполне приличное колье, я, разумеется, купил его и завтра намеревался вручить вам. Как подарок от меня вашей супруге. Уместно ли это сейчас? Не породит ли это нежелательных сплетен?

— Ничего то колье не породит, кроме признательности моей супруги! — перебил его оберст. — Она так благоволит к вам, дорогой Зигфрид, что у меня, того и гляди, зародятся подозрения. Случится это — тогда трепещите, Зигфрид! — Тут он даже хохотнул.

Фон Зигеля передернуло от одной мысли, что между ним и женой оберста — костлявой, но старательно молодящейся старухой, может быть хоть что-то интимное, однако ответил он тепло:

— Поверьте, господин оберст, я никогда не позволю себе...

— Так когда же мне ждать вас? — опять перебил его оберст. — Завтра я занят... Жду вас послезавтра к обеду! Надеюсь, не забыли, когда я сажусь за стол?

И фон Зигель лично вручил оберсту колье. То самое, которое приобрел в Варшавском гетто. Дешево приобрел: приказал расстрелять всю семью какого-то еврея-торговца, вот и вся цена.

Офицеры гарнизона вроде бы искренне поздравили с очередным званием, конечно, заверили в своей любви и преданности. Особенно понравилось то, что на банкете, произнося тосты в честь коменданта района, они все хвалили его за безжалостность к врагам рейха, за то, что выполнение приказов фюрера для него превыше всего.

Он знал, что обо всем этом будет доложено начальству и гестапо, поэтому и радовался.

Очень хотел, но не мог остаться в стороне от общего ликования и Василий Иванович. И, в душе проклиная свою должность, он принарядился и пошел в комендатуру. Не в день банкета, а утром следующего дня: знал, что фон Зигель, как бы зверски ни был пьян вчера, завтра в своем кабинете появится ровно в девять. Не с пустыми руками пошел пан Шапочник на это свидание: узнав от Генки, куда намеревается идти его начальник, прибежал пан Золотарь и принес несколько золотых побрякушек.

— Пан Шапочник, от имени всех полицейских чинов прошу вас вручить этот наш скромный дар господину фон Зигелю. Как то немногое, что уцелело от нашего личного имущества. — Последнее пан Золотарь подчеркнул и голосом, и мимикой.

— Господину майору фон Зигелю! — поправил его Василий Иванович, взял приношение и зашагал к комендатуре, не поже-

лав заметить того, что пан Золотарь глазами молил взять его с собой.

Фон Зигель — уже с погонами майора на мундире — встретил его как обычно холодно-вежливо. Сесть соизволил разрешить лишь после того, как выслушал поздравление и осмотрел подарок. Похоже, остался доволен: и сигарету предложил, и даже посетовал на то, что скоро опять зима обрушится с ее лютыми морозами и бешеными метелями. В ответ Василий Иванович заметил, что далеко не каждая зима бывает столь суровой.

Закончил фон Зигель прием и этот светский разговор и вовсе неожиданно:

— Примите, господин Шапочник, и мои поздравления: по моему ходатайству вы награждены медалью. Она пока здесь. — И он рукой слегка коснулся сейфа.

Не мог же Василий Иванович заявить в ответ, что нужна ему эта медаль, как... А слов, подходящих для подобающего ответа, не нашел, и потому лишь вскочил и будто бы обалдело выпучил благодарные глаза. Однако эта благодарность идиота и вовсе умилила фон Зигеля, он окончательно расчувствовался, соизволил милостиво улыбнуться и даже сказать:

— Прошу вас, господин Шапочник, сегодня в двенадцать собрать весь личный состав полиции. Я сам вручу вам медаль!

— Где прикажете собрать? У комендатуры или...

Фон Зигелю очень хотелось покрасоваться перед людьми в новых погонах, и он сказал, недослушав:

— Я приду к вам.

Фон Зигель, разумеется, умолчал о том, что медаль, которую он намеревался вручить сегодня, прибыла больше месяца назад, что пожалована она господину Шапочнику за то, что он был ранен при выполнении особого задания.

Василий Иванович привычно щелкнул каблуками и почтительно мотнул головой, но с места не сдвинулся.

— У вас есть ко мне какой-то вопрос?

— Если позволите, напомню о банде Черного. Поступают сведения о том, что она еще больше обнаглела, даже расширяет район своих действий, — поспешил Василий Иванович выложить то, что в эти дни волновало его больше всего.

— Этой бандой я занимаюсь лично.

Дипломатично ответил фон Зигель: и скрыл, что «партизанский» отряд Черного — его кровное детище, на создание которого он потратил столько сил и средств, и запретил полиции предпринимать что-либо против этого отряда.

Ровно в двенадцать, когда все полицаи, которых могли собрать, стояли двумя шеренгами, пришел фон Зигель в сопровождении небольшой свиты, вручил Василию Ивановичу медаль и сказал выспренно:

— Как видите, Великая Германия и фюрер не забывают своих преданных слуг! Надеюсь, что служба господина Ша-

почника, его преданность явятся для всех вас хорошим примером!

Даже словом господин комендант не обмолвился о победах вермахта под Сталинградом и в горах Кавказа, сказал только это и ушел.

Только теперь волю своим чувствам дали пан Золотарь, Генка и другие наиболее расторопные, вернее, нахальные полицаи: они и «ура» многократно прокричали, и несколько раз даже подбросили в воздух своего начальника, удостоенного награды. Потом, одернув мундир, Золотарь вытянулся и очень почтительно, но твердо сказал:

— Извините, пан Шапочник, но вот наш дружеский приказ: пожаловать сюда мы разрешаем вам только в восемнадцать часов. И ни минутой раньше!

Василий Иванович был рад выпавшей передышке и, милостиво кивнув, зашагал к своему дому. Никого не встретил, не увидел, но непрестанно чувствовал, что за каждым его шагом сейчас наблюдают многие ненавидящие глаза.

Увидев его с медалью, Нюська какое-то время недоуменно смотрела только на нее. До тех пор была в растерянности, пока не поняла, полностью не осознала случившегося. А осознав, всплеснула руками и бросилась к нему, уронила голову ему на грудь и запричитала как по покойнику.

— Ну чего ты, чего? — начал успокаивать ее Василий Иванович. Не помогло. Тогда, на мгновение потеряв над собой власть, он грубо оттолкнул ее. Так оттолкнул, что она отлетела к стене, больно ударилась о нее затылком; а он ушел к себе в горницу, хрястнув дверью.

И то, что он — всегда такой вежливый, обходительный, внимательный — сейчас так разгневался, вдруг раскрыло ей, что в душе его царило полное смятение. И Нюська не обиделась на грубость Василия Ивановича, она просто села на табуретку около еще теплой печи и замерла, боясь даже малым шорохом помешать ему думать. Про себя же она давно решила, что будет только с ним, пойдет с ним любой дорогой, какую он выберет.

Василий Иванович, не сняв сапог, лежал в это время на кровати, будто остекленевшими глазами смотрел на истрескавшиеся доски потолка и зло думал об одном: теперь он, коммунист Мурашов, и вовсе обязан так работать, чтобы эта клятая медаль фашистам боком вышла.

7

Хотя Каргин в это и не верил, фашисты все-таки наскребли достаточно сил для большой облавы. Еще счастье, что командование партизанской бригады своевременно узнало о замысле фашистов и за несколько дней до облавы перебазировало семейный лагерь в самую глухомань и строго-настрого наказало

всем партизанам немедленно забыть о том, что еще недавно он вообще был. Поэтому, когда фашистские войска, обрушив на лес бомбы и мины, повели наступление, бригада сравнительно легко ускользнула от первого удара, совершив быстрый маневр. Но фашисты упрямо пошли по ее следу, сметая огнем любые заставы.

В первые дни, когда кольцо врага казалось не очень плотным, командование бригады все же надеялось проскользнуть сквозь него или прорваться с боем. Однако к исходу недели стало ясно, что для всей бригады в кольце осталось удручающе мало свободного пространства. Тогда был отдан приказ: выходить из окружения поротно, если представится такая возможность, — не принимая боя; в приказе указывалось и место общего сбора.

Три дня назад это было. С тех пор рота Каргина самостоятельно топчет свою тропку, идет и идет, а когда фашисты оказываются совсем близко, вдруг остановится и ударит по ним из автоматов и пулеметов. Прицельно ударит.

После каждого такого столкновения с врагом все меньше и меньше бойцов остается в отделениях. Самое же страшное — теперь и каждый патрон был на особом учете. И не одному Каргину, всем партизанам стало ясно, что спасти их смогут только быстрые ноги, способные опять идти и идти, будто усталость и не наливала их свинцовой тяжестью.

Единственное, что утешало, даже радовало сейчас Каргина, — среди бойцов его роты не оказалось ни одного паникера или просто нытика. Это обнадеживало, укрепляло веру в то, что все равно, как бы ни старались фашисты, а рота извернется. Крепко верилось в это, хотя гитлеровцы и прижали роту к вроде бы непроходимому болоту. Сам Юрка доложил, что оно бездонное, дескать, куда ни сунусь — везде топь, если бы друзья-разведчики не выручали, раз десять мог бы там бесславно погибнуть.

А накал боя, хотя это вроде бы уже и невозможно, все растет, растет. И посвиста отдельных пуль сейчас не слышно — такой грохот стоит. О пулях только потому и помнится, что вдруг к твоим ногам упадет веточка, срезанная ими, или бесшумно белая щепка от ствола дерева возьмет да отвалится.

Эх, продержаться бы до ночи! Случится такое, может, и появится хоть какой-то шанс на спасение.

Но до ночи еще часов пять...

И тут слева и в тылу фашистской цепи тоже взъярились автоматы. Взъярились неожиданно и уже только поэтому особенно мощно.

Прошло еще несколько минут, и Каргин заметил, что натиск фашистов на его роту чуточку ослабел, что сейчас основное для гитлеровцев — дать отпор тем, кто напал сзади; дескать, эти партизаны, которых прижали к болоту, никуда не денутся.

Только несколько минут облегчения выпало на долю Каргина, а у него уже родилась идея, он вызвал командиров взводов и сказал:

— Всем по самую маковку залезть в болото. За корягой, в камышах ли кто спрячется — мне дела нет. Но чтобы ни одного фашисты не увидели, если к болоту подойдут! Строчить из автоматов станут — не отвечать... Лично скомандую, когда вылезать можно будет...

Партизаны, оставив только прикрытие, словно утонули в болоте. Замаскировался самый последний, самый нерасторопный партизан — ушло в черную воду и прикрытие.

А стрельба все гремела...

Интересно, кто так вовремя гитлеровцам в бок ударил? Какая-нибудь из рот родной бригады, случайно или вынужденно сбившаяся со своего маршрута?

Не должно такого случиться: за трое минувших суток любая из них ой куда ушла...

Может, те самые? На переговоры с которыми Костя тогда ходил? Ведь бывает же в жизни так, что сперва какой-то человек тебе страсть как не глянется, а потом становится лучшим другом?

Нет, не только Костя, но и Федор после той встречи с ними к выводу пришел, что черт знает чего те хотели...

Ладно, хрен с ними, с этими отгадками! Главное — в самое время подмога подоспела!..

Около часа буйствовали автоматы и пулеметы, а потом вдруг будто захлебнулись. Теперь стало слышно, как дождевые капли ударялись о воду...

Глубокой ночью, после того как фашисты ушли на поиск ускользнувших от них партизан, Каргин вылез на берег, встал, осмотрелся, вслушиваясь в шумы леса, и махнул рукой. Немного погодя вокруг него сгрудились все бойцы роты — промокшие до нитки, промерзшие до последней, самой глубокой, жилочки. Они жались друг к другу: так было вроде бы теплее. А вокруг Каргина оставалось маленькое пространство — пространство уважения, тщательно оберегаемое всеми.

За последние дни Каргин впервые увидел сразу всю свою роту. И ему показалось, что она стала невероятно мала. И он приказал командирам взводов доложить о наличии людей. Оказалось, что за последние сутки потеряно убитыми восемь человек. С одной стороны, это ничтожно мало, если учесть, какими силами атаковали фашисты, а с другой...

— Юрка, — нисколько не повысив голоса, позвал Каргин, зябко поежившись.

— Ну, чего надо? Тут я, — немедленно откликнулся тот.

— Установи связь с теми, кто нам подмогу оказал.

— Когда на поиски-то идти? Сейчас или погодя, когда и вовсе из фашистского кольца вырвемся?

— Немедля. Пока они не запропастились, — категорично потребовал Каргин.

И, проворчав, что в такую погоду хороший хозяин и собаки на улицу не выгонит, а разведчики все же люди, Юрка увел своих товарищей в промозглую темень.

Глава восьмая

1

Никак не предполагал Стригаленок, что не только их рота, но и вообще вся бригада выскользнет из тисков большой облавы, мысленно даже оплакал себя. Но, основательно пощипанные и измотанные, они все же выскользнули! По пути на новое место базирования гробанули девять фашистских машин, захватили транспорт с патронами и разгромили несколько малых вражеских гарнизонов. Чтобы, как объяснил командир бригады, показать врагу, что партизаны облавой не напуганы и от своего отступать не намерены. Но Стригаленок понял и другое, о чем начальство не обмолвилось: хотели вновь привлечь к себе внимание, вновь приковать к себе вражеские части; ведь, если верить сводкам гитлеровского командования, бои в Сталинграде вступили в решающую фазу. Что за штука «решающая фаза» — этого Стригаленок не знал. Зато по тону вражеских сводок, ставшему заметно сдержаннее, понял, что в далеком Сталинграде дела идут не так хорошо, как хотелось бы фашистам. Это обнадеживало, воодушевляло и заставляло подумать о том, что, может быть, уже в этом году или в начале будущего кончится его партизанская жизнь. Бесславно кончится: и в командиры он не смог пробиться, и трофеями стоящими не обзавелся.

Может, пока еще есть время, податься в отряд Дмитро?

Когда эта мысль пришла впервые, он даже испугался: неужели ему так дороги все эти золотые побрякушки? Но потом, уговорив себя, — дескать, одно другому не мешает, дескать, народный мститель тоже человек и должен иметь какую-то материальную выгоду, — он уже не пугался, теперь эта мысль казалась ему даже очень разумной. Единственное, что смущало, удерживало от решительных действий, — как осуществить переход к Дмитро? Скажешь здесь всю правду — чего доброго, и самого не отпустят, и на отряд Дмитро глаз положат. Исчезнуть? И того страшнее: объявят дезертиром, вот и оправдывайся потом, после войны, доказывай всякому, что ты не верблюд.

Не осмелился Стригаленок сам принять решение — потому и придумал при первом удобном случае наведаться к Галинке, через нее с Дмитро связаться, чтобы посоветоваться.

Около недели прошло в ожидании подходящего момента. За это время в глухом лесу вырыли глубокие и вместительные землянки и обложились постами, заставами и секретами. Самое же главное, что удерживало Стригаленка от решительного шага, — сейчас он исполнял обязанности командира разведки. Юрка, как ушел той ночью, так с тех пор и не подает о себе весточки. Может, напоролся на вражескую засаду? Может, он, Стригаленок, хоть теперь-то зацепится за командирскую должность?

Украдкой тешил себя этой надеждой. Но сегодня она рухнула: пришел ведь Юрка! И сам целый-невредимый, и еще привел с собой более ста партизан с подводами, бабами и ребятней!

Не только Стригаленок — многие партизаны потянулись за Юркой и каким-то чернобровым мужиком, которые шагали во главе прибывших. Любопытство, желание как можно скорее узнать все о неизвестных привело Стригаленка к землянке Каргина. Потому и видел, и слышал все, даже поразился, когда Юрка вдруг не попросил, а потребовал, чтобы Каргин вышел к нему:

— Передайте товарищу Каргину, чтобы немедля шел сюда!

Но Каргин сам услышал слова Юрки и вылез из землянки — застегнутый на все пуговицы, хмурый, казалось, вот-вот громом ударит. Однако только глянул на чернобрового — метнулся к нему, облапил и замер.

Сколько времени они простояли обнявшись — этого Стригаленок не знал. В одном он мог поклясться: пока они молча тискали друг друга, ни один партизан не шелохнулся, возгласа не издал.

Потом Каргин опустился на ствол березы, поваленной недавней бурей, и за рукав гимнастерки потянул за собой чернобрового:

— Расскажи, Григорий, все-все. Подробненько.

Все время, пока Григорий рассказывал, он сидел не шелохнувшись. Единственное, что выдавало его волнение, — он глаза закрыл. Чтобы дум своих и настроения не разгласить.

Григорий, похоже, рассказывал голую правду, нисколько не жалея себя; такое выложил, что лично он, Стригаленок, навечно похоронил бы в себе. Даже о том сказал, что у него во время последнего боя боец Мария Верба без вести пропала; увязалась за боевым ядром отряда, вроде бы все время рядом была, даже по фашистам пуляла, а отходить стали — нет ее, и все тут.

— И вообще, Иван, я обнаружил, что нема у меня командирского таланта. Обидно, конечно... Потому и прошу тебя, если дружбу старую помнишь, освободи ты меня от этой напасти, назначь рядовым хотя бы и к этому ироду. — Кивок в сторону Юрки.

Такими словами Григорий закончил свой рассказ и стал сворачивать здоровенную цигарку.

Какое-то время все они трое курили молча. Потом Каргин

встал, привычно одернул гимнастерку. Немедленно поднялись и его товарищи, замерли, словно в ожидании приговора.

— Ты, Григорий, мне антимонии не разводи. И служить ты будешь там, куда командование определит. Ясно? Или еще и более популярное объяснение требуется? — сказал Каргин, строго глядя на Григория. — А бойца твоего, Вербу эту самую, — искать... Не имеем мы права на то, чтобы у нас были без вести пропавшие!

Юрка погасил возможную грозу в самом ее зародыше: шевельнул рукой — и встали рядом с Григорием еще двое мужиков из новеньких и парень лет тринадцати. И опять были радостные объятия, разговоры, разговоры.

Вот и выходит, что только с этим пополнением Каргин сразу четырех своих старых знакомцев заполучил: Григория, Витьку, Афоню и Петра...

Свидетелем еще одной встречи, тоже взбудоражившей всю роту, Стригаленок не был. Из разговоров партизан он узнал, что среди новеньких и Федор Сазонов обнаружил дружка, того самого прибалта, который ему помощь оказал, когда он из плена бежал; и укрыл у себя на хуторе на несколько дней, и даже автомат подарил!

Стригаленок подбежал к ним тогда, когда уже улеглось первое волнение встречи и Федор спросил:

— Не по моему следу беда к вам пришла?

— У каждого человека есть своя беда. И никто не знает, когда она явится, — ответил товарищ Артур и замолчал.

Многими вопросами только и вытянули из него, что их с женой взяли за сына, который ушел с советскими; кое-кто позарился на хуторок, вот и донес.

— Подозреваешь кого конкретно? — спросил Федор таким тоном, что невольно подумалось: навечно запомнит он сейчас эту фамилию, если она будет названа.

Но товарищ Артур лишь пожал плечами. И вообще за весь вечер он больше не проронил ни слова, все разглядывал свои большие руки, неподвижно лежавшие на костлявых коленях. Эти руки, такие сильные, но неподвижные сейчас, и угрюмое молчание партизан, сидевших вокруг небольшого костра, без утайки поведали Стригаленку о том, что будет с тем, кто позарился на недавнее призрачное счастье товарища Артура, разметал его.

Что ж, логично. Правда, он, Стригаленок, случись с ним что-то подобное, старался бы держаться поближе к дому. Чтобы не дать ускользнуть тому, ненавистному. Общее дело всегда останется общим, а вот личное, да если оно еще переплетается с общим...

И еще подумалось ему, подумалось ночью, когда, казалось, все остальные спали, что в этих лесах партизанят все знакомцы и даже дружки, что вот уже завтра, к примеру, обнаружится еще какой-нибудь партизанский отряд — и там знакомые или родственники найдутся. Может, и в отряде Дмитро они есть?

Григорий в эти минуты докладывал Каргину о том, как посылал своих людей к Василию Ивановичу и какой шишкой тот теперь стал. Со всеми известными подробностями рассказывал Григорий об этом. А еще через час специальный гонец, которого сопровождали два автоматчика, понес эту новость в штаб бригады.

Спал Стригаленок тревожно, раза два даже вставал и курил, глядя на звезды, усыпавшие небо. Вроде бы — ни о чем не думал, только глядел на них.

Утром, едва Юрка встал и замахал руками, согреваясь и прогоняя остатки сна, Стригаленок подошел к нему и сказал, стараясь казаться бодрым, жизнерадостным:

— Товарищ командир, разрешите обратиться?

— Валяй, если приспичило.

— Пока вы на задании были, я все время в лагере отсиживался. Боюсь, как бы навыки разведчика не потерять... Разрешите наведаться к старому месту базирования? Взгляну, как и что там. Заодно и фашистов пошукаю, попытаюсь хоть что-то об их планах узнать, вообще обстановку выяснить.

Юрка долго не думал, он всегда был за активность разведчиков, всячески поощрял даже малейшее ее проявление, поэтому и сейчас ответил без промедления:

— Доложишь по готовности, сам провожу тебя за внешние заставы.

Ходко шел Стригаленок, почти не делал привалов, но только к рассвету второго дня добрался до знакомого хуторка. Почти нежно потрепал по шее кобеля, метнувшегося к нему с радостным визгом. Не успел на крыльцо подняться, как в одной ночной сорочке из дома выскочила Галинка, прильнула к нему своим горячим телом. Потом она нагрела воды и вымыла его в корыте, дала чистое белье и лишь после этого потащила к столу, где были и самогон, и вина с невиданными этикетками, и половина гуся, и баранья лопатка, и заграничные консервы.

— Откуда такое богатство? — нахмурившись, спросил Стригаленок.

Она ответила беспечно:

— Дмитро принес.

Он успокоился, погасил ревность. Может быть, потому погасил, что сейчас ему был крайне нужен Дмитро.

— Он не говорил, когда сюда заглянет?

— Дмитро всегда неожиданно появляется, — повела округлыми плечами Галинка. — Что ты все о нем да о нем? Лучше о себе расскажи, ведь мы так долго не виделись. — И она снова прижалась к нему, обвила его шею нежными и ласковыми руками.

Не таясь, но несколько приукрашивая, он рассказал о большой облаве. Не умолчал и о сидении в болоте, и о том, что быть бы им всем покойниками, если бы не партизаны Григория.

— Какого еще Григория? О нем ты раньше никогда даже не упоминал, — немного обиделась Галинка.

Чтобы она не дулась, пришлось выложить и то немногое, что он знал о Григории и его отряде. С издевочкой, с нескрываемой насмешкой поведал он и о том, как Григорий упрашивал Каргина освободить его от командирской должности.

За разговорами и любовными утехами день промелькнул мгновением. А под вечер, едва солнце успело заглянуть в окно кухни, залив желтизной половицы, дверь вдруг распахнулась и ввалился Рашпиль, проорал с порога:

— Хозяева, принимайте гостей!

Стригаленок еще только тянулся за шароварами, а в дом уже вошли Дмитро и какой-то человек в цивильном. Этот второй, переступив порог, сразу же истово закрестился, беззвучно шевеля почти бескровными губами. Потом он сказал елейно:

— Мир дому сему!

Дмитро сразу же бросился к Стригаленку, обнял и смачно поцеловал в самые губы. Так был рад встрече Дмитро, что даже прослезился.

Снова было застолье, снова Стригаленок подробнейшим образом рассказывал обо всем, что выпало на их долю за минувшие дни. Его слушали внимательно, не перебивая, не задавая уточняющих вопросов. Лишь потом, когда он замолчал, человек в цивильном, ранее назвавшийся паном Власиком, и спросил:

— Теперь-то под каким кусточком скрывается ваша бригада?

Ласковым голосом спросил, но глаза — маленькие, почти зеленые — исходили злостью, лютой ненавистью. И Стригаленок сразу протрезвел, ответил сухо, как ему казалось, весомо:

— Данный вопрос — военная тайна.

— Тайна, говоришь? Да еще военная? — весело задребезжал смешком пан Власик. Просмеявшись, опять же ласково, словно вползая в душу, попросил: — А ты, Михась, все же открой нам ее, ту тайну.

По тому, что Дмитро тоже улыбался, а Галинка вдруг ушла в кухню, оставив мужиков одних, Стригаленок понял: разговор пойдет безжалостный. На мгновение даже мелькнула мысль об оружии. Но оно было брошено у кровати. Чтобы завладеть им, пришлось бы бежать мимо Рашпиля, внимательно следившего за ним веселыми глазами.

— Позволь спросить тебя, Михась, неужели ты только по фамилии белорус? — продолжал ворковать пан Власик. — Мы, как бог велит, считали тебя братом по крови, если не по вере. Или ты не знаешь, кто мы есть, кого представляем? Не ведаешь, что давненько служишь нам, Белорусской народной самопомощи? Или ты не по велению своего сердца примкнул к нам? Плату за услуги брал, а за какие — не знаешь?

— Какую плату, за какие услуги? — пробормотал Стригаленок, который по-настоящему испугался только теперь.

— Какую плату, за какие услуги, спрашиваешь? — и вовсе развеселился пан Власик. — Об услугах сам вспомнишь, а что касается платы... Позволительно спросить, а откуда у тебя, раб божий, взялись хотя бы те сережки, что сейчас в ушах нашей сестры красуются?

Пан Власик даже на мгновение не повысил голоса, он все время журчал ласковым ручейком, но внутри Стригаленка все будто окаменело от холода, от сознания того, что вот оно, то самое худшее в жизни человека, что и врагу своему не всегда пожелаешь.

Долго говорил пан Власик. Из его слов Стригаленок и понял, что Дмитро командует особым отрядом, за самостийную Белоруссию бьется, не жалея себя. И что сейчас у Стригаленка нет другого пути, кроме как по-прежнему помогать этому отряду. Подсказками, информацией. Будет верно служить — все у него появится: и богатство, и простое человеческое счастье, которое только на грешной земле и обитает. А если хитрить, лукавить попытается...

— Между прочим, я и очень злым бываю, — по-прежнему ласково улыбаясь, почти пропел пан Власик. — Не веришь? Вот тебе Христос! — И он перекрестился. — Да ты, Михась, лучше спроси у Дмитро мою кличку. Ту самую, которой меня братья по борьбе наградили. Ну спроси, спроси!

— Зачем мне она, та ваша кличка?

— Как зачем? — изумился пан Власик. — Для большего познания меня, чтобы точнее знать, что тебя ожидает, если... Ты, Дмитро, скажи ему мою кличку, сейчас же скажи!

— Вурдалак! — будто выругался Дмитро.

— Во, Вурдалак! — обрадовался пан Власик. — А знаешь ли ты, раб божий, чем славится это творение рук дьяволовых?.. По глазам твоим вижу, что известно тебе это... Вот и мотай на ус, все мотай, пригодится! — Сказал это и сразу же заторопился: — Ну, Митенька, побредем дальше, побредем! И у нас с тобой делов полнехонько, и ему, брату нашему, с дороги дальней и трудной вкусить жизни земной надобно. А сестре Гале я скажу, чтобы не обижала тебя, что ты хороший, ты сам все поймешь, обязательно поймешь! — И, снова перекрестившись на образа и беззвучно пошевелив почти бескровными губами, он вылез из-за стола, направился к двери, даже не покосившись в сторону Стригаленка.

Не простился с ним и Дмитро, только опалил взглядом. Зато Рашпиль не поленился, подошел, сунул в колени Стригаленку маленький узелок и шепнул:

— Вурдалак!

Ушли они — из кухни выпорхнула Галинка, заметила узелок, к которому Стригаленок пока боялся даже прикоснуться, взяла его, развернула на столе и тотчас радостно всплеснула руками:

— Глянь, Михась, да тут целое богатство!

На кой черт ему богатство, если вся душа заплевана?

2

Четверо суток Юркины разведчики рыскали там, где был последний бой с карателями, во все овраги, под все кустики заглядывали, но даже малого следа Марии Вербы не обнаружили. О чем и доложили, вернувшись в лагерь роты.

А Стригаленок никого не искал, он просто брел, подавленный бедой, обрушившейся на него. Подумать только: он стал платным информатором националистической банды, предателем стал! А с чего все началось? С самого малого, с того, что тайком от товарищей к бабенке смазливой побегивать стал...

Самое же страшное — не видно выхода из этого тупика, в который загнала его судьба. Вот и брел, опустив голову, только под ноги себе глядел. И вдруг слева из кустов кто-то чуть слышно окликнул:

— Стригаленок!

Он мгновенно остановился, замер. Но повернуться на голос не спешил: может, все же выгоднее сигануть за ближайшее дерево?

— Стригаленок! Здесь я! — снова позвал тот же голос; в нем не было требовательности, он не приказывал, а упрашивал услышать его.

Стригаленок решительно шагнул к кустам. Там он сначала увидел сержанта Устюгова, числившегося погибшим. Тот многозначительно прижимал палец к запекшимся губам. Стригаленок еще не вполне осознал, что значит этот жест, а глаза уже остановились на девахе, которая, свернувшись калачиком, спала рядом с Устюговым, прикрытая его ватником. Русые волосы выбились из-под ее головного платка, не прядями, а какими-то сосульками упали на лицо.

— Кто такая? — шепотом спросил Стригаленок, опускаясь на корточки рядом с Устюговым.

— Машенька, — вырвалось у сержанта, и, словно оправдываясь, он торопливо пояснил: — Вторую неделю меня прет... Табачком не богат? Мой-то раскис, а она — некурящая, известно — баба. — Последние слова прозвучали оправданием.

Они свернули по цигарке, но стоило Стригаленку лишь раз стукнуть железякой по кремню, высекая искру, Мария немедленно открыла глаза. Вроде бы ни страха, ни удивления не было в них, но Стригаленок сразу увидел, что ствол ее автомата уже нацелен ему в грудь.

Спокойную готовность Марии в любую секунду дать прицельную очередь заметил и Устюгов, поэтому он сказал поспешно:

— Это свой, Машенька, Михась Стригаленок из нашей роты. Из разведчиков.

Тогда она неторопливо встала и, повернувшись к ним спиной, оправила одежду, сбившуюся во время сна, забрала волосы под платок и спросила:

— Далеко еще до ваших шагать?

— Около трех километров, — почему-то поспешно ответил Стригаленок.

— Тогда пошли?

Стригаленок подумал, что значительно проще добежать до роты и вернуться сюда с товарищами, чем переть на себе Устюгова, — в нем наверняка килограммов восемьдесят, но сегодня, как никогда, велико было желание утвердить себя в собственных глазах (и в глазах товарищей — тоже), поэтому он молча выпрямился. А Мария протянула ему руки, сказала:

— Берись. Как в школе учили. Или не сдавал нормы на значок ГСО?

Они крепко переплели руки, потом, пригнувшись, дали Устюгову возможность сесть, выпрямились и пошли.

Однако после первых же шагов Стригаленок убедился, что шагать с ношей, шагать все время боком, — и тяжело, и неудобно. Надеялся, что это же уже поняла и Мария, что она, если не сейчас, то шага через два обязательно предложит отдохнуть, поэтому смолчал. Но она не предлагала передохнуть. Тогда он решил сломать ее характер и молча шел и шел, каждым нервом своим чувствуя, как копится в ней усталость.

Вот чуть дрогнули ее пальцы, сжимавшие его запястье.

Ну, теперь-то попросишь об отдыхе?

Но ее пальцы дрогнули только на мгновение, чтобы сразу же судорожно закостенеть на его руке.

Они успели сделать еще несколько шагов, и ее пальцы вновь дрогнули, потом задрожали мелко-мелко и поползли с его запястья.

Мария опять не сказала ни слова, она просто стала наклоняться, чтобы опустить Устюгова на землю, и сразу же перекинула его руку через свою шею. Стало ясно, что Стригаленок точно так же должен подхватить Устюгова с другой стороны.

— Нет, так больше не пляшем, — взбунтовался Стригаленок. — Зачем его и себя маять, если можно просто добежать до наших и вернуться сюда с подмогой?

Она не ответила. Только Устюгов обронил:

— Ты побыстрей возвращайся, а то она упрямая, снова одна попрет меня.

Ушел Стригаленок — Мария поудобнее усадила Устюгова и лишь тогда села и сама, устало опустив голову на колени, подогнутые к груди.

— Ты, Машенька, отдохни, а я догляжу, — предложил Устюгов, влюбленно глядя на нее.

Она будто не услышала.

Весть о том, что нашлась многим вовсе незнакомая Мария Верба, что она по следам роты не только сама пришла, но еще и приволокла на себе раненого сержанта Устюгова, с невероят-

ной быстротой облетела всю роту. И Стригаленку искать помощников не пришлось: в добровольцах недостатка не было. Но Григорий разрешил идти только четверым. И сам, конечно, пошел с ними.

Устюгова принесли прямо к землянке Каргина, где ротный фельдшер и обработал его раны, похвалив неизвестно кого за умелую перевязку. А вот Марию Вербу, как доложил Григорий, у входа в лагерь перехватил Мыкола:

— Она уже храпела на ходу, и он увел ее до своего шалаша. Сказал, как за дочерью досмотрит.

Очень хотелось Каргину взглянуть на эту деваху, о которой сейчас шумела вся рота, но он решил, что это и завтра успеется, что на сегодня с него хватит и рассказа Устюгова.

Оказывается, еще на подходах к тому болоту, в которое все погрузились по самые ноздри, Устюгова стукнуло по ногам. Он, конечно, упал, да так неловко, что ударился головой о ствол дерева. Вот и потерял сознание. А когда очнулся, своих не увидел, только пальбу автоматную слышал. Ну и пополз, чтобы обойти ее.

Долго ли полз? Да разве определишь? Одно точнее некуда: на ползущего и набрела на него Машенька. И с тех пор неотлучно при нем была все те многие дни и ночи. Она и раны перевязала, изорвав на полосы свою сорочку, и голодала с ним вместе, и тащила его то на своей спине, то волоком. Больше на себе тащила...

— Одним словом, твердая деваха. Во всех смыслах твердая, — убежденно и любовно закончил Устюгов, почему-то упрямо ловя глаза только Каргина.

3

Она сама подошла к Василию Ивановичу, подошла среди белого дня и в тот момент, когда пан начальник полиции шел обедать. Поясно поклонилась и сказала, чего-то требуя своими голубыми глазами:

— Здравствуйте, дядечка Опанас.

Ей было, как показалось Василию Ивановичу, лет четырнадцать или пятнадцать, не больше. В старом ватнике, который для нее был чрезвычайно велик, она выглядела невероятно худой и до невозможности слабой; дунь посильнее — обязательно упадет. И, поддавшись не ее требовательному взгляду, а чувству самой обыкновенной жалости, внезапно захлестнувшей его, Василий Иванович ответил по-родственному тепло и в тон ей:

— Здравствуй, племянница.

Генка, который после награждения Василия Ивановича медалью и вовсе старался ни на минуту не отлучаться от своего начальника, подошел еще ближе, чтобы не пропустить ни одного слова их разговора. Но пан начальник и его племянница, о существовании которой до сегодняшнего дня даже слухов не

было, молча пошли к дому; впереди — он, а за ним, втянув голову в плечи, будто все время ожидая подзатыльника, плелась она. С таким видом семенила за паном начальником, что невольно подумалось: «Видать, она из дальних и бедных родственников».

Дома, когда Генка, испросив на то разрешение, все же испарился, Василий Иванович опустился на скамью у стола и спросил, строго глядя в глаза девчушки:

— Выкладывай, с чего вдруг в родственницы набиваешься, с какой целью за мной увязалась?

Она глазами показала на Нюську, молча застывшую в дверях.

— При ней отвечай, — приказал Василий Иванович. — Она — мое самое доверенное лицо здесь. Можно сказать, единственное.

Девчушка распрямилась, расстегнула ватник на груди так, что стал виден крестик, висевший на шее, и ответила:

— Он, когда напутствовал меня, так сказал: «Конечно, если придерживаться правил конспирации, то, встретившись с ним, — с вами то есть, — ты должна бы о снеге заговорить, молвить, что много его нынче. Только разумно ли сейчас такой разговор вести, если снега вообще нет?..» Он велел мне дословно передать вам это. Говорил, что вы поймете.

Долго молчал Василий Иванович. Так долго, что девчушка даже взглянула на Нюську, спросила глазами: «Что с ним?» И та — тоже глазами — ответила: дескать, не тревожь, наберись терпения.

Василий Иванович сидел и думал. О том, что, выходит, не забыли о нем в подпольном райкоме партии, что, выходит, большая нужда там в тех сведениях, которые он добыть может, если связную прислали. С удивлением отметил, что без связи с подпольем он прожил только четыре месяца. А ведь они за вечность ему показались...

— Допустим, про снег вы верно сказали, — наконец заговорил он, доставая из кармана кисет. — Допустим...

Теперь он сыпал вопросами, а она отвечала. Назвалась Ольгой, рассказала и о том, как выглядит Николай Павлович да какая у него самая приметная привычка — жевать папиросы; и про Каргина к слову помянула, привет от него передала.

На все бесчисленные вопросы ответила подробно, правильно и без лишнего промедления. И он, улыбнувшись, сказал тепло:

— Садись за стол, обедать будем.

Во время обеда опять разговаривали. Теперь спрашивала уже она. Ее интересовало и сколько фашистов в Степанково, и какие их части в районе недавно появились, с каким вооружением и для чего. О многом и самом разном спрашивала до тех пор, пока он сам вопрос не подкинул:

— Извините, а сколько вам лет?

— Уже девятнадцать, — с вызовом ответила она.

— Трудно поверить, — покачал он головой.

Она обиделась, гневно зыркнула на него своими голубыми глазищами и ответила сухо, строго официально:

— Вам должно быть известно, что в армию берут только совершеннолетних.

— Значит, вы прошли специальную подготовку, — не то спросил, не то подумал вслух Василий Иванович.

Она дипломатично промолчала.

— Что ж, вам виднее, о чем мне следует знать, — согласился он. — Тогда, может, перейдем к конкретному делу? Надеюсь, вы не только затем прибыли, чтобы со мной познакомиться?

— Я — ваша постоянная связная, — не без гордости ответила она и поспешила добавить: — Там считают, что мне лучше всего постоянно находиться около вас. Под видом племянницы... Но окончательное решение за вами.

Окончательное решение за вами...

Оно, то проклятое окончательное решение, всегда за ним! Чуть что — всегда с него, с Василия Мурашова, главный спрос.

Однако, подумав, он решил, что будет, пожалуй, действительно лучше, если Ольга обоснуется у него: любые сведения сразу же передать можно. А что касается опасности... Может, смертельная опасность и вовсе рядом окажется, если Ольга начнет то в Степанково, то из него шастать?

Он только спросил:

— Вы и радистка? У вас есть рация?

— Выбор средств связи — моя забота, — уклончиво ответила она, отводя глаза в сторону.

Он не стал настаивать, не стал добиваться точного ответа, он только и сказал, словно приказание отдал: с сегодняшнего дня жить Ольге в его доме, спать не в горнице, а на кухне, как и полагается бедной родственнице, которую лишь из милости приняли; во всем, что касается жизни, беспрекословно следовать советам Нюськи, которая здешнюю каторгу насквозь знает...

Только вернулся к себе в кабинет, только уселся за стол — вошел пан Золотарь и почтительно доложил:

— Я бы не осмелился вас беспокоить, да пан Власик очень хочет встретиться с вами. Что прикажете передать ему?

Пан Власик... Ага, это один из тех, которые тогда приезжали. Кажется, тот самый, что все время на божественное упор делал...

Конечно, не до пана Власика сейчас, но разве можно отказать визитеру, к которому благоволит фашистское начальство? И он сказал вполне доброжелательно:

— Проси.

Пан Власик не вошел, а вплыл в кабинет. И так быстро, словно стоял за дверью и только ждал этого слова. Вплыл, уважительно, двумя руками, потискал ладонь начальника полиции и сразу же зачастил:

— Пан Шапочник, прежде всего примите мои самые искренние поздравления по случаю вашего награждения! Поверьте, от чистого сердца поздравляю!.. Надеюсь, не обижаетесь на меня за то, что отнимаю у вас столь драгоценное время?

Все силы души приложил Василий Иванович к тому, чтобы ответить столь же ласковым голосом:

— Помилуй бог, за что же обижаться, если встреча с вами, пан Власик, мне ничего, кроме радости, не доставляет? Да и понимаю, что не одна вежливость вас ко мне привела.

— Что верно, то верно, только... Зачем же бога всуе поминать? — с укоризной покачал головой пан Власик; вроде бы с шутливой укоризной покачал головой, и только покосился на пана Золотаря, а тот уже попятился к двери, невнятно пробормотав, что у него есть срочное дело. — Пан Шапочник, я буду откровенен... Нас просто удивляет, даже волнует то, что вы на пана Золотаря — простите за резкие слова — как на врага своего смотрите.

— Позволительно ли спросить, кого это «нас»?

— Нас — истинных, верных патриотов своей земли, — не промедлив и минуты, ответил пан Власик. — Почему так получается? Ведь сам Христос...

— Пан Власик, сегодня, прошу вас, не упоминайте при мне ни самого бога, ни сына его, — взмолился Василий Иванович. — А что касается пана Золотаря... Терпеть не могу, когда кто-то за моей спиной шуры-муры разводит!

Пан Власик какое-то время молча смотрел на него, поджав в кривую полоску почти бескровные губы, потом спросил:

— Что вы имеете в виду?

— Помнится, в тот раз вы сюда с каким-то паном приезжали? Вроде бы — со своим начальником? Позвольте спросить, а где он сейчас? Как его здоровье?.. А я лучше сам любого в порошок сотру, чем...

На лице пана Власика не отразилось ничего, кроме внимания. Он просто слушал, он ждал, что будет сказано еще. Но Василий Иванович не захотел окончательно расшифровывать свою мысль. И тогда пан Власик сказал зло, беспощадно:

— Тот оказался предателем... А пан Золотарь... — пренебрежительное пожатие плеч, — он только для того и пригоден, чтобы на поводке ходить... Или вы обиделись, что формирование отряда Черного произошло помимо вас?

— Избави бог от такого счастья, как этот пресловутый отряд! — замахал руками Василий Иванович. — Или у меня мало своих забот, своих неприятностей?

— Отряд Черного...

— Пан Власик, почему вы считаете меня глупее, чем я есть? Провалился, не оправдал надежд ваш Черный, вот и весь сказ. Потому вы сегодня и нацеливаете меня на него, потому и хотите прилепить меня к нему. Чтобы было на кого вину сваливать.

Пан Власик не возразил, но и не подтвердил догадки Василия Ивановича. Он, словно раньше и не упоминалось о Черном, вдруг повел разговор о том, что в эти дни, когда солдаты вермахта уже вышли к Волге, здесь нужно объединить все национальные силы, что на сегодняшний день основная цель всех подлинных патриотов Белоруссии — создание своего национального правительства.

Пространно, красочно говорил, суля всяческие блага тем, кто без промедления примкнет к этому движению. А закончил и вовсе неожиданно:

— Не буду скрывать: мы долго и внимательно приглядывались к вам, пан Шапочник. И теперь мы протягиваем вам руку на дружбу во имя нашего общего и великого дела!.. А что касается пана Золотаря... Вам стоит только подать сигнал...

Ушел пан Власик, беззвучно прикрыв за собой дверь, Василий Иванович согнал с лица дежурную доброжелательную улыбку и устало опустился на стул. Не на свой, а на тот, который стоял в самом темном углу кабинета: чтобы хоть несколько минут побыть самим собой и не дать кому-нибудь ненароком подсмотреть это.

Сначала в голову лезли исключительно черные мысли, и вдруг словно просветление нашло: а не потому ли фашисты разрешили легализироваться местным националистам, что дела на фронте не так хороши, как хотелось бы?

Осенила эта догадка — сразу вспомнил, что гитлеровское командование уже неоднократно сообщало: дескать, начинаем последний, самый решительный штурм Сталинграда, дескать, теперь-то обязательно падет эта большевистская крепость.

Василий Иванович повеселел. И уже не с раздражением, а с насмешкой подумал, что и о настоящих патриотах Белоруссии, которые будто бы группируются вокруг националистов, врет пан Власик, вульгарно врет! Не патриоты, а чистокровное отребье они, ваши единомышленники, пан Власик! Верные же сыны Белоруссии сейчас бьются с фашистами на фронтах войны, партизанят в здешних и других лесах, лишая вас спокойствия!

И он мысленно стал перебирать в памяти имена белорусов-партизан. Вспомнил Защепу и всех тех пинских, о ком Виктор рассказывал, Николая Павловича, деда Евдокима и многих других. Никак, около сотни имен вспомнил уже, а память знай себе подсказывает и подсказывает. И, тихонько и радостно засмеявшись, Василий Иванович подошел к своему столу и решительно сел за него.

Через несколько секунд лицо Василия Ивановича опять стало строгим и чуть туповатым, самодовольным: он вновь приступил к исполнению своих обязанностей.

4

Понял Стригаленок, что не партизанским отрядом, а самой настоящей бандой верховодит Дмитро, стал избегать встреч с Галинкой, обходить стороной ее хутор. Надеялся таким способом разорвать тенета, в которые так неожиданно угодил. Но однажды, когда, лакомясь ягодами, он вышел за линию охранения роты, словно из-под земли вдруг появился Рашпиль. Ощерился вроде бы в радостной улыбке, но спросил холодно, почти зло:

— Или к Гальке дорогу забыл?

Стригаленок начал оправдываться, безбожно врать, ссылаясь на обстановку и придирки командиров. До тех пор молол всякое, пока Рашпиль не перебил его:

— Заткни фонтан! И вот тебе наш последний сказ: или умей ценить нашу дружбу, или... Да ты оглянись для интересу.

Стригаленок оглянулся и увидел сзади себя бандита с такой рожей, что пропала всякая охота спорить, сопротивляться.

С того свидания и пошло: он заглядывал к Гальке раз или два в месяц, сообщал ей то, что предназначалось для Дмитра, а взамен получал и горячие ласки, и кое-что материальное. Правда, особо ценного больше не давали, но оккупационных марок отваливали порядочно; и шматок сала — в придачу.

Нет, каких-то особых военных секретов он не выбалтывал, больше так, по мелочам, промышлял. И то, что он самый заурядный предатель, окончательно понял лишь после того, как из засады был убит Защепа, о маршруте которого Стригаленок проболтался просто так, чтобы сказать хоть что-то.

Понял это — сначала испугался до дрожи во всем теле, может быть, с час мучался мыслью о том, что следовало бы пойти к начальству и чистосердечно покаяться. Не пошел, не покаялся: никаким раскаянием не исправишь сделанного, а вот себя, свою карьеру — наверняка погубишь. Он решил, что и сам достаточно умен и силен для того, чтобы начать жить по-новому.

И какое-то время крепился, вернее — насиловал себя: и к Гальке не захаживал, и с товарищами по роте старался мир наладить.

Но партизанский паек был так ничтожно скуден...

5

Старший лейтенант Константин Яковлевич Пилипчук искренне считал, что дисциплина — основа боеспособности армии, а точное соблюдение распорядка дня — одно из ее слагаемых. Поэтому с первого дня формирования бригады бился за то, чтобы заставить всех точно выполнять и уставы и все прочее, определявшее поведение партизан в тот или иной момент. Причем, если рядовым партизанам или командирам рот и баталь-

онов было достаточно приказать, чтобы все эти требования стали для них непреложным законом, то как быть с командиром бригады? Ему не прикажешь, ему — в недавнем прошлом человеку сугубо гражданскому — почти год пришлось доказывать, что раз сейчас по распорядку дня то-то, значит, так и должно быть: уж очень привык Александр Кузьмич к тому, что, если пришел к нему человек, — немедленно брось все дела и займись с ним, помоги ему разрешить сомнения или просто поговори так, чтобы он ушел от тебя посветлевшим.

И конечно, доказывать пришлось, прежде всего личным примером...

Но сегодня, едва пробежав глазами первое донесение, полученное через Ольгу от Василия Ивановича, Пилипчук сразу же почти побежал к командиру бригады, бросив дежурному по штабу:

— Передай Николаю Павловичу, чтобы немедля шел к комбригу!

Александр Кузьмич жил в домике, стоявшем на самой окраине деревни, а штаб бригады располагался в центре ее. Почти в километре от штаба, у самого леса, стоял тот домик. Непорядок? Да еще какой! Но тут товарищ Иванец настоял на своем, откровенно заявил, когда Костя Пилипчук однажды все же допек его своими разговорами об опасности жизни на окраине деревни:

— Опасно, говоришь? А почему? Здесь наиболее вероятен внезапный удар противника? Если это тебе точно известно, если без колебаний веришь в это, тогда давай так организуем службу, чтобы напрочь исключить его, этот внезапный вражеский удар!

И вот почти километр пришлось сейчас прошагать старшему лейтенанту. За весь этот путь он только однажды подумал о том, что сейчас по распорядку дня, разработанному им же самим, командир бригады никак не ждет его, что их плановая встреча должна обязательно состояться еще через час и десять минут. Однако не замедлил шага: с такими новостями, какие содержит полученное донесение, не можно, а должно являться в любое время суток.

Командир бригады действительно удивленно взглянул на Пилипчука, когда он без стука ворвался в горницу, но ничем не выразил своего недовольства.

— Вот, от Ольги, сегодня получено, — сказал в оправдание Пилипчук и протянул донесение. — Как видите, все подтверждается! И про Черного, и про...

— Может быть, все же позволишь сначала мне самому прочесть? — спокойно, без тени раздражения, спросил Александр Кузьмич и оседлал нос очками.

Пилипчук замолчал. Ни слова не сказал даже тогда, когда пришел запыхавшийся Николай Павлович. Только глянул на него торжествующе.

Ох, как невыносимо долго читают они донесение! Нарочно, что ли, время тянут? Чтобы позлить его, испытать его терпение?

В донесении сообщалось то немногое, что Василий Иванович узнал о банде Черного, сжато, но точно давалось определение ее сути: фашистский выкормыш, предназначенный исключительно для того, чтобы своими действиями подорвать партизанский авторитет в глазах местного населения.

Этот вывод подтверждался фактом: Василий Иванович точно назвал даже место, где фашисты уничтожили всех, кого провокаторам удалось сманить в лес.

Писал Василий Иванович и о том, что, если верить слухам, где-то в соседнем районе базируется еще одна подобная банда: в деревне Козевичи она обчистила огороды не только прислужников фашистов, но и самых обыкновенных жителей; так сказать, с одинаковой силой по тем и другим ударила, будто подчеркнула, что для нее все равны. И еще две подводы угнала.

Упоминалось в донесении и о пане Власике как о представителе так называемой Белорусской народной самопомощи; давались его приметы и особо подчеркивалось, что тот почему-то настойчиво пытается установить деловые контакты с ним, Опанасом Шапочником.

Подробнее же всего говорил Василий Иванович о том, что сейчас фашисты намереваются и вовсе безжалостно ограбить деревни, не только все продовольствие, но и молодежь у них украсть.

К донесению был приложен и подробнейший список тайных агентов, замыкающихся на пане Золотаре: их имена, клички и даже адреса.

Все трое прочли донесение от первой до последней его строчки. Если Костя Пилипчук горел желанием немедленно уничтожить всех предателей, ставших сейчас известными, и выследить банду Черного, ударить по ней, чтобы достойно отомстить и за гибель Защепы, и за все прочее, то Николая Павловича волновало другое: он уже вспомнил, что Григорий со своими людьми похозяйничали на огородах деревни Козевичи. Выходит, Птаха с умыслом, с дальним прицелом, подсунул ему соседские грядки и две подводы?

Николай Павлович снова просмотрел список провокаторов. Птаха в нем не значился. Почему? Закреплен не за паном Золотарем, а за кем-то другим? Или все это случайность?

Решил, что обязательно займется этим вопросом. И еще — с сегодняшнего дня просто необходимо вновь нацелить коммунистов на беседы о том, что партизаны — защитники своего народа и каждое их действие, даже каждое слово всегда должны быть кристально чистыми и правдивыми. И не пора ли Григория определить на должность? Негоже, когда человек с таким опытом партизанской войны просто ждет, куда и зачем его пошлют.

Командир бригады, еще раз прочитав донесение Василия Ивановича, спросил о том, что, по мнению Пилипчука, не имело никакого отношения к разговору, который должен был состояться сейчас:

— Как там рота Каргина? Готова к операции?

— Так точно, — буркнул Пилипчук.

— А если Каргина с ними не будет? Если его заменит, допустим, Сазонов, дело не пострадает?

Это уже что-то новое. Пилипчук мельком пытливо глянул на Николая Павловича. Тот недоумевающе шевельнул бровью. И тогда Пилипчук ответил опять же кратко:

— Так точно, Сазонов в этой операции может заменить Каргина.

Командир бригады уже опять держал в руках донесение Василия Ивановича, потом подчеркнул в нем какие-то строки и спросил:

— Помнится, те трое, с которыми ты встречался, другой район базирования называли? Может, проверим, так ли это?

Проверить, конечно, любые сведения и всегда полезно. Только, казалось Пилипчуку, с этой проверкой можно и повременить; он считал, что главное сейчас — банда Черного и те перевертыши, на которых указал Василий Иванович. Поэтому он лишь неопределенно передернул плечами.

Александр Кузьмич снял очки, протер их чистой тряпицей, которую достал из внутреннего кармана пиджака, и сказал:

— Я насквозь вижу тебя, Константин Яковлевич... И никогда не прощу Черному убийства Защепы. Ведь мы с ним... А роту на эту операцию Каргин пусть ведет сам. Что касается предателей, их уничтожения — эту мысль еще обмозгуем. Сообща обмозгуем.

Пилипчук в спор не полез. Он козырнул и спросил подчеркнуто официально:

— Разрешите идти?

Вышел он вместе с Николаем Павловичем. Тот и сказал ему, когда они оказались одни:

— Ты не переживай. У меня память цепкая, я их всех теперь на всю жизнь запомнил, так что...

6

На задание шла рота Каргина. На самое обыкновенное: ей было приказано отбить еще одно стадо коров и угнать его в лес. За последний месяц рота уже трижды ходила на подобные задания. И ни разу промашки не случилось. Обычно терпеливо ждали в засаде, пока стадо или обоз с зерном, картошкой или еще чем не оказывался под прицелом пулеметов и автоматов. Много малых гуртов скота и обозов с украденным фашистами продовольствием в те дни шло к железнодорожным станциям, где их ждали порожние вагоны. Так много шло, что часто их сопро-

вождали только местные жители, насильно мобилизованные для этого, и несколько полицаев; лишь где-то, говорят, использовались воинские команды. Шли гурты скота и обозы только днем, ночуя в селах, где стоял приличный гарнизон. И все равно полицаи, наряженные в конвой, чувствовали себя обреченными и поэтому, увидев пулеметы и автоматы, нацеленные на них, почти всегда сразу же бросали оружие и поднимали руки, уповая на милость партизан. За последний месяц уже трижды было именно так.

Не потому ли и шли партизаны вольно? Не потому ли и Каргин, шагавший в середине походной колонны, сейчас думал о самом постороннем? О том, что если бы ему дали бо́льшую власть, то он перво-наперво удалил бы из всех партизанских отрядов девах. Особенно тех, которые заманивающую внешность имеют. Таких, как Мария Верба. Чтобы смуту в мужицкие сердца не вносили. Или партизаны не человеки? Или их не тянет на эту самую любовь? Ведь только соберутся вечерком у костра, когда день нормально пройдет, сразу про нее и запоют. И если верить тем песням, она и такая, и этакая, самая распрекрасная, самая желанная! Будто бы и жить без нее вовсе безрадостно!

Что касается лично его, Ивана Каргина, то у него своя точка зрения на любовь.

Она, любовь, конечно, нужна. Но опять же когда? В мирной жизни она во как надобна. А сейчас, когда тебя в самую неожиданную минуту вражеская пуля настичь может, на что любовью душу себе рвать?

Нет, что вы там ни говорите, а он, Каргин, будь дана ему бо́льшая власть, всех смазливых девах на сто верст удалил бы от партизанских отрядов!..

Григорий, шагавший с разведчиками впереди роты, догнал Юрку и сказал ему, понизив голос до шепота:

— Глянь, а они у тебя вовсе ходить не умеют!

Юрка, заподозрив подначку, зло глянул на Григория. Но в глазах того было лишь удивление, и тогда Юрка остановился, пропустил мимо себя всех разведчиков. Потом гневно скомандовал:

— Разведка... стой!

Разведчики остановились, сгрудились, повернулись к нему.

Юрка не подошел — подкрался к ним. С минуту или чуть больше томил молчанием, прежде чем сказать:

— Я-то думал, что разведчиками командую, а на поверку иное вышло. — И то ли пренебрежительно, то ли разочарованно махнул рукой: — Вы даже ходить не умеете!

Разведчики запереглядывались недоуменно. Потом Стригаленок, решив, что подвернулся случай показать себя, выпятил грудь и сказал, ловя глазами взгляд Юрки:

— Как вы и учили, гуськом идем, след в след.

— Слыхал, Григорий, что он говорит? Оказывается, это я научил их так ходить! — и вовсе распалился Юрка. Чувствовалось, что ему хотелось дать волю голосу, что он из последних сил сдерживает его. — А позвольте спросить вас, тех самых, кто разведчиками себя именуют, почему мы ходим именно так, цепочкой, один в затылок другому?

— Чтобы на земле остался след только одного человека! — отрапортовал Стригаленок.

— И только-то? — всплеснул руками Юрка.

Действительно, а что еще? Этот вопрос без труда читался в глазах многих.

— Мы с Афоней, когда на задание идем, тоже всегда друг за другом держимся. Первый под ноги смотрит, чтобы на мину или еще на что случайно не наступить, а второй по сторонам наблюдение ведет, оберегая и себя, и первого, — спокойно сказал Виктор. Сказал только потому, что увидел спешащего к ним Каргина: не хотелось, чтобы при нем Юрка ругал своих разведчиков.

Однако Юрка уже завелся и теперь не хотел видеть ни Каргина, остановившегося в нескольких шагах, ни других партизан, которые тоже подошли сюда. Он, прохаживаясь около будто окаменевших разведчиков, знай себе отчитывал их:

— Может, я не говорил вам этого? Может, вы и слыхом не слыхивали, что за разведчиками и вражеские «кукушки» охотятся? Или вам глаза только для того и дадены, чтобы на стоптанные каблуки товарища взирать с высоты собственного роста?

Неизвестно, когда и какими словами Юрка закончил бы свою лекцию, если бы Каргин не спросил спокойно, словно и не понимая происходящего:

— Что у вас здесь за митинг?

Юрка всем телом повернулся к нему и отрезал:

— Так сказать, боевой подготовкой занимаемся. А митинги разные, это, как вам известно, товарищ командир, не по моей части, — и зашагал вперед, нарочно глядя только под ноги себе.

Тронулась вперед разведка — возобновила движение и вся рота. Но теперь все, до кого уже дошел слух о разносе, который Юрка учинил своим разведчикам, словно только сейчас вспомнили, куда и зачем они идут. И не стало недавней расслабленности. Даже Каргин сейчас шагал уже в голове колонны, шагал, злой на себя: ведь и он несколько минут назад позволил себе думать о том, что к сегодняшнему боевому заданию не имело никакого отношения.

7

Стадо, в котором было около ста коров, перехватили под вечер, когда до запланированного ночлега ему оставалось преодолеть лишь шесть километров дороги, прорезавшей заболо-

ченный лес. Просто, прячась за деревьями, скомандовали четырем полицаям, конвоировавшим то ли коров, то ли пастухов, бросить оружие. Это приказание было выполнено незамедлительно. Казалось, теперь только и осталось угнать коров в лес, но в это время один из пастухов — мужик лет пятидесяти — вдруг выхватил из-под рваного пиджака ракетницу и выстрелил; алая, как кровь, ракета взвилась в небо и рассыпалась там тревожно мигающими звездочками.

На какие-то секунды партизаны опешили, потом несколько человек бросились к тому мужику, чтобы скрутить его. Но он уже упал на колени и закрыл лицо ладонями. Так и стоял, покорно ожидая чего угодно. Ракетница валялась рядом, напоминая о том, что он только что совершил.

Григорий, первым подбежавший к нему, треснул его по шее так, что у него мотнулась голова, и прокричал зло, почти истерично:

— Кому, сволота, сигнал подал?

— Им, катам фашистским, — простонал мужик, не сделав даже попытки взглянуть на людей, грозно толпившихся вокруг него.

— Да как же ты посмел пойти на такое? — изумился Мыкола.

И тогда, по-прежнему не отрывая рук от лица, мужик сказал, что пустить ракету ему приказал главный фашистский начальник; тот самый, который с пятью машинами, полными солдат, вот уже какой день плетется сзади, умышленно отставая километров на десять; как сказал тот начальник, вся родня мужика в пепел пойдет, если он не пустит ракету, когда увидит партизан; а если выполнит все, как ему приказано, родня в целости останется, да еще и награду за его подвиг получит.

— А у меня только сопливых шестеро, — закончил мужик и впервые отнял руки от лица, впервые взглянул на партизан; в его глазах была мольба.

— Что ни говори, а ты последняя сволочь! — сказал Григорий и опять треснул его по шее, но не так зло, как в первый раз.

Считанные секунды были даны Каргину на размышление. Самое простое — бросить или перестрелять коров здесь, а самим уйти в лес: не впервой в чащобе фашистам бой давать.

Но приказ требовал другого. Однако корова не лошадь, от нее резвости не жди...

Хотя — сколько фашистам потребуется времени на те километры? Минут двадцать, не меньше. А если учесть, что ехать им предстоит по лесной дороге, что местность сильно заболоченная...

Да и вообще эти фашисты не должны в лес сунуться, в настоящий бой с партизанами ввязаться: маловато их, фланги все время будут открыты для партизанских ударов.

Тогда за каким чертом фашистский начальник приказал этому мужику выпустить ракету? И вдруг будто током ударила догадка: и не помышляют те машины спешить сюда, ракета фашистам только для того и нужна, чтобы точно знать, где ждет их партизанская засада!

Однако чтобы застраховаться на случай своей ошибки, Каргин подозвал командиров взводов и каждому дал конкретное задание: Федору гнать коров в лес, куда приказано; Юрке с разведчиками поспешить навстречу фашистам и, обстреляв прицельно, заставить их спешиться, потерять еще десяток минут; а всем прочим залечь за деревьями вдоль дороги, изготовиться к бою.

Прождали фашистов около часа. Они не появились. Тогда Каргин увел своих людей в лес. Шел замыкающим и с гордостью думал о том, что теперь даже солдаты вермахта боятся партизан, выискивают способы, которые дали бы возможность избежать боя с ними в лесу.

8

От снега, искрящегося на солнце, нестерпимо слезятся глаза, надо бы дать им передохнуть, но Каргин упрямо шагает по снежной целине. И думает он сейчас почему-то не о том, что задание командования выполнено, а о границе, которая испокон веков устанавливалась между государствами или враждующими сторонами. Вдоль нее обязательно стоят пограничные столбы, оповещая всех, что эта земля принадлежит такому-то народу. И кто скажет, сколько тысяч солдатских глаз непрерывно ведут наблюдение за ее неприкосновенностью?

Правда, в давние времена, как рассказывал учитель в школе, такой охраны границы не было. Тогда где-то на перекрестке дорог, бывало, стояла гарнизоном богатырская застава. Чтобы силой своей, мужеством своим преградить путь врагу. И были в ту пору еще дозорные одиночки. Эти располагались на вершинах гор, курганов или на специальных вышках. Они, обнаружив врага, палили дымные костры.

А вот сейчас, здесь, на земле Белоруссии, захваченной фашистами, нет границы между смертельными врагами. Вернее — здесь она незримая. И пульсирующая. Кто сильнее, тот ее и устанавливает. Поэтому, хотя сегодня с утра и шли вроде бы уже по партизанским владениям, ни себе, ни Марии Вербе даже малого послабления Каргин не дозволял. Единственное, на что сознательно пошел, откровенно сказал Марии:

— За тем лесочком Кошевичи спрятались. Доберемся до них, встретимся там со своими — тогда только и считай, что мы с тобой задание выполнили, домой вернулись.

Мария не ответила, только взглянула на него усталыми глазами.

Уже больше месяца они вдвоем. За это время узнали друг друга — лучше некуда. Вышли из партизанского лагеря дождливым днем, а возвращаются по сухому и крепкому морозцу. Пока ходили по вражескому тылу, и последние листья с деревьев ветер сорвал, и мороз льдом реки и речки сковал, и снег на землю лег прочно, надолго.

Больше месяца ходить по вражескому тылу, где любая случайность может погубить, — это очень долго. Особенно для нервов: они ко всему чувствительны, вот и сдают, можно сказать, надсаду получают...

Честно говоря, когда командир бригады, давая задание, сказал Каргину, что во вражеский тыл идти ему надлежит в паре с Марией Вербой, которая на все это время вроде бы его женой будет, он радости не испытал. И в спор не вступил только потому, что это приказ был. Но в душе изрядно покостерил начальство: или не понимает оно, что с мужиком надежнее?

А вот само задание пришлось по душе: командир бригады прямо сказал, что им надо докопаться до правды о том отряде, с представителями которого еще летом встречался Пилипчук. Особенно же понравилось, польстило сказанное командиром бригады в заключение:

— Пойми, Иван Степанович, всем сердцем пойми, почему тебя, а не другого, посылаем, хотя, сам знаешь, хороших разведчиков нам не занимать. Почему же мы тебя в это дело включаем? А потому, что тут не просто увидеть что-то надо, тут все значительно сложнее. Ведь если тот отряд, представители которого на дружбу с нами набивались, создан фашистами и с теми же целями, что и банда Черного, узнать правду ой как сложно будет. А нам ее сквозь любую маскировку обнаружить надо! По каким-то вроде бы мелочам, по неосторожно оброненному слову или еще чему, но только на нее выйти!.. Всех наших разведчиков мы перебрали и остановили выбор на тебе. Так что, вникни...

Каргин, конечно, понял, какое доверие ему оказали. Только вот с Марией Вербой во вражеский тыл идти...

Однако, как время доказало, она деваха правильная. И характер имеет. Не бабский, а настоящий, мужицкий. Взять, к примеру, хотя бы ту первую ночь, когда им вместе пришлось заночевать у незнакомых людей.

Вошли они в хату — Мария сразу зачастила по-белорусски. Он еще глазами зыркал, в обстановку вживался, а она с хозяевами чуть ли не дружбу уже завела. Вроде бы о самом обычном болтала, а он заметил, что временами, словно между прочим, она и вопросики вставляла, вроде того: а не шалят ли у вас в лесах партизаны? Так толково эти вопросики вклинивала, что и не понять, ищет она встречи с теми партизанами или боится ее.

Она же и не попросила, почти скомандовала хозяевам:

— Мы с Ваней на сеновале ляжем: он к свежему воздуху привержен.

На сеновале, пока Каргин осматривался и прикидывал, куда и как сигать, если ненароком фашисты нагрянут, она не мельтешила перед глазами, с разговорами разными не лезла: молча лежанку ладила. А только он лег, отгородившись от нее большой охапкой душистого сена, она и сказала с укором:

— Зачем же так, Иван Степанович? Вдруг хозяева заглянут?

Он перебрался к ней на разостланные половики, натянул на грудь тот же кожух, каким и она по самое горло укрылась. И тут что-то чувствительно кольнуло его в бок. Он еще думал, что бы это могло быть, а она уже пояснила, довольная собой:

— Это шило я для тебя припасла, если...

— Дура! — только и сказал тогда Каргин и отодвинулся на самый краешек половиков.

Здорово он тогда рассердился. Можно сказать, рассвирепел. Или Мария совсем без понятия, не доходит до нее, что настоящий мужик никогда не станет в любовь играть, если задание командования на нем висит? И вообще он, Каргин, никогда баб не сильничал. И не будет. Разве настоящий мужик на такое пойдет?

После этой ночи он, кажись, дня три или четыре почти не разговаривал с Марией. Только по делу слово-другое и ронял.

Видать, дошло до Марии, что ошибочно себя вела. Сама, вроде бы ни с того ни с сего, сказала:

— Вот беда-то, потеряла я шило, Иван Степанович.

Помнится, он ответил:

— Известно, баба, потому и потеряла. А оно в хозяйстве еще как сгодилось бы.

Она молча проглотила упрек, только глазищи упрятала.

Однако пословица правильно говорит, что шила в мешке не утаишь. Прокололо то шило Маринну котомку. Это Каргин к вечеру заметил.

Ох и хитрющая баба!..

А как они с Марией от двух полицаев отбились? Натолкнулись на этих сволочей, когда вовсе не ждали! Те, конечно, первым делом: «Кто такие и куда бредете?» Показали им документы, в самом почтительном тоне весь разговор с ними вели.

Вроде бы и придраться не к чему, а эти вцепились: шагайте с нами до управы, и все тут!

Пошли, конечно. Мария — впереди с одним из них. И все хиханьки да хаханьки строит, плечом будто бы случайно в его бок тычется. А тот дурак и разомлел...

Правда, и Каргин не сразу игру Мариину понял.

Зато потом, когда смысл ее заигрываний дошел до него, уловил момент и хрястнул кулаком в висок своего, всей тяже-

стью тела на него навалился. А Мария в это время на втором полицае повисла. Свалить его, конечно, не смогла, но и выстрелить не дозволила...

Помогла ему тех полицаев и в болото упрятать. Как заправский мужик помогала, все понимая без подсказки. И только после этого спросила, повернувшись к нему лицом:

— Синяк-то у меня под глазом большой всплывет или обойдется? — И вздохнула: — Как бы сейчас пятак медный пригодился...

А прошло еще совсем немного времени, вдруг прыснула в уголок платка.

— Ты чего? — удивился он.

— Я теперь всем бабам, с которыми разговаривать придется, обязательно говорить буду, что это ты меня так разукрасил. Из ревности!..

Но все это, можно сказать, мелочи, о них черт знает почему сейчас думается. Самое же главное — задание выполнено: точнехонько установлено, что в тех краях партизан не было и нет. Какой вывод отсюда напрашивается?

В Кошевичах их встретил сам Костя Пилипчук. Ему и доложил Каргин, что, выходит, те, которые с Костей встречались, какую-то черную мысль имели.

И все это время, пока докладывал Косте, пока обедали и даже усаживались в сани-розвальни, Мария вроде бы не обращала внимания на Каргина. Зато в санях, когда Пилипчук заговорил с возницей, она вдруг прижалась грудью к плечу Каргина и торопливо шепнула:

— Теперь я за вами, Иван Степанович, хоть на край света пойду. Так что учтите мою заявочку!

ЭПИЛОГ

1

Метель беснуется уже вторые сутки. Переметает дороги, озлобленно швыряет в глаза колючий снег. Даже плохо верится, что летом здесь было по-настоящему жарко. Но перед глазами фон Зигеля фотокарточка, на которой крупным планом он, стоящий по пояс в воде среди белых лилий. Довольный жизнью, улыбающийся в объектив.

Фон Зигель взял фотокарточку, еще раз взглянул на себя — того, летнего, и небрежно бросил ее в ящик письменного стола: то было в июле 1942-го, а сейчас уже февраль 1943 года. Траурный февраль. Во всех отношениях траурный.

Он механически потянулся к бутылке с водкой, стоявшей на письменном столе, и тотчас отдернул руку — нет, пока достаточно; сегодня он просто обязан быть трезвым, чтобы попытаться разобраться в сумятице своих мыслей...

Итак, сегодня утром опять прибыл доверенный человек отца, опять привез письмо, за которое, попади оно гестаповцам, можно лишиться головы. Иными словами, отец по-прежнему пытается навязать ему мысль о пагубности для Германии этой войны. И, видимо, для усиления воздействия даже цитирует шведов, заявивших, что разгром немцев под Сталинградом имеет для русских величайшее значение.

Только нужно ли цитировать каких-то вечно нейтральных шведов, если сам Геббельс недавно заявил по радио, и его слышал любой, кто хотел: «Мы переживаем на востоке военное поражение. Натиск противника в эту зиму предпринят с ожесточением, превосходящим все человеческие и исторические представления...»

У фон Зигеля отличная память, она не дает забыть, что еще год назад в некоторых секретных документах говорилось буквально следующее: «Если вследствие создавшегося положения будут заявления о сдаче, капитуляция Ленинграда, а позднее Москвы, не должна быть принята».

Вопрос о капитуляции Москвы отпал ровно год назад. А что касается Ленинграда... Советские войска недавно прорвали его блокаду.

И вообще теперь любому думающему должно быть ясно, что и вторая летняя кампания закончилась неудачно для вермахта.

Правда, он, Зигфрид фон Зигель, заподозрил это уже тогда, когда к нему в руки случайно попала сводка советского командования, в которой говорилось, что только за три дня боев в районе Сталинграда русские захватили тринадцать тысяч пленных, да еще на поле боя осталось около четырнадцати тысяч трупов солдат и офицеров вермахта...

Если быть откровенным, он эту сводку несколько дней все же считал блефом. До тех пор так считал, пока командование вермахта очень осторожно и завуалированно не заявило о том, что советские войска под Сталинградом предприняли ряд отчаянных атак, но... Дальше сообщалось только о подвигах солдат вермахта. Не соединений или частей, а одиночек! А фон Зигель был уже не восторженным мальчиком, он уже научился официальные документы читать и между строк, поэтому и догадался, что там, на берегах Волги, произошло что-то страшное. И для него лично, и для всей Великой Германии.

Короче говоря, он ждал сообщений о чем угодно. Но действительность оказалась страшнее воображения: он и думать не смел, что в Сталинграде безоговорочно капитулирует вся непобедимая армия фельдмаршала Паулюса!..

Фон Зигель рывком подался к столу, схватил початую бутылку с водкой и налил половину стакана. Налил — и сразу выплеснул себе в рот, а потом долго сидел, скривившись и закрыв глаза.

...В своем письме ты, отец, призываешь меня к спокойствию,

напоминаешь о том, что фон Зигели всегда честно и до конца служили Германии. Что ж, благодарю и за это...

Но ведомо ли тебе, отец, что такое партизаны? Не вообще партизаны, а здешние, советские?

Они повсюду! Здесь партизаном внезапно может оказаться любой местный житель — старик, женщина или ребенок школьного возраста!

Если бы ты отец, сейчас слышал своего сына, ты, разумеется, сказал бы, что с партизанами нужно бороться. Решительно и безжалостно.

Бороться с партизанами... Разве мы, офицеры фюрера, непрестанно не ведем этой борьбы? Ведь только в 1941 году, в самом начале этой войны, мы получили три документа: 25 июля — приказ командования вермахта о действиях против партизан, 16 сентября — приказ «О подавлении коммунистического повстанческого движения», подписанный Кейтелем — начальником штаба Верховного Главнокомандования, а в октябре главное командование сухопутных сил вермахта разработало и повсюду разослало «Основные положения по борьбе с партизанами».

Как видишь, отец, в самом начале войны мы получили для руководства три таких документа, регламентирующих наши действия против советских партизан!

Думаешь, это хоть чуточку помогло, думаешь, хоть чуточку поубавилось партизан после того, как их стали расстреливать и вешать без суда и следствия?

В подобных случаях русские почему-то говорят: «Дудки!»

И тогда в августе 1942 года сам Гитлер подписал «Указания по подавлению партизанского движения на востоке». В них без дипломатических вывертов сказано, что партизанское движение «...угрожает превратиться в серьезную опасность для снабжения фронта и хозяйственного использования страны», в том документе сам фюрер потребовал: «До начала зимы в основном истребить отряды партизан и тем самым умиротворить восток позади линии фронта, чтобы избежать решающего ущерба для ведения боевых действий вермахта».

Да что там говорить об «основных положениях» и «указаниях», если приказом самого фюрера учреждена должность, неведомая истории, — Главнокомандующий подавлением всех партизанских сил на Востоке!!!

Чтобы с корнем вырвать проклятую партизанщину, были нами открыты специальные школы для агентов, предназначавшихся для работы среди партизан и местного населения, им читались лекции по предмету, о котором до этой войны никто не имел даже малейшего представления, ибо он называется: «Меры по озлоблению населения против партизан»!..

Фон Зигель очень боялся партизан. Пожалуй, даже больше, чем солдат Советской Армии. Может быть, потому, что первые все время шныряли вокруг него, ежечасно угрожали его жизни?

В те февральские дни 1943 года, когда во множестве немецких семей оплакивали мужей, сыновей и братьев, павших во славу фюрера в заснеженных просторах России, майор фон Зигель еще верил Гитлеру, но уже сильно сомневался в том, что самому ему доведется вернуться домой победителем. Поэтому допоздна и засиживался в своем кабинете, копаясь в собственной душе и стаканами глуша водку. Не рюмками, как было в прошлом году, а стаканами.

2

Весело поскрипывает, будто поет, снег под полозьями саней: рота Каргина идет к знакомой уже станции Выселки, где, по сведениям разведчиков, завтра или послезавтра будет разгружаться батальон карателей. В санях-розвальнях, которые скользят в середине обоза, растянувшегося почти на километр, лежит Каргин и дремлет. И ему невольно думается, что вот точно так же, укутавшись в тулуп, бывало, ездил он за сеном или дровами, ездил в той далекой, довоенной жизни. И нет у него на душе волнения или беспокойства, хотя на боевое задание, а не на прогулку, ведет он своих людей. То хорошее волнение потом обязательно появится, но пока нет его. Потому что огромную силу чувствует он; как только узнал о разгроме фашистов под Сталинградом, так и поверил: самое страшное уже позади.

А может, и потому так спокойно на сердце, что пока они едут по партизанскому краю? И этот край настолько велик, что, зажмурив глаза, сунь в него иное европейское государство — потом долго искать придется?

Очень даже может быть, и это на настроение влияло. Но, конечно же, и то, что после большой облавы, из сетей которой бригада все-таки выскользнула, не убавилась, а увеличилась ее сила: сегодня под командованием Каргина уже двести четыре бойца. С автоматами, винтовками, пулеметами станковыми и ручными, с тремя ротными минометами и командой подрывников, которую возглавляет Григорий!

Скрипит обоз полозьями, не гонит Каргин от себя сладостную дремоту...

Остановились километрах в десяти от Выселок. С большой неохотой Каргин вылез из саней, но только ступил подшитыми валенками на белешенький похрустывающий снег — сразу посерьезнел, согнал с лица добродушие и окинул взглядом неподвижную вереницу саней и своих бойцов, бесшумно стекавшихся в цепочки отделений и взводов. В это время к нему на лыжах и подбежал раскрасневшийся от быстрого хода Соловейчик, радостно доложил:

— Так что пока ничего нового!

Ничего нового — значит, ни один полицай или немецкий солдат за истекшие сутки сюда не прибыл, значит, здесь сейчас

по-прежнему около сорока полицаев, капитально обосновавшихся в четырех бункерах-срубах, почти по самые бойницы спрятавшихся в землю. Толково, со знанием дела, расположены бункера: подступы к станции и друг к другу под прицельным огнем держат. Их построили вскоре после того, как рота Каргина совершила налет на эту станцию; бункера и станционное здание — закопченное, с одной стороны даже обуглившееся, — вот и все, что теперь имеется здесь.

Все это промелькнуло в сознании Каргина за считанные секунды, и он проворчал:

— А ты, Серега, чему радуешься? Думаешь, эти сорок полицаев стрелять не умеют?

В ответ Соловейчик широко улыбнулся и молодцевато спросил:

— Разрешите идти?

— Разве тебе не приказано сопровождать меня?

— Так точно, приказано, только... Только вы и сами дойдете куда нужно, если моей лыжни станете придерживаться!

Каргин понял, что Соловейчик торопился к товарищам, боялся, как бы там, пока он с командиром роты здесь торчит, не произошло чего. Что ж, молодость всегда будет жадной до подвигов. Каргин еще недавно и сам переживал нечто подобное, потому и ответил снисходительно:

— Иди, раз не терпится. — И сказал уже Федору, который сразу же, как только обоз остановился, подошел к нему: — Проследи, чтобы Виктор, как ему было приказано, со своим взводом у обоза остался. Мало ли что... Потом догонишь нас.

И, проваливаясь в снег почти по колено, пошел лыжней Соловейчика, стремительно бежавшей к чернеющему лесу. За Каргиным, растянувшись в длинную и молчаливую цепочку, пошли остальные.

Ни бряцания оружия, ни голоса. Только поскрипывает снег под ногами.

Еще до сумерек рота подтянулась к самой станции, залегла в снегу почти на кромке недавней вырубки; дальше — метров двести, не больше, — бункер с аспидно-черной щелью амбразуры.

Каргин, пристроившись за тем же вывороченным пнем, за которым уже давно лежал Юрка, долго разглядывал станционное здание и бункера, где сейчас, если верить разведке, отсиживались полицаи. Около часа пролежал в снегу, ведя наблюдение. И за все это время не увидел ни одного человека. Лишь дымок, поднимавшийся над трубами бункеров, свидетельствовал о том, что они не заброшены, что в них и сейчас идет какая-то своя жизнь.

— И мороз сегодня не так чтобы очень, — пробормотал Каргин.

— Сам не пойму, с чего они носа на улицу не кажут. Шестой час лежу здесь, до последней косточки промерз, а из

них ни один даже до ветра не выскочил, — охотно откликнулся Юрка.

И опять звонкая тишина вокруг.

Но вот раздался гудок паровоза. Вскоре после этого над лесом поплыли белые клубы пара, смешанного с дымом. Только тогда из станционного здания вышли дежурный по станции и полицай. Последний все время озирался по сторонам и держал свою винтовку так, словно при первой опасности намеревался выстрелить в спину дежурного.

Прогрохотал состав товарняка — оба сразу убежали в станционное здание.

— С чего они такие пуганые? — недоумевал Юрка; чувствовалось, он вызывал Каргина на разговор.

И тот откликнулся:

— Не ты у меня, а я у тебя как командира разведки должен об этом спрашивать.

— Ты, Иван, глянь на эти сугробы, пристально глянь, — сразу же заторопился Юрка. — Против каждого бункера их ровнехонько по три!.. Средний — заметно побольше... С чего бы так?

Действительно, с чего? Что лес вокруг станции и вдоль путей порубили, завалов из него наделали — это очень даже понятно: чтобы воспрепятствовать партизанам, чтобы затруднить им подходы. Допустим, что сугробы эти — ветки срубленных деревьев, припорошенные снегом. Тогда почему они так симметрично расположены? Аккуратность у немцев в крови? Может, и так... А почему тогда на той стороне каждого сугроба, которая к бункеру обращена, снег будто бы подрезан? Не совсем, а так, что ветки видны?

У сугробов, что прямо перед Каргиным, этой подрезки не видно потому, что он их с одной, внешней, стороны видит. На те же, что у дальних бункеров, он как бы из центра площади глянул. Вот и заметил то, что не для чужого глаза предназначалось.

— Договаривай до конца, — потребовал Каргин.

Юрка ответил уклончиво:

— Ты — командир, тебе мозгами ворочать и положено.

А Каргин в этот миг вдруг с отчетливой ясностью увидел свою роту в наступлении, в том самом, которое будет сегодня ночью; его бойцы, буравя головой снег, ползут к бункерам; вот до цели остается уже совсем немного, еще только несколько минут терпения, — и можно будет бросать гранаты; и тут вспыхивают те таинственные кучи багровыми отблесками огня, кровавя снег; по команде, одновременно вспыхивают, высвечивая роту, каждого бойца ее; а из бункера бьют ненасытные пулеметы и автоматы...

Конечно, это только предположение. Но тогда для чего они, те чертовы кучи?

Вторя его мыслям, ворчит Юрка:

— Все думаю, ломаю голову: а для чего они? Лично я начинил бы их горючкой. Бензином или другой какой химией...

Почему бы и нет?.. А зажечь их можно током или выстрелом. Пальнуть зажигательной, и делов-то... Ночь, ничего не видно? Опять же можно еще засветло навести пулемет туда, куда положено.

— Эти кучи мы Григорию подкинем, что ни говори, а он недавно командирские курсы подрывников осилил, выходит, ему и карты в руки, — думает вслух Каргин.

И тотчас за спиной раздается звонкий девичий голос:

— Позвать его?

Каргин, будто его ударили между лопаток, резко оглядывается и метрах в двух от себя видит Марию. От злости забывает все слова, только и может сказать:

— Ну, Марья, ну, Верба... Или мои приказы для тебя недействительны?

— Да человек же я, товарищ Каргин, живой человек! — взволнованно и даже с радостью отвечает она.

И Каргин, окончательно рассвирепев, говорит ей первое, что приходит в голову из самого обидного:

— Не человек ты, а... баба!

— Девка я, товарищ Каргин, девка! — задорно поправляет она. — Так я позову Григория? — И ползет в лес, не дожидаясь разрешения,

Юрка вроде бы и не слышал этой перепалки, он неотрывно вел наблюдение, однако сказал, когда Каргин уже начал успокаиваться:

— Давай, Иван, спорить: ежели до майских праздников она на тебе не женится, с меня пол-литра, а ежели...

— Заткнись!

— Мне что, я могу и заткнуться, — хитро усмехнулся Юрка и добавил: — Потому и злишься, что чуешь — моя правда.

Больше они не проронили ни слова до тех пор, пока рядом с Каргиным не улегся запыхавшийся Григорий. Каргин сказал ему сухо:

— Ваша задача — ночью добраться до этих сугробов, — пальцем поочередно указал на каждый из них, — и определить, есть ли в них начинка. И какая. Подумайте, как использовать ее с выгодой для нас... А одну группу своих динамитчиков отправите со мной, железную дорогу рвать... С которыми вам быть — сами решите.

Сказал это и пополз в лес, прополз мимо Марии, будто не заметил ее. Лишь в чащобе встал во весь рост, достал из кармана кисет. Тут к нему и подошел Юрка, спросил:

— Слышь, а как с приказом? Неужто не выполнишь?

— Между прочим, в приказе точно не указано, где нам нападать на карателей. Там говорится: «Следовать в район станции Выселки, где и...» Мы не дураки, не полезем туда, где приготовились встретить нас, — сказал, словно отрезал, Каргин.

3

К ночи вызвездило, и мороз стал назойливо пощипывать уши. Сейчас бы хоть на пару минут подбежать к костру, протянуть над огнем руки, однако Каргин категорически запретил не только костры жечь, но даже и курить открыто: сменив позицию, рота уже залегла вдоль железнодорожного полотна; на самой кромке вырубки, за поваленными деревьями, как за баррикадой, залегла. И подрывники Григория уже спо́лзали к насыпи, так умело мины заложили и следы свои замаскировали, что дважды фашистский патруль проходил по путям, проверяя, все ли в порядке, и, ничего подозрительного не заметив, прошел дальше.

Единственное, что разрешил Каргин, — поочередно уползать в лес и там бегать, прыгать или бороться друг с другом; только так все это делать, чтобы он, командир роты, малейшего шума не уловил!

Трижды за ночь с запада проходили поезда. И каждый раз бойцы роты замирали на своих местах, минеры — хватались за ключ подрывной машинки, но платформы и вагоны с самыми различными грузами проносились мимо, а эшелона с карателями все не было.

Каргин и сам не мог понять, как это так получилось, но Мария оказалась рядом с ним. Не в двух или трех метрах от него, а настолько близко, что ее дыхание инеем оседало на его полушубке. Странно, однако сейчас ему было даже приятно, что она вот тут, с ним, а не среди партизан.

Мария достала из-за пазухи здоровенный ломоть хлеба — чуть не во весь каравай — и протянула его Каргину. Хлеб был мягкий, теплый, и он сжевал его мигом. Тогда она протянула второй ломоть. Теперь он отвел ее руку, сказал внешне строго:

— Сама ешь... Небось замерзла?

Она помотала головой, дескать, нет, я не замерзла, и с такой жадностью набросилась на хлеб, что ему стало жаль ее.

Доев свой ломоть хлеба, она ойкнула, снова полезла за пазуху, достала оттуда флягу и протянула ее Каргину:

— Совсем забыла. Брусничный взвар. С сахаром!

Какое-то время посидели молча, касаясь друг друга плечами. А вокруг толпились мохнатые ели и голые березы. И еще было полное безмолвие. Будто они совсем одни в этом заснеженном лесу.

— И чего ты, Марья, за меня цепляешься? — наконец спросил Каргин, спросил спокойно, без намека на раздражение или недовольство.

Она промолчала.

— Тебе разве такой мужик, как я, надобен? Конечно, я не старик. Ежели по годам прикидывать, они вроде бы даже очень подходящие для женитьбы. Только я человек сухой, можно сказать, хмурый. А ты... Тебе бы в силу твоего характера и сейчас песни играть, плясать до зари.

Не укором, а лаской прозвучали эти слова. Каргин почувствовал это и, чтобы она не подумала ненужного, продолжал уже нарочно грубо:

— Конечно, наше мужицкое дело простое... Это бабе дите в себе носить, ей рожать, ей и дальше с ним маяться. Кроме того, разве сейчас время семью заводить? Конечно, можно и без дите. Только какая же это семья, если она корней в жизнь не пускает? И убить меня в любой момент могут...

Он ждал, что тут Мария обязательно начнет разуверять его: мол, не всех на войне убивают, мол, тебя-то, — чует мое сердце, — минет такая участь. Но она промолчала. И опять сидели молча, втянув головы в воротники. Пока Мария вдруг не толкнула его плечом.

— Ты чего? — удивился Каргин.

В ответ Мария еще раз толкнула его, теперь уже сильнее. Тогда он понял, что она замерзла, что эти толчки — приглашение к игре. И ответно толкнул ее, в душе боясь, чтобы этот толчок не оказался очень сильным.

Когда стало жарко, когда в заснеженном лесу вроде бы потеплело, он как-то непроизвольно распахнул полушубок и в эту теплынь, к самому своему сердцу, привлек ее — покорную, согласную на все.

Он же, спохватившись, осторожно и отстранил ее. Она безропотно приняла и это. А минут через пять сказала, вновь усаживаясь рядом с ним:

— Самое большое бабье счастье — ребенка под сердцем носить. От того человека, который ей люб...

Только утром, когда поднявшееся солнце подпалило снег, появился эшелон, которого ждали со вчерашнего дня. Сначала прошла дрезина с охраной. Прошла неспешно. И солдаты, сидевшие в ней, внимательно вглядывались в каждую рельсину, в каждую шпалу.

Потом появился паровоз, который толкал перед собой две платформы с песком. Он тоже шел медленно, словно на ощупь.

Зато состав с карателями бойко стучал колесами, он не ждал беды, и поэтому паровоз, не сбавив скорости, нырнул в кусты, когда взрыв вдруг разметал перед ним рельсы. И два вагона, бежавшие сразу за паровозом, тоже ушли под откос, а следующие вздыбились, полезли друг на друга. Треск ломающегося дерева, скрежет железа, вопли...

— Огонь! — скомандовал Каргин.

И сразу автоматы, винтовки, три миномета, все ручные и станковые пулеметы ударили по вагонам — и по тем, которые показывали серому небу свои колеса, и по тем, которые корчились на насыпи. Дружно ударила рота огнем. И все равно многие фашистские солдаты повыпрыгивали из вагонов, улеглись за их обломками и между рельсов и оттуда повели ответный огонь.

Правда, он был почти безвреден — деревья завала надежно защищали партизан от пуль, — зато не давал возможности приблизиться к насыпи на бросок гранаты.

Минут пятнадцать партизаны били по фашистам, кое-кто из самых горячих попробовал все же приблизиться к ним, но тут же упал, прижатый вражеским огнем.

Каргин каким-то внутренним чутьем уловил, что пора отходить, что даже малейшее промедление может оказаться пагубным, и скомандовал:

— Начать отход!

Эта команда, повторенная несколькими голосами, пролетела вдоль партизанской цепи.

Отходили повзводно, прикрываясь огнем, и поэтому почти без потерь; партизаны были уже километрах в двух от железнодорожного полотна, а сзади все еще бесновались фашистские автоматы. Злобно, временами — истерично.

Благополучно дошли до обоза, радостно повалились в сани. Тут к Каргину и подошел Григорий, сказал, отводя глаза в сторону, словно чувствуя за собой вину:

— Как ты и велел, мы всю ночь их не трогали, чтобы раньше времени шума не поднять. Разреши еще на одни сутки здесь задержаться?

— Что там, в тех кучах? — спросил Каргин.

— По бочке бензина в каждой и другая пакость... Так можно остаться или нет?

— И думать не моги: знаешь, сколько туда через час войск стянут?

Сказал это Каргин, убедился, что Мария уже обосновалась в соседних санях, и сам повалился на сено, которое манило, обещало отдых.

Застоявшаяся лошадь с места пошла резвой рысью.

4

У самого окна хаты чуть покачивается тоненькая веточка березы; на ней набухли почки. Старший лейтенант Пилипчук иногда косит на нее недобрым глазом. И не потому, что он не любил весны. Даже наоборот, ему дороги и первая мурава, ложащаяся на еще недавно такую голую и неприглядную землю, и самозабвенное пение не только соловьев, но и вообще всех пичуг, гнездящихся в лесах. Очень многое он любил. И будь его воля — он сейчас скорее всего бродил бы по оживающему лесу...

Но нельзя начальнику штаба бригады даже на часок вырваться на волю: дела — чтобы черт их забодал! — одолели.

Чтобы черт их забодал — это так, к слову. Если же говорить честно, то он даже доволен, что работы так много, что почти все дела срочные да неотложные.

Как только бригада установила постоянную связь с Большой землей, так и появились срочные дела, теперь Большая земля

то и дело приказывает: разведайте то-то, уточните это; спланируйте такую-то операцию в такие-то сроки и с таким расчетом, чтобы...

Особенно же много хлопот с донесениями, которые теперь ежедневно поступают буквально из всех рот бригады и от разведчиков, шныряющих на десятки и даже сотни километров вокруг. Тут и сообщения о том, что из такой-то деревни всю молодежь гитлеровцы угнали на работу в Германию, такое-то село начисто ограбили, а в деревне Хворостово во время церковной службы заперли всех молящихся в церкви и сожгли живьем; и подробнейшая информация о поездах, прошедших за сутки через такую-то станцию, и другие сведения о фашистских частях; встречаются, конечно, и торопливые скороговорки о старосте или другом предателе, которого надо обязательно покарать.

Все эти сведения старший лейтенант Пилипчук обязан просмотреть, отфильтровать дельное от чепухи, первоочередное от второстепенного. Потом, основательно обдумав и суммировав, еще раз просмотреть все материалы и отбросить то, без чего можно обойтись, и передать сводку в Москву, чтобы там, проанализировав все, смогли сделать правильные выводы.

Пилипчук прекрасно понимал, что эта работа — дело первостепенной важности. Поэтому все сведения, поступающие от разведчиков и своих людей, тайно работающих среди оккупантов, он изучал очень бережно и внимательно, но каждый раз невольно и особо волновался, когда получал весточку от Василия Ивановича — лично ему неизвестного человека: в самом пекле, на проклятущем посту обосновался он, можно сказать, все время по тонюсенькой проволочке над бездной ходит!

Зато и сведения, поступающие от него, всегда интересны, важны. Взять, к примеру, вчерашнее донесение. В нем сообщается, что в Германии полным ходом идет подготовка к тотальной мобилизации.

Это свидетельствует прежде всего о том, что вермахт основательно потрепан. Так потрепан, что пришлось фашистскому командованию призвать под ружье безусых юнцов и старцев-ревматиков!

С другой стороны, не следует забывать и того, что эта тотальная мобилизация все же увеличивает фашистскую армию. А на сколько?

Всегда некогда начальнику штаба бригады, он за счастье считает, если удается вырваться в какой-нибудь батальон, а сегодня времени и вовсе нет, сегодня надо не только материалы для Большой земли обработать, но еще обязательно быть и на общем построении: сегодня партизанам будут вручать правительственные награды!

Очень торопился сегодня Костя Пилипчук, поэтому почти с ненавистью и поглядывал на набухшие березовые почки, манившие его прочь от бумаг, заполнявших стол.

В то время, когда начальник штаба бригады так упорно боролся сам с собой, Каргин с Федором подходили к той хате, где хозяином расположился Николай Павлович.

— Разрешите? — спросил Каргин, приоткрыв дверь.

— Иван Степанович? Входи, дорогуша, входи, всегда рад видеть тебя, — ответил Николай Павлович, вылезая из-за стола.

Обменялись крепким рукопожатием, и Каргин сразу же выпалил:

— У него, — кивок в сторону Федора, — мысль имеется. Дельная. Потому и пришел с ним, что полностью ее разделяю.

Николай Павлович, пристально взглянув сначала на Федора, потом на Каргина, прошел к столу, уселся на свое привычное место и стал старательно скручивать «козью ножку». Ему эти секунды были нужны для того, чтобы погасить недовольство, вспыхнувшее неожиданно и только потому, что с час назад он еле выпроводил одного очень горячего товарища, который всего-навсего и предлагал-то — послать в Берлин соответствующим образом подготовленных людей, послать для того, чтобы они похитили не кого-нибудь, а самого Гитлера!

Успокаивал себя тем, что Каргин всегда трезво смотрел на жизнь.

Наконец, бросив сгоревшую спичку в немецкую каску, он сказал:

— Что же молчите? Я слушаю.

— Дельная мысль у него, — опять начал Каргин, но, словно спохватившись, замолчал и толкнул Федора локтем: — Давай сам все выкладывай.

— А чего все? — сразу же взъерошился Федор. — Сколько у нас сейчас ребятни имеется? Такой, которой за партой сидеть положено? Человек сорок! Или даже побольше... Короче говоря, товарищ комиссар, найти бы нам учителей и засадить пацанву за учебники! Чтобы годы зря не разбазаривали!

Выпалил все это Федор с одного захода. И замолчал. Но глаз не опустил, без колебаний выдержал испытующий взгляд Николая Павловича.

— Повторяю: я полностью за данную идею, так как учеба ребятни — дело наше общее. И не мелочь, как, видать, некоторые думают. — Тут Каргин многозначительно повысил голос.

— Зачем же так волноваться, Иван Степанович, если я и слова еще не сказал?

— Потому и психую, что отмалчиваешься! — ответил Каргин и полез в карман за кисетом.

Николай Павлович подождал, пока он свернет цигарку, потом, щелкнув зажигалкой, дал ему огня и лишь после этого сказал спокойно, рассудительно:

— Шуточное ли дело предлагаете — школу открыть! Тут с командиром бригады посоветоваться надо, и вообще... Допустим, будет у нас школа. Нужен ей директор или нет?

— Само собой, — даже удивился Каргин нелепости этого вопроса.

— А вы подумали, кого назначить на эту должность?

Нет, об этом они не думали, считали, что их дело идею подкинуть, а все прочее — заботы начальства.

— То-то и оно, — проворчал Николай Павлович. — Сейчас одно обещаю: немедля, как только командир бригады освободится, вынесу этот вопрос на обсуждение... Как жизнь-то у вас идет, что новенького?

— С чего новому быть, когда уже вторую неделю только разведку ведем да слушаем, как трава растет, — ответил Каргин и сразу же: — Разрешите идти? Я ведь, как приказано, с товарищами прибыл.

И они ушли. А Николай Павлович еще долго смотрел на дверь, захлопнувшуюся за ними, с гордостью и радостью думал о том, что вот ведь как получается: мысль об открытии школы пришла не ему, комиссару бригады, не кому-то из учителей, которых несколько в бригаде, а бывшему непролазному двоечнику Федору Сазонову. Значит, дошло до него главное, значит, посади его теперь за парту — о гулянках начисто забудет!

А Каргин, конечно, сгоряча ляпнул, что они сейчас только разведку ведут да слушают, как трава растет. Не твои ли люди, Иван Степанович, еще четыре дня назад на шоссе мосточек взорвали? Не твои ли бойцы, товарищ младший лейтенант... Хотя о том, что ты офицером стал, тебе пока еще неизвестно... Не твои ли бойцы, товарищ Каргин, минувшей ночью изменника смерти предали, привели в исполнение народный приговор?

Все прибедняешься, Иван Степанович. Зря прибедняешься...

А ровно в шестнадцать часов на деревенской улице и выстроили их, всех вызванных. Человек пятьдесят или около того.

Только подравнялись, только замерли в торжественной тишине — из штабного домика вышло бригадное начальство и человек в гражданском — в годах, лысоватый и добрый с виду. Пилипчук читал Указ, а человек в гражданском вручал награды. Самые разные. Каргину, например, — орден Красного Знамени...

Мария, конечно, словно обалдела от счастья: сама и орден к его гимнастерке прикрепила, так долго с ним возилась, что несколько человек помощь предложили. И ведь добилась своего: многие сгрудились около Каргина, поздравили его с наградой!

Каргин был рад ордену. Так же он радовался и тому, что орденами и медалями оказались отмечены и Федор, и Юрка, и Григорий, и Виктор с Афоней.

А потом, когда вручили награды, зачитали приказ наркома обороны о присвоении некоторым командирам офицерского звания. Согласно этому приказу, командир бригады Александр

Кузьмич Иванец стал полковником, Костя — майором, а Каргин получил погоны младшего лейтенанта. Полевые погоны получил — два продолговатых кусочка зеленого материала с красным просветом посередине и одной маленькой звездочкой на нем, а волнение такое нахлынуло, что все слова забылись. Те самые, какие сказать полагалось...

Юрка эти погоны ему на гимнастерку цеплял. Правда, сначала Мария рванулась это сделать, да ничего не получилось у нее.

И вдруг, когда настроение у всех было — лучше невозможно, появился Мыкола, постаревший сразу лет на десять или больше. Он подошел к командиру бригады и что-то такое ему сказал, что не только тот, а все, кто рядом с ним был, будто осунулись.

Тихо стало на людной улице, где еще минуту назад звенела тальянка. Так тихо, что все услышали, как полковник Иванец сказал после длительного молчания:

— Наш товарищ вернулся из дальней разведки... Заглянул и в село Хатынь, где у него жили родственники... Нет сейчас села Хатынь. Двадцать второго марта фашистские палачи уничтожили его. Вместе с людьми. Согнали всех жителей села — детей малых, баб и дедов, — согнали их в сарай и сожгли...

Больше ничего не сказал полковник Иванец. Постоял в раздумье, помолчал, потом повернулся и ушел в штабную избу.

А партизаны какое-то время еще стояли, будто враз лишившись речи и способности двигаться. И вдруг все заспешили, заторопились в свои роты и батальоны.

Впереди своих вышагивал Каргин. Словно за ним враги гнались, так вышагивал.

Мария семенила следом, старалась не отстать. И беззвучно плакала. Ей было жаль жителей того села, название которого она уже забыла. И себя, свою любовь было жаль. Мысленно она уже решила, что сегодня же ночью сама придет к Ивану: пока тот на это смелости наберется, или его, или ее жизнь оборваться может...

До лагеря роты было уже совсем близко, когда Марию догнал товарищ Артур, некоторое время шагал рядом молча, потом все же сказал:

— Не плачь, не надо, Мария.

И тут она впервые за всю дорогу громко всхлипнула и сказала, изо всех сил стараясь подавить рыдания:

— Не знаю, как тех жалко... И такой большой праздник пропал...

Два взвода и шесть малых групп — по два-три человека в каждой — послал Каргин на задания этим вечером. Самовольно послал.

Лично объяснив каждой группе, чего он от нее ждет, и особо подчеркнув, что на рожон лезть — дело зряшное, Каргин вдруг

понял, что сегодня больше ничем заниматься не сможет, что и караульная служба, и множество других забот, которых всегда полно у любого командира роты, — ничто его сегодня не волнует. И, проводив на задание последнюю группу, он ушел в свою землянку, долго бирюком сидел там, прислонившись спиной к единственному столбу, подпиравшему крышу. Сидел и думал о Хатыни, о которой до сегодняшнего дня и не слыхивал.

Как же так, а? Согнать живых людей в сарай и сжечь?!

За два года войны он повидал много мертвых. Принявших смерть в бою или замученных фашистами. Ему уже не в диковинку было, когда кто-то из разведчиков докладывал, что в такой-то деревне фашисты сожгли несколько хат. За саботаж приказов местных властей или по другой причине.

Но чтобы живьем сжечь всех жителей деревни — надо же додуматься до такого, надо же решиться на такое!

И невольно вспомнился разговор, который нечаянно подслушал, когда провожал бойцов на задание.

У маленького костра сидели несколько разведчиков Юрки. Кто именно — не разглядел, а голоса двух слышал. Сначала Стригаленок, видать, хотел куснуть Мыколу, ну и спросил, чего это он сегодня у командира автомат выпрашивал, если в жизни своей ни одного даже куренка не убил?

Мыкола ответил:

— Куренка я и сейчас, может, пожалею. Ведь куренок что? Существо, жизни жаждущее, он себе и людям в радость живет. А фашисты...

Не хватило у Мыколы слов, чтобы до конца высказать свою мысль. Но Каргину и без слов все стало понятно. Похоже, это же ухватили и разведчики, сидевшие у костра, и Стригаленок. Этот после слов Мыколы рта не раскрыл...

Долго сидел Каргин в одиночестве. О разном передумал. Потом встал, привычно одернул гимнастерку, вышел из землянки. И, не раздумывая, уверенно зашагал к землянкам хозяйственного взвода, в одной из которых жила Мария. В душе надеялся застать ее одну, но она сидела среди партизан и грустно глядела на угасающее пламя костра.

Заметив Каргина, неожиданно остановившегося шагах в трех, партизаны сразу же подтянулись, ожидая приказания. Он поспешил успокоить:

— Не, я так, на огонек.

Они чуть сдвинулись, освобождая ему место рядом с Марией. И он сел, стараясь не взглянуть на нее, чтобы не поддаться чувствам, не выплеснуть принародно то, что берег для нее одной.

Уже выкурили по цигарке, а уходить никто не собирался, даже наоборот — в костер сушину бросили. И тогда Каргин, которому от этого траурного молчания стало вовсе невмоготу, сказал глухим и хрипловатым от волнения голосом:

— Вот что, мужики... Хотел сначала без свидетелей с Марьей разговор вести, однако, пожалуй, и лучше, что вы тут... Потому

как намерения мои самые серьезные, и вообще... Так вот, женюсь я на Марье, на ней, значит.

— А мое согласие ты спросил? — сияя от счастья, притворно взъелась она.

— Не с тобой разговариваю, — сухо оборвал ее Каргин. — Не видишь, с мужиками советуюсь?

— Тогда подольше советуйся: мне ведь собраться надо.

Это было сказано так искренне, с такой счастливой непосредственностью, что некоторые заулыбались, а кто-то даже спросил с нескрываемой завистью:

— И за что, Муся, ты его полюбила? Он — мужик беда строгий.

— За то и полюбила, что не кошкой кличет, а Марьей навеличивает! — задорно ответила она и метнулась к землянке.

5

Теперь Виктор командовал взводом. По отзывам подчиненных и начальства — толково командовал. И не чужая медаль, а собственный орден Красной Звезды поблескивал на его груди. Кажется, только гордись и радуйся!

И он очень обрадовался, когда получил орден. Но почти сразу же навалилась глубокая тоска: если бы школьные товарищи, если бы Клава или отец видели это...

Уже год минул со дня гибели Клавы. Говорят, время всякую боль глушит. А у него она вроде бы еще сильнее стала. Теперь ему казалось, что Клаву он очень любил. Так любил, как никогда и никого больше не сможет.

И она беззаветно любила его...

Интересно, почему так получается: вокруг тебя сегодняшняя жизнь бурлит, а ты упрямо о прошлом думаешь? Все казнишь себя за то, что не оказалось тебя поблизости, когда та беда нагрянула?

И вообще невезучий он, Виктор. Кого полюбит, к кому привяжется сердцем — тот вскорости почему-то обязательно погибнет. И Клава, и дед Евдоким...

А Защепа? До слез Виктор обрадовался, когда в командире соседнего батальона узнал того самого капитана катера, который помог бежать из Пинска!..

Только раза два или три и успел с ним поговорить, душу свою лишь на самую чуточку приоткрыл — не стало и его: вражеская пуля в висок угодила. И не в бою, когда смерть на любого свой глаз кладет, а во время самого обычного перехода! Словно кто-то нарочно бил из засады по командиру батальона...

Единственные, кого судьба пока милует, это Александр Кузьмич и Афоня с Груней. Если, конечно, самых старых знакомых брать.

Но Александр Кузьмич — командир бригады, у него своих забот полнехонько. Спасибо ему и за то, что узнал в Викторе того

школяра, которому в Пинске показал воробьиное гнездо, замурованное ласточками.

Афоня с Груней — другое дело. По старой памяти Виктор захаживает к ним. Но чаще — Груня зазывает. Она же и обстирывает, и обшивает его. Как только заманит к себе — обязательно накормит чуть не до обалдения. От себя кусок оторвет, а его накормит. Словно любимейший брат, так о нем пекутся.

Ведь до какой глупости Груня в своей заботе докатилась: этак осторожненько, с подходцем, намекает Виктору то на одну девицу, то на другую. Дескать, и сердечная она, и хозяйственная, и верной до гроба будет.

Только ему никакой невесты не надо. У него сейчас единственная радость — на задание из лагеря удрать. Особенно же — выпроситься вдвоем с Афоней. Как и год назад...

Вот и вчера выпросился. И со вчерашнего вечера лежат они с Афоней в кустах у самого шоссе, поджидая своего фашиста. Проносятся мимо грузовые машины — много машин, — они лежат затаившись. И на легковушки внимания не обращают. Они ждут мотоциклиста. Того самого, который штабную почту доставляет.

Их нисколько не удивляло то, что по шоссе шло множество машин: из сводок Совинформбюро они уже знали, что с 5 июля под Курском гремит битва. Сегодня уже 16 июля, а она все еще полыхает с неослабеваемой силой.

Только во второй половине дня показался мотоциклист-почтарь. Его увидели на шоссе в тот момент, когда мимо Виктора с Афоней только что пропылила большая колонна грузовиков; видимо, для безопасности мотоциклист хотел пристроиться к ней, вот и гнал.

Афоня, лежавший по ту сторону дороги, метнул Виктору моток тонкой проволоки, оставив у себя один ее конец.

Закрепить проволоку на стволах двух берез — дело секундное...

Мотоциклист с полного хода грудью налетел на нее, ну и выбросило его из седла.

Афоня подбежал к мотоциклу, когда мотор еще тарахтел. И, ухватив мотоцикл за руль, уволок его в лес и заглушил мотор. А Виктор сразу же метнулся к почтарю, убедился, что тот мертв, забрал сумку с почтой, оружие и шмыгнул в лес вслед за Афоней.

Проволоку сматывали уже не спеша и так аккуратно, чтобы в следующий раз, когда потребуется, возни лишней не было.

Лишь отойдя от шоссе километров на пять, присели — не столько отдохнуть, сколько покурить спокойно и всласть. Тут Афоня и предложил:

— Заглянем в сумку? Может, там, как и в прошлый раз...

В прошлый раз они сшибли офицера. У него во внутреннем

кармане френча нашли объяснительную записку генерала — командира одной из дивизий вермахта, которую бросили против партизан. В записке боевого генерала было сказано: «...Первой особенностью малой войны является то, что она ведется в лесах, в темноте, с очень маневренным противником, который способен нападать на нас с боков и тыла. Только потому мы и не имели успеха, что методы малой войны используются противником с большим мастерством, в результате чего мы потеряли 800 героев убитыми...»

Кадровая дивизия вермахта вела боевые действия против партизан и потеряла убитыми 800 солдат и офицеров!

Действительно, может быть, и сегодня повезет? И Виктор сунул руку в сумку почтаря. Сначала ему попадались только частные письма. Он уже почти отчаялся найти что-то стóящее; когда на самом дне сумки вдруг нащупал пакет, зашитый в парусину и запятнанный пятью сургучными печатями. Виктор достал и вскрыл его. В пакете оказался приказ Гиммлера от 10 июля. Единственное, что понял Виктор из этого приказа: все мужское, женское и даже детское население Белоруссии и других советских земель, временно захваченных оккупантами, должно быть немедленно передано какому-то имперскому комиссару по использованию рабочей силы. Виктор сунул пакет за пазуху и заторопился:

— Давай трогаться, Афоня. Похоже, что сегодня нам опять здорово пофартило!

6

Никак не ждал Каргин, что к нему в роту, да еще сегодня, заявится Николай Павлович. Не время сейчас для поверок, не время: с 3 августа началась операция «Рельсовая война», и в лагере роты Каргина сейчас, если даже всех бойцов собрать, человек сорок едва наскребется. Неужели забыл Николай Павлович об этом? Неужели забыл, что сам лично, подымая людей на эту операцию, убежденно говорил: мол, Советской Армии, которая сейчас ведет ожесточенные бои, наша партизанская помощь во как нужна; не только наша бригада, а все советские партизаны — около 200 тысяч — в ней участие примут, ибо должна эта операция захватить район протяженностью почти в тысячу километров, а в глубину — чуть поменьше.

Конечно, не мог он забыть такое.

Нет в роте ни одного случая грубого нарушения дисциплины. И все задания командования точно выполняются.

Тогда что же привело Николая Павловича сюда? Чего он уже столько времени сидит напротив Каргина и, щурясь от едкого дыма самосада, глядит на карту, развернутую на весь обеденный стол?

Терпеть не может Каргин подобной игры в молчанки! С детства не может терпеть.

— Последние фронтовые новости знаешь? — наконец спросил Николай Павлович.

И опять загадка: что имеется в виду? Каргин, например, знает, что еще 5 августа Советская Армия освободила Орел и Белгород. Теперь в бригаде есть уже две радиостанции, обеспеченные питанием, и поэтому известно ему даже и то, что уже 7 августа лондонское радио заявило на весь мир, что такого поражения, как под Орлом и Белгородом, немцы не испытывали даже в 1918 году, что, дескать, поколения будут вспоминать о том, как советские войска нанесли тяжелый удар фашистам, продемонстрировав тем самым свое могущество и мастерство.

Или Николая Павловича интересует, знает ли Каргин о том, что началась Смоленская операция? И об этом имеются сведения.

Многое знал Каргин, но на вопрос Николая Павловича предпочел ответить дипломатическим пожатием плеч.

— Так вот, мотай на ус: третьего августа товарищ Сталин был в действующей армии в районе Юхнова, а через день в селе Хорошево, что под Ржевом, имел беседу с генералом Еременко. Ну, как, тебе этот факт о чем-нибудь говорит? — торжествовал Николай Павлович.

От изумления и восхищения Каргин сначала не мог сказать ни слова, потом все же собрался с силами, спросил:

— Слышь, а это точно?

Удивленно дрогнула одна бровь Николая Павловича, но сразу же вернулась на свое место, и ответил он спокойно, без раздражения или обиды:

— По нашей линии поступают исключительно точные сведения. Или ты забыл, кто я по основной специальности?

Не забыл, конечно, просто не подумал об этом.

Немного помявшись, Каргин опять спросил:

— Эта новость только для некоторых или...

— Для всех, Иван Степанович, для всех. И чем скорее люди узнают это, тем лучше, — перебил его Николай Павлович. — Ведь уже был там товарищ Сталин, был! Значит, как фашисты ни старайся, все равно уже никак напакостить не смогут!

Теперь Каргин метнулся к карте, нашел Юхнов и Ржев. А вот Хорошево почему-то не было обозначено на ней...

— А ведомо ли тебе, товарищ Каргин, что в Белоруссии, где располагается фашистская группа армий «Центр», фельдмаршал Буш — ее командующий, напуганный успехами Советской Армии, держит в постоянной боевой готовности свыше семидесяти дивизий, до десяти тысяч орудий и минометов, около тысячи четырехсот танков и штурмовых орудий и почти тысячу боевых самолетов?.. К чему все это говорю тебе? Чтобы ты проникся важностью сегодняшнего момента. Чтобы сам понял и бойцам своим внушал: сейчас каждое задание особый смысл имеет, сейчас от выполнения любого задания многое зависит... Слышь, Иван Сте-

панович, а где у тебя та карта? Которой ты в сорок первом году пользовался?

Каргин, секунды не раздумывая, потянулся к изголовью лежанки и из-под матраца достал карту. Самую обыкновенную, из школьного учебника. И только европейской части Советского Союза. Эта карта из школьного учебника и легла поверх оперативной. И оба молча наклонились над ней, побежали глазами по названиям городов, около которых виднелись карандашные пометки Каргина.

— Ты, помнится, стереть эти цифирки намеревался? — спросил Николай Павлович и сам сразу же ответил: — Хотя, пожалуй, не стóит: сбереги, как пáмять, ребятня пойдет — вот им и покажешь, объяснишь, что к чему... А жена твоя где? Уже около часа сидим, а ее все нет.

— Ушла она. Как тебя увидела, так и ушла.

— Почему? Или я такой страшный? — взметнулась правая бровь Николая Павловича.

— Стеснительная она. И понимает, что комиссар бригады просто так не придет, что дело привело его сюда. Может, секретное, — с гордостью пояснил Каргин и сразу же выстрелил вопросом: — Говори уж, зачем пожаловал? Чую, не просто лясы точить.

Николай Павлович шутливо погрозил ему пальцем:

— Нет у тебя, Иван Степанович, должнóго почтения к начальству. На ломаный грош нет! — И тут же согнал с лица улыбку; сразу стала отчетливо видна усталость, старившая его на несколько лет. — Понимаешь, нам указана сегодняшняя лежка банды Черного. Вернейшим человеком указана.

— Он сообщил? — спросил Каргин, хотя и догадался, что такие сведения мог дать только Василий Иванович.

Николай Павлович, похоже, посчитал этот вопрос неуместным. Он продолжил, словно и не было его:

— Неужели упустим, а?

Он говорил еще что-то, но Каргин уже не слушал, он мысленно уже прикидывал, какими силами располагает, что может бросить против банды Черного. Как ни искал, все равно не мог наскрести даже сорока человек. И то лишь в том случае, если лагерь без присмотра бросить.

А сколько человек в банде Чернóго? Неизвестно. Потому и молчит об этом Николай Павлович...

Эх, если бы главные силы роты были здесь!

Посетовал и сам же урезонил себя: и с меньшими силами доводилось дела делать; в других ротах положение с людьми, видать, и того хуже, если Николай Павлович к нему пришел.

— Не в наших правилах, товарищ комиссар, от боевой работы бегать, — наконец сказал Каргин, поднимаясь. — Одного не пойму: ты-то лично чего ко мне шел? Неужто подумал, будто для меня письменный приказ силы не имеет? Кажись, не давал повода так...

— Не там корень ищешь, — поморщился Николай Павлович. — И не приказ, а просьба тебе высказана... Знал, что мало у тебя людей, вот сам и пришел. Чтобы с вами... Заодно с собой и директора нашей школы товарища Сазонова прихватил. Надеюсь, еще помнишь такого?.. И еще два учителя с ним...

Встреча с Федором (с месяц назад его забрали из роты) — большая радость, но дел сейчас так много, и таких важных, что Каргин посчитал неудобным высказывать ее, потому и пошутил неуклюже:

— Спасибо и за то, что без школяров их привел...

А еще примерно через час около землянки выстроились все, кто мог идти на задание. Считая Николая Павловича, Федора и двух учителей, их было тридцать девять. На левом фланге стояла Мария. Каргин в последнюю очередь глянул на нее и сразу же отвернулся, чтобы не травить сердце, и сухо скомандовал:

— За мной шагом... марш!

И только на марше, когда от лагеря рота отошла почти на километр, Николай Павлович, неумело притворившись забывчивым, достал из кармана гимнастерки листок бумаги и сказал, протянув его Каргину:

— Чуть не забыл.

Мельком взглянув на этот листок в косую линейку, вырванный из тетрадки, Каргин сказал с легкой обидой то ли на себя, то ли на кого другого:

— Тут по-немецки накарябано, а я...

— Ты на обратную сторону глянь.

Действительно, там был русский текст, напечатанный на машинке. Каргин торопливо бежит глазами по его строкам:

«Товарищ Каргин!

Мы теперь члены Национального комитета «Свободная Германия». Вчера даже присягу приняли, в которой сказано: «Я, сын немецкого народа, преисполненный пламенной любовью к моему народу, моей Родине и своей семье, клянусь бороться против гитлеровского режима до тех пор, пока мой народ вновь не станет свободным и счастливым, пока позор фашистского варварства не будет сметен с лица земли, а гитлеровский фашизм уничтожен».

Как видите, теперь мы вновь стали настоящими немцами.

Пауль и Ганс».

Каргин тогда и понятия не имел о том, что Национальный комитет «Свободная Германия» был создан на советской земле в июле 1943 года, какие задачи он перед собой ставил, но текст присяги был убедительнее иных многословных заверений. И Каргин очень обрадовался, что Пауль и Ганс живы и здоровы, что теперь они окончательно встали на путь честных людей.

Но спросил он спокойно:

— Можно, я письмо пока у себя оставлю? Ребятам показать бы надо.

Николай Павлович ответил вроде бы равнодушно:

— Оно тебе адресовано.

7

Почти с радостью дед Потап согласился стать связным партизанской бригады: выходит, нужен он людям! А вернулся в опустевшую избенку, сразу же одиночество яростно обрушилось на него, чуть совсем не придавило. Действительно, и словом перебросится не с кем, главное же — никому твоя забота не нужна, только о самом себе и пекись. И он, глуша тоску, первые два дня лишь тем и занимался, что обихаживал хозяйство: проверил, исправна ли яма под картошку, ладно ли дрова в поленницы сложены; даже починил кожух, который за древностью давно выкинуть надо было, даже дымоход, еще в прошлом году давший трещину, глиной замазал!

Два дня прошли в непрерывных хлопотах, а потом вдруг хлестнула мысль: разве для этого он домой вернулся? Ведь теперь его первейшая обязанность — ходить по окрестным деревням, сведения о гитлеровцах и полицаях собирать, все слышать и видеть, надежных людей высматривать. И он заторопился в дорогу, словно все это именно сегодня надлежало сделать.

За зиму, весну и лето исколесил весь район, побывал почти во всех его деревнях, беда полезные знакомства завел и только охнул, спохватившись, когда вдруг нагрянула пора убирать хлеба с тех полянок, что весной были засеяны с помощью партизан. Он заторопился домой, можно сказать, со всех ног летел, чтобы время окончательно не упустить, хотя и понимал прекрасно, что со всем хлебом ему одному никак не управиться. И поспел как раз к тому моменту, когда друзья-партизаны вязали последний сноп.

Потом опять колесил по району, добывая сведения, за которые его не раз благодарило командование бригады.

Вроде бы ладно жизнь пошла, но дед Потап постоянно чувствовал, что ему чего-то не хватает, что теперешняя жизнь похожа на суп без соли. А вот почему она такой казалась, этого долго понять не мог. И неизвестно, когда бы еще понял, да случай помог.

В тот день он немного притомился в пути, ну и присел отдохнуть в холодке под березой. Сидел, глядел на лес и думал о том, что вот и опять зима скоро нагрянет и всю эту благодать сменит другая. Даже пофилософствовал немного: вот как хитро земля живет — в какое время года на нее ни глянешь, она всегда красивой выглядит, не то что человек; человеку этого не дано, его времена жизни почему-то возврата не имеют.

Сидел в холодке, серьезным размышлениям предавался и вдруг видит: катит по дороге коляска на резиновом ходу, а в ней

тот самый фашистский ублюдок, который за управляющего над всеми здешними землями. Может, и не так его должность называлась — деду Потапу до названий всегда дела мало было, он всегда старался главную суть схватить.

К самой березе, под которой отдыхал дед Потап, подъехал тот тип и придержал лошадь. Дед Потап, как того требовала его теперешняя жизнь, встал, снял фуражку и поклонился.

Фашист на поклон не ответил, он смерил деда Потапа с ног до головы пренебрежительным взглядом и на ломаном русском языке спросил, знает ли он, где здесь самые утиные места. Короче говоря, он сам в лапы смерти лез, так был ли резон мешать? Потому дед Потап и ответил, что знает такие места, одно из них совсем близехонько. И сейчас там уток — видимо-невидимо: мимо того болотца шел, всех уток собственными глазами видел.

Фашисту бы поостеречься, а он хвать из колясочки ружье-двустволку и требует: «Веди!»

Разве мог ослушаться дед Потап? Вот и увел его в лесок. А вернулся уже один.

С этого самого случая так и повелось, что, выполнив задание командования бригады, дед Потап и о спокойствии своей души не забывал, не часто, но все же, как и в прошлом году, хаживал на «охоту».

И только однажды встревожился дед Потап. Это когда неожиданно Григорий нагрянул и спросил с улыбочкой:

— По-прежнему «белкуешь», дед, или как?

Очень боялся дед Потап, что ругать его будут за самовольство, но все равно правду ответил:

— Есть маленько.

Но Григорий только рассмеялся, только и сказал:

— Ты поосторожнее, дед. Чтобы свою голову не подставить.

После этих слов и вовсе нормально пошла жизнь деда Потапа. А одиночество, оно что? Оно тому страшно, кто цели в своей жизни не видит.

8

Уже вторую неделю не переставая лил дождь. Земля давно пресытилась влагой, везде видны лужи, маленькие и такие, что за небольшое озерко сойти могут. Фон Зигель из окна своего кабинета видит и серую пелену дождя, и огромную лужу, разлившуюся во всю ширину улицы, и грузовик, безнадежно буксующий посреди нее. Задние колеса его уже по ступицу ушли в жидкую грязь, а шофер все газует, газует. Сначала грузовик еще хоть дергался, даже покачивался, когда шофер переключал скорости, а сейчас только натужно вздрагивает, все глубже оседая в жидкое месиво.

Под самыми окнами комендатуры буксует грузовик. Еще год назад к нему давно подбежали бы солдаты и полицейские, под-

перли бы плечами и вытолкнули из ямины. Сегодня же — все видят, но никто не спешит на помощь. И грузовик буксует, буксует...

Фон Зигель вернулся к столу, достал из тумбочки бутылку водки и привычно плеснул в стакан. Выпил, сел за стол, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.

Боже, за что караешь?

«Даже если мы не сможем эти завоевания осуществить, мы вместе с собой разрушим полмира... мы не капитулируем...»

И это заявил фюрер, в которого он, Зигфрид фон Зигель, еще недавно так верил?!

Эти слова — откровенное признание собственного бессилия...

Фон Зигель нервно распахнул сейф и среди многих бумаг, лежавших там в полном беспорядке, все же нашел нужную и почти с ненавистью прочел: «...Следует достичь того, чтобы при оставлении части территории на Украине там не осталось ни одного человека, ни одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного железнодорожного рельса, чтобы не оставался стоять ни один дом, не было бы шахты, не разрушенной на многие годы, не было бы ни одного неотравленного колодца. Противник должен обнаружить действительно тотально сожженную и разрушенную страну... Сделайте все, что в человеческих силах...»

Это написал Гиммлер. Написал 7 сентября, то есть в те дни, когда советские войска рвались уже к Киеву.

Сделать все, что в человеческих силах, сделать для того, чтобы уничтожить жизнь вообще!

Что это? Полное незнание действительной обстановки на фронтах или...

Даже страшно подумать о будущем Германии, если последнее...

Сегодня — 10 октября, а 22 сентября советские войска в районе Киева вышли к Днепру. Где они сейчас? Уже форсировали его или еще только готовятся к этому?

Итак, на Украине это письмо Гиммлера уже приобрело силу приказа. Здесь, в Белоруссии, о нем пока громко не говорят, здесь с ним полуофициально знакомят пока только отдельных лиц. Здесь мы еще усиленно заигрываем с местными националистами; в июле благословили их на создание «Союза белорусской молодежи», пошли даже на создание национального правительства!

Однако, если говорить откровенно, и от заигрываний толку мало: авторитета у этого правительства и пресловутого «Союза» — ноль целых и даже без десятых...

Ни жестокость, ни заигрывания не дают положительных результатов. Тогда где же выход, черт побери?!

В дверь кто-то осторожно постучал. Фон Зигель окинул взглядом стол — нет ли на нем чего лишнего, компрометирующего, и ответил, стараясь придать голосу былую бодрость:

— Войдите!

Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель проскользнул Шапочник, сказал, остановившись у порога:

— По вашему вызову...

За последние месяцы память уже не раз подводила фон Зигеля, вот и сейчас не помнилось, чтобы кого-то вызывал. Но сознаться в этом — подорвать свой авторитет. И он показал глазами на стул, стоявший перед письменным столом. Несколько минут комендант района и начальник местной полиции смотрели в глаза друг другу. Фон Зигель думал о том, что этот мужик — здесь, в Степанково, пожалуй, единственный человек, которому он верит: Шапочнику, как и ему, приход советских солдат не сулит ничего хорошего. Остальным офицерам, тому же Трахтенбергу, что? Если и попадут в советский плен, то поболтаются в лагере, допустим, год или два и все равно вернутся домой. А ему, фон Зигелю, советские припомнят и гетто, и многое другое. Шапочнику же — не простят его повторной измены. Выходит, они, как говорят русские, одной веревкой связаны...

Эти мысли привели к выводу, что, пожалуй, пора хоть частично, но разрушить стену холодности, которую он сам возвел между собой и этим советским каторжником. И он не бросил, как это бывало раньше, а протянул ему пачку сигарет:

— Можете курить.

И Шапочник понял, что с этой секунды между ними устанавливаются новые отношения, не сказал своего «благодарствую», а молча взял сигарету: только излишне поспешно щелкнул зажигалкой, чтобы первым добыть огонь, поднести его начальству.

— Господин Шапочник, этот представитель правительства все еще у вас? — спросил фон Зигель, глядя на пепел своей сигареты.

Пан Власик — теперь уже как официальный представитель нового национального правительства — прибыл в Степанково еще позавчера. Только показаться и зашел к нему, к начальнику местной полиции, а все остальное время о чем-то перешептывается с паном Золотарем. И столуется у него, и спать к нему домой ходит.

— Не у меня, господин майор, а у моего помощника, — ответил Василий Иванович, так хитро ответил, что невозможно было понять: то ли просто уточнил, то ли иронизировал.

— Вы его не любите?

— Это у нас, как говорится, взаимное. — И сразу же пояснил: — Мы с ним разного поля ягоды. Ему в первую очередь что надо? Лично выдвинуться, лично обогатиться. Ему, извиняюсь за прямоту слов, хоть вы, хоть англичане, ему бы только свою выгоду иметь... Он и против Советов не бунтовал, когда их сила была. — Об англичанах Василий Иванович упомянул исключительно для того, чтобы насторожить Зигеля, который неизвестно за что люто их ненавидел. — Сейчас, когда беда в наш дом ломится, он к любому хозяину запросто переметнется. А у меня...

— Если я вас правильно понял, сегодня вы уже не верите в нашу победу?

Вот оно, то самое главное, из-за чего затеян этот разговор!

— Не будет ее, господин майор, хоть казните, а не будет, — ответил Василий Иванович и выдержал долгий, испытующий взгляд фон Зигеля; тот первым отвел глаза. — Лично мне думается, о чем те двое могут шептаться? — вильнул в сторону от опасной темы Василий Иванович. — Может, ход ловкий выискивают, чтобы бежать от возмездия?

Нет, он ничего не утверждал, он только высказывал свои мысли. Будто бы только что, случайно пришедшие в голову. Для того высказал, чтобы зародить подозрения в душе Зигеля.

— Господин Шапочник, люди, подобные вам, будут всегда нужны. Если не рейху, то кому-то другому. Я могу похлопотать о том, чтобы вас перевели отсюда на запад. Там у вас опять появится возможность проявить себя.

— Скрывать не буду, предложение заманчивое... Только мне уже поздновато бежать с родной земли, двадцать лет назад не пошел на это, а теперь и подавно нет смысла, — вздохнул Василий Иванович, притворно погрустил с минуту и закончил с лихостью отпетой головушки: — Все равно помирать скоро, так пусть уж это случится на родной земле!

Ничего фальшивого не уловил фон Зигель ни в словах, ни в голосе начальника полиции и проникся к нему еще большим доверием, даже сочувствием. Но тут пан Шапочник чуть все не испортил:

— А вот вам, господин майор, зачем зря судьбу испытывать? Много наслышан, что ваш папаша большие связи имеет, вот и использовать бы их...

Фон Зигель немедленно выпрямился в кресле, глаза его сверкнули из-под очков по-прежнему леденяще-холодно, и он не сказал — отчеканил:

— Фон Зигели — потомственные солдаты, наша профессия — умирать за родину. И ни один из нас и никогда не бегал с поля боя, с того поста, куда его назначали!

Василий Иванович понял, что здорово промазал, что сейчас возможен любой поворот разговора, и подобрался на стуле, вновь стал глуповатым, но верным служакой.

Однако все обошлось. Немного поостыв, Зигель сказал, любуясь собой:

— Я не сержусь на вас, вы не могли знать, что верность присяге — в крови у нас. — Помолчал и добавил: — Думаете, те двое, как крысы, хотят убежать с корабля?.. Разве не в наших силах помешать им?

Василий Иванович понимающе на мгновение склонил голову, прикрыл глаза.

И еще с час они просидели вдвоем, разговаривая о самом разном. Вернее — фон Зигель спрашивал, а Василий Иванович отвечал. Наконец иссякли вопросы о том, почему местное насе-

ление так враждебно относится к своему сугубо национальному правительству, правда ли, что в Сибири зимой лютейшие морозы и на сотни километров нет человеческого жилья, да знает ли господин Шапочник о том, что Сталин в августе этого года наконец-то посетил войска, и как он, господин Шапочник, это расценивает. Василий Иванович, внутренне напрягшись, сказал главное, с чего и намеревался начать сегодняшний разговор:

— Осмелюсь доложить, господин майор, отряд Черного основательно потрепан какой-то партизанской бандой. Лишь несколько человек уцелело.

Фон Зигель промолчал, словно это известие его нисколечко не взволновало.

— Если дозволите, я лично докопаюсь до причин случившегося?

И опять фон Зигель ничего не ответил. Только встал, вышел из-за стола и остановился у окна. Грузовик по-прежнему торчал посреди лужи. Но теперь около него не было и шофера.

А Василий Иванович, воспользовавшись моментом, выскользнул за дверь, осторожно, боясь случайного скрипа, прикрыл ее за собой. Затo по коридору комендатуры и мимо дежурного не прошел, а протопал. И по улице Степанкова вышагивал так, что любому было ясно — подлинный хозяин шествует!

Войдя в свой кабинет, немедленно вызвал Генку и, прищурившись, долго смотрел на него. Так долго, что тот не выдержал, сказал слезно, словно заканючил:

— Ей-богу, чтобы мне провалиться на этом месте, если я к тому делу причастен!

Василий Иванович ни о чем не спросил, он по-прежнему только смотрел пронизывающе, и поэтому Генка продолжил:

— Пан Золотарь самолично приказал запрячь кобылу, ну и отправил этого святошу!

Значит, пан Власик ускользнул сегодня...

Но нельзя выказывать чрезмерной заинтересованности паном Власиком, никак нельзя. И Василий Иванович сказал, многозначительно постукивая пальцем по столу:

— Еще одно такое твое упущение, еще только раз случится такое, о чем я узнаю позже других, — на себя пеняй... Особо следи за тем, чтобы кто не удрал. Ликвидируешь такого — никто не осудит. Да и у меня защиту найдешь.

Нарочно не стал уточнять, кого имел в виду. Чтобы Генка поломал голову, чтобы, если нужда прижмет, всегда можно было удивиться и сказать: «Да разве я этого человека имел в виду?»

Василий Иванович встал, потянулся и сказал нарочито расслабленно, даже несколько томно:

— Что-то день сегодня тяжелый выдался, пойду-ка отдохну.

Генка услужливо распахнул перед ним двери, проводил до крыльца и минуты три или даже больше стоял под дождем, глядя вслед своему начальнику и натужно думая над его словами.

Дома, отмахнувшись от Нюськи, которая сразу же заторопилась накормить его, Василий Иванович долго писал очередное донесение, стараясь избежать многословия и в то же время — не упустить чего важного. Написал о том, что, по слухам, в партизанской бригаде есть лазутчик Черного, что имеются сведения, будто в ближайшие дни в район прибудет еще один батальон венгров, прибудет специально для охраны от партизан крупных населенных пунктов.

Теперь можно было вроде бы и поставить последнюю точку, но он задумался: писать или нет о грузовике, оставшемся ночевать в луже под окнами комендатуры, о том, что от Зигеля теперь почти каждый день крепко попахивает водкой? Не мелочи ли это?

Подумав, решил, что нет, не мелочи, а факты, дающие возможность увидеть сегодняшнее нутро фашистской армии.

И снова резво побежало перо по бумаге.

Наконец поставив точку и внимательно прочитав написанное, он кликнул Ольгу и сказал ласково и в то же время властно и неумолимо требовательно:

— Передай по известным тебе каналам.

9

Стригаленок был на очередном задании, когда Каргин ударил по банде Черного. И очень жалел, что сам не поспел к концу того боя: хотелось лично убедиться в том, что Дмитро убит. Может, и Рашпиля постигла та же участь?

С месяц ждал, что вот-вот кто-нибудь станет разыскивать его. Но время шло, никто из старых знакомцев о себе не напоминал. И он опять уверовал в свое счастье. А уверовав, настолько осмелел, что сразу после праздника, когда выпили и за годовщину Октября, и за освобождение Киева, отпросился у Юрки будто бы на разведку и резво зашагал к знакомому хуторку, распаляя себя мыслью, что уж сегодня-то он натешится над этой сукой Галькой, покажет, припомнит ей, как недотрогу из себя корчить, когда пробу ставить некуда!

До хутора оставалось еще километра полтора, когда Стригаленок нос к носу столкнулся с Рашпилем.

— Здорово, Михась! — сказал Рашпиль обрадованно. — Вот встреча так встреча!

Вроде бы и радовался Рашпиль встрече, вроде бы и не было в его голосе ничего угрожающего, но Стригаленок зыркнул глазами по оголившемуся лесу, убедился, что за ближайшими деревьями никто не прячется.

— Никак, боишься меня? — удивился Рашпиль. — Да если бы я хотел тебя угрохать, то неужто не мог из автомата пальнуть? Я ведь тебя еще вон где засек!

И Стригаленок окончательно успокоился. Даже руку подал, даже спросил с притворным участием:

— Много ваших-то полегло?

— И не говори, Михась, в копеечку нам та пьяночка вскочила: только пятнадцать из шестидесяти двух и уцелело... Да и у вас, поди, потери немалые?

— Один убитый и семеро раненых, — не без гордости ответил Стригаленок.

— Ишь ты, как дешево, — покачал головой Рашпиль. — А мы своих раненых не считали, на кой ляд они нам сдались?

О раненых было сказано с таким искренним равнодушием, что мурашки пробежали по спине Стригаленка.

Но к нему Рашпиль относился вроде бы нормально, и разговор потек обыденно, как бывает у знакомых, встретившихся после долгой разлуки, которая и тому, и другому не была в тягость. Разговаривали и шли рядком. Не спеша и не к хуторку, а в сторону от него. Стригаленок считал, что провожает Рашпиля.

А на земле лежал первый снежок. Он высвечивал лес, хранил на себе следы и птицы, спустившейся с дерева на землю, и молодого зайчишки, для которого снег был еще пугающим чудом, и двух людей, шагавших степенно, словно прогуливаясь.

Стригаленку следовало бы давно остановиться и сказать: проводил тебя — и хватит, но он все шел и шел. Рашпиль, словно исповедуясь, вдруг начал выкладывать самое сокровенное и о себе, и о всех прочих, кто входил в банду. Так много интересного и важного порассказал, что Стригаленок уже прикидывал, кому бы и как все это продать. Юрке, Каргину или прямо бригадному начальству?

А тропиночка, по которой они шли, тем временем сузилась, шагать рядом стало уже невозможно. И Рашпиль пропустил Стригаленка вперед. Будто из уважения.

У кромки незамерзающего болота Стригаленок остановился и сказал:

— Проводил тебя — и хватит, у меня и личные дела есть.

И тут автомат Рашпиля чуть качнулся и угрожающе нацелился Стригаленку в живот.

— Может, все же проводишь меня вон до того островка?

До островка — метров сто. Будь сейчас лето, а не ноябрь, — и то брести до него удовольствие ниже среднего.

— А что я там забыл? — стараясь не выдать подступившего страха, огрызнулся Стригаленок. — У меня ноги не казенные, чтобы совать их в ледяную воду!

— Ничего плохого с твоим здоровьем не случится, если и промочишь их малость. Я-то ведь тоже с тобой пойду. На шаг сзади.

Если бы не автомат в руках Рашпиля...

— Да незачем мне туда идти!

— Объяснишься с ребятами, скажешь им, что в налете на нас не участвовал. О твоем же благе пекусь. Знаешь ведь, какие они нервные? Чтобы кто из них злобы на тебя не держал, не

продырявил пулей твою такую умную голову. Для этого надо идти.

Слова Рашпиля не убеждали, зато автомат...

— Тут ни тропочки, ни вешки...

— Держи направление на ту корягу, а от нее чуть влево возьмешь.

Холоднущая вода с первых шагов залилась за голенища сапог, болотная грязь противно чавкает при каждом движении. А до той коряги метров тридцать... Может, там удастся обмануть Рашпиля? Дескать, лучше ты иди вперед, показывай дорогу. Если повезет, если случится такое...

У коряги Стригаленок попытался остановиться, но автомат Рашпиля сразу же уперся ему в спину.

— Теперь на два шага левее бери! — словно выругался Рашпиль.

Чтобы убежать от холода, исходившего от автомата Рашпиля, Стригаленок сделал несколько торопливых шагов и сразу провалился по пояс. Рванулся, хотел вернуться на ту же тропочку, с которой оступился, но трясина держала крепко, засасывала. Тогда он оглянулся на Рашпиля, попросил:

— Помоги. Я, кажется, в «окно» попал.

Рашпиль не ответил. Он сел на корягу, мимо которой так недавно прошел Стригаленок. Спокойно сидел и смотрел на него ненавидящими глазами. И Стригаленок понял, что не случайно попал в трясину, что потому так и разоткровенничался Рашпиль, что заранее знал, чем закончится эта прогулка. Теперь, казалось, терять стало нечего, и Стригаленок оттянул затвор автомата, сказал как только мог решительно:

— Спасай или стегану очередью!

— Не стеганешь, не посмеешь, — усмехнулся Рашпиль и полез в карман за кисетом. — Какой тебе резон убивать меня? Убьешь меня — сам непременно утонешь в этой грязюке... А я, может быть, еще и спасу. В самый последний момент, когда натешусь твоим страхом, тогда и спасу... Ты лучше брось автомат: он — лишняя тяжесть, сейчас он твою жизнь заметно укорачивает. — Рашпиль прикурил от зажигалки, сделал несколько спокойных и глубоких затяжек и опять заговорил: — Чего медлишь-то? Глянь, уже почти по грудь увяз, а все за автомат цепляешься. Я ведь боюсь его, я ведь и не подумаю спасать тебя, пока его не бросишь.

И опять в словах Рашпиля была правда: он единственный, кто еще способен спасти его, Стригаленка. Может, и действительно спасет, если бросить автомат?..

Пальцы разжались сами, и, булькнув, автомат исчез под водой.

— Спасай же, — только и смог сказать Стригаленок, с мольбой глядя на Рашпиля.

— Кого? Тебя? И не подумаю, — ответил тот, усаживаясь поудобнее. — Это друга еще можно спасать, если он тебе нужен.

Или даже просто человека, который пользу тебе принесет. А ты разве человек? Или друг мне? Падло ты, а не человек, вот ты кто!.. А вот Дмитро был человек. Три побега из тюряги совершил, две «вышки» имел, а ведь жил, пока не спутался с тобой, пока не поверил тебе!.. Ты небось до этого своего смертного часа и не знал, что ты за шматок сала кого угодно продашь? А ведь ты именно такой, дешевый... Ну да ладно, прощевай, умная голова. Что-то сиверко задувать начал, как бы мне простуду не подцепить.

И он встал, щелчком метнул окурок в лицо Стригаленка. Не попал и, матюкнувшись, осторожно пошел к твердой земле.

10

— Командир, ты знаешь, я не трепач. И вот я — не знаю в какой уже раз — докладываю тебе официально: нет подходов к этой проклятой водонапорной башне! — теряя терпение, чуть повысил голос сержант Устюгов и оглянулся на товарищей, призывая их подтвердить его слова; те согласно закивали.

Григорий не ответил, он только еще больше сжался в своем рваном полушубке и будто окостенел в неподвижности.

Да и что он мог такое сказать, чтобы не просто возразить Устюгову, а весомо, начисто опровергнуть его выводы? Григорий в «рельсовой войне» участвовал, можно сказать, с первого ее дня, собственными глазами и не счесть, сколько раз видел не только бункера, вросшие в землю почти через каждые пять километров железнодорожного полотна, не только заминированные завалы из деревьев, завалы вдоль всей насыпи, но и непрерывное патрулирование фашистских солдат, полицаев и даже местных жителей. Из многих источников он знал, что местные в патрулях — своеобразные заложники; своими жизнями они отвечали, если поезд летел под откос на их участке.

Конечно, и в августе, когда началась операция «Рельсовая война», гитлеровцы охраняли дорогу. И завалами из деревьев ее от леса отгораживали, и из бункеров ночами в темное небо цветастыми ракетами пуляли, и по насыпи патрулировали, вглядываясь в рельсы, чуть не под каждую шпалу заглянуть пытались. Но разве сравнишь ту охрану, давнишнюю, с теперешней? Небо и земля!

И все равно командование задания для того и дает, чтобы они выполнялись!

А у Григория сейчас задание особое, ему сейчас приказано не просто рельсы взорвать на таком-то километре, а проникнуть на узловую станцию и взрывом разрушить водонапорную башню. Чтобы паровозы не могли здесь заправляться водой. Что даст уничтожение водопровода, это и малому ребенку должно быть ясно.

Да и личная гордость отступить не позволяла: прошагать по заснеженным лесам и болотам более двухсот километров, почти

неделю в лютые декабрьские морозы, когда здоровенные ели от холода жалобно потрескивали, крыши над головой не иметь — и для чего? Чтобы только взглянуть — да и то издали — на ту проклятую водонапорную башню, которую взорвать приказано?

Не мог Григорий примириться с таким решением, все его нутро восстало против этого, вот и сидел он в одиночестве, мысленно не раз повторив слова одного из преподавателей, лекции которого год назад слушал на курсах командиров-подрывников:

— Спокойствие, спокойствие и еще раз спокойствие — наиглавнейшие качества любого подрывника. Нет этих качеств — нет и его. Или скоро не будет. А если к этому приплюсовать еще и думающую голову, то вовсе цены не будет тому специалисту.

Короче говоря, хорошая злость взяла Григория за горло. Но одновременно с ней жила и гордость: вон какого страха на гитлеровцев нагнали своими частыми диверсиями!

И еще сутки — уже пятые — подрывники Григория просидели в лесочке, греясь только надеждой на то, что, может быть, даже завтра командир даст приказ на отход. Всем казалось, что дело шло только к этому: и фашисты охраны не ослабляли, и командир вроде бы ничего особенного не делал, чтобы задание выполнить, а просто, сжавшись до предела, сидел под разлапистой елью и весь серый день смотрел на дорогу, по которой к станции шли патрульные из местных жителей. Раз в сутки, под вечер, шли. Обязательно восемь человек. Словно на смерть приговоренных.

Наконец Григорий встал, немного помахал руками, чтобы согреться, и, подозвав товарищей, сказал им, глядя только на Устюгова, даже задорно подмигнув ему:

— Чего носы повесили? Мороз допекает? Так ведь сегодня он едва за двадцать, можно сказать, оттепель. — И сразу серьезно, без намека на шутливость: — Скоро мужики на станцию пойдут. Которые в патруль выделены. Их думаю задержать здесь, а под их видом самим на станции появиться. Как мыслите?

Предложение Григория встретили долгим молчанием: все понимали, что те, которые пойдут на станцию вместо мужиков, запросто могут погибнуть. И задание командования обязательно выполнить надо...

— Нужны восемь добровольцев, — выждав немного, предложил Григорий.

Ох, как мучительно долго никто не откликается на его призыв! Конечно, если бы личным примером воодушевить... Но он, командир, не имеет права на это. Сегодня не имеет: если восемь добровольцев погибнут, не выполнив того, что на них возложено, он вновь предпримет попытку взорвать ту водонапорную башню. До тех пор будет повторять попытки, пока не уничтожит ее. Даже если от всей группы один останется...

После раздумья, показавшегося Григорию бесконечно долгим, все его подрывники вызвались в добровольцы. И тогда он, ворча, мол, нечего дурочку ломать, нечего всем в добровольцы наби-

ваться, когда только восемь надо, отобрал тех, в кого больше верил, кто убедительнее мог сойти за простого мужика.

Восемь мужиков словно нисколько не удивились, когда их окружили неизвестные, погнали к лесу. Казалось, и особой радости не испытали, увидев Григория, шапку которого наискось пересекала красная лента. Они просто стояли перед ним, угрюмо насупившись, и вроде бы покорно ждали того, что уготовлено им. Но сразу ожили, едва Григорий сказал, что на сутки или даже двое задержит их здесь, что сегодня вместо них патрулировать будут его люди.

Сначала обрадовались, а потом тот из них, у которого была сивая борода, закрывавшая почти всю грудь, сказал, что такое никак невозможно: его, старшего над этими мужиками, фашистское начальство в лицо знает, его обязательно вызовут для подробного инструктажа.

Под корень вроде бы срубил задумку Григория, помолчал и все же выдавил из себя с большой неохотой в голосе:

— Вот если бы человек трех или четырех подменить...

Заманчивое, прямо скажем, соблазнительное предложение... Ну почему на войне всегда так мало времени для принятия решения?!

— Не верите, что мы своим быстрейшей победы желаем?

Эта реплика старика обрубила сомнения, и Григорий из восьми добровольцев быстро отобрал трех, а потом, подумав, старшим над ними назначил сержанта Устюгова: исполнителен, с головой и здорово старается оправдать свое воинское звание.

О том, что лучше всего заложить взрывчатку с часовым взрывателем, было говорено ранее, и Григорий проворчал:

— Чего время базарите? Идите, черти!

Восемь человек торопливо зашагали к станции, чтобы даже малым опозданием не вызвать недовольства фашистов. По тому, как незнакомые мужики сразу и сами смешались с его подрывниками, как бы взяли их под свою охрану, Григорий понял, что принял правильное решение. И поверил в удачу.

Сержант Устюгов еще с седьмого класса решил, что обязательно станет командиром Советской Армии. Окончил девять классов и сразу же подал заявление о приеме в военное училище. Даже прошел медицинскую и мандатную комиссии, даже к экзаменам был допущен. Но провалился на математике. Конечно, огорчился. Однако вывод сделал правильный: сам виноват, и нечего все валить на счастье, дескать, это оно подсунуло билет именно с теми вопросами, которые он знал хуже всего. Поэтому в армии, когда его призвали на действительную службу, немного оглядевшись и освоившись, засел за учебники, проштудировал их от корки до корки, хотя армейская служба свободным временем и не баловала.

Весной 1941 года с разрешения командования вновь подал заявление о приеме в военное училище. В то же самое, в Ленинградское артиллерийское. Был уверен, что уж теперь-то не срежется, о чем бы ни спрашивали экзаменаторы, но началась война. Чуть ли не после первого боя их полк попал в окружение, из которого выскользнули только одиночки. Вот и побрел сержант Устюгов на восток, побрел в полном одиночестве. Потом наткнулся на группу солдат, именовавших себя партизанами...

За что и сегодня ругал себя — ведь почти сразу понял, что не те они, за кого выдают себя, а уйти в неизвестность — на это смелости не хватило. Так и болтался с ними, пока фашисты не нагрянули.

Зато в отряде Каргина опять человеком себя почувствовал: и дисциплина, и спайка бойцов, и активные боевые действия сердце радовали. Одно огорчало: ему командование ни одного ответственного задания не поручало. А ведь так хотелось (даже необходимо было) доказать всем (и особенно себе), что не зря и сейчас живет в нем мечта детства. Поэтому, шагая с мужиками к станционному поселку, Андрей Устюгов был внутренне собран, видел и запоминал все, что попадалось на глаза. Прежде всего отметил: пути станции забиты эшелонами. Началась какая-то переброска фашистских сил или транспортники саботируют? Увидел на платформах и вереницу фашистских танков — покореженных снарядами, опаленных огнем. Понял: этим одна дорога — в Германию на капитальный ремонт или даже в переплавку.

Обрадоваться увиденному не успел: дорога вдруг вильнула, и — вот он, брус шлагбаума, перегородивший ее; около него, нахохлившись, топтались два полицая.

Интересно, будут обыскивать или нет? Хотя мужики и заверили, что их на станцию пропускают запросто, чем черт не шутит?

И он коснулся рукой кармана — тут ли аусвайс, вроде бы толково изготовленный бригадным умельцем. Но старик, возглавлявший их цепочку, свернул с дороги на тропочку. Полицаи будто не заметили этого, и Устюгов понял, что тропочка — своеобразный служебный проход, пользоваться которым разрешено и патрульным из местных.

Дальше все произошло тоже так, как и предсказывал старик: жандармы, стоявшие пикетом на привокзальной площади, их пропустили, скользнув по ним глазами словно по пустому месту; потом короткий инструктаж, и они, миновав станционное здание, где было полно солдат, вышли к путям.

Здесь, когда рядом никого из чужих не было, старик спросил:

— Теперь что от нас требуется?

Григорий во время разговора с мужиками и словом не обмолвился о том, зачем его людям надо проникнуть на станцию;

наверняка из осторожности умолчал об этом. Устюгов решил придерживаться этой же тактики:

— Теперь мы сами.

— Барину виднее... Наш участок — от того семафора. — Старик кивнул на запад. — На пять километров тянется. А кончаем мы свой дозор завтра. Точнехонько в это время.

Устюгову почудилось, что за этой вроде бы обыкновенной информацией кроется самая вульгарная боязнь за свою жизнь, и пытливо взглянул на старика, чтобы в его глазах прочесть недосказанное. Однако тот уже повернулся к нему спиной и неторопливо зашагал вдоль рельсов к семафору.

Остались подрывники одни на станционных путях. Устюгов прежде всего подумал о том, что здесь болтаться без дела — привлечь к себе внимание фашистов. Он стрельнул глазами по сторонам. И сразу увидел двух солдат, которые, положив руки на автоматы, висевшие у них на груди, шли в их сторону; эти, казалось, уже зацепились за них глазами. Зато почти рядом был осмотрщик вагонов. Он молотком с длинной ручкой равнодушно бил по колесам. И водонапорная башня метрах в пятидесяти... Похоже, даже не охраняется...

Вспомнилось, что Григорий не раз поучал: «Чем ты увереннее себя держишь, чем ты нахальнее ведешь себя, тем больше тебе от гитлеровцев доверия».

И Устюгов крикнул осмотрщику вагонов:

— А ну, иди сюда!

Тот поколебался мгновение, но подошел.

— Ты этот вагон проверял? И не заметил, что дребезжит колесо? Во всяком случае, мне кажется, что дребезжит.

— Перекрестись, если кажется, — проворчал осмотрщик, но ударил молотком по указанному колесу.

Звук был звонкий, чистый, но Устюгов стоял на своем:

— Ну, убедился?

Фашистские солдаты вовсе рядом...

Осмотрщик вагонов, похоже, намеревался ответить грубостью, но, увидев фашистов, вдруг как-то иначе, проникновеннее, посмотрел на четырех мужиков, которые, хотя и были бородаты, по возрасту должны были служить в армии, и сказал неожиданное:

— Давай еще разок проверим. И этот, и соседние...

Когда солдаты вермахта поравнялись с вагоном, около него, ожесточенно споря, копошились пятеро русских. Они не испугались, они работали, и солдаты потеряли к ним интерес, прошли дальше. Даже не оглянулись. Поэтому и не видели, как два человека, поколдовав над замком, висевшим на двери водонапорной башни, сняли его, бесшумно скользнули внутрь башни и прикрыли за собой дверь.

11

С ноября 1943 года по февраль 1944 года бурно росли в Белоруссии партизанские соединения и отряды. Так бурно, что на 2 мая 1944 года в здешних лесах действовали уже 52 их бригады, один полк и 7 отдельных отрядов, имевших на вооружении не только винтовки и автоматы, но и орудия, минометы, станковые и ручные пулеметы и даже противотанковые ружья.

Бóльшая часть этого оружия была доставлена с Большой земли, но и сами партизаны к этому времени в боях с фашистами добыли тысячи винтовок, автоматов, пулеметов и миллионы патронов.

Огромная партизанская силища в те месяцы таилась в лесах и в болотах Белоруссии, постоянно тревожа фашистов налетами на малые гарнизоны и диверсиями на дорогах. Главное же — партизаны не только бились с врагом, но и вели непрерывную разведку. Настолько эффективную, что с 31 мая по 22 июня 1944 года ими было выявлено расположение 287 фашистских частей и соединений, 33 штаба, 900 гарнизонов, 985 километров оборонительных рубежей, 130 зенитно-артиллерийских батарей и 70 крупных складов.

За это же время партизанские разведчики установили и состав, и организацию 108 воинских частей фашистов, обнаружили 319 полевых почтовых станций, 30 аэродромов и 11 посадочных площадок, захватили и переправили в Генеральный штаб Советской Армии 105 оперативных документов.

Очень многие партизаны и по-разному вели разведку, столь нужную командованию Советской Армии. В числе этих многих был и Василий Иванович Мурашов. Он сообщал о новых воинских частях фашистов, появившихся в поле его зрения. А этих частей было предостаточно. И кадровых вермахта, и специальных, натасканных на борьбу с партизанами, заматеревших в грабежах и уничтожении гражданского населения, и батальонов союзников фашистов — венгров и чехословаков. Правда, венгры и чехи особой активности не проявляли, ни в погоню за партизанами, ни в бой с ними не рвались.

Обо всех этих частях, спецкомандах и формированиях Василий Иванович через Ольгу сообщал в штаб бригады. Вот и сбился с ног, позабыл, что такое за штука нормальный сон, добывая все эти сведения. Да и Ольгу загонял до изнеможения.

Конечно, все было бы куда проще, если бы он накапливал сведения, а не передавал их по крупицам. Только кто знает, когда следующая «крупица» появится? Не устареет ли к тому времени безнадежно то, что сегодня в самый раз?

Вот и сегодня утром Василий Иванович уже отправил донесение, а сейчас, вечером, впору опять прибегнуть к помощи Ольги: с час назад в доверительной беседе Зигель проговорился,

что скоро в Белоруссии в борьбе с партизанами будет участвовать уже триста восемьдесят тысяч солдат вермахта.

Триста восемьдесят тысяч вражеских солдат! Это же куда больше, чем армия! И все эти многие тысячи вражеских солдат нужны лишь для того, чтобы противостоять партизанам! Чтобы не дать им возможности и вовсе овладеть этим краем!

Интересно, а сколько же здесь сейчас партизан, если против них фашисты такие силы бросают?

Очень часто Василий Иванович мысленно задавал себе этот вопрос. И не находил на него ответа. Но он точно знал, что партизан здесь очень много, что они повсюду и с каждым днем становятся все активнее.

Чем активнее становились партизаны, тем более тревожился он, начальник местной полиции: наскочат на Степанково такие товарищи, которые о его истинном лице понятия не имеют, считай, что оборвалась твоя жизненная тропочка. А от пули или веревки — разве не все равно? Самое же горькое — свои как предателя жизни лишат, за какие-то считанные дни до победы...

Стыдился этих мыслей, гнал их от себя прочь, но они снова и снова лезли в голову. Особенно длинными зимними ночами, когда злой ветер подвывал в печной трубе, швырял в окна пригоршни колючего снега.

Хотя это и мало помогало, Василий Иванович успокаивал себя тем, что авось налет на Степанково совершат партизаны именно той бригады, с командованием которой он все эти месяцы поддерживал непрерывную связь.

Зато на душе у Мыколы было спокойно. Теперь он и сам удивлялся тому, что еще недавно боялся почти всего, старался быть в стороне от шумящих, чем-то недовольных людей; теперь он, почувствовав в себе силу, частенько и добросовестно чистил свой автомат. Не от нечего делать, а по необходимости.

Единственное, за что его иногда поругивал Юрка, — вовсе неожиданно для всех у Мыколы обнаружилась чрезмерная лихость, этакое пренебрежение к врагу вообще и к полицаям в особенности.

Может быть, Юрка все же дошел бы и до серьезной беседы с Мыколой, но тот однажды сказал:

— Понимаешь, Юрок, мне для будущей жизни утвердиться во как надобно. — И он провел ребром ладони по горлу. — Вот и проверяюсь... А что касается тех, от которых мертвечиной воняет... Они сейчас до смерти перепуганы. Они сейчас уже не столько нас выслеживают, сколько хоть малюсенькую зацепочку ищут, чтобы ухватиться за нее двумя руками и всеми зубами, когда наша власть сюда полностью возвернется. Неужто уже забыл про Птаху? Про то, что он молол?

Нет, Юрка не забыл про Птаху, отлично помнил все, что он без какого-либо понукания выложил. И про то не забывал, что Птаха был нарочно посажен фашистами в эту богатую деревню, чтобы лаской и гостеприимством партизан к себе приманивать.

Единственное, во что Юрка не верил, — в то, что будто бы со страха, с перепугу Птаха вместо огорода полицая на соседский указал. Но особого значения этой лжи не придавал, посчитал мелочью.

И еще Птаха сразу же заявил, что ничего не пожалеет, чтобы доверие Советской власти снова заслужить.

Все это помнил Юрка, в глубине души и сам считал, что только таким сейчас и должен быть ход мыслей у каждой сволочи, потому и ограничивался полудружескими замечаниями Мыколе, лишь предупреждал, чтобы не особенно доверял Птахе.

И Мыкола по-прежнему ходил на задания. Возвращался всегда в положенное время и с такими сведениями, что кое-кто только поражался его удачливости, везучести.

Пять раз за эту зиму Мыкола ходил в дальнюю разведку. Бывало, только вернется, еще отоспаться как следует не успеет, а из штаба бригады уже справляются, как там Мыкола, здоров ли?

Получив новое задание, Мыкола обычно не философствовал, не пытался докопаться до того, кому да зачем это понадобилось, он просто поспешно собирался в дальнюю дорогу и уходил из партизанского лагеря обязательно перед рассветом, положив руки на вороненый автомат. Неизменно с автоматом уходил. А потом прятал его в свой личный тайник и дальше по деревням брел уже под видом затурканного жизнью и глуповатого мужичонки. Лишь потом, когда задание оказывалось выполненным, он неизменно подворачивал к своему тайнику и, вновь положив руки на автомат, разрешал себе некоторое отклонение от прямого пути в партизанский лагерь, будто бы специально и не искал, но все равно находил какого-нибудь фашиста или ярого прислужника нового порядка.

Вот и сегодня, еще раз счастливо испытав свою судьбу в долгом странствии по деревням, над которыми властвовали фашисты, Мыкола вернулся к тайнику, достал автомат и, немного подумав, решительно зашагал к Птахе, чтобы, как он уверял себя, хоть чуть-чуть вздремнуть и дать отдых ногам, гудевшим от усталости; на самом же деле — слова Юрки зародили некоторые сомнения, вот и захотелось еще раз встретиться с Птахой, поговорить с ним, попытаться поглубже проникнуть в его душу, чтобы добраться до того потаенного, что пряталось за ласковыми, вроде бы сердечными словами.

Как и намеревался, еще засветло спокойно вошел в знакомую улицу деревни и, не таясь, направился к дому старосты, обил валенки о ступеньку крыльца.

Птаха — уже который раз! — встретил его радушно, шумнул на жену, недавно вернувшуюся от дочки, и скоро на столе появились и еда, правда, не бог весть какая, и бутылка самогона. Обычно Мыкола не отказывался от предлагаемой ему чарки, но сегодня, оказавшись в тепле и среди радушных людей, он вдруг почувствовал, что сейчас хочется только спать, спать долго и

без сновидений, и поэтому, наскоро сжевав здоровый ломоть хлеба с салом, от выпивки наотрез отказался, встал из-за стола.

— Перед зорькой растуркай меня, — вот и все, что в этот раз сказал он Птахе.

Тот поспешно заверил, что будет исполнено, дескать, не сомневайся, и торопливо влез в кожух, нахлобучил на голову какой-то рваный-прерваный малахай. Словно в дальнюю дорогу собрался, хотя Мыкола всегда прятался на сеновале, тут же, во дворе. Заметил это Мыкола, но ни словом, ни взглядом не выдал своего удивления.

На дворе, когда до лестницы, которая вела на сеновал, оставалось лишь несколько шагов, Птаха вдруг сказал:

— Слышь, Мыкола, а я тут новый тайник для тебя оборудовал, может, туда пойдем? Есть пустующая хата, на самой околице, до леса — рукой подать... С самой осени пустует, вот я и оборудовал ее для таких тайных гостей, как ты...

Хата, стоящая вблизи леса, — что может быть лучше? Но усталость была столь велика, что Мыкола только и сказал, поднимаясь по лестнице на сеновал:

— Завтра взгляну на нее, завтра...

Зарылся в сено, даже запахов его дурманящих не почувствовал, и сразу будто в какую-то бездонную ямину ухнул.

Проснулся внезапно и сам не зная от чего. Еще ничего не понимая, схватил автомат, вслушался в обступившую его тишину. Потом, стараясь двигаться бесшумно, подполз к скату крыши, осторожно выдернул щепочку, которой была замаскирована щель — его смотровое окошечко, которое на всякий случай подготовил еще в ту ночь, когда впервые осмелился заночевать здесь.

Луна оловянной тарелкой висела на небе, заливая мертвящим светом пятачок двора, и Мыкола отчетливо увидел семь полицаев, стоящих кучкой и глядевших на сеновал, где он прятался. С ними был Птаха, тихо говоривший что-то. Мыкола понял: случилось то самое, неотвратимое, о чем не раз предупреждал Юрка. Понял — страшно обозлился на себя за то, что доверился Птахе, своевременно не разгадал его поганого нутра; последними словами обругал себя и за то, что вчера не придал значения его словам о хате, стоявшей будто бы где-то у околицы; даже понял, что хата была предложена исключительно для того, чтобы уберечь хозяйство Птахи от неизбежного убытка, который возникает от любой перестрелки.

Пришла в голову догадка, что Птаха дорожит своим хозяйством, — даже обрадовался и похлопал рукой по карману: не потерял ли случайно, тут ли кресало?

Оно оказалось на месте. И тогда он успокоился, деловито и бесшумно просунул в щель ствол автомата. И стал ждать. Чего? Может быть, все же ошибся, так плохо подумав о Птахе? Мо-

жет быть, Птаха потому здесь с этими полицаями и торчит, чтобы отвести смерть от него, Мыколы?

Но начальственные жесты Птахи и то, что полицаи крадучись стали приближаться к коровнику, над которым и был сеновал, уничтожили последние сомнения. Мыкола понял, что единственная радость, какую ему еще дозволено испытать, — постараться убить как можно больше этих оборотней. И в первую очередь — Птаху.

Хотя — почему именно Птаху?

Конечно, Птаха такой, что при первом выстреле наверняка за дом спрячется, вроде бы — убежит от смерти. Однако народ все видит, от него подлости своей не спрячешь. Вот и получается, что так и так этой сволочи ответ держать придется. По всей строгости человеческих законов.

Все это промелькнуло в голове Мыколы, и он уже спокойно, словно чувствовал за собой силу, сказал громко, как только один из полицаев коснулся рукой лестницы, которая вела на сеновал:

— А ведь я не сплю.

Сказал это и лишь тогда стеганул длинной очередью сначала по дальним полицаям, потом по тому, который мгновение назад подкрадывался к нему.

— Слава богу, не промазал! — прошептал Мыкола.

Уцелевшие полицаи и Птаха, как он и предполагал, моментально метнулись за угол дома. И теперь только два неподвижных тела чернели на опустевшем дворе.

Потом, когда затянувшаяся пауза стала и вовсе нестерпимой для Мыколы, из-за угла дома Птаха не прокричал — пропел голосом, сулящим всяческие блага:

— Слышь, Мыкола, а ты бы сдался, а? Крестом святым клянусь, все мы будем свидетельствовать господам немцам, что ты сам, добровольно и без принуждения нам свою повинную голову принес, в грехах своих покаялся... Конечно, может и так случиться, что они тебя в лагерь отправят, но ведь жив останешься... Ты слышишь меня, Мыкола?

— Слышу.

— Тогда чего молчишь? Святым крестом клянемся...

— Мой ответ из-под того конца крыши вот-вот выглянет, — озорно ответил Мыкола, высекая искру.

Он уже твердо решил, что у него есть только один шанс на спасение: поджечь сеновал и попытаться воспользоваться сумятицей, порожденной пожаром; ведь коровник стоял под одной крышей с домом Птахи.

Как и предполагал, диким голосом взвыл Птаха, увидев густые клубы дыма и кровавые языки пламени, вдруг пронзившие крышу над сеновалом; усиливая общую панику, истошно запричитала жена старосты. Но стоило кому-то из усердствующих полицаев метнуться к сеновалу — автоматная очередь пришила его к снегу, порозовевшему от огня.

И тут Мыкола решил, что наступил самый подходящий для него момент, и прыгнул с сеновала, метнулся в огород, намереваясь через него вырваться к лесу.

Ни Птаха с женой, ни полицаи не заметили его прыжка с сеновала, и он благополучно сиганул в огород. И сразу упал, подвихнув ногу на одной из грядок, спрятавшихся под снегом. Понял, что не уйдет, вряд ли спасется, но встал, побрел к плетню.

Пока хромал через огород — его и заметили полицаи, завопили восторженно, забахали из карабинов. Одна из многих пуль и настигла его в тот момент, когда он уже перенес ногу через плетень.

12

Василий Иванович до войны учительствовал не один год, правда преподавал математику, но по простоте своей душевной считал, что знает и многое другое. Например, что в Белоруссии — климат мягкий. Конечно, мол, выпадают и там отдельные морозные деньки, но куда им до наших, до тех, что бывают на вятской земле!

Искренне так считал, и вдруг вот уже ровно неделю здесь стоит морозище: ночью чуть не за тридцать, а днем самую малость поменьше того. И невольно думалось: «А каково сейчас приходится партизанам? И вообще всем, кого фашисты накануне этого морозища лишили крыши над головой?»

А таких людей, у которых фашисты буквально недавно сожгли жилье, — не счесть. Причем столь жестокой каре подвергали за самую ничтожную вину, даже за видимость ее: за будто бы вялую работу по очистке тракта от снежных заносов; или к чему другому подобному придравшись. Но чаще за то, что взрослые дети исчезали из дома. И пусть хозяйка, не вытирая искренних слез, клянется, что сын (или дочь) ушел (ушла) в соседнюю деревню к родственникам, ушел (ушла) лишь за картофелем, что дня через два или три обязательно вернется, — пылающий факел под соломенную крышу, и весь ответ. А вообще-то, случится такое — еще будь благодарен: могли и всю семью расстрелять, объявив, что она партизанская.

Случалось, и просто так — даже без видимой вины хозяев — подпаливали какую-нибудь хату. «Чтобы погреться», — как, улыбаясь, ответил Василию Ивановичу один из его полицаев, когда он подошел к нему, поинтересовался причиной поджога хаты.

Услышал этот ответ — захотелось все пули из автомата всадить точнехонько в улыбающуюся рожу полицая. Но... пришлось ограничиться молчаливым пожатием плеч: не поймет, не примет этот ублюдок никаких доводов, только слух распустит о том, что пан Шапочник чрезмерно жалостлив к местному населению, каждый второй из которого — активный пособник партизан.

Сегодня по поводу безрассудного поджога жилищ местных

жителей попытался поговорить с Зигелем. Дескать, надо ли, допустимо ли сейчас просто так предавать огню чье-то жилье? Не будет ли это способствовать росту ненависти, то есть в интересах ли Великой Германии действуют некоторые из тех, кто идет на это?

Зигель равнодушно выслушал его, стоя спиной к печке, касаясь руками ее теплых кирпичей. И сказал буднично:

— В этой ужасной стране каждый развлекается в силу своих возможностей.

Что оставалось делать Василию Ивановичу? И, спросив на то разрешение, он выскользнул из кабинета коменданта. Когда проходил мимо дежурного по комендатуре, к нему присоединился Генка и зашагал за ним, стараясь держаться так же степенно, как и его начальник.

На улице, когда морозным воздухом чуть опалило щеки, Генка спросил, закрываясь от режущего ветра воротником полушубка:

— Теперь-то куда, пан начальник? Между прочим, всех дел не переделаешь, а спать и есть вовремя надо. И по потребности.

— Или я привязал тебя к себе? — беззлобно, вернее — устало огрызнулся Василий Иванович, вдруг почувствовавший, как он безмерно устал; и зашагал к своему дому, кухонное окно которого все еще светилось.

Генка проводил его почти до крыльца, здесь постоял, как бы передавая начальство под охрану дежурного полицая, и, едва начальник полиции поднялся на крыльцо, едва скрылся в доме, он торопливо зашагал по улице будто вымершей деревни, зашагал к дому Золотаря (по установившемуся порядку намеревался доложить ему обо всем, что делал и говорил пан начальник днем), но потом решил, что это успеется и завтра, и свернул к своей хате, где квартировал у дородной вдовы бывшего раскулаченного, загинувшего где-то в просторах России. Пусть непробиваемо глупа эта толстуха, пусть и на рожу здорово непривлекательна, зато послушна, угодлива — лучше не бывает. А не это ли сейчас, в это смутное время, когда не знаешь, проснешься ли завтра, настоящему мужчине надобно?

Дома, хотя внешне там все было по-прежнему, Василий Иванович сразу почувствовал, что Нюська и Ольга чем-то очень взволнованы или даже встревожены; по тем взглядам, какими обменивались они, понял это.

Просто удивительно, как две совершенно непохожие по характерам женщины сдружились за эти месяцы! Ведь Нюська, можно сказать, все в жизни повидала, через такое прошла, что другую, окажись она на ее месте, запросто сломать могло. А Ольга — еще совсем девчонка, которой в самую пору тайком от родителей на первые свидания бегать...

Правда, здесь, во вражеском тылу, она ведет себя осмотрительно, так свою роль толково ведет, что Золотарь однажды сказал:

— Хорошая у вас племянница. И скромница, и в чужие дела не лезет, и в бога верует... Почти ни одной церковной службы не пропустила, по любой погоде в храм божий за десять верст бегает.

Если бы знал Золотарь, зачем она туда бегает!

Но не знает — и слава богу, как говорится...

Как и предполагал Василий Иванович, стоило ему допить чай и свернуть «козью ножку», Ольга с Нюськой дружной парой уселись напротив него, переглянулись, и Нюська заговорила, понизив голос до шепота:

— Беда у нас, Василий Иванович...

Сказала это и замолчала, словно не зная, как поведать главное.

И немедленно в разговор вступила Ольга, так низко, так доверчиво склонившись над столом, что стал виден не только нательный крестик, но и чистая кромка лифчика:

— Понимаете, Василий Иванович, я не могла поступить иначе. Не могла!

— Обе мы не могли! — подала голос и Нюська.

И тут он взял разговор в свои руки:

— Лирику и все прочее — на потом. А сейчас — конкретно, сжато, что стряслось?

Прошло минут десять, и он уже знал, что один знакомый Ольги (даже сказала, что он вместе с ней на курсах учился) вдруг схватил воспаление легких. Температура у него под сорок, горячущий — страсть! Чтобы в бреду не раскрыть себя, он и ушел из той хаты, где скрывался. Она, Ольга, на него случайно натолкнулась. Вот (не погибать же товарищу на морозе?) незаметно и привела его в Степанково, пока — до решения Василия Ивановича — спрятала на сеновале у свояка деда Евдокима.

Волнуясь, рассказывала все это Ольга, а Нюська только пытливо смотрела на Василия Ивановича. А он сидел за столом, курил и думал. Прежде всего о том, что и сейчас Ольга еще не полностью открылась ему. Ишь, она случайно натолкнулась на своего товарища, с которым вместе на курсах училась! На каких курсах? Кройки и шитья? Где и когда натолкнулась? Да и случайно ли?

Чтобы утвердиться в своей догадке, он спросил:

— Когда в церковь шла или на обратном пути натолкнулась на него?

Ольга мгновенно разволновалась так, что даже шея у нее порозовела, и выпалила чуть не плача:

— А если не моя эта тайна? Что можно, я все рассказываю...

И Василий Иванович понял, что не одна Ольга действует в этих краях, что она, похоже, своеобразное кольцо, на которое замыкаются звенья неведомых ему цепочек; может быть, двух и даже более.

Понял и другое: сейчас одно из звеньев цепочки попало в беду, и вот Ольга, как могла, пришла ему на помощь.

С одной стороны, она не имела права на этот поступок, который может погубить и ее, и его, Василия Ивановича. Ну, если и не погубить, то породить ряд трудностей, которые придется преодолевать не день и не два, преодолевать огромным напряжением всех душевных и физических сил. Иными словами, Ольга поступила опрометчиво; опрометчиво — если говорить дипломатично...

С другой стороны... С другой стороны, все правильно: настоящий человек тем от подонка и отличается, что в первую очередь думает не о своей шкуре, не о своем благополучии!

И он сказал убежденно:

— Так тому и быть.

Только сказал — Ольга бросилась к нему, ткнулась лицом в его грудь и заплакала, причитая. Из всего, сказанного ею сквозь всхлипывания, понял одно: он, Василий Иванович, очень хороший, просто замечательный; она, Ольга, так и знала, что он поймет ее; он просто не имел права не понять!

Так искренне она благодарила, что Василий Иванович вдруг почувствовал, что, чего доброго, сам вот-вот слезу пустит, и он отстранил от себя Ольгу, сказал нарочно предельно сердито:

— А реветь сейчас и вовсе не к месту... О твоем проступке я соответствующему начальству доложу. — И добавил после продолжительной паузы, во время которой успел не только дотянуться до кисета, но и свернуть новую цигарку: — Конечно, если случай удобный подвернется.

Последняя фраза — явное свидетельство прощения.

А дальше разговор пошел и вовсе деловой. Оказалось, что Ольга не только спрятала от фашистов больного товарища, но и сообщила об этом кому-то, даже условилась с кем-то о том, что за ним приедут послезавтра ночью.

— Послезавтра? Ночью? — нахмурился Василий Иванович.

— Самой глухой ночью! — подтвердила Ольга, не понимая, почему у него вдруг испортилось настроение. — Вы своих полицаев ушлете...

— И почему все вы, девчонки, до ужаса просто смотрите на жизнь! — еще больше насупился Василий Иванович. — «Полицаев ушлете!..» Во-первых, всех я никак не ушлю. Во-вторых, оставшееся меньшинство и вовсе сон потеряет. В-третьих, а Зигеля и его свору ты вообще в грош не ставишь? Короче говоря, давай отбой. И передай, что явятся они лишь тогда, когда я позову. И куда — тоже мое решение будет.

Сказал это — словно отрубил, и ушел в свою горницу. Какое-то время было слышно, как он копошился там, не зажигая огня, потом скрипнула кровать, и все стихло.

Нюська и Ольга выждали некоторое время, стараясь не глядеть друг на друга: ведь им казалось, что они так хорошо все продумали...

Наконец Ольга спросила одними губами:

— Уснул?

— И вовсе ты не знаешь его, — тоже не шепотом, а шелестом ответила Нюська.

Василий Иванович действительно не спал, хотя сразу и лег на правый бок, хотя сразу и глаза закрыл. Он как бы заново выслушивал Ольгу, он искал единственную, наиболее безопасную тропку. Где она? Может быть, и вовсе рядом, а он пока не видит ее, и все тут...

И на парня того очень взглянуть хочется. Хотя бы одним глазочком...

Утром Василий Иванович встал как обычно, умылся, побрился, оделся в свое повседневное, дождался Генки, который каждое утро обязательно заходил за ним, и лишь тогда сказал, глядя на Ольгу:

— В воскресенье к самой ранней службе сам с тобой поеду.

Ольга все поняла правильно, а Генка онемел от изумления: пана Шапочника к богу потянуло?! К чему бы это? Смягчить свой характер пан начальник вознамерился или жестокость какую задумал? Говорят же люди, что пан Власик после каждого убитого по его приказу час поклоны бьет, вымаливает у бога прощение.

Генка давно пришел к выводу, что сейчас лучше всего быть полезным всем начальникам, поэтому, улучив момент, поделился своими мыслями с паном Золотарем. Тот долго и мучительно морщил лоб, потом все же сказал:

— Итак, пан Шапочник намерен один ехать в церковь. — Тут Золотарь посмотрел на Генку, убедился, что тот не смог разгадать его мыслей, довольно усмехнулся и снисходительно пояснил: — Пан Шапочник впервые куда-то собрался один. Будто бы — в церковь. А так ли это? Если нет, то зачем едет? Может, с кем-то тайно встретиться хочет? А где эта встреча может произойти? Только в самой деревне или в церкви. Отсюда и наша с тобой задача: заблаговременно самых верных людей и туда и туда подбросить, пусть они все видят, все примечают. А чтобы он ничего не заподозрил, избави бог его здесь, в Степанково, тревожить!

Как казалось Золотарю, он все предусмотрел, тонкие и прочные сети раскинул. И затаился, выжидая. Правда, погода и пан Шапочник несколько поломали первоначальные планы: с пятницы на субботу на смену морозу метель пожаловала, и Шапочник, чтобы ему удобнее ехать было, велел в воскресенье еще до света людей из Степанкова выгнать на очистку дороги от заносов. Не только велел, но и сам еще затемно в тех самых санях-розвальнях, которые по его приказу для него подготовлены были, по Степанкову ездил, почти у каждого двора останавливался или даже въезжал в него, чтобы крепким словом подстегнуть

замешкавшихся. Самое потешное — сани полны сена, а он с племянницей на самом краешке саней притулились!

Накричался в это утро Василий Иванович — чуть голос не сорвал. Поэтому, когда люди ушли на работу, он молча тронулся следом. И так медленно ехал, что народ уже к работе приступил, а его все не было, как доложили пану Золотарю те два полицая, которых он в этот наряд выделил.

Всю дорогу молча ехал Василий Иванович, только увидев людей, разгребавших снег, приказал:

— Заранее скажи, когда ваших увидишь.

— Они самыми крайними будут, — ответила Ольга, зябко спрятав подбородок в облезлый воротник шубейки.

Действительно, когда цепочка людей из Степанкова уже оборвалась, сразу же за поворотом дороги, где мохнатые лапы елей почти нависли над ней, копошились в снегу еще шесть человек — четыре мужика и две женщины. По внешнему виду — самые обыкновенные мужики и бабы. И работали они в том же темпе, что и все прочие, невидимые отсюда.

Хотелось перекинуться с ними хотя бы несколькими словами, но он понимал, что это недопустимо, что вообще каждая минута промедления может оказаться роковой и для него, и для Ольги, и для всех этих неизвестных и таких близких ему людей. И Василий Иванович только придержал лошадь, когда поравнялся с ними. Тотчас двое бородатых мужиков склонились над санями, а еще через несколько секунд один из них сказал:

— Спасибо.

Василий Иванович, даже не оглянувшись на голос, чмокнул губами, шевельнул вожжами, и лошадь послушно затрусила дальше. Но краешком глаза он все же заметил, что больного на каком-то подобии волокуши утянули в лес, что теперь уже только четыре человека работали на дороге, скидывая с нее снег на след волокуши.

Хотя и бывал Василий Иванович в этой деревне, но все равно какой уже раз подумал, что наши предки церкви ставили с большим умом — на самом видном месте, и такие, чтобы сразу глаз приманивали. Вот и эта стояла на небольшом взгорке, словно раздвинув или собрав вокруг себя березы, на закуржавевших ветках которых черными шапками торчали грачиные гнезда.

В самом центре деревни у коновязи остановился Василий Иванович. И сразу к нему подбежал местный староста, помог из саней выбраться, и даже лошади охапку сена бросил.

Василий Иванович ограничился благосклонным кивком.

— Мне можно идти, дядечка Опанас? — робко спросила Ольга.

— С богом.

И она присоединилась к трем местным женщинам, вместе с ними скрылась в черном проеме церковной двери. А пан Шапочник выждал несколько минут, сверля глазами кланяющихся

ему людей, потом степенно зашагал, но не к церкви, как предупреждали старосту, а к деревенскому кладбищу.

С чего его сюда потянуло? Оно не хуже и не лучше, чем во всех других деревнях...

Вдруг пан Шапочник так резко остановился, словно налетел на какое-то препятствие. Староста деревни чуть подался вперед, чтобы поскорее увидеть то, что остановило пана Шапочника, и окостенел от ужаса: на одной из пирамидок, которые вместо крестов стояли на трех могилах местных учительниц, убитых еще в день появления здесь фашистов, явственно просматривалась маленькая звездочка. Староста был готов поклясться чем угодно, что никогда раньше не видел ее, что не было ее здесь и месяцев шесть назад... Или летом березы своей листвой ту неокрашенную звездочку от глаз людских прятали?

Самое же главное, самое страшное — была она раньше или сегодняшней ночью появилась, — в строгом ответе один он, староста данной деревни. Вот и замер, боясь не только слово сказать, но и вздох настоящий сделать.

Однако пан Шапочник ничего не сказал. Лишь недобро покосился на старосту и без торопливости вернулся к саням, почти упал в них, разобрал вожжи и терпеливо дождался, пока староста непослушными пальцами отвязал лошадь. Без понуканий и тронул ее с места, повернул на дорогу, которая вела в Степанково.

Золотаря удивило столь раннее возвращение пана Шапочника, но еще больше то, что, бросив лошадь около полиции, он ушел домой и даже не выглянул оттуда. Любопытство так и подкалывало: дескать, зайди к нему и спроси, удачной ли была поездка, но он все же смог воздержаться от этого. За что не счесть сколько раз и воздал хвалу сам себе, когда прибыл первый гонец и выложил все о той треклятой звездочке, о безмолвной ярости, с какой пан начальник полиции глянул на старосту деревни; если верить гонцу, в такое негодование пришел пан Шапочник, что и в церковь не заглянул, что и племянницу свою, словом не предупредив, там бросил!

А потом и Генка подлил масла в огонь. Он заглянул в дверь (заходить в кабинет отказался, стервец!) и просипел от порога:

— Продашь — отопрусь! И такое про тебя выложу, что не возрадуешься!

Последние слова — то ли забывшись, то ли не совладав с собой — в полный голос сказал и исчез, будто и не было его вовсе.

Может, все же сходить к пану Шапочнику, так сказать, вызвать на разговор? А если свирепеть за звездочку станет, то прямо и ляпнуть: мол, это наше общее с вами упущение?

До ночи затянул Золотарь принятие решения, все взвешивал, что лично для него выгоднее. А тут и заявился пан Шапочник. Не к себе в кабинет, а к нему, Золотарю. Кожуха не расстегнул, шапки не снял, не присел, а просто остановился у стола. При-

шлось встать и ему, Золотарю. Тут и сказал пан Шапочник, сказал внятно, с достаточными паузами между словами:

— Вот что, друг ситный...

— Так шести, а не пятиугольная та звездочка была! — сунулся тут Золотарь, как казалось ему, с облегчающим объяснением.

— Значит, иудея вместе с православными, в одном ряду похоронили? — как-то нехорошо усмехнулся Шапочник. — То-то обрадуется пан Власик, когда поставлю его в известность об этом. — Тут он согнал усмешку с лица и врезал на полном серьезе, врезал с беспощадной злостью: — Слежку за мной установил? Интересуешься, куда и зачем начальник полиции ездит? Так вот, докладываю, пан Золотарь: к той самой звездочке ездил, чтобы собственными глазами проверить поступившие сведения. От кого поступившие? От племянницы. Или, думаешь, она просто так, от нечего делать, в церковь и прочие места шастала?.. А что ты по всей той деревне и в церкви полицейских понатыкал... Такого невежества в сыске я даже от тебя не ожидал!

Сказал это и вышел, хрястнув дверью.

13

Еще недавно излишне говорлив и даже шумлив был Григорий. Когда остепенился — этого Каргин не заметил. Теперь, казалось Каргину, поубавить бы Григорию еще и упрямства — вовсе что надо командиром группы стал бы; может быть, и выше. Но упрямство... Уж если что втемяшилось в его голову, никакими разумными доводами этого быстро не выбьешь. Взять, к примеру, те же Выселки. Ведь когда на них последний налет совершили? Еще в прошлом году! А Григорий все помнит те кучи хвороста, которые грудились перед бункерами полицаев, он все еще плачется на то, что тогда Каргин запретил ему задержаться там на одну ночку и лишил возможности предать огню вражескую ловушку. Изо дня в день долбил в одну точку, при каждом удобном случае то требовал, то канючил, дескать, разреши еще разок туда наведаться. И вчера Каргин вроде бы сдался:

— Черт с тобой, иди! Но если людей своих угробишь...

Он не сказал, что будет тогда, но Григорий и сам прекрасно знал, что подобные ошибки в бригаде не прощаются. Он только спросил:

— Как считаешь, всей моей группе идти? С одной стороны, так поступить следует, с другой...

— Хоть с той, хоть с этой — одинаково хреново получается! — перебил его Каргин. — Велика ли вся твоя группа? Двенадцать душ! Подумаешь, сила! Да ее, если хочешь знать...

Он не докончил свою мысль, словно поперхнулся словами, которые чуть не сорвались с языка; жадно сделал несколько

глубоких затяжек, прикрыв глаза то ли от едкого дыма самосада, то ли для того, чтобы не выдать своих тайных мыслей. Помолчал и добавил:

— Возьмешь половину своих, да я человек двадцать в помощь дам — вот и ладно будет.

Теперь, когда долгожданное разрешение было получено, на Григория снизошло умиротворение, он вроде бы даже осудил себя за недавнюю настырность, вроде бы даже на попятный пошел:

— Ты, Иван, если я зарываюсь, не потакай мне, считаешь дело гиблым — так и скажи, не виляй.

Мария, которая во время этого разговора тихой мышкой сновала около топившейся печи, сразу же заметила, как окаменело лицо Каргина, как злые желваки заходили по его скулам, и подошла к нему, обняла со спины, навалившись на него, сидящего, всем своим горячим телом.

— Гриша, разве ты его не знаешь? Когда это было такое, чтобы он людей на гиблое дело занаряжал?

Понял Григорий, что сказанул вовсе не то, что надо было, и рад был этой подмоге, благодарно взглянул на Марию. Каргин заметил этот взгляд, какое-то время еще сидел насупившись, обуздывая себя, потом сказал:

— За эти слова тебя надо бы по шее, по шее!

Вроде бы и отругал, но голосом спокойным, даже теплым каким-то. А еще немного погодя, когда Мария поставила на стол чугунок с картошкой, исходившей ароматным паром, Иван и вовсе отошел, окончательно оттаял, даже пояснил, почему именно сегодня дал разрешение на выход:

— Убрать те бункера надо. И стрелки станции так изуродовать, чтобы гитлеряки еще подумали, прежде чем восстанавливать их стали... Шибко надо сделать это сейчас, потому и отпускаю тебя.

Потом еще долго сидели за столом, чаевничали — пили крутой кипяток с наваром смородиновых листьев — и мирно судачили о том, что, если верить приметам, хлеба в этом году должны уродиться добрые, что на союзников, конечно, вроде бы надеяться положено, однако не из того они теста сделаны, чтобы на себя нормальную тяжесть взять. Короче говоря, шла самая обыкновенная для того времени застольная беседа, шла так спокойно, словно уже завтра Григорию не предстояло вести людей на опасное задание. Лишь потом, когда Григорий уходил, Каргин проводил его до двери, там, у порога, ободряюще и толкнул ладонью в плечо.

Понаблюдав с час за станцией, за тем, как здесь вели себя полицаи, Григорий мысленно не раз поблагодарил Каргина за то, что тот так категорично запрещал кому-либо из партизан появляться в этом районе вообще: теперь полицаи, уверовав

в свою безопасность под защитой бункеров, даже праздно слонялись около перекосившегося станционного здания. Невольно подумалось: похоже, и ночью они больше храпят, чем ведут наблюдение.

С той самой ночи, когда партизаны в последний раз побывали здесь, Григорий молча вынашивал план уничтожения бункеров, не счесть сколько раз до кажущихся мелочей обдумывал эту операцию. Поэтому сегодня его приказания были немногословными, четкими и очень конкретными. Только одно он повторил дважды, строго глядя на своих людей:

— Зарубите себе на носу: к дверям бункеров всю горючку из тех куч подтащить. И так ее там сложить, чтобы ни одна дверь, как бы на нее из бункера ни давили, не смогла открыться. Понятно? Ни одна!

Ночью, когда молодой месяц нехотя опустился за черный лес, началась бесшумная и опасная работа. Как она шла — этого Григорий не знал: сегодня он в ней не участвовал, сегодня он, подражая Каргину, решил быть только командиром. Вот и нервничал, даже злился, не получая донесений, топтался на месте, проклиная неизвестность. Даже посочувствовал Каргину: оказывается, работать самому значительно легче, чем вот так ожидать, не зная чего.

Но все обошлось: почти одновременно жаркие костры вспыхнули у дверей всех четырех бункеров, а разгорелось это пламя — прогремели взрывы на стрелках.

Полицаи, проснувшись, конечно, прежде всего брызнули из амбразур длинными пулеметными очередями. Просто так, не прицельно, очередями ударили. Потом, когда до них дошло, что сейчас самый главный их враг — огонь, они стали выламывать двери бункеров. И выломали. Но, возникая на фоне багрового пламени, они были видны отчетливо, и партизаны били по ним из винтовок и автоматов, били, не жалея патронов. Лишь потом, когда от бункеров и станционного здания остались только раскаленные угли да смердящие головешки, кто-то из партизан сказал с яростью и большим внутренним убеждением в своей правоте:

— Это вам за Хатынь. Задаток.

Одиноко прозвучал этот голос. Но, судя по тому, как одни деловито осматривали свое оружие, а другие спокойно взирали на пожарище, — по всему чувствовалось, что люди одобрили сказанное.

Тут, когда задание было выполнено, на Григория вдруг нахлынула необычайная тоска по деду Потапу. И, взяв с собой только товарища Артура, он строго-настрого наказал старшему группы идти прямехонько в партизанский лагерь и обо всем доложить лично Каргину, а сам свернул на известную ему еле угадывающуюся тропочку, укрытую снегом, не тронутым ни человеком, ни зверем.

Григорий не считал себя обязанным лично идти к Каргину с докладом: задание выполнено, потерь группа не имеет, значит, не выговаривать, а хвалить Иван станет. Конечно, любому человеку всегда приятно, когда ему теплые слова говорят, но лично он и без этого выживет.

Так рассуждал Григорий, оправдывая свой поступок. На самом же деле идти к деду Потапу его заставляли и чувство зависти к семейному счастью Каргина, и обида на Марию за то, что она пренебрегла им, Григорием. Ни одним словом или жестом и никому он не выдал этих своих чувств. Но ведь есть они. От себя самого их не спрячешь.

Вот и бежал к деду Потапу, бежал в его избушку, где было передумано о многом, бежал, надеясь хоть на сутки избавиться от постоянных мук.

За эти месяцы, что он не бывал здесь, избушка деда Потапа будто сгорбилась, будто в землю ушла на несколько десятков сантиметров. Или виноваты сугробы, подпиравшие ее бревенчатые стены? Эти сугробы были настолько велики, что казалось: только встань на гребень любого из них — сразу до трубы дотянешься.

А вот деда Потапа время, казалось, нисколечко не коснулось! Он по-прежнему быстро и ловко засновал по своей единственной горнице-кухне, и скоро на выскобленных добела досках стола появилось все, чем он был богат. Сели за стол Григорий с товарищем Артуром, уселись на ту самую широкую лавку, на которой раньше так любил лежать Григорий, дед Потап вдруг сказал, повернув голову к полатям:

— Слезай, Лексей, вечерять станем.

Чернота над полатями ответила старческим покашливанием, а еще немного погодя, старательно нащупывая ногами каждую ступеньку невысокой лесенки, на пол спустился тот человек, о присутствии которого здесь даже не подозревали Григорий с товарищем Артуром. Был он в годах, морщинист и одет — самому неудачливому нищему впору. Не сказав ни слова, он перекрестился на передний угол, где у деда Потапа висела икона, настолько почерневшая от времени и копоти, осевшей на нее за многие годы, настолько засиженная мухами, что невозможно было определить, мужики ли, бабы ли на ней изображены. Лишь после этого он поясно поклонился Григорию и товарищу Артуру и бочком, бочком не подошел, а скользнул к столу, присел у самого дальнего его краешка.

Лучина, лениво потрескивающая над лоханью с водой, была не способна дать достаточно света, и Григорий, как ни старался, не мог толком разглядеть Алексея, но все равно ему упорно казалось, что они где-то уже встречались. А вот когда? При каких обстоятельствах?

Как ни напрягал память, она оставалась немой. Тогда он спросил у деда Потапа:

— А это кто такой? Каким ветром его к тебе занесло?

— Второй день живет. Говорит, раб божий, от войны хоронится.

Дед Потап сказал это так, словно не только осуждал, но и презирал Алексея за эту жизненную позицию.

— Все мы рабы боговы, — елейным голосом и многозначительно изрек Алексей, вскинул глаза на икону и перекрестился, пожевав почти бескровными губами.

И этот голос, сам вползающий тебе в душу, подхлестнул память, и она поспешила с подсказкой: почти три года назад они, пытаясь вырваться из окружения, случайно набрели на домик в три окна, одиноко лепившийся к болоту; в той хибарке и жил, вроде бы — коротал свой век, этот раб божий Алексей; сначала он призывал побросать оружие в болото, не перечить своей судьбе, а потом, когда они дружно отвергли его предложение, зло обругал их...

Вида не подал Григорий, что узнал его. Только пристальнее, чем раньше, даже придирчиво стал разглядывать, взвешивать каждое его движение. И заметил внутреннюю сытость этого человека; да, он, как и другие, вроде бы и старательно работал ложкой, но гороховую похлебку ел явно без всякой охоты; иными словами, не было в его поведении того, что свойственно изголодавшемуся, настрадавшемуся человеку.

Убрал дед Потап на шесток пустые миски, бросил на стол кисет. Тут Григорий и сказал, словно выстрелил:

— Узнал я тебя, узнал.

Алексей вздрогнул, напрягся на какие-то считанные секунды. Эти считанные секунды подсказали Григорию, что он ненароком зацепил что-то важное, сокровенное. Действительно, если этот человек просто тот самый святоша, оружие бросить призывавший, то с чего ему вздрагивать?

И Григорий заторопился:

— Спасибо, дед Потап, за угощение, а нам пора. И ты, божия скотинка, собирайся, пойдешь с нами.

Дед Потап на мгновение вскинул на Григория удивленные глаза, потом нахмурился, перевел их на того, кто представился ему божьим человеком Алексеем, и караулил каждое его движение, пока Григорий одевался. А товарища Артура случившееся, казалось, не удивило: одевшись, он стянул солдатским ремнем ватник и встал так, чтобы задержанный оказался между ним и Григорием.

— Господи, прости им это насилие: не ведают, что творят, — вот и все, что сказал назвавшийся Алексеем, сказал, осеняя себя крестом и глядя на икону.

14

Григорий все рассказал Каргину. Начал с того, что честно признался, почему, по какой причине оказался у деда. Затем подробно, стараясь ничего не упустить, поведал о том, как сна-

чала не узнал этого мужика, а потом все же вспомнил, только заикнулся об этом, и что из этого вышло. Не скрыл и того, что в пути тот был таким послушным, таким предупредительным — с души и сейчас все еще воротит!

Каргин готовил разнос Григорию. Как только узнал от старшего группы о его самовольной отлучке, с самого того момента и стал наказание выискивать. Такое, чтобы и больно Гришке стало, и чтобы не отбить у него охоты к инициативе. А выслушал его обстоятельный доклад, сразу вспомнил, что в нескольких донесениях Василия Ивановича, с которыми его ознакомили в штабе бригады, упоминалось о заклятом вражине — пане Власике, который в разговоре все на бога ссылается; сам — плюгавенький, с голосом ласковым и бескровными губами. Сопоставил это с тем, что услышал, и мелькнула мысль: «А что, если?..» И пропала злость на Григория, теперь одна забота точила Каргина: тот ли это самый вражина или случайный человек, которого судьба-злодейка и внешность под тяжкое обвинение подвели?

Самым правильным и надежным, разумеется, было переправить этого типа в штаб бригады — и пусть там разбираются. Но в жизни иной раз и так случается, что даже на очень порядочного и внутренне дисциплинированного человека вдруг словно затмение накатывает, и он во что бы то ни стало хочет только сам разрешить что-то большое, для всех важное. Не ради личной славы, а черт знает почему некоторые идут на это. Вот сегодня и с Каргиным случилось нечто подобное; он смотрел на Григория, вроде бы и слушал его, а сам об одном думал: как бы так повести допрос, чтобы до самой глубокой правды добраться?

— Ладно, веди его сюда. И скажи там кому-нибудь, чтобы Юрку кликнули, — наконец решился Каргин, так ничего конкретного и не придумав.

Задержанный упорно отрицал даже свое знакомство с пресловутым паном Власиком, одно долдонил: да, грешен, тогда отговаривал вас (и не только вас) воевать с германом (кто мог предположить, что он таким зверем окажется?), но, мол, я лично и сейчас вне войны, потому как сам бог многое перетерпел и нам, мирянам грешным, терпеть велел. А что в этих краях оказался — хату спалили каратели, вот и побрел с сумой, шариком от деревни к деревне покатился; не только у того почтенного старца, у многих других сердечных людей временный приют тоже находил.

Складно говорил, ни к чему не придерешься. И мягким голосом, без обиды. Даже с лаской в глазах все это рассказывал.

Каргин чувствовал, что пока бессилен сдвинуть задержанного с этой позиции, пока не может уличить его даже в малой лжи. Казалось, сейчас только и остается отпустить его на все четыре стороны или переправить в штаб бригады, признавшись в своем бессилии. Однако чем упорнее тот отрицал все, связанное с паном Власиком, тем больше крепла уверенность Каргина

в том, что матерый вражина сидит перед ним, источая из глаз лживую ласку.

Но как его ухватить за жабры, с какой стороны к нему подступиться? Может, припугнуть малость?

И он сказал по-прежнему спокойно, хотя внутри все неистово клокотало:

— Если говорить откровенно, то нам ваше признание не так чтобы очень и нужно. На что оно, ежели мы и так о вас главное знаем? Для вас стараюсь. Кто мы? Партизаны. Вот и выходит, что здесь, где мы находимся, я — вся власть. И гражданская, и военная... Так сказать, здесь все в моих руках, так что...

Тут нарочно оборвал фразу: чтобы этот тип попытался угадать то, что недосказано, чтобы понаблюдать, какое впечатление на него произведут эти слова.

Вроде бы дрогнуло что-то в его глазах...

Но ответил он опять же ласково, словно одаривая:

— А мне доподлинно известно, что и вы головушку свою потерять можете, если на подобное осмелитесь.

Ага, забегали глазки, забегали!

И Каргин, чтобы дожать, не сказал, а приказал:

— А ну, Марья, выйди на часок!

Почему именно на часок? Да просто сорвалось с языка это слово, а не другое.

Пока Мария, обидевшись, подчеркнуто неторопливо надевала ватник и укутывалась в шаль, глаза подозреваемого упорно сверлили ее спину, словно умоляли остаться.

Каргин перехватил торжествующий взгляд Юрки и сказал еще суровее:

— А ты позови его... Сам знаешь кого.

Юрка осмелился задержаться только у порога, оттуда и спросил:

— Может, и второго прихвачу сразу?

— Правильно! Чтобы опять не бежать, если что, — включился в игру Григорий.

И тут Каргин случайно сказал именно то, что сейчас и надо было:

— Или вам плохо с нами одними беседовать? Вам очень хочется, чтобы я еще кого-то кликнул?

Сказал даже весело, ибо понял, что выигрывает, что смерти этот подлец боится панически.

Действительно, смерти тот, кто многим был известен под именем пана Власика, боялся панически. И сейчас, посчитав, что она близка к нему, он прежде всего мысленно всячески обругал себя за то, что допустил крупнейший промах, понадеявшись тихонько пересидеть теперешнее горячее время в этой глухомани. Но кому бы пришло в голову, что Потап, которому давно пора вымаливать счастливую загробную жизнь, вдруг окажется пособником партизан?!

Потом пан Власик стал лихорадочно думать: в чем признаться, что отрицать начисто, отрицать до последней возможности.

Например, зачем им знать, что он в свое время прекрасно окончил семинарию, был попом в одной из церквей пригорода Пскова, да отлучен от церкви за прелюбодеяния с прихожанками? Откуда этим мужикам, мнящим себя вершителями судеб человеческих, может быть известно, что сам Павловский — правая рука господина Савинкова! — и указал ему на тот домик у болота, велел жить в нем, все видеть, все запомнить и доложить, когда об этом спросит.

Пусть останется для них неизвестным и его настоящее имя — Николай, сын Василия Вознесенского...

Ишь, двадцать лет молчком сидел и жив-здоров был, а тут власти над людьми захотелось! Вот и влип...

Все далекое прошлое, разумеется, должно остаться при нем. А вот недавнее, до чего они и сами докопаться могут... Собственно говоря, что он такое сделал? Был членом правительства, поставленного немцами? Так сунули его туда, под страхом смерти сунули! Вот и ездил, агитировал за самостийную Белоруссию, хотя сам против этого!

А что за это может быть? Дадут несколько лет отсидки, вот и вся недолга. Или там, в лагере, дураков нет, на которых, если умело себя поставишь, ехать хоть куда можно?

Пан Власик несколько взбодрил себя этими мыслями, но все равно попробовал торговаться:

— Дайте слово, что сохраните мне жизнь?

Каргин со спокойной совестью пообещал это: он давно и твердо решил, что, независимо от исхода этого допроса, завтра же переправит Власика в штаб бригады.

Так много интересных и важных сведений полилось из пана Власика, что уже через несколько минут Каргин прервал его, вызвал Марию и сказал ей:

— Садись за стол, протоколить станешь.

Мария, словно еще недавно и не обижалась на мужа за резкий тон, каким он выпроводил ее отсюда, послушно села к столу и писала, писала. И про сговор бенеэсовцев с гитлеровцами, и про банду Черного, и про Птаху, и про Стригаленка, про то, как бенеэсовцы его сначала в предатели заманили, а потом уничтожили. Много чудовищно страшного услышала она в эту ночь. Но только один раз невольно ойкнула. Это когда Власик подробно о сожжении Хатыни рассказывал: дескать, чего стоят мои преступления в сравнении с этим? Так, баловство одно...

Утром, когда солнце должно было вот-вот пробиться сквозь плотные серые тучи, пана Власика под надежным конвоем переправили в штаб бригады. На утренней зорьке его отправили, а около полуночи в роту неожиданно нагрянул сам Николай Пав-

лович, хмуро поздоровался с дневальными, перехватившими его, и сразу же прошел к Каргину.

Здесь, хотя время было позднее, еще и не думали ложиться спать: с вечера пришли Юрка с Григорием, вот мужики и пили кипяток, курили едкий самосад и спорили, когда, в каком месяце этого года, Советская Армия освободит всю Белоруссию. Иван считал, что произойдет это летом, когда болота хоть малость подсохнут, а Григорий уверял, что наступление нашей армии вот-вот начнется.

Увидев Николая Павловича, все четверо встали, прервали свой разговор. И не сели, пока Николай Павлович не сказал, устало плюхнувшись на березовый чурбак, заменявший табуретку:

— Чего столбами торчите?

Помолчав немного то ли из приличия, то ли по другой какой причине, он же и задал первый вопрос:

— Кто же это, товарищ Каргин, позволил вам так бессовестно попирать наши советские законы?

Каргин обменялся с товарищами взглядами-молниями и ответил с таким невинным видом, на какой только и оказался способен:

— Чтобы я да нарушил закон? Не помню такого случая. Если хотите знать, они, — кивок на Юрку с Григорием, — когда разобидятся, меня даже обзывают законником.

— Ты дурачком не прикидывайся, я тебя, черта, насквозь вижу! — повысил голос Николай Павлович. — Кто тебя уполномочил этого треклятого Власика допрашивать? Ну, назови фамилию и должность этого человека?

Большую ошибку допустил Николай Павлович, повысив голос, обидел этим Каргина, и тот ответил не менее зло:

— Или я как командир роты и языка схваченного допросить права не имею? Где, в каком нашем законе такое сказано?

И пошла перепалка!

Наконец, устав отбиваться от трех сразу и поняв, что случившееся вчера не так страшно, как обрисовал пан Власик, Николай Павлович сказал уже спокойно, даже миролюбиво:

— Пойми и меня, Иван Степанович: все эти мои вопросы — о тебе забота. Знаешь, что случиться может, если о твоей самодеятельности, о том, что ты пленного пытками пугал, в Москве известно станет?.. Буду знать всю правду, как она есть, может, и смогу защитить тебя, если... У нас по закону никто не имеет права допрашиваемому ультиматум предъявлять. Вроде того, что станешь говорить — свою жизнь спасешь, а упрямиться будешь... Во-первых, это чистейший шантаж, это использование служебного положения в корыстных целях. Во-вторых, не дано тебе права меру наказания определять. Для этого суд есть. Наш, народный.

— Суд народный, конечно, есть, — поспешно согласился Григорий. — Только при нашей теперешней жизни кто они, те судьи?

А мы сами! Вздернем на шкворку или расстреляем предателя какого — бацаем ему на грудь записочку: «Собаке собачья смерть! Казнен как вражина, предавший свой народ!» Или что-то другое напишем в этом духе.

— Ты к чему это клонишь? — нахмурился Николай Павлович.

— К тому, что не в обычных условиях мы живем, так зачем же к нам со старыми мерками подходить?

Николай Павлович еще только собирался ответить Григорию, как в разговор вклинился Каргин:

— Не говорил я такого, что шлепнем его, если в предательстве не сознается.

— Не говорил? Выходит, врет он? Наговаривает на тебя?

— Что ему, впервой? — влез в разговор и Юрка. — Да мы с Гришкой, если надо, под любой присягой подтвердим, что не было ничего такого сказано!

— Факт, не было! — с горячностью поддакнул Григорий.

— А ты, Иван Степанович, что скажешь? — всем телом повернулся к нему Николай Павлович.

— Врать я не мастак.

— Потому у тебя и спрашиваю.

— Был разговор о расстреле... И о сохранении жизни был...

Мария, положив руки на колени, с тревогой, любовью и гордостью смотрела только на мужа. И он продолжил, ободряюще улыбнувшись ей:

— Только тот разговор вообще был. Не к нему относящийся, а вообще. Что я как командир роты волен и расстрелять кое-кого... А о жизни его... Я приговора не выносил, я только слово дал, что здесь мы его жизни не лишим, — голосом он особо выделил это «здесь мы».

Николай Павлович какое-то время молча барабанил пальцами по столу, потом все же потребовал уточнения:

— Значит, разговор о расстреле был не для того, чтобы припугнуть его?

Каргин промолчал, чтобы не ответить ложно. Зато Юрка с Григорием почти в голос заверили:

— Перед любым судом подтвердим, что точнехонько только так оно и было!

И тогда, усмехнувшись, Николай Павлович сказал:

— Чистейшее иезуитство!.. Надеюсь, чаем меня все же напоите? Если так, то мне бы руки сполоснуть.

— Пойдемте, я вам солью! — радостно откликнулась Мария и достала из вещевого мешка чистое полотенце.

Когда они вышли, Григорий спросил:

— Слышь, Иван, чего это он про нас сказал?

— Должно, чтобы Марью не обижать, отматерил по-заграничному, — ответил тот и тяжело вздохнул.

Ошибался Григорий, заявляя, что Советская Армия вот-вот начнет наступление и здесь, где фашисты хозяйничали уже третий год, Советская Армия действовала точно по плану, разработанному Верховным Главнокомандованием, и именно в первые два месяца 1944 года уже сокрушила кольцо вражеской блокады, тисками сжимавшее Ленинград, и блестяще завершила Корсунь-Шевченковскую операцию, еще раз напомнив фашистским заправилам, что уроки Сталинградской битвы никому забывать не положено.

Тогда, в январе и феврале 1944 года, Верховное Главнокомандование Советской Армии еще разрабатывало во всех деталях план военных действий на летнюю кампанию, тот самый план, в который составной частью вошла и Белорусская оперативно-тактическая операция. Это в конце апреля по ней будет принято окончательное решение, оформленное соответствующими боевыми приказами, согласно которым в обусловленный час дружно пойдут в наступление 1-й Прибалтийский, 1-й, 2-й и 3-й Белорусские фронты.

В апреле 1944 года будет окончательно разработан и утвержден план операции «Багратион», а тогда, в феврале, он еще отрабатывался во всем множестве своих деталей.

Белорусский народ, на земле которого еще хозяйничали фашисты, ничего этого не знал. Но он истово верил, что помощь обязательно придет, чувствовал — это случится уже скоро. И все понимали, что тогда настанет время для предъявления фашистам счета. Огромного счета. И за опустошенные ими города, и за миллион двести тысяч строений в селах, тех самых строений, которые разрушили, предали огню фашисты, и за семь тысяч школ, превращенных в развалины, и более чем за два миллиона двести тысяч земляков, павших от рук фашистов.

Неимоверно велик был тот счет, который весь советский народ готовился предъявить фашистам к оплате. Потому и не терпелось многим, потому отряды белорусских партизан в эту зиму и росли непрерывно, потому их бойцы почти каждую ночь и уходили на опасные задания, отдавая силы и даже жизни свои делу, которое приближало грядущий час расплаты с фашизмом.

Все это чувствовал Василий Иванович, всем сердцем жаждал этого часа и в то же время волновался, боялся за свою дальнейшую судьбу. Вот и были для него тревожны, невыносимо длинны эти зимние ночи. Не только он, сейчас все, кто на этой земле был или считался пособником фашистов, потеряли покой. И если фон Зигель вульгарно запил, осознавая полное крушение своих личных планов, всех своих честолюбивых надежд, то другие — Трахтенберг, Золотарь и сошка еще помельче, — ничем не брезговали для того, чтобы добиться перевода куда-нибудь на запад, хоть к черту на кулички, только бы подальше от этих мест! В дело были пущены и доносы, которые по замыслу их авторов

должны были свидетельствовать о верноподданнических настроениях, и откровенные подкупы.

Ничем не брезговали некоторые, но, как было известно Василию Ивановичу, пока ни одному из тех, кого он знал, не удалось смыться отсюда, хотя и месяцы минули с той поры, как они упаковали чемоданы. Единственное изменение — Трахтенберг оказался не у дел. Да и то лишь потому, что в начале февраля этого года оба госпиталя из Степанкова вдруг перевели куда-то на запад, если верить слухам — в саму Германию. А вот Трахтенберга оставили здесь. И если причину эвакуации госпиталей Василий Иванович понял сразу и правильно — боятся фашистские заправилы летнего наступления Советской Армии, чувствуют, что в этом году оно может (даже должно!) начаться здесь, на земле Белоруссии, — то своеобразная отставка Трахтенберга оставалась для него неразрешимой загадкой. В то время он, разумеется, не мог знать, что произошло это исключительно по вине одного из писарей, который, в спешке перепечатывая приказ, случайно пропустил фамилию Трахтенберга.

Почти каждую долгую зимнюю ночь Василий Иванович ждал, что вот-вот на окраине Степанкова вспыхнет стрельба, что именно вот в эту ночь от удара ноги распахнется дверь его дома и кто-то незнакомый гневно, презрительно и торжествующе крикнет:

— Сдавайся, полицейская сволочь!

Или что-то подобное крикнет. Но обязательно гневно, презрительно и торжествующе.

Всю зиму он ждал внезапного налета партизан и почему-то совсем не думал, словно забыл, что на смену зиме обязательно приходит весна. Она сама напомнила ему о себе, ворвавшись в Степанково ночью, ворвавшись теплым и влажным ветром.

Только суток трое тот ветер и порезвился среди сугробов, а они уже просели, особенно те, которые торчали на солнечной стороне; да и снег на дорогах стал рыхловатым, и сразу же кое-где прорезались глубокие колеи, в которых среди дня под сероватым крошевом угадывалась вода.

Казалось, еще суток двое или трое, — и все окончательно поплывет, превратив многие деревни и села в островки, отрезанные от прочего мира морем холодной и вроде бы неподвижной талой воды. Чуть-чуть не дотянула жизнь в Степанкове до полной распутицы, вроде бы в самый канун ее вдруг взметнулась яростная стрельба. Не где-то на околице, как предполагал Василий Иванович, а в самом центре Степанкова, почти рядом с домом, в котором он жил.

Услышав ее, он мгновенно проснулся, привычно схватился за автомат, который, как обычно, висел в изголовье кровати. Даже затвором лязгнул. Потом осторожно, словно он был хрупким, повесил его на прежнее место: он не сумасшедший, чтобы по своим стрелять.

Дрожащими от волнения пальцами свернул цигарку, а вот прикурить не успел: в окно его дома ворвалась автоматная очередь, усыпала пол битым стеклом. Самое же страшное, о чем раньше почему-то никогда не думалось, — одна из тех пуль, ворвавшихся так неожиданно к нему в горницу, на своем пути случайно встретила Ольгу и смертельно ударила ее точнехонько в висок. Едва началась стрельба, и Ольга, и Нюська подбежали к нему — то ли надеясь на защиту, то ли готовые защитить его. Теперь Ольга, и вовсе похожая на девочку, которой самое время еще в куклы играть, лежала у ног Василия Ивановича.

И он, одновременно и понимая случившееся и отказываясь понять его, присел на корточки около Ольги, почему-то стал гладить ее волосы.

Василий Иванович настолько был потрясен случившимся, что равнодушно отнесся к тому, что скоро в горницу ворвались незнакомые люди, вооруженные трофейными карабинами и автоматами. Почти бездумно он всунул босые ноги в сапоги, когда ему велели одеться. Не оказал ни малейшего сопротивления, даже слова не сказал и тогда, когда кто-то из партизан заломил ему руку за спину и почти потащил в сенки. Только там, в сенках, услышав истошный вопль Нюськи, он рванулся, чтобы вернуться к ней. И тогда что-то тяжелое опустилось на его голову.

16

Долго и мучительно боролся с болезнью Василий Иванович. Не столько с последствиями удара прикладом автомата по голове, сколько с горячкой, вызванной недавним и постоянным нервным перенапряжением и гибелью Ольги. Как ему сказали потом, он мог несколько раз умереть, но выжил. Благодаря заботам Нюськи, которая за ним, как за дитем малым, ходила. Да и когда он окончательно очнулся, впервые ненадолго открыл глаза, — прежде всего увидел ее; она сидела у подслеповатого окошечка и что-то шила или чинила. Он вроде бы и не шевельнулся, не издал ни звука, но она тревожно взглянула в его сторону и сразу же метнулась к кровати, на которой лежал он, сначала просто испуганно склонилась над ним, пытливо заглядывая в глаза, потом вдруг уронила голову на одеяло рядом с его ослабевшей рукой и счастливо заревела. В голос, с бесконечными потоками слез.

Он был настолько слаб, что не мог даже руку положить ей на голову, хотя очень хотелось. Вот и случилось, что какое-то время она ревела в голос, а он лежал вроде бы бесчувственной чуркой и лишь глазами моргал.

Реветь Нюська перестала так же внезапно, как и начала. Она просто вдруг выпрямилась, высморкалась в подол и сказала деловито, размазав рукой слезы по лицу:

— Поесть вам принесу. Мигом!

Потом у Василия Ивановича побывали многие. Первыми заявились командир и начальник штаба бригады. Сердечно поздоровавшись и назвав себя, Александр Кузьмич спросил, каково его самочувствие, наказал, если нужда в чем возникнет, немедленно обращаться к нему лично, и вдруг такое выложил, что у Василия Ивановича на какое-то время язык словно отнялся:

— ...И не обижайся на меня за то, что только сегодня к тебе заглянул, что и впредь редко видеться будем. Сам понимать должен, какое сейчас время: подготовка к посевной, можно сказать, в самом разгаре, часа на отдых не оставляет.

Великое недоумение, видимо, было написано на лице Василия Ивановича, если Александр Кузьмич вдруг расплылся в радостной улыбке и продолжил с большим подъемом:

— А ты как думал? В нынешнем году, — эти слова он подчеркнул голосом, — нам, партизанам, и о посевной думать приказано. Ведь, по всем данным, этот урожай уже нам собирать!

Дальше, словно оправдываясь, он начал перечислять трудности, какие уже сейчас возникают при решении этого вопроса: отсутствие семян для посева, людей и лошадей нехватка.

— Да и многие пахотные земли за годы оккупации начали зарастать кустарником. И нет на сегодняшний день в Белоруссии ни одного парника, ни одной теплицы. Все фашисты порушили! И вообще они нас здорово ограбили: угнали в Германию около шестисот тракторов, две с половиной тысячи молотилок и почти шестьдесят тысяч штук прочего сельскохозяйственного инвентаря. Почти три миллиона голов крупного рогатого скота и вдвое больше молодняка они украли у нас!.. Но посевную мы проведем, — закончил Александр Кузьмич и пытливо взглянул на Василия Ивановича, словно желая узнать, а верит ли тот ему.

А Василий Иванович думал о том, что многое сейчас было перечислено, но даже слова не сказано о том, что фашисты еще здесь, на земле Белоруссии.

Или потому умолчал об этом Александр Кузьмич, что такое и ребенок предвидеть мог?

Помолчали несколько минут, а потом Василий Иванович и спросил о том, что сейчас волновало его больше всего:

— Александр Кузьмич, если, конечно, это дозволено, а каковы ближайшие перспективы деятельности нашей бригады?

— Иными словами, вас интересует, скоро ли начнем с фашистами настоящие бои? Всей бригадой? А может быть, и совместно с соседними? — усмехнулся Александр Кузьмич.

— Вроде этого, — подтвердил Василий Иванович, несколько обескураженный тем, что его завуалированная мысль была так быстро и точно разгадана.

— Не вы первые этот вопрос задаете. Вчера, например, приходил известный вам Григорий. Он просил, вернее, требовал, чтобы я послал его в Бобруйск, Пинск или какой большой город. Он очень хотел там взорвать городскую электростанцию. Ну и пришлось популярно объяснить ему, что нет резона, что даже

преступно сейчас такое творить: ведь уже вот-вот эти города снова станут нашими... Теперь об активных боевых действиях всей бригадой... Мы все время действуем всей бригадой. И разведку ведем, и на диверсии выходим. В разных точках действуем, но обязательно всей бригадой. Потому наши удары так и чувствительны для фашистов. А что касается большого сражения, о котором вы, как и некоторые другие, мечтаете... Если последует такой приказ, если возникнет в этом необходимость, то и в открытый бой с фашистами всей бригадой вступим. Только, как мне кажется, не случится этого. И вот почему. Завязывать бой ради боя? На это командование и раньше не шло, а теперь и вовсе не пойдет, оберегая жизнь людей, которые уже скоро могут пополнить ряды бойцов Советской Армии. Да и половодье вот-вот наберет полную силу, речки — в реки, болота — в бескрайние озера превратятся. Значит, исчезнет свобода маневра, не только бригаде, но и одиночкам будет трудно к объектам нападения пробираться.

Позднее, когда все в норму войдет? Я, конечно, планов высокого командования не знаю, но думаю, что именно в это время Советская Армия здесь и обрушит свой удар на фашистов.

Перед этим самым наступлением самим по фашистам ударить? А куда, по какому объекту? На направлении скорого удара Советской Армии? Нельзя: можно привлечь и внимание, и силы фашистов к этому участку.

Напасть, допустим, на какой-то крупный населенный пункт, расположенный вне зоны наступления Советской Армии? Чтобы фашисты туда перебросили свои силы?

Что ж, такое возможно, хотя и мало вероятно: главных сил с фронта фашисты не снимут, а бригада многих своих бойцов недосчитается. Короче говоря, Василий Иванович, лично я считаю, что нам скорее всего прикажут активизироваться на дорогах, чтобы мешать фашистам подтягивать резервы. Подчеркиваю: это сугубо мои личные мысли... Но мы готовимся к выполнению любого приказа.

Александр Кузьмич взглянул на свои часы и сразу же заторопился, еще раз наказал: чуть что — немедленно лично к нему обращаться, и ушел.

Зато Николай Павлович, Каргин с Марией, Григорий, Федор, Петро, Виктор и Афоня с Груней ввалились все вместе и надолго. Они с искренним участием расспрашивали о том, что и как болит, призывали побыстрее послать к черту все эти болячки, дескать, работу такую найдем — век благодарить станете!

Единственное, о чем они избегали говорить, — о том, как Василий Иванович попал сюда. Что Зигель застрелился в своем кабинете — вроде бы пьянее пьяного был, а это сделать сообразил; что Золотарь, Генка и прочие полицаи расстреляны, — обо всем этом, хотя и скупо, но сразу сказали, а как только разговор прыгнул к тому вопросу, — глаза в пол или в потолок. Так

продолжалось до тех пор, пока Григорий не ляпнул со свойственной ему прямотой:

— Что ты у нас оказался и живой к тому же, за это до окончания своего века ей поклоны земные бей. — Он кивнул в сторону Нюськи, суетившейся у стола. — Это она перво-наперво полезла морду царапать тому партизану, который тебя поволок. Конечно, ростом не вышла, чтобы до глаз его добраться, но внимание к себе привлекла, напросилась на душевный разговор с ихним командиром!.. О чем и как шел он, тот разговор, этого мы, конечно, не знаем. Зато нам доподлинно известно, что командир подоспел в самое время: еще бы несколько минут, и шлепнули бы тебя... И почему некоторым людям на баб так везет? За тебя Нюська хоть сегодня на костер побежит, Мария со своего ненаглядного Ивана прожекторов не сводит. Да если бы я встретил хоть одну такую, я бы...

Он замолчал, полез в карман за кисетом. Но все, кто присутствовал при этом разговоре, поняли, что за своим счастьем Григорий без промедления и в любые края зашагал бы.

Когда все ушли, Василий Иванович осторожно сжал безвольные пальцы Нюськи и еле слышно прошептал:

— Спасибо... За все спасибо...

— Чего уж там, — вроде бы равнодушно ответила она.

— Нет, спасибо. И не спорь!

Стал поправляться — потянуло Василия Ивановича из дома, неудержимо захотелось поближе познакомиться с людьми, ради безопасности и победы которых он столько перетерпел за эти годы. Вот и побывал почти во всех ротах и батальонах бригады, радуясь тому, что наконец-то он без маски, что теперь он волен говорить истинное свое мнение, а не слова, угодные кому-то.

Это надо обязательно самому испытать, чтобы полностью понять, какое счастье всегда быть самим собой!

Знакомясь с бригадой, Василий Иванович нисколько не удивился, что почти все батальоны оказались укомплектованными полностью. Зато просто зашелся от восторга, глянув на оружие партизан. У него непроизвольно даже вопрос вырвался:

— И все это в боях добыли?

Выпалил и сразу же понял, что глупость сморозил, дал пищу для насмешек: ведь бородатый дедок, которому он вопрос свой кинул, любовно протирал тряпицей советское противотанковое ружье; Василий Иванович этакое ружьище впервые видел, но сразу определил, что это оно: уж больно хорошо его описывали фашистские солдаты, еще недавно лечившиеся в госпиталях Степанкова.

Однако дедок не хохотнул, не затаил усмешки в своих голубых глазах. Он ответил просто:

— Да разве на одном трофейном оружии мы продержались бы столько лет?

Побывал Василий Иванович и в школе, где директорствовал Федор. Вся школа, в которой было пять начальных клас-

сов, в ненастную погоду умещалась в одной горнице избы, стоявшей в стороне от всех прочих и в нескольких шагах от леса. Федор пояснил, что это на тот случай, если фашистские самолеты появятся; чтобы детвора и учителя мигом в чащобе скрылись.

Осмотрел Василий Иванович и «летние классы» — пять самодельных столов в тени деревьев.

Имела школа и около десятка учебников — устаревших, затрепанных до невероятности. А тетрадей не было вовсе. Писали на листах, вырванных из каких-то конторских книг, на газетах и даже на обратной стороне фашистских листовок.

Самой обыкновенной классной доски не было в этой школе!

Все это Василий Иванович схватил сразу опытным глазом, он мог бы кое-что поставить в вину Федору. Например, что не все учителя имели план урока, что есть ошибки и в методике преподавания, но осторожно упомянул только о фашистских листовках. Дескать, не лучше ли обходиться без них?

На это Федор резонно ответил:

— Наши школяры, Василий Иванович, за свою короткую жизнь такое повидали, что фашистская брехня только насмешки рождает.

Не согласился с ним Василий Иванович, но смолчал: дело-то здесь прекрасное вершилось. Невиданное!

Да и учителя его обрадовали, можно сказать, умилили. Их было пять. Все они одновременно вели урок. Каждый для своей группы. И все в одной горнице! Но как они понижали свои голоса, как старались не помешать товарищу!

А Федор, как только подошел к школе, сразу преобразился. И лицом посветлел, и так непосредственно утер своим платком нос какому-то первоклашке, что Василий Иванович сразу же и категорично решил: если в ком-то еще требуется искать талант воспитателя, то из Федора он сам рвется наружу.

Во всех подразделениях бригады побывал Василий Иванович и впервые заметил, что в березовых рощицах светло даже в пасмурный день, а в чащобе из елок царит полумрак и в солнечный полдень. И вообще дьявольски красивы эти бескрайние леса, щедро одаряющие тебя птичьими голосами и воздухом, слаще которого нет ничего на свете. Случалось, он часами сидел под каким-нибудь деревом или у извилистой речки, берега которой тонули в зарослях плакучих ив, сидел и слушал лес, его шорохи, вздохи и перешептывание, невольно думая о том, сколько же здесь земли, которая и слыхом не слыхивала о гитлеровцах. Так недвижим был в эти минуты, что красноногие аисты спокойно прохаживались почти рядом с ним.

Но особенно поразило его половодье: все речки и реки, которые попадались ему в пути, были полны до краев, и стоило берегу чуть понизиться — они стремительно бросались в атаку: и вот уже целая роща белоствольных берез стоит не просто в

воде, а в озере, где ласковый ветерок лишь на короткое время способен вызвать легкую рябь.

Словно наверстывая упущенное, все дни Василий Иванович проводил где-нибудь в расположении бригады, разговаривал с людьми и зачастую лишь поздней ночью возвращался в избу, где его неизменно ждала Нюська. Она не упрекала в том, что он будто бы забыл о ней, она просто кормила его и после этого долго мыла посуду и вообще копошилась в кухне, так долго занималась всякими хозяйственными делами, что он засыпал, так и не сказав ей иной раз даже слова.

А вот сегодня Нюська не встретила его на пороге. Он, конечно, заметил это, но не придал особого значения: могла же Нюська заболтаться с какой-нибудь приятельницей? У нее этих приятельниц — арифмометр надо, чтобы всех учесть.

В одиночестве и поужинал. И спать лег, так и не дождавшись Нюськи. Он знал, что этот район полностью контролируют партизаны, значит, ничего плохого с ней не могло случиться. Потому и спал всю ночь спокойно, как и положено человеку, совесть которого чиста. Зато утром, убедившись, что Нюська так и не приходила, Василий Иванович встревожился, первым делом побежал к дежурному по бригаде, спросил, не было ли минувшей ночью чего необычного? Тот не уловил его большой внутренней тревоги, ответил точно по уставу: дескать, за время моего дежурства фашисты активности не проявляли, так что...

Вдоволь набегавшись с дипломатическими вопросами, Василий Иванович набрался смелости и у всех знакомых стал прямо спрашивать, не знают ли они, куда, зачем и надолго ли ушла Нюська? Одни недоуменно пожимали плечами, другие вроде бы и знали что-то, но от разговора почему-то уклонялись, спешили проститься. Только Мария сказала, не пряча упрека:

— Ушла она от вас, Василий Иванович. Насовсем ушла.

— Как так ушла? — изумился он, не сразу осознав всю глубину случившегося.

— Ножками, — буркнул Григорий, стоявший рядом.

Мысль о том, что Нюська ушла к другому, сразу же отпала: он верил, что его она любила по-настоящему.

Тогда почему же она ушла, почему? Или он нечаянно обидел ее? Постой, постой — обидел...

Неужели обиделась, что ласковых слов не говорил, в любви вечной не клялся?

Нет, Нюська не такая, она и без слов верила ему...

Может, вина его в том, что не вел с ней разговор о будущей совместной жизни? Вот это возможно...

Только что можно было сказать ей, если он сам к окончательному выводу не пришел? А врать напропалую, как некоторые, он не умеет. Чтобы принять окончательное решение, ему время нужно было. Легко ли от двух сынов отказаться?

Выходит, не так уж и сильна ее любовь была, если еще самую малость подождать не могла.

Что ж, вольному воля...

И он молча зашагал к себе, на прощание даже не кивнув ни Марии, ни Григорию.

— Какую бабу проворонил! — зло и с откровенной завистью сказал Григорий, когда Василий Иванович уже отошел на приличное расстояние и не мог услышать его.

А Мария промолчала. Они с Нюськой часа два или три проревели, когда прощались. Ей-то, Марии, страдалица Нюська и высказала то главное, из-за чего решилась исчезнуть с глаз Василия Ивановича. Нет, не обиделась она на него ни за кажущуюся черствость, ни за вроде бы невнимание к ней. Лучшего мужа Нюська себе не желала и желать не будет. Только Василию Ивановичу, чтобы он жил счастливо, не такая жена нужна, как она, Нюська: у нее в прошлом есть грязные пятна, так не ждать же, чтобы они незримо и на него легли, его жизнь испоганили?

Потому и ушла насовсем, слезами обливаясь, что большого, настоящего счастья ему желала.

17

Промелькнули весенние месяцы, и вступил в свои права июнь — месяц цветения луговых трав, то самое время года, когда все живое набирает силу. Действительно, и травы цвели, и солнце весело щурилось с небесной бездонной голубизны — вроде бы все шло обычно, как и полагалось по законам, выработанным самой природой. Однако в бригаде чувствовали неумолимое и стремительное приближение того часа, которого с таким нетерпением ждали все эти долгие годы. Приближение этого заветного часа угадывалось и в том, что Большая земля еще настойчивее требовала данных о фашистских частях, особо подчеркивая, что ее интересует даже малейшее их перемещение. Да и в небе над Белоруссией теперь почти каждый день и по нескольку раз появлялись краснозвездные самолеты-разведчики. И в штабе бригады все последние дни царила какая-то подчеркнуто строгая деловая тишина. Временами ее нарушал лишь майор Пилипчук, громко требовавший, чтобы к нему немедленно вызвали такого-то.

У всех дел было предостаточно, все куда-то спешили. Один Василий Иванович по-прежнему слонялся по бригаде. И невольно лезло в голову, что командование бригады забыло о нем. Тогда он сам нашел себе дело: едва появлялись свежие газеты, сразу же забирал их, просматривал от первой до последней строчки и после этого шел к бойцам роты Каргина. Нет, он не скликал, не зазывал людей, не собирал их специально, используя власть кого-то из командиров. Он просто подсаживался к одной из групп и разворачивал газету; а еще немного погодя вокруг уже толпились бойцы, внимательно слушавшие то, что он читал, и особенно — его комментарии к прочитанному.

Но все равно очень неуютно чувствовал себя Василий Иванович. У него все время было такое ощущение, будто, уходя, Нюська унесла с собой что-то такое, без чего ему жить очень трудно, почти невозможно. Особенно чувствительна эта утрата была в первые дни после исчезновения Нюськи. Настолько чувствительна, что он со своим горем однажды нарочно пошел к Виктору, который, если верить разговорам, до сих пор остро переживал гибель Клавы. Шел с надеждой, что уж Виктор-то обязательно поймет его, а встретились... Что ж, Виктор основательно возмужал за эти почти два года. В плечах раздался, заматерел и усищами обзавелся; и в глазах его прочно обосновалась серьезность, а не мальчишеская дерзость. Но поговорили о том о сем, минут десять или пятнадцать поговорили, и понял Василий Иванович, что Виктор по-прежнему смотрит на него только как на своего командира, что в разговоре с ним души своей не распахивает, а лишь чуточку приоткрывает ее. Почему? Отвык или возрастная разница сказывается? Скорее всего — последнее. Да и стыдно было Василию Ивановичу плакаться на судьбу этому парню, который еще три года назад был безусым школяром. Они разошлись, сохраняя друг к другу душевное тепло, не больше. Не избегали, но и не искали новой встречи.

Днем Василий Иванович еще крепился, а вот ночами, когда за печкой веселился сверчок, он упорно думал о том, почему начальство не вызовет его к себе, не даст даже самого малюсенького задания. Может быть, не доверяет? Может быть, в Степанково, в той проклятой должности, он что-то сделал не так? Промахнулся в малом и тем на себя недоверие навлек?

Однако ему разрешалось ходить куда вздумается: человека, потерявшего доверие, наверняка кое в чем ограничили бы.

Но вот сегодня посыльный штаба бригады прибежал и за ним, сказал вроде бы обыденное: мол, вас начальник штаба бригады до себя зайти просит, а Василий Иванович так разволновался, что никак не мог застегнуть пуговицу на вороте рубахи. И сказал посыльному, сказал исключительно для того, чтобы скрыть свое волнение:

— Доложи, что следом за тобой иду.

В штабе, когда он вошел туда, были только майор Пилипчук и Федор — взъерошенный, злой. Однако, увидев Василия Ивановича, он вроде бы несколько смутился, привычно пробежал пальцами по ремню, но глаз не отвел.

— Ну, чего замолчал? — усмехнувшись, спросил майор Пилипчук и, не дожидаясь ответа Федора, почтительно встал, дружески пожал руку Василия Ивановича и не сел до тех пор, пока тот не облюбовал себе место у распахнутого окна, не уселся там. — Давай развивай свои доводы, при Василии Ивановиче развивай, — опять подстегнул он Федора.

— Думаете, испугаюсь? — фыркнул Федор и сразу же заговорил, обращаясь только к Василию Ивановичу: — Они засуну-

ли меня в директора и думают, что я здесь окопаюсь! Им, видите ли, нежелательно, чтобы такая персона, каковой директор школы является, в боях участвовала! Вот я и говорю, что есть у нас здесь же, рядышком, настоящий человек, которого и поберечь стоит, который и для должности директора школы — лучше не найдешь! На вас, Василий Иванович, намек даю!

Василий Иванович не успел возмутиться вслух, он еще только подыскивал слова, чтобы достойно осадить Федора, а Пилипчук уже сказал, вдруг устало опустив плечи:

— Не будем транжирить время. Что касается тебя, Федор, то сейчас занятия в школе прекращаются. Вроде бы на летние каникулы мы вас распускаем. — И, помолчав, добавил: — Сейчас вот-вот здесь такое начнется, что... Короче говоря, считай, что тебя временно в роту Каргина откомандировали.

Федор, словно испугавшись, как бы начальник штаба не переменил своего решения, метнулся к двери и уже из-за нее торжествующе ответил:

— Есть немедленно к Каргину явиться!

Захлопнулась за Федором дверь, остались они одни, тогда, глянув на Василия Ивановича, будто окаменевшего у распахнутого окна, Пилипчук и заговорил вновь, заговорил по-прежнему бодро:

— Тут, Василий Иванович, дело такого сорта... Хотя, чего дипломатничать? Мы свои люди, поймем друг друга... Так вот, комбрига сейчас неожиданно вызвали к высокому начальству. Подчеркиваю: неожиданно вызвали. Ну, он и поручил мне провести эту предварительную разведку. Соль вся в том, что очень скоро кончится здешняя партизанская жизнь. И, надеюсь, вы, Василий Иванович, уже думали о нашей дальнейшей судьбе?

Василий Иванович конечно же думал об этом. Он даже был уверен, что многие из них, сегодняшних партизан, — по возрасту и здоровью соответствующие — вольются в Советскую Армию, станут ее пополнением, а другие... Да разве сейчас мало дел в районах, калеченных и перекалеченных войной, разве там не нужны люди на ответственные посты или просто в учреждения, организации?.. Кое-кто, разумеется, и домой сразу же вернется. Чтобы трудиться для фронта и будущей жизни, трудиться на фабрике, заводе или в родном колхозе.

Но годы работы рядом с вечно подозрительным Зигелем многому научили и прежде всего — не спешить высказывать свои мысли, уметь сначала другого выслушать. И он промолчал, чтобы Пилипчук высказал то, до чего он сам давно додумался. Лишь одно в его словах было новое, неожиданное:

— А кое-кто, дорогой Василий Иванович, и дальше на запад пойдет. Например, для помощи партизанам Польши. Улавливаете?

Вопрос риторический. Василий Иванович уловил уже не только это, он понял и то, что его личная дорожка должна побежать именно туда, на запад. Но опять предпочел отмолчаться.

— Каргина, например, высшее командование именно для этой цели использовать намеревается. Он — командир решительный, инициативный. Как, одобряете?

Василий Иванович ответил без промедления:

— На Ивана Степановича во всем и полностью положиться можно.

— Полностью, говорите? А вот мы все считаем, что рядом с ним желательно иметь еще одного жизнью проверенного человека. Такого, который бы и с ним ладил, и помог ему в сложной местной обстановке разобраться.

Хорошо, что не видно, как восторженно бабахает сердце!

— Короче говоря, мне поручено узнать, как вы отнесетесь к тому, если именно вы будете при Каргине этим человеком?

Василий Иванович, не покривив душой даже в малом, мог бы ответить, что готов идти с Каргиным хоть сегодня, хоть сейчас и куда угодно, только зачем так откровенно свою радость выказывать? Да и не майор Пилипчук будет принимать окончательное решение. Поэтому он ответил сдержанно:

— Согласен.

18

Василий Иванович предполагал, что вопрос о его новом назначении будет решаться еще несколько дней, может быть, и недель, но уже следующей ночью его через посыльного вызвали в домик, где жил командир бригады. Здесь, кроме Александра Кузьмича, Николая Павловича и Пилипчука, сейчас были еще Каргин и какой-то мужчина в штатском, который хозяином сидел во главе стола. Он, этот человек в штатском, но с выправкой кадрового военного, поздоровавшись с Василием Ивановичем за руку, спросил без промедления, спросил буднично, словно заранее зная ответ:

— Решение свое, надеюсь, не изменили?

Василий Иванович не успел ответить, он еще раздумывал, ожидать ли ему приглашения сесть или самому выбрать себе место, а Каргин уже пододвинулся, ладонью показал на лавку рядом с собой и сказал спокойно, будто давно и хорошо знал этого человека в штатском:

— В нашем отряде, дав слово, раком не пятятся.

Человек в штатском одобрительно усмехнулся и заговорил спокойно, похоже, взвешивая каждое слово:

— Тогда перейдем к делу...

И, ни разу не изменив тона, не повысив голоса, он рассказал о том, что почти за пять лет оккупации Польши гитлеровцы уничтожили тысячи поляков, сотни тысяч их угнали на каторжные работы в Германию. Но все эти годы польский народ вел и ведет самоотверженную борьбу за освобождение своей родины. Под руководством Польской объединенной рабочей партии

вел и ведет. Именно это крайне и встревожило эмигрантское правительство Польши, все эти годы отсиживавшееся в Лондоне. Настолько встревожило, что сейчас, когда Советская Армия бьется с фашистами уже на территории Польши, делается все для того, чтобы ослабить антифашистское движение, расколоть его ряды. Даже на откровенные провокации и террористические акты пошли эти подонки!

— Теперь ясно, в каких условиях вам придется работать?

Этим вопросом человек в штатском закончил свою короткую речь и пытливо посмотрел сначала на Василия Ивановича, потом на Каргина. Те, переглянувшись, встали, давая понять, что вопросов не имеют.

— И последнее. О том, где скоро будете работать, прошу никому ни слова.

— Об этом их предупреждать не надо. Уверен, они и друг другу слова не промолвили о новой совместной работе, хотя оба знали о ней, — сказал Николай Павлович.

— Тем лучше, — сухо отрезал человек в штатском. — Если вопросов нет, можете идти.

И они ушли в теплую летнюю ночь, ушли под яркие звезды, сверкавшие в черном небе.

Ушли внешне спокойные, хотя каждый невольно и с тревогой думал: «Как-то будет там, на новом месте?»

19

Сегодня с самого утра, как только Каргин ознакомился с боевым приказом по бригаде, все вдруг стало необычайно прекрасным и по-хорошему волнующим: и березы, сквозь зеленую кружевную листву охотно пропускавшие к земле солнечные лучи, и самые привычные ромашки, доверчиво тянувшиеся к щедрому на тепло солнцу. Даже какая-то шальная кукушка сегодня заверяла всех партизан, что жить им еще да жить, лет до ста жить, не меньше. Все казалось таким прекрасно-радужным потому, что наконец-то получен тот самый приказ, о котором мечтали три долгих года: «...скрытно перебазироваться в указанный район, быть готовыми по условному сигналу перерезать шоссе Минск — Брест... Цель операции — воспрепятствовать бегству фашистов из-под ударов Советской Армии...»

В приказе особо подчеркивалось, что главный удар по гитлеровцам наносит Советская Армия, что партизанской бригаде отводится лишь вспомогательная роль, что ей надлежит полностью подчиняться приказам командования Советской Армии, если таковые поступят.

Радовало Каргина и то, что с ним снова были проверенные друзья. И Василий Иванович, и Федор, и Юрка с Григорием. Правда, не было Петровича, Павла... Что ж, сегодня в живых не было многих из тех, с кем война породнила за эти годы. На то она и война...

Не у одного Каргина — у всех партизан было такое же приподнятое настроение. Даже Григорий, когда узнал, что им предстоит идти в район той самой Припяти, которой он так панически боялся три года назад, не смог скрыть своей радости и сказал с каким-то особым значением, понятным только ему:

— Значит, опять Припять!

Юрка немедленно откликнулся подковыркой:

— Гляди, чернявый красавец, и эти сапоги там не утопи!

— Не, теперь я ученый, теперь я, может, и за теми снаряю, — осклабился Григорий.

Трое суток шла рота лесами и болотами, избегая попасться кому-либо на глаза, торопилась к сроку в тот район, где приказано было быть. Шла не просто так, «по солнышку», а по точному маршруту, разработанному в штабе бригады или того выше.

Со дня на день, с часу на час ждали начала желанного наступления Советской Армии, и все равно далекие артиллерийские раскаты раздались неожиданно. В ночь на 22 июня раздались. И с того момента, когда услышали лишь первый вздох далекого, но такого мощного и яростного грома, люди и вовсе потеряли покой: ждали, что вот сейчас радист выскочит из своего шалаша и крикнет Каргину: дескать, есть сигнал! Именно крикнет, а не доложит: радист — он тоже человек.

Шли часы, из них слагались сутки, а грохот, родившийся в ночь на 22 июня, родившийся там, на востоке, не смолкал ни на секунду. Наоборот — он ширился, рос и приближался. Теперь уже любой человек на слух мог без ошибки определить, что он слагался из мощных орудийных залпов, взрывов тысяч бомб и рева моторов в небе и на земле. Много ли танков и самоходных артиллерийских установок Советская Армия в бой ввела, этого не знали, об этом только гадали. Зато стаи краснозвездных самолетов — вот они. Собственными глазами видели, как они, будто стоячих, догоняли вражеские самолеты, как расправлялись с ними.

И если сначала не только вечно нетерпеливые Григорий с Юркой, но и другие партизаны лезли к Каргину с одним вопросом: «Когда же наш черед?» — то теперь они притихли, больше не призывали его «проявить инициативу». Они уже поняли, что нельзя без соответствующего сигнала вылезать на шоссе: сунешься без спросу — в этой свистопляске запросто свою голову потеряешь, и лишь потом советские солдаты, распаленные боем, разберутся в том, кто ты такой да откуда и зачем сюда пожаловал. Партизанам роты Каргина казалось: единственное, что полезного они сделали за эти дни пребывания в заболоченном лесу, — выловили более тысячи фашистских вояк, надеявшихся отсидеться среди болотных кочек. И еще — заметили, что сдавались фашисты в плен вроде бы даже с радостью.

Однако не суждено было Григорию, как он заявил Юрке, нырнуть в Припять за сапогами, утопленными еще в 1941 году:

приказ командования Советской Армии вдруг повернул бригаду к Бобруйску, а роту Каргина уже командование бригады направило на Березину в район Стасевка — Половец, поставив конкретную и вроде бы даже не боевую задачу — оказать помощь морякам Днепровской военной флотилии в переправе на правый берег 48-й армии.

Чтобы Каргин не услышал, тихонько ругаясь, мол, не нашло командование для нас настоящего боевого дела, партизаны зашагали по новому маршруту. Шли тропочками, известными только местным жителям (да и то далеко не всем), шли бездорожьем, шли по болотам, где, как предупреждали проводники, шагнешь с брода чуть в сторону — мигом провалишься в бездонное «окно», шли, пересекая светлые березовые рощицы, молчаливые боры, или продирались сквозь невероятную чащобу, прорубая себе дорогу топорами. А в небе ревели моторы многих самолетов. Да и залпы артиллерии, грохотавшие, казалось, со всех сторон, подстегивали, сил прибавляли.

Кое-кто ноги сбил в кровь, но на рассвете 27 июня — как и говорилось в приказе — рота в полном составе вышла к Березине, и точно в указанном районе. Здесь Березина, кокетливо изогнувшись, текла между невысоких, но обрывистых берегов, так поросших ивовыми кустами, что не только ветки, но и корни их будто нежились в зеленоватой воде.

— Точь-в-точь Припять, — не то разочарованно, не то удовлетворенно сказал Григорий. — Слышь, Юрка, может, искупаемся? До того берега и обратно? Наперегонки?

Нет, Григорию сейчас не хотелось купаться — и холодом веяло от реки, и усталость была велика — он сказал просто так, чтобы показать своим подчиненным, что лично его этот переход нисколечко не измотал, что у него и сейчас хватит сил даже на то, чтобы потягаться с кем угодно.

Юрка не успел ответить: из-за поворота Березины, распушив носом белопенные усы, именно в этот момент вылетел полуглиссер, на корме с короткого флагштока рвался советский военно-морской флаг. Полуглиссер — маленький фанерный катерок, все вооружение которого — пулемет «максим», установленный на треноге, но партизаны смотрели на него с нескрываемым уважением: он был представителем родной армии, выстоявшей во многих кровавых боях с фашистами, а сейчас так мощно громившей ненавистного врага.

Появление полуглиссера для всех было столь неожиданным, шел он так быстро, что партизаны по-настоящему еще и не поняли случившегося, а он уже поравнялся с ними, приткнулся носом к берегу. Морской офицер, сидевший рядом с командиром полуглиссера, который даже сейчас не снял рук со штурвала, встал, неизвестно по каким признакам определил, что Каргин является старшим, и сказал ему, что катера флотилии вот-вот прибудут, что мостки-причалы нужно соорудить на этом и на том берегу, вот здесь и вон там; и кое-где срезать береговой об-

рыв: чтобы лошади могли спокойно войти в реку и выйти из нее.

Выслушав короткие распоряжения Каргина, отданные без промедления, и убедившись, что его поняли правильно, офицер опустился на сидение рядом с командиром полуглиссера. Еще мгновение — и, подняв винтом со дна реки ил, катерок рванулся от берега, ловко развернулся носом против течения и понесся дальше.

— Ишь, торопится, даже слова лишнего не обронил, — проворчал кто-то из партизан.

— Думаешь, чтобы в срок целую армию через реку переправить, одной нашей переправы хватит? — немедленно огрызнулся другой; но и в его голосе слышалось разочарование, если не обида.

Но общее настроение не испортилось: понимали, что при таком стремительном и мощном наступлении, какое сейчас вела Советская Армия, каждая секунда имела особую цену. И застучали топоры, подрубая почти под корень березы и ели, замелькали лопаты, срезая невысокий береговой обрыв. За работой не заметили, когда и откуда появились солдаты-саперы; просто на считанные мгновения удивились, вдруг увидев рядом с собой солдат в вылинявших и пропотевших гимнастерках, на плечах которых непривычно для партизанских глаз топорщились матерчатые погоны.

Зато о приближении катеров флотилии загодя известил рев моторов — густой, ровный. Не только партизаны, но и солдаты прекратили работу, распрямили спины, гудевшие от усталости.

Один за другим, словно скрепленные невидимой нитью, шли катера. И поражавшие воображение своей некоторой угловатостью и танковыми орудийными башнями, обосновавшимися почти на уровне палубы, и совершенно другие — с рубкой из фанеры и стекла. Эти казались невероятно легкими, даже хрупкими. Все их вооружение — крупнокалиберные пулеметы, установленные на машинной надстройке; около них, не имея даже малой защиты от пуль и осколков, во весь рост стояли пулеметчики. И невольно многим подумалось: а каково на этих катерах в бою, когда рядом рвутся снаряды, мины и бомбы, когда пулеметные трассы почти непрерывными строчками к тебе несутся?

И тут кто-то из солдат-саперов уважительно говорит:

— Бронекатера... Катера-тральщики... Вместе на сталинградских переправах работали.

Выходит, от Волги до Березины дошли и эти солдаты, и эти катера! А куда еще дойдут? Может быть, и до самого Берлина?

Четыре катера, оторвавшись от цепочки, здесь подошли к берегу, а остальные, по-прежнему сдавленно гудя моторами, даже не замедлили хода.

Каргин, глядя на их пенный след, окончательно уверовал, что не одна, а неизвестно сколько подобных переправ вот-вот начнут действовать на Березине, способствуя броску 48-й армии.

И лестно ему было от сознания того, что и его труд помогает осуществлению большого и крайне нужного дела.

Если среди саперов преобладали мужики в годах, делавшие все степенно, неторопливо, то моряки в большинстве своем были в самом расцвете мужской силы; усталость, казалось, их нисколечко не брала: так, задорно подначивая друг друга, они быстро и сноровисто подтаскивали бревна к реке или орудовали лопатами. И скоро первые сваи мостков-причалов оказались уже вбитыми в илистое дно Березины.

Но окончательно моряки покорили партизан тем, что и от разговоров о самом разном не бежали, на все вопросы отвечали охотно, серьезно или со смешком, но отвечали, а Петра не только пустили на катер, ему даже подарили старую тельняшку, которую тот немедленно и выставил напоказ, распахнув ворот рубашки до последней пуговицы.

Еще не были полностью закончены мостки-причалы, еще подравнивали сходы для лошадей, а из леса, казавшегося непроходимым, вдруг повалила пехота. Не четким строем походных колонн, а группами от трех до десяти человек, потом — просто толпами. Пехота усталая, но веселая, бесшабашная и твердо верящая в свою неодолимую силу. А едва прозвучала первая команда, стало ясно, что беспорядок — одна видимость: солдаты моментально по отделениям разобрались и приказ в полном молчании выслушали. А потом очень многие из них, сложив на катера оружие и одежду, вплавь переправились через Березину, здесь оделись, неуловимо быстро проверили оружие и исчезли в другом лесу. Все делалось вроде бы и без спешки, но не успел Каргин самокрутки выкурить, как одного батальона и след простыл.

Когда через Березину полностью переправился один из полков, когда командование убедилось, что все идет нормально, к Каргину вдруг не спеша подошел полковник — командир дивизии — и сказал, протянув руку для пожатия:

— Теперь догоняй свою бригаду. Можете идти в колонне этого полка: он в те края путь держит. — Помолчал, сочувственно разглядывая осунувшееся лицо Каргина, и предложил неожиданное: — Хотя можешь тронуться отсюда и часа через два. С арьергардом моей дивизии... Чего молчишь, младший лейтенант?

— Мы сейчас тронемся. Что такое два часа на отдых? Разморит только, — вздохнув, ответил Каргин, с удивлением подумав, что нет у него даже признаков робости перед командиром дивизии, что не только большого воинского начальника, но и многое понимающего, душевного человека в нем видит.

Очень непривычно было среди белого дня, не таясь, походной колонной идти по тракту. Правда, и на тракт выйти оказалось не так-то просто: по нему нескончаемой колонной шли советские войска. И пехота, и артиллерия, и танки. Еле уловили интервал, чтобы вклиниться в общий поток, стать частицей его.

Особенно же обрадовало то, что солдаты сразу приняли их дружески, даже с участием и уважением. И табаком делились, и с оружием своим охотно знакомили, и о Большой земле рассказывали.

Шагая по тракту рядом с солдатами, слушая их рассказы о минувших боях и глядя вокруг, партизаны проникались еще большим уважением к мощи своей армии: ведь по обочинам тракта стояли вереницы фашистских машин самых различных марок, самого различного назначения; здесь же мокли под дождем и чемоданы, набитые так, что, казалось, вот-вот лопнут ремни, стягивающие их, и аккордеоны, отливающие перламутром, и просто узлы, из которых кое-где высовывалось цветное тряпье.

Машин было больше таких, что вставь ключ в замок зажигания — и понеслась!

И еще — множество трупов виднелось там, где недавно гремели бои.

Каргину показалось, что солдаты равнодушно проходили и мимо трупов фашистов (повидали мы этой падали, на всю жизнь хватит!), и мимо самых заманчивых трофеев. Только изредка кое-кто задерживался на несколько минут, чтобы вскоре догнать товарищей, догнать с аккордеоном или баяном в руках. А еще немного погодя находился и доброволец-гармонист, который нежно и вроде бы непривычно брал инструмент в огрубевшие руки — и; глядишь, вот уже и поплыла над трактом родная мелодия, наполняя сердце теплом, грустью и радостью.

В одной из легковых машин, вереницей стоявших вдоль тракта, были трупы четырех фашистских офицеров. В мундирах с погонами, при крестах. У одного из них. окаменевшие руки лежали на баранке и были прекрасно видны большие золотые часы. Казалось, слышалось их призывное тиканье.

Серега Соловейчик, который всегда старался быть около Юрки, спросил у своего командира:

— Можно, я их сниму? Для товарища Каргина?

Он, Юрка, об этом почему-то не подумал. Мысль о том, что было бы вовсе неплохо заиметь такие часы, у него мелькала. Но чтобы снять и вручить их Ивану, — до этого не додумался. Однако грабить мертвого... Что же это за армия будет, если каждый ее солдат начнет шарить по карманам убитых врагов? Взять что-то всем, коллективу, нужное — это одно дело, а для кого-то, пусть даже для командира... Сначала возьмешь для большого командира, потом для того, который рангом поменьше, глядишь, и втемяшится в голову мысль, дескать, если для них можно, то почему для себя нельзя?

И Юрка ответил строго, веря в правоту своих слов:

— Думать не смей. Нешто это порядок будет, если мы барахлом покойников станем одаривать друзей?

Серега, казалось, все правильно понял: и покраснел от стыда, и даже чуток приотстал.

Какое-то время Юрка искоса еще поглядывал на него. Что заставило так поступить — и сам не знал. Но приглядывал. А потом, разбрызгивая колесами грязь, мимо прошла полуторка, полная скалящихся в хохоте солдат, и вдруг, взвизгнув тормозами, застыла на тракте. И сразу же один из молоденьких солдат задорно прокричал:

— Эй, принимай своего генерал-аншефа!

Он кричал еще что-то, но Юрка уже не слушал его, он вместе с другими партизанами бросился к кабине полуторки, откуда вылезал дед Потап, осторожно пробуя ногой прочность подножки.

Многие партизаны подбежали к деду Потапу. Для того, чтобы хоть что-то узнать о тех, кто остался в семейном лагере. Не случилось ли там чего? Ненароком, спасаясь бегством от Советской Армии, не наскочили ли на него фашисты?

Вот и толпились люди около деда Потапа, спрашивая даже о том, о чем он никак не мог знать. Например, перестал или нет Коляшка животом маяться?

На все эти вопросы дед Потап старался ответить обстоятельно, успокаивающе. Даже взволнованному отцу неведомого Коляшки сказал, что, видать, парень пошел на поправку; в противном случае он, дед Потап, обязательно услышал бы.

Все были довольны, всем было хорошо. И вдруг сзади грохнул взрыв. Оглянувшись, поперхнулись на слове. Там, где еще недавно стояла легковушка с мертвыми фашистами, на руке одного из которых маняще поблескивали золотые часы, над трактом повисло маленькое облако черного дыма.

Юрка пошарил вокруг глазами. Сереги не обнаружил. И тогда, зло матюкнувшись, он побежал к тому облачку, которое жирной копотью уже оседало на придорожные кусты. За ним бросились его разведчики.

Вместо легковушки виднелась неглубокая воронка. Около нее стоял Серега. Враз осунувшись, Юрка метнулся к нему и молча ударил, нисколько не думая, куда и с какой силой попадет. А Серега и не попытался уклониться.

Ударил и сразу облапил Серегу, прижал к себе, словно хотел своим телом прикрыть его от какой-то смертельной опасности. И лишь потом, когда убедился, что Серега целешенек, заметил у воронки изуродованный труп молодого советского солдата.

Выходит, зря на Серегу вину возвел...

Юрка почувствовал себя виноватым перед Серегой за напрасное подозрение и за оплеуху, которую влепил от всего сердца. Надо было обо всем этом немедленно сказать Сереге, повиниться прилюдно, а вот как это сделать? Просто извиниться — язык не поворачивается.

И тут Серега сказал, глядя на него виновато:

— Он опередил меня... Может, минуты на две или три опередил...

Юрка не ответил. Только глянул на Серегу.

А поблизости незнакомый усатый сержант, на груди которого рядом с тремя потемневшими от времени медалями поблескивал новенький орден Славы, уже поучал молодых солдат, смотревших на него почти с обожанием:

— Фашист, он и мертвый норовит убить человека. А вы, салажата зеленые, разве понимаете это? Фашист, он такая погань, что его только тогда можно со счета списывать, если сам его землей закидаешь...

Ни Каргину, ни Василию Ивановичу даже словом не обмолвился Юрка о том, что сегодня только случай спас Серегу от верной смерти. И самому Сереге ни одного упрека не бросил. Но весь остаток дня держал его подле себя, что было вовсе нетрудно: тот, чувствуя свою большую вину, сам жался к нему.

20

До Бобруйска оставались считанные километры; пушки, минометы и реактивные установки ярились уже где-то рядом, где-то здесь же, вблизи, сбрасывали свои бомбы советские самолеты, когда, повинуясь чьему-то приказу, дивизия резко ускорила движение, а еще немного погодя солдат-регулировщик взмахом красного флажка сначала отсек роту Каргина от солдат, потом направил на проселочную дорогу, тянувшуюся к сосновому бору, угрюмо насупившемуся километрах в двух на вершине небольшого холма. Здесь, между сосен, стволы которых в лучах вечернего солнца отливали позолотой, их поджидал связной командира бригады. Он и провел в расположение бригады, указал, где надлежит пока располагаться, и ушел, предупредив, что костры жечь строжайше запрещено. Кем и почему запрещено, об этом ни слова. Да Каргин и не допытывался: усталость, накапливавшаяся все эти дни, была столь велика, что он, отдав только самые необходимые распоряжения, сразу же опустился на землю, усыпанную рыжими иглами. Вроде бы даже мягкая, даже теплая эта земля. Так и манит повалиться на бок, хотя бы на короткую минуту закрыть глаза. Нет, нет, не поспать, а просто полежать с закрытыми глазами. И чтобы в голове ни одной мысли не было...

Но Юрка уже рядом. Он доверительно шепчет:

— А дивизия, которую мы через Березину переправили, на окружение фашистов пошла. Не одна, с другими дивизиями пошла. Фашистов тут скопились сотни тысяч, а наши все равно их окружают! Как под Сталинградом! Можно сказать, последнюю дырочку, через которую те еще могли выскользнуть, наши сейчас надежно затыкают!

Усталости как не бывало. И теперь Каргин как-то внутренне обостренно вслушался в рев пушек, в скрежет залпов реактивных установок и вдруг понял, что все они бьют в центр какого-то круга; туда же одна за другой проносились и стаи бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей. Только наших. Фашист-

ского самолета ни одного за весь день в небе не появлялось. Значит, отошла коту масленица!

Всю ночь ревели пушки, только перед самым рассветом угомонились и они. И сразу разведчики принесли радостное известие: та самая 48-я армия, в переправе которой через Березину участвовали и партизаны, окончательно замкнула кольцо вокруг десятков тысяч гитлеровцев!

Так светло, так празднично у всех на душе стало, что даже Василий Иванович, у которого давненько не видели улыбки, с почти мальчишеским восторгом сначала упомянул об огромной силище Советской Армии, что теперь она совсем не та, какой была в 1941 году, а потом и выпалил:

— Всем, присутствующим здесь, задаю один вопрос: сколько дней потребовалось Советской Армии на то, чтобы сокрушить вражескую оборону здесь, где гитлеровцы три года возводили укрепления, сколько дней нашей армии потребовалось, чтобы к чертовой матери сокрушить все расчеты и планы фашистов?

Действительно, сколько? Неужели только неделя?!

— А о чем это говорит? — торжествовал Василий Иванович.

Вот тут яростно и заспорили о том, через какое время до границы фашистской Германии докатимся (своя-то граница вот она, рукой подать!). Самые горячие головы утверждали, что теперь Советская Армия без остановок до Берлина пойдет. Большинство в это не верило (все же сильны еще фашисты, да и укрепления у них на границе Германии мощнейшие), но вслух своих мыслей не высказывали: вдруг ошибаешься? Ведь сколько здесь, в Белоруссии, фашистских сил (да каких!) было накоплено, а расчихвостили их за неделю!

Может, и правда посчастливится уже к Новому году домой вернуться?..

Однако уже во второй половине дня вдруг неистово забушевали фашистские пулеметы и минометы. А немного погодя тишину соснового бора разорвала команда:

— В ружье!

Похватали оружие и построились, в плотный прямоугольник сбилась вся бригада. Тогда полковник Иванец, взгромоздившись на облучок походной кухни, и сказал голосом, звонким от внутреннего волнения:

— Фашисты пытаются вырваться из кольца. Чтобы воспрепятствовать этому, нашей бригаде приказано влиться в боевые порядки пехоты. — Помолчал и добавил уже по-домашнему, даже просяще: — Мы на вас, ребята, надеемся, вы уж постарайтесь...

Почти всю дорогу бегом! Зато на указанный рубеж поспели в самый нужный момент: густые фашистские цепи, прикрываясь танками и штурмовыми орудиями, казалось, неумолимой лавиной вновь покатились на наши наспех вырытые окопы, где солдат было вовсе не густо. Даже и теперь, когда целая партизанская

бригада разместилась в этих же окопах, фашистов было в несколько раз больше; были они пьяны и поэтому перли во весь рост, строча из автоматов и вопя несуразное. Во много раз больше было фашистов, шли они в атаку под прикрытием своих танков и штурмовых орудий, но ни один из советских солдат не дрогнул, даже не оглянулся, чтобы проверить, а не перерезана ли врагом дорога возможного отступления. Спокойствие солдат, их уверенность в том, что и эта фашистская атака будет отбита, передались партизанам. Они тоже, хотя и было почти невмоготу, не открывали огня, подпуская фашистов на дистанцию по-настоящему убийственную. Правда, многие подумывали о том, как быть с фашистскими танками?

Когда уже почти все поняли, прочувствовали, что сейчас самое время открывать огонь, рев моторов в небе напрочь стер грохот, рождавшийся на земле. Он, этот рев моторов в небе, был настолько грозен и неистов, что кое-кто из партизан непроизвольно всем телом припал к земле: вдруг какой из летчиков не разглядит, где свои, где фашисты?

Но несколько белых ракет одна за другой поднялись из советских окопов, изогнули свой след в сторону атакующих. В это время из-за вершин деревьев (и как только не посшибали их крыльями) вырвались наши самолеты, ударили по фашистским танкам и штурмовым орудиям реактивными снарядами, забахали из пушек, застрочили из пулеметов. И сразу словно разверзлась земля там, где шли танки и цепи врага, все там утонуло в грохоте взрывов, в клубах огня и дыма. А на помощь авиации еще пришли и пушки, и минометы. Да и солдаты, и партизаны теперь смотрели на мечущихся фашистов почти без волнения за свою жизнь и поэтому стреляли с редкими промахами.

Захлебнулась атака фашистов, оставив на недавнем поле боя горящие и разбитые танки, и штурмовые орудия, и множество тел. Кто уцелел, скрылись в лесу.

Григорий, Юрка и некоторые другие считали, что сейчас самое время атаковать фашистов, но командование приняло другое решение: доколачивать фашистов оно поручило авиации и артиллерии. Вот и закружились краснозвездные самолеты над лесом, бомбя и обстреливая его, вот и били по нему пушки, своими снарядами калеча деревья или даже вырывая их с корнем.

И Юрка сказал с большим уважением в голосе:

— Бережет командование нашего брата.

Казалось, фашистам только бы и думать о сдаче в плен, но они снова и снова бросались в атаку, надеясь все же прорвать кольцо окружения.

Между вражескими атаками отчаяния были и паузы. И полные минометного и орудийного огня с обеих сторон, и многочасовые, когда ни одним выстрелом не выдавали фашисты своего присутствия в том лесу, где сейчас уже больше половины деревьев было вырвано с корнем или посечено осколками и пулями.

Во время одной такой паузы Василий Иванович, который с самого начала боя находился рядом с Каргиным, вдруг спросил:

— Знаешь, что он сказал, когда его допрашивали?

— Кто? Кому сказал? — удивленно глянул на него Каргин.

— Пан Власик... Николай Павлович его спросил: «Кто вы по своей основной специальности?»

— Ну?

— Ассенизатором назвался Власик.

— С перепугу ишь какую специальность себе выбрал, — усмехнулся Каргин. — Будто с первого взгляда не видно, что он никогда того черпака в руках не держал.

— То же самое сказал и Николай Павлович. Тогда пан Власик с гордым видом и пояснил: «Как я понял, вы не знаете, откуда пошло это слово. Так вот, в основе его лежит французское слово «ассенизация», что в переводе на русский значит «оздоровление». Отсюда и ассенизатор — оздоровитель».

Помолчали, глядя в сторону того леса, в котором скрывались фашисты, над которым и сейчас хороводились штурмовики.

— К чему ты рассказал об этом?

— Не знаю...

Тогда Каргин понизил голос до еле слышного шепота:

— Боишься?

— Понимаешь, как-то непривычно все это. Сегодняшнее, — тоже шепотом ответил Василий Иванович.

Как-то непривычно сегодняшнее... Этим, пожалуй, все сказано: любой человек всегда неуютно себя чувствует в непривычной обстановке. Отсюда и все прочее. Казалось бы, летчику-истребителю, побывавшему во многих воздушных боях, чего бояться? А вот в прошлом году один из таких попал в роту Каргина. Сбили его над территорией, оккупированной фашистами. Самолет, конечно, погиб, а он ушел от погони, после нескольких дней скитаний по лесам и болотам все же набрел на партизан и был просто бойцом, пока его не отправили на Большую землю. Так вот, этот старший лейтенант, лично сбивший восемь фашистских стервятников, как-то сразу после одной из первых партизанских операций откровенно сказал Каргину: дескать, здесь, во вражеском тылу, на меня временами такой страх наваливается, что сам себя бояться начинаю. А ведь у него на груди три боевых ордена сияли...

Или взять того же Василия Ивановича. Разве он за печкой отсиживался все эти годы? Да он, можно сказать, и вовсе в самом аду находился! И не дрогнул, через всякое прошел. Так что, пусть сегодняшнее ему пока непривычно, от этого чувства скоро ничегошеньки не останется. Может быть, уже и завтра не останется...

И еще сутки фашисты не прекращали своих атак. Особенно упорной была последняя. Раза три фашисты, наткнувшись на плотный огонь, вынуждены были залечь. Но через какое-то вре-

мя опять яростно бросались вперед, как призраки, возникали среди множества разрывов снарядов, мин и бомб.

Настолько неистовой, упорной и длительной была эта последняя атака фашистов, что, похоже, никто не заметил, как из-за притихшего леса сначала лишь выглянула свинцовая туча с бахромой иссиня-черных облаков, а потом закрыла все небо. Похоже, никто не заметил даже и того, что сразу стало темно, как поздним вечером. Ее увидели лишь тогда, когда она вдруг ударила молниями. И сразу же сначала тот лес, откуда шли атакующие, а потом и сгоревшие вражеские танки, и цепи атакующих, — все это скрылось за пеленой дождя.

Молнии безжалостно пластали небо, косой дождь с силой хлестал в лица солдат и партизан, но они не прятались, даже не отворачивались от него: вдруг фашисты вознамерятся воспользоваться моментом?

Дождь хлестал еще почти с прежней силой, когда вдруг выглянуло солнце — умытое, яркое. Заискрились капельки воды, пристроившиеся на деревьях, израненных войной, на траве, опаленной бесчисленными взрывами.

Все сразу будто помолодело, даже ожило. Тем уродливее казались и танки, и штурмовые орудия — обгорелые, развороченные снарядами и бомбами.

И в этот момент, словно они только и дожидались первых солнечных лучей, фашисты выбросили белые флаги. И на поле боя, и на опушке.

Выбросили фашисты белые флаги — штурмовики, уже подходившие к лесу со стороны солнца, не сбросили бомб, не дали ни одной очереди. Они, сделав круг, ушли куда-то дальше. Постепенно стали смолкать и орудийные батареи. И вот на недавнее поле кровавого боя упала звонкая тишина. Даже не верилось, что на земле может быть так прекрасно тихо.

А в небе уже заливались жаворонки...

Из леса, подняв руки, шли фашистские солдаты и офицеры. Они шли устало, измученно, шли под семицветную радугу, которая прочно опиралась на оба берега Березины.

Каргин и другие партизаны молча смотрели на сдающихся; им просто не верилось, что фашистских солдат здесь так много, что сдаются они в том числе и им, партизанам.

Уже почти все поле недавнего боя заполнили толпы сдающихся, а из леса все шли и шли...

Однако лишь к концу следующего дня партизан отозвали из окопов, приказали стать лагерем в лесочке, на опушке которого призывно дымили походные кухни. Тут, сытно поев, и остались. Как пояснило начальство — до особого распоряжения. Привычно быстро соорудили шалаши, развели костры и, сидя у ласкового огонька, стали неторопливо судачить о событиях, участниками и свидетелями которых были недавно, и о том, когда придет новый приказ. На какое дело бросит?

Здесь, в этом лесочке, и узнали, что десятки тысяч фашистов под Бобруйском попали в окружение и сдались. Правда, какой-то части их все же удалось прорвать окружение. Однако и эти недалеко ушли: уже через несколько часов их снова загнали в кольцо, теперь уже намертво вокруг них тиски сомкнули.

А днем 4 июля командование сообщило, что вчера Советская Армия освободила Минск. То-то ликования было!

Теперь уже почти все громко заговорили о том, что пока вроде бы отвоевались, что теперь скорее всего кое-кому и домой заглянуть посчастливится.

И вдруг Каргина вызвали к командованию бригады. О чем там шел разговор, этого, конечно, не знали, но все заметили, что вернулся Каргин очень скоро и хмурый до невозможности. Сразу же затребовал к себе Григория и около часа простоял с ним на полянке — в самом центре ее. Вроде бы и мирно, спокойно разговаривали, но после этой беседы Григорий ушел не в свой шалаш, а в тот, который по приказу Каргина спешно соорудили почти рядом с командирским; и еще — Каргин приказал дежурному по роте на сегодняшнюю ночь специальный наряд выделить: дескать, единственная обязанность того наряда — никого не пускать к Григорию, чтобы он отдых соответствующий имел.

Арестован Григорий, что ли? Вроде бы мало похоже...

Так судачили между собой партизаны. А Григорий в это время лежал на старом солдатском одеяле и немигающими глазами смотрел на звездное небо, краешек которого виднелся над входом в шалаш. Лежал и думал. Прежде всего о том, что большое доверие оказано ему, ох какое большое...

Иван прямо сказал, что это задание надо выполнить хотя бы и ценой своей жизни. Самому погибнуть, но взорвать железнодорожный мост на Припяти; дескать, для нашей армии это позарез нужно, а летчики пока уничтожить его не могут: так силен огонь зениток, так мала цель.

— И кому-то из твоих подрывников, Григорий, надлежит взорвать этот мост. Пешеходов-то по нему фашисты днем пускают... Толкового подбери. Чтобы из-за него позор на наши головы не упал, — так закончил Каргин обрисовку задания.

— Сам пойду, — ответил он, Григорий.

Помнится, Каргин как-то особенно внимательно и тепло взглянул на него и сказал:

— Еще раз повторяю: вряд ли тот человек живым вернется. К тому говорю, чтобы ты всю правду усвоил, как она есть.

— Двум смертям не бывать, а одной не миновать!

Григорий хотел, чтобы бесшабашная удаль в этих словах прозвучала, но сам почувствовал — буднично, даже с какой-то душевной тоской они упали.

Сейчас Григорию кажется, что этот разговор состоялся давным-давно. И будто с тех пор между ним и товарищами разверзлась пропасть: ведь у них-то есть шанс дожить до конца войны...

И ему до боли стало жалко себя, такого молодого, по-настоящему еще и не жившего. Действительно, что он видел в своей жизни, что свершил такого, чтобы его кто-нибудь добрым словом вспомнил? Товарищи — они, конечно, не раз помянут. А все прочие... Да и за что вспоминать его? Поди, уже и забыли того чернявого водопроводчика, который в их квартирах краны исправлял...

Выходит, как-то попусту целые годы жизни промелькнули.

И вдруг по самому сердцу резанула мысль: а как же теперь Петро? Ведь хотел после войны его с собой забрать, вместо брата, в люди вывести...

Длинной чередой тянулись безрадостные мысли. Впору выскочить из шалаша и бежать к Каргину, заявить во весь голос: нет на то моего согласия!

И вдруг он уловил еле слышный шелест у стенки шалаша. Сначала подумал, что это какая-то шальная мышь шурует, но откуда ей здесь взяться? Да и не так мышь скребется: она лапками листья чуть шевелит, а тут явно кто-то лаз делает. И Григорий еле слышно шепнул, почти прижавшись губами к стенке шалаша:

— Кто скребется? Отзовись!

— Это я, дядя Гриша.

Петро, черт конопатый!

Григорий метнулся к входу в шалаш, нарочно громко спросил у дневального: а сколько сейчас времени? И громогласно жаловался на комаров все то время, пока тот бегал к товарищам, чтобы точно ответить на его вопрос.

Пробравшись в шалаш, Петро цепко ухватил Григория за руку и долго молчал, сдерживая волнение. Потом не вытерпел, спросил:

— За что он тебя арестовал?

— С чего ты взял? Просто отдыхаю.

— Что я, маленький?

Сколько ни бился, не смог переубедить Петра. Тогда и сказал полуправду:

— Понимаешь, завтра тонкая работа предстоит. Мне как подрывнику. Вот и приказал Иван отдыхать. Чтобы завтра в руках дрожи даже самой малой не было.

— Не врешь?

В это время дневальный остановился около входа в шалаш и спросил:

— С кем ты там разговариваешь? Или меня звал?

Григорий поспешно ответил:

— Понимаешь, холодновато что-то. Одежонки какой не найдешь?

Скоро дневальный сунул в шалаш кожух. Прикрывшись им, замерли. Григорий лежал с открытыми глазами и гладил рукой вихрастую голову Петра, его детские, еще угловатые и костлявые плечи и тихонько нашептывал, что новое задание, конечно,

потребует ювелирной работы, да разве ему, Григорию, это впервой?

— А вот кончится война, поедем ко мне. Знаешь, какого слесаря-водопроводчика из тебя сделаю?

— Не, я на офицера учиться буду. Как Константин Яковлевич.

— А что? И на офицера за моей спиной запросто можешь выучиться...

Долго они говорили о будущей жизни. Хорошо, тепло говорили. И Петро наконец поверил, что все так и будет. Поверил — прошептал:

— Ты спи, дядя Гриша, отдыхай, а я просто полежу с тобой. И уползу перед самым рассветом, чтобы товарищ Каргин не узнал. Знаешь, какой он ругачий, когда разозлится?

Пообещал не спать, а сам скоро уже засопел носом, доверчиво уткнувшись лицом в грудь Григория. И тот, чтобы не вспугнуть его сон до вторых петухов, прооравших в близкой деревне, лежал не шелохнувшись. И все думал, думал...

21

Утром, когда партизаны еще лениво потягивались в своих шалашах, Каргин ввалился к Григорию и, сияя глазами, сунул ему под нос бумажку. И тот прочел: «Мост взорван, подрывников не надо». Ниже этих слов была подпись командира бригады.

А Каргин не давал возможности полностью прочувствовать всю радостную глубину случившегося, почти силком тащил Григория за собой:

— Айда ко мне! Знаешь, Марья какую уху сварганила? Все наши уже там, тебя ждут!

До чего же радостно глядеть на солнышко, поднявшееся над лесом! Вон и жаворонок, распластав свои полупрозрачные крылья, заливается в голубом небе!

— Отряхни левый висок, — каким-то деревянным голосом просит Каргин.

Григорий рукавом пиджака старательно утюжит волосы. И вдруг видит, как дрогнуло что-то в лице Ивана, закаменело. А еще через секунду Каргин сказал:

— Ладно, хватит мозолить...

Пока шли к шалашу, который был почти рядом, многие партизаны лишь пристально глядели на левый висок Григория. А Мария, взглянув на него, сразу же прижала руки к вдруг побелевшим щекам. Тогда он взял обломок зеркала, торчавший из кармана гимнастерки Марии. И увидел, что его левый висок будто инеем подернулся.

Григорий помолчал какое-то время, потом сказал то ли шутливо, то ли серьезно:

— Видать, тут самая слабая нерва была...

А сразу после обеда — еще не успели сполоснуть котелки и

ложки — приехало начальство. И бригадное в полном составе, и гражданское, и военное, вплоть до какого-то генерала, грудь которого сияла от орденов и медалей.

Когда построились, командир бригады ровным голосом сказал, что отныне партизанской бригады не существует, что все, кто по годам подлежит мобилизации, завтра же должны явиться туда-то на предмет продолжения службы теперь уже в рядах Советской Армии. А прочим — можно идти домой.

Потом дрогнувшим голосом поблагодарил за службу, большого счастья всем пожелал.

Но эти слова почему-то скользнули мимо сердца, не запали в него.

Давно, с самого начала, все знали, что случится именно так, и все равно стало грустно, даже немного больно. Потому ночью у костров, вокруг которых сидели теперь уже бывшие партизаны, звучали лишь тоскливые песни или неспешно велись беседы о том, что союзники наши наконец-то все же осмелились открыть фронт, что ихние поиски патрулей дело, конечно, нужное, полезное для общего котла, но куда ему до того, что сейчас вершит родная Советская Армия!

Но больше всего говорили о будущей, послевоенной жизни. Нет, в мечтах высоко не заносились, просто уверенно заявляли, что уж теперь-то они знают, как работать и вести себя надо, чтобы подобного ужаса никогда не повторилось.

И обменивались адресами, уславливались о будущих встречах.

Только товарищ Артур никому не давал своего адреса, никого не приглашал к себе в гости. Он в пояс своих шаровар зашивал патроны от трофейного пистолета. Зашивал неторопливо, обстоятельно, стараясь каждый патрон уложить так, чтобы миллиметра свободного места не осталось. Все, кто сидел у этого же костра, видели, чем он занимался. Но никто не спросил, зачем ему эти патроны: уже знали, что товарищ Артур прямо отсюда пойдет в родные края, что появляться там без оружия ему никак нельзя.

Одобряли товарищи его намерения. Кто-то даже посоветовал для пистолета специальные петельки пришить. С внутренней стороны пиджака. Чтобы никто случайно не обнаружил «пушку» на контрольных пунктах, где у товарища Артура обязательно будут проверять документы.

У небольшого костра сидели и Каргин, и Василий Иванович, и те, кто с ними наиболее близок был. Григорий с Юркой, разумеется, уже проявили инициативу, и отблески костра весело плясали на боках четверти с самогоном. Только не пилось сегодня, и все тут! Конечно, выпили по одной и сразу же словно забыли, что четверть еще лишь ополовинена.

Сидели у костра, смотрели на веселые языки пламени и молчали. Наконец Василий Иванович спросил с наигранной бодростью:

— Чего же мы в молчанку играем? Или нам при расставании друг другу и сказать нечего?

— А зачем говорить-то, если мы не только сегодняшние, но и будущие мысли дружков наперед знаем? — нехотя буркнул Григорий и потянулся к четверти с самогоном: — Может, опрокинем еще по одной? Чтобы дома не журылысь, чтобы на душе посветлело?

Не помогло. Лишь изредка бросая почти ничего не значащие фразы, так и не развеселившись, просидели у костра до утренней зорьки. Взошло солнце, глянулось в лужицы, оставшиеся от недавнего дождя, — без команды, без чьего-либо приказания стали собираться в путь. А потом, старательно затоптав костры и еще раз простившись с друзьями, небольшими группами потянулись к тракту, чтобы там дождаться попутчиков и дальше шагать уже вместе, — если повезет, до самой победы вместе шагать.

Дольше всех у костра засиделись Каргин и его товарищи. Наконец и они стали прощаться. Без громких фраз. Просто обнимали друг друга и замирали на несколько секунд. Потом кто-то первым говорил: «Ну, бувай». Или что-то подобное. И шли своей дорогой, ни разу не оглянувшись.

Не от черствости, а чтобы еще раз не бередить свое сердце.

Юрка, Григорий, Федор, Виктор с Афоней и Серега Соловейчик ушли вместе, привычно закинув автоматы за спину. Шли вместе, шли в ногу, в душе тая надежду, что на сборном пункте, куда им надлежало теперь явиться, начальство учтет их дружбу.

Теперь только дед Потап и Петро еще оставались с Каргиным и Василием Ивановичем. Молча смотрели, как они проверяли оружие и укладку своих вещевых мешков. Заговорил дед Потап и лишь тогда, когда Каргин обнял его:

— Маруська пусть у меня в хате хозяйничает, так что... Деревню-то ихнюю, отступая, фашисты под корень уничтожили... Ну, как говорится, огонь и вода не во вред вам, а вовремя!

На том и расстались.

Огонь и вода не во вред вам, а вовремя...

ОГЛАВЛЕНИЕ

БЫТЬ ПОЛОВОДЬЮ!

Книга первая

Глава первая
РЯДОВОЙ КАРГИН С ТОВАРИЩАМИ 6

Глава вторая
ВИТЬКА-САМОЗВАНЕЦ 32

Глава третья
БАТАЛЬОННЫЙ КОМИССАР 66

Глава четвертая
ОРДНУНГ 80

Глава пятая
ПОД ЧЕРНЫМ НЕБОМ 105

Глава шестая
ОКТЯБРЬ 127

Глава седьмая
НОЯБРЬ 151

Глава восьмая
ДЕКАБРЬ 176

Глава девятая
ЯНВАРЬ 215

Глава десятая
ФЕВРАЛЬ 249

ПЕРЕД РАСПЛАТОЙ

Книга вторая

Глава первая 286

Глава вторая 319

Глава третья 345

Глава четвертая 366
Глава пятая 392
Глава шестая 417
Глава седьмая 443
Глава восьмая 478
Эпилог 501

Олег Константинович
СЕЛЯНКИН

КОСТРЫ ПАРТИЗАНСКИЕ

Роман

Зав. редакцией
А. Лукашин
Редактор
Б. Зеленин
Мл. редактор *Л. Рубцова*
Художник
Н. Оборин
Художественный редактор
М. Бурдов
Технические редакторы
А. Карасев, В. Чувашов
Корректоры
И. Пархомовская, З. Селюк, Г. Черникова

Сдано в набор 29. 12. 85. Подписано в печать 04. 07. 86. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бум. тип. № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,08. Усл. кр.-отт. 31,50. Уч.-изд. л. 40,789. Тираж 30 000 экз. Заказ № 3. Цена 2 р. 90 к. Пермское книжное издательство. 614000, г. Пермь, ул. К. Маркса, 30. Книжная типография № 2 Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 614001, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 57.

Селянкин О. К.

С29 Костры партизанские: Роман. — 2-е изд. — Пермь: Кн. изд-во, 1987. — 586 с.

Роман в двух книгах о партизанском движении в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Издается к 70-летию писателя.

С $\frac{4702010200-2}{M152(03)-87}$ 29—87 **Р2**

К 70-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЫПУСТИТ КНИГИ:

Каблов А. И., Климов А. А.

Пермская область в цифрах и фактах

Константинов В. В.

Единственная привилегия

Книга о коммунистах

Моя родословная

Сборник школьных сочинений

«Найрамдал» — значит «Дружба»

Книга об интернациональных связях трудящихся Прикамья и МНР

Отчий край

Краеведческий сборник

Революционный держите шаг!

Поэмы В. Маяковского и А. Блока

Рассказы о революции

Сборник произведений советских писателей